

М Горький

М. ГОРЬКИЙ

ХУДОЖЕСТ-  
ВЕННЫЕ  
ПРОИЗВЕДЕ-  
НИЯ

4

**АКАДЕМИЯ НАУК СССР**  
**ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**  
**ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО**



**М. ГОРЬКИЙ**

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

---

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
В ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»**

# М. ГОРЬКИЙ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

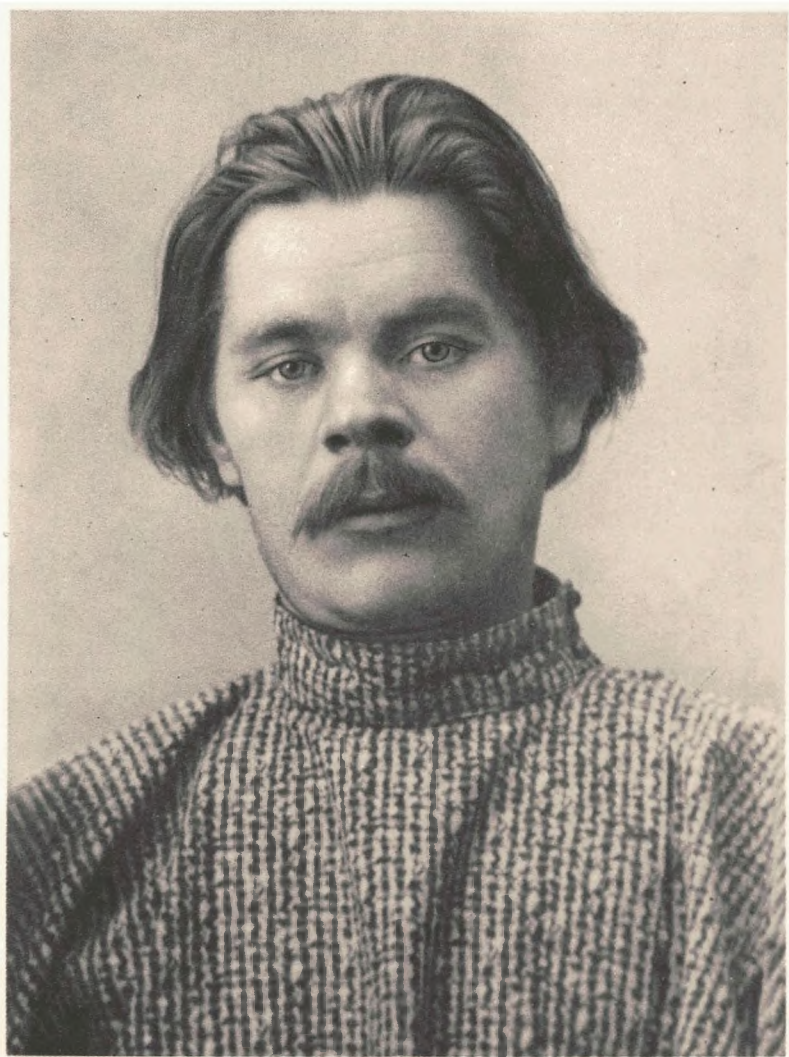
---

«ФОМА ГОРДЕЕВ»  
РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ,  
НАБРОСКИ, СТИХИ

1897—1899

МОСКВА • 1969

7-3-1  
Подписное



**А. М. ГОРЬКИЙ**  
Нижний Новгород, 1899—1900 гг.  
*Фото М. Дмитриева.*



I

---





## СКУКИ РАДИ

...Извергая клубы тяжелого серого дыма, пассажирский поезд, как огромное пресмыкающееся, исчезал в степной дали, в желтом море хлебов. Вместе с дымом поезда в знойном воздухе таял сердитый шум, нарушавший в продолжение нескольких минут равнодушное молчание широкой и пустынной равнины, среди которой маленькая железнодорожная станция возбуждала своим одиночеством чувство грусти.

И когда глухой, но жизненный шум поезда рассеялся, замер под ясным куполом безоблачного неба, — вокруг станции снова воцарилась угнетающая тишина.

Степь была золотисто-желтая, небо — ярко-голубое. И та и другое необъятно велики; коричневые постройки станции, брошенной среди них, производили впечатление случайного мазка, портившего центр меланхолической картины, трудолюбиво написанной художником, лишенным фантазии.

Ежедневно в двенадцать дня и в четыре пополудни к станции приходят из степи поезда и стоят по две минуты. Эти четыре минуты — главное и единственное развлечение станции: они приносят с собой впечатления ее служащим.

В каждом поезде толпа разнообразных людей, разнообразно одетых. Они являются на миг; в окнах вагонов мелькнут их утомленные, нетерпеливые, равнодушные лица — звонок, свистки — и с грохотом они уносятся по степи, вдаль, в города, где кипит шумная жизнь.

Служащим станции любопытно видеть эти лица, и, проводив поезд, они делятся друг с другом наблюдениями, схваченными на лету. Вокруг них лежит молчаливая степь, над ними — равнодушное небо, а в их

сердцах — смутная зависть к людям, которые ежедневно куда-то стремятся мимо них, тогда как они остаются, заключенные в пустыне, живя как бы вне жизни.

И вот, проводив поезд, они стоят на перроне станции, провожая глазами черную ленту, — она исчезает в золотом море хлеба, — и молчат под впечатлением жизни, пролетевшей мимо них.

Они почти все тут: начальник станции — добродушный, полный блондин с большими казацкими усами; его помощник — рыжеватый молодой человек с острой бородкой; станционный сторож Лука — маленький, юркий и хитрый, и один из стрелочников — Гомозов, плотный, широкобородый, молчаливый мужик.

На скамье у двери станции сидит жена начальника, маленькая толстая женщина, сильно страдающая от жары. На коленях у нее спит ребенок, лицо у него такое же пухлое и красное, как у матери.

Поезд скрывается под уклоном, кажется, что он зарылся в землю.

Тогда начальник станции говорит, обращаясь к жене:

— А что, Соня, самовар готов?

— Конечно, — лениво и тихо отвечает она.

— Лука! Ты тут, того... подмети полотно и перрон... видишь — сколько нашвыряли всякой всячины...

— Я знаю, Матвей Егорович...

— Да... ну что же? Будем чай пить, Николай Петрович?

— По обыкновению, — говорит помощник.

А после провода дневного поезда Матвей Егорович спрашивал жену:

— А что, Соня, обед готов?

Потом он отдает приказание Луке, всегда одно и то же; приглашает помощника, который столуется у них:

— Ну что же? Будем обедать?

А помощник резонно отвечает ему:

— Как всегда...

Уходят с перрона в комнату, где много цветов и мало мебели, где пахнет кухней и пеленками, и там, вокруг стола, разговаривают о том, что промелькнуло мимо них.

— Заметили, Николай Петрович, во втором классе брюнеточку в желтом? Ядовитая штукенция!..

— Недурна, но одета безвкусно,— отвечает помощник.

Он всегда говорит кратко и уверенно, считая себя человеком, знающим жизнь и образованным. Он кончил гимназию. У него есть тетрадка в черном коленкоре; он записывает в нее разные изречения знаменитостей, вылавливая их из фельетонов газет и книг, случайно попадающих в его руки. Начальник бесспорно признаёт его авторитет во всем, что не касается службы, и слушает его внимательно. Особенно ему нравятся премудрости из тетрадки Николая Петровича, и он всегда простодушно восхищается ими. Замечание помощника о костюме брюнетки вызывает у Матвея Егоровича вопрос:

— Разве желтое не к лицу брюнеткам?

— Я говорю о фасоне, а не о цвете,— объясняет Николай Петрович, аккуратно накладывая варенье из стеклянной вазы себе на блюдечко.

— Фасон — это другое дело!..— соглашается начальник.

В разговор вступает его жена, потому что эта тема близка и понятна ей. Но так как умы этих людей мало изощрены — беседа тянется медленно и редко волнует их чувства.

А в окно смотрит степь, очарованная молчанием, и небо, важное в своем великолепном спокойствии.

Почти каждый час являются товарные поезда; по прислуга, сопровождающая их, давно знакома. Все эти кондуктора — люди полусонные, подавленные скучной ездой по степи. Впрочем, иногда они рассказывают о происшествиях на линии: на такой-то версте раздавили человека; или говорят о новостях по службе: тот оштрафован, этот переведен. Эти новости не обсуждаются — их пожирают, как лакомки пожирают вкусное и редкое блюдо.

Солнце медленно сползает с неба на край степи, и когда оно почти коснется земли, то становится багровым. На степь ложится красноватое освещение, возбуждающее тоскливое чувство, смутное влечение вдаль, вон из этой пустоты. Потом солнце прикасается краем к земле и лениво уходит в нее или за нее. В небе еще долго

после него тихо играет музыка ярких цветов вечерней зари, но она всё бледнеет, и наступают сумерки, теплые и молчаливые. Вспыхивают звезды и трепещут, точно испуганные скукой на земле.

В сумерках степь суживается; на станцию со всех сторон бесшумно ползет тьма ночи. И вот приходит ночь, черная, угрюмая.

На станции зажигают огни; ярче и выше всех зеленоватый огонь семафора. Вокруг него тьма и молчание.

Порой раздается звонок — повестка к поезду; торопливый звук колокола несется в степь и быстро тонет в ней.

Вскоре после звонка из темной дали выбегает красный сверкающий огонь, и тишина в степи содрогается от глухого грохота поезда, идущего к одинокой станции, окруженной тьмой.

Низший слой маленького общества на станции живет несколько иначе, чем аристократия. Сторож Лука вечно борется с желанием сбежать к жене и брату в деревню за семь верст от станции. Там у него хозяйство, как он говорит Гомозову, когда просит этого молчаливого и степенного стрелочника «подежурить» на станции.

При слове «хозяйство» Гомозов всегда тяжело вздыхает и говорит Луке:

— Что ж, поди. Хозяйство требует присмотра, это верно...

А другой стрелочник, Афанасий Ягодка, старый солдат с круглым красным лицом в седой щетине, человек насмешливый и злобный, не верит Луке.

— Хозяйство! — восклицает он, усмехаясь. — Жена!.. Понимаю я, что оно такое... Жена-то у тебя вдова, что ли? Али солдатка?

— Ах ты птичий губернатор! — презрительно откликается Лука.

Он зовет Ягодку птичьим губернатором за то, что старый солдат страстно любит птиц. Вся будка у него, и внутри и снаружи, увешана клетками и садками; в ней, как и вокруг нее, целый день, не смолкая, раздается птичий гам. Плененные солдатом перепела неустанно кри-

чат свое однообразное «подь-полоть», скворцы бормочут длинные речи, разноцветные маленькие птички неустанно щебечут, свистят и поют, услаждая одинокую жизнь солдата. Он возится с ними всё свое свободное время и, относясь к ним ласково и заботливо, не обнаруживает никакого интереса к товарищам. Луку он зовет ужом, Гомозова — кацапом и, не стесняясь, говорит им в глаза, что оба они «бабьи прихвостни» и что следует за это бить их.

Лука на его слова мало обращает внимания, но, если солдату удастся раздражить его, Лука долго и едко ругает его:

— Гарниза ты серая, крысиный объедок! Что ты можешь понимать, отставной козы барабанщик? Гонял ты всю свою жизнь лягушек из-под пушек да полковую капусту караулил... твое ли дело рассуждать? Пошел к перепелам, птичий командир!

Ягодка, спокойно выслушав ругательства сторожа, шел жаловаться на него начальнику станции, а тот кричал, чтобы к нему не лезли с пустяками, и гнал солдата прочь. Тогда Ягодка находил Луку и уже сам начинал ругать его — не горячась, спокойно, тяжеловесными и скверными словами, от которых Лука скоро убегал, отплевываясь.

Гомозов на обличения солдата отвечал вздохами и сконфуженно оправдывался:

— Что поделаешь? Ничего не поделаешь с этим... Конечно... баловство это... но, между прочим, не суди, да не осужден будешь...

Однажды солдат ответил ему, усмехаясь:

— Заладила сорока Якова одно про всякого! Не суди, не суди... а коли не судить, так людям не о чем и разговаривать...

Кроме жены начальника, на станции была еще одна женщина — кухарка. Звали ее Арина; ей было лет под сорок, и была она очень некрасива: коренастая, с отвислыми грудями, всегда грязная и оборванная. Она ходила, переваливаясь с ноги на ногу, и на ее рябом лице блестели узкие испуганные глазки, окруженные морщинами. Было что-то рабское, забитое в ее нескладной

фигуре, толстые губы ее постоянно складывались так, точно она хотела просить прощения у всех людей, валяться в ногах у них и не смела плакать. Гомозов прожил на станции восемь месяцев, не обращая особенного внимания на Арину; встречаясь с нею, он говорил ей «здорово!». Она отвечала ему тем же, перекидывались двумя-тремя фразами и затем расходились, каждый в свою сторону. Но однажды Гомозов пришел в кухню начальника станции и предложил Арине спать ему рубах. Она согласилась и, сшив рубахи, зачем-то сама понесла их к нему.

— Вот и спасибо! — сказал Гомозов. — Три рубахи, по гривеннику штука, стало быть — тридцать копеек следует тебе... Верно?

— Да уж так... — ответила Арина.

Гомозов задумался и долго молчал.

— А ты какой губернии? — спросил он, наконец, женщину, всё время смотревшую на его бороду.

— Рязанской... — сказала она.

— Издалека! А сюда как же попала?

— А так... одна я... одинокая...

— От этого и дальше можно зайти... — вздохнул Гомозов.

И снова они долго молчали.

— Вот и я тоже. Нижегородский я, Сергачского уезда... — заговорил Гомозов. — Вот и я тоже один, весь тут. А было у меня хозяйство, жена тоже была... дети — двое. Жена умерла в холеру, а дети просто так... А я того... замотался с горя. Да-а... Потом пробовал опять устроиться — ан нет, развинтилась машина, не работает. Ну и пошел... на сторону, стало быть, со своей дороги... вот и бьюсь третий год уж...

— Плохо, когда нет своего гнезда, — тихо сказала Арина.

— Еще бы!.. Ты вдовая, что ли?

— Девка...

— Где уж, чай! — откровенно усомнился Гомозов.

— Ей-богу, девка, — уверила его Арина.

— Что же замуж не вышла?

— Кто возьмет меня? Безо всего я... кому корысть... да и с лица некрасивая...

— Да-а...— задумчиво протянул Гомозов и, поглаживая бороду, стал пытливо смотреть на нее. Потом справился, сколько она получает жалованья.

— Два с полтиной...

— Так. Ну... значит, тридцать копеек тебе с меня? Вот что... ты приди-ка вечером за ними... часов этак в десять, а? Я тебе и отдам... чаю поьем, поговорим скуки ради... Оба мы одинокие... приходи!

— Приду,— просто сказала она и ушла.

Потом, придя к нему аккуратно в десять часов вечера, ушла от него уже на рассвете.

Гомозов больше не звал ее к себе и тридцати копеек ей не отдавал. Она сама явилась к нему, тупая и покорная, пришла и молча стала перед ним. Он, лежа на койке, посмотрел на нее и, подвинувшись к стене, сказал:

— Садись.

А когда она села, объявил ей:

— Ты вот что,— храни это в секрете. Чтобы никто ни-ни! А то мне будет нехорошо... я не молоденький, да и ты тоже... Понимаешь?

Она утвердительно кивнула головой.

Провожая ее, он дал ей свою одежду для починки и опять напомнил ей:

— Чтобы ни одна душа — ни-ни!

Так они и зажили, пряча от всех свою связь.

Арина прокрадывалась к нему по ночам чуть не ползком. Он принимал ее снисходительно, с видом властелина, и порой откровенно говорил ей:

— А и дурна же ты с лица!

Она молча улыбалась ему бледной, виноватой улыбкой и, уходя от него, почти всегда уносила с собой какую-нибудь работу, данную им.

Виделись они не часто. Но иногда Гомозов, встречая ее где-нибудь на станции, вполголоса говорил ей:

— Приходи сегодня...

И она покорно являлась к нему с таким серьезным выражением на своем рябом лице, как будто пришла затем, чтобы выполнить долг, важность которого стала понятна ей.

А когда шла домой, то на лице ее уже снова была обычная ему мертвая мина виновности и испуга.



Порой она, остановясь где-нибудь в уголке или за деревом, подолгу смотрела в степь. Там царила ночь, и от сурового молчания ее на сердце становилось жутко.

Однажды, проводив вечерний поезд, станционное начальство устроило чаепитие в саду перед окнами квартиры Матвея Егоровича, в густой тени тополей.

В жаркие дни они часто делали так, — это все-таки вносило некоторое разнообразие в монотонность их жизни.

Пили чай и молчали, исчерпав впечатления, данные поездом.

— А сегодня жарче вчерашнего, — сказал Матвей Егорович, одной рукой передавая пустой стакан жене, а другой отирая пот с лица.

Жена, принимая стакан, объявила:

— Это от скуки кажется, что жарче...

— Гм! Пожалуй... действительно... Вот карты хороши в этом случае... но — нас только трое...

Николай Петрович повел плечами и, прищурив глаза, отчетливо произнес:

— Карточная игра, по выражению Шопенгауэра, есть банкротство всякой мысли.

— Ловко! — умилился Матвей Егорович. — Как это? Банкротство мысли... да-а! А кто сказал?

— Шопенгауэр, немец, философ...

— Фи-илософ? Мм...

— А что эти философы — в университетах служат? — полюбопытствовала Софья Ивановна.

— То есть как вам сказать? Это не чин, а... так сказать, природная способность... Философом может быть всякий... кто родится с привычкой думать и во всем искать начало и конец. Конечно, и в университетах бывают философы... но они могут быть и просто так... даже служить на железной дороге.

— И много получают те, которые при университетах?

— Глядя по уму...

— Но если бы был четвертый, — премило бы мы повинтили! — со вздохом сказал Матвей Егорович.

И разговор оборвался.

В синем небе поют жаворонки, по тополям прыгают

с ветки на ветку малиновки и тихо свистят. В комнате плачет ребенок.

— Арина там? — спрашивает Матвей Егорович.

— Конечно... — кратко отвечает ему жена.

— Оригинальная баба эта Арина; вы заметьте, Николай Петрович...

— Оригинальность — первый отгиск банальности, — как бы про себя говорит Николай Петрович, имея вид задумчивый и мыслящий.

— Как? — оживляется начальник.

И когда Николай Петрович вразумительно повторяет изречение, он сладко щурит глаза, а Софья Ивановна томным голоском говорит:

— Как вы хорошо помните то, что читали... а я вот прочитаю и на другой день, хоть убейте, ничего не помню... Вот недавно в книжке «Нива» прочитала что-то такое интересное, такое забавное, — а что? ни слова не помню!

— Привычка, — кратко объясняет Николай Петрович.

— Нет, это лучше этого... как его? Шопенгауэра... — улыбаясь, говорит Матвей Егорович. — Выходит, что всё новое будет старым!

— И наоборот, ибо один поэт сказал: «Да, экономна мудрость бытия: всё новое в ней пьется из старья».

— Фу ты, чёрт! Как это у вас... точно из решета сыплется!

Матвей Егорович довольно смеется, его жена мило улыбается, а Николай Петрович польщен и безуспешно хочет скрыть это.

— Кто это сказал насчет банальности-то?

— Барятинский, поэт.

— А другое?

— Тоже поэт — Фофанов.

— Ловкачи! — одобряет поэтов Матвей Егорович и нараспев, с улыбкой удовольствия на лице, повторяет двустихье.

Скука как бы играет с ними, — на минуту освободит их от своих тесных объятий и снова обнимет. Тогда опять они молчат, отдуваясь от жары, увеличиваемой чаем.

В степи — только солнце.

— Да, так я заговорил об Арине, — вспоминает Мат-

вей Егорович.— Странная эта баба, смотрю я на нее и удивляюсь. Точно ее пришибло чем-то, не смеется она, не поет, говорит мало... пень какой-то. Но между тем она очень хорошо работает и так, знаете, возится с Лелей, так внимательна к ребенку...

Он говорит тихо, не желая, чтобы Арина через окно услышала его слова. Он знает, что нельзя хвалить прислугу, если не хочешь, чтобы она зазналась. Жена перебивает его, многозначительно хмурясь:

— Ну, уж ты оставь... ты не всё знаешь о ней!

Любви раба,  
Я так слаба  
В борьбе с тобой,  
О демон мой!

— тихонько и речитативом напевает Николай Петрович, стбивая такт по столу ложкой. Он улыбается.

— Что, что такое? Она... ну, ну это вы уж врете оба!

И Матвей Егорович громко хохочет. Щеки у него трясутся и со лба быстро стекают капельки пота.

— Это совсем даже не смешно! — останавливает его жена.— Во-первых, у нее на руках ребенок; во-вторых — видишь, хлеб какой? Перекис, подгорел... А почему?

— Да-а, хлеб, действительно, не того... нужно ей сделать внушение! Но, ей богу! это... этого я не ожидал! Она ведь тесто! Ах ты, чёрт возьми! Но он, кто он? Лукашка? Я ж его высмею, старого чёрта! Или это Ягодка? А-а, бритая губа!

— Гомозов... — кратко говорит Николай Петрович.

— Ну-у? Такой степенный мужик? О-о? Да вы не того — не сочиняете, а?

Матвея Егоровича очень занимает эта уморительная история. Он то хохочет с увлажненными глазами, то серьезно говорит о необходимости сделать влюбленным строгое внушение, потом представляет себе нежные разговоры между ними и снова оглушительно хохочет.

Наконец он увлекается. Тогда Николай Петрович делает строгое лицо, а Софья Ивановна круто обрывает мужа.

— Ах, черти! Ну и посмеюсь же я над ними! Это интересно... — не унимается Матвей Егорович.

Является Лука и докладывает:

— Телеграф стучит...

— Иду. Давай повестку сорок второму.

Скоро он с помощником уходит на станцию, где Лука дробно отбивает в колокол повестку. Николай Петрович садится к аппарату, запрашивая соседнюю станцию: «Могу ли отправить поезд № 42», а его начальник ходит по конторе, улыбается и говорит:

— А мы с вами вышутим их, чертей... все-таки, скуки ради, посмеемся хоть немного...

— Это позволительно!..— соглашается Николай Петрович, действуя ключом аппарата.

Он знает, что философ должен выражаться лаконически.

Им очень скоро представилась возможность посмеяться.

Как-то раз ночью Гомозов пришел к Арине на погреб, где она, по его приказанию и с разрешения начальницы, устроила себе постель среди различного хозяйственного хлама. Тут было сыро и прохладно, а изломанные стулья, кадки, доски и всякая рухлядь принимали в темноте пугающие очертания; а когда Арина была одна среди них — ей было дотога страшно, что она почти не спала и, лежа на снопах соломы с открытыми глазами, всё шептала про себя молитвы, известные ей.

Гомозов пришел, долго и молча мял и тискал ее, а когда устал, то заснул. Но скоро Арина разбудила его тревожным шепотом:

— Тимофей Петрович! Тимофей Петрович!

— Ну? — сквозь сон спросил Гомозов.

— Заперли нас...

— Как так? — спросил он, вскакивая.

— Подошли и... замком...

— Врешь ты! — испуганно и гневно шепнул он, отталкивая ее от себя.

— Погляди сам, — покорно сказала она.

Он встал и, задев за всё, что встречалось на пути, подошел к двери, толкнул ее и, помолчав, угрюмо сказал:

— Это солдат...

За дверью раздался ликующий хохот.

— Выпусти! — громко попросил Гомозов.

— Что? — раздался голос солдата.

— Выпусти, мол...

— Утром выпустим, — сказал солдат и пошел прочь.

— Дежурство у меня, чёрт! — сердито и умоляюще крикнул Гомозов.

— Я подежурю... сиди, знай!..

И солдат ушел.

— Ах, собака! — с тоской прошептал стрелочник. — Погоди... запирать меня все-таки ты не можешь... Есть начальник... что ты ему скажешь? Он спросит — где Гомозов, а? Вот ты и отвечай ему тогда...

— Да это, поди-ка, начальник сам и велел ему, — тихо и безнадежно сказала Арина.

— Начальник? — испуганно переспросил Гомозов. — Зачем же это ему? — И, помолчав, он крикнул ей: — Врешь ты!

Она ответила тяжелым вздохом.

— Что же это будет? — спросил стрелочник, усаживаясь на кадку около двери. — Срам-то мне какой! А всё ты, уродина чёртова, всё ты это... у-у!

Сжав кулак, он погрозил в сторону, откуда доносился звук ее дыхания. Она же молчала.

Сырая тьма окружала их, — тьма, пропитанная запахом кислой капусты, плесени и еще чего-то острого, щекотавшего нос. В дверь сквозь щели пробивались ленты лунного света. За дверьми грохотал товарный поезд, уходивший со станции.

— Что молчишь, кикимора? — заговорил Гомозов со злобой и презрением. — Как теперь я буду? Наделала делов и молчишь? Думай, чёрт, что будем делать? Куда от сраму мне деваться? Ах ты, господи! На что я связался с этакой!..

— Я прощения попрошу, — тихо объявила Арина.

— Ну?

— Может, простят...

— Да мне что из того? Ну, простят тебя, ну? Ведь срам-то на мне останется или нет? Надо мной смеяться-то будут?

Помолчав, он снова начинал укорять и ругать ее.

А время шло жестоко медленно. Наконец женщина с дрожью в голосе попросила его:

— Прости ты меня, Тимофей Петрович!

— Колом бы тебя по башке простить! — зарычал он.

И опять наступило молчание, угрюмое, подавляющее, полное тупой боли для двух людей, заключенных во тьме.

— Господи! хоть бы светало скорее, — тоскливо взмолилась Арина.

— Молчи ты... я те вот засвечу! — пригрозил ей Гомозов и снова начал бросать в нее тяжелыми укорами. Потом наступила пытка тишиной и молчанием. А жестокость времени всё увеличивалась с приближением рассвета, точно каждая минута медлила исчезнуть, наслаждалась смешным положением этих людей.

Гомозов задремал наконец и проснулся от крика петуха, раздававшегося рядом с погребом.

— Эй, ты... ведьма! Спишь? — глухо спросил он.

— Нет, — тяжелым вздохом ответила Арина.

— А то бы заснула! — с иронией предложил стрелочник. — Эх ты...

— Тимофей Петрович, — почти взвизгнув, воскликнула Арина, — не сердись ты на меня! Пожалей ты меня! Христом богом прошу — пожалей! Одна ведь я, одна-то одинешенька! И ты мне... родной ты мой — ведь ты мне...

— Не вой — не смейся людей-то! — строго остановил Гомозов истерический шёпот женщины, несколько смягчавший его. — Молчи уж... коли бог убил...

И снова они молча ждали каждой следующей минуты. Но минуты шли, не принося им ничего. Вот, наконец, в щелях двери сверкнули лучи солнца и блестящими нитями прорезали тьму на погребу. Вскоре около погреба раздались шаги. Кто-то подошел к двери, постоял и удалился.

— М-мучители! — замычал Гомозов и плюнул. Снова ожидание, молчаливое и напряженное.

— Господи!.. помилуй... — прошептала Арина.

Как будто тихо подкрадываются к погребу... Гремит замок, и раздается строгий голос начальника:

— Гомозов! Бери Арину за руку и выходи — ну, живо!..

— Иди ты! — вполголоса сказал Гомозов. Арина подошла и, опустив голову, стала рядом с ним.

Дверь отворилась, перед ней стоял начальник станции. Он кланялся и говорил:

— С законным браком поздравляю! Пожалуйте! Музыка — играй!

Гомозов шагнул через порог и остановился, оглушенный взрывом нелепого шума. За дверью стояли Лука, Ягодка и Николай Петрович.

Лука бил кулаком по ведру и козлиным тенором орал что-то; солдат играл на своем рожке, а Николай Петрович махал в воздухе рукой и, надув щеки, делал губами, как труба:

— Пум! Пум! Пум-пум-пум!

Ведро дребезжало, рожок выл и ревел. Матвей Егорович хохотал, взявшись за бока. Хохотал и его помощник при виде Гомозова, растерянно стоявшего перед ними, с серым лицом и сконфуженной улыбкой на дрожащих губах. За ним неподвижно, точно каменная, стояла Арина, опустив голову низко на грудь.

Тимофею да Орна  
Сладки речи говорила...

— пел Лука ерунду и строил Гомозову отвратительные рожи. А солдат придвинулся к Гомозову и, подставив рожок к его уху, играл, играл.

— Ну, идите... ну... под руку бери ее!.. — кричал начальник станции, надрываясь от хохота. На крыльце сидела жена и качалась из стороны в сторону, визгливо вскрикивая:

— Мотя... будет... ах! умру!

За миг свиданья  
Терплю страданья!

— пел Николай Петрович под самым носом Гомозова.

— Ур-ра новобрачным! — скомандовал Матвей Егорович, когда Гомозов шагнул вперед. И все четверо дружно гаркнули «ура», причем солдат кричал ревущим басом.

Арина шла за Гомозовым, подняв голову, раскрыв рот и свесив руки вдоль корпуса. Глаза у нее тупо смотрели вперед, но едва ли видели что-нибудь.

— Мотя, вели им... поцеловаться!.. ха, ха, ха!

— Новобрачные, горько! — закричал Николай Петрович, а Матвей Егорович даже прислонился к дереву, ибо от смеха не мог держаться на ногах. А ведро всё грохотало, рожок выл, ревел, дразнил, и Лука приплясывая пел:

А и густо ты, Орина,  
Да нам кашу наварила!

И Николай Петрович снова делал губами:

— Пум-пум-пум! Тра-та-та! Пум! пум! Тра-ра-ра!

Гомозов дошел до двери в казарму и скрылся. Арина осталась на дворе, окруженная беснующимися людьми. Они орали, хохотали, свистали ей в уши и прыгали вокруг нее в припадке безумного веселья. Она стояла перед ними с неподвижным лицом, растрепанная, грязная, и жалкая, и смешная.

— Новобрачный удрал, а... она осталась, — кричал Матвей Егорович жене, указывая на Арину, и снова корчился от хохота.

Арина повернула к нему голову и пошла мимо казармы — в степь. Свист, крик, хохот провожали ее.

— Будет! Оставьте! — кричала Софья Ивановна. — Дайте ей очухаться! Обед нужно готовить.

Арина уходила в степь, туда, где за линией отчуждения стояла щетинистая полоса хлеба. Она шла медленно, как человек, глубоко задумавшийся.

— Как, как? — переспрашивал Матвей Егорович участников этой шутки, рассказывавших друг другу разные мелкие подробности поведения новобрачных. И все хохотали. А Николай Петрович даже тут нашел время и место вставить маленькую мудрость:

Смеяться, право, не грешно  
Над тем, что кажется смешно!

— сказал он Софье Ивановне и внушительно добавил: — Но много смеяться — вредно!

Смеялись на станции в тот день много, но пообедали плохо, потому что Арина не явилась стряпать и обед готовила сама начальница станции. Но и дурной обед



не убил хорошего настроения. Гомозов не выходил из казармы до времени своего дежурства, а когда вышел, то его позвали в контору начальника, и там Николай Петрович, при хохоте Матвея Егоровича и Луки, стал расспрашивать Гомозова, как он «увлекал» свою красавицу.

— По оригинальности — это грехопадение номер первый, — сказал Николай Петрович начальнику.

— Грехопадение и есть, — хмуро улыбаясь, говорил степенный стрелочник. Он понял, что если сумеет рассказать об Арине, подтрунивая над нею, то над ним будут меньше смеяться. И он рассказывал:

— Вначале она мне всё подмаргивала.

— Подмаргивала?! Ха-ха-ха! Николай Петрович, вы только вообразите, как это она, этакая р-рожа, должна была ему подмаргивать? Прелесть!

— Значит, подмаргивает, а я вижу и думаю про себя — шалишь! Потом, стало быть, говорит, хочешь, говорит, я тебе рубахи сошью!

— Но «не в шитье была тут сила»... — заметил Николай Петрович и пояснил начальнику: — Это, знаете, из Некрасова — из стихотворения «Нарядная и убогая»... Продолжай, Тимофей!

И Тимофей продолжал говорить, сначала насилуя себя, затем постепенно возбуждаясь ложью, ибо видел, что ложь полезна ему.

А та, о которой он говорил, лежала в это время в степи. Она вошла глубоко в море хлеба, тяжело опустилась там на землю и долго неподвижно лежала на земле. Когда же солнце накалило ей спину до того, что она уже не могла больше терпеть жгучих лучей его, она перевернулась вверх грудью и закрыла лицо руками, чтобы не видеть неба, слишком ясного, и чрезмерно яркого солнца в глубине его.

Сухо шуршали колосья хлеба вокруг этой женщины, раздавленной позором, и неугомонно, озабоченно трещали бесчисленные кузнечики. Было жарко. Попробовала она вспомнить молитвы и не могла: перед глазами у нее вертелись смеющиеся рожи, а в ушах ныл тенор Луки, раздавался вой рожка и хохот. От этого или от жары ей теснило грудь, и вот она, расстегнув кофту,

подставила свое тело лучам солнца, ожидая, что так ей будет легче дышать. И в то время, как солнце жгло ее кожу, изнутри ее грудь сверлило ощущение, похожее на изжогу. Тяжело вздыхая, шептала она изредка:

— Господи!.. помилуй.

В ответ ей раздавался сухой шелест колосьев да стрекот кузнечиков. Приподнимая голову над волнами хлеба, она видела их золотистые переливы, черную трубу водокачки, торчавшую далеко от станции, в балке, и крыши станционных построек. Больше ничего не было в необъятной желтой равнине, покрытой голубым куполом неба, и Арине казалось, что она одна на земле, лежит в самой середине ее и уж никто никогда не придет разделить тяжесть ее одиночества,— никто, никогда...

К вечеру она услышала крики:

— Арина-а! Аришка, чё-орт!..

Один голос был голосом Луки, другой — солдата. Ей хотелось услышать третий, но он не позвал ее, и тогда она заплакала обильными слезами, быстро сбегавшими с ее рябых щек на грудь ей. Плакала она и терлась голой грудью о сухую теплую землю, чтобы заглушить эту изжогу, всё сильнее терзавшую ее. Плакала и молчала, сдерживая стоны, точно боялась, что кто-нибудь услышит и запретит ей плакать.

Потом, когда наступила ночь, встала и медленно пошла на станцию.

Дойдя до станционных построек, она прислонилась спиной к стене погребца и долго стояла тут, глядя в степь. Являлись и исчезали товарные поезда; она слышала, как солдат рассказывал кондукторам о ее позоре и кондуктора хохотали. Хохот далеко разносился по пустынной степи, где чуть слышно свистали суслики.

— Господи! помилуй!.. — вздыхала женщина, плотно прижимаясь к стене. Но вздохи эти не облегчали тяжести, давившей ей сердце.

Под утро она осторожно пробралась на чердак станции и там повесилась, устроив петлю из веревки, на которой сушила выстиранное ею белье.

Через два дня по запаху трупа Арину нашли. Сначала все испугались, потом стали рассуждать, кто виноват в этом деле. Николай Петрович неопровержимо дока-

зал, что виноват — Гомозов. Тогда начальник станции дал стрелочнику в зубы и грозно велел ему молчать.

Явились власти, произвели следствие. Выяснилось, что Арина страдала меланхолией... Рабочим дорожного мастера было поручено свезти ее в степь и там закопать. Когда же это было исполнено — на станции снова воцарились порядок и спокойствие.

И снова ее обитатели начали жить по четыре минуты в сутки, изнывая от скуки и безлюдья, от безделья и жары, с завистью следя за поездами, пролетающими мимо них.

...А зимой, когда по степи с воем и ревом носятся вьюги, осыпая маленькую станцию снегом и дикими звуками, — обитателям станции живется еще скучнее.

# ПРОХОДИМЕЦ

## I

### ВСТРЕЧА С НИМ

...Натыкаясь во тьме на плетни, я храбро шагал по лужам грязи от окна к окну, негромко стучал в стекла пальцем и провозглашал:

— Пустите прохожего ночевать?!

В ответ меня посылали к соседям, в «сборню», к чёрту; из одного окна обещали натравить на меня собак, из другого — молча, но красноречиво погрозили большим кулаком. А какая-то женщина кричала мне:

— Иди-ка, иди прочь, пока цел! У меня муж дома...

Я понял ее так: очевидно, она принимала ночлежников только в отсутствие мужа... Пожалев, что он дома, я пошел к следующему окну.

— Добрые люди! Пустите прохожего ночевать?!

Мне ласково ответили:

— Иди с богом — дальше!

А погода была скверная: сыпался мелкий холодный дождь, грязная земля была плотно окутана тьмой. Иногда откуда-то налетал порыв ветра; он тихо выл в ветвях деревьев, шелестел мокрой соломой на крышах и рождал еще много невеселых звуков, нарушая скорбной музыкой темную тишину ночи. Слушая эту печальную прелюдию к суровой поэме, которую зовут — осень, люди под крышами, вероятно, были дурно настроены и поэтому не пускали меня ночевать. Я долго боролся с этим их решением, они стойко сопротивлялись мне и, наконец, уничтожили мою надежду на ночлег под кровлей. Тогда я вышел из деревни в поле, думая, что тут, быть может, найду стог сена или соломы, — хотя только случай мог указать мне их в этой густой, тяжелой тьме.

Но вот я вижу, что в трех шагах от меня возвышается что-то большое и еще более темное, чем тьма. Догадываюсь — это хлебный магазин. Хлебные магазины строятся не прямо на земле, а на сваях или на камнях; между полом магазина и землей есть пространство, где порядочный человек может свободно поместиться, — стоит только лечь на живот и проползти туда.

Очевидно, судьба хотела, чтобы я провел эту ночь не под крышей, а под полом. Довольный этим, я полз по сухой земле, ощупывая более ровное место для ложа. И вдруг во тьме раздается спокойно предупреждающий голос:

— Держите левее, почтенный...

Это было поистине неожиданно.

— Кто тут? — спросил я.

— Человек... с палкой!..

— Палка и у меня есть...

— А спички есть?

— И спички.

— Вот хорошо!

Я не видел в этом ничего хорошего, ибо, на мой взгляд, хорошо мне могло быть только тогда, когда бы я имел хлеб и табак, а не только спички.

— А что, в деревне не пускают ночевать? — спросил невидимый голос.

— Не пускают, — сказал я.

— И меня тоже не пустили...

Это было ясно, — если только он просился на ночлег. Но он мог и не проситься, а сюда залез, быть может, лишь для того, чтоб выждать удобный момент для совершения какой-нибудь рискованной операции, требующей покрова ночи. Конечно, всякий труд угоден богу, но все-таки я решил крепко держать в руке мою палку.

— Не пустили, черти! — повторил голос. — Дубье! В хорошую погоду пускают, а вот в такую — хоть реви!

— А вы куда идете? — спросил я.

— В... Николаев. А вы?

Я сказал куда.

— Попутчики, значит. А ну, зажгите-ка спичку, я закурю.

Спички отсырели; я очень долго и нетерпеливо шар-

кал ими доски над моей головой. Вот, наконец, вспыхнул маленький огонек, — из тьмы выглянуло бледное лицо в черной бороде.

Большие умные глаза с усмешкой посмотрели на меня, потом из-под усов блеснули белые зубы, и человек сказал мне:

— Хотите курить?

Спичка догорела. Зажгли другую и при свете ее еще раз осмотрели друг друга, после чего мой соночлежник уверенно объявил:

— Ну, нам, кажется, можно не стесняться, — берите папиросу!

У него в зубах была другая — разгораясь, она освещала его лицо красноватым светом. Около глаз и на лбу у этого человека много глубоких, тонко прорезанных морщин. Он одет в остатки старого ватного пальто, подпоясан веревкой, а на ногах у него лапти из цельного куска кожи — «поршни», как их зовут на Дону.

— Странник? — спросил я.

— Пешешествую. Вы?

— Тоже.

Он завозился, брякнуло что-то металлическое, — очевидно, чайник или котелок, необходимые принадлежности странника по святым местам; но в его тоне не было оттенка того лисьего благочестия, которое всегда выдает странника, в его тоне не звучала обязательная для странника вороватая елейность, и пока в речах его не было ни вздохов благоговейных, ни слов «от писания». Вообще он не походил на профессионалиста — шатуна по святым местам, эту худшую разновидность неисчислимой «бродячей Руси», — худшую по своим моральным качествам и вследствие массы лжи и суеверий, которыми люди этого типа заражают духовно голодную, алчущую деревню. К тому же и шел он на Николаев, где нет мощей...

— А откуда шагаете? — спросил я.

— Из Астрахани...

В Астрахани тоже нет мощей. Тогда я спросил его:

— Значит, вы от «моря до моря» ходите, а не по святым местам?

— И во святые захожу. Почему же не зайти во святое место? Там всегда хорошо кормят... особенно, если со

мнихами в интимность вступить. Наш брат Исакий ими очень уважается, потому что разнообразие вносит в их жизнь. А вы как насчет этого?

— Пользуюсь.

— Кормовые места. А откуда идете? Ага! Путина протяженная. Запаливайте спичку — еще покурим. Когда куришь, как будто теплее становится...

Было действительно холодно: и от ветра, который нахально врывается к нам, и от мокрой одежды.

— Может быть, вы есть хотите? Я имею хлеб, картофель и две жареных вороны... дать?

— Ворону? — спросил я с любопытством.

— А вы их не едите? Напрасно...

Он сунул мне большую краюху хлеба.

— Я не пробовал ворон...

— Нате, попробуйте. Осенью они вкусные. И потом — гораздо приятнее есть ворону, выуженную своей рукой, чем хлеб или сало, поданные тебе рукой ближнего из окна дома его... который всегда, после того, как примешь милостыню, — хочется поджечь!..

Это он резонно говорил, резонно и интересно. Употребление ворон в пищу было ново для меня, но не вызвало во мне удивления: я знал, что в Одессе зимой «раклы» едят крыс, в Ростове — улиток. Что тут невероятного? Даже парижане, находясь в осадном положении, с удовольствием ели всякую дрянь, а есть люди, которые всю жизнь находятся в осадном положении.

— А как же вы ловите ворон? — осведомился я.

— Не ртом, конечно. Их можно убивать палкой или камнем, но вернее — удить! Нужно привязать на конец длинной бечевки кусок сала, мяса или корку хлеба. Ворона схватит, проглотит и — тащи ее! Потом, свернув ей голову, ощипать, выпотрошить и, воткнув на палку, жарить над костром.

— Хорошо бы теперь посидеть у костра! — вздохнул я.

Холод становился ощутительнее. Казалось, что и сам ветер иззяб: он с таким-болезненно дрожащим визгом бился о стены магазина. Порою вместе с ним прилетал вой собаки, тоскливый звук сторожевого колокола сельской церкви. Капли дождя тяжело падали с крыши на мокрую землю.

— Скучно лежать молча!.. — сказал мой соночлежник.  
— А говорить — холодно, — заметил я.  
— А вы суньте ваш язык за пазуху, согреется!  
— Спасибо за совет...  
— Вместе, что ли, пойдем? Нам по дороге...  
— Пойдемте!  
— Так познакомимся... я, например, дворянин Павел Игнатьев Промтов...

Отрекомендовался и я.

— Ну-с, так вот! Теперь спрошу: вы как попали на стезю сию? По слабости к водке, что ли?

— От скуки жизни...

— И это возможно... А вы знаете одно сенатское издание, именуемое «Справки о судимости»?

— Знаю...

— Ваше имя там напечатано?

Я в то время еще нигде не печатался, о чем и заявил ему.

— И я тоже не пропечатан...

— Но надеетесь?

— Всё в руке божией!

— А вы, кажется, веселый человек?

— О чем горевать?!

— Не всякий скажет это, будучи в вашем положении, — усомнился я в искренности его слов.

— Положение — сырое и холодное, но ведь оно изменится с рассветом. Взойдет солнце — ведь оно взойдет? Тогда мы вылезем отсюда и будем пить чай, поедем, согреемся... Разве плохо?

— Хорошо! — согласился я.

— Ну вот видите! Всё дурное имеет свои хорошие стороны...

— Всё хорошее — свои дурные...

— Аминь! — тоном диакона возгласил Промтов.

Ей-богу, с ним весело! Я жалел, что не могу видеть его лица, которое, судя по богатству интонации голоса, должно было очень выразительно играть. Мы долго говорили с ним о пустяках, скрывая за ними обоюдное желание ближе узнать друг друга, и я внутренне восхищался той ловкостью, с которой он, умалчивая о себе, заставлял меня высказываться пред ним.



Пока мы беседовали, дождь перестал, тьма незаметно пачала таять; уже на востоке загоралась нежным блеском розоватая полоса рассвета. С рассветом вместе явилась и свежесть утра — приятная и бодрящая, когда она застант человека одетым в сухое и теплое платье.

— Не найдем ли мы тут чего-нибудь для костра? — спросил Промтов.

Ползая по земле, мы поискали, но ничего не нашли. Тогда решили отодрать какую-то доску, не особенно крепко прибитую к своему месту. Отодрав, превратили ее в щепы. Затем Промтов предложил попробовать, нельзя ли провертеть дыру в полу магазина, дабы достать зерен ржи, — ибо, если рожь сварить в воде, — получается хорошая пища. Я протестовал, заявив, что это неудобно: мы выпустим из магазина несколько пудов ржи для того, чтоб взять ее два-три фунта.

— А вам какое до этого дело? — спросил Промтов.

— Нужно, я слышал, иметь уважение к чужой собственности...

— Это, батенька, только тогда нужно, когда есть своя! И нужно только потому, что она для всякого другого — чужая...

Я замолчал, думая про себя, что этот человек должен быть крайним либералом в вопросе о собственности и что приятность знакомства с ним, наверное, имеет свои неудобства.

Явилось солнце, веселое, яркое. Голубые куски неба смотрели из разорванных туч, медленно и устало плывших на север. Всюду сверкали капли дождя. Мы с Промтовым вылезли из-под магазина и пошли по полю, по щетине скошенного хлеба, к зеленой извилистой ленте деревьев вдали от нас.

— Там — река, — сказал мой знакомый.

Я смотрел на него и думал, что ему, должно быть, лет за сорок и жизнь для него была не шуткой. Его глаза, темные и глубоко запавшие в орбиты, блестели спокойно и самоуверенно, а когда он немного прищуривал их, лицо его принимало выражение лукавое и сухое. В твердой и спорой походке, в ранце из кожи, ловко прикрепленном на спине, во всей его фигуре видна была

привычка к бродячей жизни, волчья опытность и лисья споровка.

— Пойдем мы с вами так,— говорил он, — сейчас за рекой, верстах в шести, будет село Манжелея, а от него прямая дорога на Новую Прагу. Около этого местечка живут штундисты, баптисты и другие мечтающие мужички... Они прекрасно кормят, если им соврать что-нибудь утешительное. Но о писании с ними — ни слова! Они сами в писании как дома...

Мы выбрали себе место недалеко от группы осокорей, набрали камней на берегу речонки, мутной от дождя, и на камнях развели костер. Верстах в двух от нас на возвышенности стояла деревня, солома ее крыш блестела розовым золотом. Острые тополя окрашены в краски осени. Тополя окутывал серый дым труб, затемняя оранжевые и багряные цвета листвы и нежно-голубое небо между нею.

— Я буду купаться,— объявил Промтов. — Это необходимо после такой скверной ночи. Советую и вам. А пока мы освежимся — чай вскипит. Знаете, нужно заботиться, чтобы естество наше всегда было чисто и свежо.

Говоря, он раздевался. Тело у него было породистое, красиво сложенное, с крепкими, хорошо развитыми мускулами. И, когда я увидел его обнаженным, грязные лохмотья, сброшенные им с себя, показались мне более гнусными, чем казались до сей поры... Окунувшись в жгучую воду реки, дрожащие и синие от холода, мы выскочили на берег и торопливо одели наше платье, согретое у костра. Потом сели к огню пить чай.

У Промтова была железная кружка; он налил в нее кипящего чаю и предложил его сначала мне. Но чёрт, который всегда готов посмеяться над человеком, дернул меня за одну из лживых струн сердца, и я великодушно заявил:

— Спасибо! Пейте сначала вы, я подожду!

Я сказал это в твердой уверенности, что Промтов непременно захочет соревноваться со мною в великодушии и вежливости,— тогда я уступил бы ему и первый выпил бы чай. Но он просто сказал:

— Ну, хорошо...

И поднес кружку к своему рту.

Я отвернулся в сторону и стал пристально смотреть в пустынную степь, желая убедить Промтова, будто я не вижу, как смеются надо мной его темные глаза. А он прихлебывал чай, жевал хлеб, вкусно чмокая губами, и делал всё это мучительно медленно. У меня от холода даже внутренности дрожали, я готов был в горсть себе налить кипятку из чайника.

— Что, — засмеялся Промтов, — невыгодно деликатничать-то?

— Увы! — сказал я.

— Ну и прекрасно! Учитесь... Зачем уступать другому то, что тебе выгодно или приятно? Ведь хотя и говорят, что все люди — братья, однако никто не пробовал доказать это метрическими справками...

— Уж будто вы именно так думаете?

— А чего ради я говорил бы не так, как думаю?

— Знаете, ведь человек всегда немножко рисуется, кто бы он ни был...

— Не пойму я, чем вызвал у вас такое недоверие ко мне!.. — пожал плечами этот волк. — Уж не тем ли, что дал вам хлеба и чаю? Так я сделал это не из братских чувств, а из любопытства. Вижу человека не на своем месте, и хочется знать, как и чем его вышибло из жизни...

— И мне тоже этого хочется... Скажите мне: кто и что вы? — спросил я у него.

Он пытливо посмотрел на меня и, помолчав, сказал:

— Человек никогда точно не знает, кто он... Нужно спрашивать у него, за кого он себя принимает.

— Хотя бы так!

— Ну... думаю, что я человек, которому в жизни тесно. Жизнь узка, а я — широк... Может быть, это неверно. Но на свете есть особый сорт людей, родившихся, должно быть, от Вечного жида. Особенность их в том, что они никак не могут найти себе на земле места и прикрепиться к нему. Внутри их живет тревожный зуд желанья чего-то нового... Мелкие из них никогда не могут выбрать себе штанов по вкусу и от этого всегда не удовлетворены, несчастны; крупных ничто не удовлетворяет — ни деньги, ни женщины, ни почет... Таких людей не любят: они дерзновенны и неуживчивы. Ведь

большинство ближних — пяточки, ходовая монета... и вся разница между ними только в годах чеканки. Этот — стерт, тот — поновее, но цена им одна, материал их одинаков, и во всем они тошнотворно схожи друг с другом. А я не пятак, — хотя, может быть, я семишник... Вот и всё!

Он говорил, скептически усмехаясь, и мне казалось, что он сам не верит себе. Но он возбуждал во мне жадное любопытство. Я решил идти за ним, пока не узнаю — кто он? Было ясно, что это так называемый «интеллигентный человек». Их много среди бродяг, все они — мертвые люди, потерявшие всякое уважение к себе, лишенные способности к самооценке, и живут лишь тем, что с каждым днем своей жизни падают всё ниже в грязь и гадость; потом растворяются в ней и исчезают из жизни.

Но у Промтова было что-то твердое, стойкое. Он не жаловался на жизнь, как это делают все.

— Ну что же? Идем? — предложил он.

— Идем!

Согретые чаем и солнцем, мы пошли берегом реки вниз по ее течению.

— А вы как добываете пропитание? — спросил я Промтова. — Работаете?

— Ра-ботаю? Нет, я до этого не охотник...

— Но как же?

— А — вот увидите!

Он замолчал. Потом, пройдя несколько шагов, стал насвистывать сквозь зубы какую-то веселую песню. Глаза его уверенно и зорко оглядывали степь, и шагал он твердо, как человек, идущий к цели.

Я смотрел на него, и желание понять, с кем я имею дело, сильнее разгоралось во мне.

...Когда мы вошли в улицу села, к нам под ноги бросилась маленькая собака и с громким лаем стала вертеться вокруг нас. При каждом взгляде на нее она, пугливо взвизгивая, отскакивала в сторону, как мяч, и снова бросалась на нас, ожесточенно лая. Выбегали ее подружки, но они не отличались таким усердием: тявкнут раз-два и скроются. Их равнодушие, кажется, еще более возбуждало рыжую собачонку.

— Видите, какая подлая натура? — сказал Промтов, кивая головой на ревностную собаку. — И ведь лжет она, понимает, что лаять не нужно, она не зла — она труслива, но — желает выслужиться перед хозяином. Черта чисто человеческая и, несомненно, воспитана в ней человеком. Портят люди зверей... Скоро наступит время, когда и звери будут такими же неискренними, как вот мы с вами...

— Благодарю, — сказал я.

— Не на чем. Однако мне нужно пострелять...

На его выразительном лице явилась скорбная мина, глаза стали глупыми, весь он согнулся, сжался, и лохмотья на нем встали стоймя, как плавники ерша.

— Надо обратиться к ближнему с просьбой о хлебе, — объяснил он мне свое превращение и стал зорко смотреть в окна хат. У одной хаты под окном стояла женщина, кормя грудью ребенка. Промтов поклонился ей и просительно сказал:

— Ненько моя! А дайте ж странным людям хлеба!

— Не прогневайтесь! — ответила женщина, окинув нас подозрительным взглядом.

— Чтоб у тебя в грудях сперло, суча дочка, — сурово пожелал ей мой спутник.

Женщина взвизгнула, как ужаленная, и бросилась к нам.

— Ах вы...

Промтов, не двигаясь с места, смотрел ей в лицо своими черными глазами, и выражение их было дико и зловеще... Баба побледнела, вздрогнула и, что-то пробормотав, быстро пошла в хату.

— Идемте, — предложил я Промтову.

— А вот подождем, пока она вынесет хлеба...

— Она вышлет на нас мужа с вилами.

— Много вы понимаете, — скептически усмехнулся этот волк.

Он был прав, — женщина явилась перед нами, держа в руках полкаравая хлеба и солидный шматок сала. Молча и низко поклонившись Промтову, она просительно сказала ему:

— Пожалуйте, возьмите, человеке божий, не гневайтесь...

8.

29 Авг. 1898.

За доброту и профессию - благодарю  
Сергея Довлатова!

Несколько изданий книжки написанной  
Олесевым, который и издательство  
основано им самим. Интересно, и еще  
свернувшись издательский разрыв  
во "Взгляд", "Проходимому". Издатель  
види Олесеву - пришло, пришло,  
ссылка в книге и Проходимому. Но у  
меня в книге обильно этой книги.  
Не возмущает ли вас книга об "Известиях"?

Все это будет выдано в дур-  
ном виде, буду в состоянии, и у вас в  
издании об известиях Проходимому  
известно, недавно издана. Скажите  
мне, и вы мне прокомментируйте книгу?

Довлатов - Не знаете Довлатова  
урава Довлатов - очень интересный человек

— Спаси тебя боже от злого ока, от ворожбы и трясы!.. — внушительно напутствовал ее Промтов. И мы пошли...

— Послушайте, — сказал я, когда мы были уже далеко от хаты, — что это у вас какой странный... чтобы не сказать более, способ прошения?

— Самый верный... Если на бабу стрельнуть хорошенько глазами — она примет за колдуна, испугается и не только хлеба — всю мужнину «кишеню» целиком отдаст. Для чего мне просить и унижаться пред ней, когда я могу приказать? Я всегда думал, что лучше вырвать, чем выпросить...

— А не случилось, что вам вместо хлеба...

— По шее давали? Нет. Сувья-ко ко мне! У меня, батенька, есть с собой магическая бумажка — стоит мне ее показать мужику, и он — раб мой... Хотите, покажу?

Я держал в своих руках эту довольно грязную и измятую бумажку и видел: это было проходное свидетельство, выданное Павлу Игнатьеву Промтову, высланному административным порядком из Петербурга, для следования из Астрахани в Николаев. На бумажке была печать астраханского полицейского правления и соответствующие подписи, — всё как следует...

— Не понимаю! — сказал я, возвращая этот документ в руки собственника. — Каким это случаем вы, высланный из Петербурга, следуете из Астрахани?

Он рассмеялся, всей своей фигурой выражая сознание своего превосходства надо мной.

— А очень просто! Подумайте — меня высылают из Петербурга и, высылая, мне предлагают выбрать — за известными исключениями — место жительства. Я называю Курск, скажем к примеру. Являюсь в Курск, иду в полицию... Честь имею представиться! Курская полиция не может принять меня любезно: у нее своих хлопот — полон рот. Она предполагает, что пред ней ловкий мазурик, если от него не могли избавиться по силе и при помощи статей закона, а должны были, для его искоренения, прибегнуть к административным мерам. И она всегда рада сбить меня куда-нибудь — хоть в омут головой! Видя ее затруднения, я прихожу к ней

на помощь. «Так как, говорю я, я сам избирал место жительства, то не пожелаете ли вы, чтоб я и еще раз избрал его?» Они рады скачать меня с шеи. Я и говорю, что готов уйти из круга их попечения о неприкосновенности личностей и имущества, но мне за мою любезность следует дать на дорогу. Они дают рублей пять, десять, больше и меньше, смотря по настроению и характеру, — всегда дают с удовольствием. Лучше потерять пять целковых, чем приобрести в лице моем лишнее беспокойство, — не так ли?

— Может быть, — сказал я.

— Да уж — именно так! И они снабжают меня бумажкой, совершенно не похожей на паспорт. В различии же этой бумажки с паспортом и заключается ее магическая сила. На ней написано: «Административно высланному из Петербурга!» Я показываю ее старосте, который по обыкновению глуп как пень, он в ней ни дьявола не понимает. Он боится ее: на ней печати. Я говорю ему: «На основании этой бумаги ты должен дать мне ночлег». Он дает. «Должен накормить меня!» Он кормит. Иначе он не может, потому что в бумаге изображено — из Петербурга, административно! Чёрт знает, что оно такое — «административно»? Может быть, это значит: послан тайно для расследования насчет кустарных промыслов, подделки фальшивой монеты, тайного винокурения, тайной продажи напитков? Или насчет того — как усердно посещают православную церковь?.. А может быть, что-нибудь касательно земли? Кто разберет, что такое значит — административно? Может быть, я кто-нибудь переряженный?.. Мужик глуп, что он понимает?

— Да, он мало понимает, — заметил я.

— И это очень хорошо! — убежденно заявил Промтов. — Именно таким он и должен быть, и в таком лишь виде он и необходим для всех, как воздух. Ибо — что есть мужик? Мужик есть для всех людей материал питательный, сиречь — съедобное животное. Например, — я! Разве возможно было бы мне пребывание на земле без мужика? Для существования человека необходимы солнце, вода, воздух и мужик!

— А земля?



— Был бы мужик — земля будет! Стоит ему прика-  
зать: «Эй ты! Сотвори землю!» И — бысть земля. Он  
не может послушаться...

Любил говорить этот веселый пройдоха! Мы давно  
уже вышли из села, прошли мимо многих хуторов, и  
уже снова пред нами стояла деревня, вся утопавшая в  
оранжевой листве осени. Промтов болтал — веселый,  
как чиж, а я слушал и думал о новом для меня виде пара-  
зита, разъедающего мужицкое призрачное благосостоя-  
ние...

— Послушайте-ка! — вдруг вспомнил я одно обсто-  
ятельство. — Мы встретились с вами при таких условиях,  
которые заставляют меня сильно усомниться в силе ва-  
шей бумажки... это как объяснить?

— Э! — усмехнулся Промтов. — Очень просто: я  
уже проходил по сим местам, а не всегда, знаете, удобно  
напоминать о себе...

Его откровенность нравилась мне. Я внимательно  
вслушивался в развязную болтовню моего спут-  
ника, пытаюсь определить, таков ли он, каким себя  
рисует.

— Вот пред нами деревня, — желаете, я покажу вам  
действие моей бумажки? — предложил Промтов.

Я отказался от этого опыта, предложив ему лучше  
рассказать мне, за что именно его наградили бумаж-  
кой.

— Ну, это, знаете ли, длинная история! — махнул  
он рукой. — Но я расскажу — когда-нибудь. А пока  
что — давайте отдохнем и закусим. Пищевой снаряд у  
нас есть в достаточном количестве, значит, идти в дерев-  
ню и беспокоить ближнего нам пока не требуется.

Отойдя в сторону от дороги, мы уселись на землю и  
стали есть. Потом, разленившись под теплыми лучами  
солнца и дуновением мягкого ветра степи, улеглись и  
заснули... А когда проснулись, солнце, багровое и боль-  
шое, уже было на горизонте, и на степь ложились тени  
южного вечера.

— Ну, вот видите, — объявил Промтов, — судьбе  
угодно, чтоб мы заночевали в этой деревушке...

— Пойдемте, пока еще светло, — предложил я.

— Не бойтесь! Сегодня ночуем под кровом...

Он был прав: в первой же хате, куда мы толкнулись с просьбой о почлеге, нас гостеприимно пригласили войти.

Хозяин хаты, крупный и добродушный «чоловік», только что приехал с поля, его «жінка» готовила «вечеряти». Четверо чумазых ребятишек, сбившись в кучу в углу хаты, смотрели оттуда любопытными и робкими глазами. Дородная «жінка» быстро и молча металась из хаты в сени и обратно, внося хлеб, кавуны, молоко. Хозяин сидел против нас на лавке и сосредоточенно тер себе поясницу, кидая на нас вопрошающие взгляды.

Вскоре с его стороны последовал обычный вопрос:

— Где ж вы идете?

— Ходим, добрый человек, бт моря дб моря, до Киева города!.. — бойко отвечал Промтов словами старой колыбельной песни.

— Чего ж там, у Киеве? — подумав, спросил человек.

— А — святые мощи?

Хозяин посмотрел на Промтова и молча сплюнул. Потом, после паузы, спросил:

— А видкиля идете?

— Я — из Петербурга, он — из Москвы, — отвечал Промтов.

— От що? — поднял брови хохол. — А що этот Петербург? Кажуть люди, що вин на мори построен... и що его заливає...

Дверь отворилась, и явилось двое хохлов...

— А мы до тебе, Михайло! — объявил один из них.

— Що ж вы до мене?

— Та воно — таке діло... Що се за люди?

— Ось цей? — спросил хозяин, кивая на нас головой.

— Эге ж!

Хозяин помолчал, подумав и покрутив головой, объявил:

— Хиба ж я знаю?

— Мабудь, вы странники? — спросили у нас.

— Эге! — ответил Промтов.

Воцарилось молчание. Три хохла рассматривали нас упорно, подозрительно, любопытно... Наконец все уселись за стол и начали с треском уничтожать кроваво-красные кавуны...

— Мабудь, который из вас есть письменный? — обратился к Промтову один из хохлов.

— Оба, — кратко ответил Промтов.

— Так не знаете ли вы, часом, що треба делать чоловіку, як в него хребет ноет и зудит до того, что ночью и спать не можно?

— Знаем! — объявил Промтов.

— А що?

Промтов долго жевал хлеб, потом вытирал руки о свои лохмотья, потом задумчиво смотрел в потолок и, наконец, решительно и даже сурово заговорил:

— Нарвать крапивы и велеть бабе на ночь тою крапивою растереть хребет, а потом смазать его конопляным маслом с солью...

— Что ж с того буде? — осведомился хохол.

— А — ничего не будет, — пожал плечами Промтов.

— Ничого?

— Как есть ничего!

— А поможет воно?

— Поможет...

— Спытаю... Спасибо вам...

— На здоровьечко! — пожелал Промтов совершенно серьезно.

Долгое молчание, хруст кавунов, шёпот детей...

— А слушайте вы, — заговорил хозяин хаты, — як того... воно не звистно вам... мабудь, краем уха зловили вы в Петербурги або в Москви... насчет Сибири... можно переселяться чи не можно? Бо земский — бреше вин чи справды, — бачил, що зовсим не можно?

— Не можно! — рубит Промтов.

Хохлы переглянулись друг с другом, и хозяин пробормотал в усы себе:

— Хай им жаба в брюхо влизел!

— Не можно! — вновь объявил Промтов, и вдруг лицо его стало каким-то вдохновенным... — А потому не можно, что незачем ехать в Сибирь. когда везде земли — сколько хочешь!

— Та воно вирно, що для покойников земли везде у волю... для живых бы треба!.. — грустно заявил один хохол.

— В Петербурге решено, — торжественно продол-

жал Промтов,— всю землю, какая есть у крестьян и у помещиков, отобрать в казну...

Хохлы дико вытаращили на него глаза и молчали. Промтов строго осмотрел их и спросил:

— Отобрать в казну — зачем?

Молчание приняло характер напряженный, и бедняги хохлы, казалось, вот-вот лопнут от ожидания. Я смотрел на них, едва сдерживая злобу, возбужденную издевательством Промтова над бедняками. Но разоблачить пред ними его нахальное вранье — значило бы отдать его на избиение им. Я молчал.

— Та говорите ж, добрый чоловік! — тихо и робко попросил один из хохлов.

— Затем отобрать, чтоб правильно разделить всю землю между крестьянами! Признано там,— Промтов ткнул рукой куда-то вбок,— что истинный хозяин земли есть крестьянин, и вот сделано распоряжение: в Сибирь не пускать, а ожидать раздела...

У одного из хохлов даже кусок кавуна вывалился из руки. Все они смотрели в рот Промтова жадными глазами и молчали, пораженные его дивной вестью. И потом — через несколько секунд — раздалось одновременно четыре восклицания:

— Мати пречиста! — истерически вздохнула «жінка».

— А... мабудь, вы брешете?

— Та говорите ж, добрый человек!

— Ось к чому цей год таки ярки зори! — убедительно воскликнул тот хохол, у которого болел хребет.

— Это — только слух,— сказал я,— может быть, всё это окажется брехней...

Промтов с искренним изумлением взглянул на меня и горячо заговорил:

— Как слух? Как так брехня?

И полилась из уст его мелодия наглейшего вранья — сладкая музыка для всех слушателей, кроме меня. Увеселительно он сочинял! Мужики готовы были вскочить ему в рот. Но мне было дико слушать эту вдохновенную ложь, она могла накликать на головы простодушных людей большое несчастье. Я вышел из хаты и лег на дворе, думая, как бы разоблачить скверную игру моего

спутника? Потом я заснул и был разбужен Промтовым на восходе солнца.

— Вставайте, идем! — говорил он.

Рядом с ним стоял заспанный хозяин хаты, а котомка Промтова топорщилась во все стороны. Мы простились с ним и ушли. Промтов был весел, пел, свистал и иронически поглядывал на меня сбоку. Я обдумывал речь к нему и молчал, шагая рядом с ним.

— Ну-с, что же вы меня не распинаете? — вдруг спросил он.

— А вы сознаете, что следует? — сухо осведомился я.

— Ну, разумеется... Я понимаю вас и знаю, что вы должны меня шпынять... Даже скажу вам, как вы будете это делать. Хотите? Но — лучше бросьте это. Что дурного в том, что мужики помечтают? Они только будут умнее от этого. А я — выигрываю. Посмотрите, как они туго набили мне котомку!

— Но ведь вы можете подвести их под палку!

— Едва ли... А хотя бы? Какое мне дело до чужой спины? Дай боже свою сберечь в целости. Это, конечно, не морально; но какое мне опять-таки дело до того, что морально и что не морально? Согласитесь, что никакого дела нет!

«Что же? — подумал я, — волк прав...»

— Положим, что они через меня потерпят, но ведь и после этого небо будет голубым, а море — соленым.

— Но неужели вам не жалко...

— Меня не жалеют... Аз есмь перекасти-поле, и всякий, кому ветер бросает меня под ноги, — пинает меня в сторону...

Он был серьезен и сосредоточенно зол, глаза его блестя мстительно.

— Я всегда так действую, а порой и хуже... Одному мужичку в Саратовской губернии от боли в животе я рекомендовал пить настоянное на черных тараканах деревянное масло — за то, что он был скуп. Да мало ли я наделал злого и смешного во время моих странствий? Сколько я разных нелепых суеверий и мечтаний ввел в духовный оборот мужика... И вообще, я не стесняюсь... Зачем бы мне это? Ради каких законов, я спрашиваю? Нет законов иных, разве во мне!

Я, слушая его, думал, что с моей стороны будет очень умно, если я вспомню первый псалом царя Давида и сойду с пути этого грешника. Но мне хотелось знать его историю.

Дня три еще провел я с ним и в эти три дня убедился во многом, о чем раньше догадывался. Так, например, мне стало ясно, каким путем в котомку Промтова попали разные ненужные вещи, вроде подсвечника медного, стамески, куска кружев, мониста. Я понял, что рисковую ребрами и даже могу попасть туда, куда обыкновенно попадают коллекционеры, подобные Промтову. Нужно было расстаться с ним... Но — его история!

И вот однажды, в день, когда дул свирепый ветер, сбивая нас с ног, и мы с Промтовым зарылись в стог соломы, дабы укрыться от холода, Промтов рассказал мне историю своей жизни...

## II

### ИСТОРИЯ ЕГО ЖИЗНИ

— Ну-с, будем рассказывать, — на пользу и в поучениевам... Начнус папаша. Папаша у меня был человек строгий и благочестивый, достукался к шестидесяти годам до полной пенсии и переехал на жительство в уездный городишко, где купил себе домик... А мамаша была женщина доброго сердца и горячей крови, — так что, может быть, мой-то папаша мне и не отец. Он меня не уважал: за всякую малость ставил в угол, на колени, а то ремнем хлестал. Мамаша же любила меня, и с ней мне хорошо жилось. За каждую записочку, которую она, бывало, пошлет со мной другу своего сердца, — а у нее друзья сердца всегда были, — я получаю от нее должное вознаграждение, а за скромность — особо. Когда папаша уехал, я остался в шестом классе гимназии и вскоре из нее был исключен за то, что перепутал учителей физики — нужно было брать уроки у нашего инспектора, а я брал их у инспекторской горничной. Инспектор на меня за это обиделся и прогнал меня к папаше. Явился я к нему и рассказываю, что вот, мол, вследствие недо-

разумений с инспектором исключен я из храма науки. А инспектор-то, оказалось, уже письмом изложил папаше всю суть дела, только умолчал благоразумно о том, что он застал меня на месте преступления, в комнате горничной, и что сам он явился туда ночью и в халате, а входя, шептал сладким голосом: «Дунечка?» Но это уж его дело. Папаша, встретив меня, стал, конечно, ругаться нехорошими словами, мамаша — тоже. Поругали и решили отправить меня во Псков, где у папашы был брат. Сослали меня в Псков; вижу я: дядюшка свирепый и глупый, но кухни хорошенькие, — стало быть, жить можно. Но оказалось, что и тут я не ко двору пришелся: через три месяца турнул меня дядюшка, обвинив в развратном поведении и в дурном влиянии на дочерей его. Снова меня разругали и снова сослали — на этот раз в деревню к тетушке, в Рязанскую губернию. Тетушка оказалась славной и веселой бабой, молодежи у нее всегда была куча! Но в то время все были заражены дурацкой модой читать запрещенные книжки... Буц! И вот меня заперли в острог, где я и просидел, должно быть, месяца четыре. Мамаша письменно сообщает мне, что я ее убил, папаша извещает меня, что я его опорочил, — очень скучные родители были у меня!

— Знаете, если бы человеку было позволено самому себе родителей выбирать, это было бы много удобнее теперешних порядков — верно? Ну-с, выпустили меня из острога, и я поехал в Нижний Новгород, где у меня сестра замужем. А сестра оказалась обремененной семейством и злой по сей причине... Что делать? На выручку мне явилась ярмарка, — поступил я в хор певцов. Голос был у меня хороший, наружность красивая, произвели меня в солисты, я и пою себе... Вы думаете, я пьянствовал при этом? Нет, я и теперь почти не пью водки, разве иногда, — очень редко, и то как согревающее. Я никогда не был пьяницей, — впрочем, напивался, если были хорошие вина, — шампанское, например. Марсалу дадите в обилии, — непременно упьюсь, ибо люблю ее, как женщин. Женщин я люблю до бешенства... а может быть, я их ненавижу... потому что, взяв что следует с женщины, я сейчас же ощущаю непреодолимое желание сделать ей какую-нибудь мерзопакость — такую, зна-

ете, чтоб она не боль и унижение чувствовала, а чтоб казалось ей, будто кровь ее и мозг костей ее папитал я отравой, и чтоб всю жизнь гадость этой отравы она носила в себе и чувствовала ее каждую минуту... Н-да! Уж за что я так на них зол — не знаю и не могу объяснить себе этого... Они всегда были благосклонны ко мне, ибо я был красив и смел. Но и лживы они! Впрочем, чѐрт с ними. Люблю я, когда они плачут и стонут,— смотришь, слушаешь и думаешь — ага! поделом вору и мука!..

— Ну-с, так вот — пою я и ничего себе, весело живу. Является однажды предо мною некий бритый человек и спрашивает: «Играть на сцене не пробовали?» — «Играл в домашних спектаклях...» — «На водевильные роли по двадцать пять рублей в месяц желаете?» Ну, и поехали мы в город Пермь. Играю я, пою в дивертисментах,— наружность — страстного брүнета, прошлое — политического преступника; дамы от меня в восторге. Дали мне вторых любовников,— играю. Пробуйте, говорят мне, героев. Пробую в «Блуждающих огнях» играть Макса, и — сам чувствую — хорошо вышло! Проиграл сезон, на лето составилось превеселое турне: играли в Вятке, играли в Уфе, даже в городе Елабуге играли. На зиму опять воротились в Пермь.

— И в эту зиму я почувствовал к людям ненависть и отвращение. Выйдешь, знаете, на сцену, да как сотни дураков и мерзавцев воткнут в тебя свои глаза — по коже пробежит этакая рабья, трусливая дрожь и щиплет тебя, точно ты в муравьиною кучу уселся. Смотрят они на тебя, как на свою игрушку, как на вещь, которую купили для своего пользования. В их воле осудить и одобрить тебя... И вот они следят — достаточно ли ты прилежно ломаешься пред ними? И если найдут, что прилежно,— орут, как ослы на привязи, а ты слушаешь их и чувствуешь себя довольным их похвалой. На время позабудешь, что ты их собственность... потом вспомнишь и за то, что тебе было приятно их одобрение, чуть не бьешь себя по морде...

— До судорог противна была мне эта публика, и часто хотелось плюнуть на нее со сцены, выругать ее самыми похабными словами. Бывало, чувствуешь, как



ее глаза впиваются в тело, точно булавки, и как жадно ждет она, чтобы ты пощекотал ее... ждет с уверенностью той помещицы, которой дворовые девки на ночь пятки чесали... Чувствуешь это ее ожидание и думаешь, как бы хорошо иметь в руке такой длинный нож, чтоб им сразу было можно всему первому ряду зрителей носы срезать... Чёрт бы их взял!

— Но я, кажется, в лиризм ударился? Так, значит, играю, ненавижу публику и хочу бежать от нее. В этом мне помогла супруга господина прокурора. Она мне не понравилась, а это ей не понравилось. Привела она в движение своего супруга, и очутился я в городе Саранске — точно пылинку ветром унесло меня с берегов Камы. Эхма! Всё — как сон в сей подлой жизни.

— Сижу в Саранске, и сидит со мной молодая жена одного пермяка, купеческого звания. Баба она была решительная и очень любила мое искусство. Вот мы с ней и сидим. Денег у нас нет, знакомств — тоже. Мне скучно, ей тоже. Она мне и стала говорить от скуки, что я ее не люблю. Сначала я это терпел, но потом надое-ло; я и говорю ей: «Да поди ты от меня ко всем чертям!» — «Так-то?» — говорит. Схватила револьвер, трах в меня — прямо в плечо левое засадила пулю; немножко ниже — и был бы я в раю. Ну, я, конечно, упал. А она испугалась да со страха-то в колодец и прыгнула. До смерти размокла там.

— А меня водворили в больницу. Ну, разумеется, явились дамы: их хлебом не корми, лишь бы им повертеться около какого-нибудь амурного дела. Вертелись они вокруг меня, пока я не встал на ноги, а когда встал, то определили меня секретарем в полицию. Что ж — состоять при полиции все-таки удобнее, чем под надзором полиции. Вот я и живу месяц, два, три...

— Именно в эти дни, первый раз в моей жизни, испытал я приступ удручающей, коверкающей душу скуки... Это самое мерзостное настроение из всех, человека уродующих... Всё вокруг перестает быть интересным, и хочется чего-то нового. Бросаешься туда, сюда, ищешь, ищешь, что-то находишь — берешь и скоро видишь, что это совсем не то, что нужно... Чувствуешь себя внутренне связанным, неспособным жить в мире

с самим собой,— а этот мир всего нужнее человеку!  
Подлое состояние...

— И довело оно меня до того, что я женился. Такой поступок для человека моего характера только и возможен с тоски или похмелья.

— Жена была дочерью священника; жила она с матерью — отец умер — и пользовалась полной свободой. Имела свой собственный домик, даже можно сказать — домище, имела деньги. Девица она была красивая, неглупая, веселого характера, но очень любила читать книжки, и это скверно отражалось и на ней и на мне. Постоянно она вылавливала из книжек разные правила жизни: уловит какое-нибудь правило и сейчас с ним ко мне. А я со времен младых ногтей моих морали терпеть не мог... Сначала я посмеивался над женой, а потом стало мне тошно ее слушать... Вижу я, что всегда она щеголяет наряженная в разные книжные выдумки — к женщине вычитанное из книжек идет, как к лакею костюм с барского плеча. Стали мы поругиваться... Познакомился я с одним попом; был там этакий поп — забулдыга, гитарист, певец,— замечательно трепака откалывал и выпить был мастер!.. Для меня он — лучший человек в городе, потому что с ним мне было весело, а жена меня за попа ругает и всё хочет втащить в свою компанию из разных книжников и фарисеев. К ней являлись по вечерам все серьезные и «лучшие люди города», как она их называла,— для меня они были серьезны, как угнетенники. Я и сам любил читать в то время, но никогда не умел беспокоиться по поводу прочитанного; да и не понимаю, зачем это нужно? А они,— жена и иже с нею,— когда, бывало, прочтут какую-нибудь книжку, так в такое беспокойство приходят, точно каждому из них по сто заноз в кожу попало. По-моему так: книжка? — хорошо! интересная? — еще лучше! Но всякую книжку человек писал, а выше своей головы он не может прыгнуть. Книжки все пишутся для одной цели: все хотят показать, что хорошее — хорошо, а дурное — дурно. И толк будет один, прочитаешь ли сто их или тысячу. Жена пожирала книжки десятками — так что я прямо начал уже говорить ей, что мне жилось бы много лучше, если б я на попе женился. Поп только и спасал меня от скуки, а без него

я бы убежал от жены... Бывало, как только фарисеи к ней — я к попу. Так прожил я года полтора. От скуки стал с попом в церкви служить. То апостол читаю, то, стоя на клиросе, пою: «От юности моя мнози борют мя страсти».

— Много претерпел я за это время и во многом буду оправдан на страшном суде за это терпение. Но вот приехала к попу моему племянница, — приехала потому, что был он вдов, и потому, что его свиньи съели, не совсем съели, а испортили его вид. Он, знаете, упал пьяный на дворе да и заснул, а свиньи пришли во двор и объели ему ухо и еще что-то. Свиньи всякую дрянь едят. От этого ущерба захворал мой поп и призвал племянницу, чтоб она за ним ухаживала, а я за ней. Ну, мы с нею очень ревностно принялись за дело, и с успехом. А жена моя узнала и, конечно, ругается. Что мне делать? И я стал ругаться. Она и говорит мне: «Пошел вон из моего дома!» Я подумал, подумал и мирно ушел — совсем ушел из города. Так и разрешил узы моего брака... если она жива, супруга моя, так наверное уже считает меня благополучно умершим. Никогда не чувствовал я ни малого желанья увидеть ее... Думаю, что и она тоже хорошо меня забыла, да живет в мире!

— И вот, снова свободный, прибыл я в город Пензу. Толкнулся в полицию — места нет; туда, сюда — места нет! Поступил в псаломщики, пою и читаю. В церкви опять публика, и снова у меня возникает к ней отвращение. Заработок — мизерный, положение — зависимое. Плохо было мне. Но одна купчиха выручила. Была она женщина толстая, богобоязненная, и жилось ей скучно. Вот она меня и облюбовала для духовного назидания. И стал я к ней ходить, а она меня — кормить. Муж у нее в доме умалишенных пребывал, она одна управляла большим мучным делом... Вот я остороженько и подъехал к ней: «Трудно, мол, Секлетей Кирилловна?» — «Трудно», — говорит. «Возьмите меня в помощники?» — «Обманешь», — говорит, — и взяла, конечно. Тут я очень хорошо зажил; но город оказался препоганым! Ни театра нет, ни порядочной гостиницы, ни интересных людей... Затосковал я и дядюшке пишу письмо: в течение пятилетнего отсутствия из Петербурга я, мол,

очень образумился. Прошу прощения за всё, что сделал, больше никогда и ничего не буду делать, а между прочим, спрашиваю — нельзя ли мне в Питере жить? Дядюшка отвечает — можно, но осторожно. Расстался я с купчихой.

— Знаете что — баба она была глупая, жирная и некрасивая. Были у меня любовницы очень бельфамистые, — изящные и умные бабенки были... Н-да. Но с ними я всегда расставался скверно: или я бабу прогоню со злобой и презрением, или баба мне пакость устроит. А эта Секлетейя внушила мне уважение к себе своей простотой. Я говорю ей: «Прощай!» — «Прощай, говорит, мой сердечный! Дай тебе бог счастья...» — «Неужто, мол, тебе не жалко расстаться?» — «Как, говорит, не жалко этакого красавца да умницу? Век бы, говорит, не рассталась с тобой, да ведь нужно... я, говорит, тебя понимаю — ты птица вольная; ну, и лети себе с богом!» И горько плачет... «Ну, говорю, прости меня, Секлетейя!» — «Что ты, говорит, спасибо я тебе сказать должна, а не прощать тебя». — «Как спасибо, за что спасибо?» — «А как же? — говорит. — Ведь ты какой человек: тебе по миру пустить меня ничего не стоило, вся я в твоих руках была, как ты захотел бы, так и мог меня ограбить, и не помешала бы я тебе, — знал ты это! А ты вот честь честью уходишь! Знаю я, сколько ты нажил у меня за это время, — всего около четырех тысяч. Другой бы, говорит, на твоём месте всю кашку слопал, да и чашку о пол...» Н-да-а... вот что она сказала... Эх, милая баба!..

— Расцеловался я с нею и, уважая ее, с легким сердцем и с пятью тысячами в кармане — она неверно со считала — явился в Питер. Живу барином, бываю в театре, обзавелся знакомствами, иногда, от скуки, играю на сцене, но больше в карты. Прекрасное занятие карты: сидишь за столом и в течение ночи десять раз умрешь и воскреснешь. Жутко знать, что вот в следующую минуту убьют, твой последний рубль и ты — нищий, ступай на улицу — воруй или застрелись. Хорошо также знать, что твой сосед или партнер чувствует по поводу последнего рубля то же самое, щекотливое и жуткое, что ты сам чувствовал незадолго до него. Видеть красные и бледные, возбужденные рожи, трепещущие от страха

быть обыгранными и от жадности к деньгам,— смотреть на них и бить их карты одну за другой — ах, как это волнует кровь!.. Бьешь карту — а точно вырываешь у человека из сердца кусочек горячего мяса с нервами и кровью... Сочно! Этот постоянный риск падения — самое лучшее в жизни, и самая лучшая мысль выражена так:

Есть наслаждение в бою  
И бездны мрачной на краю!

— Великое наслаждение есть в этом... и вообще хорошо себя чувствовать можно только тогда, когда чем-нибудь рискуешь. Чем больше риску, тем больше жизни... Случалось ли вам голодать? Мне случалось не есть по двое суток кряду... И вот, когда желудок начнет есть сам себя, когда чувствуешь, как сохнут, умирая от голода, твои внутренности, — тогда готов за кусок хлеба убить человека, ребенка... на всё готов, — в этой готовности к преступлению есть своя особая поэзия... это очень ценное ощущение, и, пережив его, — больше уважаешь себя!

— Но, однако, продолжим нашу пеструю повесть, она и так уже тянется, как похоронная процессия, в которой я занимаю место покойника. Тьфу! вот дурацкое уподобление влезло в голову. И, пожалуй, оно верно... отчего, впрочем, не становится умнее... У господина Бальзака где-то есть очень верное и меткое выражение: «Это глупо, как факт». Глупо? Ну, и пускай! Итак, живу я в Петербурге. Это хороший город, но он стал бы вдвое лучше, если бы половину его жителей утопить в том скверном море, которое бултыхается около него. Живу и совершаю разные поступки, как это и надлежит человеку. Понравился одной даме, и она меня приобрела себе на содержание... Вы на содержании у женщин не состояли? Попробуйте, потому что это интересно, — вы в одно и то же время вещь вашей дамы и владыка ее. Вас купили, как игрушку, но играете купившим — вы. Этот купивший оказывается в ваших руках и в очень смешном положении, — ибо вы всегда можете играть пред ним роль сапога, который хочет быть шляпой и требует, чтоб его носили на голове. Так вот, живу я и живу год, два, три — всё идет хорошо, то есть весело. Но тут случилась одна опереточная история. Однажды пришел ко мне некто,

очень хороший человек, но занимавшийся дурным делом — политикой, за что, впрочем, и был своевременно и крепко ущемлен. Пришел и говорит: «Достань мне паспорт!» — «Какой?» — «А вот, говорит, так: девица, брюнетка, лет двадцати, среднего роста, всё остальное — обыкновенное». — «Зачем?» — «А вот, говорит, есть такая девица, а нужно, чтоб ее не было, так я ее и хочу по чужому документу замуж выдать». Что же? Это дельце веселое, а у моей дамы была как раз подходящая к требованию горничная... Я взял ее паспорт, да и отдал этому шарлатану. Хорошо-с. Проходит длинное время.

— Вдруг — трах! являются два жандарма и говорят — пожалуйте! Я — пожаловал. Некто, седой и вельми свирепый, спрашивает меня: «Вы, говорит, для девицы такой-то паспорт доставали?» — «Верно, ваше высокоблагородие, но только не знаю, для этой ли девицы». — «Как так?» А мне приятель девицу-то, действительно, забыл назвать. Свирепый человек мне не верит. «Как же, говорит, вы ее не знаете, а паспорт ей дали?» — «Я не давал ей...» — «А кому?» — «А вот кому...» — «Ага-а, говорит, вот когда он попался! Благодарю за сведения!» И сейчас же отдал приказание забрать моего друга, а меня пока что запереть в уютное место. Дня через два дали мне с другом очную ставку. Он, конечно, подтвердил мои слова... Спрашивают меня, куда я желаю уехать из Питера. Я говорю: «Нельзя ли в Царское Село?» — «Нет, говорят, подальше». — «А в Руссу?» — «Еще подальше». Сторговались мы на Туле. В Тулу, так в Тулу! «Вы, говорит, можете и дальше уехать, если захотите, но сюда в продолжение трех лет не являйтесь. Документы ваши мы пока оставим у себя, на память о вас, а вам — извольте проходное свидетельство до Тулы. Получите и в двадцать четыре часа постарайтесь улепетнуть...» — «Ну что же? — думаю я. — Надо слушаться начальство, — как его не послушаться?»

— Ну-с, так вот... продал я всё свое имущество квартирной хозяйке по ценам пареной репы и иду к моей даме. Не приказала принимать, собака. Захожу еще к двум-трем знакомым, — встречают точно прокаженного. Плюнул я на всех и пошел в одно богоугодное место, чтоб провести там последние часы моей жизни

в Питере. К шести часам утра я вышел оттуда без гроша в кармане,— дочиста проигрался в карты! Так аккуратно меня один товарищ прокурора обчистил, что я даже в умиление пришел от его таланта, без всякого снисхождения обыграл... да!.. Ну, куда же мне деваться? Пошел я, неизвестно зачем, на Московский вокзал, пришел, потолкался там, вижу — идет поезд в Москву. Вошел в вагон и сел. Проехал две станции, меня с триумфом выгнали. Хотели составить протокол, спросили, кто я, — я показал им свое свидетельство, они и оставили меня в покое. «Идите, говорят, дальше». Иду. Верст десять прошел — устал и чувствую, что надо поесть. Будка. Линейный сторож. Я к нему: «Дай, дружище, кусок хлеба?!» Посмотрел на меня он и дал мне не только хлеба, но и молока большую чашку. У него я и ночевал, первый раз по-бродяжьи, на вольном воздухе, на сене, в поле за будкой. Проснулся на другой день,— солнце сияет, воздух — как шампанское, зелень, птицы. Взял у сторожа еще хлеба и пошел дальше.

— Вы должны понять это: в бродяжьей жизни есть нечто всасывающее, поглощающее. Приятно чувствовать себя свободным от обязанностей, от разных маленьких веревочек, связывающих твое существование среди людей... от всяких мелочешек, до того облепляющих твою жизнь, что она становится уже не удовольствием, а скучной ношей... тяжелым лукошком обязанностей... вроде обязанности одеваться — прилично, говорить — прилично... и всё делать так, как принято, а не так, как тебе хочется. При встрече со знакомым нужно, как это принято, сказать ему — здравствуй! — а не — издохни! — как это иногда хочется сказать.

— Вообще — если говорить по правде — так все эти торжественно-дурацкие отношения, что установились между порядочными городскими людьми,— скучная комедия! Да еще и подлая комедия, потому что никто никого в глаза не называет ни дураком, ни мерзавцем... а если иногда это и делается, так только в припадке той искренности, которую называют злобой...

— А на бродяжьем положении живешь вне всей этой канители... То же обстоятельство, что ты без сожаления отказался от разных удобств жизни и можешь существ-

воватъ безъ нихъ, какъ-то приятно приподнимаетъ тебя въ своихъ глазахъ. Къ себѣ становишься снисходительнымъ безъ оглядки,— хотя я къ себѣ никогда не относился строго, не одергивалъ себя и зубы моею совѣсти никогда у меня не ныли, не царапалъ я моего сердца когтями моего ума. Я, знаете, рано и какъ-то незаметно для себя твердо усвоилъ самую простейшую и мудрую философію: какъ ни живи — а все-таки умрешь; зачемъ же ссориться съ собой, зачемъ тащить себя за хвостъ влево, когда натура твоя во всю мочу претъ направо? И людей, которые врутъ себя надвое, я терпеть не могу... Чего ради они стараются? Бывало, я разговаривалъ съ такими юродивыми. Спрашиваешь его: «О чемъ ты, другъ, ноешь, зачемъ ты, братъ, скандалишь?» — «Стремлюсь, говоритъ, къ самоусовершенствованію...» — «Чего же, молъ, ради?» — «Какъ такъ — чего ради? Въ совершенствованіи человека—смыслъ жизни...» — «Ну, я этого не понимаю; вотъ въ совершенствованіи дерева смыслъ ясенъ: оно усовершенствуется до пригодности въ дѣло, и его употребятъ на оглоблю, на гробъ или еще на что-нибудь полезное для человека... Ну, хорошо! ты совершенствуешься — это твое дѣло; но, скажи, зачемъ ты ко мнѣ пристаешь и меня въ свою веру обратить хочешь?» — «А затемъ, говоритъ, что ты скотъ и не ищешь смысла въ жизни». — «Да я же нашелъ его, ежели сознание скотства моего не отягощаетъ меня». — «Врешь, говоритъ. Коли ты, говоритъ, сознаешь, ты долженъ исправиться». — «Какъ исправиться? Да ведь я живу въ мирѣ съ собой, умъ и чувство у меня едино суть, слово и дѣло въ полной гармоніи!» — «Это, говоритъ, подлость и цинизмъ...» И вотъ такъ рассуждаютъ все они, бывало. Чувствую я, что они и врутъ и глупы; чувствую это и не могу не презирать ихъ. Потому что — я людей знаю! — если всё сегодняшнее подлое, грязное и злое объявишь завтра честнымъ, чистымъ, добрымъ — все эти морды, безъ всякаго усилія надъ собой, завтра же и будутъ совершенно честными, чистыми и добрыми. Имъ для этого понадобится только одно — трусость свою уничтожить въ себѣ... Такъ-то.

— Резко это, говорите? Ничего, сойдетъ. Пусть резко, зато правильно... Я, видите ли, такъ полагаю: служи богу или чѣрту, но не богу и чѣрту. Хорошій подлецъ всегда лучше плохого честнаго человека. Есть черное и есть



белое, смешай их — будет грязное. Я всю жизнь мою встречал только плохих честных людей, — таких, знаете, у которых честность-то из кусочков составлена, точно они ее под окнами насобирали, как нищие. Это — честность разноцветная, плохо склеенная, с трещинами... а то есть еще честность книжная, вычитанная и служащая человеку, как его лучшие брюки, — для парадных случаев... Да и вообще всё хорошее у большинства хороших людей — праздничное и деланное; держат они его не в себе, а при себе, напоказ, для форса друг перед другом... Встречал я людей и по самой натуре своей хороших... но редко они встречаются и почти только среди простых людей, вне стен города... Этих сразу чувствуешь — хорош! И видишь — родился хорошим... да!

— А впрочем, чёрт с ними, со всеми — и с хорошими и с плохими! Знать я не хочу Гекубу!

— Я рассказываю вам факты жизни моей кратко и поверхностно, и вам трудно понимать — отчего и как... Да суть не в фактах, а в настроениях. Факты — одна дрянь и мусор. Я могу много наделать фактов, если захочу... возьму вот нож да и суну его вам в горло, — будет уголовный факт. А то ткну в себя этот нож — тоже факт будет... вообще, можно делать самые разнообразные факты, если настроение позволяет! Всё дело в настроениях: они плодят факты, и они творят мысли, идеалы... А знаете вы, что такое идеал? Это просто костыль, придуманный в ту пору, когда человек стал плохим скотом и начал ходить на одних задних лапах. Подняв голову от земли, он увидел над ней голубое небо и был ослеплен великолепием его ясности. Тогда он, по глупости, сказал себе: я достигну его! И с той поры он шляется по земле с этим костылем, держась при помощи его до сего дня всё еще на задних лапах.

— Вы не подумайте, что и я тоже лезу на небо, — никогда не ощущал такого желания... я это так сказал, для красного словца.

— Однако история-то у меня опять в узел захлестнулась. Ничего! Ведь это только в романах клубки событий правильно разворачиваются, а жизнь наша — запутанная мотушка. К тому же, за романы деньги платят, а я даром стараюсь: чёрт знает для чего!..

— Ну-с, так вот — понравилось мне это хождение, тем более понравилось, что скоро я открыл и средства к пропитанию. Иду однажды и вижу: вдали красуется усадьба, а навстречу мне двигаются, меж высоких хлебов, три благообразные фигуры — мужчина и две дамы. Мужчина уже с сединой в бороде, в очках и очень благообразный, дамы образа заморенного, но тоже благородного. Сделал я себе рожу страсотерпца и, поравнявшись с ними, попросил у них разрешения зайти в усадьбу ночевать. Разрешили и переглянулись между собой этак многозначительно. Я вежливо поклонился им, поблагодарил и, не торопясь, пошел. А они повернули назад и — за мной. Вступили в разговор — кто, откуда, чей таков? Были они люди темперамента гуманного, образа мыслей либерального и ответы мне сами подсказывали, так что когда я пришел в усадьбу, то оказалось, что наврал им — чёрт знает сколько! Будто бы я изучаю и поучаю народ, и якобы душа моя находится в плену разных идей и прочее такое... И, ей-богу, всё это оказалось потому только, что они сами хотели, я же лишь не препятствовал им принять меня за то, за что они меня принимали. Когда я сообразил, как трудна та роль, которую я должен был играть для них, мне стало немножко не по себе. Но после ужина понял, что играть эту роль — есть интерес, ибо божественно вкусно они ели! С чувством ели, — ели, как люди образованные. Потом отвели мне комнаточку, мужчина снабдил меня штанишками и прочим — вообще гуманно обошлись со мной. Ну, я им за это и распустил же вожжи моего воображения!

— Царица небесная, как я врал! Что Хлестаков? Идиот Хлестаков! Я врал, никогда не теряя сознания, что вру, хотя и наслаждался тем, как вру. Так я врал, скажу вам, что даже Черное море покраснело бы, если бы оно меня слышало! Эти добрые люди слушали с наслаждением, слушали и кормили меня, и ухаживали за мной, как за родным больным ребенком. А я им за это сочиняю. Вот когда пригодились мне книжки, которые я когда-то прочитал, и споры фарисеев жены моей!

— Врать умеючи — высокое наслаждение, скажу я вам. Если врешь и видишь, что тебе верят, — чувствуешь себя приподнятым над людьми, а чувствовать

себя выше людей — удовольствие все-таки. Овладеть их вниманием и мыслить про себя: «Дурачье!» Одурачить человека всегда приятно. Да и ему, человеку-то, тоже приятно слышать хорошую ложь, которая гладит его по шерстке. И, может быть, всякая ложь — хороша, или же, наоборот, всё хорошее — ложь. Едва ли на свете есть что-нибудь более стоящее внимания, чем разные людские выдумки: мечты, грезы и прочее такое. К примеру, возьмем любовь: я всегда любил в женщинах как раз то, чего у них никогда не было и чем я обыкновенно сам же их награждал. Это и было лучшее в них. Бывало, видишь свежую бабеночку и сейчас же соображаешь — обнимать она должна так, целовать она должна — этак. Раздетая она такова, в слезах такая-то, в радости — вот какая. Потом незаметно уверишь себя, что всё это у нее есть, — именно так есть, как ты того хочешь... И разумеется, по ознакомлении с нею, какова она есть на самом деле, торжественно садишься в лужу!.. Но это неважно — ведь нельзя же быть врагом огня только за то, что он иногда жжется, нужно помнить, что он всегда греет, — так ли? Ну вот... По сей причине и ложь нельзя называть вредной, поносить ее всячески, предпочитать ей истину... еще неизвестно ведь — что она такое, эта истина, никто не видал ее паспорта... и, может быть, она, по предъявлении документов, чёрт знает чем окажется...

— А все-таки я, как Сократ, философствую, вместо того, чтобы делом заниматься...

— Врал я тем добрым людям даже до истощения фантазии и, когда сознал себя в опасности стать скучным для них, — ушел далее, прожив у них три недели. Ушел, хорошо снабженный для пути, и вот направляю стопы мои к ближайшей станции, дабы от нее ехать до Москвы. От Москвы до Тулы доехал даром, по недосмотру кондукторов.

— И вот я в Туле перед лицом тамошнего полицейстера. Смотрит он на меня и спрашивает: «Чем же вы здесь намерены заняться?» — «Не знаю», — говорю. «А за что, говорит, вас удалили из Петербурга?» — «Я и этого не знаю». — «Очевидно, говорит, за какие-нибудь дебоши, кодексом уголовным не предусмотренные?» — проницательно допрашивает он. Но я остаюсь непрони-

цаем. «Неудобный вы человек», — говорит он. «У всякого, мол, своя специальность, господин хороший!» Подумал он, подумал да и предлагает мне: «Так как вы, говорит, сами избирали место жительства, то, если вам у нас не нравится, вы можете уйти дальше. Есть другие города, например, Орел, Курск, Смоленск... Ведь вам всё равно где жить? Не угодно ли, я выдам вам дальнейшее проходное?.. Нам очень приятно будет не беспокоиться о вашем здоровье. У нас такая масса хлопот... а вы, говорит, извините за откровенность, кажетесь человеком, вполне способным усилить хлопоты полиции... даже как бы нарочно для этой цели созданным». — «Так-с, мол, но мне и здесь нравится...» — «Ну, говорит, желаете, я вам трешницу на дорогу дам?» — «Дешево, мол, труды ваши цените... Уж лучше позвольте мне остаться под покровительством тульских законов». Но он меня упорно не хочет... Сообразительный был человек! Ну, я взял с него пятнадцать рублей да и пошел в Смоленск-город. Видите? Всякое скверное положение человека имеет в себе возможность лучшего. Это я говорю на основании солидного опыта и по силе моей глубокой веры в изворотливость человеческого ума. Ум — это силища! Вы человек молодой еще; и вот я говорю вам: верьте в ум — и никогда не пропадете! Знайте, что каждый человек содержит в себе дурака и мошенника: дурак — его чувство, а мошенник — ум. Чувство потому глупо, что оно прямо, правдиво и не умеет притворяться; а разве можно жить и не притворяться? Необходимо притворяться; даже из жалости к людям это нужно, потому что люди всегда жалости достойны... а больше всего именно тогда, когда они других жалеют...

— Итак, пошел я в Смоленск, чувствуя, что тверда земля подо мной, и зная, что, с одной стороны, я всегда могу рассчитывать на поддержку гуманных людей, с другой — на поддержку полиции. Первым я нужен для проявления их чувств, а вторым — я не нужен; поэтому те и другие должны платить мне от избытков своих.

— Явился в Смоленск, и так как уже было холодно, то решил зазимовать. Живо нашел добрых людей и к ним пристроился. Ничего себе, — провел зиму не скучно. Но вот настала весна, и — верите ли? — потянуло меня!

Хочется бродяжить... Кто мне мешает? Пошел и снова шлялся целое лето, а на зиму попал в город Елизаветград. Попал и никак не могу присноровиться к чему-нибудь! Бился, бился, наконец нашел мой путь! В репортеры местной газеты завербовался,— дело маленькое, но свободное и дает некоторый корм. Потом познакомился с юнкерами — есть в этом городе кавалерийское училище — и, познакомившись с ними, устроил картеж. Хороший картеж вышел: за зиму-то я около тысячи рублей наколотил. И вновь весна пришла. Она застала меня с деньгами, в джентльменском виде.

— Куда пойду? В город Славянск на воды. Там удачно играл до августа, а в этом месяце принужден был выехать. Зимовал в Житомире с одной бабочкой — порядочная дрянь была, но — бесподобной красоты баба!

— Прожил я таким манером годá моего изгнания из Питера и поехал туда вновь. Чёрт его знает почему, но он всегда тянул меня к себе. Приехал джентльменом, со средствами. Отыскиваю знакомых, и что же оказывается? Похождения мои среди либеральных людей Московской губернии им известны. Всё знают: и как я у Ивановых в усадьбе три недели жил, питая их голодные души плодами моей фантазии, и как я с Петровыми поступил, и как я m-me Васильеву изобидел. Ну что же? Стало быть, так нужно. Если семь дверей закрылись перед тобой — открывай другие десять... Но — не повезло мне! Очень я старался о том, чтобы создать себе устойчивое положение в обществе, и не мог! Не то я сам за эти три года утратил мою способность уживаться с людьми, не то люди стали за это время более пройдохами. И вот, когда мне пришлось особенно туго, дернул меня чёрт предложить мои услуги сыскному отделению. Предложил я себя в качестве агента по надзору за игорными домами. Приняли. Условия хорошие. К сей тайной профессии присоединил еще явную: стал заниматься репортажем в одной газетине. Давал ей уличную хронику, а иногда сочинял и льетоны. А потом играл. И увлекся я этой игрой,— до того увлекся, что доносить-то о ней по начальству и забыл. Совершенно забыл, знаете, что это есть моя обязанность. И когда проиграюсь, вспомню: а ведь надо донести! Но нет, думаю себе, сначала

отыграюсь, а потом донесу. Откладывал я, таким образом, исполнение обязанности очень долго, до поры, пока однажды меня на месте преступления за карточным столом не зацепила полиция. Конечно, осрамили меня полицейские публично, признав за своего. А на другой день позвали куда следует, сделали очень свирепое внушение, сказали мне, что у меня нет совсем совести, и выслали из столицы... опять выслали! Без права въезда в течение десяти лет.

— Шесть лет я путешествую и, ничего себе, не жалуясь богу моему на судьбу. Об этом времени я не буду рассказывать, ибо оно слишком однообразно... и разнообразно. В общем, это веселая, птичья жизнь. Только зерен иногда не хватает... но не надо быть слишком требовательным, памятуя, что даже лица, на тронах сидящие, не одни только удовольствия испытывают. В такой жизни, как эта, нет обязанностей — это первое хорошее, и нет законов, кроме законов природы, — это второе. Конечно, господа урядники иногда беспокоят, но — и в хороших гостиницах блохи водятся... Зато вы можете идти направо, налево, вперед, назад, всюду, куда вас влечет, а если не влечет никуда, — запасись от мужика хлебом, — он добр и всегда даст, — запасись хлебом и лежи, дондеже тебя не потянет куда-нибудь...

— Где я не был? Был в толстовских колониях и у московских купчих на кухнях кормился. Живал в Киево-Печерской лавре и на Новом Афоне. Был в Ченстохове и Муроме. Порой мне кажется, что всякую тропинку Российской империи уже второй раз попираю я стопами моими. И как только представится мне случай отремонтировать внешность — катну я за границу! В Румынию дерну, а оттуда — все пути открыты. Ибо в России — уже скучно мне. И в ней — «всё, что мог, я уже совершил».

— Думаю, что в самом деле за эти шесть лет много я совершил. Сколько слов красивых наговорил я, какие чудеса рассказывал! Придешь, знаете, в деревню, попросишься на ночлег и, когда тебя накормят, — заведешь волюнку своей фантазии! Может быть, я даже секты новые основал, ибо — много, очень много говорил от писания. А мужик к писанию чуток и на двух словах может построить такое новейшее вероучение, что — ах ты мне!..

А сколько сочинил я законов о наделах и переделах земли!.. Да, много влил я фантазии в жизнь.

— Да, вот так я и живу... Живу и верую: пожелаю я оседлости, и — будет! Ибо у меня есть ум и меня ценят бабы. Вот приду я в город Николаев и пойду в Николаевскую слободу, где живет дочь одного николаевского солдата. Женщина она вдовая, красивая и зажиточная. Приду я и скажу ей: «Капочка! а ну-ка, топи баню! Омой меня и одень, аз же пребуду с тобой даже от луны и до луны». Она всё сейчас мне сделает... И если завела она без меня любовника себе — прогонит его. И я проживу у нее месяц и более — сколько захочу! Жил я у нее в третьем году два месяца зимы, в прошлом — даже три месяца... прожил бы всю зиму, если б она была поумнее, а то очень уж скучно с ней. Кроме своего огорода, который дает ей до двух тысяч в год, знать ничего не хочет баба.

— А то пойду на Кубань, в станицу Лабинскую. Там есть казак Петр Черный, и он меня считает святым человеком, — многие меня считают человеком праведной жизни. Многие простые и верующие люди говорят мне: «Возьми, батюшка, вот это и поставь свечу угоднику, когда будешь у него...» Я беру. Я ценю верующих людей и не хочу обидеть их гнусной правдой, сказав им, что на искреннюю лепту их не свечу для угодника, а табаку для себя я куплю...

— Есть также много прелести и в сознании своей отчужденности от людей, в ясном понимании высоты и прочности той стены прегрешений против них, которую я сам свободно построил. И много сладкого и острого в постоянном риске быть разоблаченным. Жизнь — игра! Я ставлю на свою карту всё — то есть нуль — и всегда выигрываю... без риска проиграть что-нибудь иное, кроме жизни моей. Но я уверен, что если меня когда-нибудь будут бить, — меня не изувечат, а убьют. На это нельзя обижаться, и было бы глупо этого бояться.

— Ну-с, так вот, молодой человек, я рассказал вам свою историю. И даже с походом рассказал, ибо в моей истории была и философия. И — знаете? Мне нравится то, что я рассказал. Мне кажется, что я порядочно рассказал. Пойду дальше, — весьма вероятно, что я тут

многое сочинил, но, ей-богу, если я наврал,— я наврал в фактах. Вы смотрите не на них, а на мой способ изложения — он, уверяю вас, с подлинным души моей верен. Я дал вам жаркое из фантазии под соусом из чистейшей истины...

— А впрочем, зачем я вам сказал это?.. Затем, дорогой мой, что чувствую я — вы мало верите мне... Рад за вас. Так! Не верьте человеку! Ибо всегда, когда он о себе рассказывает,— он лжет! Лжет в несчастии, чтоб возбудить к себе более сострадания, в счастье — чтоб ему более завидовали, во всех случаях — чтобы увеличить внимание к себе.



## ДРУЖКИ

Одного из них звали Пляши-нога, а другого — Уповающий; оба они были воры.

Жили они на окраине города, в слободе, странно размещавшейся по оврагу, в одной из ветхих лачуг, слепленных из глины и полусгнившего дерева, похожих на кучи мусора, сброшенные в овраг. Воровать дружки ходили в ближайšie к городу деревни, ибо в городе воровать трудно, а в слободке у соседей украсть было нечего.

Оба они люди скромные: стащат кусок полотна, армяк или топор, сбрую, рубаху или курицу и уже долго потом не посещают деревню, в которой им удалось что-нибудь «слямзить». Но, несмотря на такой умный образ действий, подгородние мужики хорошо знали их и грозились, при случае, избить до смерти. Однако такого случая не представлялось мужикам, и кости двух друзей были целы, хотя уже лет шесть кряду друзья слушали угрозы мужиков.

Пляши-нога был человек лет сорока, высокий, сутулый, худой и жилистый. Он ходил, опустив голову к земле, заложив за спину длинные руки, шагая неторопливо, но широко, и на ходу он всегда оглядывался по сторонам озабоченно прищуренными, беспокойно зоркими глазами. Волосы на голове он стриг, бороду брил; густые сивые солдатские усы закрывали ему рот, придавая лицу его ощетилившееся, суровое выражение. Левая нога у него, должно быть, была вывихнута или сломана и срослась так, что стала длиннее правой; когда он, шагая, поднимал ее, она у него подпрыгивала в воздухе и виляла в сторону; эта особенность походки и дала ему прозвище.

Уповающий был старше товарища лет на пять, ниже ростом, шире в плечах. Он часто и глухо кашлял, лицо его, скуластое, обросшее большой черной с проседью бородой, покрывала болезненная желтизна. Глаза у него большие, черные, а смотрели виновато, ласково. На ходу он складывал губы сердечком и тихо насвистывал песню, печальную, всегда одну и ту же. На плечах у него болталась короткая одежина из разноцветных лохмотьев — что-то похожее на ватный пиджак; а Пляши-нога ходил в длинном сером кафтане, подпоясанном кушаком.

Уповающий был крестьянином, его товарищ — сын пономаря, бывший лакей и маркер. Их всегда видели вместе, и крестьяне говорили при виде их:

— Опять дружки появились — гляди в оба!

А дружки шли где-нибудь проселочной дорогой, зорко поглядывая по сторонам и избегая встреч. Уповающий кашлял и насвистывал свою песню; а нога его товарища плясала в воздухе, как бы стремясь оторваться и убежать в сторону с опасного пути своего хозяина. Или они лежали где-нибудь на опушке леса, во ржи, в овраге и тихо разговаривали о том, как украсть, чтобы поесть.

Зимой даже и волки, — более приспособленные к борьбе за свою жизнь, чем два друга, — плохо живут. Тощие, голодные и злые, они рыскают по дорогам, и хотя их убивают, но — боятся: у них есть когти и зубы для самозащиты, сердца их ничем не смягчены. Последнее очень важно, ибо для того, чтобы побеждать в борьбе за существование, человек должен иметь или много ума, или сердце зверя.

Зимой дружкам приходилось плохо; зачастую оба они выходили по вечерам на улицы города и просили милостыню, стараясь не попадаться на глаза полиции. Очень редко удавалось им украсть что-нибудь; ходить по деревням неудобно и холодно, и на снегу оставались следы, да и бесполезно посещать деревни, когда всё в них заперто и занесено снегом. Много сил теряли товарищи зимой, борясь с голодом, и, может быть, никто не ждал весны так жадно, как они ждали ее...

Но вот, наконец, подходила весна. Они, истощенные, полубольные, вылезали из своего оврага, радостно смотрели на поля, где с каждым днем быстрее таял снег, являлись бурые проталины, лужи блестели, как зеркала, и весело журчали ручьи. Солнце лило на землю свои теплые ласки, оба друга грелись в его лучах, рассуждая о том, как скоро просохнет земля и когда, наконец, можно будет идти по деревням «стрелять». Часто Уповающий, страдавший бессонницей, будил своего друга ранним утром и радостно объявлял ему:

— Эй! Вставай — грачи прилетели!

— Прилетели?

— Ей-богу! Слышишь, галдят?

Выйдя из своей лачуги, они со вниманием и подолгу следили, как черные вестники весны вили новые гнезда, исправляли старые, наполняя воздух громким озабоченным криком...

— Теперь за жаворонками очередь,— говорил Уповающий, принимаясь чинить старую, полусгнившую сеть.

Являлись жаворонки; товарищи шли в поле, ставили сеть на одной из проталин и, бегая по полю, мокрые и грязные, гнали под сеть голодных и утомленных перелетом птиц, искавших корма на сырой, только что освободившейся из-под снега земле. Наловив птичек, они продавали их по пятаку и гривеннику за штуку. Потом являлась крапива, которую они собирали и тащили на базар торговкам овощами. Почти каждый день весны давал им что-нибудь новое,— новый, хотя и маленький заработок. Они умели всем пользоваться: верба, щавель, шампиньоны, земляника, грибы — ничто не миновало их рук. Солдаты выходили на стрельбу,— друзья, после окончания стрельбы, рылись в валах, отыскивая пули, которые потом продавали по двенадцати копеек за фунт. Все эти занятия хотя и не позволяли друзьям умереть с голоду, но очень редко давали им возможность насладиться чувством сытости,— приятным чувством полноты желудка и горячей работой его над проглоченной пищей.

Однажды, в апреле, когда на деревьях еще только наливаются почки и леса стоят, подернутые сизым сум-

раком, а на бурых, жирных полях, облитых солнцем, чуть-чуть пробивается трава,— друзья шли по большой дороге, шли и, куря самодельные папиросы из махорки, разговаривали.

— Всё гуще ты кашляешь!..— спокойно предупредил Пляши-нога товарища.

— Это — плевать!.. Вот солнышком меня подогреет — и я оживу...

— Мм... А то, может, сходить бы тебе в больницу...

— Ну! На что она мне? Коли помереть надо, и так помру.

— Это конечно...

Они шли мимо берез по тракту, и березы бросали на них узорчатые тени своих тонких ветвей. Воробьи прыгали по дороге, оживленно чирикавая.

— Ходить ты плохо стал,— помолчав, заметил Пляши-нога.

— Это оттого, что душит меня,— объяснил Уповающий.— Воздух теперь густой, жирный, ну и трудно мне глотать его.

Он остановился, кашляя.

Пляши-нога стоял рядом с ним, курил и неопределенно смотрел на него. Уповающий трясся в припадке кашля, тер грудь руками; лицо у него стало синим.

— Здорово продрало дыхалки-то,— сказал он, перестав кашлять.

Пошли дальше, спугивая воробьев.

— Теперь мы двигаем на Мухину!..— заговорил Пляши-нога, бросив папироску и сплюнув.— Обойдем ее по задворкам,— может, что накроем... Дальше — Сивцовой рощей на Кузнечиху... С Кузнечихи на Марковку свернем... да и домой...

— Верст тридцать ходу будет,— сказал Уповающий.

— Лишь бы не даром...

Влево от дороги стоял лес, темный и неприветливый; среди его голых ветвей еще не было видно ни одного зеленого пятна, ласкающего глаз. По опушке бродила маленькая мохнатая и взъерошенная лошаденка с подведенными боками; ребра на ее остоле вырисовывались так же выпукло, как обручи на бочке. Товарищи оста-

новились и долго смотрели, как она медленно переступала ногами, наклоняя морду к земле, и, забирая губами желтые былинки, тщательно жевала их истертыми зубами.

— Тоже отощала!.. — заметил Уповающий.

— Тпрусень, тпрусень! — поманил Пляши-нога.

Лошадь взглянула на него и, отрицательно качнув головой, снова опустила ее к земле.

— Не хочет к тебе, — пояснил Уповающий ее утомленное движение.

— Идем!.. Ежели ее татарам отвести — рублей семь дадут, пожалуй... — задумчиво проговорил Пляши-нога.

— Не дадут. Чего в ней!

— А кожа?

— Кожа? Так разве за кожу столько дадут? Трешницу за кожу.

— Н-ну!

— А что? Ведь у нее какая кожа? Портянка старая, а не кожа...

Пляши-нога взглянул на товарища и, остановясь, сказал:

— Ну?

— Хлопотно!.. — нерешительно откликнулся Уповающий.

— Чего там?

— Опять же следы... Земля сырая... видно будет, куда повели...

— Лапти наденем ей...

— Как хошь...

— Айда! Загоним ее в лес и там в овраге дождемся ночи... А ночью выведем и сгоним к татарам. Тут недалеко — версты три...

— Что ж? — кивнул головой Уповающий, — пойдем! Синица в руки... Только бы не того...

— Ничего не будет! — уверенно сказал Пляши-нога.

Они свернули с дороги и, оглядываясь по сторонам, пошли к лесу. Лошадь посмотрела на них, фыркнула, взмахнула хвостом и снова принялась щипать блеклую траву.

На дне глубокого лесного оврага было сыро, тихо и сумрачно. Журчание ручья носилось в тишине грустной жалобой. С крутых склонов оврага свешивались вниз голые ветви орешника, калины, жимолости; кое-где из земли беспомощно торчали корни, вымытые весенней водой. Лес был еще мертв; сумрак вечера увеличивал безжизненное однообразие его красок, унылое молчание, притаившееся в нем, наполняло его мрачным и торжественным покоем кладбища.

Дружки давно уже сидели в тишине и сыром сумраке, под группой осин, съехавших вместе с огромной глыбой земли на дно оврага. Маленький костер ярко горел пред ними, и они, грея над огнем руки, понемногу подбрасывали в него сучья, заботясь о том, чтобы огонь всё время горел ровно и костер не давал дыму. Неподалеку от них стояла лошадь. Они окутали ей морду рукавом, оторванным от лохмотьев Уповающего, и привязали ее за повод к стволу дерева.

Уповающий, сидя на корточках, задумчиво смотрел в огонь и насвистывал свою песню; его товарищ, наревав пучок ивовых прутьев, плел из них корзину и, занятый делом, молчал.

Унылая мелодия ручья и тихий свист бездельного человека жалостливо плавали в безмолвии вечера и леса; иногда потрескивали сучья в огне, потрескивали и шипели, точно вздыхая, как бы сочувствуя жизни двух людей, более мучительной, чем их смерть в огне.

— Скоро мы пойдем? — спросил Уповающий.

— Рано еще... Стемнеет совсем, тогда и пойдем!.. — ответил Пляши-нога, не поднимая головы от своей работы.

Уповающий вздохнул и закашлялся.

— Ты что, озяб, что ли? — спросил его товарищ после долгой паузы.

— Не-е... скушно мне чего-то... Сердце сосет...

— Болезнь...

— Надо быть, она... А может, что другое.

Пляши-нога сказал:

— А ты не думай...

— Про что?

— Да про всё...

— Видишь ты, — вдруг оживился Уповающий, — не могу я не думать. Смотрю я на нее, — он махнул рукой на лошадь, — тоже и у меня была такая... Замухрышка она, а в хозяйстве — первый винт! У меня одно время даже пара была... здорово я в ту пору работал.

— А что выработал? — холодно спросил Пляшинога. — Не люблю я этого в тебе... Заведешь волюнку и охаешь — а к чему?

Уповающий молча бросил в огонь горсточку мелко изломанных сучьев и стал смотреть, как искры летели кверху и гасли в сыром воздухе. Глаза у него часто мигали, по лицу бегали тени. Потом он повернул голову туда, где стояла лошадь, и долго разглядывал ее.

Она стояла неподвижно, как вкопанная в землю; голова ее, обезображенная повязкой, была понуро опущена.

— Рассуждать надо просто, — сурово и внушительно говорил Пляшинога. — Наше житье: день да ночь — и сутки прочь! Пища есть — хорошо; нет — попищи-попищи да и перестань... А ты как начнешь — слушать скверно. От болезни это у тебя.

— Должно быть, от болезни, — согласился Уповающий; но, помолчав, прибавил: — А может, — от слабого сердца.

— И сердце слабое от болезни, — категорически заявил Пляшинога.

Он перекусил зубами прут, взмахнул им, со свистом разрезал воздух и строго сказал:

— Я вот здоров — и нет у меня ничего такого!

Лошадь переступила с ноги на ногу; затрепал какой-то сучок; в ручей посыпалась земля, вводя новые ноты в его тихую мелодию. Потом откуда-то вспорхнули две птички и полетели вдоль оврага, беспокойно цыркая. Уповающий посмотрел вслед им и тихо заговорил:

— Какие это пташки? Ежели скворцы, нечего им делать в лесу... Надо полагать, что это свиристели...

— А может быть, клесты, — сказал Пляшинога.

— Клестам рано быть. И опять же он, клест, в основном лесу вьется. Здесь ему нечего делать... А это не иначе как свиристели...

— Ну, и пускай их!

— Конечно,— согласился Уповающий и почему-то тяжело вздохнул.

В руках Пляши-ноги работа подвигалась быстро: он уже сплел дно корзины и ловко выводил бока. Он резал прутья ножом, перекусывал их зубами, гнул, вязал, быстро перебирая пальцами, и посапывал носом, ощетинив усы.

Уповающий смотрел то на него, то на лошадь, точно окаменевшую в своей понурой позе, то в небо, уже почти ночное, но без звезд.

— Хватится мужик лошади,— вдруг заговорил он странным голосом,— а ее и нету... Туда-сюда — нет лошадки!

Уповающий развел руками. Лицо у него было глупое, а глаза так часто мигали, точно он смотрел на что-то ярко вспыхнувшее пред ним.

— Это ты к чему? — сурово спросил Пляши-нога.

— Вспомнил я одну историю...— виновато сказал Уповающий.

— Какую?

— Да — так тут... случилось тоже вот, что лошадь увели... у моего шабра.— Михайлой его звали... большой такой был мужик... рябой.

— Ну?

— Ну,— увели... На озимях паслась она и — нет ее! Так Михайла-то, как понял, что обезлошадел, да как грохнется наземь, да как завоет! Ах ты, братец ты мой, как это он завыл тогда!.. И упал... ровно ему ноги переломило.

— Ну?

— Ну... долго он, этак-то...

— А тебе что?

Уповающий при резком вопросе товарища отодвинулся от него и робко ответил:

— Да я так это — вспомнилось... Без лошади — зарез мужику.



— Вот что я тебе скажу,— строго начал Пляши-нога, в упор глядя на Уповающего,— ты это брось! Из такого твоего разговора толку не будет... Понял? Шабер! Михайла!

— Да ведь жалко,— возразил Упогающий, поводя плечами.

— Жалко? Небось, нас никому не жалко.

— Это что говорить!..

— Ну и молчи... Скоро идти нам надо.

— Скоро?

— Ну да...

Уповающий подвинулся к костру, помешал в нем палкой и, искоса взглянув на Пляши-ногу, вновь погруженного в работу, тихо и просительно сказал:

— Давай лучше бросим ее...

— Этакая подлая у тебя натура! — со скорбью воскликнул Пляши-нога.

— Да ей-богу! — тихо и убедительно говорил Уповающий.— Ты подумай, ведь опасно! Ведь версты четыре надо тащиться с ней... А как татары-то не возьмут? Тогда что?

— Это мое дело!

— Как хошь! Только лучше бы ее отпустить... Вон она какая дохлая!

Пляши-нога молчал, только пальцы его двигались быстрее.

— Сколько за нее дадут? — тянул Уповающий тихо, но упрямо.— А теперь время самое хорошее... Сейчас будет темно,— пошли бы мы вдоль оврага и вышли к Дубёнкам... гляди и поймали бы что-нибудь сподручное.

Монотонная речь Уповающего, сливаясь с журчаньем ручья, сердила прилежного Пляши-ногу.

Он молчал, сцепив зубы, и от раздражения прутья ломались под его пальцами.

— Теперь бабы холсты белят...

Лошадь громко вздохнула и завозилась. Окутанная тьмой, она стала еще более уродливой и жалкой. Пляши-нога поглядел на нее и сплюнул в костер...

— Живность теперь тоже на свободе... гуси...

— Скоро ты весь вытечешь? — зло спросил Пляши-нога.

— Ей-богу!.. Ты не сердись, Степан, на меня... Бросим ее к лешему! Право!

— Ты жрал сегодня? — крикнул Пляши-нога.

— Не...— сконфуженно ответил Уповающий, испуганный его криком.

— Ну и чёрт с тобой! Сохни!.. А мне наплевать...

Уповающий молча посмотрел на него — он, собрав в кучу прутья, связывал их в снопик и сердито сопел. От костра на лицо его падал отблеск, усатое лицо было красно, сердито.

Уповающий отвернулся и тяжело вздохнул.

— Мне, я говорю, наплевать, — делай как знаешь, — злобно, осипшим голосом заговорил Пляши-нога. — А только я тебе говорю, что, ежели ты так будешь крутить, — я тебе не компания! Ладно уж, будет! Знаю я тебя... вот что...

— Да — чудака-человек...

— Больше никаких!

Уповающий съежился и закашлял; потом, тяжело дыша, он сказал:

— Ведь я почему? Потому, что опасно с ней...

— Ладно! — сердито крикнул Пляши-нога.

Он поднял прутья, вскинул их к себе на плечо, взял под мышку недоделанную корзину и встал на ноги.

Уповающий тоже встал, посмотрел на товарища и тихими шагами пошел к лошади.

— Тпру!.. Христос с тобой... не бойсь!.. — раздался в овраге его глухой голос. — Стой!.. Ну, иди! Н-но, дура-а!

Пляши-нога смотрел, как его товарищ возился около лошади, раскручивая тряпку с ее морды, и усы вора вздрагивали.

— Иди, что ли! — сказал он, двигаясь вперед.

— Иду, — ответил Уповающий.

И, пробираясь сквозь кусты, они молча пошли вдоль оврага среди ночной тьмы, наполнившей его до краев.

Лошадь тоже пошла за ними.

Потом сзади их раздался плеск воды, заглушивший мелодию ручья.

— Ишь ты, дура,— в ручей оступилась!..— сказал Уповающий.

Пляши-нога сердито сапнул носом.

Во тьме и угрюмом молчании оврага раздавался тихий шорох кустов, медленно уплывая вдаль от того места, где красная кучка углей костра сверкала на земле, как чей-то чудовищный глаз, злой и насмешливый...

Взошла луна.

Ее призрачное сияние наполнило овраг дымчатым сумраком; повсюду упали тени; лес стал гуще, тишина в нем полнее и строже. Белые стволы берез, посеребренные луной, рисовались на темном фоне дуба, вяза и кустарника, как восковые свечи.

Дружки молча шагали по дну оврага; идти им было трудно: ноги то скользили, то глубоко вязли в грязи. Уповающий дышал часто, в груди у него свистело, хрипело и взвизгивало. Пляши-нога шел впереди; тень его высокой фигуры падала на Уповающего.

— Иди вот! — вдруг заговорил он ворчливо и обиженно.— А куда идти? Чего искать?

Уповающий вздохнул и промолчал.

— Ночь теперь короче воробьиного носа... придем в деревню к свету... И как идем? Ровно барыни... прогулку делаем...

— Тяжело мне, брат!..— тихо сказал Уповающий.

— Тяжело? — иронически воскликнул Пляши-нога.— А почему?

— Дышать мне очень неспособно...— ответил большой вор.

— Дышать? А отчего неспособно?

— От болезни...

— Врешь! От глупости твоей.

Пляши-нога остановился, обернулся к товарищу и, помахав пальцем под носом у него, добавил:

— От твоей глупости дышать ты не можешь... да! Понял?

Уповающий низко опустил голову и виновато сказал:

— Конечно...

Он хотел еще что-то сказать, но закашлялся, оперся дрожащими руками о ствол дерева и кашлял долго,

топчась ногами на одном месте, взмахивая головой, широко раскрывая рот.

Пляши-нога пристально смотрел в его лицо, осунувшееся, землистое и зеленоватое от лунного света.

— Всех ты леших в лесу перебудешь!..— угрюмо сказал он наконец.

А когда Уповающий откашлялся и, закинув голову, вздохнул, он тоном приказания предложил ему:

— Отдохни!

Они сели на сырую землю, в тень кустов. Пляши-нога свернул папиросу, закурил, посмотрел на ее огонь и медленно начал:

— Ежели бы у нас дома была какая-нибудь еда... то можно бы нам и воротиться домой...

— Это — верно!..— согласился Уповающий.

Пляши-нога искоса взглянул на него и продолжал:

— Но как дома у нас ничего — должны мы идти...

— Надо...— вздохнул Уповающий.

— Хоша идти нам и некуда, потому толку никакого не будет... Глузы мы, главная причина! До того мы глузы...

Сухой голос Пляши-ноги резал воздух и, должно быть, причинял большое беспокойство Уповающему: он всё возился на земле, вздыхал и странно урчал.

— А жрать мне хочется — страсть как! — закончил Пляши-нога укоризненно звучащую речь.

Тогда Уповающий решительно встал на ноги...

— Куда? — спросил Пляши-нога.

— Идем.

— Чего ты так? Вспорхнул...

— Идем!

— Пойдем...— Пляши-нога тоже встал.— Только без толку...

— Ладно,— что будет! — махнул рукой Уповающий.

— Расхрабрился!

— А как? Пилил ты меня, пилил, корил, корил,— господи!

— А зачем поступаешь зря?

— Зачем?

— Н-да!

— Да ведь мне, чай, жалко?

— Чего? Кого?

— Кого! Человека, чай...

— Человека? — протянул Пляши-нога. — Натe — возьмите, понюхайте да бросьте!.. Ах ты, добрая душа! Да он кто тебе, человек-то? Понимаешь ты это? Он вот поймает тебя за шиворот да, как блоху, — под ноготь! В ту пору ты его и пожалей... да! Тогда ты ему и обнаружь глупость-то свою. Он тебя за твою жалость — семью муками измучает. Кишки твои все на руку себе навертит... по вершку в час жилы из тебя вытянет... Ах ты — жалость! Ты моли бога, чтобы без всякой жалости просто прикокнули тебя и шабаш! Эх ты! Чтоб тебя дождем размочило! Жалость... тьфу!

Он был возмущен, этот Пляши-нога. Его голос, резкий, полный иронии и презрения к товарищу, гулко носился по лесу, и ветки кустов с тихим шорохом качались, как бы поддакивая суровым, верным словам.

Уповающий медленно шагал дрожащими ногами, сунув руки в рукава своей куртки и опустив голову низко на грудь.

— Погоди! — сказал он наконец. — Чего уж? Я поправлюсь... Вот придем в деревню... я и пойду... один пойду... ты не ходи совсем. Стяну — что первое под руку попадет... и домой!.. Придем — лягу я! Трудно мне...

Он говорил задыхаясь, с хрипом, с клокотанием в груди. Пляши-нога подозрительно взглянул на него, остановился, хотел что-то сказать, — махнул рукой и, ничего не сказав, опять пошел...

Долго шли молча.

Пели цетухи где-то близко; собака провыла; потом печальный звук сторожевого колокола прилетел из дальней сельской церкви и утонул в молчании леса... Большим черным пятном в мутный лунный свет ринулась откуда-то большая птица, и в овраге зловещим звуком проплыл свист крыльев.

— Ворон... а то грач, — заметил Пляши-нога.

— Вот что... — заговорил Уповающий, тяжело опускаясь на землю, — иди ты, а я тут останусь... не могу я больше, — душит, — в голове круженье...

— Ну,— вот те раз! — недовольно сказал Пляши-нога.— Неужто так-таки не можешь?

— Не могу...

— С праздником! Тьфу!

— Ослаб я совсем...

— Еще бы! не жрамши шляемся с утра.

— Нет, это уж — шабаш мне! Вон она, кровяща-то, как хлещет!

И Уповающий поднял к лицу Пляши-ноги свою руку, выпачканную чем-то темным. Тот покосился на руку и пониженным голосом спросил:

— Что же будем делать?

— Иди ты,— а я останусь... Отлежусь, может...

— Куда я пойду? В деревню если — сказать им — человеку, мол, плохо...

— Смотри, побьют.

— Это — как есть... Им только попадись!..

Уповающий откинулся на спину, глухо кашляя и выплевывая изо рта целые шматки крови...

— Идет? — спросил Пляши-нога, стоя над ним, но глядя в сторону.

— Шибко идет,— еле слышно сказал Уповающий и закашлялся.

Пляши-нога цинично и громко ругнулся.

— Хоть бы позвать кого!

— Кого? — грустным эхом повторил Уповающий.

— А может, ты — встал бы да и пошел — помаленьку?

— Нет уж...

Пляши-нога сел около головы товарища и, обняв колени руками, стал смотреть ему в лицо. Грудь Уповающего подымалась неровно, с глухим хрипом, глаза провалились, губы как-то странно растянулись и как бы пристали к зубам. Из левого угла рта по щеке ползла живая темная струйка.

— Всё еще течет? — тихо спросил Пляши-нога, и в тоне его вопроса было что-то близкое к почтению.

Лицо Уповающего дрогнуло.

— Течет... — раздался слабый хрип.

Пляши-нога наклонил голову к коленям и замолчал.

Над ними висела стена оврага, изборожденная

глубокими рытвинами от весенних потоков. С вершины ее смотрел в овраг косматый ряд деревьев, освещенных луной. Другой скат оврага, более пологий, весь порос кустарником; кое-где из его темной массы вздымались серые стволы, и на их голых ветвях ясно были видны гнезда грачей... И овраг, облитый луной, был похож на скучный сон, лишенный красок жизни; а тихое журчание ручья еще более усиливало его безжизненность, оттеняя тоскливую тишину.

— Умираю!..— еле слышно шепнул Уповающий и вслед за тем громко и ясно повторил: — Умираю я, Степан!

Пляши-нога дрогнул всем телом, завозился, засопел и, подняв голову с колен, смущенно, тихонько, точно боялся помешать чему-то, заговорил:

— А ты не того,— не бойся! Может, это так просто,— ничего, брат!

— Господи Иисусе Христе!..— тяжело вздохнул Уповающий.

— Ничего! — шептал Пляши-нога, наклонясь над его лицом.— Ты поддержишься немного... Может, пройдет...

Уповающий начал кашлять; в груди у него явился новый звук — точно мокрая тряпка шлепалась об его ребра. Пляши-нога смотрел на него и шевелил усами. Откашлявшись, Уповающий начал громко и прерывисто дышать — так, точно он из всех сил бежал куда-то. Долго он дышал так, потом заговорил:

— Прости, Степан,— коли что я... за лошадь вот... прости, браток!..

— Ты меня прости!..— перебил Пляши-нога его речь и, помолчав, добавил: — Я, куда я теперь пойду? И как быть?

— Ничего! дай тебе гос...

Он охнул, не докончив слова, и замолчал.

Потом начал хрипеть... Вытянул ноги... Одну из них отвел в сторону...

Пляши-нога, не мигая, смотрел на него. Проходили минуты, длинные, как часы.

Вот Уповающий приподнял голову; но она у него тотчас же бессильно упала на землю.

— Что, брат? — наклонился к нему Пляши-нога. Но он не отвечал уже, спокойный и неподвижный.

Посидел еще немного около товарища Пляши-нога, а потом встал, снял шапку, перекрестился и медленно пошел вдоль оврага. Лицо у него обострилось, брови и усы ощетинились, шагал он так твердо, точно бил землю ногами, точно больно сделать ей хотел.

Уже светало. Небо серое, неласковое; в овраге царила угрюмая тишина; только ручей вел свою однообразную, тусклую речь.

Но вот раздался шорох... Должно быть, ком земли покатился на дно оврага. Проснулся грач и, тревожно крикнув, полетел куда-то. Потом синица прозвенела. В сыром, холодном воздухе оврага звуки жили недолго — родятся и тотчас же исчезнут...



## КАИН И АРТЕМ

Каин был маленький юркий еврей, с острой головой, с желтым худым лицом; на скулах и подбородке у него росли кустики рыжих жестких волос, и лицо смотрело из них точно из старой, растрепанной плюшевой рамки, верхней частью которой служил козырек грязного картуза.

Из-под козырька и рыжих, точно выщипанных бровей сверкали маленькие серые глазки. Они очень редко останавливались подолгу на одном предмете, но всегда быстро бегали из стороны в сторону и всюду сеяли улыбки — робкие, заискивающие, льстивые.

Каждый, кто видел эти улыбки, сразу понимал, что основное чувство человека, который так улыбается, — боязнь пред всеми, боязнь, через секунду готовая повыситься до ужаса. И поэтому каждый, если ему было не лень, усиливал злыми насмешками и щелчками это всегда напряженное чувство еврея, пропитавшее собою не только его нервы, но, казалось, и складки парусиновой одежды, — она, облекая от плеч до пят его костлявое тело, тоже вечно трепетала.

Имя еврея было Хаим, но его звали Каин. Это проще, чем Хаим, это имя более знакомо людям, и в нем есть много оскорбительного. Хотя оно и не шло к маленькой, испуганной, слабосильной фигурке, но всем казалось, что оно вполне точно рисует тело и душу еврея, в то же время обижая его.

Он жил среди людей, обиженных судьбой, а для них всегда приятно обидеть ближнего, и они умеют делать это, ибо пока только так они могут мстить за себя. А обижать Каина было легко: когда над ним издевались, он только виновато улыбался и порой даже сам помогал

смеяться над собой, как бы платя вперед своим обидчикам за право существовать среди них.

Жил он торговлей, конечно. Он ходил по улицам с деревянным ящиком на груди и тонким голосом кричал:

— Вак-ша! Спичкэ! Булавкэ! Шпилькэ! Голантегейного товаг-у! Разный мьелкий товаг-у!

Еще одна черта: уши у него были большие, оттопыренные, и они постоянно прыдали, как у пугливой лошади.

Торговал он на Шихане — в местности, где отложилась городская голь и рвань — разные «забракованные люди». Шихан — узкая улица, застроена старыми высокими домами; в них помещались ночлежки, трактиры, хлебопекарни, лавки с бакалеей, старым железом и разной рухлядью; их населяли воры и приемщики краденого, мелкие торгошники и торговки съестным. В этой улице всегда было много тени, много грязи и пьяных; летом в ней всегда стоял густой запах гниения и перегорелой водки. Солнце, точно боясь осквернить свои лучи грязью, только ранним утром осторожно и ненадолго заглядывало в эту улицу.

Она расположилась по склону горы, недалеко от берега большой реки, и постоянно была полна судорабочими, матросами с пароходов, крючниками. Они тут пьянствовали и наслаждались по-своему, и тут же, в укромных уголках, воры дожидались их опьянения. Около тротуаров улицы стояли корчаги торговки пельменями, лотки пирожников и торговцев «требухой». Толпы рабочего люда с реки жадно пожирали горячую пиццу, пьяные дико пели песни и ругались, продавцы звонко зазывали покупателей, хваля свои товары; грохотали телеги, с трудом пробираясь сквозь группы людей, толпившихся в улице, покушающих или продающих, в ожидании работы или удачи. Хаос звуков вихрем носился в узкой канаве улицы, разбиваясь о грязные стены ее зданий.

В этой канаве кипящей грязи, полной оглушающего шума и циничных речей, всегда шныряли и возились дети — всех возрастов, но одинаково грязные, голодные и развращенные. Они бегали тут с утра до вечера,

существова за счет доброты торговок и ловкости своих рук, а ночью спали где-нибудь в стороне — под воротами, под ларем пирожника, в углублении подвального окна. С рассветом эти тощие жертвы рахитизма и скрофулеза уже были на ногах, чтобы снова воровать вкусные куски пищи, выпрашивать негодные для продажи. Чьи это были дети? Всех...

В этой улице изо дня в день и бродил Каин, выкрикивая свои товары и продавая их женщинам улицы. Они занимали у него на несколько часов двугривенный с обязательством уплатить двадцать две копейки и всегда аккуратно платили. Вообще, у Каина были в улице большие дела: он покупал у загулявших рабочих рубахи, картузы, сапоги и гармоники, у женщин — юбки, кофты, грошковые украшения, потом променивал эти вещи или продавал их с гривенником барыша. И ежечасно подвергался насмешкам, побоям, а иногда его даже обирали. Он не жаловался на всё это, а лишь улыбался трагически кроткими улыбками.

Бывало, захваченный в одном из темных углов улицы двумя-тремя молодцами, доведенными голодом или похмельем до готовности хоть на убийство, еврей, сбитый на землю кулаком или ужасом, сидел у ног своих грабителей и, трепещущий, судорожно роясь в карманах, умолял их:

— Господа-а! Добрые господа! Не берите всех... Как я буду торговать?

И худое лицо его всё дрожало от бесчисленных улыбок.

— Ну, не пищи! Давай только тридцать копеек...

Эти добрые господа хорошо понимали, что не следует вырывать у коровы всё вымя для того, чтоб достать молоко.

Случалось, он вставал с земли и шел рядом с ними по улице, балагурия и улыбаясь; они тоже снисходительно разговаривали и посмеивались над ним, все держали себя просто и открыто. Каин после такого события казался еще более худым и — только.

С кагалом он, должно быть, жил не в ладу. Очень редко видели его рядом с единоверцем, и всегда было

заметно, что единоведец относится к Каину свысока и презрительно. Был в улице слух, будто бы на Каина наложен «херем», и одно время уличные торговки называли его проклятым.

Едва ли это было верно, хотя за Каином и водились несомненные признаки еретичества: он не соблюдал суббот и употреблял в пищу «некошерное» мясо. К нему приставали, прося и требуя объяснить, как он смел есть то, что запрещено его верой. Он сжимался в комок, улыбался и отпучивался или убегал, никогда ничего не рассказывая о вере и обычаях евреев.

Даже несчастные детишки этой улицы преследовали его, бросая ему в ящик и спину комья грязи, корки арбузов и всякую дрянь. Он старался остановить их ласковыми словами, но чаще убегал от них в толпу, куда они не шли за ним, боясь, что там их растопчут.

Так день за днем жил Каин, всем знакомый и всеми гонимый, торговал, дрожал от страха, улыбался, и вот — однажды судьба тоже улыбнулась ему...

В каждом уголке жизни есть свой деспот. На Шихане эту роль играл красавец Артем, колоссальный дегина, с головой в густой шапке кудрявых черных волос. Эти мягкие волосы причудливыми кольцами сыпались ему на лоб, спускаясь до прелестных бархатных бровей и огромных карих глаз, продолговатых, всегда подернутых какой-то маслянистой влагой. Нос у него был прямой, антично правильный, губы красные, сочные, прикрытые большими черными усами; всё его круглое, чистое, смугловатое лицо было на диво правильно и красиво, глаза, подернутые туманом, очень шли к нему, как бы дополняя и объясняя его красоту. Широкогрудый, высокий и стройный, всегда с улыбкой на губах, он был на Шихане грозой мужчин и радостью женщин. Большую часть дня он проводил лежа где-нибудь на солнечном припеке — массивный, ленивый, вшивающий воздух и солнечный свет медленными вздохами, от которых его могучая грудь вздымалась высоко и ровно.

Ему было лет двадцать пять. Года три тому назад он явился в город с артелью крючников-промзинцев \* и после навигации остался зимовать, поняв, что может и не работая приятно жить на средства своей силы и красоты. И вот с той поры он превратился из деревенского парня и крючника в любимца торговки сельскими лавочницами и иных женщин Шихана. Этот род занятий позволял ему иметь пищу, водку и табак всегда, когда он желал; больше он ничего не умел желать и — так жил.

Женщины ругались из-за него, дрались; на замужних сплетничали мужьям, мужья и возлюбленные жестоко били их, — Артем был равнодушен ко всему этому, он грелся на солнце, потягиваясь, как кот, и ждал, когда в нем зародится одно из немногих доступных ему желаний.

Обыкновенно он лежал на горе, в которую упиралась улица. Тут прямо перед собой он видел реку, за ней, вплоть до горизонта, широко расстилались луга, кое-где на их ровном зеленом ковре лежали серые пятна — это деревни. Там — всегда тихо, ясно, зелено... А повернув голову влево, он видел свою улицу от начала до конца, в ней кипела шумная жизнь; всматриваясь в ее темную суету, он различал фигуры знакомых людей, слышал голодный рев и, может быть, думал о чем-нибудь. Вокруг него, по горе, рос густой бурьян, торчали одиноко чахлые березы, обломанные кусты бузины, — тут золоторотцы переживали похмелье и играли в карты, чинили платье или отдыхали от работы и драк.

Среди них Артем был на дурном счету. Он неодолимо силен и часто озорничал, а потом очень уж легко он добывал свой хлеб. Это возбуждало зависть; и к тому же он редко делился с кем-либо своей добычей. Вообще товарищеские чувства в нем были не развиты, и он не тяготел к общению с людьми. Если к нему приходили и начинали говорить с ним, он отвечал охотно, но сам не начинал разговора; если у него просили денег на похмелье — он давал, но по собственному почину никогда не угощал знакомых. А среди них вошло в обычай

---

\* Промзино — село Симбирской губ., откуда выходят на Волгу лучшие, то есть сильнейшие, крючники.

каждую добытую копейку пропивать и проедать в компании.

Сюда, в кусты, к Артему являлись посланники любви — в виде оборванной и чумазой девочки из улицы или такого же чумазого мальчика. Это очень юные люди, лет семи-восьми, редко — десяти, но они всегда проникнуты сознанием глубокой важности возложенного на них поручения, говорят они вполголоса, и на их рожицах мина таинственности...

— Дяденька Артем, тетка Марья велела тебе сказать, что муж у нее уехал, так чтобы ты сегодня нанял лодку да в луга бы с ней поехал...

— Та-ак,— лениво тянет Артем, и его прекрасные глаза мутно улыбаются.

— Непременно чтобы...

— Могу... А... вот что... это — какая она, тетка-то Марья?

— Лавочница, чай,— укоризненно говорит посланец.

— Лавочница... н-да? Это — которая рядом с железной лавкой?

— Чай, рядом-то с железной лавкой Анисья Николаевна... что уж!

— Ну-ну, я, брат, ведь знаю... Я ведь это так... Для шутки говорю!.. будто позабыл... а ведь я Марью знаю.

Но посланец не уверен в этом, он хочет хорошо исполнить свое поручение и настоятельно объясняет Артему:

— Марья — это которая маленькая, румяная, рядом с рыбой...

— Ну-ну!.. Которая рядом с рыбой. Вот! Чудашка ты!.. ведь я разве спутаю? Ладно, скажи ей, Марье, — еду. Едет, мол. Иди!

Тогда посланец корчит сладчайшую рожу и тянет:

— Дяденька Артем, дай копеечку!

— Копеечку? А коли нету ее? — говорит Артем, засовывая обе руки разом в карманы своих шаровар. И всегда находит какую-нибудь монету. Радостно усмехаясь, посланец мчится возвестить влюбленной печеночнице об исполненном поручении и с нее тоже получить на-

граду. Он знает цену денег и нуждается в них не только потому, что голоден, но и потому, что он курит папиросы, пьет водку и имеет свои маленькие сердечные дела. На другой день после такой сценки Артем еще более, чем всегда, недоступен впечатлениям бытия и еще более красив своей редкой красотой могучего, но смиренного животного. Так тянулось это сытое, почти бессознательное существование, спокойное, несмотря на множество ревнивцев, ревнивиц и завистников, спокойное потому, что оно охранялось страшной силой Артемова кулака.

Но иногда в карих глазах красавца сгущалось что-то грозное, темное; его бархатные брови сурово сдвигались, смуглый лоб разрезывала глубокая морщина. Он вставал и шел из своего логовища в улицу, и чем ближе он подходил к ее суете, тем более округлялись зрачки его глаз, чаще вздрагивали тонкие ноздри. На левом плече у него висит желтая куртка из крестьянского сукна, правое покрыто рубахой, и сквозь нее видно, какое это могучее плечо. Сапог он не любил и ходил всегда в лаптях; белые онучи, красиво переkreщенные оборами, рельефно обрисовывали икры ног. Шел он медленно, как большая грозовая туча...

Улица знает его повадки и уже по лицу видит, чего ей ждать от Артема. Раздается предупреждающий шёпот:

— Артем идет!..

Красавцу торопливо очищают дорогу, отодвигая в сторону лотки с товарами, корчаги с горячим, заискивающе улыбаются ему, кланяются... Он же идет среди знаков внимания к нему и боязни пред его силой, идет угрюмый, молчаливый, дико прекрасный, как большой зверь.

Вот его нога задевает за лоток с рубцом, печенкой, легким — и всё это летит на грязную мостовую. Торговец отчаянно вскрикивает и ругается.

— А ты что стоишь на дороге? — спокойно, но зловеще спрашивает Артем.

— Какая тебе, быку, тут дорога? — воет торговец.

— А ежели я тут хочу идти?

Под скулами Артема вздуваются большие желваки,

и глаза у него — как раскаленные докрасна гвозди. Торговец видит это и бормочет:

— Узка тебе улица-то...

Артем медленно двигается дальше. Торговец идет в трактир, берет там кипятку, моет в нем свой товар и через пять минут снова кричит на всю улицу:

— Пичонка, лехко, сердце горяче! Матрос! Иди на почине — язык отрежу! Тетка, купи горло! Кому нужно сердце горяче? Пичонка, лехко!

Волнуется гул голосов и тяжелый запах гнили, водки, пота, рыбы, легтя, луку.

Люди расхаживают по мостовой, мешая двигаться лошадям, кричат, торгуются, смеются. Высоко над ними — голубая лента неба, мутная от пыли и грязи, поднятой на воздух этой улицей, в которой даже тени от домов кажутся сырыми и пропитанными грязью...

— Голантегейного товаг-у! Ниткэ! Иголкэ! — возгласает Каин, следя за Артемом, страшным для него более, чем для других.

— Пирогы со грушай, покупай да кушай! — звонко заливается молодая пирожница.

— Луку, зеленого луку-у!..— вторит ей другая.

— Ква-ас! Ква-ас! — сипло квакает низенький и толстый старик с красным лицом, сидя в тени кадки своего товара.

А человек, известный в улице под странным прозвищем Драного Жениха, продает какому-то судорабочему грязную, но крепкую рубаху со своего плеча и убедительно кричит ему:

— Ду-убина! Где ты кушишь за двугривенный такую парадную вещь? Ведь в такой рубахе купчиху сватать можно! С миллионами,— чё-орт!

Вдруг сквозь общий дикий, но гармоничный рев и вой прорезывается звенящая нота детского голоса:

— Подай-те, Хри-ста ра-ди, копе-ечку... си-ро-те одинокому... ни отца нету, ни матери...

Странно и чуждо всему звучит в этой улице имя Христа.

— Артюша! Поди-ка сюда! — ласково восклицает бойкая солдатка Дарья Громова, торгующая пельменями.— Где ты пропадаешь? Что нас забываешь?



— Много продала? — спокойно спрашивает Артем и легким толчком ноги опрокидывает ее товар. Пельмени, желтые и скользкие, ползут по камням мостовой, и от них идет пар, а Дарья, готовая драться, яростно кричит:

— Бесстыжие твои зенки! Гра-абитель! Как тебя земля-то носит, верблюды астраханский!

Над ней хохочут, — все знают, что она простит это Артему.

А он всё так же медленно двигается дальше, толкая всех, налезая на людей грудью, наступая им на ноги. И впереди него быстро, как змея, ползет предостерегающий шёпот:

— Артем идет!

В этих двух словах даже тот, кто впервые слышит их, чувствует угрозу и уступает Артему дорогу, осторожно посматривая на мощную фигуру красавца.

Вот Артем встречает одного из знакомых босяков. Они здороваются, Артем так сжимает своей железной лапой руку знакомого, что тот кричит от боли и ругается. Тогда Артем сжимает ему пальцами плечо или как-нибудь иначе причиняет боль и молча, спокойно наблюдает, как человек стонет и охает под его рукой, задыхается от боли и шепчет:

— Пусти, палач!..

Но палач неумолим, как судья.

Каин тоже нередко попадал в жестокие руки Артема, который играл им, как ребенок букашкой.

Это своеобразное поведение силача называлось на Шихане «Артюшкин выход». Оно создавало ему массу врагов, но они не могли сломить его чудовищной силы, хотя и пробовали. Так, однажды подобрались семеро здоровых молодцов, одобренные всей улицей, они решили поучить и усмирить Артема. Двое из них очень дорого заплатили за эту попытку, остальные отделались легко. Другой раз лавочники — оскорбленные мужья — порядили знаменитого городского силача-мясника, не раз выходившего победителем из борьбы с атлетами-циркистами. Мясник взялся за крупное вознаграждение избить Артема до полусмерти. Их свели, и Артем, никогда не отказывавшийся драться «по

охоте», вышиб мяснику руку из ключицы и ударом «под душу» уложил его на месте без сознания. Это еще выше подняло престиж Артемовой силы и, конечно, еще более создало ему врагов.

А он по-прежнему продолжал свои «выходы», сокрушая всё и всех на своем пути. Какие чувства выражал он так? Быть может, это была месть городу и порядкам его жизни со стороны человека полей и лесов, оторвавшегося от своей почвы; быть может, он смутно чувствовал, как город губит его, заражая своим ядом его тело и душу, и, чувствуя это, он так боролся с роковой силой, порабовавшей его. Его «выходы» заканчивались иногда в участке, где полиция относилась к нему лучше, чем к другим людям из Шихана, удивляясь его баснословной силе, забавляясь ею, зная, что он — не вор и не способен быть вором — глуп для этого. Но чаще после «выхода» Артем шел в какой-нибудь притон, и там его брала на свое попечение одна из женщин, влюбленных в него. После своих подвигов он был мрачен и капризен, в глазах у него сгушалось что-то дикое, и неподвижностью своей физиономии он походил на идиота. Какая-нибудь промасленная до костей торговка, ядреная баба бальзаковского возраста, ухаживала за ним с видом собственницы этого зверя и с чувством страха перед ним.

— Может, пивка заказать еще пару, Артюша? Али наливочки какой? А покушать ты не желаешь ли чего? И чтой-то ты у меня сегодня такой неудалой...

— Отвяжись!.. — глухо говорил Артем, и она на несколько минут переставала суетиться около него, а потом снова принималась спаивать красавца, ибо она уже знала, что трезвый Артем был скуп на ласки.

И вот судьбе, часто слишком шутилой, угодно было, чтобы этот человек и Каин столкнулись.

Случилось это так.

Однажды после «выхода» и обильной пирушки, сопровождавшей его, Артем со своей дамой, пошатываясь, шел к ней в гости узким и пустынным переулком подгородной слободки. Его ждали тут. Несколько человек бросились на него и тотчас же сбили его с ног. Ослаб-

ленный вином, он защищался плохо, и тогда эти люди чуть ли не в продолжение целого часа вымещали на нем бесчисленные обиды, понесенные ими от него. Спутница Артема убежала, ночь была темна, место пустынно, — у них были все удобства для полного расчета с Артемом, и они действовали, не щадя своих сил. А когда, уставшие, они кончили, на земле лежало два неподвижных тела: одно — красавца Артема, а другое — человека, имя которому было Красный Козел.

Посоветовавшись, что им делать с этими телами, молодцы решили: Артема спрятать под разбитую ледоходом беляну, лежавшую на берегу реки кверху дном, а Красного Козла взять с собой.

Когда Артема потащили по земле к берегу, он очнулся от боли, но, догадавшись, что положение мертвого теперь для него выгоднее, молчал, сдерживая боль. Его тащили, ругали и хвастались друг перед другом ударами, нанесенными силачу. Артем слышал, как Мишка Вавилов говорил товарищам, что он всё поровил бить Артема пинками под левую лопатку, чтобы разорвалось сердце. А Сухоплюев рассказывал, что он бил всё по животу, потому что, если испортить человеку кишки, еда ему не пойдет на пользу, и сколько бы он ни ел — силы у него не будет. Ломакин тоже заявил, что он два раза вспрыгивал ногами на живот Артему. Так же блистательно отличились и все другие, о чем они, хвастаясь, говорили всё время, пока не пришли к беляне и не засунули под нее Артема. Он слышал все их речи и слышал, как они, уходя, единогласно решили, что теперь уже ему, Артему, не встать на ноги.

Вот он остался один, во тьме, на куче сырого мусора, набросанного под беляну в половодье волнами реки. Ночь была свежая, майская, и эта свежесть то и дело возвращала Артему сознание. Но когда он пробовал сползти к реке, то снова падал в обморок от страшной боли во всем теле. И снова приходил в себя, терзаемый болью, томимый страшной жаждой. Река как бы дразнила его бессилие, тихо плескаясь о берег, где-то тут, близко к нему. Всю ночь он провел в этом положении, боясь стонать и двигаться.

Но однажды, очнувшись, он почувствовал, что с ним случилось что-то хорошее, очень облегчившее его боли. Он с трудом мог открыть один глаз и едва шевелил разбитыми, опухшими губами. Был день, потому что через щели барки проникали под нее лучи солнца, они создали вокруг Артема мглу. Потом кое-как он поднял руку к лицу и ощупал на нем мокрые тряпки. Тряпки же лежали на груди у него и на животе. Он был совершенно раздет, и холод уменьшал его муки.

— Пить бы! — выговорил он, смутно догадываясь, что около него должен быть кто-то. Дрожащая рука протянулась через его голову и сунула в рот ему горлышко бутылки. Бутылка плясала в руке подававшего ее, била Артема по зубам. Выпив воды, Артем захотел узнать, кто тут около него, но попытка повернуть голову не удалась ему, вызвав боль в шее. Тогда, хрипя и заикаясь, он начал говорить:

— Водки... в нутро бы стакан... И снаружи вытереть... Тогда бы я... встал, чай...

— Вста-ать? Вы не можете встать. Вы же весь синий и пухлый, как утопленник... А водка — это можно, водка есть... я имею целую бутылку водки...

Говорили тихо, робко и очень быстро. Артем знал этот голос, но не помнил, кому он принадлежит, — которой из женщин.

— Давай, — сказал он.

И опять кто-то, очевидно избегавший его глаз, протянул ему бутылку сзади через голову. Артем, с усилием глотая водку, смотрел одним глазом в сырое и черное днище беляны, поросшее грибами.

Отпив более четверти бутылки, он вздохнул глубоко и облегченно и с хрипом в груди заговорил слабым голосом, лишенным оттенков:

— Чисто меня отделали... Но погоди... встану я! Тогда — держись...

Ему не отвечали, но он слышал шорох — точно кто-то отскочил от него — и затем стало тихо, только волны плескали да где-то далеко пели «дубинушку» и ухали. Пронзительно взвизгнул свисток парохода, взвизгнул, оборвался и через несколько секунд мрачно загудел, точно навсегда прощался с землей... Артем

долго ждал отклика на свои слова, но под беляной было тихо, и ее тяжелое днище, пропитанное зеленоватой гнилью, качалось над его головой, то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз, точно желая с размаха упасть и раздавить его насмерть.

Артему стало жалко себя. Он проникся ясным сознанием своей почти детской беспомощности, и вместе с тем ему стало обидно за себя. Его, такого сильного, такого красивого, так изувечили, обезобразили!.. Слабыми руками он начал ощупывать ссадины и опухоли на лице и груди у себя, а потом с горечью выругался и заплакал. Он всхлипывал, шмыгал носом, ругался и, еле двигая веками, выжимал слезы, наполнявшие его глаза. Они, крупные и горячие, лились по его щекам, текли ему в уши, и он чувствовал, что от слез внутри его как бы что-то прочищается.

— Ладно!.. Погодите!.. — бормотал Артем сквозь рыдания.

И вдруг услышал, что где-то близко и точно передразнивая его — тоже раздаются заглушаемые рыдания и шёпот.

— Кто это? — грозно спросил он, хотя ему было страшно чего-то.

Ему не ответили на вопрос.

Тогда, собрав все силы, Артем повернулся на бок, зверем зарычал от боли, приподнялся на локти и увидел во мгле маленькую фигурку, сжавшуюся в комок у борта беляны. Обняв свои колени длинными и тонкими руками, этот человек прижал к ним голову, а его плечи дрожали; Артему показалось, что это подросток-парнишка...

— Иди сюда!

Тот не послушался, продолжая трястись, как в лихорадке. У Артема от боли и страха пред этой фигурой помутилось в глазах, и он завыл:

— Иди-и!

В ответ ему посыпался целый град дрожащих, то рошливых слов:

— Что же я вам сделал худого? За что вы на меня кричите? Разве я не вымыл вас водой, и не напоил, и не дал вам водки? Не плакал я, когда вы плакали,

и не было больно мне, когда вы стонали? О бог мой и господь мой! Даже и доброе мое только муки несет мне! Что я сделал худого душе вашей или телу вашему? Что могу я сделать вам худого — я! я! я!

И, оборвав свою речь тремя воплями, этот человек замолчал, схватился за голову руками и стал раскачиваться из стороны в сторону, сидя на земле.

— Каин? Это... ах, ты!

— Ну и что?

— Ты? Ну-у! Всё это — ты? А-яй! Ты поди сюда. Ну,— чудак ты!

Артем растерялся от неожиданности и вместе с тем почувствовал, что в нем вспыхнула какая-то радость. Он засмеялся даже, когда увидел, как еврей на четвереньках робко ползет к нему и как боязливо мигают маленькие глазки на смешном лице, знакомом Артему.

— Смело иди! Ей-богу, не трону! — шепнул он нужным ободрить еврея.

Каин подполз к его ногам, остановился и стал смотреть на них с такой боязливой и просительной улыбкой, точно ждал, что они растопчут его истощенное страхом тело.

— Ну!.. вот так ты! И всё это ты делал? Кто тебя прислал — Анфиса? — допрашивал Артем, едва ворочая языком.

— Я сам пришел!

— Са-ам? Врешь!

— Я не вру, не вру! — быстро зашептал Каин. — Я сам пришел — пожалуйста, поверьте мне! Я расскажу, как я пришел. Вот слушайте, — я узнал об этом в Грабилровке... Я пью чай и слышу: Артема ночью забили до смерти. Я не верю — пхэ! Разве можно вас и забить до смерти? Я посмеиваюсь себе. «О, думаю, глупые люди! Этот человек — как Сампсон, кто из вас может одолеть его?» Но они всё приходят и говорят: забили, забили! И ругают вас и смеются... Все рады... и я поверил. И узнал, что вы — тут... Уже приходили сюда посмотреть на вас и говорили, что мертвый вы... Я пошел и пришел, и увидел вас... вы стонали. Я думал, видя вас, — самого сильного человека в свете — вот убили его!.. Такая сила, такая сила. Мне стало —

извините — жалко вас! Я подумал, что нужно омыть вас водой... и сделал так, а вы от этого стали оживать... Я обрадовался этому... ох, как я рад был этому... вы не верите мне, да? Потому что — я жид? да? Но нет, вы поверьте... я скажу вам, почему я обрадовался и что думал... я скажу правду... вы не рассердитесь на меня?

— Вот те крест!.. убей меня гром! — с силой побожился избитый красавец.

Каин подвинулся еще ближе к нему и еще понизил свой голос.

— Вы знаете, как хорошо мне жить? Вы знаете это, да? Разве — извините — я не терпел от вас побоев? И разве вы не смеялись над пархатым жидом? Что? Это — правда? А! Вы извините мне мою правду, вы поклялись. Не сердитесь! Я только говорю, что вы, как и все люди, гоняли жида... За что, а? Разве жид не сын бога вашего и не один бог дал душу вам и ему?

Каин торопился, бросал вопрос за вопросом, не ожидая ответов на них; в нем вдруг заклокотали все те слова, которыми он отмечал в своем сердце нанесенные ему обиды и оскорбления; ожили в нем все они и вот лились из его сердца горячим ручьем. Артему было неловко перед ним.

— Слышь, Каин,— глухо сказал он,— брось это! Я тебя... ежели я тебя пальцем теперь трону... или кто другой — разобью в куски! Понял?

— Ага! — торжествуя, вскричал Каин и даже чмокнул языком.— Вот! Вы предо мной виноваты... извините! Не рассердитесь на меня за то, что знаете, что виноваты предо мной! Я говорю — виноваты, но ведь я знаю, о! я знаю, вы меньше других виноваты!.. Я понимаю это! Все они только на меня плюют своей скверной слюной, вы же — на меня и на всех их! Вы многих обижали хуже, чем меня... Я тогда думал: «Вот этот сильный человек бьет и оскорбляет меня не за то, что я жид, а за то, что я, как все они, не лучше их и среди них несу свою жизнь...» И... я всегда со страхом любил вас. Я смотрел на вас и думал, что и вы можете разорвать пасть льва и избить филистимлян... Вы били их... и я любил смотреть, как вы делали

это... И мне тоже хотелось быть сильным... но я — как блоха...

Артем хрипло засмеялся.

— Вот уж верно — как блоха!..

То, что говорил ему Каин, он почти не понимал, но ему было приятно видеть около себя маленькую фигурку еврея. И под возбужденный полусёпот Каина в нем медленно слагались свои думы:

«Сколько теперь часов? Чай, поди-ка, около полудня. А ни одна небось не идет навестить мила друга... А вот жид пришел... помог, говорит — люблю, а я его обижал, бывало... Силу хвалит... Вернется ли она? Господи, кабы вернулась!»

Тяжело вздыхая, Артем представлял себе своих врагов, избитых им и вот так же опухших, как он. И они так же, как он, будут валяться без сил где-нибудь... Но к ним придут свои, товарищи, а не жид...

Артем взглянул на Каина, и ему показалось, что у него в горле и во рту горько. Он сплюнул, тяжело вздохнул.

А Каин всё говорил, возбужденный, с перекопленным от волнения лицом и вздрагивая всем телом.

— И когда вы заплакали — я тоже заплакал... Так жалко сделалось мне вашей силы...

— А я думаю, кто это дразнится?

— Я всегда любил вашу силу... И я молил бога: предвечный бог наш на небе и на земле и в выси небес отдаленных! Пусть будет так, что я буду нужен этому сильному человеку! Пусть я заслужу пред ним, и да обратится сила его в защиту мне! Пусть за нею я буду сохранен от гонений на меня, и гонители мои да погибнут от силы этой! Так я молился, и долго так просил я господу моего, пусть он создаст мне защитника из сильнейшего врага моего, как он дал в защитники Мардóхею царя, победившего все народы... И вот вы плакали, и я плакал... и вдруг вы закричали на меня, и молитвы мои пропали...

— Да разве я знал, — чудак ты, — виновато пробормотал Артем.

Но Каин едва ли слышал его слова. Он раскачивался, взмахивал руками и всё шептал страстным



шѣпотом, в котором звучали радость, и надежда, и обожание силы этого человека, и страх.

— Наступил мой день, и вот я один около вас... Все бросили вас, а я пришел... Ведь вы выздоровеете, Артем? Это не опасно вам? И воротится к вам ваша сила?

— Подымусь... не крушись!.. А тебя за доброту буду беречь, как малого ребенка...

Артем чувствовал, что понемногу ему становится лучше, — тело ноет меньше и в голове яснее. Нужно заступиться за Каина пред людьми — что, в самом деле? Вон он какой добрый и открытый, — прямо всё говорит, по душе. Подумав так, Артем вдруг улыбнулся — давно уже его томило какое-то неопределенное желание, и вот теперь он понял его.

— А ведь это я есть хочу! Ты бы, Каин, добыл чего поесть?

Каин вскочил на ноги так быстро, что едва не ударился о копани беляны. Лицо его положительно преобразилось: что-то сильное и вместе с тем детски ясное явилось в нем. Артем, этот сказочный силач, просит есть у него, Каина!

— Я сделаю вам всё, всё! Оно уже есть, вот тут, в углу!.. Я припас — я знаю! Когда кто болен, он должен есть... ну да! И я когда шел сюда, то истратил целый рубль.

— Сосчитаемся! Я те — десять отдам!.. Мне ведь это можно... Не свои у меня. Скажу — дай! — и даст...

Он добродушно засмеялся, а Каин при этом смехе еще более просиял.

— Я знаю... Вы скажите, что вы хотите? Я всё сделаю, всё!

— А... уж коли так... вытри ты меня водкой! Есть не давай, а сначала вытри... можешь ты?

— А почему не могу? Как лучший доктор сделаю!

— Вали! Потрешь меня, я и встану...

— Вста-анете? Ох, нет, не можете вы встать!

— Я те покажу, как могу! Здесь, что ли, я почевать-то буду? Чудило ты... А ты вот вытри меня да и беги-ка в слободу к пирожнице Мокевне... И скажи ей, что я к ней в сарай переберусь на житье... постлала

бы там соломы, что ли! У нее я отлежусь... вот! За всё про всё я тебе заплачу... ты не сумлевайся!

— Я верю,— говорит Каин, наливая водки на грудь Артема,— я верю вам больше, чем себе... Ах, я знаю вас!

— У-у! Три, три... Ничего, что больно... три, знай! А-а-а!.. Вот, вот, вот!..— рычал Артем.

— Я пойду для вас и утоплюсь...— объяснялся Каин.

— Так, так, так... Плечо-то, плечо валяй... Ах, черти! А всё баба виновата. Не будь бабы, был бы я трезв... а к трезвому ко мне — сунься-ко!

Каин, входя в роль слуги, объявил:

— О женщины! Это — все грехи мира... у нас, евреев, есть даже такая утренняя молитва: «Благословен ты, предвечный боже наш, царь вселенной, за то, что не сотворил меня женщиной...»

— Ну? Неужто? — воскликнул Артем.— Так-таки прямо и молитесь богу? Ишь ведь вы какие... Что же она, баба? Она только глухая... а без нее — нельзя!.. Но чтобы так уж, даже богу молиться... это не тово... обидно ведь ей, бабе-то! Она тоже чувствует...

Он лежал неподвижный и огромный — еще более увеличенный опухольями, а Каин, маленький, хрупкий, задыхаясь от усилий, возился около него, со всей силой растирая ему грудь, живот, возился и кашлял от запаха водки.

По берегу реки то и дело проходили люди, слышался говор, шаги. Беяна лежала под песчаным обрывом, более сажени высотой, и сверху ее было видно только с самого края обрыва. От реки ее отделяла узкая полоса песку, забросанная разным мусором. Под нею было еще грязно. Но сегодня она возбуждала в людях большой интерес. Каин и Артем заметили, что около нее то и дело проходят, садятся на ее дно, стучат ногами в борта... На Каина это дурно подействовало. Он перестал говорить и, молча ерзая около Артема, пугливо и жалобно улыбался.

— Вы слушаете?..

— Слышу,— довольно усмехнулся силач.— Понимаю... хотят сообразить, скоро ли я буду снова в силе...

ведь им надо это знать... чтобы ребра припасти свои... Черти! Обидно им, чай, что не издох я... Работишка-то их даром пропала...

— А знаете что? — зашептал ему на ухо Каин, с миной ужаса и предостережения на своем лице.— Знаете? Вот я уйду, и вы останетесь один... они тогда придут к вам и... и...

Артем раскрыл рот и выпустил из груди целый залп хриплого смеха.

— Ах ты — фигура! Так ты думаешь — это они тебя, что ли, боятся? Ах ты!..

— А! Но я могу быть свидетелем.

— Они тебе дадут тукманку... вот ты и свидетель!.. на том свете.

Страх Каина был разогнан смехом Артема, и место страха в узкой груди еврея заняла твердая и радостная уверенность. Теперь его, Каинова, жизнь пойдет иной чередой, теперь у него есть мощная рука, которая всегда отведет от него удары людей, безнаказанно истязавших его...

Прошло около месяца.

Однажды в полдень,— час, когда жизнь Шихана принимает особенно напряженный характер, сгущается и вскипает, когда торговцев съестным окружают толпы пристанских и судовых рабочих с пустыми желудками и вся улица наполняется теплым запахом вареного испорченного мяса,— в этот час кто-то вполголоса крикнул:

— Артем идет!..

Несколько оборванцев, праздно толкавшихся в улице, ожидая случая чем-нибудь поживиться, быстро исчезли куда-то. Обыватели Шихана с тревогой и любопытством, искоса, исподлобья стали смотреть в ту сторону, откуда раздавалось предостережение.

Артема давно ждали с глубоким интересом, горячо обсуждая,— каков-то он появится?

Как и раньше, Артем шел среди улицы, шел своей обыкновенной медленной походкой сытого человека, делающего прогулку. В его наружности не было ничего

нового. Как всегда, пиджак висел у него на одном плече, картуз был надет набекрень... И черные кудри рассыпались по лбу, как всегда. Большой палец правой руки он заткнул за пояс, левая была глубоко засунута в карман шаровар, грудь богатырски выпячивалась вперед. Только его красивое лицо стало как бы осмысленнее, — это всегда бывает после болезни. Он шел и отвечал на приветствия и поклоны ленивыми кивками головы.

Улица провожала его тихим шепотом изумления и восхищения пред несокрушимой силой, выдержавшей смертельные побои. Много было людей, говоривших об его выздоровлении со злобой: они презрительно ругали тех, что не сумели отбить легкие Артему. Ведь не может быть такого человека, которого нельзя было бы изувечить до смерти!.. Другие с удовольствием строили предположения о том, как силач расправится с Красным Козлом и его товарищами. Но сила обаятельна тем более, чем крупнее она, и большинство находилось под влиянием Артемовой силы.

Артем вошел в Грабиловку — клуб Шихана.

Когда его высокая и мощная фигура встала на пороге трактира, в длинной и низкой комнате с кирпичным сводчатым потолком гостей было немного. При виде Артема среди них раздались два-три восклицания, родилось суетливое движение, кто-то шарахнулся в дальний угол этого склепа, сырого, прокопченного дымом махорки, пропитанного грязью и плесенью.

Артем медленно обвел глазами трактир и на ласковое приветствие буфетчика Савки Хлебникова ответил вопросом:

— Каин не был?

— Должно скоро быть... Его время близко...

Артем подошел к столу у одного из окон, спросил чаю и, положив на стол свои громадные руки, равнодушно осмотрел публику. В трактире было человек десять; они сбились в кучу около двух столов и оттуда наблюдали за Артемом. Когда глаза их встречали взгляд красавца, они заискивающе улыбались, очевидно желая вступить в беседу с Артемом, но тот смотрел на них тяжело и угрюмо. И все молчали, не

решаясь заговорить с ним. Хлебников, взяв за буфетом, напевал что-то под нос себе и лисьими глазами посматривал вокруг.

С улицы в окна лился гулкий шум, влетали резкие ругательства, божба, выкрики торговцев. Где-то близко с дребезгом свалились бутылки, разбиваясь о камни мостовой. Артему стало скучно сидеть в этом душном погребе...

— Ну, вы, волки,— вдруг громко и медленно заговорил он,— вы чего присмирели? Пялят венки и молчат...

— Можем и говорить, ваша грозность! — сказал Драный Жених, вставая и идя к Артему.

Это был тощий человек в парусиновой куртке и солдатских штанах, лысый, остробородый, с маленькими красными глазами, ехидно прищуренными.

— Хворал ты, говорят? — спросил он, усаживаясь против Артема.

— Ну?

— Ничего... Не видать было долго... Спросишь — а где Артем? Говорят, заболеть изволил...

— Так... Ну?

— Еще — ну? Поедем дальше... Что у тебя болело-то?

— А ты не знаешь?

— Разве я тебя лечил?

— Всё врешь ведь, собака,— усмехнулся Артем.— И зачем врешь? Ведь знаешь правду?

— Знаю,— сказал Жених, тоже усмехаясь.

— Так чего же врешь-то?

— Стало быть, так умнее...

— Умнее. Эх ты!.. огарок!

— Да ведь скажи тебе правду-то, так ты, пожалуй, рассердишься...

— Наплевать мне на тебя!

— И на том спасибо! А ты с выздоровлением водкой меня не угостишь?

— Спроси...

Жених спросил полбутылки водки и оживился.

— Экая у тебя жизнь легкая, Артем!.. Всегда есть деньги...

М. Горькій.

# Очерки и разказы.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

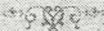
Содержаніе:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Варяжна Повесть.     | 6. В Черть.      |
| 2. Кармъ и Артемъ.      | 7. Лице с Черть. |
| 3. Дружки.              | 8. Мой Саутменъ. |
| 4. Шанхайскіе свиданья. | 9. Прокосиметъ.  |
| 5. Нарядки.             | 10. Читатели.    |

2-Е ИЗДАНИЕ

*С. Дороватовскаго и А. Чарушиникова.*

Цѣна 1 р.



С. ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія Т-ва «НАРОДНАЯ ПОЛЬЗА», Коломенская, особая к. № 39.

1899.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ИЗДАНИЯ

— Ну, так что?

— Ничего... Выручают тебя бабы, проклятые!

— А на тебя и не смотрят.

— Нам — где уж! У нас не такие ноги, чтобы ходить по твоей дороге,— вздохнул Жених.

— Потому баба любит здорового человека. Ты что? А я — чистый человек...

В таком тоне Артем постоянно беседовал с золоторотцами. Его равнодушный, ленивый и густой голос придавал особую силу и тяжесть его словам, и всегда они были грубы, обидны. Быть может, он чувствовал, что эти люди во многом хуже его, но во всем и всегда умнее.

Явился Каин с ящиком своих товаров на груди, с желтым ситцевым платьем, переброшенным через левую руку. Сдавленный обычным ему чувством страха, он стал в дверях, вытянул шею и с беспокойной улыбкой оглянул внутренность трактира, но, увидев Артема, весь просиял радостью. Артем смотрел на него и широко улыбался, шевеля губами.

— Айда ко мне! — крикнул он Каину и, обращаясь к Жениху, насмешливо приказал ему:

— А ты — пошел прочь! Дай человеку место...

Рыжая, щетинистая рожа Жениха на момент одеревенела от удивления, он медленно поднялся со стула, посмотрел на товарищей, изумленных не менее его, на Каина, бесшумно и осторожно подходившего к столу... и вдруг озлобленно плюнул на пол:

— Тьфу!

После чего медленно и молча ушел за свой стол, где тотчас же раздался глухой шёпот, в котором были ясно слышны ноты насмешки и злобы. Каин всё улыбался растерянно, радостно и в то же время искоса и с тревогой скашивал глаза в сторону обиженного Жениха и его компании.

А Артем добродушно говорил ему:

— Ну, давай чай пить, что ли, купец... Пирога надо купить, — будешь пирог есть? Ты чего туда глядишь?.. А ты плюнь на них, не бойся... Ну-ка, вот я им проповедь скажу...

Он встал, движением плеч сбросил куртку на пол

и подошел к столу недовольных. Высокий и мощный, выпячивая вперед грудь, разминая плечи и всячески рисуясь своей силой, он стоял перед ними с усмешкой на губах, а они, замерев в осторожных позах, молчали, готовые бежать.

— Ну,— начал Артем,— что вы урчите?

Ему хотелось сказать что-нибудь страшно сильное, но слов не было у него, и он остановился...

— Глаголь сразу! — махнул рукой Дранный Жених, скривив губы.— А то лучше отстань от нас во все четыре стороны, богова дубина!..

— Молчи! — повел бровями Артем.— Озлился,— зазорно тебе, что я с жидом дружбу веду, а тебя прогнал... Я всем вам говорю,— он лучше вас, жид-то! Потому в нем доброта к человеку есть... а у вас нету ее... Он только замученный... Вот теперь я беру его под свою руку... и ежели какая-нибудь кикимора обидит его — держись тогда! Прямо говорю — не бить, а мучить буду...

У него дико вспыхнули глаза, жилы на шее вздулись и ноздри задрожали.

— Что побили меня пьяного — это мне нипочем! Силы мне не убавили, только сердце пуще ожесточили... Так и знайте! За Каина, за всякое обидное слово ему — насмерть буду увечить. Так всем и скажите...

Он вздохнул во всю грудь, точно тяжесть с себя сбросил, и, повернувшись к ним спиной, пошел прочь.

— Здрово пущено! — вполголоса воскликнул Дранный Жених и скорчил унылую рожу, глядя, как Артем усаживается против Каина.

Каин сидел за столом, бледный от волнения, и не отводил от Артема расширенных глаз, полных чувства, неизъяснимого словами.

— Слыхал? — строго спросил его красавец.— Вот... Так и знай, как кто заденет тебя, беги ко мне и говори. Я сейчас приду и развинчу ему кости...

Еврей бормотал что-то,— молился богу или благодарил человека. А Дранный Жених и его компания, пошептавшись друг с другом, один за одним стали выходить из трактира. Жених, проходя мимо стола Артема, напевал себе под нос:



Кабы к моему уму  
Прибавили денег тьму,  
Ай, хорош бы я был,—  
Без просыпу я бы пил...

— и, взглянув в лицо Артему, неожиданно dokonчил песню своими словами, скорчив рожу и в такт притопывая ногой:

Дураков бы всех скупил  
Да в Черном море утопил —  
Вот как!

— и быстро юркнул в дверь.

Артем выругался и оглянулся вокруг. В полутемном, закопченном и пахучем склепе осталось только трое людей — он, Каин против него и Савка за буфетом.

Лисьи глазки Савки встретились с тяжелым взглядом Артема, и длинное лицо его приняло выражение сладчайшего благочестия.

— Превосходно и великолепно поступил ты, Артем Михайлыч! — говорил он, поглаживая бороду.— Со всем по завету евангельскому... Как в притче о самарянине милосердном... Во гною и стружьях был Каин-то... А вот ты не побрезговал.

Артем слушал не его слова, а эхо их. Оно, отражаемое сводчатым потолком трактира, плавало в его пахучем воздухе и, густое такое, лезло в уши. Артем молчал и тихонько тряс головой, точно желая отогнать от себя эти звуки. А они всё плавали и вклеивались в его уши, раздражая его. Было душно и скучно. Какая-то странная тяжесть легла на сердце Артема.

Он упорно смотрел на Каина. Обжигаясь, дуя на блюдечко, еврей, наклонив голову, пил чай, и блюдечко тряслось в его руках. Иногда Артем ловил на своем лице скользкий взгляд Каина, и силачу от этого взгляда становилось еще скучнее. Глухое чувство недовольства чем-то росло в его груди, глаза его темнели, он дико осматривался вокруг себя. В голове его, как жернова, ворочались думы без слов. Раньше они не посещали его, но вот во время болезни пришли. И не отходят...

Окна с железными решетками, в них льется с улицы оглушающий шум. Тяжелые массы камня висят над головой; липкий от грязи, покрытый сором кирпичный пол... И этот маленький, оборванный, запуганный человек... Сидит, дрожит, молчит... А в деревнях скоро косьба начнется. Уже за рекой, против города, трава в лугах почти по пояс. И, когда оттуда пахнет ветер, запахи приносит он заманчивые...

— Что ты молчишь, Каин? — недовольно заговорил Артем. — Али всё еще боишься меня? Эх, растерянный ты человек!..

Каин поднял голову и странно закачал ею, а лицо у него было сконфуженное и жалкое.

— А что мне говорить? И каким мне языком говорить с вами? Этим, — еврей высунул кончик языка, показывая его Артему, — которым я со всеми другими людьми говорю? Разве мне не стыдно с вами этим языком говорить? Вы думаете, я не понимаю, что вам тоже стыдно сидеть рядом со мной? Что я, и что вы? Вы, Артем, великая душа, вы — как Иуда Маккавей!.. Что бы вы сделали, если бы знали, зачем господь сотворил вас? А! никто не знает великих тайн творца, и никто не может угадать, зачем дана ему жизнь. Вы не знаете, сколько дней и ночей моей жизни думал я, зачем мне жизнь? Зачем дух мой и ум мой? Что я людям? Плевальница для ядовитой слюны их. А что мне люди? Гады, уязвляющие душу мою... Зачем я живу на земле? И зачем только несчастья знаю я... и в солнце нет луча для меня!

Он говорил эти слова страстным полушёпотом, и — как всегда в минуты возбуждения его исстрадавшейся души — всё лицо его дрожало.

Артем не понимал его речи, но слышал и видел, что Каин жалуется. От этого Артему стало еще тяжелее.

— Ну вот, опять ты свое! — с досадой мотнул он головой. — Ведь я же тебе сказал — заступлюсь! Каин тихо и горько засмеялся.

— Как вы заступитесь за меня пред лицом бога моего? Это он гонит меня...

— Ну, это — конечно. Против бога я не могу, — простодушно согласился Артем и с жалостью посове-

товал еврею: — Ты уж терпи!.. Против бога — ничего не поделаешь.

Каин посмотрел на своего заступника и улыбнулся — тоже с жалостью. Так сначала сильный пожалел умного, потом ум пожалел силу, и между двумя собеседниками пронеслось некоторое веяние, немного сблизившее их.

— А ты женатый? — спросил Артем.

— О, у меня большая семья для моих сил, — тяжело вздохнул Каин.

— Ишь ты! — сказал силач. Ему трудно было представить себе женщину, которая любила бы Каина, и он с новым любопытством посмотрел на него, такого хилого, маленького, грязного.

— У меня было пять детей, теперь — четыре. Одна девочка, Хая, всё кашляла, кашляла и умерла. Боже мой... Господь мой!.. И моя жена тоже больная — всё кашляет.

— Трудно тебе, — сказал Артем и задумался.

Каин тоже задумался, опустив голову.

В двери трактира входили старьевщики, подходили к буфету и там вполголоса беседовали с Савкой. Он тайно рассказывал им что-то, подмигивая в сторону Артема и Каина, а его собеседники удивленно и насмешливо поглядывали на них. Каин уже подметил эти взгляды и встрепнулся. А Артем смотрел за реку, в луга... Засвистят там косы, и с мягким шелестом трава ляжет к ногам косарей.

— Артем... я уйду... Вот пришли люди, — шептал Каин, — и они смеются над вами из-за меня...

— Кто смеется? — очнувшись от грез, рывкнул Артем, дико поводя вокруг себя глазами.

Но все в трактире были серьезны и поглощены своим делом. Ни одного взгляда не поймал Артем. И, сурово нахмутив брови, он сказал еврею:

— Врешь ты всё — занапрасно жалуешься... Этак-то, смотри, не игра! Ты жалуйся тогда, когда есть против тебя вина. Али ты, может, пытаешь меня, нарочно сказал?

Каин болезненно улыбался в лицо ему и не отвечал. Несколько минут оба они сидели молча. Потом Каин

встал и, надев на шею свой ящик, приготовился идти. Артем протянул ему руку:

— Идешь? Ну иди, торгуй... А я посижу еще тут...

Обеими своими ручонками Каин потряс громадную лапу своего защитника и быстро ушел.

Выходя на улицу, он зашел за угол, остановился там и стал выглядывать из-за него. Ему была видна дверь трактира и не пришлось долго ждать. Скоро в этой двери, как в раме, явилась фигура Артема. Брови у него были нахмурены и лицо такое, как будто Артем боялся увидеть что-то неприятное ему. Он долго и пристально рассматривал людей, толпившихся в улице, а потом его лицо приняло обычное, лениво-равнодушное выражение, и он пошел сквозь толпу, туда, где улица упиралась в гору, — очевидно, на свое любимое место.

Каин проводил его тоскливым взглядом и, закрыв лицо руками, уперся лбом в железную дверь кладовой, около которой стоял...

Веская угроза Артема возымела свое действие: ее испугались, и еврея перестали травить.

Каин ясно видел, что в терниях, сквозь которые он шел к своей могиле, шипов стало меньше. Люди как будто перестали замечать его существование. По-прежнему он юрко шнырял между них, возглашая свои товары, но ему уже не наступали на ноги нарочно, как это бывало раньше, не толкали его в сухие бока, не плевали в его ящик... Хотя прежде не смотрели на него так холодно и враждебно, как стали смотреть теперь.

Чуткий ко всему, что его касалось, он заметил и эти новые взгляды и спросил себя — что они значат и чем грозят ему? Он вспоминал, что прежде, хотя и редко, с ним заговаривали дружелюбно, порой справлялись о ходе его дел, а иногда даже шутили, и порой не зло шутили...

Каин задумывался, чутко слушал и зорко смотрел. Однажды его ушей коснулась новая песня, сложенная Драным Женихом, трубадуром улицы. Этот человек добывал свой хлеб музыкой и пением; инструментом ему служили восемь деревянных столовых ложек: он

брал их между пальцев и бил ими себя по надутым щекам, по животу, перебирая пальцами, ударял ложками друг о друга — получался аккомпанемент речитативу куплетов, которые он сам же слагал. Если эта музыка была мало приятна, так зато она требовала от исполнителя ловкости фокусника; ловкость же во всех видах ценилась публикой улицы.

И вот однажды Каин наткнулся на группу людей, среди которой Жених, вооруженный своими ложками, бойко говорил:

— Эй, господа честные, арестанты запасные! Играю свежую песню, только что испек,— горячий кусок! Давай по копейке с рыла, а у кого рожа — с того дороже! Начинаю!

Влезет солнышко в окошко —  
Люди ему рады!  
А вот если влезу я...

— Это слышали! — воскликнул кто-то из публики.

— Знаем, что слышали! Да у тебе пирога прежде хлеба даром-то не дам! — объявил Жених, стукая ложками и продолжая напевать:

Ой, горько мне живется!  
Плохо я удался.  
Тяжку с братом повесили,  
А я оборвался!..

— Жаль! — заявила публика.

Но копейки Жениху сыпали, ибо знали, что это добросовестный человек и если он обещал новую песню, так уж даст ее.

— Вот она новая, дубина еловая!

И ложки затрещали частой задорной дробью:

По-ознакомился бык с пауком,  
Познакомился жид с дураком,  
На хвосте носит бык паука,  
Продает бабам жид дурака.  
Эй вы, тетки...

— Стоп машина! Господину Каину почтение колом по шее! Изволили слушать песню, купец? Не для вас сложена — проходите вашим путем!

Каин рассыпал перед артистом свои улыбки и ушел прочь от него, предчувствуя что-то.

Ценил он эти дни и боялся за них. Каждое утро он приходил в улицу, твердо уверенный, что сегодня у него никто не посмеет отнять его копеек. Глаза его стали немножко светлее и покойнее. Артема он видел каждый день, но если силач не звал его, Каин не подходил к нему.

Артем же редко подзывал его, а подзвав, спрашивал:

— Ну что — живешь?

— О, да! Живу... и благодарю вам! — радостно блестя глазами, говорил Каин.

— Не трогают?

— Разве они могут против вас! — со страхом восклицал еврей.

— Ну — то-то!.. А коли что — скажи.

Он угрюмыми глазами измерял фигурку еврея и отпускал его.

— Иди — торгуй!

Каин быстро отходил прочь от своего защитника, всегда ловя на себе насмешливые и злые взгляды публики, взгляды, пугавшие его.

Однажды под вечер, когда Каин уже хотел идти домой, он встретил Артема. Красавец, кивнув ему головой, поманил к себе пальцем. Каин быстро подбежал к нему и увидал, что Артем мрачен и хмур, как осенняя туча.

— Кончил торговать-то? — спросил он.

— Уже хотел уходить домой...

— погоди, — пойдем-ка, поговорю я тебе что-то! — глухо сказал Артем.

И двинулся вперед, громадный, тяжелый, а Каин пошел сзади него.

Они вышли из улицы, повернули к реке, где Артем нашел укромное место под обрывом у самых волн.

— Садись, — сказал он Каину.

Тот сел, искоса, боязливо поглядывая на своего защитника. Артем согнул спину и стал медленно крутить папиросу, а Каин смотрел на небо, на лес мачт у берега, на спокойные, застывшие в тишине вечера волны и соображал, о чем будет говорить силач.

— Ну что,— спросил Артем,— живешь?

— Живу, о! я теперь не боюсь...

— погоди! — сказал Артем.

Он долго и тяжело молчал, попыхивая папирсой, тогда как еврей ждал его речи, полный смутных и боязливых предчувствий.

— Н-да... Ничего, не обижают?

— О, они боятся вас! Они все — как собаки, а вы — как лев! И я теперь...

— погоди!

— Н-ну? И что вы хотите мне сказать? — с трепетом спросил Каин.

— Сказать-то? Это не просто.

— Что же оно такое?

— А!.. видишь ты — будем говорить прямо. Сразу и — всё!

— Ага!

— И я тебе должен сказать, что больше я — не могу...

— Что? Что не можете?

— Ничего! Не могу! Противно мне... Не мое это дело... — вздохнув, сказал Артем.

— Что же? Не ваше дело — что?

— Всё, это... ты и — всё!.. Не хочу я больше тебя знать, потому — не мое это дело.

Каин съежился, точно его ударили.

— И, ежели тебя обидят, ты ко мне не иди и не жалуйся мне... я в защиту не пойду. Понимаешь? Нельзя мне это...

Каин молчал, как мертвый.

Артем, выговорив свои слова, свободно вздохнул и продолжал яснее и более связно:

— За то, что ты меня тогда пожалел, я могу тебе заплатить. Сколько надо? Скажи — и получи. А жалеть тебя я не могу. Нет во мне этого... я только ломал себя,— притворялся. Думал — жалею, а выходит — так это, один обман. Совсем я не могу жалеть.

— Потому что я — жид? — тихо спросил Каин.

Артем сбоку посмотрел на него и сказал:

— Что — жид? Мы все — жида пред господом...

— Так почему? — тихо спросил Каин.

— Да не могу! Понимаешь, нет у меня жалости к тебе... Ни к кому нет... Ты это пойми... Другому бы я и не сказал этого, а просто бы р-раз ему по башке! А тебе говорю...

— «Кто восстанет за меня против злобствующих? Кто постоит за меня против лиходеев?» — тихо спросил еврей словами псалма.

— Я — не могу! — отрицательно мотнул головой Артем. — Не жаль мне тебя... А за то — я лучше заплачу деньги...

— «О, мстящий боже! Предвечный бог возмездий, воссияй, вознесись, судия земли...» — молился Каин, сжавшись в маленький комочек.

Летний вечер был тих и тепел. Грустно и ласково отражала вода реки лучи заката. С обрыва на Каина и Артема упала тень.

— Ты подумай, — убедительно и грустно говорил Артем, — какая моя задача теперь? Ты вот этого не понимаешь... а я — я должен за себя стать... они меня как избил? Помнишь?

Он скрипнул зубами и завозился на песке, а потом лег на спину, протянув ноги к воде и закинув руки за голову.

— Я теперь всех их знаю...

— Всех? — спросил Каин убито.

— Всех! Теперь я начну с ними расчет... И ты мне мешаешь...

— Чем я могу мешать? — воскликнул еврей.

— Не то, чтобы мешать, а такое дело — озлобился я против всех людей. Вот оно что... Ну и, стало быть, ты мне теперь — лишний. Понял?

— Нет! — кротко объявил еврей и тряхнул головой.

— Не понимаешь? Экой ты какой! Тебя жалеть надо — так? Ну, а я теперь не могу жалеть никого... Нет у меня жалости...

И, толкнув в бок еврея, он добавил:

— Совсем нет. Понял?

Наступило долгое молчание. Вокруг собеседников, в теплом и пахучем воздухе, плавали всплески волн и какие-то глухие, охающие звуки, приносившиеся изда-лека, с реки, сонной и темной.



— Что же мне теперь делать? — спросил, наконец, Каин, но ответа не дождался, потому что Артем задремал или задумался о чем-то. — Как я буду жить без вас? — громко сказал еврей.

Артем, глядя на небо, ответил ему:

— А уж ты это сам подумай...

— Боже мой, боже мой!..

— Ведь это тоже не скажешь сразу — как жить, — лениво говорил Артем.

Сказав то, что хотел, он сразу стал ясен и спокоен.

— А ведь я знал это!.. Еще тогда, когда шел к вам, избитому, то уж знал, что не можете вы заступаться за меня долго...

Еврей умоляющими глазами посмотрел на Артема, но не встретил его глаз.

— Вы, может быть, потому, что смеются они над вами за меня? — спросил Каин осторожно и чуть не шёпотом.

— Они-то? А что мне — они? — открыв глаза, усмехнулся Артем. — Ежели бы я захотел, то посадил бы тебя на плечи да и носил по улице. Пускай смеются... А только ни к чему это... Надо всё делать по правде... Чего в душе нет — так уже нет... И мне, брат, прямо скажу, — противно, что ты такой... Вот как выходит.

— Ах!.. Верно! Ну и что я теперь?! уходить?

— Иди, пока светло... Не тронут еще пока! Ведь нашего разговора никто не знает...

— И вы не говорите никому, а? — попросил Каин.

— Ну — известно! А ты все-таки не лезь мне на глаза часто...

— Хорошо, — тихо и грустно согласился еврей и встал на ноги.

— Тебе бы лучше в другом месте где торговать, — равнодушно сказал Артем. — А то тут — строго жизнь держат...

— Куда же я пойду?

— Ну уж... как знаешь...

— Прощайте, Артем.

— Прощай, брат!

И он, лежа, протянул еврею руку и стиснул своими пальцами его сухие кости.

— Прощай. Не обижайся...

— Я не обижаюсь,— подавленно вздохнул еврей.

— Ну вот... Ведь этак-то лучше, сам посуди... Больно ты — не для меня товарищ... Разве мне для тебя жить? Не идет это...

— Прощайте!

— Ну иди...

Каин пошел берегом реки, опустив голову на грудь и сильно сторбившись.

Красавец Артем повернул голову вслед ему и через несколько секунд снова улегся в прежней позе, лицом к небу, уже темному от близости ночи...

В воздухе рождались и таяли странные звуки. Река плескалась о берег однообразно, печально и тоскливо.

Каин, пройдя шагов пятьдесят, вернулся снова, подошел к могучей фигуре Артема, распростертой на земле, и, остановясь перед ней, тихо и почтительно спросил:

— А может, вы иначе подумаете?

Артем молчал.

— Артем! — позвал Каин и долго ждал ответа.— Артем! Может, всё это так себе вы? — повторил еврей дрожащим голосом.— Вспомните, как я тогда вас... а? Артем?! Никто не пришел, а я пришел...

В ответ ему раздался слабый храп.

...Каин еще долго стоял над силачом и всё всматривался в его безжизненно красивое лицо, смягченное сном. Богатырская грудь вздымалась ровно и высоко, черные усы, шевелясь от дыхания, открывали блестящие, крепкие зубы красавца. Казалось, он улыбался...

Глубоко вздохнув, еврей еще ниже склонил голову и снова пошел по берегу реки. Весь трепещущий от страха пред жизнью, он шел осторожно,— в открытых пространствах, освещенных луной, он умерял шаг, вступая в тень — крался медленно...

И был похож на мышонка, на маленького трусливого хищника, который пробирается в свою нору среди многих опасностей, отовсюду грозящих ему.

А уж ночь наступила, и на берегу реки было пустынно...

## ЧИТАТЕЛЬ

...Была ночь, когда я вышел на улицу из дома, где, в кругу близких мне людей, читал свой напечатанный рассказ. Меня много хвалили за него, и, приятно взволнованный, я медленно шагал по пустынной улице, впервые в моей жизни испытывая так полно наслаждение жить.

Это было в феврале; ночь была ясная, и безоблачное небо, густо затканное звездами, дышало бодрым холодом на землю, покрытую пышным убором только что выпавшего снега. Ветви деревьев, перевешиваясь через заборы, бросали на мою дорогу причудливые узоры теней, ярко и радостно блестели снежинки в голубом, ласковом сиянии луны. Нигде не было видно ни одного живого существа, и скрип снега под моими ногами был единственным звуком, нарушавшим торжественную тишину этой ясной, памятной мне ночи... Я думал:

«Хорошо быть чем-нибудь на земле, среди людей!»

И воображение, не скупясь на яркие краски, рисовало мне мое будущее...

— Да, вы написали славную вещь!.. Это — так! — задумчиво сказал кто-то за моей спиной.

Я вздрогнул от неожиданности и оглянулся.

Маленький, одетый в темное, человек поравнялся и пошел в ногу со мной, снизу вверх глядя в мое лицо и улыбаясь острой улыбкой. В нем всё было остро: взгляд, скулы, подбородок с эспаньолкой; вся его маленькая, сухая фигурка колола глаза своей странной угловатостью. Он шел легко и как-то беззвучно, точно скользил по снегу. Я не видал его там, где читал, и, понятно, был удивлен его возгласом. Откуда, кто он?

— Вы... тоже слушали? — спросил я.

— Да, имел удовольствие.

Говорил он тенором. Губы у него были тонкие, черные маленькие усы не скрывали их улыбку. Она не исчезала, производя неприятное впечатление, я чувствовал, что за ней скрыта какая-то едкая, нелестная для меня мысль. Но я был слишком хорошо настроен для того, чтоб долго останавливаться в наблюдении за этой чертой моего спутника, и, мелькнув в глазах моих, как тень, она быстро исчезла пред ясностью моего довольства собой. Я шел рядом с ним, ожидая, что он скажет, втайне надеясь, что он увеличит количество приятных минут, пережитых мною в этот вечер. Человек жаден, потому что судьба слишком редко улыбается ему ласково.

— А хорошо чувствовать себя чем-то исключительным? — спросил мой спутник.

Я не услышал в его вопросе ничего особенного и поспешил согласиться с ним.

— Хе, хе, хе! — колко засмеялся он, нервно потирая свои маленькие руки с тонкими, цепкими пальцами.

— А вы веселый человек... — сухо сказал я, задевший его смехом.

— Да, я веселый человек, — улыбаясь, подтвердил он и качнул головой. — И еще я очень любопытен... Я всегда хочу знать; всё знать — это мое постоянное стремление, оно-то и поддерживает во мне бодрость. Вот и сейчас я хочу знать — что стоит вам ваш успех?

Я посмотрел на него и нехотя ответил ему:

— Около месяца работы... может быть, немного более...

— Ага! — живо подхватил он. — Немножко труда, затем частица житейского опыта, который всегда чего-нибудь стоит... Но это недорого все-таки, когда такой ценой вы приобретаете сознание, что вот в данный момент несколько тысяч людей живут вашей мыслью, читая ваше произведение. И потом приобретаются надежды на то, что, может быть, со временем... хе, хе!.. и когда вы умрете... хе, хе, хе!.. За всё это можно больше дать, больше того, сколько дали вы нам, — не правда ли?

Он опять засмеялся своим дробным, колющим смехом, лукаво оглядывая меня острыми, черными глазками. Я тоже посмотрел на него сверху вниз и, обиженный, холодно спросил его:

— Извините... с кем я имею удовольствие беседовать?

— Кто я? Вы не догадываетесь? А я пока не скажу вам, кто я. Разве для вас знать имя человека более важно, чем знать то, что он скажет вам?

— Конечно, нет... Но всё это — странно! — ответил я.

Он для чего-то тронул меня за рукав пальто и, тихонько посмеиваясь, заговорил:

— Ну и пускай будет странно, — почему бы человеку не позволить себе иногда выйти из рамок простого и обыденного?.. И если вы не прочь сделать это — давайте поговорим откровенно! Вообразите, что я — читатель... некий странный читатель, который очень любопытен и желал бы знать, для чего и как делается книга... вами, например? Давайте же поговорим.

— О, пожалуйста! — сказал я. — Мне приятно... такие встречи и разговоры... не каждый день возможны. — Но я уже лгал ему, ибо для меня всё это становилось неприятным. Я думал: «Чего он хочет? И с какой стати я позволяю себе придавать этой уличной встрече с незнакомым мне человеком характер какого-то диспута?»

Однако я все-таки медленно шел рядом с ним, стараясь выразить на лице моем любезное внимание к моему спутнику. Это, я помню, с трудом удавалось мне. Но все-таки у меня пока было еще много бодрого настроения, я не хотел обидеть этого человека отказом говорить с ним и решил следить за собой.

Луна сияла в небе сзади нас, и наши тени лежали у нас под ногами. Слившись в одно темное пятно, они ползли впереди нас по снегу, а я смотрел на них и ощущал в себе зарождение чего-то такого, что, как эти тени, было темно, неуловимо и, как они, тоже впереди меня.

Мой спутник помолчал с минуту времени и потом заговорил уверенным тоном господина своих дум:

— Ничего нет в жизни более важного и любопытного, чем мотивы человеческих действий... Не правда ли?

Я кивнул головой.

— Вы согласны!.. Так давайте поговорим откровенно — не упускайте случая говорить откровенно, пока вы еще молоды!..

«Странный человек!» — подумал я и, заинтересованный его словами, спросил его, усмехаясь:

— Но о чем говорить?

Он, взглянув мне в лицо, с фамильярностью старого знакомого воскликнул:

— Будем говорить о целях литературы?

— Пожалуй... хотя, мне кажется, уже поздно...

— О! для вас еще не поздно!..

Я остановился, удивленный этими словами, — он произнес их с такой серьезной уверенностью, и они звучали — как иносказание. Я остановился, желая что-то спросить у него, но он, взяв меня за руку, тихо и настойчиво повел вперед, говоря мне:

— Не останавливайтесь, ибо со мной вы на хорошем пути... Довольно предисловий! Скажите — чего хочет литература?.. Вы ей служите, вы должны это знать.

Мое изумление росло в ущерб моему самообладанию. Что нужно от меня этому человеку? Кто он?

— Послушайте, — сказал я, — согласитесь, что всё происходящее между нами...

— Имеет свое достаточное основание, — верьте мне! Ведь ничто в мире не совершается без достаточного к тому основания... Идемте же скорее, но не вперед, а вглубь...

Бесспорно, этот чудак был интересен, но он сердил меня. Я снова сделал нетерпеливое движение вперед; он следовал за мной и спокойно говорил мне:

— Я понимаю вас: вам трудно в этот момент дать определение цели, которую преследует литература. — Попробую я сделать это...

Он вздохнул и потом с улыбкой посмотрел мне в лицо.

— Вы согласитесь со мной, если я скажу, что цель литературы — помогать человеку понимать себя самого, поднять его веру в себя и развить в нем стрем-

ление к истине, бороться с пошлостью в людях, уметь найти хорошее в них, возбуждать в их душах стыд, гнев, мужество, делать всё для того, чтоб люди стали благородно сильными и могли одухотворить свою жизнь святым духом красоты. Вот моя формула; она, разумеется, неполна, схематична... дополняйте ее всем, что может одухотворить жизнь, и скажите — вы согласны со мной?

— Да, это так!..— сказал я.— Приблизительно — это так. Принято думать, что, в общем, задача литературы — облагородить человека...

— Вот какому великому делу вы служите! — внушительно сказал этот человек... и снова он засмеялся своим едким смехом: — Хе, хе, хе!

— Однако к чему вы говорите всё это? — спросил я, делая вид, будто его смех не задевает меня.

— А как вы думаете?

— Откровенно говоря...— начал я, придумывая колкость, и замолчал. Что значит говорить откровенно? Этот человек неглуп, он должен знать, как тесны границы человеческой откровенности и как стойко охраняет их самолюбие. Взглянув в лицо моего спутника, я почувствовал себя глубоко уязвленным его улыбкой, — в ней было столько иронии и презрения! Я чувствовал, что начинаю бояться чего-то, боязнь эта понуждает меня уйти от него.

— До свидания! — сухо сказал я, приподнимая шляпу.

— Почему? — тихо воскликнул он.

— Я не люблю шуток, когда в них нет чувства меры.

— И — уходите?.. Дело ваше... но, знаете, если вы теперь уйдете от меня, мы уже никогда не встретимся.

Слово «никогда» он подчеркнул, и оно прозвучало в ушах моих, как удар похоронного колокола. Я ненавижу это слово и боюсь его: оно всегда представляется мне тяжелым и холодным, чем-то вроде молота, предназначенного судьбой для того, чтобы раздроблять надежды людей. Это слово остановило меня.

— Что вам нужно? — с тоской и злобой спросил я.

— Сядем здесь,— снова усмехаясь, произнес он и, крепко взяв меня за руку, потянул ее вниз.

В этот момент мы с ним были в аллее городского сада, среди неподвижных, обледенелых ветвей акации и сирени. Освещенные луной, они висели в воздухе над головой моей, и мне казалось, эти покрытые льдом и инеем жесткие ветви проникают мне в грудь, касаются сердца.

Недоумевающий, озадаченный выходкой моего спутника, я смотрел на него и молчал.

«Это большой»,— подумал я, желая ободрить себя и объяснить себе его действия. Но он как-то угадал мою мысль.

— Ты думаешь, что я ненормален? Оставь это. Это такая дрянная и вредная мысль! Прикрываясь ею, как часто мы отказываемся от понимания человека только потому, что он оригинальнее нас, и как стойко эта мысль поддерживает и осложняет печальную небрежность наших отношений друг к другу!

— О, да!..— сказал я, всё сильнее ощущая в себе смущение пред этим человеком.— Но, извините, я пойду... Мне пора уже...

— Ступай,— сказал он, пожав плечами.— Иди... но знай, что ты спешешь потерять себя...— Он выпустил мою руку из своей, и я пошел прочь от него.

Он остался в саду на горе, спускавшейся к Волге, на горе, покрытой белой пеленой снега, перерезанной темными лентами тропинок. Пред ним открывался широкий вид на безмолвную, унылую равнину за рекой. Этот человек остался в саду, сел на одну из скамеек и стал смотреть в пустынную даль, а я шел вдоль по аллее и чувствовал, что не уйду от него, но все-таки шел. Шел я и думал: «Следует мне идти тихо или быстро для того, чтоб показать ему,— человеку, что сидел там, сзади меня,— как мало он для меня значит?»

Вот он тихо насвистывает что-то знакомое... Я знаю, что это смешная и грустная песня о слепом, который взял на себя роль вожака слепых. «Зачем он именно ее насвистывает?» — подумал я.

И тут я понял, что с той минуты, как я встретился с этим маленьким человечком, я вступил в темный круг ощущений исключительных и странных. Недавнее



ровное и довольное настроение моего духа облеклось в туман ожидания чего-то важного и тяжелого.

«Как же ты будешь вожаком,  
Если с дорогой незнаком?»

— вспоминал я слова песни, которую насвистывал тот человек.

Я обернулся и посмотрел на него. Облокотясь одной рукой о колено и положив голову на ладонь, он смотрел на меня, свистал, и его черные усы шевелились на лице, освещенном луной. Я решил вернуться назад, движимый каким-то роковым чувством. Быстро подошел я к нему, сел рядом и сказал ему не волнуйся, но горячо:

— Послушайте, будем говорить просто...

— Это необходимо для людей, — кивнул он головой.

— Вы, я чувствую, обладаете силой какого-то воздействия на меня и, очевидно, имеете что-то сказать мне... да?

— Наконец ты нашел в себе мужество слушать! — воскликнул он со смехом; но теперь этот смех был мягче и даже что-то близкое к радости послышалось мне в нем.

— Так говорите! — сказал я, — и если можете, говорите без странностей...

— О, хорошо! Но согласись, что ведь странности были необходимы для того, чтоб привлечь ко мне твоё внимание? Теперь притупляется внимание к простому и ясному, как чересчур холодному и жесткому, а согреть и смягчить что-нибудь мы не умеем: мы сами холодны и жестки. Мы, кажется, снова хотим грез, красивых вымыслов, мечты и странностей, ибо жизнь, созданная нами, бедна красками, тускла, скучна! Действительность, которую мы когда-то так горячо хотели перестроить, сломала и смяла нас... Что же делать? Попробуем, быть может, вымысел и воображение помогут человеку подняться ненадолго над землей и снова высмотреть на ней свое место, потерянное им. Потерянное, не правда ли? Ведь человек теперь не царь земли, а раб жизни, утратил он гордость своим первородством, преклоняясь пред фактами, не так ли? Из фактов, созданных им, он делает вывод и говорит себе: вот непреложный закон! И, подчиняясь этому

закону, он не замечает, что ставит себе преграду на пути к свободному творчеству жизни, в борьбе за свое право ломать для того, чтобы создавать. Да он и не борется больше, а только приспосабливается... Чего ради ему бороться? Где у него те идеалы, ради которых он пошел бы на подвиг? Вот почему живет так бедно и скучно, вот почему обессилел в человеке дух творчества... Некоторые слепо ищут чего-то, что, окрыляя ум, восстановило бы веру людей в самих себя. Часто идут не в ту сторону, где хранится всё вечное, объединяющее людей, где живет бог... Те, которые ошибаются в путях к истине,— погибнут! Пускай, не нужно им мешать, не стоит их жалеть — людей много! Важно стремление, важно желание души найти бога, и, если в жизни будут души, охваченные стремлением к богу, он будет с ними и оживит их, ибо он есть бесконечное стремление к совершенству... Так ли?

— Да,— сказал я,— это так...

— Ты, однако, умеешь соглашаться,— заметил мой собеседник, колко усмехаясь. Потом он помолчал, глядя вдаль. Мне показалось, что он долго молчит, и я нетерпеливо вздохнул. Тогда он, не обращая на меня своего взгляда, блуждавшего вдали, спросил:

— Кто есть твой бог?

До этого вопроса он говорил мягко и ласково, и мне приятно было его слушать: как и все думающие люди, он был немного печален, был близок мне, я понимал его, и мое смущение пред ним гасло. И вот вдруг он ставит роковой вопрос, на который так трудно ответить человеку нашего времени, если этот человек честно относится к себе. Кто есть мой бог? Если б я знал это!

Я был подавлен вопросом, да и кто бы на моем месте сохранил присутствие духа? — А он смотрел на меня своими острыми глазами, улыбался и ожидал моего ответа.

— Ты молчишь слишком долго для человека, который мог бы дать ответ. Может быть, ты скажешь мне что-нибудь, если я спрошу тебя вот о чем: ты пишешь, и тысячи людей читают тебя; что же именно ты проповедуешь? И думал ли ты о твоём праве поучать?

Первый раз в жизни я смотрел так внимательно вглубь себя. Пусть не думают, что я возвышаю или унижаю себя для того, чтоб привлечь к себе внимание людей, — у нищих не просят милостыни. Я открыл в себе немало добрых чувств и желаний, немало того, что обыкновенно называют хорошим, но чувства, объединяющего всё это, стройной и ясной мысли, охватывающей все явления жизни, я не нашел в себе. В душе моей много ненависти; она постоянно тлеет там, иногда вспыхивает ярким огнем гнева; но — еще больше сомнений в душе моей. Порой они так потрясают мой ум, так давят сердце, что долгое время я существую внутренне опустошенный... Ничто не возбуждает меня к жизни, сердце мое холодно, как мертвое, ум спит, а воображение давят кошмары. И так, слепой, немой и глухой, живу я долгие дни и ночи, ничего не желая, ничего не понимая; мне кажется тогда, что я уже труп и лишь по какому-то странному недоразумению еще не зарыт в землю. Ужас такого существования еще больше усиливается сознанием необходимости жить, ибо в смерти еще менее смысла, еще больше тьмы... Наверное, она отнимает даже и наслаждение ненавидеть...

Что же, в самом деле, я проповедую, я — такой, каков есть? И что я могу сказать людям? То, что уже давно говорили им и всегда говорят, что находит себе слушателей, но не делает людей лучшими? Но имею ли я право проповеди этих идей и понятий, если сам я, воспитанный на них, часто поступаю не так, как они повелевают? Если я иду противу них, значит ли это, что убеждение в их истинности есть искреннее мое убеждение, заложенное в основе моего «я»? Что же отвечу я человеку, который сидит рядом со мной? А он уже устал ждать моих ответов и снова заговорил:

— Я бы не поставил тебе этих вопросов, если б не видал, что твое честолюбие еще не успело уничтожить твою честь. Ты имеешь мужество слушать меня... Из этого я заключаю, что твоя любовь к себе разумна, ибо для того, чтоб усилить ее, ты не бежишь даже и от мук. За это я облегчу тяжесть твоего положения

предо мной и буду говорить с тобой, как с виновным, а не как с преступником.

— Когда-то среди нас жили великие мастера слова, тонкие знатоки жизни и человеческой души, люди, одухотворенные неукротимым стремлением к совершенствованию бытия, одухотворенные глубокой верой в человека. Они создавали книги, которых никогда не коснется забвение, ибо в книгах тех запечатлены вечные истины, нетленной красотой веет с их страниц. Образы, начертанные в тех книгах, живы, они одушевлены силой вдохновения. В тех книгах есть и мужество и гнев пылающий, в них звучит любовь искренняя и свободная, и ни одного лишнего слова нет в них. Оттуда, я знаю, ты черпал пищу душе своей... Но, должно быть, плохо питалась душа твоя, ибо у тебя речь о правде и любви звучит фальшиво и лицемерно, точно ты насилуешь себя, когда говоришь об этом. Ты, как луна, чужим светом светишь, свет твой печально-тускл, он много плодит теней, но слабо освещает и не греет он никого. Ты нищ для того, чтобы дать людям что-нибудь действительно ценное, а то, что ты даешь, ты даешь не ради высокого наслаждения обогащать жизнь красотой мысли и слова, а гораздо больше для того, чтоб возвести случайный факт твоего существования на степень феномена, необходимого для людей. Ты даешь для того, чтобы больше взять от жизни и людей. Ты нищ для подарков, ты просто ростовщик: даешь крупицу твоего опыта под проценты внимания к тебе. Твое перо слабо ковыряет действительность, тихонько ворошит мелочи жизни, и, описывая будничные чувства будничных людей, ты открываешь их уму, быть может, и много низких истин, но можешь ли ты создать для них хотя бы маленький, возвышающий душу обман?.. Нет! Ты уверен, что это полезно — рыться в мусоре буден и не уметь находить в них ничего, кроме печальных, крошечных истин, устанавливающих только то, что человек зол, глуп, бесчестен, что он вполне и всегда зависит от массы внешних условий, что он бессилен и жалок, один и сам по себе? Знаешь, его, пожалуй, уже успели убедить в этом! Ибо душа его охлаждена и ум — туп... Еще бы! Он смотрит на свое

изображение в книгах, а книги,— особенно если они написаны с той ловкостью, которую так часто принимают за талант,— всегда несколько гипнотизируют человека. Он смотрит на себя в твоём изображении и, видя, как он дурен, не видит возможности быть лучше. Разве ты умеешь показать ему эту возможность? Разве ты можешь сделать это, когда ты сам... но я пощажу тебя за то, что, слушая меня, ты, я чувствую, думаешь не над тем, как бы возразить мне и оправдать себя. Так! Ибо учитель, если он честен, всегда должен быть внимательным учеником. Все вы, учителя жизни наших дней, гораздо больше отнимаете у людей, чем даете им, ибо вы всё только о недостатках говорите, только их видите. Но в человеке должны быть и достоинства; ведь у вас они есть? А вы, чем вы отличаетесь от дюжинных, серых людей, которых изображаете так жестоко и придиричиво, считая себя проповедниками, обличителями пороков ради торжества добродетели? Но замечаете ли вы, что добродетели и пороки — вашими усилиями определить их — только спутаны, как два клубка ниток, черных и белых, которые от близости стали серыми, восприняв друг от друга часть первоначальной окраски? И едва ли бог послал вас на землю... Он выбрал бы более сильных, чем вы. Он зажег бы сердца их огнем страстной любви к жизни, к истине, к людям, и они пылали бы во мраке нашего бытия, как светильники его силы и славы... Вы же чадите, как факелы торжества сатаны, и чад ваш, проникая в умы и души, отравляет их ядом недоверия к себе. Скажи: чему вы учите?

Я чувствовал на щеке своей горячее дыхание этого человека и не смотрел на него, боясь встретиться с его взглядом. Его слова падали в мой мозг, как огненные капли, и от этого мне было больно... Я с ужасом понимал, как трудно отвечать на простые вопросы... И не ответил ему.

— Итак, я, усердный читатель всего, что ты пишешь и что пишут подобные тебе, спрашиваю: чего ради вы пишете? А вы — много пишете... Хотите ли вы пробудить добрые чувства в сердцах людей? Но холодными и бессильными словами вы не сделаете этого, нет! И вы

не только не можете дать жизни что-либо новое, вы и старое даете в скомканном, измятом, лишенном образа виде. Читая вас, ничему не поучаешься, ни за что, кроме вас, не стыдишься. Всё будни, будни, будничные люди, будничные мысли, события... Когда же будут говорить о духе смятенном и о необходимости возрождения духа? Где же призыв к творчеству жизни, где уроки мужества, где бодрые слова, окрыляющие душу?

— ...Ты можешь сказать мне: жизнь не дает иных образов, кроме тех, которые воспроизводим мы. Не говори так, ибо для человека, имеющего счастье владеть словом, стыдно и позорно сознаваться в своем бессилии пред жизнью и в том, что не может он встать выше ее. А если ты стоишь на одном уровне с жизнью, если ты не можешь силой воображения твоего создать образы, которых нет в жизни, но которые необходимы для поучения ее,— какая польза в твоей работе и чем оправдаешь ты звание свое? Загромождая память и внимание людей мусором фотографических снимков с их жизни, бедной событиями, подумай, не вредишь ли ты людям? Ибо — сознайся! — ты не умеешь изображать так, чтоб твоя картина жизни вызвала в человеке мстительный стыд и жгучее желание создать иные формы бытия... Можешь ли ты ускорить биение пульса жизни, можешь ли ты вдохнуть в нее энергию, как это делали другие?

Мой странный собеседник остановился на минуту, а я молча думал о его словах.

— Я вижу вокруг себя много умных людей, но мало среди них людей благородных, да и те, которые есть, разбиты и больны душой. И почему-то всегда так наблюдаю я: чем лучше человек, чем чище и честнее душа его, тем меньше в нем энергии, тем болезненнее он, и тяжело ему жить. Одиночество и тоска — удел таких людей. Но как ни много в них тоски о лучшем,— у них нет сил для создания его. Не потому ли они так разбиты и жалки, что им не дано своевременно помощи ободряющим душу словом?..

— ...И еще,— продолжал мой странный собеседник,— можешь ли ты возбудить в человеке жизнерадост-

ный смех, очищающий душу? Посмотри, ведь люди совершенно разучились хорошо смеяться! Они смеются зло, смеются подло, часто смеются сквозь слезы, но никогда не услышишь среди них радостного, искреннего смеха, того смеха, который должен бы сотрясать груди взрослых, ибо хороший смех оздоравливает душу... Для человека необходимо смеяться, ведь смех — одно из немногих преимуществ его над животными. Можешь ли ты возбудить в людях какой-либо иной смех, кроме смеха порицания, кроме пошлого смеха над тобой, человеком, который лишь потому смешон, что жалок? Пойми, — твое право проповедовать должно иметь достаточное основание в твоей способности возбуждать в людях искренние чувства, которыми, как молотками, одни формы жизни должны быть разбиты и разрушены для того, чтоб создать другие, более свободные, вместо тесных. Гнев, ненависть, мужество, стыд, отвращение и, наконец, злое отчаяние — вот рычаги, которыми можно разрушить всё на земле. Ты можешь создать такие рычаги? Ты можешь привести их в движение? Для того, чтобы иметь право говорить к народу, нужно иметь в душе или великую ненависть к его недостаткам, или великую любовь к нему за его страдания; если же нет в душе твоей этих чувств, будь скромн и много подумай прежде, чем что-либо сказать...

Уже светало, но на душе моей всё более сгущалась тьма. А человек, для которого не было тайн в душе моей, всё говорил. Иногда во мне вспыхивала мысль: «Человек ли он?»

Но, поглощенный его словами, я не мог думать над этой загадкой, и вновь в мой мозг, как иглы, вонзались его слова.

— Жизнь все-таки растет и вширь и вглубь, хотя растет она медленно, ибо у вас нет силы и умения ускорить ее движения. Растет жизнь, и с каждым днем люди учатся спрашивать. Кто будет отвечать им? Должны бы вы, апостолы-самозванцы. Но понимаете ли вы жизнь настолько, чтоб объяснять ее другим? Понимаете ли вы запросы своего времени, предчувствуете ли вы будущее, и что вы можете сказать для возбуждения человека, растленного мерзостью жизни,

павшего духом? Он упал духом, его интерес к жизни низок, желание жить с достоинством в нем иссякает, он хочет жить просто, как свинья, и — вы слышите? — уже он нахально смеется, когда произносят слово — идеал: человек становится только грудой костей, покрытых мясом и толстой шкурой, — эту скверную грудку двигает не дух, а похоти. Он требует внимания — скорее! помогайте ему жить, пока он еще человек! Но что вы можете сделать для возбуждения в нем жажды жизни, когда вы только ноете, стонете, охаете или равнодушно рисуете, как он разлагается? Над жизнью носится запах гниения; трусость, холопство пропитывают сердца, лень вяжет умы и руки мягкими путами... Что вы вносите в этот хаос мерзости? Как вы все мелки, как жалки, как вас много! О, если б явился суровый и любящий человек с пламенным сердцем и могучим всеобъемлющим умом! В духоте позорного молчания раздались бы вещие слова, как удары колокола, и, может быть, дрогнули бы презренные души живых мертвецов...

После этих слов он долго молчал. Я не смотрел на него. Не помню, чего было больше во мне — стыда или ужаса?

— Что ты можешь сказать мне? — раздался безучастный вопрос.

— Ничего! — ответил я.

И опять было молчание.

— А как же ты теперь будешь жить?

— Не знаю!.. — ответил я.

— Что же ты будешь говорить?

Я промолчал.

— Нет мудрости превыше молчания!..

Мучительна была пауза между этими его словами и смехом, который раздался вслед за ними. Он смеялся с наслаждением, как человек, которому давно уже не представлялось случая посмеяться так легко и приятно. У меня сердце кровью плакало от этого проклятого смеха.

— Хе, хе! И это ты — учитель жизни? Ты, которого так легко смутить? Теперь, я думаю, ты понял, кто я? да? Хе, хе, хе... И каждый из вас, юношей, родившихся



стариками, так же бы смутился, если бы захотел иметь дело со мною. Лишь тот, кто облек себя в броню лжи, нахальства и бесстыдства, не дрогнет перед судом своей совести. Так вот как ты силен: толчок — и ты падаешь! Скажи мне, ну скажи мне что-нибудь в свое оправдание, опровергни то, что я сказал! Освободи сердце твое от стыда и боли. Будь хоть на минуту сильным, уверенным в себе, и я возьму назад то, что бросил в лицо твое. Я поклонюсь тебе... Покажи мне в душе твоей что-нибудь такое, что помогло бы мне признать в тебе учителя! Мне нужен учитель, потому что я человек; я запутался во мраке жизни и ищу выхода к свету, к истине, красоте, к новой жизни, — укажи мне пути! Я человек. Ненавидь меня, бей, но извлекай из тины моего равнодушия к жизни! Я хочу быть лучшим, чем есть; — как это сделать? Учи!

Я думал: могу ли я, могу ли удовлетворить тем требованиям, которые человек, по праву своему, предъявляет ко мне? Жизнь гаснет, умы людей всё плотнее охватывает тьма сомнений, и нужно найти исход. Где путь? Одно я знаю — не к счастью нужно стремиться, зачем счастье? Не в счастье смысл жизни, и довольством собой не будет удовлетворен человек: он все-таки выше этого. Смысл жизни в красоте и силе стремления к целям, и нужно, чтобы каждый момент бытия имел свою высокую цель. Это было бы возможно, — но не в старых рамках жизни, в которых всем так тесно и где нет свободы духу человека...

А он снова смеялся, но уже тихо, смехом человека, сердце которого изъедено думами.

— Как много было людей на земле, но как мало воздвигнуто на ней памятников людям! Почему бы это? Но предадим проклятию прошлое, — слишком много оно возбуждает зависти к себе. Ибо в настоящем вовсе нет таких людей, которые по смерти оставили бы за собой какой-нибудь след на земле. Дремлет человек... И никто не будит его. Дремлет он и — превращается в животное. Бич ему нужен и огненная ласка любви, вслед за ударом бича. Не бойся сделать ему больно: если ты, любя, бьешь, он поймет твой удар и примет его как заслуженный. Когда же ему будет больно и

стыдно за себя, ты пламенно обласкай его — и он возродится... Люди? Это всё еще дети, хотя порой они поражают злодейством своих дел и извращенностью мысли. И они всегда нуждаются в любви к ним, в постоянной заботе о свежей и здоровой пище для их душ... А ты умеешь любить людей?

— Любить людей? — переспросил я с сомнением, ибо, право, не знаю, люблю ли я людей. Нужно быть искренним — я не знаю этого. Кто скажет про себя: вот — я люблю людей! Человек, внимательно следящий за собой, долго подумает над этим вопросом, прежде чем решится сказать: люблю. Все знают, как далек от каждого из нас наш ближний.

— Ты молчишь? Всё равно — я понимаю тебя и безмолвного... И я уйду...

— Уже? — тихо спросил я. Потому что, как ни страшен он был для меня, сам я для себя — еще страшнее...

— Да, я уйду... Не раз еще я приду к тебе. Жди! И он ушел.

Как ушел? Я не заметил этого. Он быстро и бесшумно ушел, как исчезают тени... Я же еще долго оставался на скамье в саду, не чувствуя холода извне и не замечая, что уже солнце взошло и ярко блестят лучи его на обледенелых ветвях деревьев. Странно было мне видеть ясный день и солнце, сияющее равнодушно, как всегда, и эту старую, измученную землю, одетую покровом снега, ослепительно сверкавшего в лучах солнца...

## КИРИЛКА

...Когда возок выкатился из леса на опушку, Исай привстал на козлах, вытянул шею, посмотрел вдаль и сказал:

— Ах ты чёрт,— кажись, тронулась!

— Ну?

— А право... как будто идет...

— Гони скорее!

— Э-эх ты, мар-рмаладина!

Коротенькое и толстое животное, с ослиными ушами и шерстью пуделя, от удара кнутовищем по его крупе отскочило в сторону с дороги, остановилось и, перебирая на месте ногами, обиженно закачало головой.

— Н-но, я тебе пококетничаю! — крикнул Исай, дергая вожжами.

Псаломщик Исай Мякинников — уродливый человек, сорока лет от роду. На левой щеке и под челюстью у него росла рыжая борода, а на правой вздулась огромная кила,— она, закрыв ему глаз, опускалась морщинистым мешком на плечо. Отчаянный пьяница, недурной философ и насмешник, он вез меня к своему родному брату и моему товарищу, сельскому учителю, умиравшему от чахотки. За пять часов времени мы не проехали и двадцати верст, потому что дорога была скверная, а то фантастическое животное, которое везло нас, имело дурной характер. Исай называл его шишигой, жёрновом, ступой и другими странными именами, причем каждое из них одинаково шло к этому коню, метко подчеркивая ту или иную из особенностей его внешности и характера. И среди людей часто встречаются такие же сложные существа, которых как ни назови,— всё будет впору, лишь имя человека к ним нейдет.



А. М. ГОРЬКИЙ, С. В. ЩЕРБАКОВ (слева)  
и А. Е. БОГДАНОВИЧ (справа)  
Нижний Новгород, 1899 г.

Фото М. Дмитриева.



Над нами нависло серое небо, сплошь покрытое тучами, вокруг распростерлись луга в темных пятнах проталин. Впереди, верстах в трех, возвышались синеватые холмы горного берега Волги, тяжелое небо опиралось на них. Река была невидима за косматой гривой прибрежных кустов. С юга дул ветер, вода в лужах морщилась и гримасничала, в воздухе метался скучный, сырой звук, — хлюпала грязь под ногами лошади...

— Задержит нас река, — говорил Исай, подпрыгивая на козлах. — А Яков не дожидется и помрет... тогда из всего нашего странствия выйдет одно бесполезное утруждение плоти... Но ежели мы и застанем его в живых — какая польза? Одна помеха и больше ничего... в час смертный не следует торчать пред глазами отходящего, нужно оставить человека одного, дабы не отводить его взгляда вовнутрь себя на предмет посторонний... В час смертный человек должен смотреть в глубину своего сердца, а не на пустяки, ибо живой для умирающего есть пустяк и лишний предмет... Положим, оно так уж полагается законом жизни, чтобы у одра предстояли близкие покидающего юдоль сию... но ежели рассуждать с употреблением разума, а не мозгом пяток наших, то опять-таки окажется, что в этом обычае нет пользы ни живым, ни мертвым, а одно излишество в терзании сердца. Живой не должен и вспоминать о том, что есть смерть и ждет его она... Живому это вредно, потому что отемняет радости... Ты, чёртов пест! Играй ногами веселей!.. Н-но!..

Исай говорил однотонно, густым, сильным голосом, и его нелепая, длинная фигура, закутанная в широкий, дырявый рыжий армяк, неуклюже болталась на козлах, подпрыгивая, перегибаясь с боку на бок, кланяясь и откидываясь назад. Широкополая черная шляпа, подарок батюшки, была привязана тесемками под бородой, и ветер бросал в лицо Исаю концы тесемок. Псаломщик тряс острой головой, шляпа съезжала ему на глаза, полы армяка раздувались от ветра. Исай вертелся, ежился, ругался, а я, глядя на него, думал о том, как много человек тратит энергии на борьбу с мелочами. Если б нас не одолевали гнусные черви

мелких будничных зол,— мы легко раздавили бы страшных змей наших несчастий.

— Идет! — уныло воскликнул Исай.

— Видишь?

— Вижу в кустах лошадей, и люди около них... Значит — нет езды!

— Может быть, как-нибудь переправимся.

— Толкуй! Известно, переправимся... когда лед пройдет. А до той поры что будем делать? То-то... И потом — есть я хочу! Так я хочу есть, что даже сказать этого невозможно простым языком. Говорил я тебе — давай закусим... Нет, вези... На, привез!..

— Есть и мне хочется... Ты ничего не взял с собой?

— Ежели я позабыл! — сердито ответил Исай.

Выглядывая из-за его спины, я видел коляску, запряженную тройкой лошадей, и плетеный шарабан парой. Лошади смотрели навстречу нам, а около них стояли какие-то фигуры: одна высокая, с рыжими усами, в фуражке с красным околышем, другая — в черном длинном сюртуке на меху.

— Земский начальник Суцов, а это мельник Мамаев,— пробормотал Исай вполборота ко мне и почти-тительным тоном приказал своему коню: — Тпру, радетьель... Опоздали мы, стало быть? — сдвинув с головы шляпу, обратился он к толстому кучеру, стоявшему у тройки.

Кучер хмуро взглянул на его голый яйцеобразный череп и молча отвернулся в сторону.

— Не потрафили,— улыбаясь, ответил купец Мамаев, низенький и полный человек с красным лицом и мошенически ласковыми глазами.

Земский начальник, облокотясь на крыло коляски, курил и крутил ус, исподлобья поглядывая на нас. Тут было еще двое людей: кучер Мамаева, рослый малый с кудрявыми волосами и с огромным ртом, и мужичонка на кривых ногах, в рваном полушубке, туго подпоясанный, перегнувшийся вперед и как бы застывший в поклоне нам. Маленькое, сморщенное лицо его поросло редкой серой бородкой, глаза спрятаны в мешках морщин, тонкие губы сложены в улыбку, и в ней одновременно соединялись почтительность с

насмешкой и глупость с плутовством. Он сидел на корточках, был похож на обезьяну и, медленно поворачивая голову то туда, то сюда, следил за всеми, не показывая никому своих глаз. Из бесчисленных дыр его полушубка высовывались клочья грязной овчины, и вся фигура мужика производила странное впечатление: он казался изжеванным, как будто только сейчас вырвался из какой-то огромной пасти, пытавшейся сожрать его... Высокий бугор песку, за которым мы стояли, скрывал нас от ветра и реку от нас.

— Пойти взглянуть, как там дела-то? — сказал Исай и полез на бугор. За ним угрюмо двинулся земский начальник, потом я и купец. Мужичонка встал на четвереньки и тоже стал карабкаться на бугор. Когда мы взлезли на его вершину, то все сели там, мрачные, как вёроны. Пред нами аршинах в четырех расстояния и сажени на три ниже нас — широкой синевато-серой полосой лежала река, вся в морщинах, в язвах, в кочках мелко истертого льда. Лед покрывал ее, как болезненной коростой, и двигался медленно, но — несокрушимая сила была в его движении. Скрипучий шорох стоял в воздухе, холодном и сыром.

— Кирилка! — позвал земский начальник.

Мужичонка вскочил на ноги и, стащив с головы шапку, согнулся пред земским так, точно подставлял ему свою голову на отсечение.

— Что же — скоро?

— Не задержит, ваше благородье, сичас встанет... Извольте видеть, как прет? В этаком густом ходу не может он не встать... Там, на версту выше — коса. Как на нее навалит — так и готово дело. Вся штука в большой чке... ежели чка увязнет в воротах около косы — тут ему и препона! Тиснет ее в узину — она весь ход и задержит...

— Ну, ладно...

Мужик шлепнул губами и умолк.

— Нет, это чёт знает что! — возмущенно заговорил земский. — Я же ведь говорил тебе, идиоту, — переправь две лодки на эту сторону, а? говорил?

— Говорили, это верно! — виновато ответил мужик.

— Н-ну, а ты?



— Не успел, потому — тронулась она сразу...

— Болван! Нет, — обратился земский к Мамаеву, — эти ослы совершенно не могут понимать человеческого языка!

— Сказано — муж-жики-с, — любезно улыбаясь, прошипел Мамаев, — раса дикая... племя тупое. Но вот теперь будем ожидать от усердия земства и распространения им школ — просвещения и образованности...

— Школы — да! Читальни, фонари — прекрасно! Я понимаю это... но, однако, хотя я и не противник просвещения, как вы знаете, а все-таки ха-аро-ошая порка воспитывает быстрее и стоит дешевле... да-с! За розгу мужик не платит, а на просвещение с него шкуру дерут хуже, чем розгой драли. Пока просвещение только разоряет его, вот что... Я однако не говорю — не просвещайте, я говорю — пожалейте, подождите...

— Совершенно так! — с удовольствием воскликнул купец. — Очень бы следовало подождать, потому что тяжело мужику по нынешним дням... недороды, болезни, слабость к вину — всё это, так сказать, под корень его сечет, а тут школы, читальни... Что с него взять при таком порядке? Совсем нечего с него взять, — уж поверьте мне!

— Вам это известно, Никита Павлыч, — убежденно, но вежливо сказал Исай и благочестиво вздохнул.

— Еще бы! Семнадцать лет хожу вокруг него. Я насчет учения так полагаю: ежели во благовремении, то оно может принести пользу всякому человеку... Но, ежели у меня в брюхе, извините, пусто, — ничему я учиться не пожелаю, кроме как воровству...

— Зачем вам учиться! — почтительно и ласково воскликнул Исай.

Мамаев взглянул на него и искривил губы.

— Вот мужик, — Кирилка! — позвал земский. — Вот мужик, — обратился он к нам с некоторой торжественностью на лице и в тоне, — это, рекомендую, недоужинный мужик, бестия, каких мало! Когда горел «Григорий», он, оборванец этот... собственноручно спас шестерых пассажиров, поздней осенью часа четыре кряду, рискуя жизнью, купался в воде, в бурю, ночью... Спас людей и скрылся... его ищут, хотят благодарить,

хлопотать о медали... а он в это время ворует казенный лес и схвачен на месте преступления! Хороший хозяин, скуп, сноху вогнал во гроб, жена, старуха, бьет его поленом. Он пьяница и очень богомолен, поет на клиросе... Имеет хороший пчельник и при всем этом — вор! Паузилась тут баржа, он попался в краже трех мест изюму, — извольте видеть, какая фигура?

Все мы внимательно посмотрели на талантливую мужика. Он стоял пред нами, спрятав глаза, и шмыгал носом. Около его губ играли две морщинки, но губы были плотно сжаты, и лицо решительно ничего не выражало.

— И вот мы спросим его: Кирилка! Скажи — какая польза в грамоте, в школах?

Кирилка вздохнул, почмокал губами и не сказал ничего.

— Ну, вот ты грамотный, — строже заговорил земский, — ты должен знать — лучше тебе жить оттого, что ты грамотный?

— Всяко бывает, — сказал Кирилка, наклоня голову еще ниже.

— Да нет, все-таки — ты читаешь, ну, что же, какая польза от этого для тебя?

— Пользы, оно, конечно, нет, чтобы, значит, прямо взять ее... но ежели рассудить, то... учат, стало быть, в пользу это им...

— Кому — им?

— Учителям, стало быть... земству, значит, и вообще... начальству!..

— Дурак же ты! Тебе-то, тебе — есть польза?

— Это — как угодно, ваше благородие...

— Кому угодно?..

— Вам... значит, как вы начальник...

— Пошел прочь!

У земского концы усов вздрагивали и лицо покраснело.

— Вот видите, он ничего не сказал, но его ответ ясен. Нет, господа, прежде, чем учить мужика азбуке, нужно — дисциплинировать его!.. Он — испорченный ребенок, да! но он и — почва! Вы понимаете?.. Основание пирамиды государственного строя... и вдруг —

колеблется! Вы понимаете серьезность такого... э... э... беспорядка?

— Дело ясное,— сказал Мамаев.— И, действительно, следует укрепить...

Так как и я интересуюсь судьбой мужика, я тоже вступил в разговор, и скоро мы в четыре голоса горячо и озабоченно решали судьбу его. Истинное призвание каждого из нас — устанавливать правила поведения для наших ближних, и несправедливы те проповедники, которые упрекают нас в эгоизме, ибо в бескорыстном стремлении видеть людей лучшими мы всегда забываем о себе.

Мы спорили, а река, как огромная змея, ползла пред нами и терлась о берег своей холодной серой чешуей.

И наш разговор извивался змеей, раздраженной змеей, которая бросается из стороны в сторону в своем стремлении схватить то, что ей необходимо и что ускользает от нее. От нас ускользал предмет разговора — мужик. Кто он? Он сидел на песке недалеко от нас; он молчал, и лицо его было бесстрастно.

Мамаев говорил:

— Не-ет-с, он не глуп! Он даже о-очень не дурак... его довольно трудно объехать на кривой...

Земский начальник раздражался:

— Я не говорю — глуп! я говорю — распущен! Поймите! Живет без должной опеки над ним, как несовершеннолетним,— вот в чем корень неурядиц его жизни...

— А я, с позволения сказать, полагаю так, что он — ничего! Божия тварь, как и все... Но — извините! обалдел он... от неустройства бытия своего лишился надежд...

Это говорил Исай, говорил голосом елеинным и почтительным, сладко улыбаясь и вздыхая, его глазки робко щурились и не хотели смотреть прямо, а кила сотрясалась, точно в ней было много смеха, он желал вырваться на воздух и не смел. Я же утверждал, что мужик — просто голоден и что если бы дать ему вволю хорошей пищи, то он, наверное, исправится...

— Вы говорите — голоден? — раздраженно вос-

кликнул земский.— Но, чёрт возьми, почему? Нужно понять, по-че-му он голоден? Почему, скажите ради бога, сорок, пятьдесят лет тому назад он не знал, что такое голод? Я говорю... я... я вот сам голоден! Да, чёрт, в данную минуту я сам, по его милости, голоден! А! Как это вам нравится? Я приказывал — переправить сюда лодки и ждать меня... Приезжаю... Сидит Кирилка. Тыфу! Нет, это, я вам скажу, просто идиоты...

— Действительно,— очень бы приятно покушать! — меланхолически сказал Мамаев.

— Н-да,— вздохнул Исай...

И все мы, раздраженные спором, уже не раз сердито фыркавшие друг на друга, замолчали, объединенные желанием есть, и посмотрели на Кирилку, который под нашими взглядами передернул плечом и стал медленно стаскивать шапку с своей головы...

— Как же это ты, брат, насчет лодки-то?.. — укоризненно сказал Исай.

— Да ведь что же лодка?.. Хоша бы она и была — ее не съешь... — виновато ответил Кирилка.

Мы все четверо отвернулись от него.

— Шесть часов сижу здесь,— объявил Мамаев, взглянув на золотые часы, вынутые им из кармана,— из своего кармана, должен я прибавить.

— Вот извольте видеть! — раздраженно воскликнул земский и повел усами.— А эта bestия... говорит — скоро образуется затор... Ты! скоро, что ли?

Очевидно, земский полагал, что Кирилка имеет некую власть над рекой и движением льда по ней, и было ясно, что Кирилка действительно виновен в этом, потому что вопрос земского привел в движение все члены мужичонки. Кирилка двинулся на самый край бугра, прикрыл глаза ладонью и стал, наморщив лоб, смотреть вдаль, зачем-то дрыгая левой ногой и шевеля губами, как будто он шептал заклинания реке.

Лед шел сплошной массой, синеватые льдины с глухим шорохом лезли одна на другую, ломались, трещали, рассыпались на мелкие куски; порою между ними появлялась мутная вода и исчезала, затираемая льдом. Казалось, огромное тело, пораженное накожной болезнью, всё в струньях и ранах, лежит пред нами, а

чья-то могучая невидимая рука очищает его от грязной чешуи, и казалось — пройдет еще несколько минут — река освободится от тяжелых оков и явится перед нами широкая, могучая, прекрасная, сверкнут из-под снега и льда ее волны, и солнце, прорвав тучи, радостно и ярко взглянет на нее.

— Теперь уж — сейчас, вашбродие! — оживленно воскликнул Кирилка. — Редет, — эна там! вона у косы!

Он простирал руку с шапкой вдаль, где я ничего не видел, кроме льда...

— До Ольховой далеко?

— Ежели прямо идти, верст пять, вашбродие...

— Ч-чёрт... гм! Может быть, у тебя есть что-нибудь? Картофель, хлеб?

— Хлеб?.. Это точно, хлеб есть... А картофелю нету... не родилось его ныне, картофелю-то...

— С тобой хлеб?

— Хлеб-то? за пазухой, вон он...

— На кой чёрт ты носишь его за пазухой?

— Да его немного, вашбродие, фунта с два... и опять же — теплее он от этого...

— Э, дурак... Надо было давеча еще кучера послать в Ольховую! Молока бы, что ли, выпить... но этот всё твердит — чичас! чичас!.. Этакая мерзость!

Земский начал зло дергать усы, а Мамаев ласково уставился на пазуху мужика, который стоял, понутив голову, и медленно поднимал к ней руку с шапкой. Исай делал Кирилке какие-то знаки пальцами; мужик взглянул на него и стал бесшумно подвигаться в его сторону, обернув лицо к спине земского начальника.

Лед редел, между льдинами являлись трещины, точно морщины на скучном, бескровном лице. Играя на нем, они придавали реке то одно, то другое выражение, всегда одинаково мудрое, всегда холодное, но — то печальное, то насмешливое, то искаженное болью. Сырая масса облаков смотрела на игру льда неподвижно, бесстрастно, шорох льдин о песок звучал, как чей-то робкий шёпот, и наводил уныние.

— Дай мне, брат, хлебца! — услышал я подавленный шёпот Исаея.

И в то же время Мамаев густо крикнул, а земский громко и сердито сказал:

— Кирилка! дай сюда хлеб...

Мужичонка сорвал одной рукой шапку с головы, другую руку сунул за пазуху и, положив хлеб на шапку, протянул его к земскому, изогнувшись чуть не в дугу. Взяв хлеб в руку, земский брезгливо оглянул его и с кислой улыбкой под усами сказал нам:

— Господа! Все мы, я вижу, являемся претендентами на обладание этим куском, и все мы имеем на него одинаковое право,— право людей, которые хотят есть... Что же? Разделим пополам... сию скудную трапезу... Чёрт возьми! вот смешное положение, но, поверите ли, торопясь застать дорогу, я так спешил... Извольте...

Отломив себе, он подал кусок хлеба Мамаеву. Купец прищурил глаз, склонив голову набок, и, измерив хлеб, откромсал свою долю. Остатки взял Исай и разделил со мною. Мы снова сели в ряд и стали дружно, молча жевать этот хлеб, хотя он был похож на глину, имел запах потной овчины и квашеной капусты и... неизъяснимый вкус...

Я ел и наблюдал, как по реке плывут грязные лохмотья ее зимних одежд.

— Вот,— говорил земский, с упреком глядя на кусок в своей руке,— извольте видеть — это хлеб! В то время, как за границей крестьянин имеет вино, сыр, пшеничный хлеб,— наш мужик ест... эту гадость. Мякина в нем, кислота какая-то... и этим питаются накануне двадцатого столетия!.. А почему?

Так как вопрос был обращен к Мамаеву, купец тяжело вздохнул и скромно ответил:

— Пишша не тово... не располагает...

— А по-че-му-с?

— Истошала почва земли... так сказать...

— Хм! Полноте! Эти разговоры об истощении земли — просто выдумка земских статистиков...

Кирилка вздохнул и поправил шапку на голове.

— Ты! Скажи — земля родит? — обратился к нему земский.

— Да ить... она всяко... когда ей в мочь, то она — сколько угодно!

— Не виляй! Говори прямо — родит?

— То есть... стало быть, ежели...

— Вре-ешь!

— Ежели руки к ней, то она — ничего...

— Ага-а! Вы слышите — руки! Вот потому-то она и не родит, что рук к ней некому приложить... Что мы видим? Пьянство и распущенность... лень. Руководителя нет. Недород — на сцену выступает земство: на, сей, батюшка, на, ешь, батюшка... Не-ет-с, это непорядок! Почему до шестьдесят первого года родила? Потому что — если недород — сейчас его, голубчика... мужика то есть — пожалуйста-ка сюда! Вы как пахали? Вы как сеяли? Потом дадут ему — сей! И — родит, о, поверьте! А теперь, живя за пазухой у земства, он спрятал все свои способности... потому что не знает, как употребить их с большей пользой для себя, а указать некому...

— Это — точно, помещик мог заставить всё, что угодно,— уверенно сказал Мамаев.— Он что хотел из мужика делал...

— Музыкантов, живописцев, танцоров, актеров... — с жаром подхватил земский.— Всё, что угодно!

— Истинно-с!.. Я вот тоже помню, когда еще мальчишкой был... так у нас... у графа... в дворне был один... подражатель, так сказать...

— Н-да?

— Всему выучился подражать! Не токмо звукам, которые от человека и скота... но даже деревянным и иным... изображал, как доску пилят или стекло бьется. Надует щеки и — хорошо выходило! А то, бывало, граф скажет: «Федька! лай, как Злобная лает! Федька! лай, как Перехват!..» И лает! Вот до чего достиг! Теперь бы за этакое искусство мно-ого денег можно взять!

— Лодки едут! — возгласил Исай.

— А! Наконец!

— Вот и дождались... — с улыбкой сказал мне Мамаев.

— Да...

— Уж это всегда так: ждешь, ждешь и... дождешься! Всему есть свой конец...

— Ведь это утешительно,— не правда ли?

— Еще бы-с!

— Ежели бы не это — многие совсем не могли бы жизнь терпеть,— сказал Исай.

У того берега реки среди льда копошились две длинные темные точки.

— Лезут,— сказал Кирилка, посмотрев на них. Земский начальник искоса взглянул на него и спросил:

— Ну что, всё пьешь?

Кирилка виновато ответил:

— Ежели когда случится... выпиваю...

— А лес воруеть?

— Зачем мне лес, вашбродие?

— Нет, однако?

— Никогда я, вашбродие, не займовался лесом! — сказал Кирилка и даже головой потряс отрицательно.

— А судил я тебя за что?

— Известно... судили вы, это точно...

— За что?

— Как вы начальники... то вам и положено судить нас.

— Хи-итрая ты бестия! Ну, а с барж, во время паузка, тоже воруеть по-прежнему?

— Я, вашбродие, один раз попробовал.

— Да и то попал, ха-ха-ха!

— Не привышно нам это — потому и попал.

— Надо приучиться? ха-ха-ха!

— Хе-хе-хе! — смеялся Мамаев.

Лодки, отталкиваясь баграми от льдин, напиравших на борта, подвигались к нашему берегу. Мужики в них что-то кричали друг другу. Кирилка тоже приставил ко рту кулак трубкой и неожиданно сильным голосом крикнул им:

— На ветлу потрафля-ай!..

Крикнул и почти кувырком скатился вниз с бугра к реке... Мы тоже последовали за ним.

Скоро мы садились в лодки: в одну я с Исаем, в другую Мамаев с земским.

— С богом, ребята! — сняв фуражку и крестясь, скомацдовал земский.



Двое мужиков на его лодке тоже истоиво перекрестились и стали тыкать баграми во льдины, сжимавшие лодки. А льдины ударялись о борта, и раздавался зловещий, хрустящий звук. На воде было холодно. Лицо Мамаева, я видел, как-то побурело. Земский начальник, хмурия брови, строго и беспокойно смотрел вверх по течению, откуда на наши лодки неслись огромные голубовато-серые куски льда. Маленькие льдины шуршали о киль, и казалось, будто чьи-то острые крупные зубы грызут дерево лодок...

Было сыро, шумно и жутко, и все мы смотрели за борта, на этот грязный, холодный лед, такой могучий и глупый. Но вдруг в шорохе, окружавшем нас, я услышал голос с берега и взглянул туда. Берег был еще саженьях в десяти от нас, на нем стоял без шапки Кирилка; я видел его серые, бойкие и насмешливые глаза и слышал Кирилкин странно сильный голос:

— Дядя Антон! За почтой поедете — хлеба мне привезите, слышь? Господа-то, путя ожидаючи, краюшку у меня съели, а — одна была...

## ВАСЬКА КРАСНЫЙ

Недавно в публичном доме одного из поволжских городов служил человек лет сорока, по имени Васька, по прозвищу Красный. Прозвище было дано ему за его ярко-рыжие волосы и толстое лицо цвета сырого мяса.

Толстогубый, с большими ушами, которые торчали на его черепе, как ручки на рукомойнике, он поражал жестоким выражением своих маленьких бесцветных глаз; они заплыли у него жиром, блестели, как льдины, и, несмотря на его сытую, мясистую фигуру, всегда взгляд его имел такое выражение, как будто этот человек был смертельно голоден. Невысокий и коренастый, он носил синий казакин, широкие суконные шаровары и ярко вычищенные сапоги с мелким набором. Рыжие волосы его вились кудрями, и, когда он надевал на голову свой щегольской картуз, они, выбиваясь из-под картуза кверху, ложились на околыш картуза,— тогда казалось, что на голове у Васьки надет красный венок.

Красным его звали товарищи, а девицы прозвали его Палачом, потому что он любил истязать их.

В городе было несколько высших учебных заведений, много молодежи, поэтому дома терпимости составляли в нем целый квартал: длинную улицу и несколько переулков. Васька был известен во всех домах этого квартала, его имя наводило страх на девиц, и, когда они почему-нибудь ссорились и вздорили с хозяйкой,— хозяйка грозила им:

— Смотрите вы!.. Не выводите меня из терпения,— а то как позову я Ваську Красного!..

Иногда достаточно было одной этой угрозы, чтоб девицы умирились и отказались от своих требований, порой вполне законных и справедливых, как, напри-

мер, требование улучшения пищи или права уходить из дома на прогулку. А если одной угрозы оказывалось недостаточно для усмирения девиц, — хозяйка звала Ваську.

Он приходил медленной походкой человека, которому некуда было торопиться, запирался с хозяйкой в ее комнате, и там хозяйка указывала ему подлежащих наказанию девиц.

Молча выслушав ее жалобу, он кратко говорил ей:  
— Ладно...

И шел к девицам. Они бледнели и дрожали при нем, он это видел и наслаждался их страхом. Если сцена разыгрывалась в кухне, где девицы обедали и пили чай, — он долго стоял у дверей, глядя на них, молчаливый и неподвижный, как статуя, и моменты его неподвижности были не менее мучительны для девиц, как и те истязания, которым он подвергал их.

Посмотрев на них, он говорил равнодушным и сильным голосом:

— Машка! Иди сюда...

— Василий Мироныч! — умоляюще говорила девушка. — Ты меня не тронь! Не тронь... тронешь — удавлюсь я...

— Иди, дура, веревку дам! — равнодушно, без умиления говорил Васька.

Он всегда добивался, чтоб виновные сами шли к нему.

— Краул кричать буду... Стекла выбью!.. — задыхаясь от страха, перечисляла девица всё, что она может сделать.

— Бей стекла, — а я тебя заставлю жрать их! — говорит Васька.

И упрямая девица сдавалась, подходила к Палачу; если же она не хотела сделать этого, Васька сам шел к ней, брал ее за волосы и бросал на пол. Ее же подруги, — а зачастую и единомышленницы, — связывали ей руки и ноги, завязывали рот, и тут же, на полу кухни и на глазах у них, виновную пороли. Если это была бойкая девица, которая могла и пожаловаться, ее пороли толстым ремнем, чтобы не рассечь ее кожу, и сквозь простыню, смоченную водой, чтоб на теле не оставалось

кровоподтеков. Употребляли также длинные и тонкие мешочки, набитые песком и дресвой,— удар таким мешком по ягодицам причинял человеку тупую боль, и боль эта не проходила долго...

Впрочем, жестокость наказания зависела не столько от характера виновной, сколько от степени ее вины и симпатии Васьки. Иногда он и смелых девиц порол без всяких предосторожностей и пощады; у него в кармане шаровар всегда лежала плетка о трех концах на короткой дубовой рукоятке, отполированной частым употреблением. В ремни этой плетки была искусно вделана проволока, из которой на концах ремней образовывалась кисть. Первый же удар плетки просекал кожу до костей, и часто, для того, чтобы усилить боль, на иссеченную спину приклеивали горчичник или же клали тряпки, смоченные круто соленой водой.

Наказывая девиц, Васька никогда не злился, он был всегда одинаково молчалив, равнодушен, и глаза его не теряли выражения ненасытного голода, лишь порой он прищуривал их, отчего они становились острее...

Приемы наказаний не ограничивались только этими, нет — Васька был неисчерпаемо разнообразен, и его изощренность в деле истязания девиц возвышалась до творчества.

Например, в одном из заведений девица Вера Коптева была заподозрена гостем в краже у него пяти тысяч рублей. Гость этот, сибирский купец, заявил полиции, что он был в комнате Веры с нею и ее подружкой Сарой Шерман; последняя, посидев с ним около часа, ушла, а с Верой он оставался всю ночь и ушел от нее пьяный.

Делу дан был законный ход; долго тянулось следствие: обе обвиняемые были подвергнуты предварительному заключению, судились и, по недостатку улик, были оправданы.

Возвратясь после суда к своей хозяйке, подружки снова попали под следствие; хозяйка была уверена, что кража — дело их рук, и желала получить свою долю.

Саре удалось доказать, что она не участвовала в этой краже; тогда хозяйка ревностно принялась за Веру Коптеву. Она заперла ее в баню и там кормила соленой ик-

рой, но, несмотря на это и многое другое, девица не сознавалась, где спрятала деньги. Пришлось прибегнуть к помощи Васьки.

Ему было обещано сто рублей, если он попытается, где деньги.

И вот однажды ночью в баню, где сидела Вера, мучимая жаждой, страхом и тьмой, явился дьявол.

Он был в черной лохматой шерсти, а от шерсти его исходил запах фосфора и голубоватый светящийся дым. Две огненные искры сверкали у него вместо глаз. Он встал перед девушкой и страшным голосом спросил ее:

— Где деньги?..

Она сошла с ума от ужаса.

Это было зимой. Поутру другого дня ее, босую и в одной рубашке, вели из бани в дом по глубокому снегу, она же тихонько смеялась и говорила счастливым голосом:

— Завтра я с мамой опять пойду к обедне... опять пойду... опять пойду к обедне...

Когда Сара Шерман увидала ее такой, она тихо и растерянно объявила при всех:

— А ведь деньги-то украла я...

Трудно сказать, чего больше было у девиц в отношении к Ваське: страха перед ним или ненависти к нему.

Все они заигрывали с ним и заискивали у него, каждая из них усердно добивалась чести быть его любовницей, и в то же время все они подговаривали своих «кредитных» друзей сердца, гостей и знакомых «вышибал» избить Ваську. Но он обладал страшной силой и допьяна никогда не напивался — трудно было сладить с ним. Не раз ему подсыпали мышьяк в пищу, чай и пиво, и однажды довольно удачно, но он выздоровел. Он как-то узнавал обо всем, что предпринималось против него; но незаметно было, чтоб знание того, чем он рискует, живя среди бесчисленных врагов, понижало или повышало его холодную жестокость к девицам. Равнодушно, как всегда, он говорил:

— Знаю я, что вы меня зубами бы загрызли, кабы случай вышел вам... Ну, только напрасно вы яритесь... ничего со мной не будет.

И, оттопырив свои толстые губы, он фыркал в лица им,— должно быть, смеялся над ними.

Он водил компанию с полицейскими, с такими же, как сам он, «вышибалами» и с сыщиками, которых всегда много бывает в публичных домах. Но среди них у него не было друзей, ни одного из своих знакомых он не желал видеть чаще других, ко всем относился одинаково ровно и совершенно безучастно.

С ними он пил пиво и говорил о скандалах, каждую ночь случавшихся в околотке. Сам он никуда не ходил из своего дома, если его не звали «по делу», то есть за тем, чтоб выпороть или — как там говорилось — «по-стращать» чью-нибудь девицу.

Дом, в котором он служил, принадлежал к числу заведений средней руки, за вход в него с гостей брали по три рубля, за ночь — по пяти. Хозяйка дома, Фекла Ермолаевна, сырая дородная женщина лет под пятьдесят, была глупа, зла, побаивалась Васьки, очень ценила его и платила ему по пятнадцати рублей в месяц при ее столе и квартире — маленькой, гробообразной комнате на чердаке. В ее заведении, благодаря Ваське, среди девиц царил самый образцовый порядок; их было одиннадцать, и все они были смиренны, как овцы.

Находясь в добродушном настроении и разговаривая со знакомым гостем, Фекла Ермолаевна часто хвасталась своими девицами, как хвастаются свиньями или коровами.

— У меня товарец первый сорт,— говорила она, улыбаясь довольно и гордо.— Девочки все свежие, ядреные — самая старшая имеет двадцать шесть лет. Она, положим, девица в разговоре неинтересная, так зато в каком теле! Вы посмотрите, батюшка,— дивное диво, а не девица. Ксюшка! Поди сюда...

Ксюшка подходила, уточкой переваливаясь с боку на бок, гость «смотрел» ее более или менее тщательно и всегда оставался доволен ее телом.

Это была девушка среднего роста, толстая и такая плотная — точно ее молотками выковали. Грудь у нее могучая, высокая, лицо круглое, рот маленький с толстыми ярко-красными губами. Безответные и ничего не выражавшие глаза напоминали о двух бусах на лице

куклы, а курносый нос и кудерьки над бровями, довершая ее сходство с куклой, даже у самых невзыскательных гостей отбивали всякую охоту говорить с нею о чем-либо. Обыкновенно ей просто говорили:

— Пойдем!..

И она шла своей тяжелой, качающейся походкой, бессмысленно улыбаясь и поводя глазами справа налево, чему ее научила хозяйка и что называлось «завлекать гостя». Ее глаза так привыкли к этому движению, что она начинала «завлекать гостя» прямо с того момента, когда, пышно разодетая, выходила вечером в зал, еще пустой, и так ее глаза двигались из стороны в сторону всё время, пока она была в зале: одна, с подругами или гостем — всё равно.

У нее была еще одна странность: обвинив свою длинную косу цвета нового мочала вокруг шеи, она опускала конец ее на грудь и всё время держалась за нее левой рукой,— точно петлю носила на шее своей...

Она могла сообщить о себе, что зовут ее Аксинья Калугина, а родом она из Рязанской губернии, что она девица, «согрешила» однажды с «Федькой», родила и приехала в этот город с семейством «акцизного», была у него кормилицей, а потом, когда ребенок умер, ей отказали от места и «наняли» сюда. Вот уже четыре года она живет здесь...

— Нравится? — спрашивали ее.

— Ничего. Сыта, обута, одета... Только беспокойно вот... И Васька тоже... дерется всё, чёрт...

— Зато весело?!

— Где? — спрашивала она, «завлекая гостя».

— Здесь-то... разве не весело?

— Ничего!.. — отвечала она и, поворачивая головой, осматривала зал, точно желая увидеть, где оно тут, это веселье.

Вокруг нее всё было пьяно и шумно и всё — от хозяйки и подруг до формы трещин на потолке — было знакомо ей.

Говорила она густым, басовым голосом, а смеялась лишь тогда, когда ее щекотали, смеялась громко, как здоровый мужик, и вся тряслась от смеха. Самая глупая и здоровая среди своих подруг, она была менее несчастна, чем они, ибо ближе их стояла к животному.

Разумеется, больше всего скопилось страха пред Васькой и ненависти к нему у девиц того дома, где он был «вышибалой». В пьяном виде девицы не скрывали этих чувств и громко жаловались гостям на Ваську; но, так как гости приходили к ним не затем, чтоб защищать их, жалобы не имели последствий. В тех же случаях, когда они возвышались до истерического крика и рыданий и Васька слышал их, — его огненная голова показывалась в дверях зала и равнодушный, деревянный голос говорил:

— Эй ты, не дури...

— Палач! Изверг! — кричала девица. — Как ты смеешь уродовать меня? Посмотрите, господин, как он меня расписал плетью... — И девица делала попытку сорвать с себя лиф...

Тогда Васька подходил к ней, брал ее за руку и, не изменяя голоса, — что было особенно страшно, — уговаривал ее:

— Не шуми... угомонись. Что орешь без толку? Пьяная ты... смотри!

Почти всегда этого было достаточно, и очень редко Ваське приходилось уводить девицу из зала.

Никогда никто из девиц не слышал от Васьки ни одного ласкового слова, хотя многие из них были его наложницами. Он брал их себе просто: нравилась ему почему-либо та или эта, и он говорил ей:

— Я к тебе сегодня ночевать приду...

Затем он ходил к ней некоторое время и переставал ходить, не говоря ей ни слова.

— Ну и чёрт! — отзывались о нем девицы. — Совсем деревянный какой-то...

В своем заведении он жил по очереди почти со всеми девицами, жил и с Аксиной. И именно во время своей связи с ней он ее однажды жестоко выпорол.

Здоровая и ленивая, она очень любила спать и часто засыпала в зале, несмотря на шум, наполнявший его. Сидя где-нибудь в углу, она вдруг переставала «завлекать гостя» своими глупыми глазами, они неподвижно останавливались на каком-нибудь предмете, потом веки медленно опускались и закрывали их и нижняя губа ее



отвисала, обнажая крупные белые зубы. Раздавался сладкий храп, вызывая громкий смех подруг и гостей, но смех не будил Аксинью.

С ней часто случалось это; хозяйка крепко ругала ее, била по щекам, но побои не спугивали сна: поплачет после них Аксинья и снова спит.

И вот за дело взялся Васька.

Однажды, когда девица заснула, сидя на диване рядом с пьяным гостем, тоже дремавшим, Васька подошел к ней и, молча взяв за руку, повел ее за собой.

— Неужто бить будешь? — спросила его Аксинья.

— Надо... — сказал Васька.

Когда они пришли в кухню, он велел ей раздеться.

— Ты хоть не больно уж... — попросила его Аксинья.

— Ну, ну...

Она осталась в одной рубашке.

— Снимай! — скомандовал Васька.

— Экой ты озорник! — вздохнула девушка и спустила с себя рубашку.

Васька хлестнул ее ремнем по плечам.

— Иди на двор!

— Что ты? Чай, теперь зима... холодно мне будет...

— Ладно! Разве ты можешь чувствовать?..

Он вытолкнул ее в дверь кухни, провел, подхлестывая ремнем, по сеням и на дворе приказал ей лечь на бугор снега.

— Вася... что ты?

— Ну, ну!

И, толкнув ее лицом в снег, он втиснул в него ее голову для того, чтобы не было слышно ее криков, и долго хлестал ее ремнем, приговаривая:

— Не дрыхни, не дрыхни, не дрыхни...

Когда же он отпустил ее, она, дрожащая от холода и боли, сквозь слезы и рыдания сказала ему:

— погоди, Васька! Придет твое время... и ты заплачешь! Есть бог, Васька!

— Поговори! — спокойно сказал он. — Засни-ка в зале еще раз! Я тебя тогда выведу на двор, выпорю и водой обливать буду...

У жизни есть своя мудрость, ей имя — случай; она иногда награждает нас, но чаще мстит, и как солнце каждому предмету дает тень, так мудрость жизни каждому поступку людей готовит возмездие. Это верно, это неизбежно, и всем нам надо знать и помнить это...

Наступил и для Васьки день возмездия.

Однажды вечером, когда полуодетые девицы ужинали перед тем, как идти в зал, одна из них, Лида Черногорова, бойкая и злая шатенка, взглянув в окно, объявила:

— Васька приехал.

Раздалось несколько тоскливых ругательств.

— Смотрите-ка! — вскричала Лида. — Он — пьяный! С полицейским... Смотрите-ка!

Все бросились к окну.

— Снимают его... Девушки! — радостно вскричала Лида. — Да ведь он разбился, видно!

В кухне раздался гул ругательств и злого смеха — радостного смеха отомщенных. Девицы, толкая друг друга, бросились в сени навстречу немощному врагу.

Там они увидали, что полицейский и извозчик ведут Ваську под руки, а лицо у Васьки серое, на лбу у него выступил крупными каплями пот и левая нога его волочится за ним.

— Василий Мироныч! Что это? — вскричала хозяйка.

Васька бессильно мотнул головой и хрипло ответил:

— Упал...

— С конки упал... — объяснил полицейский. — Упал, и — значит, нога у него под колесо! Хрясть... ну и готово!

Девицы молчали, но глаза у них горели, как угли.

Ваську внесли наверх в его комнату, положили на постель и послали за доктором. Девицы, стоя перед постелью, переглядывались друг с другом, но не говорили ни слова.

— Пошли вон! — сказал им Васька.

Ни одна из них не тронулась с места.

— А! Радуетесь!..

— Не заплачем... — ответила Лида, усмехаясь.

— Хозяйка! Гони их прочь... Что они... пришли!

— Боишься? — спросила Лида, наклоняясь к нему.

— Идите, девки, идите вниз...— приказывала хозяйка.

Они пошли. Но, уходя, каждая из них зловеще взглядывала на него,— а Лида тихо сказала:

— Мы придем!

Аксинья же, погрозив ему кулаком, закричала:

— У, дьявол! Что — изломался? Так тебе и надо...

Очень изумила девиц ее храбрость.

А внизу их охватил восторг злорадства, мстительный восторг, острую сладость которого они не испытывали еще. Беснуясь от радости, они издевались над Васькой, пугая хозяйку своим буйным настроением и немножко заражая ее им.

И она тоже рада была видеть Ваську наказанным судьбой; он и ей солон был, обращаясь с нею не как служащий, а скорее как начальник с подчиненной. Но она знала, что без него не удержать ей девиц в повиновении, и проявляла свои чувства к Ваське осторожно.

Приехал доктор, наложил повязки, прописал рецепты и уехал, сказав хозяйке, что лучше бы отправить Ваську в больницу.

— Девицы! Что же, навестим, что ли, больного-то душеньку нашего?! — ухарски вскричала Лида.

И все они бросились наверх со смехом и криками.

Васька лежал, закрыв глаза, и, не открывая их, сказал:

— Опять вы пришли...

— Чай, нам жалко тебя, Василь Мироныч...

— Разве мы тебя не любим?

— Вспомни, как ты меня...

Они говорили негромко, но внушительно и, окружив его постель, смотрели в его серое лицо злыми и радостными глазами. Он тоже смотрел на них, и никогда раньше в его глазах не выражалось так много неудовлетворенного, ненасытного голода,— того непонятного голода, который всегда блестел в них.

— Девки... смотрите! Встану я...

— А может, бог даст, не встанешь!..— перебила его Лида.

Васька плотно сжал губы и замолчал.

— Которая ножка-то болит? — ласково спросила одна из девиц, наклоняясь к нему, — лицо у ней было бледно и зубы оскалены. — Эта, что ли?

И, схватив Ваську за больную ногу, она с силой дернула ее к себе.

Васька щелкнул зубами и зарычал. Левая рука у него тоже была разбита, он взмахнул правой и, желая ударить девицу, ударил себя по животу.

Взрыв смеха раздался вокруг него.

— Девки! — ревел он, страшно вращая глазами. — Берегись!.. Убивать буду!..

Но они прыгали вокруг его кровати и щипали, рвали его за волосы, плевали в лицо ему, дергали за больную ногу. Их глаза горели, они смеялись, ругались, рычали, как собаки; их издевательства над ним принимали невыразимо гадкий и циничный характер. Они впали в упоение мезтью, дошли в ней до бешенства. Все в белом, полуодетые, разгоряченные толкотней, они были чудовищно страшны.

Васька рычал, размахивая правой рукой; хозяйка, стоя у двери, выла диким голосом:

— Будет! Бросьте... полицию позову! Убьете вы... батюшки! ба-атюшки!

Но они не слушали ее. Он истязал их года, — они возмещали ему минутами и торопились...

Вдруг среди шума и воя этой оргии раздался густой умоляющий голос:

— Девушки! Будет уж... Девушки, пожалейте... Ведь он тоже... тоже ведь... больно ему! Милые! Христа ради... Милые...

На девиц этот голос подействовал, как струя холодной воды: они испуганно и быстро отошли от Васьки.

Говорила Аксинья; она стояла у окна и вся дрожала и в пояс кланялась им, то прижимая руки к животу, то нелепо простирая их вперед.

Васька лежал неподвижно; рубашка на его груди была разорвана, и эта широкая грудь, поросшая густой рыжей шерстью, вся трепетала, точно в ней билось что-то, билось, бешено стремясь вырваться из нее. Он хрипел, и глаза его были закрыты.

Столпившись в кучу, как бы слепленные в одно большое тело, девицы стояли у дверей и молчали, слушая, как Аксинья глухо бормочет что-то и как хрипит Васька. Лида, стоя впереди всех, быстро очищала свою правую руку от рыжих волос, запутавшихся между ее пальцами.

— А — как умрет? — раздался чей-то шёпот. И снова стало тихо...

Одна за другой, стараясь не шуметь, девицы осторожно выходили из Васькиной комнаты, и, когда они все ушли, на полу комнаты оказалось много каких-то ключев, лоскутков...

В комнате осталась Аксинья.

Тяжело вздыхая, она подошла к Ваське и обычным своим басовым голосом спросила его:

— Что тебе сделать теперь?

Он открыл глаза, посмотрел на нее и не ответил ничего.

— Ну, говори уж... Выпить... прибраться... так вот я прибрала бы... А то, может, воды выпить хочешь? И воды дам...

Васька молча тряхнул головой, и губы у него зашевелились. Но он не сказал ни слова.

— Вон как — и говорить-то не можешь! — молвила Аксинья, обертывая косу вокруг шеи.— До чего замучили мы тебя... Больно, Вася? а?.. Ну, уж потерпи... ведь это пройдет... это сперва только больно... я знаю!

На лице Васьки что-то дрогнуло, он хрипло сказал:

— Дай... водицы...

И выражение неудовлетворенного голода исчезло из его глаз.

Аксинья так и осталась наверху у Васьки, спускаясь вниз лишь затем, чтоб поесть, попить чаю и взять чего-нибудь для больного. Подруги не разговаривали с ней, ни о чем не спрашивали ее, хозяйка тоже не мешала ей ухаживать за больным и вечерами не вызывала ее к гостям. Обыкновенно Аксинья сидела в Васькиной комнате у окна и смотрела в него на крыши, покрытые снегом, на деревья, белые от инея, на дым, опаловыми об-

лаками поднимавшийся к небу. Когда ей надоедало смотреть, она засыпала тут же на стуле, облокотясь о стол. Ночью она спала на полу около Васькиной кровати.

Они почти не разговаривали; попросит Васька воды или еще чего-нибудь, — Аксинья принесет ему, посмотрит на него, вздохнет и отойдет к окну.

Так прошло дня четыре. Хозяйка усердно хлопотала о помещении Васьки в больницу, но места там пока не было.

И вот однажды вечером, когда Васькина комната уже наполнилась сумраком, он, приподняв голову, спросил:

— Аксинья, ты тут, что ли?

Она дремала, но его вопрос разбудил ее.

— А где же? — отозвалась она.

— Поди-ка сюда...

Она подошла к кровати и остановилась у нее, по обыкновению обвив косу вокруг шеи и держась рукой за конец ее.

— Чего тебе?

— Возьми стул, сядь сюда...

Вздыхнув, она пошла к окну за стулом, принесла его к постели и села.

— Ну?

— Ничего... посиди тут...

На стене, над постелью Васьки, висели его большие серебряные часы и торопливо тикали. По улице быстро пролетел извозчик, слышно было, как взвизгнули полозья. Внизу смеялись девицы, а одна из них высоким голосом пела:

Па-алюбила студента га-алодна-ва...

— Аксинья! — сказал Васька.

— А?

— Ты вот что... давай со мной жить!

— Живем ведь, — лениво ответила девушка.

— Нет, ты погоди... Давай как следует!..

— Давай... — согласилась она.

Он замолчал и долго лежал с закрытыми глазами.

— Вот... Уйдем отсюда и заживем.

— Куда уйдем? — спросила Аксинья.

— Куда-нибудь... Я буду с конки за увечье искать... Заплатят, по закону должны заплатить. Потом, у меня свои деньги есть, рублей шестьсот.

— Сколько? — спросила Аксинья.

— Рублей шестьсот.

— Ишь ты! — сказала девушка и зевнула.

— Да... на одни эти деньги можно свое заведение открыть... да ежели еще с конки сорвать... Поедем в Симбирск, а то в Самару... и там откроем... Первый дом в городе будет... Девочек наберем самых лучших... По пяти рублей за вход брать будем.

— Говори! — усмехнулась Аксинья.

— Чего там? Так и будет...

— Как же!..

— Так, говорю, и будет... Ежели ты хочешь — обвенчаемся.

— Чего-о?! — воскликнула Аксинья, глупо хлопая глазами.

— Обвенчаемся, — с каким-то беспокойством повторил Васька.

— Мы с тобой?

— Ну да...

Аксинья громко засмеялась. Качаясь на стуле, она взялась за бока и то смеялась густо, басовыми нотами, то взвизгивала, что было совершенно неестественно для нее.

— Чего ты? — спросил Васька, и опять что-то голодное явилось в его глазах. А она всё хохотала. — Чего ты? — спрашивал он ее.

Наконец кое-как сквозь смех и визг она высказалась:

— Насчет венчанья... Разве это можно? Да я и в церкви-то три года не была... Чудак! Ишь, нашел жену! Детей не ждешь ли от меня?

Мысль о детях вызвала у нее новый взрыв искреннего хохота. Васька смотрел на нее и молчал...

— Да и разве я поеду с тобой куда-нибудь? Ишь ты... тоже. Ты завезешь меня да и убьешь где-нибудь... Ведь ты мучитель известный.

— Ну, молчи уж! — тихо сказал Васька.

Но она стала говорить ему о его жестокости, вспоминая разные случаи.

— Молчи! — просил он ее, а когда она не послушалась, он хрипло крикнул: — Молчи, говорю!

В этот вечер они не говорили больше. Ночью у Васьки был бред; из широкой груди его вырывался хрип, вой. Васька скрежетал зубами и размахивал в воздухе правой рукой, иногда ударяя ею себя в грудь.

Аксинья проснулась, встала на ноги у постели и долго со страхом смотрела в его лицо. Потом разбудила его.

— Что ты это? Домовой тебя душил, что ли?

— Так, привиделось!.. — слабо сказал Васька. — Дай-ка водицы.

Выпив воды, он помотал головою и объявил:

— Нет, не открою я заведения... лучше торговлей займусь... А заведения не надо...

— Торговля... — задумчиво сказала Аксинья. — Н-да... лавочку открыть — это хорошо.

— Пойдешь со мной, что ли? — убедительно и тихо спросил Васька.

— Да ты никак всерьез спрашиваешь? — воскликнула Аксинья, отодвигаясь от кровати.

— Аксинья Семеновна! — звенящим голосом сказал Васька, приподняв голову с подушки. — Вот тебе...

И замолчал, взмахнув рукой в воздухе.

— Никуда я с тобой не пойду... — решительно мотая головой, заговорила Аксинья, не дождавшись от него слов. — Никуда!

— Захочу — пойдешь... — тихо сказал Васька.

— Ни-икуда не пойду!

— Только — не хочу я так... А ежели захотел бы — пойдешь!..

— Нет уж...

— Да, чёрт! — раздраженно крикнул Васька. — Ведь вот ты со мной канителишься... шевыряешься тут... чего же?

— Это другое дело... — резонно сказала Аксинья. — А чтобы с тобой жить — нет! боюсь я тебя... очень уж ты злодей!

— Эхма! Что ты понимаешь?! — зло воскликнул Васька. — Злодей! Дура ты... Думаешь — злодей, так и всё тут? Думаешь — легко, если злодей?



Голос у него оборвался, и Васька помолчал немного, растирая грудь здоровой рукой. Потом тихо, с тоской в голосе и страхом в глазах, снова заговорил:

— Что уж вы... очень? Ну, злодей... так разве весь человек в этом? Чего у меня спрашивали?.. Пойдем, Аксинья Семеновна!

— И не говори про это! Не пойду...— упорно стояла на своем Аксинья и подозрительно отодвигалась от него.

Опять оборвался их разговор. В комнату смотрела луна, и от ее света Васькино лицо казалось серым. Он долго лежал молча, то открывая, то закрывая глаза. Внизу — танцевали, пели, хохотали.

Раздался сочный храп Аксиньи; Васька глубоко вздохнул.

Прошло еще дня два, и хозяйка устроила Ваське место в больнице.

Приехал за ним больничный фургон с фельдшером и служащим. Ваську осторожно свели сверху в кухню, и там он увидел всех девиц, столпившихся у двери в комнату.

Лицо его перекосилось, однако он ничего не сказал им. Они смотрели на него сурово и серьезно, но по их глазам нельзя было бы определить, что они думают при виде Васьки. Аксинья с хозяйкой надевали на него пальто, и все в кухне тяжело и хмуро молчали.

— Прощайте! — вдруг сказал Васька, наклонив голову и не глядя на девиц.— Про... прощайте!

Некоторые из них молча поклонились ему, но он не видел этого; а Лида спокойно сказала:

— Прощай, Василий Мироныч...

— Прощайте... да...

Фельдшер и больничный служитель взяли его под мышки и, подняв с лавки, повели к двери. Но он опять поворотился к девицам:

— Прощайте... был я... точно что...

Еще два или три голоса сказали ему:

— Прощай, Василий...

— Ничего не поделаешь! — тряхнул он головой, и на лице его явилось что-то удивительно не подходившее к нему.— Прощайте! Христа ради... которые... которым...

— Увозят! Уве-езут его, маво милого...— вдруг дико завyla Акси́нья, грохнувшись на лавку.

Васька дрогнул и поднял голову кверху. Глаза у него страшно заблестели; он стоял, внимательно вслушиваясь в этот вой, и дрожащими губами тихо говорил:

— Вот... дура! Вот так ду-ура!

— Идите, идите! — торопился фельдшер, хмурия брови.

— Прощай, Акси́нья! Приходи в больницу-то...— громко сказал Васька.

А Акси́нья всё выла...

— И на-кого и-ты-это-меня по-оки-инул!..

Девичы окружили ее и смотрели на ее лицо и на слезы, лившиеся из глаз ее.

А Лида, наклонясь над ней, сурово утешала ее:

— Ну, чего ты, Ксюшка, ревьешь-то! Ведь не умер он... Ну, пойдешь к нему... ну, вот завтра и пойдешь!..

## О ЧЁРТЕ

Осенью — печальной порой увядания и смерти — тяжело жить!

Серые дни, плачущее небо без солнца, темные ночи, угрюмо поющий ветер, осенние тени — густые и черные тени! — всё это навевает на человека мрачные думы, в душе его рождается таинственный ужас пред жизнью, в которой нет ничего устойчивого, вечно всё колеблется: рождается, разлагается, умирает — зачем?.. Какая цель?..

Иногда нет сил бороться с тьмою дум, что охватывают сердце поздней осенью, — поэтому всякий, кто хочет скорее пережить их горечь, пусть идет им навстречу. Это единственный путь, которым человек может выйти из хаоса тоски и сомнений на твердую почву уверенности в себе.

Но это трудный путь... Он идет сквозь терния, они до крови рвут живое сердце ваше, и всегда на этом пути ждет вас — чёрт. Это именно тот, лучший из всех известных вам чертей, с которым познакомил нас великий Гёте...

Об этом чёрте я и рассказываю.

Чёрту было скучно.

Он слишком умен для того, чтоб всегда только смеяться, он знает, что в жизни есть явления, которые и сам чёрт бессилён осмеять, — никогда он, например, не касался острым ножом своей иронии величественного факта своего бытия. По правде говоря, этот наш любимый чёрт гораздо более дерзок, чем умен, и, если приглядеться к нему внимательно, пожалуй, окажется, что он, как и мы, большую часть своего времени посвя-

щает пустякам. Но оставим это, — мы ведь не дети, но будем же ломать лучшую из наших игрушек, доискиваясь, что скрыто у нее внутри.

Однажды чёрт шлялся по кладбищу среди могил во тьме осенней ночи; ему было скучно, он тихо свистал и, поглядывая вокруг себя, искал развлечений. Он насвистывал старинный романс — любимый романс моего отца:

Как от ветки родной  
Лист, осенней порой,  
Оторвавшись, по ветру летает...

А ветер вторил ему, с воем носясь над могилами между черными крестами, по небу медленно ползли тяжелые тучи осени, орошая холодными слезами тесные жилища мертвецов. Жалкие деревья кладбища пугливо скрипели под ударами ветра, простирая к безмолвным тучам свои оголенные ветви. Ветви задевали за кресты, и тогда на кладбище рождался угрюмый шорох — звук тяжелый и пугающий...

Чёрт свистал и думал:

«Любопытно, как чувствуют себя мертвецы в такую погоду? Вероятно, сырость проникает туда, к ним, и, хотя они со дня смерти навсегда застрахованы от ревматизма, однако, должно быть, неприятно!.. Разве вызвать одного из них и побеседовать с ним? Все-таки развлечение для меня и для него, я полагаю... Вызову! Где-то тут сунули в землю знакомого мне литератора... При жизни я, бывало, посещал его, — почему бы не возобновить знакомства? Все люди этой профессии ужасно требовательны, — посмотрим — вполне ли удовлетворяет их могила? Но где же она?»

И сам чёрт, который, как известно, всё знает, долго бродил по кладбищу, прежде чем нашел могилу литератора...

— Эй, слушайте! — крикнул он, стуча когтями по тяжелому камню, которым был придавлен его знакомый. — Вставайте!

— Зачем? — глухо донеслось из-под земли.

— Нужно...

— Не встану...

— Почему?

- Да вы кто?
- Вы меня знаете...
- Цензор?
- Нет!
- Может быть, жандарм?
- Нет, нет!
- И не критик?
- Я — чёрт...
- А! Сейчас вылезу.

Камень сдвинулся с могилы, земля разверзлась, и из нее явился скелет. Это был самый обыкновенный скелет, почти такой, по каким студенты изучают анатомию костей; только он был грязный, не имел проволочных связок, да в пустых впадинах, на месте глаз, у него сиял голубой фосфорический свет. Он вылез из земли, встряхнул костями, чтоб сбросить пристающую к ним землю, кости сухо стукнули друг о друга, и он, подняв череп кверху, посмотрел своим голубым холодным взглядом в темное небо, покрытое тучами.

— Здравствуйте! — сказал чёрт.

— Не могу, — кратко ответил писатель. Говорил он тихо и таким странным звуком, точно две кости, чуть слышно скрипя, терлись одна о другую...

— Извиняюсь за мое приветствие, — любезно сказал чёрт.

— Ничего... Но зачем вы меня подняли?

— Хотел предложить вам прогуляться, — не более этого...

— А-а! Я с удовольствием пройдусь немного... Хотя погода прескверная.

— Полагаю — вы не боитесь простуды? — спросил чёрт.

— О, нет, я ведь еще при жизни основательно простудился.

— Да, помню, вы умирали совсем остывшим.

— Еще бы!.. всю жизнь меня так усердно охлаждали...

Они шли рядом друг с другом по узкой дорожке, среди могил и крестов; из глаз писателя падали на землю два голубые луча и освещали дорогу чёрту... Мелкий дождь кропил их, и ветер свободно пролетал между го-

лых ребер писателя, сквозь грудь его, в которой уже не было сердца.

— Мы идем в город? — спросил он у чёрта.

— Что вас интересует там?

— Жизнь, государь мой, — бесстрастно объяснил писатель.

— Ба! Она еще имеет для вас цену?

— Еще бы!

— Но почему?

— Как сказать? Человек всё измеряет количеством своих усилий, и если он принес простой камень с вершины Арарата, — камень будет для него драгоценностью...

— Бедняга! — усмехнулся чёрт.

— Но и счастливец! — холодно возразил писатель.

Чёрт молча пожал плечами.

Они уже вышли с кладбища, пред ними лежала улица — два ряда домов, а посреди них — тьма, в которой жалкие фонари ярко свидетельствовали о недостатке света на земле.

— Скажите, — заговорил чёрт после паузы, — каково вам в могиле?

— Теперь, когда я привык к ней, — ничего, очень покойно, но сначала, знаете, было ужасно скверно. Болван, который заколачивал гвозди в крышку гроба, вбил зачем-то гвоздь мне в череп. Это, конечно, мелочь, но все-таки неприятно было. Я, знаете, готов был думать, что это некий ехидный символизм, желание испортить мой мозг, при помощи которого я, бывало, сам кое-что портил людям... Потом явились червяки. Они, чёрт их возьми, кушали меня ужасно медленно...

— Еще бы! — сказал чёрт. — И нельзя их винить за это — пропитанное жёлчью тело совсем не вкусное блюдо...

— Сколько на мне было тела! Сущие пустяки... — возразил писатель.

— А все-таки съесть его — скорее неприятная обязанность, чем удовольствие... Вот, например, издатель черви едят быстро и с наслаждением.

— Это понятно — они, должно быть, вкусные...

— А что, осенью в могиле сыро? — спросил чёрт.

— Сыровато, но к этому привыкаешь... Собственно говоря, больше всего беспокоят разные идиоты, которые, шляясь по кладбищу, случайно натываются на мою могилу. Не знаю — сколько времени лежу я в земле... так и сам я и всё вокруг меня неподвижно — представление о времени недоступно мне...

— Вы лежите в земле четыре года, скоро уже пять будет, — сказал чёрт...

— Да? Вот как... Было у моей могилы за это время три человека... Раздражают, будь они прокляты! Один, знаете, прямо отверг факт моего существования, — пришел, прочитал надпись и с уверенностью говорит: «Такого не было! Никогда я не читал такого... но фамилия знакомая — во дни моей юности человек с такой фамилией имел в нашей улице тайную кассу ссуд...» Как это вам нравится? А я шестнадцать лет печатался в самых распространенных журналах и трижды при жизни издавался...

— После смерти вас издали два раза, — сообщил чёрт.

— Вот видите!.. А то пришли двое, и один из них говорит: «А! это тот?» — «Он самый», — ответил другой. «Н-да, тоже и его читали во время оно». — «Всех читают...» — «Что, бишь, провозглашал этот?» — «Обыкновенно, — идеи добра, красоты... ну и прочее...» — «Да, да, помню...» — «Язык у него был дубоват». — «Сколько их лежит в земле!» — «Да, русская земля талантами богата...» И ушли... быки!.. Я знаю — теплые слова не повысят температуру могилы, и я их не хочу, но все-таки обидно! И ах как мне хотелось обрутать их!..

— Вы бы и ругнули хорошенько! — усмехнулся чёрт.

— Нет, неловко, знаете... Канун двадцатого столетия и — вдруг! — мертвецы ругаются... Нелепо... И, наконец, очень жестоко по отношению к материалистам.

Чёрту снова становилось скучно.

«Этот писатель и при жизни желал быть женихом на всех свадьбах и покойником на всех похоронах — и теперь, когда всё умерло в нем, — честолюбие его живо. Но разве для жизни человек важен? Важен лишь дух

человека, и только дух его достоин рукоплесканий и поклонения... Как скучны люди!..»

Чёрт уже хотел предложить писателю возвратиться в могилу, как вдруг в его злой голове вспыхнула одна идея. Они были в этот момент на площади, и со всех сторон их окружали тяжелые громады домов. Над площадью низко нависло черное мокрое небо; казалось, оно опирается на кровли.

— Послушайте-ка,— сказал чёрт, любезно наклоняясь к писателю,— не хотите ли вы посмотреть, как живет ваша жена?

— Я, право, не знаю, хочу ли,— медленно проговорил писатель.

— Э, да вы совершенный мертвец! — воскликнул чёрт, подзадоривая его.

— Нет, почему же? — И писатель бодро встряхнул костями.— Я не прочь... Ведь она меня не увидит? А если увидит — не узнает?

— О, разумеется! — уверил его чёрт.

— Я, знаете, потому это говорю, что она не любила, если я надолго уходил из дома...— объяснил писатель.

И вот стена одного дома куда-то исчезла или же стала прозрачной, как стекло. Писатель видел внутренность больших комнат, и в них было так светло, удобно, красиво...

— Славная обстановка! — одобрительно проскрипел он,— очень хорошая обстановка! Живя в такой, я бы, пожалуй, еще и теперь не умер...

— И мне тоже нравится,— улыбаясь, сказал чёрт.— И ведь недорого стоит — тысячи три...

— Гм... это недорого?.. Помню, что самое крупное мое произведение дало мне восемьсот пятнадцать рублей... я почти год работал над ним... Но кто же тут живет?

— Ваша жена, — сказал чёрт.

— Да? Вот как!.. Э... это хорошо... А женщина — она и есть? Жена моя?

— Она... Вот явился ее муж...

— Она стала красивая... и как хорошо одета! М-м... Муж, говорите? Какой здоровый малый; рожа у него



довольно-таки вульгарная... но — добрый человек, кажется... Право же, лицо глуповатое! И даже пошрое... Впрочем, такие лица нравятся женщинам...

— Хотите, я вздохну за вас? — предложил чёрт, ехидно поглядывая на писателя. Но тот был увлечен зрелищем...

— Какие у них веселые лица! Они оба, очевидно, довольны жизнью... Она его любит, не знаете?

— О да, очень...

— А он — кто?

— Приказчик из магазина мод...

— Приказчик из магазина мод... — медленно повторил писатель и долго не говорил ни слова. Чёрт смотрел на него и весело улыбался.

— Что, нравится вам всё это? — спросил он.

Писатель с усилием заговорил:

— У меня были дети... сын и дочь... Я думал — вот у меня есть сын, он тоже со временем будет порядочный человек. Я думаю — приказчик, должно быть, плохой педагог... и сын мой...

Пустой череп писателя печально закачался...

— Смотрите-ка, как он ее обнимает! Превесело им живется! — воскликнул чёрт.

— Да-а... Что же он, приказчик-то, богатый?

— Был беднее меня, но богата ваша жена...

— Жена? Откуда у нее взялись деньги?

— А от продажи ваших книг!

— Та-ак, — сказал писатель, тихо покачивая своим голым и пустым черепом. — Та-ак! Выходит, что я больше всего работал для некоего приказчика?

— Пожалуй, что именно так и выходит, — весело согласился чёрт.

Писатель посмотрел на землю и сказал чёрту:

— Проводите меня в мою могилу.

...Было темно; шел дождь, по небу тяжело плыли тучи, и писатель, постукивая костями, стремительно шагнул к своей могиле... Чёрт шел сзади него и весело пошвыстывал...

Читатель, разумеется, недоволен. Читатель объелся литературой, и даже люди, которые пишут лишь для того, чтобы угодить ему, очень редко приходится ему по вкусу. В данном же случае читатель недоволен еще и тем, что мною ничего не сказано про ад. Так как читатель справедливо убежден, что по смерти он попадает в ад, ему еще при жизни хочется знать что-нибудь об аде. Но, право же, я ничего не могу сказать приятного читателю, ибо ада нет, нет ада огненного, который так легко себе представить. Однако — есть нечто другое, и неизмеримо более страшное.

Тотчас же после того, как доктор скажет про вас вашим близким: «умер...», вы вступите в некую безграничную, ярко освещенную область, и это есть область сознания ваших ошибок.

Вы лежите в могиле, в тесном гробу, и пред вами проходит, вращаясь, как колесо, бедная жизнь ваша. Она движется мучительно медленно и вся проходит — от первого сознательного шага до последней минуты жизни вашей. Вы увидите всё, что скрывали от себя при жизни, всю ложь и мерзость вашего бытия, все мысли ваши вы вновь передумаете, вы увидите каждый неверный ваш шаг, вся жизнь ваша возобновится — вся до секунды! И для того, чтоб усилить муки ваши, вы будете знать, что по той тесной и глупой дороге, по которой шли вы, — идут другие, и толкают друг друга, и торопятся, и лгут... И вы понимаете, вы ясно видите — всё это они делают лишь для того, чтоб со временем узнать, как позорно жить такой гнусной, бездушной жизнью.

Но, видя их торопливо идущими к своей гибели, вы ничем не в состоянии предупредить их: ни крика, ни движения не сделаете вы, и желание помочь им будет бесплодно рвать душу вашу... Хорошо?

Проходит пред вами жизнь ваша и снова возвращается, и снова вы видите ее с начала... и нет конца работе вашего сознания, и не будет конца ей... и ужасу мук ваших не будет конца никогда... никогда!

## ЕЩЕ О ЧЁРТЕ

Был у меня товарищ, — угаси, господи, пылкую душу его! Ибо зачем ей гореть там, у полярного круга, куда он уехал невольно?..

Угаси, господи, душу его! Огонь ее ничего не осветит там, кроме пустыни, не растают снега пустынь от огня души его, и не исчезнут от него черные тучи тоски одиночества, яко исчезает дым от лица огня!

Был у меня товарищ, — молод он был в ту пору, когда погиб. Однажды он ехал ко мне в гости, но — он слишком любил прямые дороги, и вот, не заезжая ко мне, он прямо проехал туда, где живет и теперь и откуда уже не воротится...

Он жил со старухой-матерью; ей было в то время шестьдесят три года, и смерть стояла за плечами у нее. Я ждал его. И в один и тот же день получил, с одной стороны, известие о том, что он уже не приедет ко мне, а с другой — письмо от его матери, которая спрашивала меня, приехал ли он, просила меня беречь его душу и тело, писать ей — как мы с ним проводим время, как он чувствует себя...

Я прочитал это письмо и представил себе мать, как я знал ее: больной, дряхлой, с кроткими глазами, горевшими только безмерной любовью к сыну... Весь смысл пемощной жизни был в заботах о нем, в думах о его счастье...

«Сказать ей правду?» — спросил я себя...

...Есть правда, которая нужна человеку, она обжигает с его сердца грязь и пошлость пламенем стыда, — да здравствует!

И есть правда, которая, падая на голову человека, как камень, убивает в нем желание жить, — да погибнет!..

Если я скажу матери, что исчез навсегда для нее сын, в лучшем случае я — убью ее сразу... Но если она не умрет от этой подлой, страшной правды, — исчезнет смысл ее жизни, и последние дни ее будут отравлены невыносимой болью, бесплодным страданием. Она двадцать восемь лет, полных труда и мучения, неустанно охраняла дни своего сына, и вот, пред смертью, у нее отняли единственное утешение — счастье знать, что сын ее вырос, крепок и без матери, его опоры, может стойко бороться с жизнью и — она верит в это — будет победителем... А я скажу ей — побежден?!

Нет, я лучше солгу!..

И три месяца, вплоть до дня ее смерти, я писал ей письма почерком ее сына, начиная их словами:

«Моя милая, славная мама!..»

Она отвечала мне на них длинными посланиями, в которых доказывала необходимость ношения фужера с большим красноречием и жаром, чем Лютер свои тезисы. Я говорил ей устами ее сына о том, как счастливо и весело ему живется, подробно описывал его успехи в труде и в обществе, подчинялся за него ее требованиям, соглашался с ее советами, был нежен, внимателен, счастлив.

Она, ликуя, писала мне:

«Славный ты мой мальчик! Никогда еще не был ты так мил и ласков, как теперь, в твоих письмах ко мне. Спасибо тебе, дорогой мой, за то, что ты обогащаешь последние дни мои сокровищами чистого сердца твоего».

Я усиливал яркость красок моей фантазии и писал ей о том, как хорошо жить, имея такую чудную, святую мать; она отвечала мне — как хорошо умирать, имея такого прекрасного, счастливого сына... И умерла она с верой, что ее сын счастлив... Он же в это время сидел в тюрьме, где-то по дороге на далекий север...

Вот такая славная история... Жаль только, что она — выдумана мною...

Читатель, и тебя, как умирающую старушку, я тоже обманул. Дело в том, что всё, что я рассказал тебе «о чёрте», — выдумано мною и — клянусь! — в действи-

тельности ничего подобного не было. И даже чёрт, которого я представил тебе, — скверный чёрт, что, кстати сказать, уже видно и по его поступку с писателем. Подумай сам, разве порядочный чёрт, желая поглумиться над писателем, не нашел бы ничего хуже, как именно показать ему его жену и ее образ жизни после его смерти? Настоящий чёрт никогда не рискнет своей старинной и прочной дружбой с женщиной, никогда он не позволит себе поставить ее в неловкое положение пред кем-либо, а тем более пред ее мужем, хотя бы и мертвым...

Вот и всё... Я извиняюсь пред тобою, читатель, за мой обман, впредь обязуюсь быть правдивым, как солнце, и даже фантастические, святочные рассказы отныне буду писать, строго придерживаясь действительности. Я даже пойду дальше в моем желании быть правдивым пред тобою, — о читатель! — и здесь же подробно расскажу, что именно побудило меня покаяться в обмане...

Ты, конечно, знаешь, что среди пишущей братии есть люди, которые смешивают призвание писателя с ремеслом портного: употребляя перо свое, как иголку, они шьют из тканей вымысла костюмы для Правды, с целью скрыть ее наготу. Существование таких писателей — необходимо, ибо для многих читателей Правда есть именно та единственная женщина, которую они не желают видеть голой, полагая, что Правда непременно стара и некрасива. Среди моих знакомых есть один такой писатель-костюмер; он пока еще не написал ни строчки, но прекрасно понимает дух времени, и когда найдет нужным, то напишет что-нибудь оптимистическое, успокоительное, как валериановые капли, с надеждами на будущее, со множеством цитат, не без холопства пред фактом и даже без тени оригинальности. Правда в этом произведении будет одета не только прилично, но и красиво, ибо мой знакомый — человек со вкусом.

Он на днях пришел ко мне и начал говорить о разных интересных вещах. Помню, начал он с Адама. Он очень одобрил нашего общего папашу за то, что тот препопсал чресла и, таким образом, открыл принцип брюк. Потом

он долго умилялся по поводу того факта, что на земле, — если посмотреть на нее внимательно, — мы не увидим ничего открытого: улицы покрыты грязью и пылью, долины — травой, вершины гор — снегом, даже небо часто покрывается тучами и каждые сутки — ночью тьмой.

— Сколько мудрости в природе! — воскликнул он по этому поводу.

Затем он говорил о людях: «Мы видим, что и они тоже всегда чем-нибудь покрыты и что-нибудь прикрывают». Следовал ряд доказательств мудрости людей... я, право, не помню этих доказательств, но, кажется, он приводил в пример женщин, которые, дескать, всегда прикрывают траурными платьями свою радость по поводу смерти их мужей, а также ссылался на журналистов, всегда прикрывающих цитатами из чужих произведений отсутствие своих мыслей и слов...

Так как мне было скучно слушать его, я с ним всё соглашался, ожидая, что от этого и ему тоже будет скучно.

— Наконец, посмотрите! — сказал он, указывая на шторы, — мы укрываемся даже от солнца! И — о какая дивная гармония укрывательства! Само солнце прикрывает пятнами ослепительный блеск своих лучей...

Тут он пришел в восторг, а я подумал о нем:

«Не совершил ли он от избытка своего доверия к людям и от убеждения в их мудрости чего-нибудь мерзкого и не нуждается ли в укрывателе?» Но оказалось нечто совершенно иное.

— Как видите, государь мой, вся вселенная, от былинки и до солнца, нуждается в покровах. Что вынаэто скажете?

— Это... очень забавно! — сказал я.

— Ага! Ну-с, объясните же мне теперь — зачем вы написали «О чёрте»?

Если б меня вдруг сделали министром финансов, я, наверное, изумился бы менее, чем при этом странном вопросе.

— Не смотрите на меня круглыми глазами, — сказал он. — Не притворяйтесь изумленным. Я безусловно осуждаю ваш поступок. В наше время, батенька мой,

каждый порядочный человек стремится быть феминистом, даже и в том случае, если он женат. А вы вдруг показываете женщину в таком... несимпатичном освещении. Это — вообще, а в частности — та женщина, о которой вы писали, совершенно не заслуживает нареkania. Она права-с! Да! Она — права! Она в течение его трудовой жизни терпела вместе с ним и холод и голод... все лишения! Вот, наконец, он — умер. Ну что же? Мы все умрем... одни прежде своего времени, другие — быть может, запоздают, но — поверьте! — мы все умрем!

Я верил ему, молча кивая головой, и чувствовал себя очень скверно.

— И вот — он умер! А она, после его смерти, отдав ему всю свою молодость, все силы свои, наконец получила возможность сносно жить на деньги, вырученные от продажи его...

— Кто — она? — с ужасом спросил я.

— Та, жена писателя, которую вы изобразили... не притворяйтесь!

— Но ведь я выдумал ее! Ведь это только мой святочный рассказ...

— О! Вы прекрасно знаете, в чем дело...

— И действительно — она существует?

— Ну, разумеется!

— И... и за приказчиком замужем?

— Не за приказчиком, а, кажется, за маркером... но это ничего не изменяет...

— Ах! Ничуть... ничуть, чёрт бы меня взял!

— Вам не стыдно, а?

— Но, послушайте! Ей-богу же, это только случайное совпадение... я фантазировал и — только!

— Вы фантазировали? В это я не верю. Но предположим, что — да, вы только фантазировали. Как же вы решаетесь фантазировать до такой степени неудачно, что ваши фантазии совпадают с действительностью? Знаете ли вы, что в публике говорят, будто вы написали свой рассказ о чёрте по заказу и внушению литературного фонда, который хочет добиться, чтоб все писатели отказывали право на издание их сочинений ему, фонду, а не женам и детям? Знаете ли вы, что публика тоже лю-

бит фантазировать и что она фантазирует всегда охотнее, чем думает?

Я долго уверял его, что история «о чёрте» только плод моей фантазии, но он не верил мне. Потом, кажется, поверил. И это он научил меня извиниться перед тобою, читатель, в моем невольном обмане и рассказать о настоящем, порядочном чёрте...

Я извинился. Теперь я хочу рассказать о добром чёрте. Клянусь, что буду строго придерживаться фактов, а существование доброго чёрта подтверждается Лесажем и китайской легендой о Цин-гиу-тонге.

Всё это произошло в ночь накануне Крещения. Стояла оттепель; белый, как молоко, густой туман наполнял улицы, скрывая дома друг от друга и пряча в покровах своих всё — и хорошее и дурное. Вокруг фонарей, окутанных туманом, образовались мутные пятна призрачного света, и — без лучей, без движения — они стояли в воздухе, не освещая земли. Душные, мутные волны наводили уныние своей мертвой неподвижностью; люди являлись и исчезали в них, как призраки; все звуки, казалось, отсырели, были сдавлены, и даже удары колокола, тяжелые от влаги, впитанной ими в себя, бессильно и быстро тонули в тумане, ничего никому не сказав...

— О тоска, моя нимфа Эгерия! Как я рад, что опять бодрый холод объятий твоих освежает усталую душу мою! Как грозовая туча в летний зной поит благодатною влагой эту бедную землю, всегда жаждущую цветов, так и ты — о тоска! — увлажяешь одинокое сердце мое, и от свежести твоего веяния расцветают в нем цветы ненависти моей к этой туманной, полумертвой жизни, к этим бездушным людям, покорным рабам ее.

Это говорил чёрт, и из слов его всякий проникательный человек сразу же, разумеется, увидит, что чёрт был декадент и нищенианец, — стало быть, не только действительно существующий, но и самый модный чёрт. Он шел в тумане по улице и искал дом, над входом в который не было бы креста, начертанного мелом.



«Как скверно стало на земле, — думал он. — Мне совершенно нечего делать на ней — нет ни души, достойной внимания. Убийственно бездарны стали люди, до тошноты неинтересны и мелки... Особенно теперь, когда среди них с новой силой расцветает проповедь личного самоусовершенствования и борьбы со страстями. Глупцы! Они думают, что еще имеют страсти, когда в них остались одни похоти... Но вот форточка, не огражденная крестом от моего визита, — войду! Может быть, увижу что-нибудь интересное...»

Чёрт превратился в снежинку и, влетев через форточку в комнату, бесшумно упал на подоконник.

У окна стоял стол, а за столом сидел Иван Иванович Иванов. По душевному складу своему это был человек «интеллигентный», а профессией его было стремление к достижению духовного совершенства, которое он и внедрял в себя ежесуточно путем продолжительных бесед со знакомыми и посредством чтения душеполезных книг. Так как всё это происходило в последний день святок, Иван Иванович, сидя за столом, подводил итоги пережитого за истекшие две недели и был погружен в самого себя. Человек, занятый самосозерцанием, всегда несколько похож, с одной стороны, на Нарцисса, с другой — на муху в патоке; по этой причине Иван Иванович не заметил ни снежинки, влетевшей в форточку, ни того, как она превратилась в маленького чёртика.

Закрыв глаза, Иван Иванович с унынием всматривался в картинку, которую он видел однажды в каком-то журнале и теперь восстановил в своей памяти: картинка изображала огромного спрута, который пожирал рака, крепко обняв его своими щупальцами.

«Вот и я, — думал Иван Иванович, — вот и я — как этот рак, а жизнь, как спрут, высасывает из меня мои соки. Я стремлюсь побороть ее тлетворное влияние, я хочу победить мои страсти, а она своими цепкими и страшными щупальцами хватает меня и влечет туда, где кипят вакхические оргии, где в человеке пробуждается животное, где гаснет в нем всё чистое... Я должен бы посвящать все силы мои, весь мой ум на дело воспитания из себя личности отзывчивой, как эхо, на все... благород-

ные, возвышающие душу впечатления бытия... я должен бы быть мужественным защитником моих прав, попранных прав личности... и вместо всего этого... я три раза был в маскараде... был в ресторане и даже... унизил женщину!..

...Положим, она — хороша! Боже, как она хороша!.. Но все-таки она — жена другого... Чужая жена... как это низко с моей стороны!

...Хотя, впрочем, она не совсем чужая мне... она жена Егора, а Егор — мой старый товарищ, мой задушевный друг... да-а! Быть может, это обстоятельство несколько сглаживает мою вину, но все-таки, все-таки!.. Хорошо еще, что я всегда сознаю свои пороки, это поднимает меня в своих глазах... это очень утешительно!.. Но-о, чёрт! если б я мог вырвать страсти из своего сердца!»

— Вы попробуйте, — раздался вежливый голос. — Если угодно — я могу помочь вам в этом...

Иван Иванович быстро поднял голову и вздрогнул, — при виде чёрта всегда вздрагиваешь.

— Извините... я не заметил, когда вы вошли... Если не ошибаюсь — имею честь видеть... чёрта?

— Именно, — сказал чёрт.

— Гм... гм... чему обязан удовольствием?..

— Да просто я зашел к вам от нечего делать. Ведь сегодня — вы знаете? — канун Крещенья, и нас, чертей, в этот день отовсюду изгоняют. На улице — туман, сырость... скверная зима в этом году! И вот я, зная вас за человека гуманного...

Иван Иванович был смущен. Он никогда не относился серьезно к вопросу о бытии чёрта и теперь, при виде его, чувствовал себя виноватым пред ним.

— Я... очень рад! — говорил он, растерянно улыбаясь. — Вам, может быть, неловко на подоконнике? Прошу вас...

— О, не беспокойтесь! Я, как и вы, очень быстро привыкаю ко всякому положению, как бы оно ни было неудобно.

— Мм... очень приятно! — сказал Иван Иванович и подумал про себя: «Однако он... грубоват... или, вернее — фамильярен».

— Вы, кажется, выразили желание почистить себе сердце, а?

— Н-да... знаете, человек, несмотря на прогресс ума, всё еще слаб в борьбе со страстями... Но — простите! если я не ослышался, вы предложили мне свою помощь в этом... предприятии?

— Предложил и повторяю — готов служить вам!

— Но ведь это — против вашей специальности? — удивился человек.

— Э, Иван Иванович! — воскликнул чёрт, беспашно махнув рукой. — Вы думаете, не надоела мне моя специальность?

— Да?

— Еще бы! Даже человеку порой надоела делать всё только пакости, и он иногда искренно кается...

«А что если я приму его помощь? — думал Иван Иванович. — Он, наверное, может сделать меня совершенным. Вот будут поражены мои знакомые...»

— Так скажите мне, что вас стесняет? — настаивал чёрт.

— Но... э... видите ли... ведь это, должно быть, очень болезненная операция?

— Только для твердых сердцем, для тех, у кого чувства цельны и глубоко росли в сердце.

— А я?

— У вас — вы извините, ведь я являюсь как бы доктором, — у вас сердце мягкое, такое, знаете... дряблое, как переросшая редиска, например. Когда я буду извлекать из него стесняющие вас страсти, вы почувствуете то же, что чувствует курица, когда у нее выдергивают перья из хвоста...

Иван Иванович задумался и, подумав, спросил:

— А позвольте узнать, вы за вашу... услугу потребуете мою душу?

Чёрт вскочил с подоконника на пол и, тревожно махая лапками, заговорил:

— Душу? О, нет! Нет, пожалуйста... мне не надо... Помилуйте?! Куда мне ее? Извините! я хотел сказать — на что ее мне? Ах, не то, не то! Я хотел сказать...

Иван Иванович смотрел, как чёрт суетился, и чувствовал себя обиженным.

— Я потому спросил об этом, что вообще вами принято...

— Это было раньше, когда существовали здоровые, крупные души...

— Вы как будто пренебрегаете моей душой...

— О, нет! Но я... я просто хочу быть бескорыстным сегодня... И потом, согласитесь, разве мне не интересно видеть совершенного человека?

— Гм... Так вы говорите, что это не больно и не опасно?

— Уверяю вас! При моей помощи достижение совершенства вам совсем ничего не будет стоить... Да вот не угодно ли, извлечем из вашего сердца что-нибудь на пробу?

— П...пожалуй...

— И прекрасно! Что всего более отягощает вас?

Иван Иванович задумался. Очень трудно сказать сразу, которая из наших страстишек любезна нам менее других.

— Нет, уж вы, пожалуйста, начинайте с маленького.

— Мне всё равно... с чего прикажете?

Иван Иванович опять замолчал. Хотя он и часто разбирался в душе своей, но от этого, — а может быть, поэтому именно, — в ней царил полнейший хаос: всё в ней было скомкано, перепутано... и, как усиленно ни ворошил он теперь ее содержимое, не мог он найти в ней ни одного чувства определенного, цельного, чистого от посторонних примесей.

Чёрт устал ждать и предложил ему:

— Давайте выдернем из вашего сердца честолюбие: оно ведь небольшое у вас...

— Ну, хорошо! — сказал Иван Иванович со вздохом, — вытаскивайте его из меня...

Чёрт приблизился к нему и, коснувшись рукой его груди, быстро отдернул руку прочь. Иван Иванович почувствовал острое, но приятное колотье, похожее на то, каким сопровождается извлечение заноз из пальца.

— А ведь в самом деле это не больно... — облегченно сказал Иван Иванович. — Позвольте взглянуть, какое у меня было честолюбие-то...

Чёрт протянул ему руку, и на ладони ее Иван Иванович увидел нечто бесцветное, маленькое, сморщенное, похожее на тряпичку, которой долго вытирали пыль. Посмотрел Иван Иванович на свое честолюбие и, вздохнув, тихонько сказал:

— А знаете... как вспомнишь, что это все-таки кусок моего сердца... жалко!

— Не желаете ли, я извлеку из вас и жалость?

— Н-н... как же я буду без нее?

— Какая в ней польза?

— Ну, знаете, это хорошее человеческое чувство...

— Ну, а что вы скажете о злобе?

— Вот эту — вон! Вот эту — к чёрту! О, извините...

— Ничего... не беспокойтесь...

Чёрт снова коснулся груди Ивана Ивановича, и снова человек почувствовал укол. И снова на ладони чёрта лежало что-то, издававшее кислый запах и похожее на тряпочку...

— Н-да,— сказал Иван Иванович, сморщив нос,— вон она какая у меня... в натуральном-то виде...

— К ней много примешано трусости,— сказал чёрт.

— Вон что... гм... Но скажите, пожалуйста, отчего это у всех моих чувств такое... студенеобразное строение? Точно медузы...

— Судьба уж ваша такая, добрейший Иван Иванович,— сказал чёрт и брезгливо сбросил с ладони на пол кусок сердца своего пациента.

— А я себя уже начинаю чувствовать как-то особен-но,— сообщил Иван Иванович, прислушиваясь к биению своего сердца.

— Приятно?

— Легче... просторнее стало в груди...

— Продолжать операцию?

— Я... не прочь...

— Что у вас есть еще?

— Да... разное... вообще всё то, что имеется у людей...

— Гнев, например?

— О, да! Конечно... гнев, да... То есть, собственно говоря, не совсем это гнев... а, знаете... такая нервность... раздражение... очень беспокойное чувство!

— Убрать?

— Разумеется! Но только осторожнее, пожалуйста... У меня там всё немножко спутано... Вот, когда вы выдерживали злобу, я почувствовал, как во мне шевельнулся стыд за нее...

— Это естественно, — сказал чёрт, — даже мне, при виде ваших чувств, стыдно за вас становится... очень уж вы неопытно содержите сердце-то ваше...

— Что же, разве я виноват в этом? — возразил Иван Иванович. — Ведь сердце — не зубы: его щеткой с мелом не вычистишь...

— И в этом есть правда... Ну-с, так я оперирую?

— Я готов...

И третий раз чёрт коснулся своей рукою груди Ивана Ивановича.

Но когда он отдернул ее — на руке у него оказалась целая грудка какой-то легковесной и совершенно неопределенной мешанины. Она не имела никакой формы, пахла чем-то затхлым и была окрашена в два цвета: в тот зеленовато-серый, который свойствен недозрелым плодам, и в тот темно-бурый, который они принимают, когда загниют.

Чёрт держал эту студенеобразную, дрожащую массу в пригоршнях и с недоумением смотрел на нее, стараясь определить — что это такое?

— Н...ну, Иван Иванович, — смущенно говорил он, не глядя на своего пациента, — извлек я из вас что-то... но что? Н-не знаю... Этакие сокровища скопили вы в сердце своем за тридцать-то лет жизни! Тут, я думаю, ни один химик ничего не разберет... Но полагаю, что теперь, освободившись от всей этой... дряни, вы будете чисты, как ангел... Экий я ловкий ассенизатор, а? И не подозревал в себе такого искусства... Ну, что же теперь? Поздравляю вас, Иван Иванович, с очищением души... с достижением совершенства или — как там? Надеюсь, теперь вы уже совершенно совершенны?

Тут чёрт бросил на пол содержание сердца своего пациента, взглянул на Ивана Ивановича и — обомлел.

Иван Иванович весь как-то обвис, ослаб, изломался, точно из него вынули все кости. Он сидел в кресле с раскрытым ртом, и на лице его сияло то неизъяснимое сло-

вами блаженство, которое всего более свойственно при-  
рожденным идиотам.

— Иван Иванович! — крикнул чёрт, тронув его за  
рукав.

— А...

— Что с вами?

— О...

— Вы что-нибудь чувствуете?

— Э...

— Вам дурно?

— О...

— Вот так святочное происшествие! — воскликнул  
растерянно чёрт. — Неужели я это из него всю суть  
извлек? Иван Иванович!

— А...

— Так и есть! Одни междометия остались в человеке,  
да и то без всякого содержания... Что мне с ним делать?

Чёрт постукал Ивана Ивановича в грудь — она из-  
дала звук пустого бочонка; он постучал пальцем в его  
голову — она тоже была пуста.

— Вот те и совершенный человек! Ах ты — бедняга!  
Опустошил я тебя... Но разве ж я знал, что ты был так  
скверно наполнен? Но что же, однако, дальше?

И чёрт задумался, глядя на неподвижное, блаженное  
лицо человека, достигшего цели своей.

— Ба! — воскликнул он, щелкнув пальцами. — Вот  
идея! И сатана будет очень доволен... я славно придумал!  
Сначала я немножко просушу сие совершенство, а  
потом насыплю в него гороху... И из него выйдет пре-  
оригинальная погремушка для забавы сатаны...

Чёрт поднял Ивана Ивановича с кресла, свернул его  
в комок и, взяв под мышку, исчез из комнаты...

Туман уже рассеялся, и в окна бледными глазами см-  
трело печальное зимнее утро... С улицы в пустую ком-  
нату доносился торжественно-тихий звук благовеста —  
и вздыхал и таял в ней...

ФОМА ГОРДЕЕВ

---





*Антону Павловичу*

**ЧЕХОВУ**

**М. ГОРЬКИЙ**



## I

Лет шестьдесят тому назад, когда на Волге со сказочною быстротой создавались миллионные состояния, — на одной из барж богача купца Заева служил водоливом Игнат Гордеев.

Сильный, красивый и неглупый, он был одним из тех людей, которым всегда и во всем сопутствует удача — не потому, что они талантливы и трудолюбивы, а скорее потому, что, обладая огромным запасом энергии, они по пути к своим целям не умеют — даже не могут — задумываться над выбором средств и не знают иного закона, кроме своего желания. Иногда они со страхом говорят о своей совести, порою искренно мучаются в борьбе с ней, — но совесть непобедима лишь для слабых духом; сильные же, быстро овладевая ею, порабощают ее своим целям. Они приносят ей в жертву несколько бессонных ночей; а если случится, что она одолеет их души, то они, побежденные ею, никогда не бывают разбиты и так же сильно живут под ее началом, как жили и без нее...

В сорок лет от роду Игнат Гордеев сам был собственником трех пароходов и десятка барж. На Волге его уважали как богача и умного человека, но дали ему прозвище — Шалый, ибо жизнь его не текла ровно, по прямому руслу, как у других людей, ему подобных, а то и дело, мятежно вскипая, бросалась вон из колеи, в сторону от наживы, главной цели существования. Было как бы трое Гордеевых — в теле Игната жили три души. Одна из них, самая мощная, была только жадна, и когда Игнат подчинялся ее велениям, — он был просто человек, охваченный неукротимой страстью к работе. Эта страсть горела в нем дни и ночи, он всецело поглощался

ею и, хватая всюду сотни и тысячи рублей, казалось, никогда не мог насытиться шелестом и звоном денег. Он метался по Волге вверх и вниз, укрепляя и разбрасывая сети, которыми ловил золото: скупал по деревням хлеб, возил его в Рыбинск на своих баржах; обманывал, иногда не замечал этого, порою — замечал, торжествуя, открыто смеялся над обманутыми и, в безумии жажды денег, возвышался до поэзии. Но, отдавая так много силы этой погоне за рублем, он не был жаден в узком смысле понятия и даже, иногда, обнаруживал искреннее равнодушие к своему имуществу.

Однажды, во время ледохода на Волге, он стоял на берегу и, видя, как лед ломает его новую тридцатипятисаженную баржу, притиснув ее к обрывистому берегу, приговаривал сквозь зубы:

— Так ее!.. Ну-ка еще... жми-дави!.. Ну, еще разок!..

— Что, Игнат, — спросил его кум Маякин, — выжимает лед-то у тебя из мошны тысяч десять, этак?

— Ничего! Еще сто наживем!.. Ты гляди, как работает Волга-то! Здорово? Она, матушка, всю землю может разворотить, как творог ножом, — гляди! Вот те и «Боярыня» моя! Всего одну воду поплавала... Ну, справим, что ли, поминки ей?

Баржу раздавило. Игнат с кумом, сидя в трактире на берегу, пили водку и смотрели в окно, как вместе со льдом по реке неслись обломки «Боярыни».

— Жалко посуду-то, Игнат? — спросил Маякин.

— Ну, чего ж жалеть? Волга дала, Волга и взяла... Чай, не руки мне оторвало...

— Все-таки...

— Что — все-таки? Ладно, хоть сам видел, как всё делалось, — вперед — наука! А вот, когда у меня «Волгарь» горел, — жалко, не видал я. Чай, какая красота, когда на воде, темной ночью, этакий кострище пылает, а? Большущий пароходина был...

— Будто тоже не пожалел?

— Пароход? Пароход — жалко было, точно... Ну, да ведь это глупость одна — жалость! Какой толк? Плачь, пожалуй: слезы пожара не потушат. Пускай их — пароходы горят. И — хоть всё сгори — плевать! Горела бы душа к работе... так ли?

— Н-да,— сказал Маякин, усмехаясь.— Это ты крепкие слова говоришь... И кто так говорит — его хоть догола раздень, он всё богат будет...

Относясь философски к потерям тысяч, Игнат знал цену каждой копейке; он даже нищим подавал редко и только тем, которые были совершенно неспособны к работе. Если же милостыню просил человек мало-мальски здоровый, Игнат строго говорил:

— Проваливай! Еще работать можешь,— поди вот дворнику моему помоги навоз убрать — семишник дам...

В периоды увлечения работой он к людям относился сурово и безжалостно,— он и себе покоя не давал, лоя рубли. И вдруг — обыкновенно это случалось весной, когда всё на земле становится так обаятельно красиво и чем-то укоризненно ласковым веет на душу с ясного неба,— Игнат Гордеев как бы чувствовал, что он не хозяин своего дела, а низкий раб его. Он задумывался и, пытливо поглядывая вокруг себя из-под густых, нахмуренных бровей, целыми днями ходил угрюмый и злой, точно спрашивая молча о чем-то и боясь спросить вслух. Тогда в нем просыпалась другая душа — буйная и похотливая душа раздраженного голодом зверя. Дерзкий со всеми и циничный, он пил, развратничал и спаивал других, он приходил в иступление, и в нем точно вулкан грязи вскипал. Казалось, он бешено рвет те цепи, которые сам на себя сковал и носит, рвет их и бессилем разорвать. Всклокоченный, грязный, с лицом, опухшим от пьянства и бессонных ночей, с безумными глазами, огромный и ревуший хриплым голосом, он носился по городу из одного вертепа в другой, не считая бросал деньги, плакал под пение заунывных песен, плясал и бил кого-нибудь, но нигде и ни в чем не находил успокоения.

О его кутежах в городе создавались легенды, его строго осуждали, но никто никогда не отказывался от его приглашения на оргии. Так он жил неделями. И неожиданно являлся домой еще весь пропитанный запахом кабаков, но уже подавленный и тихий. Со смиренно опущенными глазами, в которых теперь горел стыд, он молча слушал упреки жены, смиренный и тупой, как овца, уходил к себе в комнату и там запирался. По несколько

часов кряду он выстаивал на коленях пред образами, опустив голову на грудь; беспомощно висели его руки, спина сгибалась, и он молчал, как бы не смея молиться. К дверям на цыпочках подходила жена и слушала. Тяжелые вздохи раздавались за дверью — вздохи лошади, усталой и больной.

— Господи! Ты — видишь!.. — глухо шептал Игнат, с силой прижимая к широкой груди ладони.

Во дни покаяния он пил только воду и ел ржаной хлеб. Жена утром ставила к двери его комнаты большой графин воды, фунта полтора хлеба и соль. Он отворял дверь, брал эту трапезу и снова запирался. Его не беспокоили в это время, даже избегали попадаться на глаза ему... Через несколько дней он снова являлся на бирже, шутил, смеялся, принимал подряды на поставку хлеба, зоркий, как опытный хищник, тонкий знаток всего, что касалось дела.

Но во всех трех полосах жизни Игната не покидало одно страстное желание — желание иметь сына, и чем старше он становился, тем сильнее желал. Часто между ним и женой происходили такие беседы. Поутру, за чаем, или в полдень, за обедом, он, хмуро взглянув на жену, толстую, раскормленную женщину, с румяным лицом и сонными глазами, спрашивал ее:

— Что, ничего не чувствуешь?

Она знала, о чем он спрашивал, но неизменно отвечала:

— Как мне не чувствовать? Кулаки-то у тебя — вона какие, как гири...

— Я про чрево спрашиваю, дура...

— От такого бою разве можно понести?

— Не от бою ты не родишь, а оттого, что жрешь много. Набьешь себе брюхо всякой пищей — ребенку и негде зародиться.

— Будто я не родила тебе?..

— Девок-то! — укоризненно говорил Игнат. — Мне сына надо! Понимаешь ты? Сына, наследника! Кому я после смерти капитал сдам? Кто грех мой замолит? В монастырь, что ль, всё отдать? Дадено им, — будет уж! Тебе оставить? Молеельница ты, — ты, и во храме стоя, о кулебяках думаешь. А помру я — опять замуж выйдешь,

попадут тогда мои деньги какому-нибудь дураку,— али я для этого работаю? Эх ты...

И его охватывала злобная тоска, он чувствовал, что жизнь его — бессельна, если не будет у него сына, который продолжал бы ее.

За девять лет супружества жена родила ему четырех дочерей, но все они умерли. С трепетом ожидая рождения, Игнат мало горевал об их смерти — они были не нужны ему. Желу он бил уже на второй год свадьбы, бил сначала под пьяную руку и без злобы, а просто по пословице: «Люби жену — как душу, тряси ее — как грушу»; но после каждых родов у него, обманутого в ожиданиях, разгоралась ненависть к жене и он уже бил ее с наслаждением, за то, что она не родит ему сына.

Однажды, находясь по делам в Самарской губернии, он получил из дома от родных депешу, извещавшую его о смерти жены. Он перекрестился, подумал и написал куму Маякину:

«Хороните без меня, наблюдай за имуществом...»

Потом он пошел в церковь служить панихиду и, помолившись о упокоении души новопреставленной Акилины, решил поскорее жениться.

В то время ему было сорок три года; высокий, широкоплечий, он говорил густым басом, как протодьякон; большие глаза его смотрели из-под темных бровей смело и умно; в загорелом лице, обросшем густой черной бородой, и во всей его мощной фигуре было много русской, здоровой и грубой красоты; от его плавных движений и неторопливой походки веяло сознанием силы. Женщину он нравился и не избегал их.

Не прошло полугода со дня смерти жены, как он уже посватался к дочери знакомого ему по делам уральского казака-старообрядца. Отец невесты, несмотря на то, что Игнат был и на Урале известен как «шалый» человек, выдал за него дочь. Ее звали Наталья. Высокая, стройная, с огромными голубыми глазами и длинной темно-русой косой, она была достойной парой красавцу Игнату; а он гордился своей женой и любил ее любовью здорового самца, но вскоре начал задумчиво и зорко приглядываться к ней.



Улыбка редко являлась на овальном, строго правильном лице его жены,— всегда она думала о чем-то, и в голубых ее глазах, холодно спокойных, порой сверкало что-то темное, нелюдимое. В свободное от занятий по хозяйству время она садилась у окна самой большой комнаты в доме и неподвижно, молча сидела тут по два, по три часа. Лицо ее обращено на улицу, но взгляд был так безучастен ко всему, что жило и двигалось за окном, и в то же время был так сосредоточенно глубок, как будто она смотрела внутрь себя. И походка у нее была странная — Наталья двигалась по просторным комнатам дома медленно и осторожно, как будто что-то невидимое стесняло свободу ее движений. Дом был обставлен с тяжелой, грубо хвастливой роскошью, всё в нем блестело и кричало о богатстве хозяина, но казачка ходила мимо дорогих мебели и горок, наполненных серебром, боком, пугливо, точно боялась, что эти вещи схватят ее и задавят. Шумная жизнь большого торгового города не интересовала эту женщину, и когда она выезжала с мужем кататься,— глаза ее смотрели в спину кучера. Если муж звал ее в гости — она шла, но и там вела себя так же тихо, как дома; если к ней приходили гости, она усердно поила и кормила их, не обнаруживая интереса к тому, о чем говорили они, и никого из них не предпочитая. Лишь Маякин, умница и балагур, порой вызывал на лице ее улыбку, неясную, как тень. Он говорил про нее:

— Дерево — не баба! Однако жизнь — как костер неугасимый, вспыхнет и эта молоканка, дай срок! Тогда увидим, какими она цветами расцветет...

— Эй, кулугурка! — шутливо говорил Игнат жене. — Что задумалась? Или по своей станице скучаешь? Живи веселей!

Она молчала, спокойно поглядывая на него.

— Больно уж ты часто по церквам ходишь... Погодила бы! успеешь еще грехи-то замолить,— сперва нагрешь. Знаешь: не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься... Ты вот грешь, пока молода. Поедем кататься?

— Не хочется...

Он подсаживался к ней, обнимал ее, холодную,

скупо отвечавшую на его ласки, и, заглядывая в ее глаза, говорил:

— Наталья! Чего ты такая нерадостная? Скучно, что ли, со мной, а?

— Нет,— кратко отвечала она.

— Так что же — к своим, что ли, хочется?

— Да,— нет... так это...

— О чем ты думаешь?

— Я не думаю...

— А что же?

— Так...

Однажды он добился от нее более многосложного ответа.

— В сердце у меня — смутное что-то. И в глазах... И всё кажется мне, что это — не настоящее...

Она повела вокруг себя рукой, на стены, мебель, на всё. Игнат не подумал над ее словами и, смясь, сказал ей:

— Это ты напрасно! Тут всё самое настоящее... вещь всё дорогая, прочная... Но — захочешь — всю сожгу, распродам, раздарю и — новое заведу! Ну, желаешь?

— На что? — спокойно сказала она.

Его удивляло, как это она, такая молодая, здоровая, живет — точно спит, ничего не хочет, никуда, кроме церквей, не ходит, людей дичится. И он утешал ее:

— Вот погоди — родишь ты мне сына,— совсем другая жизнь у тебя пойдет. Это ты оттого печалишься, что заботы у тебя мало, он тебе даст заботу... Родишь ведь сына, а?

— Как бог даст,— отвечала она, опуская голову.

Потом ее настроение стало раздражать его.

— Ну, молоканка, что нос повесила? Ходит — ровно по стеклу, смотрит — будто душу чью-то загубила! Баба ты такая ядреная, а вкуса у тебя нет ни к чему,— дуреха!

Раз, придя домой выпивши, он начал приставать к ней с ласками, а она уклонялась от них. Тогда он рассердился и крикнул:

— Наталья! Не дури, смотри.

Она обернулась лицом к нему и спокойно спросила:

— А то что будет?

Игнат освирепел от этих слов и ее безбоязненного взгляда.

— Что? — рывкнул он, наступая на нее.

— Прибить, что ли, хочешь? — не двигаясь с места и не моргнув глазом, спрашивала она.

Игнат привык, чтоб пред гневом его трепетали, и ему было дико и обидно видеть ее спокойствие.

— А — вот!.. — крикнул он, замахаясь на нее. Не быстро, но вовремя она уклонилась от его удара, потом схватила руку его, оттолкнула ее прочь от себя и, не повышая голоса, сказала:

— Ежели тронешь, — больше ко мне не подходи! не допущу до себя!

Большие глаза ее сузились, и их острый, режущий блеск отрезвил Игната. Он понял по лицу ее, что она тоже — зверь сильный и, если захочет, — не допустит его до себя, хоть до смерти забей ее.

— У-у, кулугурка! — рыкнул он и ушел.

Но, отступив перед нею однажды, в другой раз он не сделал бы этого: не мог он потерпеть, чтоб женщина и жена его не преклонилась пред ним, — это унизило бы его. Он почувствовал, что жена ни в чем и никогда не уступит ему и что между ним и ею должна завязаться упорная борьба.

«Ладно! Поглядим, кто кого», — думал он на следующий день, с угрюмым любопытством наблюдая за нею, и в душе его уже разгоралось бурное желание начать борьбу, чтоб скорее насладиться победой.

Но дня через четыре Наталья Фоминична объявила мужу, что она беременна. Игнат вздрогнул от радости, крепко обнял ее и глухо заговорил:

— Наташа... ежели — сын, ежели сына родишь — озолочу! Что там! Прямо говорю — слугою тебе буду! Вот — как перед богом! Под ноги тебе лягу, топчи меня, как захочешь!

— В этом не наша воля, а божья!.. — тихо и вразумительно сказала она.

— Да, — божья! — с горечью воскликнул Игнат и грустно поник головой. С этой минуты он начал ходить за жеңой, как за малым ребенком.

— Пошто села к окну? Смотри — надует в бок, за-

хворает еще!..—говорил он ей сурово и ласково.— Что ты скачешь по лестнице-то? Встряхнешься как-нибудь... А ты ешь больше, на двоих ешь, чтобы ему хватало...

Наталью же беременность сделала еще более сосредоточенной и молчаливой; она глубже ушла в себя, поглощенная биением новой жизни под сердцем своим. Но улыбка ее губ стала яснее, и в глазах порой вспыхивало что-то новое, слабое и робкое, как первый проблеск утренней зари.

Когда наступило время родов,— это было рано утром осеннего дня,— при первом крике боли, вырвавшемся у жены, Игнат побледнел, хотел что-то сказать ей, но только махнул рукой и ушел из спальни, где жена корчилась в судорогах, ушел вниз в маленькую комнатку, моленную его покойной матери. Он велел принести себе водки, сел за стол и стал угрюмо пить, прислушиваясь к суеде в доме. В углу комнаты, освещенные огнем лампы, смутно рисовались лики икон, безучастные и темные. Там, наверху, над его головой, топали и шаркали ногами, что-то тяжелое передвигали по полу, гремела посуда, по лестнице вверх и вниз суетливо бегали... Всё делалось быстро, торопливо, но время шло медленно... До слуха Игната доносились подавленные голоса:

— Не разродится она так-то... в церковь бы послать, чтоб царские ворота отворили...

В комнату, соседнюю с той, где сидел Игнат, вошла приживалка Вассушка и громким шёпотом стала молиться:

— Господи боже наш... благоволивый снити с небес и родитися от святыя богородицы... ведый немощное человеческого естества... прости рабе твоей...

И вдруг, заглушая все звуки, раздавался нечеловеческий вой, сотрясавший душу, или продолжительный стон тихо плыл по комнатам дома и умирал в углах, уже полных вечернего сумрака... Игнат бросал угрюмые взгляды на иконы, тяжело вздыхал и думал:

«Неужто опять дочь будет?»

Порой он вставал и молча крестился, низко кланяясь иконам, потом опять садился за стол, пил водку, не опьянявшую его в эти часы, дремал, и — так провел весь вечер, и всю ночь, и утро до полудня...

И вот наконец сверху торопливо сбежала повитуха, тонким и радостным голосом крича ему:

— С сыном тебя, Игнат Матвеевич!

— Врешь?

— Ну, что это ты, батюшка!..

Вздохнув во всю силу груди, Игнат рухнул на колени и дрожащим голосом забормотал, крепко прижимая руки к груди:

— Слава тебе, господи! Не восхотел ты, стало быть, чтобы прекратился род мой! Не останутся без оправдания грехи мои пред тобою... Спасибо тебе, господи!

И тотчас же, поднявшись на ноги, он начал зычно командовать:

— Эй! Поезжай кто-нибудь к Николе за попом! Игнатий, мол, Матвейч просит! Пожалуйте, мол, молитву роженице дать...

Явилась горничная и тревожно сказала ему:

— Игнатий Матвейч! Наталья Фоминишна вас зовет... плохо им...

— Чего плохо? Пройдет! — рычал он, радостно сверкая глазами. — Скажи — сейчас иду! Скажи — молодец она! Сейчас, мол, подарок на зубок достает и придет! Стой! Закуску попу приготовьте, за кумом Маякиным пошлите!

Его огромная фигура точно еще выросла, опьяненный радостью, он нелепо метался по комнате, потирал руки и, бросая на образа умиленные взгляды, крестился, широко размахивая рукой... Наконец пошел к жене.

Там прежде всего бросилось в глаза ему маленькое красное тельце, которое повитуха мыла в корыте. Увидав его, Игнат встал на носки сапог и, заложив руки за спину, пошел к нему, ступая осторожно и смешно оттопырив губы. Оно верещало и барахталось в воде, обнаженное, бессильное, трогательно жалкое...

— Ты, тово, — осторожнее тискай... Ведь у него еще и костей-то нет... — сказал Игнат повитухе просительно и вполголоса.

Она засмеялась, открывая беззубый рот и ловко перебрасывая ребенка с руки на руку.

— Иди к жене-то...

Он послушно двинулся к постели и на ходу спросил:  
— Ну что, Наталья?

Потом, подойдя, отдернул прочь полог, бросавший тень на постель.

— Не выживу я... — раздался тихий, хрипящий голос.

Игнат молчал, пристально глядя на лицо жены, утопавшее в белой подушке, по которой, как мертвые змеи, раскинулись темные пряди волос. Желтое, безжизненное, с черными пятнами вокруг огромных, широко раскрытых глаз — оно было чужое ему. И взгляд этих страшных глаз, неподвижно устремленный куда-то вдаль, сквозь стену, — тоже был незнаком Игнату. Сердце его, стиснутое тяжелым предчувствием, замедлило радостное биение.

— Ничего... Это уж всегда... — тихо говорил он, наклоняясь поцеловать жену. Но прямо в лицо его она повторила:

— Не выживу...

Губы у нее были серые, холодные, и когда он прикоснулся к ним своими губами, то понял, что смерть — уже в ней.

— О, господи! — испуганным шёпотом произнес он, чувствуя, что страх давит ему горло и не дает дышать. — Наташа! Как же? Ведь ему — грудь надо? Что ты это!

Он чуть не закричал на жену. Около него суетилась повитуха; болтая в воздухе плачущим ребенком, она что-то убедительно говорила ему, но он ничего не слышал и не мог оторвать своих глаз от страшного лица жены. Губы ее шевелились, он слышал тихие слова, но не понимал их. Сидя на краю постели, он говорил глухим и робким голосом:

— Ты подумай — ведь он без тебя не может, — ведь младенец! Ты крепись душой-то: мысль-то эту гони! Гони ее...

Говорил и понимал — ненужное говорит он. Слезы вскипали в нем, в груди родилось что-то тяжелое, точно камень, холодное, как льдина.

— Прости — меня — прощай! Береги, смотри... Не пей... — беззвучно шептала Наталья.

Священник пришел и, закрыв чем-то лицо ее, стал, вздыхая, читать над нею умоляющие слова:

— «Владыко господи вседержителю, исцеляяй всякий недуг... и сию, днесь родившую, рабу твою Наталью исцели... и восстави ю от одра, на нем же лежит... зане, по пророка Давида словеси: в беззакониях зачахомся и сквернави вси есмь пред тобою...»

Голос старика прерывался, худое лицо было строго, от одежд его пахло ладаном.

— «... из нея рожденного младенца соблюди от всякого ада... от всякия лютоисти... от всякия бури... от духов лукавых, дневных же и noctных...»

Игнат безмолвно плакал. Слезы его, большие и теплые, падали на обнаженную руку жены. Но рука ее, должно быть, не чувствовала, как ударяются о нее слезы: она оставалась неподвижной, и кожа на ней не вздрагивала от ударов слез. Приняв молитву, Наталья впала в беспамятство и на вторые сутки умерла, ни слова не сказав никому больше, — умерла так же молча, как жила. Устроив жене пышные похороны, Игнат окрестил сына, назвал его Фомой и, скрепя сердце, отдал его в семью крестного отца Маякина, у которого жена незадолго пред этим тоже родила. В густой темной бороде Игната смерть жены посеяла много седин, но в блеске его глаз явилось нечто новое — мягкое и ласковое.

## II

Маякин жил в огромном двухэтажном доме с большим палисадником, в котором пышно разрослись могучие старые липы. Густые ветви частым, темным кружевом закрывали окна, и солнце сквозь эту завесу с трудом, раздробленными лучами проникало в маленькие комнаты, тесно заставленные разнообразной мебелью и большими сундуками, отчего в комнатах всегда царил строгий полумрак. Семья была благочестива — запах воска, ладана и лампадного масла наполнял дом, покайнные вздохи, молитвенные слова носились в воздухе. Обрядности исполнялись неуклонно, с наслаждением, в них влагалась вся свободная сила обитателей дома. В сумрачной, душной и тяжелой атмосфере по

комнатам почти бесшумно двигались женские фигуры, одетые в темные платья, всегда с видом душевного сокрушения на лицах и всегда в мягких туфлях на ногах.

Семья Якова Маякина состояла из него самого, его жены, дочери и пяти родственниц, причем самой младшей из них было тридцать четыре года. Все они были одинаково благочестивы, безличны и подчинены Антонине Ивановне, хозяйке дома, женщине высокой, худой, с темным лицом и строгими серыми глазами, — они блестили властно и умно. Был еще у Маякина сын Тарас, но имя его не упоминалось в семье; в городе было известно, что с той поры, как девятнадцатилетний Тарас уехал в Москву учиться и через три года женился там против воли отца, — Яков отрекся от него. А потом Тарас пропал без вести. Говорили, что он за что-то сослан в Сибирь...

Яков Маякин — низенький, худой, юркий, с огненно-рыжей клинообразной бородкой — так смотрел зеленоватыми глазами, точно говорил всем и каждому:

«Ничего, сударь мой, не беспокойтесь! Я вас понимаю, но ежели вы меня не тронете — не выдам...»

Голова у него была похожа на яйцо и уродливо велика. Высокий лоб, изрезанный морщинами, сливался с лысиной, и казалось, что у этого человека два лица — одно пронизательное и умное, с длинным хрящевым носом, всем видимое, а над ним — другое, без глаз, с одними только морщинами, но за ними Маякин как бы прятал и глаза и губы, — прятал до времени, а когда оно наступит, Маякин посмотрит на мир иными глазами, улыбнется иной улыбкой.

Он был владельцем канатного завода, имел в городе у пристаней лавочку. В этой лавочке, до потолка заваленной канатом, веревкой, пенькой и паклей, у него была маленькая каморка со стеклянной скрипучей дверью. В каморке стоял большой, старый, уродливый стол, перед ним — глубокое кресло, и в нем Маякин сидел целыми днями, попивая чай, читая «Московские ведомости». Среди купечества он пользовался уважением, славой «мозгового» человека и очень любил ставить на вид древность своей породы, говоря сиплым голосом:



— Мы, Маякины, еще при матушке Екатерине купцами были,— стало быть, я — человек чистой крови...

В этой семье сын Игната Гордеева прожил шесть лет. На седьмом году Фома, большеголовый, широкогрудый мальчик, казался старше своих лет и по росту и по серьезному взгляду миндалевидных, темных глаз. Молчаливый и настойчивый в своих детских желаниях, он по целым дням возился с игрушками вместе с дочерью Маякина — Любой, под безмолвным надзором одной из родственниц, рябой и толстой старой девы, которую почему-то звали Бузя,— существо чем-то испуганное, даже с детьми она говорила вполголоса, односложными словами. Зная множество молитв, она не рассказывала Фоме ни одной сказки.

С девочкой Фома жил дружно, но, когда она чем-нибудь сердила или дразнила его, он бледнел, ноздри его раздувались, он смешно таращил глаза и азартно бил ее. Она плакала, бежала к матери и жаловалась ей, но Антонина любила Фому и на жалобы дочери мало обращала внимания, что еще более скрепляло дружбу детей. День Фомы был длинен, однообразен. Встав с постели и умывшись, он становился перед образом и, под нашептывание Бузи, читал длинные молитвы. Потом — пили чай и много ели сдобных булок, лепешек, пирожков. После чая — летом — дети отправлялись в густой, огромный сад, спускавшийся в овраг, на дне которого всегда было темно. Оттуда веяло сыростью и чем-то жутким. Детей не пускали даже на край оврага, и это вселило в них страх к оврагу. Зимой, от чая до обеда, играли в комнатах, если на дворе было очень морозно, или шли на двор и там катались с большой ледяной горы.

В полдень обедали — «по-русски», как говорил Маякин. Сначала на стол ставили большую чашку жирных щей с ржаными сухарями в них, но без мяса, потом те же щи ели с мясом, нарезанным мелкими кусками, потом жареное — поросенка, гуся, телятину или сычуг с кашей, — потом снова подавали чашку похлебки с потрохами или лапши, и заключалось всё это чем-нибудь сладким и сдобным. Пили квасы: брусничный, можже-

веловый, хлебный, — их всегда у Антонины Ивановны было несколько сортов. Ели молча, лишь вздыхая от усталости; детям ставили отдельную чашку для обоих, все взрослые ели из одной. Разомлев от такого обеда — ложились спать, и часа два-три кряду в доме Маякина слышался только храп и сонные вздохи.

Проснувшись — пили чай и разговаривали о городских новостях, — о певчих, дьяконах, свадьбах, о зазорном поведении того или другого знакомого купца... После чая Маякин говорил жене:

— Ну-ка, мать, дай-ка сюда Библию-то...

Чаще всего Яков Тарасович читал книгу Иова. Надевши на свой большой, хищный нос очки в тяжелой серебряной оправе, он обводил глазами слушателей — все ли на местах?

Они все сидели там, где он привык их видеть, и на лицах у них было знакомое ему выражение благочестия, тупое и боязливое.

— «Был человек в земле Уц...» — начинал Маякин сирым голосом, и Фома, сидевший рядом с Любой в углу комнаты на диване, уже знал, что сейчас его крестный замолчит и погладит себя рукой по лысине. Он сидел и, слушая, рисовал себе человека земли Уц. Человек этот был высок и наг, глаза у него были огромные, как у Нерукотворного Спаса, и голос — как большая медная труба, на которой играют солдаты в лагерях. Человек с каждой минутой всё рос; дорастая до неба, он погружал свои темные руки в облака и, разрывая их, кричал страшным голосом:

— «На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого бог окружил мраком?»

Фоме становилось боязно, и он вздрагивал; дрема отлетала от него, он слышал голос крестного, который, пощипывая бородку, с тонкой усмешкой говорил:

— Ишь ведь как дерзит...

Мальчик знал, что крестный говорит это о человеке из земли Уц, и улыбка крестного успокаивала мальчика. Не изломает неба, не разорвет его тот человек своими страшными руками... И Фома снова видит человека — он сидит на земле, «тело его покрыто червями и пыльными струпами, кожа его гноится». Но он уже малень-

кий и жалкий, он просто — как нищий на церковной паперти...

Вот он говорит:

— «Что такое человек, чтоб быть ему чистым и чтоб рожденному женщиной быть праведным?»

— Это он — богу говорит...— внушительно пояснял Маякин.— Как, говорит, могу быть праведным, ежели я — плоть? Это — богу вопрос...

И чтец победоносно и вопросительно оглядывает слушательниц.

— Удостоился... праведник...— вздыхая, отвечают они.

Яков Маякин, посмеиваясь, оглядывает их и говорит:

— Дуры!.. Ведите-ка ребят-то спать...

Игнат бывал у Маякиных каждый день, привозил сыну игрушек, хватал его на руки и тискал, но порой недовольно и с худо скрытым беспокойством говорил ему:

— Чего ты бука какой? Чего ты мало смеешься?

И жаловался куму:

— Боюсь я — Фомка-то в мать бы не пошел... Глаза у него невеселые...

— Рано больно беспокоишься,— усмехался Маякин.

Он тоже любил крестника; и когда однажды Игнат объявил ему, что возьмет Фому к себе,— Маякин искренно огорчился.

— Оставь!..— просил он.— Смотри — привык к нам мальчишка-то, плачет вон...

— Перестанет!.. Не для тебя я сына родил. У вас тут дух тяжелый... скучно, ровно в монастыре. Это вредно ребенку. А мне бзз него — нерадостно. Придешь домой — пусто. Не глядел бы ни на что. Не к вам же мне переселиться ради него,— не я для него, он для меня. Так-то. Сестра Анфиса приехала — присмотр за ним будет...

И мальчика привезли в дом отца.

Там встретила его смешная старуха с длинным крючковатым носом и большим ртом без зубов. Высокая, сутулая, одетая в серое платье, с седыми волосами, прикрытыми черной шелковой головкой, она сначала не понравилась мальчику, даже испугала его. Но ког-

да он рассмотрел на ее сморщенном лице черные глаза, ласково улыбавшиеся ему, — он сразу доверчиво ткнул-ся головой в ее колени.

— Сиротинка моя болезная! — говорила она бархатным, дрожащим от полноты звука голосом и тихо гладила его рукой по лицу. — Ишь прильнул как... дитяtko мое милое!

Было что-то особенно сладкое в ее ласке, что-то совершенно новое для Фомы, и он смотрел в глаза старухе с любопытством и ожиданием на лице. Эта старуха ввела его в новый, дотоле неизвестный ему мир. В первый же день, уложив его в кровать, она села рядом с нею и, наклоняясь над ребенком, спросила его:

— Рассказать ли тебе сказочку?

С той поры Фома всегда засыпал под бархатные звуки голоса старухи, рисовавшего пред ним волшебную жизнь. Жадно питалась душа его красотой народного творчества. Неиссякаемы были сокровища памяти и фантазии у этой старухи; она часто, сквозь дрему, казалась мальчику то похожей на бабу-ягу сказки, — добрую и милую бабу-ягу, — то на красавицу Василису Премудрую. Широко раскрыв глаза, удерживая дыхание, мальчик смотрел в ночной сумрак, наполнявший комнату, видел, как тихо он трепещет от огонька лампы пред образом... Фома наполнял его чудесными картинками сказочной жизни. Безмолвные, но живые тени ползали по стенам и полу; мальчику было страшно и приятно следить за их жизнью, наделять их формами, красками и, создав из них жизнь, — вмиг разрушить ее одним движением ресниц. Что-то новое явилось в его темных глазах, более детское и наивное, менее серьезное; одиночество и темнота, порождая в нем жуткое чувство ожидания чего-то, волновали и возбуждали его любопытство, заставляли его идти в темный угол и смотреть, что скрыто там, в покровах тьмы. Он шел и не находил ничего, но не терял надежды найти...

Отца он боялся, но любил его. Громадный рост Игната, его трубный голос, бородатое лицо, голова в густой шапке седых волос, сильные длинные руки и сверкающие глаза — всё это придавало Игнату сходство со сказочными разбойниками.

Однажды, когда ему шел уже восьмой год, Фома спросил отца, только что возвратившегося из продолжительной поездки куда-то:

— Ты где был?

— По Волге ездил...

— Разбойничал? — тихо спросил Фома.

— Что-о? — протянул Игнат, и брови у него дрогнули.

— Ведь ты разбойник, тятя? Я знаю уж... — хитро прищуривая глаза, говорил Фома, довольный тем, что так легко вошел в скрытую от него жизнь отца.

— Я — купец! — строго сказал Игнат, но, подумав, добродушно улыбнулся и добавил: — А ты — дурашка!.. Я хлебом торгую, пароходами работаю, — видал «Ермака»? Ну вот, это мой пароход... И твой...

— Больно большой он... — со вздохом сказал Фома.

— Ну, я куплю тебе маленький, докуда ты сам маленький, — ладно?

— Ладно! — согласился Фома, но, задумчиво помолчав, вновь с сожалением протянул: — А я думал, что ты то-о-же разбойник...

— Я тебе говорю — торговец я! — внушительно повторил Игнат, и в его взгляде на разочарованное лицо сына было что-то недовольное, почти боязливое...

— Как дедушка Федор, калачник? — подумав, спросил Фома.

— Ну вот, как он... только богаче я, денег у меня больше, чем у Федора...

— Много денег?

— Ну... и еще больше бывает...

— Сколько у тебя бочек?

— Чего?

— Денег-то?

— Дурашка! Разве деньги бочками меряют?

— А как же? — оживленно воскликнул Фома и, обратив к отцу свое лицо, стал торопливо говорить ему: — Вон в один город приехал разбойник Максимка и у одного там, богатого, двенадцать бочек деньгами насыпал... да разного серебра, да церковь ограбил... а одного человека саблей зарубил и с колокольни сбросил... он, человек-то, в набат бить начал...

— Это тебе тетка, что ли, рассказала? — спросил Игнат, любуясь оживлением сына.

— Она, а что?

— Ничего! — смеясь, сказал Игнат. — То-то ты и отца в разбойники произвел...

— А может, ты был давно когда? — опять возразился Фома к своей теме, и по лицу его было видно, что он очень хотел бы услышать утвердительный ответ.

— Не был я... брось это...

— Не был?

— Ну, говорю ведь — не был! Экой ты какой... Разве хорошо — разбойником быть? Они... грешники все, разбойники-то. В бога не веруют... церкви грабят... их проклинаят вон, в церквях-то... Н-да... А вот что, сынок, — учиться тебе надо! Пора, брат, уж... Начинай-ка с богом. Зиму-то проучишься, а по весне я тебя в путину на Волгу с собой возьму...

— В училище буду ходить? — робко спросил Фома.

— Сперва дома с теткой поучишься...

И скоро мальчик с утра садился за стол и, водя пальцем по славянской азбуке, повторял за теткой:

— Аз... буки... веди...

Когда дошли до — бра, вра, гра, дра, мальчик долго не мог без смеха читать эти слоги. Эта мудрость давалась Фоме легко, и вот он уже читает первый псалом первой кафизмы Псалтиря:

— «Бла-жен му-ж... иже не иде на... со-вет не-че-сти-вых...»

— Так, миленький, так! Так, Фомушка, верно! — умиленно вторит ему тетка, восхищенная его успехами...

— Молодец Фома! — серьезно говорил Игнат, осведомляясь об успехе сына... — Едем весной в Астрахань, а с осени — в училище тебя!

Жизнь мальчика катилась вперед, как шар под уклон. Будучи его учителем, тетка была и товарищем его игр. Приходила Люба Маякина, и при них старуха весело превращалась в такое же дитя, как и они. Играли в прятки, в жмурки; детям было смешно и приятно видеть, как Анфиса с завязанными платком глазами, разведя широко руки, осторожно выступала по комна-

те и все-таки натыкалась на стулья и столы или как она, ища их, лазала по разным укромным уголкам, приговаривая:

— Ах, мошенники... Ах, разбойники... где это они тут забились?

Солнце ласково и радостно светило ветхому, изношенному телу, сохранившему в себе юную душу, старой жизни, украшавшей, по мере сил и умения, жизненный путь детям...

Игнат рано утром уезжал на биржу, иногда не являлся вплоть до вечера, вечером он ездил в думу, в гости или еще куда-нибудь. Иногда он являлся домой пьяный, — сначала Фома в таких случаях бегал от него и прятался, потом — привык, находя, что пьяный отец даже лучше, чем трезвый: и ласковее, и проще, и немножко смешной. Если это случалось ночью — мальчик всегда просыпался от его трубного голоса:

— Анфиса-а! Сестра родная! Допусти ты меня к сыну, — к наследнику — допу-усти!

А тетка уговаривала его укоризненным, плачущим голосом:

— Иди, иди, дрыхни, знай, леший ты, окаянный! Ишь назюзился! Седой ведь уж ты...

— Анфиса! Сына я могу видеть? Одним глазом?..

— Чтоб у тебя лопнули оба от пьянства твоего...

Фома знал, что тетка не пустит отца, и снова засыпал под шум их голосов. Когда ж Игнат являлся пьяный днем — его огромные лапы тотчас хватали сына, и с пьяным, счастливым смехом отец носил Фому по комнатам и спрашивал его:

— Фомка! Чего хочешь? Говори! Гостинцев? Игрушек? Проси, ну! Потому ты знай, нет тебе ничего на свете, чего я не куплю. У меня — миллён! И еще больше будет! Понял? Всё твое!

И вдруг восторг его гас, как гаснет свеча от сильного порыва ветра. Пьяное лицо вздрагивало, глаза, краснея, наливались слезами, и губы растягивались в пугливую улыбку.

— Анфиса! Ежели он помрет — что я тогда сделаю?

И вслед за этими словами бешенство овладевало им.

— Сожгу всё! — ревел он, дико уставившись глазами куда-нибудь в темный угол комнаты. — Истреблю! Порохом взорву!

— Бу-у-дет, безобразная ты образина! Али ты младенца напугать хочешь? Али, чтобы захворал он, же-лаешь? — причитала Анфиса, и этого было достаточно, чтоб Игнат поспешно исчезал, бормоча:

— Ну-ну-ну! Иду, иду... Ты только не кричи! Не пугай его...

А если Фоме нездоровилось, отец его, бросая все свои дела, не уходил из дома и, надоедая сестре и сыну нелепыми вопросами и советами, хмурый, с боязнью в глазах, ходил по комнатам сам не свой и охал.

— Ты что бога-то гневешь? — говорила Анфиса. — Смотри, дойдет роптанье твое до господя, и накажет он тебя за жалобы твои на милость его к тебе...

— Эх, сестра! — вздыхал Игнат. — Ты пойми, — ведь ежели что — вся жизнь моя рухнет! Для чего жил?.. Неизвестно...

Подобные сцены и резкие переходы отца от одного настроения к другому сначала пугали мальчика, но он скоро привык к ним и, видя в окно отца, тяжело вылезавшего из саней, равнодушно говорил:

— Тетя! Опять пьяный приехал тятка-то.

Пришла весна — и, исполняя свое обещание, Игнат взял сына с собой на пароход, и вот пред Фомой развернулась новая жизнь.

Быстро несется вниз по течению красивый и сильный «Ермак», буксирный пароход купца Гордеева, и по оба бока его медленно движутся навстречу ему берега Волги, — левый, весь облитый солнцем, стелется вплоть до края небес, как пышный зеленый ковер, а правый взмахнул к небу кручи свои, поросшие лесом, и замер в суровом покое.

Между ними величаво простерлась широкогрудая река; бесшумно, торжественно и неторопливо текут ее воды; горный берег отражается в них черной тенью, а с левой стороны ее украшают золотом и зеленым бархатом песчаные каймы отмелей, широкие луга. То тут, то там, по горе и в лугах, являются селенья, солнце



сверкает на стеклах окон изб и на парче соломенных крыш, сияют, в зелени деревьев, кресты церквей, лениво кружатся в воздухе серые крылья мельниц, дым из трубы завода вьется в небо. Толпы ребятишек в синих, красных и белых рубашках, стоя на берегу, провожают громкими криками пароход, разбудивший тишину на реке, из-под колес его к ногам детей бегут веселые волны. Вот куча ребят уселась в лодку, они спешно гребут на средину реки, чтоб покачаться на волнах. Из воды смотрят вершины деревьев, иногда целые купы их затоплены разливом и стоят среди волн, как острова. Откуда-то с берега тяжелым вздохом доносится заунывная песня:

— О-э — о-о — эщо — о — разок!

Пароход обгоняет плоты, заплескивая их волной. Бревна ходуном ходят под ударами набежавших волн; плотовщики в синих рубахах, пошатываясь на ногах, смотрят на пароход, смеются и что-то кричат. Дородная красавица-беляна боком идет по реке; желтый тес, нагруженный на ней, блестит золотом и тускло отражается в мутной вешней воде. Пассажирский пароход идет навстречу и свистит — гулкое эхо свиста прячется в лесу, в ущельях горного берега, умирает там. Посредине реки сшибаются волны двух судов, бьются о борта их, и суда покачиваются. На пологом склоне горного берега раскинуты зеленые ковры озими, бурые полосы земли под паром и черные — вспаханной под яровое. Птицы, маленькими точками, вьются над ними, ясно видны на голубом пологе неба; стадо пасется невдалеке, — издали оно кажется игрушечным; маленькая фигурка пастуха стоит, опираясь на падог, и смотрит на реку.

Всюду блеск, простор и свобода, весело зелены луга, ласково ясно голубое небо; в спокойном движении воды чувствуется сдержанная сила, в небе над нею сияет щедрое солнце мая, воздух напоен сладким запахом хвойных деревьев и свежей листвы. А берега всё идут навстречу, лаская глаза и душу своей красотой, и всё новые картины открываются на них.

На всем вокруг лежит отпечаток медлительности; всё — и природа и люди — живет неуклюже, лениво, — но кажется, что за ленью притаилась огромная сила, —

сила необоримая, но еще лишенная сознания, не создавая себе ясных желаний и целей... И отсутствие сознания в этой полусонной жизни кладет на весь красивый простор ее тени грусти. Покорное терпение, молчаливое ожидание чего-то более живого слышатся даже в крике кукушки, прилетающем по ветру с берега на реку... Заунывные песни точно просят о помощи... Порой в них звучит удаль отчаяния... Река отвечает песням вздохами. И задумчиво качаются вершины деревьев... Тишина...

Целые дни Фома проводил на капитанском мостике рядом с отцом. Молча, широко раскрытыми глазами смотрел он на бесконечную панораму берегов, и ему казалось, что он движется по широкой серебряной тропе в те чудесные царства, где живут чародеи и богатыри сказок. Порой он начинал расспрашивать отца о том, что видел. Игнат охотно и подробно отвечал ему, но мальчику не нравились ответы: ничего интересного и понятного ему не было в них, и не слышал он того, что желал бы услышать. Однажды он со вздохом заявил отцу:

— Тетя Анфиса знает лучше тебя...

— Что она знает? — спросил Игнат, усмехаясь.

— Всё, — убежденно ответил мальчик.

Чудесные царства не являлись пред ним. Но часто на берегах реки являлись города, совершенно такие же, как и тот, в котором жил Фома. Одни из них были побольше, другие — поменьше, но и люди, и дома, и церкви — всё в них было такое же, как в своем городе. Фома осматривал их с отцом, оставался недоволен ими и возвращался на пароход хмурый, усталый.

— Вот завтра приедем в Астрахань... — сказал однажды Игнат.

— А она — такая же, как все?

— Ну, известно!.. А то — какая же?

— А за ней что?

— Море... Каспийское море называется.

— А что в нем есть?

— Рыба, чудак! Что может в воде быть?

— Город-от Китеж в воде стоит...

— То — другое дело! То — Китеж... В нем — одни праведники жили.

— А в море праведные города не бывают?

— Не бывают...— сказал Игнат и, помолчав, прибавил: — Вода морская — горькая, пить ее нельзя...

— А за морем опять земля будет?

— Известно! Море-то должно же края иметь. Оно — как чашка...

— И опять города там?

— И опять города,— а как же? Только там уж не наша земля будет, а персидская... Видал персияшек, которые вот на ярмарке-то — шепталà, урюк, фисташка?

— Видал,— ответил Фома и задумался.

Однажды он спросил отца:

— Много еще земли-то?

— Земли, брат,— о-очень много!

— А на ней всё одинаковое?

— То есть что?

— Города и всё...

— Ну, конечно... Всё одинаково...

После многих таких разговоров мальчик стал реже, не так упорно смотреть вдаль вопрошающим взглядом черных глаз...

Команда парохода любила его, и он любил этих славных ребят, коричневых от солнца и ветра, весело шутивших с ним. Они мастерили ему рыболовные снасти, делали лодки из древесной коры, возились с ним, катали его по реке во время стоянок, когда Игнат уходил в город по делам. Мальчик часто слышал, как поругивали его отца, но не обращал на это внимания и никогда не передавал отцу того, что слышал о нем. Но однажды, в Астрахани, когда пароход грузился топливом, Фома услышал голос Петровича, машиниста:

— Приказал валить столько дров,— тьфу, несообразный человек! Загрузит пароход по самую палубу, а потом орет — машину, говорит, портишь часто... масло, говорит, зря льешь...

Голос седого и сурового лоцмана отвечал:

— А всё жадность его непомерная — дешевле здесь топливо, вот он и старается... Жаден, дьявол!

— Жаден...

Повторенное несколько раз кряду слово запало в память Фомы, и вечером, ужиная с отцом, он вдруг спросил его:

- Тятя!
- Ась?
- Ты жадный?

На вопросы отца он передал ему разговор лоцмана с машинистом. Лицо Игната омрачилось, и глаза гневно сверкнули.

— Вот оно что!..— проговорил он, потрянув головой.— Ну, ты не тово,— не слушай их. Они тебе не компания,— ты около них поменьше вертись. Ты им хозяин, они — твои слуги, так и знай. Захочем мы с тобой, и всех их до одного на берег швырнем,— они дешево стоят, и их везде как собак нерезаных. Понял? Они про меня много могут худого сказать,— это потому они скажут, что я им — полный господин. Тут всё дело в том завязло, что я удачливый и богатый, а богатому все завидуют. Счастливый человек — всем людям враг...

Дня через два на пароход явились новые и лоцман и машинист.

- А где Яков? — спросил мальчик.
- Рассчитал я его... прогнал!
- За то?
- За то самое...
- И Петровича?
- И его.

Фоме понравилось то, что отец его может так скоро переменять людей на пароходе. Он улыбнулся отцу и, сойдя вниз на палубу, подошел к одному матросу, который, сидя на полу, раскручивал кусок каната, делая швабру.

- А лоцман-то новый уж,— объявил Фома.
- Знаем... Доброго здоровьица, Фома Игнатьич! Как спал-почивал?
- И машинист новый...
- И машинист... Жалко Петровича-то?
- Нет.
- Ну? А он до тебя такой ласковый был...
- А зачем он тятю ругал?
- О? Али он ругал?
- Ругал, я ведь слышал...
- Мм... а отец-то тоже, значит, слышал?
- Нет, это я ему сказал...

— Ты... Та-ак... — протянул матрос и замолчал, принявшись за работу.

— А тятя мне говорит: «Ты, говорит, здесь хозяин... всех, говорит, можешь прогнать, коли хочешь...»

— Такое дело!.. — сказал матрос, сумрачно поглядывая на мальчика, оживленно хваставшего пред ним своей хозяйской властью. С этого дня Фома заметил, что команда относится к нему как-то иначе, чем относилась раньше: одни стали еще более угодливы и ласковы, другие не хотели говорить с ним, а если и говорили, то сердито и совсем не забавно, как раньше бывало. Фома любил смотреть, когда моют палубу: засучив штаны по колени, матросы, со швабрами и щетками в руках, ловко бегают по палубе, поливают ее водой из ведер, брызгают друг на друга, смеются, кричат, падают, — всюду текут струи воды, и живой шум людей сливается с ее веселым плеском. Раньше мальчик не только не мешал матросам в этой шуточной и легкой работе, но принимал деятельное участие, обливая их водой и со смехом убегая от угроз облить его. Но после расчета Петровича и Якова он чувствовал, что теперь всем мешает, никто не хочет играть с ним и все смотрят на него неласково. Удивленный и грустный, он ушел с палубы наверх, к штурвалу, сел там и стал с обидой задумчиво смотреть на синий берег и зубчатую полосу леса. А внизу, на палубе, игриво плескалась вода и матросы весело смеялись... Ему очень хотелось к ним, но что-то не пускало его туда.

«Держись от них подальше, — вспомнил он слова отца, — ты им хозяин...»

Тогда ему захотелось что-нибудь крикнуть матросам — что-нибудь грозное и хозяйское, так, как отец кричит на них. Он долго придумывал — что бы? И не придумал ничего... Прошло еще дня два, три, и он ясно понял, что команда не любит его. Скучно ему стало на пароходе, и всё чаще и чаще из разноцветного тумана новых впечатлений выплывал пред Фомой затемненный ими образ ласковой тетки Анфисы с ее сказками, улыбками и мягким смехом, от которого на душу мальчика веяло радостным теплом. Он всё еще жил в мире сказок, но безжалостная рука действительности уже ревностно рвала красивую паутину чудесного, сквозь которую

мальчик смотрел на всё вокруг него. Случай с лодманом и машинистом направил внимание мальчика на окружающее; глаза Фомы стали зорче: в них явилась сознательная пытливость, и в его вопросах отцу зазвучало стремление понять, — какие нити и пружины управляют действиями людей?

Однажды пред ним разыгралась такая сцена: матросы носили дрова, и один из них, молодой, кудрявый и веселый Ефим, проходя с носилками по палубе парохода, громко и сердито говорил:

— Нет, уж это без всякой совести! Не было у меня такого уговору, чтобы дрова таскать. Матрос — ну, стало быть, дело твое ясное!.. А чтобы еще и дрова... спасибо! Это значит — драть с меня ту шкуру, которой я не продал... Это уж без совести! Ишь ты, какой мастер соки-то из людей выжимать.

Мальчик слушал эту воркотню и знал, что дело касается его отца. Он видел, что хотя Ефим ворчит, но на носилках у него дров больше, чем у других, и ходит он быстрее. Никто из матросов не откликнулся на воркотню Ефима, и даже тот, который работал в паре с ним, молчал, иногда только протестуя против усердия, с каким Ефим накладывал дрова на носилки.

— Будет! — хмуро говорил он. — Чай, не на лошадь грузишь.

— А ты, знай, молчи! Впрягли тебя, ну и вези, не брыкайся... И ежели кровь из тебя будут сосать — тоже молчи, что ты можешь сказать?

Вдруг откуда-то явился Игнат, подошел к матросу и, став против него, сурово спросил:

— Про что говоришь?

— Говорю, стало быть, как умею... — запинаясь, ответил Ефим. — Уговора, мол, не было... чтобы молчать мне...

— А кто это кровь сосать будет? — поглаживая бороду, спросил Игнат.

Матрос, поняв, что попался и увернуться некуда, бросил из рук полено, вытер ладони о штаны и, глядя прямо в лицо Игната, смело сказал:

— А разве не правда моя? Не сосешь ты...

— Я?

— Ты.

Фома видел, как отец взмахнул рукой, — раздался какой-то лязг, и матрос тяжело упал на дрова. Он тотчас же поднялся и вновь стал молча работать... На белую кору березовых дров капала кровь из его разбитого лица, он вытирал ее рукавом рубахи, смотрел на рукав и, вздыхая, молчал. А когда он шел с носилками мимо Фомы, на лице его, у переносья, дрожали две большие мутные слезы, и мальчик видел их...

Обедая с отцом, он был задумчив и посматривал на Игната с боязнью в глазах.

— Ты что хмуришься? — ласково спросил его отец.

— Так...

— Нездоровится, может?

— Нету...

— То-то... Ты, коли что, скажи...

— Сильный ты!.. — вдруг задумчиво проговорил мальчик.

— Я-то? Ничего... Бог не обидел и силой.

— Ка-ак ты его давеча треснул! — тихо воскликнул мальчик, опуская голову.

Игнат нес ко рту кусок хлеба с икрой, но рука его остановилась, удержанная восклицанием сына; он вопросительно взглянул на его склоненную голову и спросил:

— Это — Ефимку, что ли?

— Да... до крови!.. Как шел он потом, так плакал... — вполголоса рассказывал мальчик.

— Мм... — промычал Игнат, пережевывая кусок. — Жалеешь ты его?

— Жалко! — со слезами в голосе сказал Фома.

— Н-да... Вишь ты что!.. — сказал Игнат.

Потом, помолчав, он налил рюмку водки, выпил ее и заговорил внушительно:

— Жалеть его — не за что. Зря орал, ну и получил, сколько следовало... Я его знаю: он — парень хороший, усердный, здоровый и — неглуп. А рассуждать — не его дело: рассуждать я могу, потому что я — хозяин. Это не просто, хозяином-то быть!.. От зуботычины он не помрет, а умнее будет... Так-то... Эх, Фома! Младенец

ты... ничего не понимаешь... надо учить тебя жить-то...  
Может, уж немного осталось веку моего на земле...

Игнат помолчал, еще выпил водки и снова вразумительно начал:

— Жалеть людей надо... это ты хорошо делаешь! Только — нужно с разумом жалеть... Сначала посмотри на человека, узнай, какой в нем толк, какая от него может быть польза? И ежели видишь — сильный, способный к делу человек, — пожалей, помоги ему. А ежели который слабый, к делу не склонен — плюнь на него, пройди мимо. Так и знай — который человек много жалуется на всё, да охает, да стонет — грош ему цена, не стоит он жалости, и никакой пользы ты ему не принесешь, ежели и поможешь... Только пуще киснут да балуются такие от жалости к ним... Живучи у крестного, насмотрелся ты там на разную шушеру: странники эти, приживальщики, несчастенькие... и разные гады... Об них забудь... это не люди, а так, скорлупа одна, ни на что они не годны... Это вроде как клопы, блохи и другая нечисть... И не для бога они живут — нету у них никакого бога, имя же его все призывают, чтобы дураков разжалобить да от их жалости чем-нибудь пузо себе набить. Для пуза своего живут они и, кроме как — пить, жрать, спать да стонать, — ничего не умеют делать... От них — один развал души. Только запинаешься за них. И хороший человек среди них — как свежее яблоко среди гнилых — испортиться может... Мал ты, вот что, — не можешь ты понимать моих слов... Ты тому помогай, который в беде стоек... он, может, и не попросит у тебя помощи твоей, так ты сам догадайся да помоги ему без его спроса... Да который гордый и может обидеться на помощь твою — ты виду ему не подавай, что помогаешь... Вот как надо, по разуму-то! Тут — такое дело: упали, скажем, две доски в грязь — одна гнилая, а другая — хорошая, здоровая доска. Что ты должен сделать? В гнилой доске — какой прок? Ты оставь ее, пускай в грязи лежит, по ней пройти можно, чтобы ног не замарать... А здоровую — подними и поставь на солнце, она — не тебе, так другому — на что-нибудь годится. Так-то, сынок! Слушай меня да помни... А Ефимку жалеть не за что, — он парень дельный, цену себе понимает... Из него



плюхой душу не вышибешь... Вот я посмотрю недельку время да к штурвалу его поставлю... А там, гляди, лоцманом будет... И ежели капитаном его сделать — ловкий будет капитан! Вот как люди-то растут... Я, брат, сам эту науку проходил, — тоже немало плюх съел в его-то годы... Нам, сынок, всем жизнь-то — не мать родная, — наша строгая хозяйка она...

Часа два говорил Игнат сыну о своей молодости, о трудах своих, о людях и страшной силе их слабости, о том, как они любят и умеют притворяться несчастными для того, чтобы жить на счет других, и снова о себе, — о том, как из простого работника он сделался хозяином большого дела.

Мальчик слушал его речь, смотрел на него и чувствовал, что отец как будто всё ближе подвигается к нему. И хоть не звучало в рассказе отца того, чем были богаты сказки тетки Анфисы, но зато было в них что-то новое — более ясное и понятное, чем в сказках, и не менее интересное. В маленьком сердце забилось что-то сильное и горячее, и его потянуло к отцу. Игнат, должно быть, по глазам сына отгадал его чувства: он порывисто встал с места, схватил его на руки и крепко прижал к груди. А Фома обнял его за шею и, прижавшись щекой к его щеке, молчал, дыша ускоренно.

— Сынишка!.. — глухо шептал Игнат. — Милый ты мой... радость ты моя!.. Учись, пока я жив... Э-эх, трудно жить!

Дрогнуло сердце ребенка от этого шёпота, он стиснул зубы, и горячие слезы брызнули из его глаз...

Пароход шел назад, вверх по Волге. Душной июльской ночью, когда небо было покрыто густыми черными тучами и всё на реке было зловеще спокойно, — приплыли в Казань и встали около Услона в хвосте огромного каравана судов. Лязг якорных цепей и крики команды разбудили Фому; он посмотрел в окно и увидал: далеко, во тьме, сверкали маленькие огоньки; вода была черна и густа, как масло, — и больше ничего не видать. Сердце мальчика жутко вздрогнуло, и он стал внимательно слушать. Откуда-то долетала еле слышная жалобная песня, унывая, как причитание; на караване перекликались сторожа, сердито шипел пароход, разводя пары... Чер-

ная вода реки грустно и тихо плескалась о борта судов. Всматриваясь во тьму пристально, до боли в глазах, мальчик различал в ней черные груды и огоньки, еле горевшие высоко над ними... Он знал, что это были баржи, но знание не успокаивало его, сердце билось неровно, а в воображении вставали какие-то пугающие темные образы.

— О-о... о!..— донесся издали протяжный крик и закончился похоже на рыдание... Вот кто-то прошел по палубе к борту парохода...

— О-о-о...— раздалось опять, но уже где-то ближе...

— Яфим!— вполголоса заговорили на палубе.— Чёрт! Вставай! Бери багор...

— О-о-о!..—застонали где-то близко, и Фома, вздрогнув, откачнулся от окна.

Станный звук подплывал всё ближе и рос в своей силе, рыдал и таял в черной тьме. А на палубе тревожно шептали:

— Яфимка! Да встань — гость плывет!

— Де?— раздался торопливый вопрос... По палубе зашлепали босые ноги, послышалась возня, мимо лица мальчика сверху скользнули два багра и почти бесшумно вонзились в густую воду...

— Го-о-о-сть!— зарыдали где-то близко, и раздался тихий, странный плеск воды.

Мальчик дрожал от ужаса пред этим грустным криком, но не мог оторвать своих рук от окна и глаз от воды.

— Зажги фонарь... не видать ничего!..

И вот на воду упало пятно мутного света... Фома видел, что вода тихо колышется, рябь идет по ней, точно ей больно и она вздрагивает от боли.

— Гляди... гляди!..— испуганно зашептали на палубе.

В то же время в пятне света на воде явилось большое, страшное человеческое лицо с белыми оскаленными зубами. Оно плыло и покачивалось на воде, зубы его смотрели прямо на Фому, и точно оно, улыбаясь, говорило: «Эх, мальчик, мальчик... хо-олодно!..»

Багры дрогнули, поднялись в воздухе, потом снова опустились в воду.

— Пихай его... веди!.. Смотри — подбьет в колесо...

Багры скользили по борту и царапались об него со звуком, похожим на скрип зубов. Шлепанье ног о палубу постепенно удалялось на корму... И вот там вновь раздался стонущий зауспокойно возглас:

— Го-о-ость...

— Тятя! — закричал Фома. — Тя-ятя...

Отец вскочил на ноги и бросился к нему.

— Что там? Что они делают? — кричал Фома.

Огромными прыжками Игнат выскочил вон из каюты с диким ревом. Он возвратился скоро, раньше, чем Фома, качаясь на ногах и оглядываясь вокруг себя, добрался от окна до отцовской постели.

— Испугали тебя, — ну, ничего! — говорил Игнат, взяв его на руки. — Ложись-ка со мной...

— Что это? — тихо спрашивал Фома.

— Это, сынок, ничего... Это — утопший... Утонул человек и плывет... Ничего! Ты не бойся, он уже уплыл...

— Зачем они толкали его? — допрашивал мальчик, крепко прижавшись к отцу и закрыв глаза от страха...

— А — так уж надо... Подобьет его вода в колесо... нам, к примеру... завтра увидит полиция... возня пойдет, допросы... задержат нас. Вот его и провожают дальше... Ему что? Он уж мертвый... ему это не больно, не обидно... а живым из-за него беспокойство было бы... Спи, сынок!..

— Так он и поплывет?

— Так и поплывет... Где-нибудь вынут — схоронят...

— А рыба его съест?

— Рыба не ест человеческое тело... Раки едят...

Страх Фомы таял, но пред глазами его всё еще покачивалось на черной воде страшное лицо с оскаленными зубами.

— А он кто?

— Бог его знает! Ты скажи о нем богу: господи, мол, упокой душу его!

— Господи, упокой душу его! — шёпотом повторил Фома.

— Ну, вот... И спи, не бойся!.. Он уж теперь далеко-о! Плывет себе... Вот — не подходи неосторожно к борту-то, — упадешь этак — спаси бог! — в воду и...

— А он тоже упал?

— Известно, упал... Может, пьян был... А может, сам бросился... Есть и такие, которые сами... Возьмет да и бросится в воду... И утонет... Жизнь-то, брат, так устроена, что иная смерть для самого человека — праздник, а иная — для всех благодать!

— Тятя...

— Спи, родной...

### III

В первый же день школьной жизни Фома, ошеломленный живым и бодрым шумом задорных шалостей и буйных детских игр, выделил из среды мальчиков двух, которые сразу показались ему интереснее других. Один сидел впереди его. Фома, поглядывая исподлобья, видел широкую спину, полную шею, усеянную веснушками, большие уши и гладко остриженный затылок, покрытый ярко-рыжими волосами.

Когда учитель, человек с лысой головой и отвислой нижней губой, позвал: «Смолин, Африкан!» — рыжий мальчик, не торопясь, поднялся на ноги, подошел к учителю, спокойно уставился в лицо ему и, выслушав задачу, стал тщательно выписывать мелом на доске большие круглые цифры.

— Хорошо, — довольно! — сказал учитель. — Ежов, Николай, — продолжай!

Один из соседей Фомы по парте, — непоседливый маленький мальчик с черными мышинными глазками, — вскочил с места и пошел между парт, за всё задевая, вертя головой во все стороны. У доски он схватил мел и, привстав на носки сапог, с шумом, скрипя и соря мелом, стал тыкать им в доску, набрасывая на нее мелкие, неясные знаки.

— Ти-ше, — сказал учитель, болезненно сморщив желтое лицо с усталыми глазами. А Ежов звонко и быстро говорил:

— Теперь мы узнали, что первый разносчик получил барыша семнадцать копеек...

— Довольно!.. Гордеев! Что нужно сделать, чтобы узнать, сколько барыша получил второй разносчик?

Наблюдая за поведением мальчиков, — так непохожих друг на друга, — Фома был захвачен вопросом врасплох и — молчал.

— Не знаешь?.. Объясни ему, Смолин...

Смолин, аккуратно вытиравший тряпкой пальцы, испачканные мелом, положил тряпку, не взглянув на Фому, окончил задачу и снова стал вытирать руки, а Ежов, улыбаясь и подпрыгивая на ходу, отправился на свое место.

— Эх ты! — зашептал он, усаживаясь рядом с Фомой и уж кстати толкая его кулаком в бок. — Чего не можешь! Всего-то барыша сколько? тридцать копеек... а разносчиков—двое... один получил семнадцать — ну, сколько другой?

— Знаю я, — шёпотом ответил Фома, чувствуя себя сконфуженным и рассматривая лицо Смолина, постепенно возвращавшегося на свое место. Ему не понравилось это лицо — круглое, пестрое от веснушек, с голубыми глазами, заплывшими жиром. А Ежов больно щипал ему щёгу и спрашивал:

— Ты чей сын — Шалого?

— Да...

— Ишь... Хочешь, я тебе всегда подсказывать буду?

— Хочу...

— А что дашь за это?

Фома подумал и спросил:

— А ты знаешь сам-то?

— Я? Я — первый ученик...

— Вы, там! Ежов — опять ты разговариваешь? — крикнул учитель.

Ежов вскочил на ноги и бойко сказал:

— Это не я, Иван Андреич, — это Гордеев!

— Оба они шепчутся, — невозмутимо объявил Смолин.

Жалобно сморщив лицо и сменю шлепая своей большой губой, учитель пожурил всех их, но его выговор не помешал Ежову тотчас же снова зашептать:

— Ладно, Смолин! Я тебе припомню за ябеду...

— А ты зачем сваливаешь на новенького? — не поворачивая к ним головы, тихо спрашивал Смолин.

— Ладно, ладно! — шипел Ежов.

Фома молчал, искоса поглядывая на юркого соседа, который одновременно и нравился ему и возбуждал в нем желание отодвинуться от него подальше. Во время перемены он узнал от Ежова, что Смолин — тоже богатый, сын кожевенного заводчика, а сам Ежов — сын сторожа из казенной палаты, бедняк. Это было ясно по костюму бойкого мальчика, сшитому из серой бумазеи, украшенному заплатами на коленях и локтях, по его бледному, голодному лицу, по всей маленькой, угловатой и костлявой фигуре. Говорил Ежов металлическим альтом, поясняя свою речь гримасами и жестами, и часто употреблял в речи свои слова, значение которых было известно только ему одному.

— Мы с тобой будем товарищи, — объявил он Фоме.

— А ты зачем давеча учителю на меня пожаловался? — напомнил ему Гордеев, подозрительно косясь на него.

— Вот! Что тебе? Ты новенький и богатый, — с богатых учитель-то не взыскивает... А я — бедный объедон, меня он не любит, потому что я озорничаю и никакого подарка не приносил ему... Кабы я плохо учился — он бы давно уж выключил меня. Ты знаешь — я отсюда в гимназию уйду... Кончу второй класс и уйду... Меня уж тут один студент приготавливает... Там я так буду учиться — только держись! А у вас лошадей сколько?

— Три... Зачем тебе много учиться? — спросил Фома.

— Потому что — я бедный... Бедным нужно много учиться, от этого они тоже богатыми станут, — в доктора пойдут, в чиновники, в офицеры... Я тоже буду звякарем... сабля на боку, шпоры на ногах — дрын, дрын! А ты чем будешь?

— Н-не знаю!.. — задумчиво сказал Фома, разглядывая товарища.

— Тебе ничем не надо быть... А голубей ты любишь?

— Люблю...

— Какой ты фуфлыга! У-у! О-о! — передразнивал Ежов медленную речь Фомы. — Сколько у тебя голубей?

— У меня нет...

— Эх ты! Богатый, а не завел голубей... У меня и то три есть, — скобарь один, да голубка пегая, да турман... Кабы у меня отец был богатый, — я бы сто голубей завел

и всё бы гонял целый день. И у Смолина есть голуби — хорошие! Четырнадцать, — турмана-то он мне подарил. Только — все-таки он жадный... Все богатые — жадные! А ты — тоже жадный?

— Н...не знаю, — нерешительно сказал Фома.

— Ты приходи к Смолину, вместе все трое и будем гонять...

— Ладно... ежели меня пустят...

— Разве отец-то не любит тебя?

— Любит.

— Ну, так пустит... Только ты не говори, что и я тоже пойду, — со мной, пожалуй, и взаправду не пустит... Ты скажи — к Смолину, мол, пустите... Смолин!

Подошел толстый мальчик, и Ежов приветствовал его, укоризненно покачивая головой:

— Эх ты, рыжий ябедник! Не стоит с тобой и дружить, — булыжник!

— Что ты ругаешься? — спокойно спросил Смолин, разглядывая Фому неподвижными глазами.

— Я не ругаюсь, а правду говорю, — пояснил Ежов, весь подергиваясь от оживления. — Слушай! Хотя ты и кисель, да — ладно уж! В воскресенье после обедни я с ним приду к тебе...

— Приходите, — кивнул головой Смолин.

— Придем... Скоро уж звонок, побегу чижа продавать, — объявил Ежов, вытаскивая из кармана штанишек бумажный пакетик, в котором билось что-то живое. И он исчез со двора училища, как ртуть с ладони.

— Ка-акой он! — сказал Фома, пораженный живостью Ежова и вопросительно глядя на Смолина.

— Ловкий, — пояснил рыжий мальчик.

— И веселый, — добавил Фома.

— И веселый, — согласился Смолин. Потом они помолчали, оглядывая друг друга.

— Придешь ко мне с ним? — спросил рыжий.

— Приду...

— Приходи... У меня хорошо...

Фома ничего не сказал на это. Тогда Смолин спросил его:

— У тебя много товарищей?

— Никого нет...

— У меня тоже до училища никого не было... только братья двоюродные... Вот теперь у тебя будут сразу двое товарищей...

— Да, — сказал Фома.

— Когда есть много товарищей — это весело... И учиться легче — подсказывают...

— А ты хорошо учишься?

— Я — всё хорошо делаю, — спокойно сказал Смолин.

Задрезжал звонок, точно испуганный и торопливо побежавший куда-то...

Сидя в школе, Фома почувствовал себя свободнее и стал сравнивать своих товарищей с другими мальчиками. Вскоре он нашел, что оба они — самые лучшие в школе и первыми бросаются в глаза, так же резко, как эти две цифры 5 и 7, не стертые с черной классной доски. И Фоме стало приятно оттого, что его товарищи лучше всех остальных мальчиков.

Из школы они трое пошли вместе, но Ежов скоро свернул в какой-то узкий переулок, Смолин же шел с Фомой вплоть до его дома и, прощаясь, сказал:

— Вот видишь — и ходить нам вместе!

Дома Фому встретили торжественно: отец подарил мальчику тяжелую серебряную ложку с затейливым вензелем, а тетка — шарф своего вязанья. Его ждали обедать, приготовили любимые им блюда и тотчас же, как только он разделся, усадили за стол и стали расспрашивать.

— Ну что, понравилось в училище? — спрашивал Игнат, с любовью глядя на румяное и оживленное лицо сына.

— Ничего... Славно! — отвечал Фома.

— Милый ты мой! — умиленно вздохнула тетка. — Ты, смотри, товарищам-то не поддавайся... Чуть они чем обидят тебя, ты сейчас учителю и скажи про них...

— Ну, слушай ее! — усмехнулся Игнат. — Этого не делай никогда! Сам со всяким обидчиком старайся управиться, своей рукой накажи! Ребятишки-то хорошие?

— Да, — Фома улыбнулся, вспоминая об Ежове. — Один такой бойкий — беда!

— Чей таков?



— Сторожа сын...

— Боек, говоришь?

— Страсть!

— Ну — бог с ним! А другой?

— А другой — ры-ижий весь... Смолин...

— А! Митрия Иваныча сын, видно... Этого держись, компания хорошая... Митрий — умный мужик... коли сын в него — это ладно! Вот другой-то... Ты, Фома, вот что: ты пригласи-ка их в воскресенье в гости к себе. Я куплю гостинцев, угощать ты их будешь... Поглядим, какие они...

— В воскресенье-то Смолин меня к себе зовет, — объявил Фома, вопросительно взглянув на отца.

— Ишь ты... Ну, поди! Это ничего, поди... Присматривайся, какие есть люди на земле... Один, без дружбы, не проживешь... Вот я с твоим крестным двадцать лет с лишком дружу — многим от ума его попользовался. Так и ты, — старайся дружить с теми, которые лучше, умнее тебя... Около хорошего человека потрешься — как медная копейка о серебро — и сам за двугривенный сойдешь... — И, смеясь своему сравнению, Игнат добавил: — Это — шучу я. Старайся не поддельным, а настоящим быть... Ум имей хоть маленький, да свой... Что, уроков-то много задали тебе?

— Много! — вздохнул мальчик, и вздоху его откликнулась тяжелым вздохом тетка...

— Ну — учи! Хуже других в науке не будь. Хоша скажу тебе вот что: в училище, — хоть двадцать пять классов в нем будь, — ничему, кроме как писать, читать да считать, — не научат. Глупостям разным можно еще научиться, — но не дай тебе бог! Запорю, ежели что... Табак курить будешь, губы отрежу...

— Бога помни, Фомушка, — сказала тетка. — Господа нашего, смотри, не забудь...

— Это верно! Бога и родителя — чти! Но я про то хочу сказать, что книги-то учебные — дело еще малое... Нужны они тебе, как плотнику топор да рубанок; они — инструмент, а тому, как в дело его употребить, — инструмент не научит. Понял?.. Скажем так: дан плотнику в руки топор и должен он им обтесать бревно... Рук да топора тут мало, надо еще уметь ударить по дереву, а не

по ноге себе... Выходит, что одних книг мало: надо еще уменье пользоваться ими... Вот это уменье и есть то самое, что будет хитрее всяких книг, а в книгах о нем ничего не написано... Этому, Фома, надо учиться от самой от жизни. Книга — она вещь мертвая, ее как хочешь бери, рви, ломай — она не закричит... А жизнь, чуть ты по ней неверно шагнул, неправильно место в ней себе занял, — тысячью голосов заорет на тебя, да еще и ударит, с ног собьет.

Фома, облокотясь на стол, внимательно слушал отца и, под сильные звуки его голоса, представлял себе то плотника, обтесывающего бревно, то себя самого: осторожно, с протянутыми вперед руками, по зыбкой почве он подкрадывается к чему-то огромному и живому и желает схватить это страшное что-то...

— Человек должен себя беречь для своего дела и путь к своему делу твердо знать... Человек, брат, тот же лоцман на судне... В молодости, как в половодье, — иди прямо! Везде тебе дорога... Но — знай время, когда и за правож взяться надо... Вода сбыла, — там, гляди, мель, там карча, там камень; всё это надо усчитать и вовремя обойти, чтобы к пристани доплыть целому...

— Я доплыву! — сказал мальчик, уверенно и гордо глядя на отца.

— Ну? Храбро говоришь! — Игнат засмеялся. И тетка тоже ласково засмеялась.

Со времени поездки с отцом по Волге Фома стал более бойким и разговорчивым с отцом, теткой, Маякиным. Но на улице или где-нибудь в новом для него месте, при чужих людях, он хмурился и посматривал вокруг себя подозрительно и недоверчиво, точно всюду чувствовал что-то враждебное ему, скрытое от него и подстерегающее.

Ночами иногда он вдруг просыпался и подолгу прислушивался к тишине вокруг, пристально рассматривая тьму широко раскрытыми глазами. Пред ним претворялись в образы и картины рассказы отца. Он незаметно для себя путал их со сказками тетки и создавал хаос событий, в котором яркие краски фантазии причудливо переплетались с суровыми тонами действительности. Получалось что-то огромное, непонятное; мальчик

закрывал глаза, гнал от себя всё это и хотел бы остановить игру воображения, пугавшую его. Но он безуспешно пытался уснуть, а комната всё теснее наполнялась темными образами. Тогда он тихо будил тетку:

— Тетя... А тетя...

— Что? Христос с тобой...

— Я приду к тебе,— шептал Фома.

— Пошто? Спи-ка, милуша моя... спи...

— Я боюсь!— сознавался мальчик.

— А ты прочитай про себя «Да воскреснет бог» и перестанешь бояться-то.

Фома лежит с закрытыми глазами и читает молитву. Тишина ночи рисуется пред ним в виде бескрайнего пространства темной воды, она совершенно неподвижна,— разлилась всюду и застыла, нет ни ряби на ней, ни тени движения, и в ней тоже нет ничего, хотя она бездонно глубока. Очень страшно смотреть одному откуда-то сверху, из тьмы, на эту мертвую воду... Но вот раздается звук колотушки ночного сторожа, и мальчик видит, что поверхность воды вздрагивает, по ней, покрывая ее рябью, скачут круглые светлые шарики... Удар в колокол на колокольне заставляет всю воду всколыхнуться одним могучим движением, и она долго плавно колышется от этого удара, колышется и большое светлое пятно, освещает ее, расширяется от ее центра куда-то в темную даль и бледнеет, тает. Снова тоскливый и мертвый покой в этой темной пустыне...

— Тетя...— умоляюще шепчет Фома.

— Асиньки?

— Я к тебе приду...

— Да иди, иди, роднуша моя...

Перебравшись на постель к тетке, он жметя к ней и просит:

— Расскажи что-нибудь...

— Ночью-то?— сонно протестует тетка.

— Пожа-алуйста...

Ее не приходится долго просить. Позевывая, осипшим от сна голосом, старуха, закрыв глаза, размеренно говорит:

— И вот, сударь ты мой, в некотором царстве, в некотором государстве жили-были муж да жена, и были

они бедные-пребедные!.. Уж такие-то разнесчастные, что и есть-то им было нечего. Походят это они по миру, дадут им где черствую, заваливающую корочку, — тем они день и сыты. И вот родилось у них дитё... родилось дитё — крестить надо, а как они бедные, угостить им кумов да гостей нечем, — не идет к ним никто крестить! Они и так, они и сяк, — нет никого!.. И взмолились они тогда ко господу: «Господи! Господи!..»

Фома знает эту страшную сказку о крестнике бога, не раз он слышал ее и уже заранее рисует пред собой этого крестника: вот он едет на белом коне к своим крестным отцу и матери, едет во тьме, по пустыне, и видит в ней все нестерпимые муки, коим осуждены грешники... И слышит он тихие стоны и просьбы их:

«О-о-о! Человече! Спроси у господа, долго ли еще мучиться нам?»

Тогда мальчику кажется, что это он сам едет в ночи на белом коне, к нему обращены стоны и моления. Сердце его сжимается, слезы выступают на глазах, он крепко их закрыл и боится открыть, беспокойно возясь в постели...

— Спи, дитяtko мое, Христос с тобой! — говорит старуха, прерывая свою повесть о муках людей.

Утром после такой ночи Фома вставал, торопливо мылся, наскоро пил чай и бежал в училище, снабженный сдобными и сладкими пирожками, — их там ждал всегда голодный Ежов, питавшийся от щедрот своего богатого товарища.

— Припер пожрать? — встречал он Фому, поводя своим острым носом. — Давай, а то я ушел из дому без ничего... Проспал, чёрт е деря, — до двух часов ночи всё учился... Ты задачи сделал?

— Не сделал.

— Эх ты, карамара! Ну, я их тебе сейчас раскатаю!

Впиваясь в пирог мелкими, острыми зубами, он мурлыкал, как котенок, притопывал в такт левой ногой и в то же время решал задачу, бросая Фоме короткие фразы:

— Видал? В час вытекло восемь ведер... а сколько часов текло — шесть? Эх, сладко вы едите!.. Шесть, стало быть, надо помножить на восемь... А ты любишь пи-

роги с зеленым луком? Я — страсть как! Ну вот, из первого крана в шесть часов вытекло сорок восемь... а всего налили в чан девяносто... дальше-то понимаешь?

Ежов нравился Фоме больше, чем Смолин, но со Смолиным Фома жил дружнее. Он удивлялся способностям и живости маленького человека, видел, что Ежов умнее его, завидовал ему и обижался на него за это и в то же время жалел его снисходительной жалостью сытого к голодному. Может быть, именно эта жалость больше всего другого мешала ему отдать предпочтение живому мальчику перед скучным рыжим Смолиным. Ежов, любя посмеяться над сытыми товарищами, часто говорил им:

— Эх вы, чемоданчики с пирожками!..

Фома сердился на него за насмешки и однажды, задевший за сердце, презрительно и зло сказал:

— А ты — попрошайка, нищий!

Желтое лицо Ежова покрылось пятнами, и он медленно ответил:

— Ладно, пускай!.. А вот я не буду подсказывать тебе — и станешь ты бревном!

Дня три они не разговаривали друг с другом, к огорчению учителя, который должен был в эти дни ставить единицы и двойки сыну всеми уважаемого Игната Гордеева.

Ежов знал всё: он рассказывал в училище, что у прокурора родила горничная, а прокуророва жена облила за это мужа горячим кофе; он мог сказать, когда и где лучше ловить ершей, умел делать западни и клетки для птиц; подробно сообщал, отчего и как повесился солдат в казарме, на чердаке, от кого из родителей учеников учитель получил сегодня подарок и какой именно подарок.

Круг интересов и знаний Смолина ограничивался бытом купеческим, рыжий мальчик любил определять, кто кого богаче, взвешивая и оценивая их дома, суда, лошадей. Всё это он знал подробно, говорил об этом с увлечением.

К Ежову он относился так же снисходительно, как и Фома, но более дружески и ровно. Каждый раз, когда Гордеев ссорился с Ежовым, он стремился примирить их, а как-то раз, идя домой из школы, сказал Фоме:

— Зачем ты всё ругаешься с Ежовым?

— А что он больно зазнается? — сердито ответил Фома.

— То и зазнается, что ты учишься плохо, а он всегда помогает тебе... Он — умный... А что бедный — так разве в этом он виноват? Он может выучиться всему, чему захочет, и тоже будет богат...

— Комар он какой-то, — пренебрежительно сказал Фома, — пищит, пищит да вдруг и укусит!

Но в жизни мальчиков было нечто объединявшее всех их, были часы, в течение которых они утрачивали сознание разницы характеров и положения. По воскресеньям они все трое собирались у Смолина и, взлезая на крышу флигеля, где была устроена обширная голубятня, — выпускали голубей.

Красивые сытые птицы, встряхивая белоснежными крыльями, одна за другой вылетали из голубятни, в ряд усаживались на коньке крыши и, освещенные солнцем, воркуя, красовались перед мальчиками.

— Шугай! — просил Ежов, вздрагивая от нетерпения.

Смолин взмахивал в воздухе длинным шестом с молотом на конце и свистал.

Испуганные голуби бросались в воздух, наполняя его торопливым шумом крыльев. И вот они плавно, описывая широкие круги, вздымаются вверх, в голубую глубину неба, плывут, сверкая серебром и снегом оперения, всё выше. Одни из них стремятся достичь до купола небес плавным полетом сокола, широко распростирая крылья и как бы не двигая ими, другие — играют, кувыркаются в воздухе, снежным комом падают вниз и снова, стрелою, летят в высоту. Вот вся стая их кажется неподвижно стоящей в пустыне неба и, всё уменьшаясь, тонет в ней. Закинув головы, мальчики молча любят птицами, не отрывая глаз от них, — усталых глаз, сияющих тихой радостью, не чуждой завистливого чувства к этим крылатым существам, так свободно улетевшим от земли в чистую, тихую область, полную солнечного блеска. Маленькая группа едва заметных глазу точек, вкрапленная в синеву неба, влечет за собой воображение детей, и Ежов определяет общее всем чувство, когда тихо и задумчиво говорит:

— Нам бы, братцы, так полетать...

Объединенные восторгом, молчаливо и внимательно ожидающие возвращения из глубины неба птиц, мальчики, плотно прижавшись друг к другу, далеко, — как их голуби от земли, — ушли от веяния жизни; в этот час они просто — дети, не могут ни завидовать, ни сердиться; чуждые всему, они близки друг к другу, без слов, по блеску глаз, понимают свое чувство, и — хорошо им, как птицам в небе.

Но вот голуби опустились на крышу, утомленные полетом, загнаны в голубятню.

— Братцы! Айда за яблоками?! — предлагает Ежов, вдохновитель всех игр и походов.

Его зов изгоняет из детских душ навеянное голубями мирное настроение, и вот они осторожно, походкой хищников, с хищной чуткостью ко всякому звуку, крадутся по задворкам в соседний сад. Страх быть пойманным умеряется надеждой безнаказанно украсть. Воровство есть тоже труд и труд опасный, всё же заработанное трудом — так сладко!.. И тем слаще, чем большим количеством усилий взято... Мальчики осторожно перелезают через забор сада и, согнувшись, ползут к яблоням, зорко и пугливо оглядываясь. От каждого шороха сердца их дрожат и замедляют биение. Они с одинаковой силой боятся и того, что их поймают, и того, что, заметив, — узнают, кто они; но если их только заметят и закричат на них — они будут довольны. От крика они разлетятся в стороны и исчезнут, а потом, собравшись вместе, с горящими восторгом и удалью глазами, они со смехом будут рассказывать друг другу о том, что чувствовали, услышав крик и погоню за ними, и что случилось с ними, когда они бежали по саду так быстро, точно земля горела под ногами.

В подобные разбойничьи набеги Фома вкладывал сердца больше, чем во все другие походы и игры, — и вел он себя в набегах с храбростью, которая поражала и сердила его товарищей. В чужих садах он держал себя намеренно неосторожно: говорил во весь голос, с треском ломал сучья яблонь, сорвав червивое яблоко, швырял его куда-нибудь по направлению к дому садовладельца. Опасность быть застигнутым на месте преступле-

ния не пугала, а лишь возбуждала его — глаза у него темнели, он стискивал зубы, лицо его становилось гордым и злым. Смолин говорил ему, скашивая свой большой рот:

— Очень уж ты форсишь...

— Я не трус! — отвечал Фома.

— Знаю я, что не трус, а только форсят одни дураки... Можно и без форсу не хуже дело делать...

Ежов осуждал его с иной точки зрения:

— Если ты будешь сам в руки соваться — поди к чёрту! Я тебе не товарищ... Тебя поймают да к отцу отведут — он тебе ничего не сделает, а меня, брат, так ремнем отхлещут — все мои косточки облупятся...

— Трус! — упрямо твердил Фома.

И вот однажды Фома был пойман руками штабс-капитана Чумакова, маленького и худенького старика. Неслышно подкравшись к мальчику, укладывавшему сорванные яблоки за пазуху рубахи, старик вцепился ему в плечи и грозно закричал:

— Попался, разбойник! Ага-а!

Фоме в то время было около пятнадцати лет, он ловко вывернулся из рук старика. Но не побежал от него, а, нахмутив брови и сжав кулаки, с угрозой произнес:

— Попробуй... тронь!..

— Я тебя не трону — я тебя в полицию сведу! Ты чей?

Этого Фома не ожидал, и у него сразу пропала вся храбрость и злоба. Путешествие в полицию показалось чем-то таким, чего отец никогда не простит ему. Он вздрогнул и смущенно объявил:

— Гордеев...

— И... Игната Матвейча?..

— Да...

Теперь смутился штабс-капитан. Он выпрямился, выпятил грудь вперед и зачем-то внушительно крикнул. Потом плечи его опустились, и отечески вразумительно он сказал мальчику:

— Стыдно-с! Наследник такого именитого и уважаемого лица... Недостойно-с вашего положения... Можете идти... Но если еще раз повторится происшедшее... принужден буду сообщить вашему батюшке... которому,



между прочим, имею честь свидетельствовать мое почтение!..

Фома, наблюдая за игрой физиономии старика, понял, что он боится отца. Исподлобья, как волчонок, он смотрел на Чумакова; а тот со смешной важностью крутил седые усы и переминался с ноги на ногу перед мальчиком, который не уходил, несмотря на данное ему разрешение.

— Можете идти,— повторил старик и указал рукой дорогу к своему дому.

— А в полицию?— угрюмо спросил Фома и тотчас же испугался возможного ответа.

— Это я — пошутил!— улыбнулся старик.— Напугать вас хотел...

— Вы сами боитесь моего отца...— сказал Фома и, повернувшись спиной к старику, пошел в глубь сада.

— Боюсь? А-а! Хорошо-с!— крикнул Чумаков вслед ему, и по звуку голоса Фома понял, что обидел старика. Ему стало стыдно и грустно; до вечера он прогулял один, а придя домой, был встречен суровым вопросом отца:

— Фомка! Ты к Чумакову в сад лазил?

— Лазил,— спокойно сказал мальчик, глядя в глаза отцу.

Игнат, должно быть, не ждал такого ответа и несколько секунд молчал, поглаживая бороду.

— Дурак! Зачем ты это? Мало, что ли, тебе своих яблоков?

Фома опустил глаза и молчал, стоя против отца.

— Вишь — стыдно стало! Поди-ка, Ежишка этот подбил? Я вот его проберу, когда придет... а то и совсем прекращу дружбу-то вашу...

— Это я сам,— твердо сказал Фома.

— Час от часу не легче!— воскликнул Игнат.— Да зачем тебе?

— Так...

— Квак!— передразнил отец.— А ты уж, коли что делаешь, так умей объяснить это и себе и людям... Подь сюда!

Фома подошел к отцу, сидевшему на стуле, и стал между колен у него, а Игнат положил ему руки на плечи и, усмехаясь, заглянул в его глаза.

— Стыдно?..

— Стыдно!..— вздохнув, сказал Фома.

— Вот то-то, дурень! Позоришь и себя и меня...

Прижав к груди своей голову сына, он погладил его волосы и снова спросил:

— На что это нужно — яблоки чужие воровать?

— Да — я не знаю!— сказал Фома смущенно.— Играешь, играешь... всё одно и то же... надоест! А это...

— За сердце берет?— спросил отец, усмехаясь.

— Берет...

— Мм... пожалуй, так!.. Но однако ты, Фома,— брось это! Не то я с тобой круто обойдусь...

— Никогда я больше никуда не полезу,— уверенно сказал мальчик.

— А что ты сам за себя отвечаешь — это хорошо. Там господь знает, что выйдет из тебя, а пока... ничего! Дело не малое, ежели человек за свои поступки сам платить хочет, своей шкурой... Другой бы, на твоём месте, сослался на товарищей, а ты говоришь — я сам... Так и надо, Фома!.. Ты в грехе, ты и в ответе... Что,— Чумаков-то... не того... не ударил тебя?— с расстановкой спросил Игнат сына.

— Я бы ему ударил!— спокойно объявил Фома.

— Мм...— промычал его отец.

— Я сказал ему, что он тебя боится... вот он почему пожаловался... А то он не хотел идти-то к тебе...

— Ну?

— Ей-богу! Почтение, говорит, отцу передайте...

— Это он?

— Да...

— Ах... пес! Вот, гляди, каковы есть люди: его грабят, а он клапается — мое вам почтение! Положим, взяли-то у него, может, на копейку, да ведь эта копейка ему — как мне рубль... И не в копейке дело, а в том, что моя она и никто не смей ее тронуть, ежели я сам не брошу... Эх! Ну их! Ну-ка говори — где был, что видел?

Мальчик сел рядом с отцом и подробно рассказал ему впечатления дня. Игнат слушал, внимательно разглядывая оживленное лицо сына, и брови большого человека задумчиво сдвигались.

— А в овраге спугнули мы сову, — рассказывал мальчик. — Вот потеха-то была! Полетела это она да с разлету о дерево — трах! даже запищала, жалобно таково... А мы ее опять спугнули, она опять поднялась и всё так же — полетит, полетит да на что-нибудь и наткнется, — так от нее перья и сыплются!.. Уж она трепалась, трепалась по оврагу-то... насилу где-то спряталась... Мы и искать не стали, жаль стало, избилась вся... Она, тятя, совсем слепая днем-то?

— Слепая, — сказал Игнат. — Иной человек вот так же, как сова днем, мечется в жизни... Ищет, ищет своего места, бьется, бьется, — только перья летят от него, а всё толку нет... Изобьется, изболеет, обливает весь, да с размаха и ткнется куда попало, лишь бы отдохнуть от маеты своей... Эх, беда таким людям — беда, брат!

— А отчего они так?

— Отчего?.. Трудно это сказать... Иной — оттого, что отемнен своей гордыней, — хочет многого, а силенку имеет слабую... иной — от глупости своей... да мало ли отчего?..

Так, день за днем, медленно разворачивалась жизнь Фомы, в общем — небогатая волнениями, мирная, тихая жизнь. Сильные впечатления, возбуждая на час душу мальчика, иногда очень резко выступали на общем фоне этой однообразной жизни, но скоро изглаживались. Еще тихим озером была душа мальчика, — озером, скрытым от бурных веяний жизни, и всё, что касалось поверхности озера, или падало на дно, ненадолго взволновав сонную воду, или, скользя по глади ее, расплывалось широкими кругами, исчезало.

Просидев в уездном училище пять лет, Фома, с грехом пополам, окончил четыре класса и вышел из него бравым черноволосым парнем, со смуглым лицом, густыми бровями и темным пухом над верхней губой. Большие темные глаза его смотрели задумчиво и наивно, и губы были по-детски полуоткрыты; но, когда он встречал противоречие своему желанию или что-нибудь другое раздражало его, — зрачки расширялись, губы складывались плотно, и всё лицо принимало выражение упрямое, решительное... Крестный, скептически усмехаясь, говорил про него:

— Для баб ты, Фома, слаще меда будешь... но пока большого разума в тебе не видать...

Игнат вздыхал при этих словах.

— Ты бы, кум, скорее пускал в оборот сына-то...

— А вот погоди...

— Чего годить? Лета два, три повертится на Волге, да и под венец его... Вон Любовь-то какая у меня...

Любовь Маякина в эту пору училась в пятом классе какого-то пансиона. Фома часто встречал ее на улице, причем она всегда снисходительно кивала ему русой головкой в щегольской шапочке. Она нравилась Фоме, но ее розовые щеки, веселые карие глаза и пунцовые губы не могли сгладить у Фомы обидного впечатления от ее снисходительных кивков ему. Она была знакома с какими-то гимназистами, и хотя между ними был Ежов, старый товарищ, но Фому не влекло к ним, в их компании он чувствовал себя стесненным. Ему казалось, что все они хвастаются перед ним своей ученостью и смеются над его невежеством. Собираясь у Любви, они читали какие-то книжки, и если он заставлял их за чтением или крикливым спором, — они умолкали при виде его. Всё это отталкивало его. Однажды, когда он сидел у Маякиных, Люба позвала его гулять в сад и там, идя рядом с ним, спросила его с гримаской на лице:

— Почему ты такой бука, — никогда ни о чем не говоришь?

— О чем мне говорить, ежели я ничего не знаю! — просто сказал Фома.

— Учись, — читай книги!..

— Не хочется...

— А вот гимназисты — всё знают и обо всем умеют говорить... Ежов, например...

— Знаю я Ежова, — болтушка!

— Просто ты завидуешь ему... Он очень умный... да. Вот он кончит гимназию — поедет в Москву учиться в университет.

— Ну, так что?

— А ты так и останешься неучем...

— Ну и пускай...

— Как это хорошо! — иронически воскликнула Люба.

— Я и без науки на своем месте буду,— насмешливо сказал Фома.— И всякому ученому нос утру... пусть голодные учатся,— мне не надо...

— Фи, какой ты глупый, злой,— гадкий! — презрительно сказала девушка и ушла, оставив его одного в саду. Он угрюмо и обиженно посмотрел вслед ей, повел бровями и, опустив голову, медленно направился в глубь сада.

Он начинал познавать прелесть одиночества и сладкую отраву мечтаний. Часто летними вечерами, когда всё на земле окрашивается в огненные, возбуждающие воображение краски заката,— в грудь его проникало смутное томление о чем-то непонятном ему. Сидя где-нибудь в темном уголке сада или лежа в постели, он уже вызывал пред собой образы сказочных царевен,— они являлись в образе Любы и других знакомых барышень, бесшумно плавали перед ним в вечернем сумраке и смотрели в глаза его загадочными взорами. Порой эти видения возбуждали в нем прилив мощной энергии и как бы опьяняли его,— он вставал и, расправляя плечи, полной грудью пил душистый воздух; но иногда те же видения навевали на него грустное чувство — ему хотелось плакать, было стыдно слез, он сдерживался и все-таки тихо плакал.

Отец терпеливо и осторожно вводил его в круг торговых дел, брал с собой на биржу, рассказывал о взятых поставках и подрядах, о своих сотоварищах, описывал ему, как они «вышли в люди», какие имеют состояния теперь, каковы их характеры. Фома быстро усвоил дело, относясь ко всему серьезно и вдумчиво.

— Расцветает наш репей алым маком!.. — усмехался Маякин, подмигивая Игнату.

И все-таки, даже когда Фоме минуло девятнадцать лет,— было в нем что-то детское, наивное, отличавшее его от сверстников. Они смеялись над ним, считая его глупым; он держался в стороне от них, обиженный отношением к нему. А отцу и Маякину, которые не спускали его с глаз, эта неопределенность характера Фомы внушала серьезные опасения.

— Не пойму я его!— сокрушенно говорил Игнат.— Не кутит он, по бабам будто не шляется, ко мне, к

тебе — почитителен, всему внимает — красная девка, не парень! И ведь, кажись, не глуп?

— Особой глупости не видать,— говорил Маякин.

— Поди ж ты! Как будто он ждет чего-то,— как пелена какая-то на глазах у него... Мать его, покойница, вот так же ощупью ходила по земле. Ведь вон Африканка Смолин на два года старше — а поди-ка ты какой! Даже понять трудно, кто кому теперь у них голова — он отцу или отец ему? Учиться хочет ехать, на фабрику какую-то,— ругается: «Эх, говорит, плохо вы меня, папаша, учили...» Н-да! А мой — ничего из себя не объявляет... О, господи!

— Ты вот что,— советовал Маякин,— ты сунь его с головой в какое-нибудь горячее дело! Право! Золото огнем пробуют... Увидим, какие в нем склонности, ежели пустим его на свободу... Ты отправь его, на Каму-то, одного!

— Разве что попробовать?

— Ну, напортит... потеряешь сколько-нибудь... зато будем знать, что он в себе носит?

— И впрямь — отправлю-ка я его,— репил Игнат.

И вот весной Игнат отправил сына с двумя баржами хлеба на Каму. Баржи вел пароход «Прилежный», которым командовал старый знакомый Фомы, бывший матрос Ефим,— теперь Ефим Ильич, тридцатилетний квадратный человек с рысьими глазами, рассудительный, степенный и очень строгий капитан.

Плыли быстро и весело, потому что все были довольны. Фома гордился впервые возложенным на него ответственным поручением. Ефим был рад присутствию молодого хозяина, который не делал ему за всякую оплошность замечаний, уснащенных крепкой руганью; а хорошее настроение двух главных лиц на судне прямыми лучами падало на всю команду. Отплыв от места, где грузились хлебом, в апреле — в первых числах мая пароход уже прибыл к месту назначения и, поставив баржи у берега на якоря, стал рядом с ними. На Фоме лежала обязанность как можно скорее сдать хлеб и, получив платежи, отправиться в Пермь, где ждал

его груз железа, принятый Игнатом к доставке на ярмарку.

Баржи стали против большого села, прислонившегося к сосновому бору. Уже на другой день по прибытии, рано утром, на берегу явилась шумная толпа баб и мужиков, пеших и конных; с криком, с песнями они рассыпались по палубам, и — вмиг закипела работа. Спустившись в трюмы, бабы насыпали рожь в мешки, мужики, вскидывая мешки на плечи, бегом бегали по сходням на берег, а от берега к селу медленно потянулись подводы, тяжело нагруженные долгожданным хлебом. Бабы пели песни, мужики шутили и весело поругивались, матросы, изображая собою блюстителей порядка, покрикивали на работавших, доски сходень, прогибаясь под ногами, тяжело хлюпали по воде, а на берегу ржали лошади, скрипели телеги и песок под их колесами...

Только что взошло солнце, воздух был живительно свеж, густо напоен запахом сосны; спокойная вода реки, отражая ясное небо, ласково журчала, разбиваясь о пыжи судов и цепи якорей. Веселый, громкий шум труда, юная красота весенней природы, радостно освещенной лучами солнца, — всё было полно бодрой силы, добродушной и приятно волновавшей душу Фомы, возбуждая в нем новые, смутные ощущения и желания. Он сидел за столом на тенте парохода, пил чай с Ефимом и приемщиком хлеба, земским служащим, рыжеватым и близоруким господином в очках. Нервно подергивая плечами, приемщик надтреснутым голосом рассказывал о том, как голодали крестьяне, но Фома плохо слушал его, глядя то на работу внизу, то на другой берег реки — высокий, желтый, песчаный обрыв, по краю которого стояли сосны. Там было безлюдно и тихо.

«Надо будет съездить туда», — думал Фома. А до слуха его как будто откуда-то издали доносился беспокойный, неприятно резкий голос приемщика:

— Вы не поверите — дошло наконец до ужаса! Был такой случай: в Осе к одному интеллигенту приходит мужик и приводит с собой девицу, лет шестнадцати... «Что тебе?» — «Да вот, говорит, привел дочь вашему благородию...» — «Зачем?» — «Да, может, говорит, возьмете...

человек вы холостой...» — «Как так? что такое?» — «Да водил, говорит, водил ее по городу, в прислуги хотел отдать — не берет никто... возьмите хоть в любовницы!» Понимаете? Он предлагает дочь свою, поймите! дочь — в любовницы! Чёрт знает, что такое?! а? Тот, понятно, возмутился, накинулся на мужика, ругается... Но мужик резонно говорит ему: «Ваше благородие! что она мне по нынешним дням? Лишняя совсем... а у меня, говорит, трое мальчишек — они работники будут, их надо сохранить... дайте, говорит, десять рублей за девку-то, вот я и поправлюсь с мальчишками...» Каково, а? Просто ужас, говорю вам...

— Не хо-ро-шо! — вздохнул Ефим. — Так что голод — сказано — не тетка... У брюха, видите, свои законы...

А у Фомы этот рассказ вызвал какой-то непонятный ему огромный и щекочущий интерес к судьбе девочки, и юноша быстро спросил у приемщика:

— Что же он, барин-то этот, купил ее?

— Разумеется, нет! — укоризненно воскликнул приемщик.

— Ну и куда же ее девали?

— Нашлись добрые люди... пристроили...

— А-а! — протянул Фома и вдруг твердо и зло объявил: — Я бы этого мужика так вздул! Всю бы рожу ему разворотил! — и он показал приемщику большой, крепко сжатый кулак.

— За что? — болезненно громко вскричал приемщик, срывая с носа очки.

— Разве это можно — человека продавать?..

— Дико это, я согласен, но...

— Да еще — девушку! Я б ему дал десять рублей!

Приемщик безнадежно махнул рукой и замолчал. Его жест смутил Фому, он поднялся из-за стола и, отойдя к перилам, стал смотреть на палубу баржи, покрытую бойко работавшей толпой людей. Шум опьянял его, и то смутное, что бродило в его душе, определилось в могучее желание самому работать, иметь сказочную силу, огромные плечи и сразу положить на них сотню мешков ржи, чтоб все удивились ему...

— Шевелись — живее! — звучно крикнул он вниз. Несколько голов поднялось к нему, мелькнули пред ним



какие-то лица, и одно из них,— лицо женщины с черными глазами,— ласково и заманчиво улыбнулось ему. От этой улыбки у него в груди что-то вспыхнуло и горячей волной полилось по жилам. Он оторвался от перил и снова подошел к столу, чувствуя, что щеки у него горят.

— Слушайте!— обратился к нему приемщик.— Телеграфируйте вы вашему отцу, — пусть он сбросит сколько-нибудь зерна на утечку! Вы посмотрите, сколько сорится,— а ведь тут каждый фунт дорог! Надо же это понимать!.. Ну уж папаша у вас...— кончил он с едкой гримасой.

— Сколько сбросить?— пренебрежительно и с улыбкой спросил Фома...— Желаете сто пуд? Двести?

— Это,— благодарю вас!— смущенно и радостно вскричал приемщик...— Если вы имеете право...

— Я — хозяин!— твердо сказал Фома.— А про отца вы не можете так говорить — и корчить рожи!..

— Извините! И... я не сомневаюсь в ваших полномочиях... искренно благодарю вас... и вашего папашу от лица всех этих людей...

Ефим опасливо смотрел на молодого хозяина и, оттопырив губы, почмокивал ими, а хозяин с гордым лицом слушал быструю речь приемщика, крепко пожимавшего ему руку.

— Двести! Это — по-русски, молодой человек! Вот я сейчас и объявлю мужичкам о вашем подарке. Вы увидите, как они будут благодарны...

И он громко крикнул вниз:

— Ребята! Вот хозяин жертвует двести пудов...

— Триста!— перебил его Фома.

— Триста пудов... Спасибо! Триста пудов зерна, ребята!

Но эффект получился слабый. Мужики подняли головы кверху и молча снова опустили их, принявшись за работу. Несколько голосов нерешительно и как бы нехотя проговорили:

— Спасибо... Дай тебе господи... Покорнейше благодарим...

А кто-то весело и пренебрежительно крикнул:

— Это что! А вот ежели бы водчонки по стакашку... была бы милость — правильная! А хлеб не нам — он земству...

— Эх! Они не понимают!— смущенно воскликнул приемщик.— Вот я пойду объясню им...

Он исчез. Но Фому не интересовало отношение мужиков к его подарку: он видел, что черные глаза румяной женщины смотрят на него так странно и приятно. Они благодарили его, лаская, звали к себе, и, кроме их, он ничего не видал. Эта женщина была одета по-городскому — в башмаки, в ситцевую кофту, и ее черные волосы были повязаны каким-то особенным платочком. Высокая и гибкая, она, сидя на куче дров, чинила мешки, проворно двигая руками, голыми до локтей, и всё улыбалась Фоме.

— Фома Игнатьич!— слышал он укоризненный голос Ефима. — Больно уж ты форснул широко... ну, хоть бы пудов полсотни! А то — на-ко! Так что — смотри, как бы нам с тобой не попало по горбам за это...

— Отстань!— кратко сказал Фома.

— Мне что? Я молчу... Но как ты еще молод, а мне сказано «следи!» — то за недосмотр мне и попадет в рыло...

— Я скажу отцу...— сказал Фома.

— Мне — бог с тобой... ты тут хозяин...

— Отвяжись, Ефим!..

Ефим вздохнул и замолчал. А Фома смотрел на женщину и думал:

«Вот бы такую продавать привели... ко мне».

Сердце его учащенно билось. Будучи еще чистым физически, он уже знал, из разговоров, тайны интимных отношений мужчины к женщине. Он знал их под грубыми и зазорными словами, эти слова возбуждали в нем неприятное, но жгучее любопытство; его воображение упорно работало, но все-таки он не мог представить себе всего этого в образах, понятных ему. В душе он не верил, что отношения мужчины к женщине так просты и грубы, как о них рассказывают. Когда же, смеясь над ним, его уверяли, что они именно таковы и не могут быть иными, он глуповато и смущенно улыбался, но все-таки думал, что не для всех людей сношения с женщиной обязательны в такой постыдной форме и что, наверное, есть что-нибудь более чистое, менее грубое и обидное для человека.

Теперь, любуясь на черноглазую работницу, Фома ясно ощущал именно грубое влечение к ней, — это было стыдно, страшно. А Ефим, стоя рядом, увещающе говорил ему:

— Вот ты теперь смотришь на бабу, — так что не могу я молчать... Она тебе неизвестна, но как она — подмигивает, то ты по молодости такого натворишь тут, при твоём характере, что мы отсюда пешком по берегу пойдём... да ещё ладно, ежели у нас штаны целы останутся...

— Что тебе надо? — спросил Фома, красный от смущения.

— Мне — ничего не надо... А тебе — надо меня слушать... По бабьим делам я вполне могу быть учителем... С бабой надо очень просто поступать — бутылку водки ей, закусить чего-нибудь, потом пару пива поставь и опосля всего — деньгами дай двугривенный. За эту цену она тебе всю свою любовь окажет как нельзя лучше...

— Врешь ты всё! — тихо сказал Фома.

— Я-то вру? Как же я могу врать, ежели я эту штуку, может, до ста раз проделывал? Так что — ты вот поручи мне с ней дело вести... а? Я тебе с ней знакомство скручу...

— Хорошо... — сказал Фома, чувствуя, что ему тяжело дышать и что-то давит ему горло...

— Ну вот... вечером я ее и приведу...

Вплоть до вечера Фома ходил отуманенный, не замечая почтительных и заискивающих взглядов, которыми смотрели на него мужики. Ему было жутко, он чувствовал себя виновным пред кем-то, и всем, кто обращался к нему, отвечал приниженно ласково, точно извиняясь.

Вечером рабочие, собравшись на берегу у большого, яркого костра, стали варить ужин. Отблеск костра упал на реку красными и желтыми пятнами, они трепетали на спокойной воде и на стеклах окон рубки парохода, где сидел Фома в углу на диване. Он завесил окна и не зажег огня; слабый свет костра, проникая сквозь занавески, лег на стол, стену и дрожал, становясь то ярче, то ослабевающая. Было тихо, только с берега доносились неясные звуки говора, да река чуть слышно плескалась о борта парохода. Фоме казалось, что в темноте, около него, кто-то притаился и подсматривает за ним... Вот — идет по сход-

ням торопливо, тяжелыми шагами, — доски сходять звучно и сердито хлюпают о воду... Фома слышит смех и пониженный голос у двери рубки...

«Не надо!» — хотел крикнуть Фома.

Он уже встал — но дверь в рубку отворилась, фигура высокой женщины встала на пороге и, бесшумно притворив за собою дверь, негромко проговорила:

— Батюшки, темно как! Есть тут живой-то кто-нибудь?

— Есть... — тихо ответил Фома.

— Ну так, — здравствуйте!..

И женщина осторожно подвинулась вперед.

— Вот я... зажгу огонь! — прерывающимся голосом пообещал Фома и, опустившись на диван, снова прижался в угол.

— Да ничего и так... присмотришься, так и в темноте видно...

— Садитесь, — сказал Фома.

— Сядем...

Она села на диван в двух шагах от пего. Фома видел блеск ее глаз, улыбку ее губ. Ему показалось, что она улыбается не так, как давеча улыбалась, а иначе — жалобно, невесело. Эта улыбка ободрила его, ему стало легче дышать при виде этих глаз, которые, встретившись с его глазами, вдруг потушились. Но он не знал, о чем говорить с этой женщиной. и они оба молчали, молчаньем тяжелым и неловким... Заговорила она:

— Скучно, поди-ка, одному-то вам?

— Да-а, — ответил Фома...

— А нравятся ли наши-то места? — вполголоса спрашивала женщина.

— Хорошо! Лесу много...

Снова замолчали...

— Река-то, пожалуй, красивее Волги, — с усилием выговорил Фома.

— Была я на Волге. В Симбирском...

— Симбирск... — как эхо повторил Фома, чувствуя, что он снова не в состоянии сказать ни слова. Но она, должно быть, поняв, с кем имеет дело, — вдруг бойким шепотом спросила его:

— Что же ты, хозяин, не угощаешь меня?

— Вот!— встrepенулся Фома.— В самом деле... экий я! Ну те-ка, пожалуйста!

Он возился в сумраке, толкал стол, брал в руки то одну, то другую бутылку и снова ставил их на место, смеясь виновато и смущенно. А она вплоть подошла к нему и стояла рядом с ним, с улыбкой глядя в лицо ему и на его дрожащие руки.

— Стыдишься?— вдруг прошептала она.

Он ощутил ее дыхание на щеке своей и так же тихо ответил:

— Да-а...

Тогда она положила руки на плечи ему и тихонько толкнула его себе на грудь, успокоительным шёпотом говоря:

— Ничего, не стыдись... ведь — нельзя без этого... красавчик ты мой... молоденький... жалко-то как тебя!..

А ему плакать захотелось под ее шёпот, сердце его замирало в сладкой истоме; крепко прижавшись головой к ее груди, он стиснул ее руками, говоря какие-то невнятные, себе самому неведомые слова...

.....  
— Уходи,— глухо сказал Фома, глядя в стену широко раскрытыми глазами.

Поцеловав его в щеку, она покорно встала и вышла из рубки, сказав ему:

— Ну, прощай...

Фоме было нестерпимо стыдно при ней, но, лишь она скрылась за дверь, он вскочил и сел на диван. Потом встал, шатаясь на ногах, и сразу весь наполнился ощущением утраты чего-то очень ценного, но такого, присутствие чего он как бы не замечал в себе до момента утраты... И тотчас же в нем явилось новое, мужественное чувство гордости собою. Оно поглотило стыд, и на месте стыда выросла жалость к женщине, одиноко ушедшей куда-то во тьму холодной майской ночи. Он быстро вышел из рубки на палубу — ночь была звездная, но безлунная; его охватила прохлада и тьма... На берегу еще сверкала золотисто-красная куча углей. Фома прислушался — подавляющая тишина разлита была в воздухе, лишь вода журчала, разбиваясь о цепи якорей, и нигде не слышно было звука шагов. Ему захотелось позвать

женщину, но он не знал ее имени. Жадно вдыхая широкой грудью свежий воздух, он несколько минут стоял на палубе, и вдруг из-за рубки, с носа парохода, до него донесся чей-то вздох, похожий на рыдание. Он вздрогнул и осторожно пошел туда, понимая, что там — она.

Она сидела у борта на палубе и, прислонясь головой к куче каната, плакала. Фома видел, как дрожали белые комья ее обнаженных плеч, слышал тяжелые вздохи, ему стало тяжело.

Наклонясь к ней, он робко спросил ее:

— Что ты?

Она качнула головой и не ответила ему.

— Али я тебя обидел?

— Уйди!— сказала она.

— Да,— как же?— смущенно и тревожно говорил Фома, касаясь рукой ее головы. — Ты не сердись... ведь сама же...

— Я не сержусь!— громким шёпотом ответила она. — За что сердиться на тебя? Ты не охальник... чистая ты душа! Эх, соколик мой пролетный! Сядь-ка ты рядом-то со мной...

И взяв Фому за руку, она усадила его, как ребенка, на колени к себе, прижала крепко голову его к груди своей и, наклонясь, надолго прильнула горячими губами к губам его.

— О чем ты плачешь?— спрашивал Фома, глядя одной рукой ее щеку, а другой обнимая шею женщины.

— О себе плачу... Пошто ты отослал меня?— жалобно спросила она.

— Стыдно мне стало,— сказал Фома, опуская голову.

— Голубчик ты мой! Говори уж всю правду — не понравилась я тебе?— спросила она, усмехаясь, но на грудь Фомы всё падали ее большие, теплые слезы.

— Что ты это?!— даже с испугом воскликнул парень и стал горячо и торопливо говорить ей какие-то слова о красоте ее, о том, какая она ласковая, как ему жалко ее и как стыдно пред ней. А она слушала и всё целовала его щеки, шею, голову и обнаженную грудь.

Он умолк,— тогда заговорила она печально и тихо, точно по покойнике:

— А я другое подумала... Как сказал ты «уходи!»—

встала я и пошла... И горько, горько мне сделалось от того твоего слова... Бывало, думаю, миловали меня, лелеяли без устали, без отдыху; за усмешку одну, бывало, за ласковую, всё, чего пожелаю, делали... Вспомнила я это и заплакала! Жалко стало мне мою молодость... ведь уже тридцать лет мне... последние деньки для женщины! Э-эх, Фома Игнатьевич!— воскликнула она, повышая голос и учащая ритм своей невучей речи, звукам которой красиво вторило журчание воды.

— Слушай меня — береги свою молодость! Нет ничего на свете лучше ее. Ничего-то нет дороже ее! Молодостью, ровно золотом, всё, что захочешь, то и сделаешь... Живи так, чтобы на старости было чем молодые годы вспомнить... Вот я вспомнила себя, и хоть поплакала, а разгорелось сердце-то от одной от памяти, как прежде жила... И опять помолодела я, как живой воды попила! Дитячко ты мое сладкое! Погуляю ж я с тобой, коли по нраву пришлась, погуляю во всю силушку... эх! до золы сгорю, коли вспыхнула!

И, крепко прижав к себе парня, она с жадностью стала целовать его в губы.

— По-огляды-ва-а-ай!— тоскливо завыл вахтенный на барже и, коротко оборвав «ай» — начал бить колотушкой в чугунную доску... Дребезжащие, резкие звуки рвали торжественную тишину ночи.

Через несколько дней, когда баржи разгрузились и пароход готов был идти в Пермь,— Ефим, к великому своему огорчению, увидел, что к берегу подъехала телега и на ней черноглазая Палагея с сундуком и какими-то узлами.

— Пошли матроса вещи взять!..— приказал ему Фома, кивая головой на берег.

Укоризненно покачав головой, Ефим сердито исполнил приказание и потом, пониженным голосом, спросил:

— Так что — и она с нами?

— Она — со мной...

— Ну, да... не со всеми же... О, господи!

— Чего вздыхаешь?

— Да,— Фома Игнатьич! Ведь в большой город плывем... али мало там ихней сестры?

— Ну, ты молчи!— сурово сказал Фома.

— Да я смолчу... только непорядок это!

Фома внушительно нахмурился и сказал капитану, властно отчеканивая слова:

— Ты, Ефим, и себе заруби на носу, и всем тут скажи — ежели да я услышу про нее какое-нибудь похабное слово — поленом по башке!

— Страхи какие!— не поверил Ефим, с любопытством поглядывая в лицо хозяина. Но он тотчас же отступил на шаг пред Фомой. Игнатов сын, как волк, оскалил зубы, зрачки у него расширились, и он заорал:

— Посмейся! Я те посмеюсь!

Ефим, хотя и струсил, но с достоинством заговорил:

— Хоша вы, Фома Игнатьич, и хозяин... но как мне сказано «следи, Ефим...» и я здесь — капитан...

— Капитан?!— крикнул Фома, весь вздрагивая и бледнея.— А я кто?

— Так что — вы не кричите! Из-за пустяка, какова есть баба...

На бледном лице Фомы выступили красные пятна, он переступил с ноги на ногу, судорожным движением спрятал руки в карманы пиджака и ровным, твердым голосом сказал:

— Ты! Капитан! Вот что — слово еще против меня скажешь — убирайся к чёрту! Вон! На берег! Я и с лоцманом дойду. Понял? Надо мной тебе не командовать!.. Ну?

Ефим был поражен. Он смотрел на хозяина и смешно моргал глазами, не находя ответа.

— Понял, говорю?

— По-онял,— протянул Ефим.— Из-за чего шум однако? Из-за...

— Молчать!

Дико сверкнувшие глаза Фомы, его искаженное лицо внушили капитану благую мысль уйти от хозяина, и он быстро ушел.

Он был зол на Фому и считал себя напрасно обиженным; но в то же время почувствовал над собой твердую, настоящую хозяйскую руку. Ему, годами привыкшему к подчинению, нравилась проявленная над ним власть, и,



войдя в каюту старика-лоцмана, он уже с оттенком удовольствия в голосе рассказал ему сцену с хозяином.

— Видал?— заключил он свой рассказ.— Так что — хорошей породы щенок, с первой же охоты — добрый пес... А ведь с виду он — так себе... человечешко мутного ума... Ну, ничего, пускай балуется,— дурного тут, видать, не будет... при таком его характере... Нет, как он заорал на меня! Труба, я тебе скажу!.. Сразу определился, будто власти и строгости ковшом хлебнул...

Ефим говорил верно: за эти дни Фома резко изменился. Вспыхнувшая в нем страсть сделала его владыкой души и тела женщины, он жадно пил огненную сладость этой власти, и она выжгла из него всё неуклюжее, что придавало ему вид парня угрюмого, глуповатого, и напоила его сердце молодой гордостью, сознанием своей человеческой личности. Любовь к женщине всегда плодотворна для мужчины, какова бы она ни была, даже если она дает только страдания,— и в них всегда есть много ценного. Являясь для больного душою сильным ядом, для здорового любовь — как огонь железу, которое хочет быть сталью...

Увлечение Фомы тридцатилетней женщиной, справлявшей в объятиях юноши тризну по своей молодости, не отрывало его от дела; он не терялся ни в ласках, ни в работе, и там и тут внося всего себя. Женщина, как хорошее вино, возбуждала в нем с одинаковой силой жажду труда и любви, и сама она помолодела, приобщаясь поцелуев юности.

В Перми Фому ждало письмо от крестного, который сообщал, что Игнат запил с тоски о сыне и что в его годы вредно так пить. Письмо заканчивалось советом спешить с делами и возвращаться домой. Фома почувствовал тревогу в этом совете, она огорчила праздник его сердца, но в заботах о деле и в ласках Палагеи эта тень скоро растаяла. Жизнь его текла с быстротой речной волны, каждый день приносил новые ощущения, порождая новые мысли. Палагея относилась к нему со всей страстью любовницы, с той силой чувства, которую вводят в свои увлечения женщины ее лет, допивая последние капли из чаши жизни. Но порой в ней пробуждалось иное чувство, не менее сильное и еще более привя-

зывающее к ней Фому, — чувство, сходное со стремлением матери оберечь своего любимого сына от ошибок, научить его мудрости жить. Часто, по ночам, сидя на палубе, обнявшись с ним, она ласково и с печалью говорила ему:

— Ты послушай меня, как сестру твою старшую... Я жила, людей знаю... много видела на своем веку!.. Товарищей выбирай себе с оглядкой, потому что есть люди, которые заразны, как болезнь... Ты и не разберешь сначала, кто он такой? Кажись, человек, как все... Хвать — и пристали к тебе болячки его. С нашей сестрой — сохрани тебя пресвятая богородица! — осторожен будь... Мягок ты еще, нет настоящего закала в сердце-то у тебя... А до таких, как ты, бабы лакомы — силен, красив, богат... Всего больше берегись тихоньких — они, как пьявки, вшиваются в мужчину, — вопьется и сосет, и сосет, а сама всё такая ласковая да нежная. Будет она из тебя сок пить, а себя сбережет, — только даром сердце тебе надсадит... Ты к тем больше, которые, как я вот, — бойкие! Такие — без корысти живут...

Она действительно была бескорытна. В Перми Фома накупил ей разных обновок и безделушек. Она обрадовалась им, но, рассмотрев, озабоченно сказала:

— Ты не больно транжирь деньги-то... смотри, как бы отец-то не рассердился! Я и так... и безо всего люблю тебя...

Уже ранее она объявила ему, что поедет с ним только до Казани, где у нее жила сестра замужем. Фоме не верилось, что она уйдет от него, и когда — за ночь до прибытия в Казань — она повторила свои слова, он потемнел и стал упрашивать ее не бросать его.

— А ты прежде время не горюй, — сказала она. — Еще ночь целая впереди у нас... Простимся мы с тобой, тогда и пожалеешь, — коли жалко станет!..

Но он всё с большим жаром уговаривал ее не покидать его и наконец заявил, что хочет жениться на ней.

— Вот, вот... так! — И она засмеялась. — Это от живого-то мужа за тебя пойду? Милый ты мой, чудачок! Жениться захотел, а? Да разве на таких-то женятся? Много, много будет у тебя полюбовниц-то... Ты тогда женись, когда перекипишь, когда всех сластей наешься

досыта — аржаного хлеба захочется... вот когда женись! Замечала я — мужчине здоровому, для покоя своего, нужно не рано жениться... одной жены ему мало будет, и пойдет он тогда по другим... Ты должен для своего счастья тогда жену брать, когда увидишь, что и одной ее хватит с тебя...

Но чем больше она говорила, — тем настойчивее и тверже становился Фома в своем желании не расставаться с ней.

— А ты послушай-ка, что я тебе скажу, — спокойно сказала женщина. — Горит в руке твоей лучина, а тебе и без нее уже светло, — так ты ее сразу окуни в воду, тогда и чаду от нее не будет, и руки она тебе не обожжет...

— Не понимаю я твоих слов...

— А ты понимай... Ты мне худого не сделал, и я тебе его не хочу... Вот и уйду...

Трудно сказать, чем бы кончилась эта распря, если бы в нее не вмешался случай. В Казани Фома получил телеграмму от Маякина, он кратко приказывал крестнику: «Немедленно выезжай пассажирским». У Фомы больно сжалось сердце, и через несколько часов, стиснув зубы, бледный и угрюмый, он стоял на галерее парохода, отходившего от пристани, и, вцепившись руками в перила, неподвижно, не мигая глазами, смотрел в лицо своей милой, уплывавшее от него вдаль вместе с пристанью и с берегом. Палагея махала ему платком и всё улыбалась, но он знал, что она плачет. От слез ее вся грудь рубашки Фомы была мокрая, от них в сердце его, полном угрюмой тревоги, было тяжело и холодно. Фигура женщины всё уменьшалась, точно таяла, а Фома, не отрывая глаз, смотрел на нее и чувствовал, что помимо страха за отца и тоски о женщине — в душе его зарождается какое-то новое, сильное и едкое ощущение. Он не мог назвать его себе, но оно казалось ему близким к обиде на кого-то.

Толпа людей на пристани слилась в сплошное темное и мертвое пятно без лиц, без форм, без движения. Фома отошел от перил и угрюмо стал ходить по палубе.

Пассажиры, громко разговаривая, усаживались пить чай, лакеи сновали по галерее, накрывая столики, где-то

на корме внизу, в третьем классе, смеялся ребенок, ныла гармоника, повар дробно стучал ножами, дребезжала посуда. Разрезая волны, вспенивая их и содрогааясь от напряжения, огромный пароход быстро плыл против течения... Фома посмотрел на широкие полосы взбешенных волн за кормой парохода и ощутил в себе дикое желание ломать, рвать что-нибудь, — тоже пойти грудью против течения и раздробить его напор о грудь и плечи свои...

— Судьба! — хриплым и утомленным голосом сказал кто-то около него.

Это слово было знакомо ему: им тетка Анфиса часто отвечала Фоме на его вопросы, и он вложил в это краткое слово представление о силе, подобной силе бога. Он взглянул на говоривших: один из них был седенький старичок, с добрым лицом, другой — помоложе, с большими усталыми глазами и с черной клинообразной бородкой. Его хрящеватый большой нос и желтые, ввалившиеся щеки напоминали Фоме крестного.

— Судьба! — уверенно повторил старик возглас своего собеседника и усмехнулся. — Она над жизнью — как рыбак над рекой: кинет в суету нашу крючок с приманкой, а человек сейчас — хватить за приманку жадным-то ртом... тут она ка-ак рванет свое удилище — ну, и бьется человек оземь, и сердце у него, глядишь, надорвано... Так-то, сударь мой!

Фома закрыл глаза, точно ему в них луч солнца ударил, и, качая головой, громко сказал:

— Верно! Вот — верно-о!

Собеседники пристально посмотрели на него: старик — с тонкой и умной улыбкой, большеглазый — недружелюбно, исподлобья. Это смутило Фому, и он, покраснев, отошел от них, думая о судьбе и недоумевая: зачем ей нужно было приласкать его, подарив ему женщину, и тотчас вырвать из рук у него подарок так просто и обидно? И он понял, что неясное едкое чувство, которое он носил в себе, — обида на судьбу за ее игру с ним. Он был слишком избалован жизнью для того, чтобы проще отнестись к первой капле яда в только что початом кубке, и все сутки дороги провел без сна, думая о словах старика и лелея свою обиду. Но она возбуждала в

нем не уныние и скорбь, а гневное и мстительное чувство...

Фому встретил крестный и на его торопливые, тревожные вопросы, возбужденно поблескивая зеленоватыми глазками, объявил, когда уселся в пролетку рядом с крестником:

— Из ума выжил отец-то твой...

— Пьет?

— Хуже! Совсем с ума сошел...

— Ну? О, господи! говорите...

— Понимаешь: объявилась около него барынька одна...

— Что же она?— воскликнул Фома, вспомнив свою Палагею, и почему-то почувствовал в сердце радость.

— Пристала она к нему и — сосет...

— Тихонькая?

— Она? Тиха... как пожар... Семьдесят пять тысяч выдула из кармана у него — как пушинку!

— О-о! Кто же это такая?

— Сонька Медынская, архитекторова жена...

— Ба-атюшки! Неужто она... Разве отец, — неужто ее в полюбовницы взял?— тихо и изумленно спросил Фома.

Крестный отшатнулся от него и, смешно вытаращив глаза, испуганно заговорил:

— Да ты, брат, тоже спятил! Ей-богу, спятил! Опомнись! В шестьдесят три года любовниц заводить... да еще в такую цену! Что ты? Ну, я это Игнату расскажу!

И Маякин рассыпал в воздухе дребезжащий, торопливый смех, причем его козлиная бородка неприглядно задрожала. Не скоро Фома добился от него толка; против обыкновения старик был беспокоен, возбужден, его речь, всегда плавная, рвалась, он рассказывал, ругаясь и отплевываясь, и Фома едва разобрал, в чем дело. Оказалось, что Софья Павловна Медынская, жена богача-архитектора, известная всему городу своей неутомимостью по части устройства разных благотворительных затей, — уговорила Игната пожертвовать семьдесят пять тысяч на ночлежный дом и народную библиотеку с читальней. Игнат дал деньги, и уже газеты расхвалили его за щедрость. Фома не раз видел эту женщину на улицах;

она была маленькая, он знал, что ее считают одной из красивейших в городе. О ней говорили дурно.

— Только-то?!— воскликнул он, выслушав рассказ крестного.— А я думал — бог весть что...

— Ты? Ты думал?— вдруг рассердился Маякин.— Ничего ты не думал — молокосос ты!

— Да что вы ругаетесь?— удивился Фома.

— Ты скажи — по-твоему, семьдесят пять тысяч — большие деньги?

— Большие,— сказал Фома, подумав.— Да ведь у отца много их... чего же вы так уж...

Якова Тарасовича повело всего, он с презрением посмотрел в лицо юноши и каким-то слабым голосом спросил его:

— Это ты говоришь?

— А кто же?

— Врешь! Это молодая твоя глупость говорит, да! А моя старая глупость — миллион раз жизнью испытана,— она тебе говорит: ты еще щенок, рано тебе басом лаять!

Фому и раньше частенько задевал слишком образный язык крестного,— Маякин всегда говорил с ним грубее отца,— но теперь юноша почувствовал себя крепко обиженным и сдержанно, но твердо сказал:

— Вы бы не ругались зря-то, я ведь не маленький...

— Да что ты говоришь?— насмешливо подняв брови, воскликнул Маякин.

Фому взорвало. Он взглянул в лицо старику и веско отчеканил:

— А вот говорю, что зряшной ругани вашей не хочу больше слышать,— довольно!

— Мм... да... та-ак! Извините...

Яков Тарасович прищурил глаза, пожевал губами и, отвернувшись от крестника, с минуту помолчал. Пролетка въехала в узкую улицу, и, увидав издали крышу своего дома, Фома невольно всем телом двинулся вперед. В то же время крестный, плутовато и ласково улыбаясь, спросил его:

— Фомка! Скажи — на ком ты зубы себе отточил? а?

— Разве острые стали? — спросил Фома, обрадованный таким обращением крестного.

— Ничего... Это хорошо, брат... это оч-чень хорошо! Боялись мы с отцом — мямля ты будешь!.. Ну, а водку пить выучился?

— Пил...

— Скоренько!.. Помногу, что ли?

— Зачем помногу-то...

— А вкусна?

— Не очень...

— Тэк... Ничего, всё это не худо... Только вот больно ты открыт, — во всех грехах и всякому попу готов каяться... Ты сообрази насчет этого — не всегда, брат, это нужно... иной раз смолчишь — и людям угодишь, и греха не сотворишь. Н-да. Язык у человека редко трезв бывает. А вот и приехали... Смотри — отец-то не знает, что ты прибыл... дома ли еще?

Он был дома: в открытые окна из комнат на улицу неся его громкий, немного сиплый хохот. Шум пролетки, подъехавшей к дому, заставил Игната выглянуть в окно, и при виде сына он радостно крикнул:

— А-а! Явился...

Через минуту он, прижав Фому одной рукой ко груди, ладонью другой уперся ему в лоб, отгибая голову сына назад, смотрел в лицо ему сияющими глазами и довольно говорил:

— Загорел... поздоровел... молодец! Барыня! Хорош у меня сын?

— Недурен, — раздался ласковый, серебристый голос.

Фома взглянул из-за плеча отца и увидал: в переднем углу комнаты, облокотясь на стол, сидела маленькая женщина с пышными белокурыми волосами; на бледном лице ее резко выделялись темные глаза, тонкие брови и пухлые, красные губы. Сзади кресла стоял большой филодендрон, — крупные, узорчатые листья висели в воздухе над ее золотистой головкой.

— Доброго здоровья, Софья Павловна, — умильно говорил Маякин, подходя к ней с протянутой рукой. — Что, всё контрибуции собираете с нас, бедных?

Фома молча поклонился ей, не слушая ни ее ответа Маякину, ни того, что говорил ему отец. Барыня пристально смотрела на него, улыбаясь приветливо. Ее дет-

ская фигура, окутанная в какую-то темную ткань, почти сливалась с малиновой материей кресла, отчего волнистые золотые волосы и бледное лицо точно светились на темном фоне. Сидя там, в углу, под зелеными листьями, она была похожа и на цветок и на икону.

— Смотри, Софья Павловна, как он на тебя воззрился,— орел, а?— говорил Игнат.

Ее глаза сузились, на щеках вспыхнул слабый румянец, и она засмеялась — точно серебряный колокольчик зазвенел. И тотчас же встала, говоря:

— Не буду мешать вам, до свидания!

Когда она бесшумно проходила мимо Фомы, на него пахнуло духами, и он увидал, что глаза у нее темно-синие, а брови почти черные.

— Уплыла щука,— тихо сказал Маякин, со злобой глядя вслед ей.

— Ну, рассказывай нам, как ездил? Много ли денег прокутил?— гудел Игнат, толкая сына в то кресло, в котором только что сидела Медынская. Фома покосился на него и сел в другое.

— Что, хороша, видно, бабеночка-то?— посмеиваясь, говорил Маякин, щупая Фому своими хитрыми глазками.— Вот будешь ты при ней рот разевать... так она все внутренности у тебя съест...

Фома почему-то вздрогнул и, не ответив ему, деловым тоном начал говорить отцу о поездке. Но Игнат перебил его речь:

— Погоди, я коньячку спрошу...

— А ты тут всё пьешь, говорят...— неодобрительно сказал Фома.

Игнат с удивлением и любопытством взглянул на него и спросил:

— Да разве отцу можно этак говорить, а?

Фома сконфузился и опустил голову.

— То-то! — добродушно сказал Игнат и крикнул, чтоб дали коньяку...

Маякин, прищурив глаза, посмотрел на Гордеевых, вздохнул, простился и ушел, пригласив их вечером к себе пить чай в малиннике.

— Где же тетка Анфиса? — спросил Фома, чувствуя, что теперь, наедине с отцом, ему стало почему-то неловко.



— В монастырь поехала... Ну, говори мне, а я — вышью...

Фома в несколько минут рассказал отцу о делах и закончил рассказ откровенным признанием:

— Денег я истратил на себя... много.

— Сколько?

— Рублей... шестьсот...

— В полтора-то месяца! Немало... Вижу, что для приказчика — дорог ты мне... Куда ж это ты их всьпал?

— Триста пуд хлеба подарил...

— Кому? Как?

Фома рассказал.

— Ну это — ничего! — одобрил его отец. — Это — знай наших!.. Тут дело ясное — за отцову честь... за честь фирмы... И убытка тут нету, потому — слава добрая есть, а это, брат, самая лучшая вывеска для торговли... Ну, а еще?

— Да... так, как-то... истратил...

— Говори прямо... не о деньгах спрашиваю, — хочу знать, как ты жил, — настаивал Игнат, внимательно и строго рассматривая сына.

— Ел... пил... — не сдавался Фома, угрюмо и смущенно наклоняя голову.

— Пил? Водку?

— И водку...

— А! Не рано ли?

— Спроси Ефима — напивался ли я допьяна...

— На что спрашивать Ефима? Ты сам должен всё сказать... Так, стало быть, пьешь?

— Могу и не пить...

— Где уж! Коньяку хочешь?

Фома посмотрел на отца и широко улыбнулся. И отец ответил ему добродушной улыбкой.

— Эх ты... чёрт! Пей... да смотри, — дело разумеет... Что поделаешь?.. пьяница — проснит, а дурак — никогда... будем хоть это помнить... для своего утешения... Ну и с девками гулял? Да говори прямо уж! Что я — бить тебя, что ли, буду?

— Гулял... была одна на пароходе... От Перми до Казани вез ее...

— Ну...— Игнат тяжело вздохнул и, насупившись, сказал: — Рано опоганился...

— Мне двадцать лет... А ты говорил, что в твоё время пятнадцатилетних парнишек женили...— смущенно возразил ему сын.

— То — женили... Ну, ладно, будет про это говорить... Ну, повелся с бабой,— что же? Баба — как оспа, без нее не проживешь... А мне лицемерить не приходится... я раньше твоего начал к бабам лънуть... Однако соблюдай с ними осторожность...

Игнат задумался и долго молчал, сидя неподвижно, низко склонив голову.

— Вот что, Фома,— вновь заговорил он сурово и твердо,— скоро я помру... Стар. В груди у меня теснит, дышать мне тяжело... помру... Тогда всё дело на тебя ляжет... Ну, сначала крестный поможет тебе — слушай его! Начал ты... не худо, всё обделал как следует, возжи в руках крепко держал... Дай бог и впредь так же... Знай вот что: дело — зверь живой и сильный, править им нужно умеючи, взнуздывать надо крепко, а то оно тебя одолеет... Старайся стоять выше дела... так поставь себя, чтоб всё оно у тебя под ногами было, на виду, чтоб каждый малый гвоздик в нем виден был тебе...

Фома смотрел на широкую грудь отца, слушал его густой голос и думал про себя:

«Ну, не скоро ты помрешь!»

Эта мысль была приятна ему и возбуждала в нем доброе, горячее чувство к отцу.

— Крестного держись... у него ума в башке — на весь город хватит! Он только храбрости лишен, а то — быть бы ему высоко. Да,— так, говорю, недолго мне жить осталось... По-настоящему, пора бы готовиться к смерти... Бросить бы всё, да поговорить, да позаботиться, чтоб люди меня добром вспомнули...

— Вспомнут! — уверенно сказал Фома.

— Было бы за что...

— А ночлежный-то дом?

Игнат взглянул на сына и засмеялся.

— Сказал Яков-то, успел! Ругал, чай, меня?

— Было немножко,— улыбнулся Фома.

— Ну, еще бы! Али я его не знаю?

— Он насчет этого так говорил, точно его деньги-то...  
Игнат откинулся на спинку кресла и расхохотался еще сильнее.

— Ах старый ворон, а? Это ты верно... Для него что свои деньги, что мои — всё едино, — вот он и дрожит... Цель есть у него, лысого... Ну-ка скажи — какая?

Фома подумал и сказал:

— Не знаю...

— Э! Соединить он деньги-то хочет...

— Как это?

— Да ну, догадайся!..

Фома посмотрел на отца и — догадался.

Лицо его потемнело, он привстал с кресла, решительно сказав:

— Нет, я не хочу! Я на ней не женюсь!

— О? Что так? Девка здоровая, неглупая, одна у отца...

— А Тарас? Пропаций-то?

— Пропаций — пропал, о нем, стало быть, и речь вести не стоит... Есть духовная, и в ней сказано: «Всё мое движимое и недвижимое — дочери моей Любви...» А насчет того, что сестра она тебе крестовая, — обладим...

— Всё равно, — твердо сказал Фома, — я на ней не женюсь!

— Ну, об этом рано говорить... Однако — что это она как не по душе тебе?

— Не люблю таких...

— Та-ак! Ах ты, скажите, пожалуйста! Какие же вам, сударь, больше по вкусу?..

— Которые попроще... Она там с гимназистами да с книжками... ученая стала!.. Смеяться будет надо мной... — взволнованно говорил Фома.

— Это, положим, верно, — бойка она — не в меру... Но это — пустое дело! Всякая ржавчина очищается, ежели руки приложить... А крестный твой — умный старик... Житье его было спокойное, сидячее, ну, он, сидя на одном-то месте, и думал обо всем... его, брат, стоит послушать, он во всяком житейском деле изнанку видит... Он у нас — ристократ — от матушки Екатерины! Много об себе понимает... И как род его искоре-

нился в Тарасе, то он и решил — тебя на место Тараса поставить, чувствуешь?

— Нет, уж я сам себе место выберу,— упрямо сказал Фома.

— Глуп еще ты...— усмехнулся отец.

Их разговор был прерван приездом тетки Анфисы...

— Фомушка! Приехал...— кричала она где-то за дверями. Фома встал и пошел навстречу ей, ласково улыбаясь...

...Вновь жизнь его потекла медленно и однообразно. Сохранив по отношению к сыну тон добродушно насмешливый и поощрительный, отец в общем стал относиться к нему строже, ставя ему на вид каждую мелочь и всё чаще напоминая, что он воспитывал его свободно, ни в чем не стесняя, никогда не бил.

— Другие отцы вашего брата поленьями бьют, а я пальцем тебя не тронул!

— Видно, не за что было, — спокойно заявил однажды Фома.

Игнат рассердился на сына за эти слова и тон.

— Поговори!— зарычал он.— Набрался храбрости под мягкой-то рукой... На всякое слово ответ находишь. Смотри — рука моя хоть и мягкая была, но еще так сжать может, что у тебя из пяток слезы брызнут!.. Скоро ты вырос — как гриб-поганка, чуть от земли поднялся, а уж воняешь...

— За что ты сердисься на меня?— недоуменно спросил Фома отца, когда тот был в добром настроении...

— А ты не можешь стерпеть, когда отец ворчит на тебя... в спор сейчас лезешь!..

— Да ведь обидно... Я хуже не стал... вижу я ведь, как вон другие в мои лета живут...

— Не отвалится у тебя голова, ежели я ругну тебя иной раз... А ругаюсь — потому что вижу в тебе что-то не мое... Что оно — не знаю, а вижу — есть... И вредное оно тебе...

Эти слова отца заставили Фому глубоко задуматься. Он сам чувствовал в себе что-то особенное, отличавшее его от сверстников, но тоже не мог понять — что это такое? И подозрительно следил за собой...

Ему нравилось бывать на бирже, в шуме и говоре солидных людей, совершавших тысячные дела; ему льстило почтение, с которым здоровались, разговаривали с ним, Фомой Гордеевым, менее богатые промысловые люди. Он чувствовал себя счастливым и гордым, если порой ему удавалось распорядиться за свой страх чем-нибудь в отцовском деле и заслужить одобрительную усмешку отца. В нем было много честолюбивого стремления — казаться взрослым и деловым человеком, но жил он одиноко, как раньше, и не чувствовал стремления иметь друзей, хотя каждый день встречался со многими из детей купцов, сверстниками своими. Не раз они приглашали его покутить, но он грубовато и пренебрежительно отказывался от приглашений и даже посмеивался:

— Боюсь... Узнают отцы ваши про эти кутежи, да как бить вас станут, пожалуй, и мне от них попадет по шее...

Ему не нравилось в них то, что они кутят и развращаются тихонько от отцов, на деньги, украденные из отцовских касс или взятые под долгосрочные векселя и большие проценты. Они тоже не любили его за эту сдержанность, в которой чувствовали гордость, обидную им.

Он часто вспоминал Палагею, и сначала ему было тоскливо, когда образ ее вспыхивал в его воображении... Но время шло, стирало понемногу яркие краски с этой женщины, и незаметно для него место в мечтах его заняла маленькая, ангелоподобная Медынская. Она почти каждое воскресенье заезжала к Игнату с различными просьбами, в общем имевшими одну цель, — ускорить постройку ночлежного дома. В ее присутствии Фома чувствовал себя неуклюжим, огромным, тяжелым; это обижало его, и он густо краснел под ласковым взглядом больших глаз Софьи Павловны. Он замечал, что каждый раз, когда она смотрела на него, — глаза ее темнели, а верхняя губа вздрагивала и чуть-чуть приподнималась кверху, обнажая крошечные белые зубы. Это всегда пугало его. Отец, подметив его взгляды на Медынскую, сказал ему:

— Ты не очень пяль глаза-то на эту рожицу. Она, смотри, — как березовый уголь: снаружи он бывает та-

кой же вот скромный, гладкий, темненький, — кажись, совсем холодный, — а возьми в руку, — ожжет...

Медынская не возбуждала в юноше чувственного влечения, в ней не было ничего похожего на Палагею, и вообще она была непонятна ему. Он знал, что про нее рассказывают зазорно, но этому не верил. Однако он изменил отношение к ней, когда увидел ее в коляске сидящей рядом с толстым барином в серой шляпе и с длинными косичками волос на плечах. Лицо у него было, как пузырь, — красное, надутое; ни усов, ни бороды не было на нем, и весь этот человек был похож на переодетую женщину... Фоме сказали, что это ее муж... Тогда в нем вспыхнули темные и противоречивые чувства: ему захотелось обидеть архитектора, и в то же время он почувствовал зависть и уважение к нему. Медынская показалась менее красивой и более доступной; ему стало жаль ее, и все-таки он злорадно подумал:

«Противно ей, должно быть, когда он ее целует...»

И за всем этим он, порою, ощущал в себе какую-то бездонную, томительную пустоту, которой не заполняли ни впечатления истекшего дня, ни воспоминания о давних; и биржа, и дела, и думы о Медынской — всё поглощалось этой пустотой... Его тревожила она: в темной глубине ее он подозревал притаившееся существование какой-то враждебной ему силы, пока еще бесформенной, но уже осторожно и настойчиво стремившейся воплотиться...

А между тем Игнат, мало изменяясь по внешности, становился всё более беспокойным, ворчливым и всё чаще жаловался на недомоганье.

— Сон я потерял... бывало, дрыхну — хоть кожу с меня сдери, не услышу! А теперь ворочаюсь, ворочаюсь с бока на бок, едва под утро усну... Сердце бьется неровно, то как загнанное, часто так — тук-тук-тук... а то вдруг замрет, — кажись, вот сейчас оторвется да и упадет куда-то, в недра самые... Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей!..

И, покаянно вздыхая, он поднимал к небу глаза, уже мутные, утратившие живой, умный блеск.

— Стережет меня смерть где-то поблизости, — говорил он угрюмо, но покорно.

И действительно — скоро она опрокинула на землю его большое, мощное тело.

Это случилось в августе, ранним утром. Фома крепко спал и вдруг почувствовал, что его трясут за плечо и хриплый голос гудит над его ухом:

— Вставай...

Он открыл глаза и увидел, что отец сидит на стуле у его кровати, однозвучно и глухо повторяя:

— Вставай, вставай!..

Только что взошло солнце, и свет его, лежавший на белой полотняной рубаше Игната, еще не утратил розовой окраски.

— Рано, — сказал Фома, потягиваясь.

— После выспишься...

Лениво кутаясь в одеяло, Фома спросил:

— Али надо что?

— Да встань ты, братец мой, пожалуйста! — воскликнул Игнат и обиженно добавил: — Стало быть, надо, коли бужу...

Всмотревшись в лицо отца, Фома увидел, что оно серо, устало.

— Нездоровится тебе? Доктора, что ли?

— Ну его! — махнул Игнат рукой. — Чай, я не молоденький... и без того знаю...

— Чго?

— Да... уж знаю! — таинственно сказал старик и странно как-то оглядел комнату. Фома одевался, а отец его, опустив голову, медленно говорил:

— Дышать боюсь... Такая у меня мысль, что, если я вздохну теперь всей грудью, — сердце должно лопнуть... Сегодня воскресенье! После ранней-то обедни за попом пошли...

— Что ты это, папаша! — усмехнулся Фома.

— Ничего я... Умывайся да иди в сад... велел я туда самовар подать... На утреннем-то холодке и поьем чаю... Очень мне чаю хочется, густого, горячего...

Старик тяжело поднялся со стула и, нетвердо ступая босыми ногами, согнувшись, ушел из комнаты. Фома посмотрел вслед отцу, колющий холод страха сжал его сердце. Наскоро умывшись, он спешно пошел в сад...

Там под старой развесистой яблоней, в большом дубовом кресле сидел отец. Солнечный свет падал сквозь ветви дерева тонкими лентами на белую фигуру старика в ночном белье. В саду было так внушительно тихо, что даже шелест ветки, нечаянно задетой платьем Фомы, показался ему громким звуком, — он вздрогнул... На столе стоял самовар, мурлыкал, как сытый кот, и выбрасывал в воздух струю пара. В тишине и свежей зелени сада, накануне омытой обильным дождем, яркое пятно нахально сияющей шумной меди показалось Фоме ненужным, не подходящим ко времени, месту и чувству, которое родилось в нем при виде больного, согбенного старика, одетого в белое, одиноко сидящего под кровом темно-зеленой листвы, в которой скромно прятались румяные яблоки.

— Садись, — сказал Игнат...

— Послать бы за доктором-то... — нерешительно посоветовал сын, усаживаясь против него...

— Не надо... На воздухе-то отошло будто... А вот чаю хлебну, авось и еще легче будет... — говорил Игнат, наливая чай, и Фома видел, что чайник трясется в руке отца.

Молча подвинув к себе стакан, Фома наклонился над ним и с тяжестью в сердце слушал громкое, короткое дыхание отца...

Вдруг что-то стукнуло по столу так громко, что посуда задрожала.

Фома вздрогнул, вскинул голову и встретился с испуганным, почти безумным взглядом отца. Игнат смотрел на сына и хрипло шептал:

— Яблоко упало... пострели его горой! Ведь как из ружья грохнуло... а?

— Тебе коньяку бы в чай-то... — предложил Фома.

— И так ладно...

Замолчали... Стая чижей пронеслась над садом, рассыпав в воздухе задорно веселый щебет. И снова зрелую красоту сада обняло торжественное молчание. Ужас всё еще не исчезал из глаз Игната...

— Господи Иисусе Христе! — вполголоса заговорил он, истово крестясь. — Н-да... вот он и наступил, — последний-то час жизни...



— Полно, папаша! — прошептал Фома.

— Чего полно?.. Вот пошьем чаю, ты пошли за помом да за кумом...

— Я лучше сейчас...

— Сейчас к обедне ударят... попа нет... да и некуда торопиться, может, еще отойдет...

И он стал громко схлебывать чай с блюда...

— Надо бы мне год, два еще пожить... Молод ты... очень боюсь я за тебя! Живи честно и твердо... Чужого не желай, свое береги крепко...

Ему трудно было говорить, он остановился и потер грудь рукой.

— На людей — не надейся... многого от них не жди... Мы все для того живем, чтобы взять, а не дать... О, господи! помилуй грешника!

Где-то вдали густой звук колокола упал в тишину утра. Игнат с сыном трижды перекрестились...

За первым криком меди раздался второй, третий, и скоро воздух наполнили звуки благовеста, доносившиеся со всех сторон, — плавные, мерные, громко зовущие...

— Вот и к обедне ударили, — сказал Игнат, вслушиваясь в гул меди... — Ты колокола по голосу знаешь?

— Нет, — отвечал Фома.

— Вот этот — слышишь? — басовый такой, это у Николы, Петра Митрича Вагина жертва... а этот, с хрипотой, это у Праскевы Пятницы...

Поющие волны звона колебали воздух, насыщенный ими, и таяли в ясной синеве неба. Фома задумчиво смотрел на лицо отца и видел, что тревога исчезает из глаз его, они оживляются...

Но вдруг лицо старика густо покраснело, глаза расширились и выкатились из орбит, рот удивленно раскрылся, а из горла вылетел странный, шипящий звук:

— Ф... ф... ахх...

Вслед за тем голова Игната откачнулась на плечо, а его грузное тело медленно поползло с кресла на землю, точно земля властно потянула его к себе. Несколько секунд Фома не двигался и молчал, со страхом и изумлением глядя на отца, но потом бросился к Игнату, приподнял его голову с земли и взглянул в лицо ему. Лицо было темное, неподвижное, и широко открытые глаза

на нем не выражали ничего: ни боли, ни страха, ни радости... Фома оглянулся вокруг себя: как и раньше, в саду никого не было, а в воздухе всё плавал гулкий говор колоколов... Руки Фомы задрожали, он выпустил из них голову отца, и она тупо ударилась о землю... Темная, липкая кровь тонкой струей полилась из открытого рта по синей щеке...

Фома ударил себя руками в грудь и, стоя на коленях пред трупом, дико и громко закричал... И весь трясся от ужаса и безумными глазами всё искал кого-то в зелени сада...

#### IV

Смерть отца ошеломила Фому и наполнила его странным ощущением: в душу ему влилась тишина, — тяжелая, неподвижная тишина, безответно поглощавшая все звуки жизни. Вокруг него суетились знакомые люди; являлись, исчезали, что-то говорили ему, — он отвечал им, но речи их не вызывали в нем никаких представлений, бесследно утопая в бездонной глубине мертвого молчания, наполнявшего душу его. Он не плакал, не тосковал и не думал ни о чем; угрюмый, бледный, нахмутив брови, он сосредоточенно вслушивался в эту тишину, которая вытеснила из него все чувства, опустошила его сердце и, как тисками, сжала мозг.

Похоронами распорядился Маякин. Он спешно и бодро бегал по комнатам, твердо постукивая каблуками сапог, хозяйственно покрикивал на прислугу, хлопал крестника по плечу и утешал его:

— А ты, парень, чего окаменел? Отец был стар, ветх плотью... Всем нам смерть уготована, ее же не избежешь... стало быть, не следует прежде времени мертветь... Ты его не воскресишь печалью, и ему твоей скорби не надо, ибо сказано: «Егда душа от тела имать нуждею восхитится страшными аггелы — всех забывает сродников и знаемых...», значит, весь ты для него теперь ничего не значишь, хоть ты плачь, хоть смейся... А живой о живом пецись должен... Ты лучше плачь — это дело человеческое... очень облегчает сердце...

Но и эти речи ничего не задевали ни в голове, ни в сердце Фомы.

Он очнулся в день похорон благодаря настойчивости крестного, всё время усердно и своеобразно старавшегося возбудить его подавленную душу.

День похорон был облачен и хмур. В туче густой пыли за гробом Игната Гордеева черной массой текла огромная толпа народа; сверкало золото риз духовенства, глухой шум ее медленного движения сливался с торжественной музыкой хора архиерейских певчих. Фому толкали и сзади и с боков; он шел, ничего не видя, кроме седой головы отца, и заунывное пение отдавалось в груди его тоскливым эхом. А Маякин, идя рядом с ним, назойливо и неустанно шептал ему в уши:

— Гляди, сколько народу прет — тысячи!.. Сам губернатор пришел отца твоего проводить... городской голова... почти вся дума... а сзади тебя — обернись-ка! — Софья Павловна идет... Почтил город Игната...

Сначала Фома не вслушивался в шёпот крестного, но когда тот сказал ему о Медынской, он невольно оглянулся назад и увидел губернатора. Маленькая капелька чего-то приятного канула в душу его при виде этого важного человека в яркой ленте через плечо, в орденах на груди, и шагавшего за гробом с грустью на строгом лице.

— «Блажен путь, в онъ же идеши днесъ, душе...» — тихонько напевал Яков Тарасович, поводя носом, и снова шептал в ухо крестника: — Семьдесят пять тысяч рублей — такая сумма, что за нее можно столько же и провожатых потребовать... Слышал ты, что Сонька-то в сорочкины как раз закладку устраивает?

Фома вновь обернулся назад, и глаза его встретились с глазами Медынской. От ее ласкающего взгляда он глубоко вздохнул, и ему сразу стало легче, точно горячий луч света проник в его душу и что-то растаяло там. И тут же он сообразил, что не подобает ему вертеть головой из стороны в сторону.

В церкви душа Фомы напиталась торжественно мрачной поэзией литургии, и когда раздался трогательный призыв: «Приидите, последнее целование дадим», — из груди его вырвалось такое громкое воющее рыдание, что толпа всколыхнулась от этого крика скорби.

Крикнув, он пошатнулся на ногах. Крестный тотчас

же подхватил его под руки и стал толкать ко гробу, напевая довольно громко и с каким-то азартом:

— «Целу-у-йте бывшего вмале с на-ами» — целуй, Фома, целуй! — «предается бо гро-обу, ка-аменем покрывается... во тьму вселя-ается, с мертвыми погребается...»

Фома прикоснулся губами ко лбу отца и с ужасом отпрянул от гроба.

— Тише! С ног было сшиб... — вполголоса заметил ему Маякин, и эти простые, спокойные слова поддержали Фому тверже, чем рука крестного.

— «Зряца мя безгласна и бездыханна предлежаща, восплачьте обо мне, братия и друзи...» — просил Игнат устами церкви. Но его сын уже не плакал: ужас возбудило в нем черное, вспухшее лицо отца, и этот ужас несколько отрезвил его душу, упоенную тоскливой музыкой плача церкви о грешном сыне ее. Его обступили знакомые, внушительно и ласково утешая; он слушал их и понимал, что все они его жалеют и он стал дорог всем. А крестный шептал в ухо ему:

— Замечай, как они к тебе ластьются... чуют коты сало...

Эти слова были неприятны Фоме, но были полезны ему тем, что заставляли его так или иначе внутренне откликаться на них.

На кладбище, при пении вечной памяти, он снова горько и громко зарыдал. Крестный тотчас же схватил его под руку и повел прочь от могилы, с сердцем говоря ему:

— Экой ты, брат, малодушный! Али мне его не жалко? Ведь я настоящую цену ему знал, а ты только сыном был. А вот не плачу я... Три десятка лет с лишком прожили мы душа в душу с ним... Сколько говорено, сколько думано... сколько горя вместе выпито!.. Молод ты — тебе ли горевать? Вся жизнь твоя впереди, и будешь ты всякой дружбой богат. А я стар... и вот единого друга схоронил и стал теперь как нищий... не нажить уж мне товарища для души!

Голос старика странно задрезжал и заскрипел. Его лицо перекосилось, губы растянулись в большую гримасу и дрожали, морщины съежились, и по ним из ма-

леньких глаз текли слезы, мелкие и частые. Он был так трогательно жалок и не похож сам на себя, что Фома остановился, прижал его к себе с нежностью сильного и тревожно крикнул:

— Не плачьте, папаша... Голубчик! Не плачьте...

— То-то вот! — слабо проговорил Маякин и, тяжело вздохнув, вдруг снова превратился в твердого и умного старика.

— Тебе распускать нюни нельзя... — таинственно заговорил он, садясь в коляску рядом с крестником. — Ты теперь — полководец на войне и должен своими солдатами командовать храбро. А солдатики твои — рубли, и у тебя их бо-ольшая армия... Воюй, знай!

Фома, удивленный быстротой его превращения, слушал его слова, и почему-то они напомнили ему об ударах тех комьев земли, которыми люди бросали в могилу Игната, на гроб его.

— Говорил ли тебе отец-то, что я старик умный и что надо слушать меня?..

— Говорил.

— Ты и слушай!.. Ежели мой ум присовокупить к твоей молодой силе — хорошую победу можно одержать... Отец твой был крупный человек... да недалеко вперед смотрел и не умел меня слушаться... И в жизни он брал успех не умом, а сердцем больше... Ох, что-то из тебя выйдет... Ты переезжай ко мне, а то одному жутко будет в доме...

— Тетя там...

— Тетя... она хворает... тоже недолгая она жилица на земле...

— Не говорите про это, — тихо попросил Фома.

— А я буду говорить. Смерти нечего бояться тебе, — ты не старуха на печи! Ты живи себе безбоязненно и делай то, к чему назначен. А человек назначен для устройства жизни на земле. Человек — капитал... он, как рубль, составляется из дрянных медных грошей да копеек. Из персти земной, сказано... А по мере того, как обращается он в жизни, впитывает в себя сальце да маслице, пот да слезы, — образуются в нем душонка и умишко... И с того начинается он расти и вверх и вниз... то, глядишь, цена ему — пятак, то пятиалтынный, то

сотня рублей... а бывает он и выше всяких цен... Пущен он в обращение и должен для жизни проценты принести. Жизнь всем нам цену знает, и раньше времени она ходу нашего не остановит... никто, брат, себе в убыток не действует, ежели он умный... Ты меня слушаешь?

— Слушаю...

— А что ты понимаешь?

— Всё...

— Врешь, чай?— усомнился Маякин.

— Но только — зачем умирать надо?— тихо спросил Фома.

Крестный с сожалением взглянул в лицо ему, почмокал губами и сказал:

— Вот этого умный человек никогда не спросит. Умный человек сам видит, что ежели река — так она течет куда-нибудь... а кабы она стояла, то было бы болото...

— Зря вы насмехаетесь...— угрюмо сказал Фома.— Море тоже вон никуда не течет...

— Оно все реки принимает в себя... и бывают в нем сильные бури... Так же и житейское море от людей питается волнением... а смерть обновляет воды его... дабы не протухли... Как люди ни мрут, а их всё больше становится...

— Что из того? Отец-то умер...

— И ты умрешь...

— Так какое мне дело, что людей больше прибывает?— тоскливо усмехнулся Фома.

— Э-эхе-хе!— вздохнул Маякин.— И никому до этого дела нет... Вот и штаны твои, наверно, так же рассуждают: какое нам дело до того, что на свете всякой материи сколько угодно? Но ты их не слушаешь — изнасишь да и бросишь...

Фома укоризненно посмотрел на крестного и, видя, что старик улыбается, удивился и с уважением спросил:

— Неужто вы, папаша, не боитесь смерти?

— Я, деточка, паче всего боюсь глупости, — со смиренной ядовитостью ответил Маякин.— Я так полагаю: даст тебе дурак меду — плюнь; даст мудрец яду — пей! А тебе скажу: слаба, брат, душа у ерша, коли у него щетинка дыбом не стоит...

Насмешливые слова старика обидели и озлили Фому. Он отвернулся в сторону и сказал:

— Не можете вы без вывертов без этих говорить...

— Не могу!— воскликнул Маякин, и глаза его тревожно заиграли.— Каждый говорит тем самым языком, какой имеет. Суров я кажусь? Так, что ли?

Фома молчал.

— Эх ты... Ты вот что знай — любит тот, кто учит... Твердо это знай... И насчет смерти не думай... Безумно живому человеку о смерти думать. «Екклезиаст» лучше всех о ней подумал, подумал и сказал, что даже псу живому лучше, чем мертвому льву...

Приехали домой. Вся улица перед домом была заставлена экипажами, и из раскрытых окон в воздух лился громкий говор. Как только Фома явился в зале, его схватили под руки и потащили к столу с закусками, убеждая его выпить и съесть чего-нибудь. В зале было шумно, как на базаре; было тесно и душно. Фома молча выпил одну рюмку водки, две, три... Вокруг него чавкали, чмокали губами, булькала водка, выливаемая из бутылки, звенели рюмки... Говорили о балыке и октаве солиста в архиерейском хоре, и снова о балыке, и о том, что городской голова тоже хотел сказать речь, но после архиерея не решился, боясь сказать хуже его. Кто-то с умилением рассказывал:

— Покойник так делал: отрежет ломтик семушки, поперчит его густенько, другим ломтиком прикроет да вслед за рюмкой и пошлет.

— По-оследуем его примеру! — гудел густой бас.

Фома, нахмурившись, с обидой в сердце, смотрел на жирные губы и челюсти, жевавшие вкусные яства, ему хотелось закричать и выгнать вон всех этих людей, солидность которых еще недавно возбуждала в нем уважение к ним.

— А ты будь поласковее, поразговорчивее.... — вполголоса сказал Маякин, появляясь около него.

— Чего они жрут здесь? В трактир пришли, что ли? — громко и со злобой сказал Фома.

— Чпш... — испуганно заметил Маякин и быстро оглянулся с любезной улыбкой на лице.

Но было поздно: его улыбка ничему не помогла. Слова Фомы услышали, — шум и говор в зале стал уменьшаться, некоторые из гостей как-то торопливо засуетились, иные, обиженно нахмурившись, положили вилки и ножи и отошли от стола с закусками, многие искося смотрели на Фому.

Он встречал эти взгляды, не опуская глаз, злой и молчаливый.

— За стол прошу! — кричал Маякин, мелькая в толпе людей, как искра в пепле. — Пожалуйте, садитесь! Сейчас блины дают.

Фома передернул плечами и пошел к дверям, громко сказав:

— Я обедать не буду...

Он слышал неприязненный гул сзади себя и вкрадчивый голос крестного, говоривший кому-то:

— С горя, — ведь Игнат ему отцом и матерью был!..

Фома пришел в сад на то место, где умер отец, и там сел. Чувство одиночества и тоска давили ему грудь. Он расстегнул ворот рубашки, чтобы облегчить дыхание себе, облокотился на стол и, сжав голову руками, неподвижно замер. Накрапывал мелкий дождик, листва яблони меланхолично шумела под ударами капель. Долго сидел он, не шевелясь и глядя, как на стол падают с яблони мелкие капли. От выпитой водки в голове его шумело, а сердце сосала обида на людей. Какие-то неопределенные мысли зарождались и исчезали в нем; перед ним мелькал голый череп крестного в венчике серебряных волос, с темным лицом, похожим на лики старинных икон. Это лицо с беззубым ртом и ехидной улыбкой, возбуждая у Фомы неприязнь и опасение, еще более усиливало в нем сознание одиночества. Потом вспомнились ему кроткие глаза Медынской, ее маленькая, стройная фигурка, а рядом с ней почему-то встала дородная, высокая и румяная Любовь Маякина со смеющимися глазами и толстой золотисто-русой косой. Воздух был полон унылых звуков... Серое небо точно плакало, и на деревьях дрожали холодные слезы. А в душе Фомы было сухо, темно; жуткое чувство сиротства наполняло ее... Но из этого чувства уже зарождался вопрос:

«Как жить буду?»



Дождь смочил его платье; он почувствовал дрожь холода и ушел в дом...

Жизнь дергала его со всех сторон, не давая ему сосредоточиться на думах. В сороковой день по смерти Игната он поехал на церемонию закладки ночлежного дома, парадно одетый и с приятным чувством в груди. Накануне Медынская известила его письмом, что он избран в члены комитета по надзору за постройкой и в почетные члены того общества, в котором она председательствовала. Ему понравилось это, и его очень волновала та роль, которую он должен был играть сегодня, при закладке. Он ехал и думал о том, как всё это будет и как нужно ему вести себя, чтобы не сконфузиться перед людьми.

— Эй, эй! Стой!

Он оглянулся, — с тротуара быстро бежал к нему Маякин в сюртуке до пят, в высоком картузе и с огромным зонтом в руке.

— Ну-ка, подвези-ка меня! — говорил старик, ловко, как обезьяна, прыгнув в экипаж. — Я, признаться сказать, поджидал тебя, поглядывал; время, думаю, ему ехать...

— Вы туда? — спросил Фома.

— А как же? Надо посмотреть, как деньги друга моего в землю зарывать будут.

Фома искоса взглянул на него и смолчал.

— Что косишься? Небойсь, и ты тоже в благодетели к людям пойдешь?

— Это как, то есть? — сдержанно спросил Фома.

— Читал я сегодня в газете — в члены тебя выбрали по дому-то да еще в общество, в Софьино, в почетные... Въедет тебе в карман членство это! — вздохнул Маякин.

— Не разорюсь, чай?

— Не знаю я этого... — съехидничал старик. — Я насчет того больше, что очень уж не мудро это самое благотворительное дело... И даже так я скажу, что не дело это, а — одни вредные пустяки.

— Это людям-то помогать вредно? — с задором спросил Фома.

— Эх, голова садовая, то есть — капуста! — сказал Маякин с улыбочкой. — Ты вот ужю приезжай-ка ко мне, я тебе насчет всего этого глаза открою... надо учить тебя! Приедешь?

— Хорошо!

— Ну вот... А пока что ты на закладке этой держись гордо, стой на виду у всех. Тебе этого не сказать, так ты за спину за чью-нибудь спрячешься...

— Зачем мне прятаться? — недовольно сказал Фома.

— И я говорю: совершенно незачем. Потому деньги дадены твоим отцом, а почет тебе должен пойти по наследству. Почет — те же деньги... с почетом торговому человеку везде кредит, всюду дорога... Ты и выдвигайся вперед, чтобы всяк тебя видел и чтоб, ежели сделал ты на пятак, — на целковый тебе воздали... А будешь прятаться — выйдет неразумие одно.

Они приехали к месту, когда уже все важные люди были в сборе и толпа народа окружала груды леса, кирпича и земли. Архисрей, губернатор, представители городской знати и администрации образовали вместе с пышно разодетыми дамами большую яркую группу и смотрели на возню двух каменщиков, приготовлявших кирпичи и известь. Маякин с крестником направился к этой группе, нашептывая Фоме:

— Не робей... Хотя у них на брюхе-то шелк, да в брюхе-то — щелк.

И почтительно-веселым голосом он поздоровался с губернатором прежде архиерея.

— Доброго здоровьица, ваше превосходительство! Благословите, ваше преосвященство!

— А, Яков Тарасович! — дружелюбно воскликнул губернатор, с улыбкой стиснув руку Маякина и потрясая ее, в то время как старик прикладывался к руке архиерея. — Как поживаете, бессмертный старичок?

— Покорнейше вас благодарю, ваше превосходительство! Софье Павловне нижайшее почтение! — быстро говорил Маякин, вертясь волчком в толпе людей. В минуту он успел поздороваться и с председателем суда, и с прокурором, и с головой — со всеми, с кем считал нужным поздороваться первый; таковых, впрочем, оказа-

лось немного. Он шутил, улыбался и сразу занял своей маленькой особой внимание всех, а Фома стоял сзади его, опустив голову, исподлобья посматривая на расшитых золотом, облеченных в дорогие материи людей, завидовал бойкости старика, робел и, чувствуя, что робеет,— робел еще больше. Но вот крестный схватил его за руку и потянул к себе.

— Вот, ваше превосходительство, крестник мой, Фома, покойника Игната сын единственный.

— А-а!— пробасил губернатор.— Очень приятно... Сочувствую вашему горю, молодой человек!— пожимая руку Фомы, сказал он и помолчал; потом уверенно добавил:— Потерять отца... это очень тяжелое несчастье!

И, подождав секунды две ответа от Фомы, отвернулся от него, одобрительно говоря Маякину:

— Я в восторге от вашей речи вчера в думе! Прекрасно, умно, Яков Тарасович... они не понимают истинных нужд населения...

— И потом, ваше превосходительство, капиталишко маленький — значит, город свою деньгу должен добавлять...

— Совершенно верно! Совершенно верно!

— Трезвость, я говорю, это хорошо! Это дай бог всякому. Я сам не пью... но зачем эти читальни, ежели он,— народ-то этот,— читать даже и не умеет?

Губернатор одобрительно мычал.

— А вот, говорю, вы денежки на техническое приспособьте... Ежели его в малых размерах завести, то— денег одних этих хватит, а в случае можно еще в Петербурге попросить — там дадут! Тогда и городу своих добавлять не надо и дело будет умнее.

— Именно! Но как закричали на вас либералы-то, а?

— Уж такое их дело, чтобы кричать...

Густой кашель соборного протодиакона возвестил о начале богослужения.

К Фоме подошла Софья Павловна, поздоровалась и тихо, грустным голосом говорила ему:

— Я смотрела на ваше лицо в день похорон, и у меня сердце сжималось... «Боже мой,— думала я,— как он должен страдать!»

А Фома слушал ее и — точно мед пил.

— Эти ваши крики! Они потрясли мне душу... бедный вы, мальчик мой!.. Я могу говорить вам так, ведь я уже старенькая...

— Вы! — тихо воскликнул Фома.

— А разве нет? — спросила она, наивно глядя в его лицо.

Фома молчал, опустив голову.

— Вы не верите, что я старушка?

— Я вам верю... но только это неправда! — вполголоса и горячо сказал Фома.

— Неправда — что? Что вы верите мне?

— Нет! Не это... а то, что... Я — вы извините! — не умею я говорить! — сказал Фома, весь красный от смущения. — Необразован я...

— Этим не надо смущаться... — покровительственно говорила Медынская. — Вы еще молоды, а образование доступно всем... Но есть люди, которым оно не только не нужно, а способно испортить их... Это люди с чистым сердцем... доверчивые, искренние, как дети... и вы из этих людей... Ведь вы такой, да?

Что мог ответить Фома на этот вопрос? Он искренно сказал:

— Покорно вас благодарю!..

И, увидав, что его слова вызвали в глазах Медынской веселый блеск, почувствовал себя смешным и глупым, тотчас же озлился на себя и подавленным голосом заговорил:

— Да, я такой — что у меня на душе, то и на языке... Фальшивить не умею... смешно мне — смеюсь открыто... глуп я!

— Ну, зачем же так? — укоризненно сказала женщина и, оправляя платье, нечаянно погладила рукой своей его опущенную руку, в которой он держал шляпу, что заставило Фому взглянуть на кисть своей руки и смущенно, радостно улыбнуться.

— Вы, конечно, будете на обеде? — спрашивала Медынская.

— Да...

— А завтра на заседании у меня?

— Непременно!

— А может быть, когда-нибудь вы и так просто... в гости зайдете, да?

— Я... благодарю вас! Приду!..

— Мне нужно благодарить вас за это обещание...

Они замолчали. В воздухе плавал благоговейно-тихий голос архиерея, выразительно читавшего молитву, простерев руку над местом закладки дома:

— «...Его же ни ветер, ни вода, не ино что повредити возможет: благоволи ему в конец привестися и в нем жити хотящих от всякого навета сопротивного свободы...»

— Как содержательны и красивы наши молитвы, не правда ли? — спрашивала Медынская.

— Да... — кратко сказал Фома, не понимая ее слов и чувствуя, что опять краснеет.

— Они нашим купеческим интересам всегда будут противники, — убедительно и громко шептал Маякин, стоя недалеко от Фомы, рядом с городским головой. — Им что? Им бы только чем-нибудь пред газетой заслужить одобрение, а настоящей сути они постичь не могут... Они напоказ живут, а не для устройства жизни... у них вон они, мерки-то: газеты да Швеция! Доктор-то вчера меня всё время этой Швецией шпынял: «Народное, говорит, образование в Швеции... и всё там прочее этакое... первый сорт!» Но однако, — что такое Швеция? Может быть, она — Швеция-то — одна выдумка... для примера приводится... а никакого образования и всяких прочих разных разностей, может, и нет в ней. Мы про нее, про Швецию, только по спичкам да по перчаткам знаем... И опять же мы не для нее живем, и она нам экзаamenta производить не может... мы нашу жизнь на свою колодку должны делать. Так ли?

А протодиакона, закинув голову, гудел:

— О-основателю до-ома сего... ве-ечная... па-амя-ать!

Фома вздрогнул, но Маякин был уже около него и, дергая его за рукав, спрашивал:

— Обедать едешь?

Бархатная, теплая ручка Медынской снова скользнула по руке Фомы.

Обед был для Фомы пыткой. Первый раз в жизни находясь среди таких парадных людей, он видел, что они и едят и говорят — всё делают лучше его, и чувствовал,

что от Медынской, сидевшей как раз против него, его отделяет не стол, а высокая гора. Рядом с ним сидел секретарь того общества, в котором Фома был выбран почетным членом, — молодой судейский чиновник, носивший странную фамилию — Ухтищев. Как бы для того, чтобы его фамилия казалась еще нелепее, он говорил высоким, звонким тенором и сам весь — полный, маленький, круглолицый и веселый говорун — был похож на новенький бубенчик.

— Самое лучшее в нашем обществе — патронесса, самое дельное, чем мы в нем занимаемся, — ухаживание за патронессой, самое трудное — сказать патронессе такой комплимент, которым она была бы довольна, а самое умное — восхищаться патронессой молча и без надежд. Так что вы, в сущности, член не «общества попечения о», а член общества Танталов, состоящих при Софии Медынской.

Фома слушал его болтовню, поглядывал на патронессу, озабоченно разговаривавшую о чем-то с полицеймейстером, мычал в ответ своему собеседнику, притворяясь занятым едой, и желал, чтоб всё это скорее кончилось. Он чувствовал себя жалким, глупым, смешным для всех и был уверен, что все подсматривают за ним, осуждают его.

А Маякин сидел рядом с городским головой, быстро вертел вилкой в воздухе и всё что-то говорил ему, играя морщинами. Голова, седой и краснорожий человек с короткой шеей, смотрел на него быком с упорным вниманием и порой утвердительно стучал большим пальцем по краю стола. Оживленный говор и смех заглушали бойкую речь крестного, и Фома не мог расслышать ни слова из нее, тем более что в ушах его всё время неустанно звенел тенорок секретаря:

— Смотрите, вон встал протоиерей и заряжает легкие воздухом... сейчас провозгласит вечную память Игнату Матвеевичу...

— Нельзя ли мне уйти? — тихо спросил Фома.

— Почему же нет? Это все поймут...

Гулкий возглас диакона заглушил и как бы раздавил шум в зале; именитое купечество с восхищением уставилось в большой, широко раскрытый рот, из которого

лилась густая октава, и, пользуясь этим моментом, Фома встал из-за стола и ушел из зала.

Через минуту он, свободно вздыхая, сидел в своей коляске и думал о том, что среди этих господ ему не место. Он назвал их про себя вылизанными, их блеск не нравился ему, не нравились лица, улыбки, слова, но свобода и ловкость их движений, их умение говорить обо всем, их красивые костюмы — всё это возбуждало в нем смесь зависти и уважения к ним. Ему стало обидно и грустно от сознания, что он не умеет говорить так легко и много, как все эти люди, и тут он вспомнил, что Люба Маякина уже не раз смеялась над ним за это.

Фома не любил дочь Маякина, а после того, как он узнал от Игната о намерении крестного женить его на Любе, молодой Гордеев стал даже избегать встреч с нею. Но после смерти отца он почти каждый день бывал у Маякиных, и как-то раз Люба сказала ему:

— Смотрю я на тебя, и знаешь что? — ведь ты ужасно не похож на купца...

— Тоже и ты на купчиху мало похожа... — сказал Фома, подозрительно поглядывая на нее.

Он не понимал назначения ее слов: обидеть она хотела ими его или так просто сказала?

— Слава богу! — ответила она ему и улыбнулась такой хорошей, дружеской улыбкой.

— Чему рада? — спросил он.

— А что мы не похожи на наших отцов.

Фома удивленно посмотрел на нее и смолчал.

— Ты скажи искренно, — понизив голос, говорила она, — ведь ты моего отца не любишь? Не нравится он тебе?

— Не... очень... — медленно сказал Фома.

— Ну, а я очень не люблю.

— За что?

— За всё... Поумнее будешь — сам поймешь... Твой отец лучше был.

— Еще бы! — гордо сказал Фома.

После этого разговора между ними почти сразу образовалось влечение друг к другу, и, день ото дня всё развиваясь, оно вскоре приняло характер дружбы, хотя и странной несколько.

Люба была одних лет со своим крестовым братом, но относилась к нему, как старшая к мальчику. Она говорила снисходительно, часто подшучивала над ним, в речах ее то и дело мелькали незнакомые Фоме слова, которые она произносила как-то особенно веско, с видимым удовольствием. Она особенно любила говорить о своем брате Тарасе, которого она никогда не видала, но о котором рассказывала что-то такое, что делало его похожим на храбрых и благородных разбойников тетюшки Анфисы. Часто, жалуясь на своего отца, она говорила Фоме: — Вот и ты такой же будешь — кощей!

Всё это было неприятно юноше и очень задевало его самолюбие. Но порой она была пряма, проста, как-то особенно дружески ласкова к нему; тогда у него раскрывалось пред нею сердце и оба они подолгу излагали друг пред другом свои думы и чувства.

Оба говорили много, искренно — но Фоме казалось, что всё, о чем говорит Люба, чуждо ему и не нужно ей; в то же время он ясно видел, что его неумелые речи нимало не интересуют ее и она не умеет понять их. Сколько бы времени они ни провели за такой беседой — она давала им одно лишь ощущение недовольства друг другом. Как будто невидимая стена недоумения вдруг вырастала пред ними и разъединяла их. Они не решались дотронуться до этой стены, сказать друг другу о том, что они чувствуют ее, и продолжали свои беседы, смутно сознавая, что в каждом из них есть что-то, что может сблизить и объединить их.

Приехав в дом крестного, Фома застал Любу одну. Она вышла навстречу ему, и было видно, что она нездорова или расстроена: глаза у нее лихорадочно блестели и были окружены черными пятнами. Зябко кутаясь в пуховый платок, она, улыбаясь, сказала:

— Вот хорошо, что приехал! А то я одна сижу... скучно, идти куда не хочется... Чай будешь пить?

— Буду... Ты что это какая, нездоровится, что ли?

— Иди в столовую, а я скажу, чтоб самовар дали... — проговорила она, не отвечая на его вопрос.

Он прошел в одну из маленьких комнат дома с двумя окнами в палисадник. Среди нее стоял овальный стол, его окружали старинные стулья, обитые кожей, в одном



простенке висели часы в длинном ящике со стеклянной дверью, в углу стояла горка с серебром.

— Ты с обеда?— спросила Люба, входя.

Фома молча кивнул головой.

— Ну что, парадно?

— Беда!— усмехнулся Фома.— Я точно на угольях сидел... Все — как павлины, а я — как сыч...

Люба, расставляя посуду, ничего не ответила ему.

— Ты чего в самом деле скучная какая?— снова спросил Фома, взглянув на ее хмурое лицо.

Она обернулась к нему и с восторгом, с тоской сказала:

— Ах, Фома! Какую я книгу прочитала! Если б ты мог это понимать!

— Видно, хороша книга, коли этак перевернуло тебя...— усмехнулся Фома.

— Я не спала... всю ночь читала... Ты пойми: читаешь — и точно пред тобой двери раскрываются в какое-то другое царство... И люди другие, и речи, и... всё! Вся жизнь...

— Не люблю я этого...— недовольно сказал Фома.— Выдумки, обман. Театр тоже вот... Купцы выставлены для насмешки... разве они в самом деле такие глупые? Как же! Возьми-ка крестного...

— Театр — это та же школа, Фома,— поучительно сказала Люба.— Купцы такие были... И какой может быть в книгах обман?

— Как в сказках... Не настоящее всё...

— Ошибаешься! Ты ведь не читал книг,— как же можешь судить? Именно они-то и есть настоящее. Они учат жить.

— Ну!— махнул рукой Фома.— Брось... никакого толку не будет от книг твоих!.. Вон отец-то у тебя книг не читает, а... ловок он! Смотрел я на него сегодня — завидно стало. Так это он со всеми обращается... свободно, умеючи, для всякого имеет слово... Сразу видно, что чего он захочет, того и добьется.

— Чего он добивается?— воскликнула Люба.— Денег только... А есть люди, которые хотят счастья для всех на земле... и для этого, не щадя себя, работают, страдают, гибнут! Разве можно отца равнять с ними?!

— Не равняй!.. Им, стало быть, одно нравится, а крестному другое...

— Им ничего не нравится!

— Это как же?

— Они хотят всё изменить...

— Так ведь чего-нибудь ради они стараются?— резонно возразил Фома.— Чего-нибудь хотят?

— Счастья для всех!— горячо вскричала Люба.

— Ну, я этого не понимаю...— качая головой, сказал Фома.— Кто это там о моем счастье заботится? И опять же, какое они счастье мне устроить могут, ежели я сам еще не знаю, чего мне надо? Нет, ты вот что, ты бы на этих посмотрела... на тех, что вот обещали...

— Это не люди!— категорически объявила Люба.

— Да уж я там не знаю, кто они по-твоему, но только видно сразу — место свое они знают. Ловкий народ... развязный...

— Эх, Фома!— огорченно воскликнула Люба.— Ничего ты не понимаешь! Ничто тебя не волнует! Ленивый ты какой-то...

— Ну, поехала! Просто я еще не осмотрелся...

— Просто ты — пустой,— объявила Люба решительно и твердо.

— В душе моей ты не была...— возразил спокойно Фома.— Дум моих ты не знаешь...

— О чем тебе думать?— сказала Люба, пожимая плечами.

— Эко! Один я? Это раз... Жить мне надо? Это два. В теперешнем моем образе совсем нельзя жить — я это разве не понимаю? На смех людям я не хочу... Я воп даже говорить не умею с людьми... Да и думать я не умею...— заключил Фома свою речь и смущенно усмехнулся.

— Читать нужно, учиться нужно,— убедительно советовала Люба, расхаживая по комнате.

— В душе у меня что-то шевелится,— продолжал Фома, не глядя на нее и говоря как бы себе самому,— но понять я этого не могу. Вижу вот я, что крестный говорит... дело всё... и умно... Но не привлекает меня... Те люди куда интереснее для меня.

— Это аристократия-то?— спросила Люба.

— Да...

— Там тебе и место!— с презрительной улыбкой сказала Любовь.— Эх ты! Разве они люди? Разве у них есть души?

— Почему ты знаешь их? Ведь незнакома...

— А книги?

Горничная внесла самовар, и разговор прервался. Люба молча заваривала чай, Фома смотрел на нее и думал о Медынской. С ней бы поговорить!

— Да-а,— задумчиво заговорила девушка,— с каждым днем я всё больше убеждаюсь, что жить — трудно... Что мне делать? Замуж идти? За кого? За купчишку, который будет всю жизнь людей грабить, пить, в карты играть? Не хочу! Я хочу быть личностью... я — личность, потому что уже понимаю, как скверно устроена жизнь. Учиться? Разве отец пустит... Бежать? Не хватает храбрости... Что же мне делать?

Она сжала руки и поникла головой над столом.

— Если бы ты знал, как противно всё... Ни души живой вокруг... С той поры, как умерла мать,— отец всех разогнал. Иные уехали учиться... Липа уехала. Она пишет: «Читай!» Ах, я читаю!— с отчаянием в голосе воскликнула она и, помолчав секунду, тоскливо продолжала:— В книжках нет того, что нужно сердцу... и я не понимаю многого в них... Наконец, мне скучно... скучно мне читать всегда одной, одной! Я говорить хочу с человеком, а человека нет! Мне тошно... живешь один раз, и уже пора жить... а человека всё нет... нет! Для чего жить? Ведь я в тюрьме живу!

Фома слушал ее речь, пристально рассматривая пальцы свои, чувствовал большое горе в ее словах, но не понимал ее. И, когда она замолчала, подавленная и печальная, он не нашел, что сказать ей, кроме слов, близких к упреку:

— Вот ты сама говоришь, что книжки ничего не стоят для тебя, а меня учишь: читай!..

Она взглянула в лицо ему, и в ее глазах вспыхнула злорада.

— О, как бы я хотела, чтоб в тебе проснулись все эти муки, которыми я живу... Чтоб и ты, как я, не спал

почей от дум, чтоб и тебе всё опротивело... и сам ты себе опротивел! Ненавижу я всех вас... ненавижу!

Она, вся красная, так гневно смотрела на него и говорила так зло, что он, удивленный, даже не обиделся на нее. Никогда еще она не говорила с ним так.

— Что это ты?— спросил он ее.

— И тебя я ненавижу! Ты... что ты? Мертвый, пустой... как ты будешь жить? Что ты дашь людям?— вполголоса и как-то злорадно говорила она.

— Ничего не дам, пускай сами добиваются...— ответил Фома, зная, что этими словами он еще больше рассердит ее.

Сила ее упреков невольно заставляла Фому внимательно слушать ее злые речи; он чувствовал в них смысл. Он даже подвинулся ближе к ней, но, негодующая и гневная, она отвернулась от него и замолчала.

На улице еще было светло, и на ветвях лип пред окнами лежал отблеск заката, но комната уже наполнилась сумраком. Огромный маятник каждую секунду выглядывал из-за стекла футляра часов и, тускло блеснув, с глухим, усталым звуком прятался то вправо, то влево. Люба встала и зажгла лампу, висевшую над столом. Лицо девушки было бледно и сурово.

— Накинулась ты на меня,— сдержанно заговорил Фома,— чего ради? Непонятно...

— Не хочу я с тобой говорить!— сердито ответила Люба.

— Дело твое... Но все-таки... чем же я провинился?

— Пойми, душно мне! Тесно мне... Ведь разве это жизнь? Разве так живут? Кто я? Приживалка у отца... держат меня для хозяйства... потом замуж! Опять хозяйство...

— А я тут при чем?— спросил Фома.

— Ты — не лучше других...

— И за то виноват пред тобой?

— Ты должен желать быть лучше...

— Да разве я этого не желаю?!— воскликнул Фома.

Девушка хотела что-то сказать ему, но в это время где-то задребезжал звонок, и она, откинувшись на спинку стула, вполголоса сказала:

— Отец...

— Ну, хоть и подождал бы он, так не огорчил,— сказал Фома.— Хотелось мне еще тебя послушать... больно уж любопытно...

— А! Детишки мои, сизы голуби!— воскликнул Яков Тарасович, являясь в дверях.— Чаек пьете? Налей-ка мне, Любава!

Сладко улыбаясь и потирая руки, он сел рядом с Фомой и; игриво толкнув его в бок, спросил:

— О чем больше ворковали?

— Так, о пустяках разных,— ответила Люба.

— Да разве я тебя спрашиваю?— искривив лицо, сказал ей отец.— Ты себе сиди, помалкивай у своего бабьего дела...

— Про обед рассказывал я ей,— перебил Фома речь крестного.

— Ага! Та-ак... Ну, и я буду говорить про обед... Наблюдал я за тобой давеча... неразумно ты держишь себя!

— То есть как?— спросил Фома, недовольно хмуря брови.

— То есть так-таки просто неразумно, да и всё тут. Говорит, например, с тобою губернатор, а ты молчишь...

— Что же я ему скажу? Он говорит, что потерять отца — несчастье... ну, я знаю это!.. А что же ему сказать?

— «Так как оно мне от господа послано, то я, ваше превосходительство, не ропщу...» Так бы сказал или что другое в этом духе... Губернаторы, братец ты мой, смирение в человеке любят.

— Что же мне — овцой на него глядеть? — усмеялся Фома.

— Овцой ты глядел,— этого не надо... А надо ни овцой, ни волком, а так — этак — разыграть пред ним: «Вы наши папаши, мы ваши детишки...» — он сейчас и обмякнет.

— Это зачем же?

— А на всякий случай... Губернатор — он, брат, всегда куда-нибудь годится.

— Чему вы его учите, папаша!— тихо и негодуя сказала Люба.

— А чему?

— Лакейничать...

— Врешь, ученая дура! Политике я учу, а не лакейству, политике жизни... Ты вот что — ты удались! Отыди от зла... и сотвори нам закуску. С богом!

Люба быстро встала и, бросив полотенце из рук на спинку стула, ушла... Отец, сощурив глаза, посмотрел ей вслед, побарабанил пальцами по столу и заговорил:

— Буду я тебя, Фома, учить. Самую настоящую, верную науку философию преподам я тебе... и ежели ты ее поймешь — будешь жить без ошибок.

Фома взглянул, как двигаются морщины на лбу старика, и они ему показались похожими на строчки славянской печати.

— Прежде всего, Фома, уж ежели ты живешь на сей земле, то обязан надо всем происходящим вокруг тебя думать. Зачем? А дабы от неразумия твоего не потерпеть тебе и не мог ты повредить людям по глупости твоей. Теперь: у каждого человеческого дела два лица, Фома. Одно на виду у всех — это фальшивое, другое спрятано — оно-то и есть настоящее. Его и нужно уметь найти, дабы понять смысл дела... Вот, к примеру, дома ночлежные, трудолюбивые, богадельни и прочие такие учреждения. Сообрази — на что они?

— Чего же соображать? — скучно сказал Фома. — Известно всем, для чего... для бедных, немощных.

— Эх, брат! Иногда всем бывает известно, что такой-то человек мошенник и подлец, а все-таки все его зовут Иваном иль Петром и величают по батюшке, а не по матушке...

— Это вы к чему?

— А всё к делу... Так вот, говоришь ты, что дома эти для бедных, нищих, стало быть, — во исполнение Христовой заповеди... Ладно! А кто есть нищий? Нищий есть человек, вынужденный судьбой напоминать нам о Христе, он брат Христов, он колокол господень и звонит в жизни для того, чтоб будить совесть нашу, тревожить сытость плоти человеческой... Он стоит под окном и поет: «Христа ра-ади!» и тем пением напоминает нам о Христе, о святом его завете помогать ближнему... Но люди так жизнь свою устроили, что по Христову учению совсем им невозможно поступать, и стал для нас

Иисус Христос совсем лишний. Не единожды, а, может, сто тысяч раз отдавали мы его на пропятие, но всё не можем изгнать его из жизни, зане братия его нищая поет на улицах имя его и напоминает нам о нем... И вот ныне придумали мы: запереть нищих в дома такие особые и чтоб не ходили они по улицам, не будили бы нашей совести.

— Ло-овко! — изумленно прошептал Фома, во все глаза глядя на крестного.

— Ага! — воскликнул Маякин, и глазки его сверкали торжеством.

— Как же это отец-то — не догадался? — беспокойно спросил Фома.

— Ты погоди! Ты еще послушай, дальше-то — хуже будет! Придумали мы запирать их в дома разные и, чтоб не дорого было содержать их там, работать заставили их, стареньких да увечных... И милостыню подавать не нужно теперь, и, убравши с улиц отрешышей разных, не видим мы лютой их скорби и бедности, а потому можем думать, что все люди на земле сыты, обуты, одеты... Вот они к чему, дома эти разные, для скрытия правды они... для изгнания Христа из жизни нашей! Ясно ли?

— Да-а! — сказал Фома, отуманенный ловкой речью старика.

— И еще не всё тут... еще не до дна лужа вычерпана! — воскликнул Маякин, одушевленно взмахивая рукой в воздухе.

Морщины на лице его играли; длинный, хищный нос вздрагивал, и голос дребезжал нотами какого-то азарта и умиления.

— Теперь поглядим на это дело с другого бока. Кто больше всех в пользу бедных жертвует на все эти дома, приюты, богадельни? Жертвуют богатые люди, купечество наше... Хорошо-с! А кто жизнью командует и устраивает ее? Дворяне, чиновники и всякие другие — не наши люди... От них и законы, и газеты, и науки — всё от них. Раньше они были помещиками, теперь земля из-под них выдернута, — они на службу пошли... А кто, по нынешним дням, самые сильные люди? Купец в государстве первая сила, потому что с ним — миллионы! Так ли?

— Так! — согласился Фома, желая скорее услышать то недоговоренное, что сверкало уже в глазах крестного.

— Так вот ты и понимай,— раздельно и внушительно продолжал старик,— жизнь устраивали не мы, купцы, и в устройстве ее и до сего дня голоса не имеем, рук приложить к ней не можем. Жизнь устроили другие, они и развели в ней паршъ всякую, лентяев этих, несчастеньких, убогеньких, а коли они ее развели, они жизнь засорили, они ее испортили — им, по-божьи рассуждая, и чистить ее надлежит! Но чистим ее — мы, на бедных жертвуем — мы, призираем их — мы... Рассуди же ты, пожалуйста: зачем нам на чужое рубище заплату нашивать, ежели не мы его изодрали? Зачем нам дом чинить, ежели не мы в нем жили и не наш он есть? Не умнее ли это будет, ежели мы станем к сторонке и будем до поры до времени стоять да смотреть, как всякая гниль плодится и чужого нам человека душит? Ему с ней не сладить,— средств у него нет. Он к нам и обратится, скажет: «Пожалуйте, господа, помогите!» А мы ему: «Позвольте нам простору для работы! Включите нас в строители оной самой жизни!» И как только он нас включит — тогда-то мы и должны будем единым махом очистить жизнь от всякой скверны и разных лишков. Тогда государь император воочию узрит светлыми очами, кто есть его верные слуги и сколько они в бездействии рук ума в себе накопили... Понял?

— Как же не понять!— воскликнул Фома.

Когда крестный говорил о чиновниках, он вспомнил о лицах, бывших на обеде, вспомнил бойкого секретаря, и в голове его мелькнула мысль о том, что этот кругленький человечек, наверно, имеет не больше тысячи рублей в год, а у него, Фомы,— миллион. Но этот человек живет так легко и свободно, а он, Фома, не умеет, конфузится жить. Это сопоставление и речь крестного возбудили в нем целый вихрь мыслей, но он успел схватить и оформить лишь одну из них.

— В самом деле — для денег, что ли, одних работаешь? Что в них толку, если они власти не дают.

— Ага! — прищурился глаз, сказал Маякин.

— Эх! — обиженно воскликнул Фома.— Как же это отец-то? Говорили вы с ним?



— Двадцать лет говорил...

— Ну, и что он?

— Не доходила до него моя речь... темечко у него толстовато было, у покойного... Душу он держал нараспашку, а ум у него глубоко сидел... Н-да, сделал он промашку... Денег этих весьма и очень жаль...

— Денег мне не жаль...

— Ты бы попробовал нажать хоть десятую долю из них да тогда и говорил...

— Я могу войти? — раздался за дверью голос Любы.

— Можешь... — ответил отец.

— Вы сейчас закусывать станете? — спросила она, входя.

— Давай...

Она подошла к буфету и загремела посудой. Яков Тарасович посмотрел на нее, пожевал губами и вдруг, хлопнув Фому ладонью по колену, сказал ему:

— Так-то, крестник! Вникай...

Фома ответил ему улыбкой и подумал про себя: «А умен... умнее отца-то...»

И тотчас же сам себе, но как бы другим голосом ответил:

«Умнее, но — хуже...»

## V

Двойственное отношение к Маякину всё укреплялось у Фомы: слушая его речи внимательно и с жадным любопытством, он чувствовал, что каждая встреча с крестным увеличивает в нем неприязненное чувство к старику. Иногда крестный возбуждал у крестника чувство, близкое к страху, порой даже физическое отвращение. Последнее обыкновенно являлось у Фомы тогда, когда старик был чем-нибудь доволен и смеялся. От смеха морщины старика дрожали, каждую секунду изменяя выражение лица; сухие и тонкие губы его прыгали, растягивались и обнажали черные обломки зубов, а рыжая бородка точно огнем шлала, и звук смеха был похож на визг ржавых петель. Не умея скрывать своих чувств, Фома часто и очень грубо высказывал их Маякину, но старик как бы не замечал грубости и, не спуская глаз с

крестника, руководил каждым его шагом. Он почти не ходил в свою лавочку, всецело погружаясь в пароходные дела молодого Гордеева и оставляя Фоме много свободного времени. Благодаря значению Маякина в городе и широким знакомствам на Волге дело шло блестяще, но ревностное отношение Маякина к делу усиливало уверенность Фомы в том, что крестный твердо решил женить его на Любе, и это еще более отталкивало его от старика.

Люба и нравилась ему и казалась опасной. Она не выходила замуж, и крестный ничего не говорил об этом, не устраивал вечеров, никого из молодежи не приглашал к себе и Любу не пускал никуда. А все ее подруги уже были замужем... Фома удивлялся ее речам и слушал их так же жадно, как и речи ее отца; но когда она начинала с любовью и тоской говорить о Тарасе, ему казалось, что под именем этим она скрывает иного человека, быть может, того же Ежова, который, по ее словам, должен был почему-то оставить университет и уехать из Москвы. В ней много было простого и доброго, что нравилось Фоме, и часто она речами своими возбуждала у него жалость к себе: ему казалось, что она не живет, а бредит наяву.

Его выходка на поминках по отце распространилась среди купечества и создала ему нелестную репутацию. Бывая на бирже, он замечал, что все на него поглядывают недоброжелательно и говорят с ним как-то особенно. Раз даже он услышал за спиной у себя негромкий, но презрительный возглас:

— Гордионишко! Молокосос...

Он не обернулся посмотреть, кто бросил эти слова. Богатые люди, сначала возбуждавшие в нем робость перед ними, утрачивали в его глазах обаяние. Не раз они уже вырывали из рук его ту или другую выгодную поставку; он ясно видел, что они и впредь это сделают, все они казались ему одинаково алчными до денег, всегда готовыми надуть друг друга. Когда он сообщил крестному свое наблюдение, старик сказал:

— А как же? Торговля — всё равно, что война, — азартное дело. Тут бьются за суму, а в суме — душа...

— Не нравится это мне, — заявил Фома.

— И мне не всё нравится,— фальши много! Но напрямки ходить в торговом деле совсем нельзя, тут нужна политика! Тут, брат, подходя к человеку, держи в левой руке мед, а в правой — нож.

— Не очень хорошо это,— задумчиво сказал Фома.

— Хорошо — дальше будет... Когда верх возьмешь, тогда и хорошо.... Жизнь, брат Фома, очень просто поставлена: или всех грызи, или лежи в грязи...

Старик улыбался, и обломки зубов во рту его звывали у Фомы острую мысль: «Многих, видно, ты загрыз...»

— Лучше-то ничего нет? Тут — всё?

— Где же — кроме? Всякий себе лучшего желает... А что оно, лучше? Вперед людей уйти, выше их стать. Вот все и стараются достичь первого места в жизни... иной так, иной этак... но все обязательно хотят, чтоб их, как колокольни, издали было видать. К этому человек и назначен, к возвышению... Даже в книге Иова это выражено: «Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». Ты посмотри: ребятишки в играх и то друг друга всегда превзойти хотят. И всякая игра всегда свой высокий пункт имеет, чем она и занята... Понял?

— Это я понимаю! — сказал Фома.

— Это надо чувствовать... С одним понятием никуда не допрыгаешь, и ты еще пожелай, так пожелай, чтобы гора тебе — кочка, море тебе — лужа! Эх! Я, бывало, в твои годы играючи жил! А ты всё еще нацеливаешься...

Однообразные речи старика скоро достигли того, на что были рассчитаны: Фома вслушался в них и уяснил себе цель жизни. Нужно быть лучше других,— затвердил он, и возбужденное стариком честолюбие глубоко въелось в его сердце... Въелось, но не заполнило его, ибо отношения Фомы к Медынской приняли тот характер, который роковым образом должны были принять. Его тянуло к ней, ему всегда хотелось видеть ее, а при ней он робел, становился неуклюжим, глупым, знал это и страдал от этого. Он часто бывал у нее, но ее трудно было застать дома одну: около нее всегда, как мухи над куском сахара, кружились раздушенные щеголи. Они говорили с ней по-французски, пели, хохотали, а он

молчал и смотрел на них, полный злобы и зависти. Поджав ноги, он сидел где-нибудь в уголке ее пестро убранной гостиной и угрюмо наблюдал.

Пред ним, по мягким коврам, бесшумно мелькала она, кидая ему ласковые взгляды и улыбки, за ней увивались ее поклонники, и все они так ловко, точно змея, обходили разнообразные столики, стулья, экраны — целый магазин красивых и хрупких вещей, разбросанных по комнате с небрежностью, одинаково опасной и для них и для Фомы. Когда он шел, ковер не заглушал его шагов, и все эти вещи цеплялись за его сюртук, тряслись, падали. Был там около рояля бронзовый матрос, размахнувшийся, чтоб кинуть спасательный круг, на круге висели веревки из проволоки, и они постоянно дергали Фому за волосы. Всё это возбуждало смех у Софьи Павловны и ее поклонников, но очень дорого стоило Фоме, бросая его то в жар, то в холод.

Но ему было не легче и наедине с ней. Встречая его ласковой улыбкой, она усаживалась с ним в одном из уютных уголков гостиной и обыкновенно начинала разговор с того, что, изгибаясь кошкой, заглядывала ему в глаза темным взглядом, в котором вспыхивало что-то жадное.

— Я так люблю говорить с вами, — музыкально растягивая слова, пела она. — Все эти — мне надоели... они скучные, ординарные, изношенные. А вы — свежий, искренний. Ведь вы их тоже не любите?

— Терпеть не могу! — твердо ответил Фома.

— А меня? — тихонько спрашивала она.

Фома отводил глаза в сторону и, вздыхая, говорил:

— Который раз вы это спрашиваете...

— Вам трудно сказать?

— Не трудно... да зачем?

— Мне нужно знать это...

— Играете вы со мной... — угрюмо говорил Фома.

А она широко открывала глаза и тоном глубокого изумления спрашивала:

— Как играю? Что значит — играть?

И лицо у нее было такое ангельское, что он не мог не верить ей.

— Люблю я вас, люблю! Разве это можно — не любить вас? — горячо говорил он, и тотчас же пониженным голосом с грустью добавлял: — Да ведь вам это не нужно!..

— Вот вы и сказали! — удовлетворенно вздыхала Медынская и отодвигалась от него подальше. — Мне всегда страшно приятно слушать, как вы это говорите... молодое, цельно... Хотите поцеловать мне руку?

Он молча схватывал ее белую, тонкую ручку и, осторожно склоняясь к ней, горячо и долго целовал ее. Она вырывала руку, улыбающаяся, грациозная, но ничуть не взволнованная его горячностью. Задумчиво, с этим, всегда смущавшим Фому, блеском в глазах, она рассматривала его, как что-то редкое, крайне любопытное, и говорила:

— Сколько у вас здоровья, сил, душевной свежести... Вы знаете — ведь вы, купцы, еще совершенно не жившее племя, целое племя с оригинальными традициями, с огромной энергией души и тела... Вот вы, например: ведь вы драгоценный камень, и если вас отшлифовать... о!

Когда она говорила: у вас, по-вашему, по-купчески, — Фоме казалось, что этими словами она как бы отталкивает его от себя. Это было и грустно и обидно. Он молчал, глядя на ее маленькую фигурку, всегда как-то особенно красиво одетую, всегда благоухающую, как цветок, и девически нежную. Порой в нем вспыхивало дикое и грубое желание схватить ее и целовать. Но красота и эта хрупкость тонкого и гибкого тела ее возбуждали в нем страх изломать, изувечить ее, а спокойный, ласковый голос и ясный, но как бы подстерегающий взгляд охлаждал его порывы: ему казалось, что она смотрит прямо в душу и понимает все думы... Эти взрывы чувства были редки, вообще же юноша относился к Медынской с обожанием, удивляясь всему в ней — ее красоте, речам, ее одежде. И рядом с этим обожанием в нем всегда жило мучительно острое сознание его отдаленности от нее, ее превосходства над ним.

Такие отношения установились у них быстро; в двести встречи Медынская вполне овладела юношей и на-

чала медленно пытаться его. Ей, должно быть, правилась власть над здоровым, сильным парнем, правилось будить и укрощать в нем зверя только голосом и взглядом, и она наслаждалась игрой с ним, уверенная в силе своей власти. Он уходил от нее полубольной от возбуждения, унося обиду на нее и злобу на себя. А через два дня снова являлся для пытки.

Однажды он робко спросил ее:

— Софья Павловна!.. Были у вас дети?

— Нет...

— Я так и знал! — с радостью вскричал Фома.

Она взглянула на него глазами совсем маленькой и наивной девочки и сказала:

— Почему же вы это знали? И зачем вам знать, были ли у меня дети?

Фома покраснел, наклонил голову и начал говорить ей глухо и так, точно выталкивая слова из-под земли, и каждое слово весило несколько пудов.

— Видите... ежели женщина, которая... то есть родила, то у нее глаза... совсем не такие...

— Да-а? Какие же?

— Бесстыжие! — бухнул Фома.

Медынская рассмеялась своим серебристым смехом, и Фома, глядя на нее, рассмеялся.

— Вы простите! — сказал он наконец. — Я, может, нехорошо... неприлично сказал...

— О, нет, нет! Вы не можете сказать ничего неприличного... вы чистый, милый мальчик. Итак, у меня глаза не бесстыжие?

— У вас — как у ангела! — восторженно объявил Фома, глядя на нее сияющим взглядом.

А она взглянула на него так, как не смотрела еще до этой поры, — взглядом женщины-матери, грустным взглядом любви, смешанной с опасением за любимого.

— Идите, голубчик... Я устала и хочу отдохнуть... — сказала она ему, вставая и не глядя на него.

Он покорно ушел.

Некоторое время после этого случая она держалась с ним более строго и честно, точно жалея его, но потом отношения приняли снова форму игры кошки с мышью.

Отношения Фомы к Медынской не могли укрыться от крестного, и однажды старик, скорчив ехидную рожу, спросил его:

— Фома! Ты почаще голову щупай, чтоб не потерять тебе ее случаем.

— Это вы насчет чего? — спросил Фома.

— А насчет Соньки, больно уж часто ты к ней ходишь.

— Что вам? — грубовато сказал Фома. — И какая она для вас Сонька?

— Мне — ничего, меня не убудет оттого, что тебя обгложут. А что ее Сонькой зовут — это всем известно... И что она любит чужими руками жар загребать — тоже все знают.

— Она умная! — твердо объявил Фома, хмурясь и пряча руки в карманы. — Образованная...

— Умная, это верно! Образованная... Она тебя обрадует... Особенно шалопаи, которые вокруг нее...

— Не шалопаи, а... тоже умные люди! — злобно возразил Фома, уже сам себе противореча. — И я от них учусь... Я что? Ни в дудку, ни поплясать... Чему меня учили? А там обо всем говорят... всякий свое слово имеет. Вы мне на человека похожим быть не мешайте.

— Фу-у! Ка-ак ты говорить научился! То есть как град по крыше... сердито! Ну ладно, — будь похож на человека... только для этого безопаснее в трактир ходить; там человеки всё же лучше Софьиных... А ты бы, парень, все-таки учился бы людей-то разбирать, который к чему... Например — Софья... Что она изображает? Насекомая для украшения природы и больше — ничего!

Возмущенный до глубины души, Фома стиснул зубы и ушел от Маякина, еще глубже засунув руки в карманы. Но старик вскоре снова заговорил о Медынской.

Они возвращались из затона после осмотра пароходов и, сидя в огромном и покойном возке, дружелюбно и оживленно разговаривали о делах. Это было в марте: под полозьями саней всхлипывала вода, снег почти стаял, солнце сияло в ясном небе весело и тепло.

— Приедешь,— к барыне своей первым делом пойдешь? — неожиданно спросил Маякин, прервав деловой разговор.

— Схожу,— недовольно ответил Фома.

— Мм... Что, скажи, часто подарки делаешь ты ей? — просто и как-то задумчиво спросил Маякин.

— Какие подарки? Зачем? — удивился Фома.

— Не даришь? Ишь ты... Неужто она просто так, по любви живет с тобой?

Фома вспыхнул от гнева и стыда, круто повернулся к старику и укоризненно сказал:

— Эх! Старый ведь вы человек, а говорите — стыдно слушать! Да разве она пойдет на это?

Маякин чмокнул губами и унылым голосом пропел:

— Какой ты ду-убина! Какой ду-урачина! — и, внезапно озлившись, плюнул.— Тьфу тебе! Всякий скот пил из кринки, остались подонки, а дурак из грязного горшка сделал божка!.. Чё-орт! Ты иди к ней и прямо говори: «Желаю быть вашим любовником,— человек я молодой, дорого не берите».

— Крестный! — угрюмо и грозно сказал Фома.— Я этого слушать не могу. Ежели бы кто другой...

— Да кто, кроме меня, остережет тебя? А ба-а-тюшки! — завонил Маякин, всплескивая руками.— Это она тебя всю зиму за нос и водила? Ну но-ос! Ах она, стервоза!

Старик был возмущен; в голосе его звучали досада, злоба, даже слезы. Фома никогда еще не видал его таким и невольно молчал.

— Ведь она испортит тебя! Ах, блудница вавилонская!..

Глаза Маякина учащенно мигали, губы вздрагивали, и грубыми, циничными словами он начал говорить о Медынской, азартно, с злобным визгом.

Фома чувствовал, что старик говорит правду. Ему стало тяжело дышать.

— Ладно, папаша, будет... — тихо и тоскливо попросил он, отвертываясь в сторону от Маякина.

— Эх, надо тебе скорее жениться! — тревожно вскричал старик.

— Христа ради, не говорите! — глухо молвил Фома.



Маякин взглянул на крестника и умолк. Лицо Фомы вытянулось, побледнело, и было много тяжелого и горького изумления в его полуоткрытых губах и в тоскующем взгляде... Справа и слева от дороги лежало поле, покрытое клочьями зимних одежд. По черным проталинам хлопотливо прыгали грачи. Под полозьями всхлипывала вода, грязный снег вылетал из-под ног лошадей...

— Ну и глуп же человек в своей юности! — негромко воскликнул Маякин. — Стоит перед ним пень дерева, а он видит — морда зверева... о-хо-хо!

— Говорите прямыми словами, — угрюмо сказал Фома.

— Чего тут говорить? Дело ясное: девки — сливки, бабы — молоко; бабы — близко, девки — далеко... стало быть, иди к Соньке, ежели без этого не можешь, — и говори ей прямо — так, мол, и так... Дурашка! Чего ж ты дуешься? Чего пыжишься?

— Не понимаете вы... — тихо сказал Фома.

— Чего я не понимаю? Я всё понимаю!

— Сердца, — сердце есть у человека!.. — тихо сказал юноша.

Маякин прищурил глаза и ответил:

— Ума, значит, нет...

## VI

Охваченный тоскливой и мстительной злобой приехал Фома в город. В нем кипело страстное желание оскорбить Медынскую, надругаться над ней. Крепко стиснув зубы и засунув руки глубоко в карманы, он несколько часов кряду расхаживал по пустынным комнатам своего дома, сурово хмурил брови и всё выпячивал грудь вперед. Сердцу его, полному обиды, было тесно в груди. Он тяжело и мерно топал ногами по полу, как будто ковал свою злобу.

— Подлая... ангелом нарядилась!

Порой надежда робким голосом подсказывала ему: «Может, всё это клевета...»

Но он вспоминал азартную уверенность и силу речей крестного и крепче стискивал зубы, еще более выпячивал грудь вперед.

Маякин, бросив в грязь Медынскую, тем самым сделал ее доступной для крестника, и скоро Фома понял это. В деловых весенних хлопотах прошло несколько дней, и возмущенные чувства Фомы затихли. Грусть о потере человека притушила злобу на женщину, а мысль о доступности женщины усилила влечение к ней. Незаметно для себя он решил, что ему следует пойти к Софье Павловне и прямо, просто сказать ей, чего он хочет от нее, — вот и всё!

Прислуга Медынской привыкла к его посещениям, и на вопрос его «дома ли барыня?» — горничная сказала: — Пожалуйте в гостиную...

Он оробел немножко... но, увидав в зеркале свою статную фигуру, обтянутую сюртуком, смуглое свое лицо в рамке пушистой черной бородки, серьезное, с большими темными глазами, — приподнял плечи и уверенно пошел вперед через зал...

А навстречу ему тихо плыли звуки струн — странные такие звуки: они точно смеялись тихим, невеселым смехом, жаловались на что-то и нежно трогали сердце, точно просили внимания и не надеялись, что получат его... Фома не любил слушать музыку — она всегда вызывала в нем грусть. Даже когда «машина» в трактире начинала играть что-нибудь заунывное, он ощущал в груди тоскливое томление и просил остановить «машину» или уходил от нее подальше, чувствуя, что не может спокойно слушать этих речей без слов, но полных слез и жалоб. И теперь он невольно остановился у дверей в гостиную.

Дверь была завешена длинными нитями разноцветного бисера, нанизанного так, что он образовал причудливый узор каких-то растений; нити тихо колебались, и казалось, что в воздухе летают бледные тени цветов. Эта прозрачная преграда не скрывала от глаз внутренности гостиной. Медынская, сидя на кушетке в своем любимом уголке, играла на мандолине. Большой японский зонтик, прикрепленный к стене, осенял пестротой своих красок маленькую женщину в темном платье; высокая бронзовая лампа под красным абажуром обливала ее светом вечерней зари. Нежные звуки тонких струн печально дрожали в тесной комнате, полной мяг-

кого и душистого сумрака. Вот женщина опустила мандолину на колени себе и, продолжая тихонько трогать струны, стала пристально всматриваться во что-то впереди себя.

Фома смотрел на нее и видел, что наедине сама с собой она не была такой красивой, как при людях,— ее лицо серьезнее и старей, в глазах нет выражения ласки и кротости, смотрят они скучно. И поза ее была усталой, как будто женщина хотела подняться и — не могла.

Юноша кашлянул...

— Кто это? — тревожно вздрогнув, спросила женщина. И струны вздрогнули, издав тревожный звук.

— Это я,— сказал Фома, откидывая рукой нити бисера.

— А! Но как вы тихо... Рада видеть вас... Садитесь!.. Почему так давно не были?

Протягивая ему руку, она другой указывала на маленькое кресло около себя, и глаза ее улыбались радостно.

— Ездил в затон пароходы смотреть,— говорил Фома с преувеличенной развязностью, подвигая кресло ближе к кушетке.

— Что, в полях еще много снега?

— Сколько вам угодно... Но здорово тает. По дорогам — вода везде...

Он смотрел на нее и улыбался. Должно быть, Медынская заметила развязность его поведения и новое в его улыбке — она оправила платье и отодвинулась от него. Их глаза встретились — и Медынская опустила голову.

— Тает! — задумчиво сказала она, разглядывая кольцо на своем мизинце.

— Н-да... ручьи везде...— любуясь своими ботинками, сообщил Фома.

— Это хорошо... Весна идет...

— Уж теперь не задержит...

— Придет весна,— повторила Медынская негромко и как бы вслушиваясь в звук слов.

— Влюбляться станут люди,— усмехнувшись, сказал Фома и зачем-то крепко потер руки.

— Вы собираетесь? — сухо спросила Медынская.

— Мне — нечего... я — давно!.. Влюблен на всю жизнь...

Она мельком взглянула на него и снова начала играть, задумчиво говоря:

— Как это хорошо, что вы только еще начинаете жить... Сердце полно силы... и нет в нем ничего темного...

— Софья Павловна! — тихо воскликнул Фома.

Она ласковым жестом остановила его.

— Подождите, голубчик! Сегодня я могу сказать вам... что-то хорошее... Знаете — у человека, много прожившего, бывают минуты, когда он, заглянув в свое сердце, неожиданно находит там... нечто давно забытое... Оно лежало где-то глубоко на дне сердца годы... но не утратило благоухания юности, и когда память дотронется до него... тогда на человека повеет... живой свежестью утра дней...

Струны под ее пальцами дрожали, плакали, Фоме казалось, что звуки их и тихий голос женщины ласково и нежно щекочат его сердце... Но, твердый в своем решении, он вслушивался в ее слова и, не понимая их содержания, думал:

«Говори! Теперь уж не поверю никаким твоим речам...»

Это раздражало его. Ему было жалко, что он не может слушать ее речь так внимательно и доверчиво, как раньше, бывало, слушал...

— Вы думаете о том, как нужно жить? — спросила женщина.

— Иной раз подумаешь — а потом опять забудешь. Некогда! — сказал Фома и усмехнулся. — Да и что думать? Видишь, как живут люди... ну, стало быть, надо им подражать.

— Ах, не делайте этого! Пожалейте себя... Вы такой... славный!.. Есть в вас что-то особенное, — что? Не знаю! Но это чувствуется... И мне кажется, вам будет ужасно трудно жить... Я уверена, что вы не пойдете обычным путем людей вашего круга... нет! Вам не может быть приятна жизнь, целиком посвященная погоне за рублем... о, нет! Я знаю, — вам хочется чего-то иного... да?

Она говорила быстро, с тревогой в глазах. Фома думал, глядя на нее:

«К чему это она клонит?»

Подвинувшись к нему, она заглядывала в лицо его, убедительно говоря:

— Устройте себе жизнь как-нибудь иначе... Вы сильный, молодой... хороший!..

— А коли хорош я, так и мне должно быть хорошо! — воскликнул Фома, чувствуя, как им овладевает волнение и сердце начинает трепетно биться...

— Ах, на земле всегда хорошим хуже, чем дурным!.. — с грустью сказала Медынская.

И снова из-под пальцев ее запрыгали дрожащие нотки музыки. Фома почувствовал, что, если он сейчас не начнет говорить то, что нужно, — позднее он ничего не скажет ей...

«Господи, благослови!» — мысленно произнес он и пониженным голосом, с напряжением в груди начал:

— Софья Павловна! Будет уж!.. Мне надо говорить... Я пришел сказать вам вот что: будет! Надо поступать прямо... открыто... Привлекали вы меня к себе сначала... а теперь вот отгораживаетесь от меня... Я не пойму, что вы говорите... у меня ум глухой... но я ведь чувствую — спрятать себя вы хотите... я вижу — понимаете вы, с чем я пришел!

Его глаза разгорались, и с каждым словом голос становился горячее и громче. Она качнулась всем корпусом вперед и тревожно сказала:

— О, перестаньте...

— Нет уж — буду говорить!

— Я знаю, что вы хотите сказать...

— Не всё вы знаете! — с угрозой сказал Фома, вставая на ноги. — А вот я всё знаю про вас — всё!

— Да? Тем лучше для меня! — спокойно проговорила Медынская.

Она тоже встала с кушетки, как бы желая уйти куда-то, но, постояв секунды две, снова опустилась на свое место. Лицо у нее было серьезное, губы плотно сжаты, но глаза она опустила, и Фома не видел их выражения. Он думал, что когда скажет ей: «Я всё знаю про вас!» — она испугается, ей будет стыдно, и, сму-

щенная, она попросит у него прощения за то, что играла с ним. Тогда он крепко обнимет ее и простит. Но этого не вышло: он сам смутился пред ее спокойствием, смотрел на нее, искал слов, чтобы продолжать свою речь, и не находил их.

— Тем лучше... — повторила она сухо и твердо. — Так вы узнали всё, да? И, конечно, осудили меня, как и следовало... Я понимаю... я виновата пред вами... Но... нет, я не буду оправдываться...

Она замолчала, вдруг нервным жестом подняв руки вверх, схватилась за голову... И стала опрашивать волосы...

Фома глубоко вздохнул. Слова Медынской убили в нем какую-то надежду, — надежду, присутствие которой в сердце своем он ощутил лишь теперь, когда она была убита. И с горьким упреком, покачивая головой, он сказал:

— Бывало, смотрел я на вас и думал: «Экая она красивая, хорошая... Голубка!..» А вы вот сами говорите — виновата... эхма!

Голос его оборвался. А женщина тихонько засмеялась.

— Какой вы славный и смешной...

Парень смотрел на нее, чувствуя себя обезоруженным ее ласковыми словами и печальной улыбкой. То холодное и жесткое, что он имел в груди против нее, — таяло в нем от теплого блеска ее глаз. Женщина казалась ему теперь маленькой, беззащитной, как дитя. Она говорила что-то ласковым голосом, точно упрашивала, и всё улыбалась; но он не вслушивался в ее слова.

— Пришел я к вам, — заговорил он, перебивая ее речь, — без жалости!.. Думал — я ей скажу! А ничего не сказал... и не хочется... Сердце упало... Дышите вы на меня как-то... Эх, напрасно я увидал вас! Что вы мне? Уходить, видно, надо...

— Подождите, голубчик, не уходите! — торопливо сказала женщина, протягивая к нему руку. — Зачем же так... сурово? Не сердитесь на меня! Что я вам? Вам нужна иная подруга, такая же простая, здоровая душою, как сами вы... Она должна быть веселая, бодрая... Я ведь уже старуха... Я вот тоскую... так пусто и скучно

живется мне... так пусто! Знаете,— когда человек привыкнет жить весело, а радоваться не может,— плохо ему! Смеется не он,— жизнь смеется над ним... А люди... Послушайте! Как мать, советую вам, прошу и умоляю вас — не слушайте никого, кроме вашего сердца! Живите так, как оно вам подскажет. Люди ничего не знают, ничего не могут сказать верного... не слушайте их!

Стараясь говорить проще и понятнее, она волновалась, и слова ее речи сыпались одно за другим торопливо, несвязно. На губах ее всё время играла жалобная усмешка.

— Жизнь строга... она хочет, чтоб все люди подчинялись ее требованиям, только очень сильные могут безнаказанно сопротивляться ей... Да и могут ли? О, если б вы знали, как тяжело жить... Человек доходит до того, что начинает бояться себя... он раздвояется на судью и преступника, и судит сам себя, и ищет оправдания перед собой... и он готов и день и ночь быть с тем, кого презирает, кто противен ему,— лишь бы не быть наедине с самим собой!

Фома поднял голову и сказал недоверчиво и с удивлением:

— Не пойму никак я — что такое? И Любовь то же говорит...

— Какая — Любовь? Что говорит?

— Сестра... То же самое.— на жизнь всё жалуется. Нельзя, говорит, жить...

— О, большое счастье, что уже теперь она говорит об этом...

— Сча-астье! Хорошо счастье, от которого стонут да жалобятся...

— Вы — слушайте,— в жалобах людей всегда много мудрости... Мудрость — это боль...

Фома слушал убедительно звучащий голос женщины и с недоумением оглядывался. Всё было давно знакомо ему, но сегодня всё смотрело как-то ново, хотя та же масса мелочей заполняла комнату, стены были покрыты картинами, полочками, красивые и яркие вещицы отовсюду лезли в глаза. Красноватый свет лампы тревожное наводил уныние. Сумрак лежал на всем, кое-где из него тускло блестело золото рам, белые пятна

фарфора. Тяжелые материи неподвижно висели на дверях. Всё это стесняло, давило Фому, и он чувствовал себя заплутавшимся. Ему жалко было женщину. Но она и раздражала его.

— Вы слышите, как я говорю с вами? Я хотела бы быть вашей матерью, сестрой... Никогда никто не вызывал во мне такого теплого чувства, как вы... А вы смóтрите на меня так... недружелюбно... Верите вы мне? да? нет?

Он посмотрел на нее и сказал, вздыхая:

— Не знаю! Верил я...

— А теперь? — быстро спросила она.

— А теперь — уйти мне лучше! Не понимаю я ничего... И себя я не понимаю... Шел я к вам и знал, что сказать... А вышла какая-то путаница... Наташили вы меня на рожон, раззадорили... А потом говорите — я тебе мать! Стало быть, — отвяжись!

— Поймите — мне жалко вас! — тихо воскликнула женщина.

Раздражение против нее всё росло у Фомы, и по мере того, как он говорил, речь его становилась насмешливой... Говоря, он встряхивал плечами, точно рвал опутавшее его.

— Жалко?.. Этого мне не надо... Эх, говорить я не могу! Но — сказал бы я вам!.. Нехорошо вы со мной сделали — зачем, подумашь, завлекали человека? Али я вам игрушка?

— Мне только хотелось видеть вас около себя... — сказала женщина просто и виноватым голосом.

Он не слышал этих слов.

— А как дошло до дела — испугались вы и отгородились от меня... Каяться стали... Жизнь плохая! И что вы всё на жизнь жалуетесь? Какая жизнь? Человек — жизнь, и, кроме человека, никакой еще жизни нет... А вы еще какое-то чудовище выдумали... это вы — для отвода глаз, для оправдания себя... Набалуете, заплутаетесь в разных выдумках и — стонать! «Ах, жизнь! Ох, жизнь!» А не сами вы ее делали? И, себя жалобами прикрывая, — других смущаете... Ну, сбились вы с дороги, а меня зачем сбивать? Злость, что ли, это в вас: дескать, — мне плохо, пусть и тебе будет



плохо, — на же! Так, что ли? Эх вы! Красоту вам бог дал ангельскую, а сердце где у вас?

Он вздрагивал весь, стоя против нее, и оглядывал ее с ног до головы укоризненным взглядом. Теперь слова выходили из груди у него свободно, говорил он негромко, но сильно, и ему было приятно говорить. Женщина, подняв голову, всматривалась в лицо ему широко открытыми глазами. Губы у нее вздрагивали, и резкие морщинки явились на углах их.

— Красивый человек и жить хорошо должен... А про вас вон говорят... — Голос его оборвался, и, махнув рукой, он глухо закончил: — Прощайте!

— Прощайте!.. — тихонько сказала Медынская.

Он не подал ей руки и, круто повернувшись, пошел прочь от нее. Но у двери в зал почувствовал, что ему жалко ее, и посмотрел на нее через плечо. Она стояла там, в углу, одна, руки ее неподвижно лежали вдоль туловища, а голова была склонена.

Он понял, что нельзя ему так уйти, смутился и тихо, но без раскаяния проговорил:

— Может, я обидное что сказал — простите! Все-таки я... люблю вас... — Он тяжело вздохнул, а женщина тихонько и странно засмеялась...

— Нет, вы не обидели меня... Идите с богом!

— Ну, так прощайте! — повторил Фома еще тише.

— Да... — так же тихо ответила женщина.

Фома отбросил рукой нити бисера; они колыхнулись, зашуршали и коснулись его щеки. Он вздрогнул от этого холодного прикосновения и ушел, унося в груди смутное, тяжелое чувство, — сердце билось так, как будто на него накинута была мягкая, но крепкая сеть...

Уж ночь была, светила луна, мороз покрыл лужи пленками серебра. Фома шел по тротуару и разбивал тростью эти пленки, а они грустно хрустели. Тени от домов лежали на дороге черными квадратами, а от деревьев — причудливыми узорами. И некоторые из них были похожи на тонкие руки, беспомощно хватавшиеся за землю...

«Что она теперь делает?» — думал Фома, представляя себе женщину одинокую, в углу тесной комнаты, среди красноватого сумрака...

«Лучше мне забыть про нес...» — решил он. Но забыть нельзя было, она стояла перед ним, вызывая в нем то острую жалость, то раздражение и даже злобу. Образ ее был так ярок и думы о ней так тяжелы, точно он нес эту женщину в груди своей... Навстречу ему ехала пролетка, наполняя тишину ночи дребезгом колес по камням и скрипом их по льду. Извозчик и седок качались и подпрыгивали в ней; оба они зачем-то нагнулись вперед и вместе с лошадей составляли одну большую черную массу. Улица была испещрена пятнами света и теней, но вдаль мрак был так густ, точно стена загораживала улицу, возвышаясь от земли до неба. Фоме почему-то подумалось, что эти люди не знают, куда едут... И сам он тоже не знает, куда идет... Ему представился свой дом — шесть больших комнат. Тетка Анфиса уехала в монастырь и, может быть, уже не воротится оттуда, умрет... Дома — Иван, дворник, Секлетей — старая дева, кухарка и горничная, да черная лохматая собака, с тупым, как у сома, рылом. И собака тоже старая...

«Пожалуй, надо жениться...» — вздохнув, подумал Фома.

Но ему стало неловко и даже смешно при мысли о том, как легко ему жениться. Можно завтра же сказать крестному, чтоб он сватал невесту, и — месяца не пройдет, как уже в доме вместе с ним будет жить женщина. И день и ночь будет около него. Скажет он ей: «Пойдем гулять!» — и она пойдет... Скажет: «Пойдем спать!» — тоже пойдет... Захочется ей целовать его — и она будет целовать, если бы он и не хотел этого. А сказать ей «не хочу, уйди!» — она обидится... О чем с ней можно будет говорить? Он вспоминал знакомых барышень. Некоторые из них были красивы, и он знал, что любая охотно пойдет за него. Но ни одну из них он не хотел бы видеть женой своей... Как это, должно быть, стыдно и неловко, когда девушка становится женой... И — что говорят друг другу молодые, после венца, в спальне? Фома попробовал подумать над тем, что бы он сказал в этом случае, и сконфуженно засмеялся, не находя никаких удобных слов... Потом ему вспомнилась Люба Маякина. Эта, наверное, сама бы

первая заговорила, какими-нибудь чужими ей и бестолковыми словами... Ему казалось почему-то, что все слова у нее чужие и что она не то говорит, что должна говорить девушка ее лет, наружности и происхождения...

Тут его мысль остановилась на жалобах Любви. Он пошел тише, пораженный тем, что все люди, с которыми он близок и помногу говорит, — говорят с ним всегда о жизни. И отец, и тетка, крестный, Любовь, Софья Павловна — все они или учат его понимать жизнь, или жалуются на нее. Ему вспомнились слова о судьбе, сказанные стариком на пароходе, и много других замечаний о жизни, упреков ей и горьких жалоб на нее, которые он мельком слышал от разных людей.

«Что это значит? — думалось ему, — что такое жизнь, если это не люди? А люди всегда говорят так, как будто это не они, а есть еще что-то, кроме людей и оно мешает им жить».

Жуткое чувство страха охватило парня; он вздрогнул и быстро оглянулся вокруг. На улице было пустынно и тихо; темные окна домов тускло смотрели в сумрак ночи, и по стенам, по заборам следом за Фомой двигалась его тень.

— Извозчик! — громко закричал он, ускоряя шаги. Тень встрепенулась и пугливо поползла за ним, безмолвная и черная.

## VII

Прошло с неделю времени после разговора с Медынской. И дни и ночи образ ее неотступно стоял пред Фомой, вызывая в сердце ноющее чувство. Ему хотелось пойти к ней, он болел от желания снова быть около нее, но хмурился и не хотел уступить этому желанию, усердно занимаясь делами и возбуждая в себе злобу против женщины. Он чувствовал, что если он пойдет к ней, то увидит ее не такой уже, какой оставил, в ней что-то должно измениться после разговора с ним, и уже не встретит она его так ласково, как раньше встречала, не улыбнется ему ясной улыбкой, возбуждавшей в нем какие-то особенные думы и надежды. Боясь, что этого

не будет, а должно быть что-то другое, он удерживал себя и мучился...

Работа и тоска о женщине не мешали ему думать и о жизни. Он не рассуждал об этой загадке, вызывавшей в сердце его тревожное чувство,— он не умел рассуждать; но стал чутко прислушиваться ко всему, что люди говорили о жизни. Они ничего не выясняли ему, а лишь увеличивали недоумение и порождали в нем подозрительное чувство к ним. Они были ловки, хитры и умны — он это видел; в делах с ними всегда нужно было держаться осторожно; он знал уже, что в важных случаях никто из них не говорит того, что думает. И, внимательно следя за ними, он чувствовал, что вздохи их и жалобы на жизнь вызывают в нем недоверие. Молча, подозрительным взглядом он присматривался ко всем, и тонкая морщина разрезала его лоб...

Однажды утром, на бирже, крестный сказал ему:

— Ананий приехал... Зовет тебя... Ты вечером сходи к нему, да, смотри, язык-то свой попридержи... Ананий будет его раскачивать, чтоб ты о делах позвонил... Хитрый, старый чёрт... Преподобная лиса... возведет очи в небеса, а лапу тебе за пазуху запустит да кошель-то и вытащит... Поостерегись!..

— Должны мы ему? — спросил Фома.

— А как же! За баржу не заплачено да дров взято пятериков полсотни недавно... Ежели будет всё сразу просить — не давай... Рубль — штука клейкая: чем больше в твоих руках повертится, тем больше копеек к нему пристанет...

— Да ведь как же ему не отдать, если он потребует?

— А пускай он плачет — просит, ты же реви — да не давай!

Ананий Саввич Щуров был крупный торговец лесом, имел огромную лесосоилку, строил баржи, гонял плоты... Он вел дела с Игнатом, и Фома не раз видел этого высокого и прямого, как сосна, старика с огромной белой бородой и длинными руками. Его большая и красивая фигура с открытым лицом и ясным взглядом вызывала у Фомы чувство уважения к Щурову, хотя он слышал от людей, что этот «лесовик» разбогател не от честного труда и нехорошо живет у себя дома, в глухом селе лес-

ного уезда. Отец рассказывал Фоме, что Щуров в молодости, когда еще был бедным мужиком, приоттил у себя в огороде, в бане, каторжника и каторжник работал для него фальшивые деньги. С той поры и начал Ананий богатеть. Однажды баня у него сгорела, и в пепле ее нашли обугленный труп человека с расколотым черепом. Говорили на селе, что Щуров сам убил работника своего, — убил и сжег. Такие речи говорились о многих богачах города, — все они будто бы скопили миллионы путем грабежей, убийств, а главное — сбытом фальшивых денег. Фома с детства прислушивался к подобным рассказам и никогда не думал о том, верны они или нет.

Знал он также о Щурове, что старик изжил двух жен, — одна из них умерла в первую ночь после свадьбы в объятиях Анания. Затем он отбил жену у сына своего, а сын с горя запил и чуть не погиб в пьянстве, но вовремя опомнился и ушел спасаться в скиты, на Иргиз. А когда померла сноха-любовница, Щуров взял в дом себе немую девочку-нищую, по сей день живет с ней, и она родила ему мертвого ребенка... Идя к Ананию в гостиницу, Фома невольно вспоминал всё, что слышал о старике от отца и других людей, и чувствовал, что Щуров стал странно интересен для него.

Когда Фома, отворив дверь, почтительно остановился на пороге маленького номера с одним окном, из которого видна была только ржавая крыша соседнего дома, — он увидал, что старый Щуров только что проснулся, сидит на кровати, упершись в нее руками, и смотрит в пол, согнувшись так, что длинная белая борода лежит на коленях. Но, и согнувшись, он был велик...

— Кто вошел? — не поднимая головы, спросил Ананий сильным и сердитым голосом.

— Я. Здравствуйте, Ананий Саввич...

Старик медленно поднял голову и, прищуриль большие глаза, взглянул на Фому.

— Игнатов сын, что ли?

— Он самый...

— Ну... Садись вон к окну, — поглядим, каков ты! Чаем, что ли, попоить?

— Я бы выпил...

— Коридорный! — крикнул старик, напрягая грудь, и, забрав бороду в горсть, стал молча рассматривать Фому. Фома тоже исподлобья смотрел на него.

Высокий лоб старика весь изрезан морщинами. Седые, курчавые пряди волос покрывали его виски и острые уши; голубые, спокойные глаза придавали верхней части лица его выражение мудрое, благообразное. Но губы у него были толсты, красны и казались чужими на его лице. Длинный, тонкий нос, загнутый книзу, точно спрятаться хотел в белых усах; старик шевелил губами, из-под них сверкали желтые, острые зубы. На нем была надета розовая рубаха из ситца, подпоясанная шелковым пояском, и черные шаровары, заправленные в сапоги. Фома смотрел на его губы и думал, что, наверное, старик таков и есть, как говорят о нем...

— А мальчишкой-то ты больше на отца был похож!.. — вдруг сказал Щуров и вздохнул. Потом, помолчав, спросил: — Помнишь отца-то? Молишься за него? Надо, надо молиться! — продолжал он, выслушав краткий ответ Фомы. — Великий грешник был Игнат... и умер без покаянья... в одночасье... великий грешник!

— Не грешнее, чай, других-то, — хмуро ответил Фома, обидевшись за отца.

— Кого — к примеру? — строго спросил Щуров.

— Мало ли грешников!

— Грешнее Игната-покойника один есть человек на земле — окаянный фармазон, твой крестный Яшка... — отчеканил старик.

— Вы это верно знаете? — осведомился Фома, усмехаясь.

— Я? Я знаю! — уверенно сказал Щуров, качнув головой, и глаза его потемнели. — Я сам тоже предстану пред господом... не налегке... Понесу с собой ношу тяжелую пред святое лицо его... Я сам тоже тешил дьявола... только я в милость господню верую, а Яшка не верит ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай... Яшка в бога не верит... это я знаю! И за то, что не верит, — на земле еще будет наказан!

— И это вы знаете? — спросил Фома.

— И это... Ты не думай — я ведь и то знаю, что смешно тебе слушать меня... Какой-де прозорливец! Но человек, который много согрешил,— всегда умен... Грех — учит... Оттого Маякин Яшка и умен на редкость...

Слушая сплывший и уверенный голос старика, Фома подумал:

«Смерть, видно, чует...»

Коридорный, маленький человек с бледным, стертым лицом, внес самовар и быстро, мелкими шагами убежал из номера. Старик разбирал на подоконнике какие-то узелки и говорил, не глядя на Фому:

— Дерзок ты... И взгляд у тебя — темный... Раньше светлоглазых людей больше было... раньше души светлее были... Раньше всё было проще — и люди и грехи... а теперь пошло всё мудреное... эхе-хе!

Он заварил чай, сел против Фомы и снова начал:

— В твои годы отец твой... водоливом тогда был он и около нашего села с караваном стоял... в твои годы Игнат ясен был, как стекло. Взглянул на него и — сразу видишь, что за человек. А на тебя гляжу — не вижу — что ты? Кто ты такой? И сам ты, парень, этого не знаешь... оттого и пропадешь... Все теперешние люди — пропасть должны, потому — не знают себя... А жизнь — бурелом, и нужно уметь найти в ней свою дорогу... где она? И все плутают... а дьявол — рад... Женился ты?

— Нет еще,— сказал Фома.

— Вот и это... неженат, а уж, чай, давно поган... Ну, а работасшь в деле твоём много?

— Приходится... я с крестным пока...

— Какая теперь у вас работа? — качая головой, говорил старик, и глаза его всё играли, то темнея, то снова проясняясь.— Нет у вас труда! Раньше купец по делу на лошадях ездил... в метель, ночью... едет! Разбойники ждали его на дороге и убивали... умирал он мучеником, кровью омывши грехи свои... Теперь в вагоне едут... депеши рассылают... а то вон, слышь, так выдумали, что в конторе у себя говорит человек, и за пять верст его слышно... тут уж не без дьяволова ума!.. Сидит человек... не двигается... и грешит оттого,

что скучно ему, делать нечего: машина за него делает всё... Труда ему нет, а без труда — гибель человеку! Он обзавелся машинами и думает — хорошо! А она, машина-то, — дьяволов капкан тебе! В труде для греха нет время, а при машине — свободно! От свободы — погибнет человек, как червь, житель недр земных, гибнет на солнце... От свободы человек погибнет!

И, произнося отдельно и утвердительно слова свои, старик Ананий четырежды стукнул пальцем по столу. Лицо его сияло злым торжеством, грудь высоко вздымалась, серебряные волосы бороды шевелились на ней. Фоме жутко стало слушать его речи, в них звучала непоколебимая вера, и сила веры этой смущала Фому. Он уже забыл всё то, что знал о старике и во что еще недавно верил как в правду.

Ананий смотрел на Фому так странно, как будто видел за ним еще кого-то, кому больно и страшно было слышать его слова и чей страх, чья боль радовали его...

— И все вы, теперешние, погибнете от свободы... Дьявол поймал вас... он отнял у вас груд, подсунув вам свои машины и депеши... Ну-ка, скажи, отчего дети хуже отцов? От свободы, да! Оттого и пьют и развратничают с бабами...

— Ну, — тихо сказал Фома, — развратничали и пьянствовали и прежде не меньше...

— Молчал бы! — крикнул Ананий, сурово сверкая глазами. — Тогда силы у человека больше было... по силе и грехи! Тогда люди — как дубы были... И суд им от господа будет по силам их... Тела их будут взвешены, и измерят ангелы кровь их... и увидят ангелы божии, что не превысит грех тяжестью своей веса крови и тела... понимаешь? Волка не осудит господь, если волк овцу пожрет... но если крыса мерзкая повинна в овце — крысу осудит он!

— Откуда людям знать, как бог осудит человека? — задумчиво спросил Фома. — Видимый суд нужен...

— Пошто — видимый?

— Чтобы понимать людям...

— А кто, кроме бога, судья мне?

Фома взглянул на старика и замолчал, опустив голову. Ему вспомнился беглый каторжник, убитый и сож-



женный Щуровым, он снова верил, что это так и было. И женщин — жен и любовниц — этот старик, наверное, вогнал в гроб тяжелыми ласками своими, раздавил их своей костистой грудью, выпил сок жизни из них этими толстыми губами, и теперь еще красными, точно на них не обсохла кровь женщин, умиравших в объятиях его длинных, жилистых рук. И вот теперь он, ожидая смерти, которая уже близко от него, считает грехи свои, судит людей и говорит: «Кто, кроме бога, судья мне?»

«Бойтся он или нет?» — спросил себя Фома и задумался, исподлобья рассматривая старика.

— Да, парень! Думай... — покачивая головой, говорил Щуров. — Думай, как жить тебе... О-о-хо-хо! как я давно живу! Деревья выросли и срублены, и дома уже построили из них... обветшали даже дома... а я всё это видел и — всё живу! Как вспомню порой жизнь свою, то подумаю: «Неужто один человек столько сделать мог? Неужто я всё это изжил?..» — Старик сурово взглянул на Фому, покачал головой и умолк...

Стало тихо. За окном на крыше дома что-то негромко трещало; шум колес и глухой говор людей неся снизу, с улицы. Самовар на столе пел унылую песню. Щуров пристально смотрел в стакан с чаем, поглаживал бороду, и слышно было, что в груди у него хрипит...

— Трудно тебе жить без отца-то? — раздался его голос.

— Привыкаю... — ответил Фома.

— Богат ты... Яков умрет — еще богаче будешь, всё тебе откажет. Одна дочь у него... и дочь тебе же надо взять. Что она тебе крестовая и молочная — не беда! Женился бы... а то что так жить? Чай, таскаешься по девкам?

— Нет...

— Говори! Э-эхе-хе!.. Помирает купец... Сказывал мне один лесничий, — врет ли, нет ли, — что-де раньше все собаки волками были и выродились в собак... Так вот и наше звание — тоже скоро все собаками будем... Науки изучим, модные шляпы на башки воткнем, и всё там, что надо, сделаем для того, чтобы свое обличье потерять... И ничем нас от других людей не отличишь...

Завели такой порядок, чтобы всех детей в гимназисты отдавать... И купцов, и дворян, и мещан — всех под один колер подгоняют... Оденут в серое и учат всех одной науке... растят человека, как дерево... Зачем это? Никому не известно... И полено одно от другого хоть сучком да отличается, а тут хотят людей так обстрогать, чтобы все на одно лицо были... Скоро нам, старикам, крышка... да-а! Может, никто уж и не поверит через пятьдесят эдак лет, что на свете я жил... Ананий, Саввин сын, по прозвищу Щуров... так-то! И что я, Ананий, окромя бога, никого не боялся... И что был я в молодости мужик, а земли имел две с четыю десятины, а под старость накопил одиннадцать тысяч десятин и всё под лесом... да денег, может, два миллиона...

— Вот всё говорят — деньги? — сказал Фома с неудовольствием. — А какая от них радость человеку?

— Мм... — промычал Щуров. — Плохой из тебя купец будет, коли ты силы денег не понимаешь...

— Кто ее понимает? — спросил Фома.

— Я! — уверенно сказал Щуров. — И всякий умный человек... Яшка понимает... Деньги? Это, парень, много! Ты разложи их пред собой и подумай — что они содержат в себе? Тогда поймешь, что всё это — сила человеческая, всё это — ум людской... Тысячи людей в деньги твои жизнь вложили. А ты можешь все их, деньги-то, в печь бросить и смотри, как они гореть будут... И будешь ты в ту пору владыкой себя считать...

— Этого не делают...

— Оттого, что у дураков денег не бывает... Деньги пускают в дело... около дела народ кормится... а ты надо всем тем народом — хозяин... Бог человека зачем создал? А чтобы человек ему молился... Он один был, и было ему одному-то скучно... ну, захотелось власти... А как человек создан по образу, сказано, и по подобию его, то человек власти хочет... А что, кроме денег, власть дает?... Так-то... Ну, а ты — деньги принес мне?

— Нет... — ответил Фома. От речей старика в голове у него было тяжело и мутно, и он был доволен, что разговор перешел наконец на деловую почву.

— Это напрасно! — сказал Щуров, строго нахмурив брови. — Срок прошел — надо платить...

- Получите завтра половину...
- Зачем половину? Все давай!
- Уж очень нам теперь нужны деньги-то...
- А их нет? Однако и мне нужны...
- Подождите!

— Э, брат, ждать не буду! Ты не отец... ваш брат, молокосос, народ ненадежный... в месяц можешь ты всё дело спутать... а я от того убыток понесу... Ты мне завтра всё подай, а то векселя протестую... У меня это живо!

Фома смотрел на Щурова и удивлялся. Это был совсем не тот старик, что недавно еще говорил словами прозорливца речи о дьяволе... И лицо и глаза у него тогда другие были, — а теперь он смотрел жестко, безжалостно, и на щеках, около ноздрей, жадно вздрагивали какие-то жилки. Фома видел, что, если не заплатить ему в срок, — он действительно тотчас же опорочит фирму протестом векселей...

— Что, видно, плохи дела-то? — усмехнулся Щуров. — Ну, говори начисто — где отцовы деньги рассыпал?

Фоме захотелось испытать старика.

— Дела не очень веселые... — сказал он, хмурясь, — поставок нет... задатков не получили... ну, и трудно вато.

— Та-ак!.. Пособить, что ли?

— Сделайте милость... отсрочьте платежи-то, — попросил Фома, скромно опустив глаза.

— Мм... али из дружбы к отцу пособить? Пожалуй, пособию...

— А на сколько времени отсрочите? — осведомился Фома.

— На полгода...

— Покорно благодарю...

— Не на чем... Одиннадцать тысяч шестьсот за тобой... Ты вот что: перепиши мне векселя на пятнадцать, уплати проценты с этой суммы вперед... а в обеспечение я с тебя закладную на две твои баржи возьму...

Фома встал со стула и, усмехаясь, проговорил

— Завтра пришлите векселя... я их вам оплачу полностью...

Щуров тоже грузно поднялся со стула и, не спуская глаз под насмешливым взглядом Фомы, спокойно почесывая грудь, сказал:

— И так хорошо...

— Спасибо... за ласку!

— Не даешься ты... а то я бы тебя приласкал! — лениво проговорил старик, оскаливая зубы.

— Н-да! попадешь вам в руки...

— Тепло будет...

— Нагреете, что говорить...

— Ну, однако, паренек, будет! — сурово сказал Щуров. — Хоть ты и думаешь про себя, что неглуп... только рано это... Сыграл вничью, да уж и хвастаться стал!.. А ты у меня выиграй... тогда и пляши от радости... Прощай-ка... Да денежки завтра припаси...

— Не беспокойтесь... Прощайте!

— С богом!

Выйдя за дверь номера, Фома услышал, как старик зевнул протяжно и громко, а потом запел сиповатым басом:

— «Ми-ило-осердия двери отверзи нам... благословенная богородице...»

Фома унес с собой от старика двойственное чувство: Щуров и нравился ему и в то же время был противен.

Он вспоминал речи старика о грехе, думал о силе веры его в милосердие бога, и — старик возбуждал в нем чувство, близкое к уважению.

«И этот тоже про жизнь говорит... и вот — грехи свои знает, а не плачется, не жалуется... Согрешил — подержу ответ... А та?..» — Он вспомнил о Медынской, и сердце его сжалось тоской. «А та — кается... не поймешь у ней — нарочно она или в самом деле у нее сердце болит...»

Фоме казалось, что он завидует Ананию, и пареньк поспешил напомнить себе попытки Щурова обобрать его. Это вызывало в нем отвращение к старику, он не мог примирить своих чувств и, недоумевая, усмехался.

— Н-ну, был я у Щурова!.. — сказал он, придя к Маякину и усаживаясь за стол.

Маякин в засаленном халатике и со счетами в руках нетерпеливо заерзал в своем кожаном кресле и оживленно заговорил:

— Наливай ему чаю, Любава! Рассказывай, Фома... Мне к девяти в думу надо, рассказывай скорей.

Фома, посмеиваясь, рассказал о том, как Щуров предложил ему переписать векселя.

— Э-эх! — с сожалением, тряхнув головой, воскликнул Яков Тарасович. — Всю обедню испортил ты, брат, мне! Разве можно так прямо вести дела с человеком? Тьфу! Дернула меня нелегкая послать тебя! Мне самому бы пойти... Я бы его вокруг пальца обернул!

— Ну, едва ли! Он говорит: «Я дуб...»

— Дуб? А я — пила... Дуб — дерево хорошее, да плоды его только свиньям годны... И выходит, что дуб — глуп...

— Да ведь всё равно платить надо...

— С этим не торопятся... умные люди! А ты — готов бегом бежать, чтобы деньги отдать... купец!

Яков Тарасович был решительно недоволен крестником. Он морщился и сердито приказывал дочери, молча разливавшей чай:

— Сахар подвинь мне, видишь — не достану...

Лицо Любви было бледно, глаза мутны, и руки у нее двигались вяло, неловко... Фома посмотрел на нее и подумал:

«Смирная какая при отце-то...»

— О чем он говорил с тобой? — спросил его Маякин.

— Насчет грехов...

— Ну конечно! Всякому человеку свое дело дорого... а он — фабрикант грехов... Давно о нем и на каторге и в аду плачут — тоскуют, ждут — не дождутся...

— Увесисто говорит он, — задумчиво сказал Фома, помешивая чай в стакане.

— Меня ругал? — осведомился Маякин, ехидно искривив лицо.

— Было...

— А ты что?

— А я... слушал...

— Мм... что же слышал?

— «Сильному, говорит, простится, — а слабому нет прощения...»

— Премудрость, подумаешь!.. Это и блохи знают...

Презрительное отношение крестного к Щурову почему-то раздражало Фому, и, глядя в лицо старика, он с усмешкой сказал:

— А вас он не любит...

— Меня, брат, никто не любит! — с гордостью сказал Маякин.— И любить меня не за что, я не девка... Но зато — уважают меня... А уважают только тех, кого побаиваются...

И старик хвастливо подмигнул крестнику.

— Говорит он увесисто...— повторил Фома.— Жалуется... «Вымирает, говорит, настоящий купец... Всех, говорит, людей одной науке учат... чтобы все были одинаковы... на одно лицо...»

— Считает так, что — не годится это? Дурак! — презрительно сказал Маякин.

— А почему это хорошо? — спросил Фома, недоверчиво поглядывая на крестного.

— Ежели видим мы, что, взяв разных людей, сгоняют их в одно место и внушают всем одно мнение,— должны мы признать, что это умно... Потому — что такое человек в государстве? Не больше как простой кирпич, а все кирпичи должны быть одной меры,— понял? Людей, которые все одинаковой высоты и веса,— как я хочу, так и положу...

— Кому же приятно кирпичом-то быть,— хмуро сказал Фома.

— Речь не о приятном, а о деле... Не всякому человеку можно рожу стереть, но ежели иного побить молотом, он будет золотом... А башка лопнет — что поделаешь? Слаба, значит, была...

— Говорил он также насчет труда... «Всё, говорит, машины работают, а люди от этого балуются...»

— Посхала кума, неведомо куда! — пренебрежительно махнул рукой Маякин.— Удивительно мне — какой у тебя аппетит на всякую пустяковину! «Машина»! Он бы, старый пень, подумал — какая она, машина-то? Железная! — стало быть, ее не жалко, завел—

она и кует тебе рубли... без всяких слов, без хлопот... пустил, она и вертится! А человек — он беспокойный и жалкий... он очень жалок порой бывает! Воет, поет, плачет, просит... пьян напивается... в нем лишнего для меня — ах, как много! А в машине, как в аршине, — ровно столько содержания, сколько требуется для дела... Ну, я пойду одеваться... пора.

Он встал и ушел, громко шаркая туфлями по полу. Фома посмотрел вслед ему и вполголоса сказал, хмуря брови:

— Леший разве разберет всё это... один говорит так, другой — этак...

— Вот и в книгах тоже, — тихо сказала Любовь.

Фома взглянул на нее, добродушно улыбаясь. И она ответила ему неясной улыбкой. Глаза у нее смотрели устало, печально...

— Всё читаешь? — спросил Фома.

— Да-а... — уныло ответила девушка.

— И тоскуешь?

— Тошно... Одна потому что... Слова не с кем сказать...

— Плохо твое дело...

Она ничего не сказала на это, а лишь опустила голову и стала медленно перебирать пальцами кружево полотенца.

— Шла бы замуж... — сказал Фома, чувствуя, что ему жалко ее.

— Отстань, пожалуйста... — некрасиво наморщив лоб, ответила Любовь.

— Чего отстань? Ведь пойдешь же...

— Вот! — со вздохом и тихо воскликнула девушка. — Вот я и думаю — надо... А как пойдешь? Ты знаешь ли — я такое чувствую теперь, — как будто между мною и людьми туман стоит... густой, густой туман!..

— От книг, — уверенно вставил Фома.

— Подожди! И я перестаю понимать, что делается... Всё мне не нравится, всё чужое стало... Всё не так, как надо, всё не то... Я понимаю это, а сказать, что не так и почему, — не могу!..

— «Не так, не так...» — забормотал Фома. — Это

у тебя от книг... Хоть я и сам тоже чувствую, что не так... Это может и оттого, что еще молоды мы...

— Мне сначала казалось,— не слушая его, говорила Любовь, — что я в книгах всё понимаю...

— Бро-ось ты их! — посоветовал Фома пренебрежительно.

— Ах, полно! Разве это можно бросить? Ты знаешь— сколько разных мыслей на свете! О, господи! И есть такие, что голову жгут... В одной книге сказано, что всё существующее на земле разумно...

— Всё? — спросил Фома.

— Всё! А в другой — напротив.

— Погоди! Разве это не чепуха?

— О чем разговор? — спросил Маякин, являясь в дверях, одетый в длинный сюртук и с какими-то медалями на шее и груди.

— Так...— хмуро сказала Любовь.

— Насчет книг,— добавил Фома.

— Каких книг?

— Да вот она читает... прочитала, что всё на земле— разумно...

— Ну!

— Ну, а я говорю — враки!

— Н-да... — Яков Тарасович задумался, пощипывая бородку и прищурив глаза.

— Это что за книга? — спросил он у дочери, помолчав.

— Маленькая такая... желтая...— неохотно сказала Любовь.

— Ты ее положи-ка на стол мне... Это неспроста тоже сказано — всё на земле разумно! Ишь... догадался какой-то!.. Н-да... это очень даже ловко выражено... И кабы не дураки — то совсем бы это верно было... Но как дураки всегда не на своем месте находятся,— нельзя сказать, что всё на земле разумно... Прощай, Фома! Посидишь, али подвезти?..

— Посажу еще...

Любовь и Фома снова остались вдвоем.

— Какой он у тебя,— кивнув головой вслед крестному, сказал Фома.

— Какой?



— На всё откликается, всё своим словом покрыть хочет...

— Да-а... умный!.. А вот не понимает, как тяжело мне жить... — печально сказала Любовь.

— Я тоже не понимаю... выдумываешь ты много...

— Что я выдумываю? — раздраженно крикнула девушка.

— Да,— всё это... не твои ведь мысли-то — чужие!..

— Чужие... чужие...

Она хотела сказать что-то резкое, но оборвалась и замолчала. Фома смотрел на нее и, поставив рядом с нею Медынскую, грустно подумал:

«Какое всё разное... и люди и женщины... и чувствуешь всегда разное...»

На улице темнело, а в комнате уже было совсем темно. Ветер качал липы, сучья их царапались о стены дома, точно холодно им было и они просились в комнаты...

— Люба! — тихо сказал Фома.

Она подняла голову и посмотрела на него.

— Знаешь... я ведь поссорился с Медынской-то...

— Из-за чего? — оживляясь, спросила Любовь.

— А — так уж!.. Она обидела меня...

— Ну, это хорошо, что поссорился, — одобрительно сказала девушка, — а то бы она тебя завертела... она — дрянь, кокетка... ух, какие я про нее вещи знаю!

— Совсем она не дрянь, — угрюмо сказал Фома. — И ничего ты не знаешь... Всё вы врете!

— Ну уж, извини!

— Нет... вот что, Люба, — тихо и просительно сказал Фома, — ты не говори мне про нее худо... Я всё знаю... ей-богу! Она сама сказала...

— Са-ама?! — удивленно воскликнула Люба. — Какая... странная! Что же она сказала?..

— Виновата... — с усилием выговорил Фома и криво усмехнулся.

— Только? — в вопросе девушки звучало разочарование; Фома услышал его и с надеждой спросил:

— Мало разве?..

— Очень ты любишь ее?

Фома помолчал, посмотрел в окно и смущенно ответил:

— Не знаю... Кажется... что теперь больше, чем прежде...

— Удивляюсь я, как можно любить такую? — пожав плечами, спросила девушка.

— Еще как можно! — воскликнул Фома.

— Не понимаю... Нет, это только потому ты привязался к ней, что лучше ее не видал...

— Не видал! — согласился Фома и, помолчав, нерешительно сказал: — Может, лучше и нет... Она для меня — очень нужна! — задумчиво и тихо продолжал он. — Боюсь я ее, — то есть не хочу я, чтобы она обо мне плохо думала... Иной раз — тошно мне! Подумаешь — кутнуть разве, чтобы все жилы зазвенели? А вспомнишь про нее и — не решишься... И во всем так — подумаешь о ней: «А как она узнает?» И боишься сделать...

— Да-а, — задумчиво протянула девушка, — значит, ты ее любишь... Я бы тоже... если б любила, то думала бы о нем... что он скажет?

— И всё у нее — особенное, — рассказывал Фома. — Говорит она по-своему... красива как, господи! И такая маленькая... как ребенок...

— Что же у вас вышло? — спросила Любовь.

Фома вместе со стулом подвинулся к ней и, наклонившись, зачем-то понизив голос, стал рассказывать. Он говорил, и по мере того, как вспоминал слова, сказанные им Медынской, у него воскресали и чувства, вызывавшие эти слова.

— Я ей: «Эх ты! Играла ты со мной — зачем?» — гневно и с упреком говорил он. А Люба, с румянцем оживления на щеках, одобрительно кивая головой, поощряла его:

— Вот — хорошо! Ну, а она?

— Молчит! — тоскливо сказал Фома, передергивая плечами. — То есть она говорила... да что в том?

Он махнул рукой и замолчал. Люба, играя своей косой, тоже молчала. Самовар потух уже. А тьма в комнате всё сгущалась, в окна смотрело что-то мутное.

— Зажгла бы ты огонь!.. — предложил Фома.

— Какие мы с тобой оба несчастные...— сказала Люба и вздохнула.

Фоме не понравилось это.

— Я — не несчастный...— твердо возразил он.— Я просто не привык еще жить...

— Человек, который не знает, что он сделает завтра,— несчастный! — с грустью говорила Люба.— Я — не знаю. И ты тоже... У меня сердце никогда не бывает спокойно — всё дрожит в нем какое-то желание...

— Это и у меня есть,— сказал Фома. — Эх!..  
Надо однако идти в клуб...

— Не уходи...— попросила Люба.

— Надо, там ждет меня один... Прощай!

— До свиданья! — Она протянула ему руку и печально посмотрела в глаза его.

— Спать ляжешь? — спросил Фома, крепко пожимая ее руку.

— Почитаю немножко....

— Ты к этому — как пьяница к водке...— с сожалением сказал он.

— Что же есть лучше?

Идя по улице, он взглянул на окна дома и в одном из них увидел лицо Любы, такое же неясное, как всё, что говорила девушка, как ее желания. Фома кивнул ей головой и подумал:

«Тоже заплуталась, как и та...»

При этом воспоминании он тряхнул головой, как бы желая спугнуть мысль о Медынской, и ускорил шаги.

Холодный, бодрящий ветер порывисто метался в улице, гоняя сор, бросая пыль в лицо прохожих. Во тьме торопливо шагали какие-то люди. Фома морщился от пыли, щурил глаза и думал:

«Ежели теперь встретится мне женщина — значит, Софья Павловна встретит меня ласково, по-старому... Завтра пойду к ней... А ежели мужчина — не пойду завтра,— погожу еще...»

Встретилась ему собака, и это так раздражило его, что ему захотелось ткнуть палкой собаку...

А в буфете клуба его встретил веселый Ухтищев. Он, стоя около двери, беседовал с каким-то толстым и

усатым человеком, но, увидав Гордеева, пошел к нему навстречу, улыбаясь и говоря:

— Здравствуйте, скромный миллионщик!

Он нравился Фоме за свой веселый нрав, и Фома всегда встречал его с удовольствием. Добродушно и крепко пожимая руку Ухтищева, Фома спросил его:

— А почему вы знаете, что я скромный?

— Он спрашивает! Человек, который живет, как отшельник, не пьет, не играет, не любит женщин... ах, да! Вы знаете, Фома Игнатьевич? Наша несравненная патронесса завтра уезжает за границу на всё лето.

— Софья Павловна? — медленно спросил Фома.

— Ну да! Заходит солнце моей жизни... а может быть, и вашей?

Ухтищев состроил комически-коварную гримасу и заглянул в лицо Фомы.

А тот стоял пред ним и чувствовал, что голова у него спускается на грудь и он не может помешать этому...

— Уезжает Медынская? — раздался жирный басовой голос. — Славно! Я рад...

— Позвольте — почему? — воскликнул Ухтищев.

Фома глуповато улыбался и растерянно смотрел на усатого человека — собеседника Ухтищева. Тот важным жестом разглаживал усы свои, и из-под них лились на Фому тяжелые, жирные, противные слова:

— А по-отому, что в городе одной кокеткой будет меньше...

— Фи, Мартын Никитич! — укоризненно сказал Ухтищев, наморщивая брови.

— Почем вы знаете, что она кокетка? — угрюмо спросил Фома, подвигаясь к усатому господину. Тот окинул его пренебрежительным взглядом, отворотился в сторону и, дрыгнув ляжкой, протянул:

— Я не сказал — ко-окетка...

— Нельзя, Мартын Никитич, говорить так о женщине, которая... — заговорил Ухтищев убедительным голосом, но Фома перебил его:

— Позвольте! Я желаю спросить господина, что такое, — какое он слово сказал?

И, проговорив это твердо и спокойно, Фома сунул руки глубоко в карманы брюк, а грудь выпятил вперед,

отчего вся его фигура сразу приняла явно вызывающий вид... Усатый господин вновь оглянул его и насмешливо улыбнулся...

— Господа! — тихо воскликнул Ухтищев.

— Я сказал — ко-ко-тка... — произнес усатый человек, так двигая губами, точно он смаковал слово. — А если вы не понимаете этого — могу пояснить...

— Да уж, — глубоко вздыхая, сказал Фома, не сводя с него глаз, — вы объясните...

Ухтищев всплеснул руками и сунулся куда-то в сторону от них...

— Кокотка, если вам угодно знать, — продажная женщина... — вполголоса сказал усатый, приближая к Фоме свое большое, толстое лицо.

Фома тихо зарычал и, прежде чем тот успел отшатнуться от него, правой рукой вцепился в курчавые с проседью волосы усатого человека. Судорожным движением руки он начал раскачивать его голову и всё большое, грузное тело, а левую руку поднял вверх и глухим голосом приговаривал в такт трепки:

— За глаза — не ругайся — а ругайся — в глаза прямо — в глаза — прямо в глаза...

Он испытывал жгучее наслаждение, видя, как сменно размахивают в воздухе толстые руки и как ноги человека, которого он трепал, подкашиваются под ним, шаркают по полу. Золотые часы выскочили из кармана и катались по круглому животу, болтаясь на цепочке. Опьяненный своей силой и унижением этого солидного человека, полный кипучего злорадства, вздрагивая от счастья мстить, Фома возил его по полу и глухо, злобно рычал в дикой радости. Он в эти минуты переживал чувство освобождения от скучной тяжести, давно уже стеснявшей грудь его тоскою и недомоганьем. Его схватили сзади за талию и плечи, схватили за руку и гнут ее, ломают, кто-то давит ему пальцы на ноге, по он ничего не видал, следя налитыми кровью глазами за темной и тяжелой массой, стонавшей, извиваясь под его рукой... Наконец его оторвали, навалились на него, и, как сквозь красноватый дым, он увидел пред собой, на полу, у ног своих, избитого им человека. Растрепанный, взъерошенный, он двигал по полу ногами, пытаясь

встать; двое черных людей держали его под мышки, руки его висели в воздухе, как надломленные крылья, и он, клокочущим от рыданий голосом, кричал Фоме:

— Меня бить... нельзя! Нельзя! Я имею орден... подлец! О, подлец! У меня дети... меня все знают! Мерзвец!.. Дикарь... о-о-о! Дуэль!

А Ухтищев звонко говорил прямо в ухо Фоме:

— Пойдемте! Голубчик, бога ради...

— Погоди, я дам ему в рожу пинка... — попросил Фома. Но его потащили куда-то. В ушах его звенело, сердце билось быстро, но он чувствовал себя легко и хорошо. И на подъезде клуба, глубоко и свободно вздохнув, он сказал Ухтищеву, добродушно улыбаясь:

— Здорово я ему задал, а?

— Слушайте! — возмущенно воскликнул веселый секретарь. — Это, извините, дико! Это, чёрт возьми... я первый раз вижу!

— Милый человек! — ласково сказал Фома. — Аль он не стоит трепки? Не подлец он? Как можно за глаза сказать такое? Нет, ты к ней поди и ей скажи... самой ей, прямо!..

— Позвольте, — дьявол вас возьми! Да всдь не за нее же только вы его отдули?

— То есть как не за нее? А за кого? — удивился Фома.

— За кого? Я не знаю... очевидно, у вас были счеты! Фу, господи! Вот сцена! Вовеки не забуду!

— Он, этот самый, кто такой? — спросил Фома и вдруг засмеялся. — Как он кричал, — дурак!

Ухтищев пристально взглянул в лицо и спросил его:

— Скажите — вы в самом деле не знаете, кого били? И действительно за Софью Павловну только?

— Вот — ей-богу! — побожился Фома.

— Чёрт знает что такое!.. — Он остановился, с недоумением пожал плечами и, махнув рукой, вновь зашагал по тротуару, искоса поглядывая на Фому. — Вы за это поплатитесь, Фома Игнатьич...

— К мировому он меня?..

— Даёй боже, чтобы так... Он вице-губернатора зять..

— Н-ну-у?! — протянул Фома, и лицо у него вытянулось.

— Н-да-с. Говоря по совести, он и мерзавец и мошенник... Исходя из этого факта, следует признать, что трепки он стоит... Но принимая во внимание, что дама, на защиту коей вы выступили, тоже...

— Барин! — твердо сказал Фома, кладя руку на плечо Ухтищева.— Ты мне всегда очень нравился... и вот идешь со мной теперь... Я это понимаю и могу ценить... Но только про нее не говори мне худо. Какая бы она по-вапему ни была,— по-моему... мне она дорога... для меня она — лучшая! Так я прямо говорю... уж если со мной ты пошел — и ее не тронь... Считаю я ее хорошей — стало быть, хороша она...

Ухтищев услышал в голосе Фомы большое волнение, взглянул на него и задумчиво сказал:

— Любопытный вы человек, надо сознаться...

— Я человек простой... дикий! Побил вот, и — мне весело... А там будь что будет...

— Боюсь — нехорошо будет... Знаете,— откровенность за откровенность,— и вы мне нравитесь... хотя—гм! — опасно с вами... Найдет этакий... рыцарский стих, и получишь от вас выволочку...

— Ну уж! Чай, я еще первый раз это... не каждый день бить людей буду...— сконфуженно сказал Фома. Его спутник засмеялся.

— Экое вы — чудовище! Вот что — драться дико... скверно, извините меня... Но, скажу вам,— в данном случае вы выбрали удачно... Вы побили развратника, циника, паразита... и человека, который, ограбив своих племянников, остался безнаказанным.

— Вот и слава богу! — с удовольствием выговорил Фома.— Вот я его и наказал немножко...

— Немножко? Ну, хорошо, положим, что это немножко... Только вот что, дитя мое... позвольте мне дать вам совет... я человек судейский... Он, этот Князев, подлец, да! Но и подлеца нельзя бить, ибо и он есть существо социальное, находящееся под отеческой охраной закона. Нельзя его трогать до поры, пока он не преступит границы уложения о наказаниях... По

и тогда не вы, а мы, судьи, будем ему воздавать... Вы же — уж, пожалуйста, потерпите...

— А скоро он вам попадется в руки-то? — паивно спросил Фома.

— Н-неизвестно... Так как он малый неглупый, то, вероятно, никогда не попадется... И будет по вся дни живота его сосуществовать со мною и вами на одной и той же ступени равенства пред законом... О боже, что я говорю! — комически вздохнул Ухтищев.

— Секреты выдаешь? — усмехнулся Фома.

— Не то, чтобы секреты, а... не надлежит мне быть легкомысленным... Ч-чёрт! А ведь... меня эта история оживила... Право же, Немезида даже и тогда верна себе, когда она просто лягается, как лошадь...

Фома вдруг остановился, точно встретил какое-то препятствие на пути своем.

— А началось это ведь с того, — медленно и глухо договорил Фома, — что вы сказали — уезжает Софья Павловна...

— Да, уезжает... Ну-с!

Он стоял против Фомы и с улыбкой в глазах смотрел на него. Гордеев молчал, опустив голову и тыкая палкой в камень тротуара.

— Идемте?

Фома пошел, равнодушно говоря:

— Ну и пусть уезжает...

Ухтищев, помахивая тросточкой, стал насвистывать, поглядывая на своего спутника.

— Не проживу я без нее? — спросил Фома, глядя куда-то пред собой, и, помолчав, ответил тихо и неуверенно: — Еще как...

— Слушайте! — воскликнул Ухтищев, — я дам вам хороший совет... человек должен быть самим собой... Вы человек эпический, так сказать, и лирика к вам не идет. Это не ваш жанр...

— Ты, барин, говори со мной попроще как-нибудь, — сказал Фома, внимательно прослушав его речь.

— Проще? Я хочу сказать — бросьте вы думать об этой даме... Она для вас — пища ядовитая...

— Вот и она говорила то же, — угрюмо вставил Фома.



— Говорила?..— переспросил Ухтищев.— Гм... Вот что... А не пойти ли нам поужинать?

— Пойдем,— согласился Фома и вдруг ожесточенно зарычал, сжав кулаки и взмахивая ими.— Пойдем, так пойдем! И так я завинчу... так я, после всего этого, раскачаюсь — держись!

— Ну, зачем же? Мы — скромненько...

— Нет, погоди! — тоскливо сказал Фома, взяв его за плечо.— Что такое? Хуже я людей? Все живут себе... вертятся, суетятся, имеют каждый свой пункт... А мне — скучно... Все довольны собой, а что они жалуется — врут, сволочи! Это так они,— притворяются для красоты... Мне притворяться нечего — я дурак... Я, брат, ничего не понимаю... Я думать не умею... мне тошно... один говорит то, другой — другое... А она... эх! Знал бы ты... я ведь на нее надеялся... я от нее ждал... чего я ждал?.. Не знаю!.. Но она — самая лучшая... И я так верил — скажет она мне однажды такие слова... особенные... Глаза, брат, у нее больно хороши! Господи!.. Смотреть в них стыдно... Ведь я не то что с любовью к ней,— я к ней со всей душой... Я думал, что, коли она такая красавица, значит, около нее я и стану человеком!

Ухтищев смотрел, как рвется из уст его спутника бессвязная речь, видел, как подергиваются мускулы его лица от усилия выразить мысли, и чувствовал за этой сумятицей слов большое, серьезное горе. Было что-то глубоко трогательное в бессилии здорового и дикого парня, который вдруг начал шагать по тротуару широкими, по неровным шагами. Подпрыгивая за ним на коротеньких ножках, Ухтищев чувствовал себя обязанным чем-нибудь успокоить Фому. Всё, что Фома сказал и сделал в этот вечер, возбудило у веселого секретаря большое любопытство к Фоме, а потом он чувствовал себя польщенным откровенностью молодого богача. Откровенность эта смяла его своей темной силой, он растерялся под ее напором, и хотя у него, несмотря на молодость, уже были готовые слова на все случаи жизни,— он не скоро нашел их.

— Э, батенька! — заговорил он, ласково взяв Фому под руку.— Так нельзя! Только что вступили вы

в жизнь и — уж философствуете! Нет, так пельзя! Жизнь — для жизни нам дана! Значит — живи и жить давай другим... Вот философия! А женщина эта — ба! Да разве в ней весь свет уж так и сошелся клином? Я вас, если хотите, познакомлю с такой ядовитой штукой, что сразу от вашей философии не останется в душе у вас ни пылинки! О, замечательный бабец! И как она умеет пользоваться жизнью! Тоже, знаете, нечто эпическое. И красива, — Фрина, могу сказать! И как она будет вам под пару! Ах, чёрт! Право же, это блестящая идея, — я вас познакомлю! Надо клин клином вышибать...

— Мне совестно... — угрюмо и тоскливо сказал Фома. — Пока она жива — я на баб смотреть не могу даже...

— Такой здоровый, свежий человек — хо-хо! — воскликнул Ухтищев и тоном учителя начал убеждать Фому в необходимости для него дать исход чувству в хорошем кутеже.

— Это будет великолепно, и это необходимо вам — поверьте! А совесть, — вы меня извините! Вы несколько неверно определяете, это не совесть мешает вам, а — робость! Вы живете вне общества, застенчивы и неловки. Вы смутно чувствуете всё это... и вот это чувствование принимаете за совесть. О ней же в данном случае не может быть и речи, — при чем тут совесть, когда веселиться для человека естественно, когда это его потребность и право?

Фома шел, соразмеряя шаги свои с шагами спугника, и смотрел вдоль дороги. Она тянулась между двух рядов зданий, походила на огромную канаву и была полна тьмы. Казалось — ей конца нет, и по ней медленно течет вдаль что-то темное, неиссякаемое, мешающее дышать. Убедительно-ласковый голос Ухтищева однотонно звучал в ушах Фомы, и хотя он не вслушивался в слова речи, но чувствовал, что они какие-то клейкие, пристают к нему и он невольно запоминает их. Несмотря на то, что рядом с ним шел человек, он чувствовал себя одиноким, потерявшимся во тьме. Она обнимала его и медленно влекла за собою, а он ощущал, как его тянет куда-то, и не имел желаний остановить

себя. Какая-то усталость мешала ему думать, в нем не было желания сопротивляться увещаниям спутника — и чего ради сопротивлялся бы он?..

— Живут однажды,— говорил Ухтищев, упиваясь своей мудростью,— и не мешает поэтому торопиться жить... Ей-богу, так! Да что тут говорить — вы разрешите мне встряхнуть вас? Поедьте сейчас в один дом... живут там две сестрицы... ах, как они живут! Решайте!

— Что ж? Я поеду...— сказал Фома спокойно и зевнул.— Не поздно ли? — спросил он, взглянув на небо, покрытое тучами.

— К ним никогда не поздно! — весело воскликнул Ухтищев.

## VIII

На третий день после сцены в клубе Фома очутился в семи верстах от города, на лесной пристани купца Званцева, в компании сына этого купца, Ухтищева, какого-то солидного барина в бакенбардах, с лысой головой и красным носом, и четырех дам... Молодой Званцев носил пенсне, был худ, бледен, и когда он стоял, то икры ног его вздрагивали, точно им противно было поддерживать хилое тело, одетое в длинное клетчатое пальто с капюшоном, и смешную маленькую головку в жокейском картузе. Господин с бакенбардами называл его Жаном и произносил это имя так, точно страдал застарелым насморком. Дамой Жана была высокая женщина с пышной грудью. Голова ее была сжата с боков, низкий лоб опрокинулся назад, длинный нос придавал ее лицу что-то птичье. Это некрасивое лицо было совершенно неподвижно, и лишь глаза на нем — маленькие, круглые, холодные — постоянно улыбались проницательной и хитрой улыбкой. Даму Ухтищева звали Верой, это была высокая женщина, бледная, с рыжими волосами. Их было так много, что, казалось, женщина надела на голову себе огромную шапку и она съезжает ей на уши, щеки и высокий лоб; из-под него спокойно и лениво смотрели большие голубые глаза.

Господин с бакенбардами сидел рядом с молоденькой девушкой, полной, свежей и, не умолкая, звонко хохотавшей над тем, что он, склонясь к плечу ее, шептал ей в ухо.

А дама Фомы была стройная брюнетка, одетая во всё черное. Смуглолицая, с волнистыми волосами, она держала голову так прямо и высоко и так снисходительно смотрела на всё вокруг нее, что было сразу видно, — она себя считала первой здесь.

Компания расположилась на крайнем звене плота, выдвинутого далеко в пустынную гладь реки. На плоту были настланы доски, посреди их стоял грубо сколоченный стол, и всюду были разбросаны пустые бутылки, корзины с провизией, бумажки конфет, корки апельсин... В углу плота насыпана грудa земли, на ней горел костер, и какой-то мужик в полушубке, сидя на корточках, грел руки над огнем и искоса поглядывал в сторону господ. Господа только что съели стерляжью уху, теперь на столе пред ними стояли вина и фрукты.

Утомленная двухдневным кутежом и только что оконченным обедом, компания была настроена скучно. Все смотрели на реку, беседовали, но разговор то и дело прерывался паузами. День был ясен и по-вешнему бодро молод. Холодно-светлое небо величаво простерлось над мутной водою широко разлившейся реки. Далекий горный берег был ласково окутан синеватой дымкой мглы, там блестели, как большие звезды, кресты церквей. У горного берега река была оживлена — сновали пароходы, шум их доносился тяжким вздохом сюда, в луга, где тихое течение волн наполняло воздух звуками мягкими. Огромные баржи тянулись там одна за другой против течения, — точно свиньи чудовищных объемов взрывали гладь реки. Черный дым тяжелыми порывами лез из труб пароходов и медленно таял в свежем воздухе. Порой гудел свисток — как будто злилось и ревело большое животное, ожесточенное трудом. В лугах было тихо, спокойно. Одинокое деревья, затопленные разливом, уже покрывались ярко-зелеными блестками листвы. Скрывая их стволы и отразив вершины, вода сделала их шарообразными, и казалось,

что при малейшем дуновенье ветра они поплывут, причудливо красивые, по зеркальному лону реки...

Рыжая женщина, задумчиво глядя вдаль, тихо и грустно запела:

Вдоль по Волге ре-ке  
Легка лодка ply-э-вё-от...

Брюнетка, презрительно прищутив свои большие строгие глаза, сказала, не глядя на нее:

— Нам и без этого скучно...

— Не тронь, пусть поет! — добродушно попросил Фома, заглядывая в лицо своей дамы. Он был бледен, в глазах его вспыхивали какие-то искорки, по лицу блуждала улыбка, неясная и ленивая.

— Давайте хором петь!..— предложил господин с бакенбардами.

— Нет, пускай вот они две споют! — оживленно воскликнул Ухтищев.— Вера, спой эту,— знаешь? «На заре пойду...» Павленька, спойте!

Хохотунья взглянула на брюнетку и почтительно спросила ее:

— Можно спеть, Саша?

— Я сама буду петь! — заявила подруга Фомы и, обратившись к даме с птичьим лицом, приказала ей: — Васса, пой!

Та тотчас погладила рукой горло и уставилась круглыми глазами в лицо сестры. Саша встала на ноги, оперлась рукой о стол и, подняв голову, сильным, почти мужским голосом певуче заговорила:

Хорошо-о тому на свете жить,  
У кого нету заботушки,  
В ретивом сердце зазпобушки!

Ее сестра качнула головой и протяжно, жалобно, высоким контральто застонала:

Эх-у-ме-ня-у-кра-сно-й-де-ви-цы...

Сверкая глазами на сестру, Саша низкими нотами сказала:

Как былника, сердце высохло-о-о!

Два голоса обнялись и поплыли над водой красивым, сочным, дрожащим от избытка силы звуком. Один жаловался на нестерпимую боль сердца и, упиваясь ядом жалобы своей, — рыдал скорбно, слезами заливая огонь своих мучений. Другой — низкий и мужественный — могуче тек в воздухе, полный чувства обиды. Ясно выговаривая слова, он изливался густою струей, и от каждого слова веяло местию.

Уж я ему это выплачу...

— жалобно пела Васса, закрыв глаза.

За-азноблю его, по-овысушу...

— уверенно и грозно обещала Саша, бросая в воздух крепкие, сильные звуки... И вдруг, изменив темп песни и повысив голос, она запела так же протяжно, как сестра, сладострастные угрозы:

Суше ветра, су-уже буйного,  
Суше той травы коше-овые...  
Ой, коше-ные, просушенные...

Фома, облокотясь на стол, смотрел в лицо женщины, в черные полузакрытые глаза ее. Устремленные куда-то вдаль, они сверкали так злорадно, что от блеска их и бархатистый голос, изливавшийся из груди женщины, ему казался черным и блестящим, как ее глаза. Он вспоминал ее ласки и думал:

«И откуда она, такая? Даже боязно с ней!...»

Ухтищев, прижавшись к своей даме, с блаженным лицом слушал песню и весь сиял от удовольствия. Господин в бакенбардах и Званцев пили вино и тихо шептались о чем-то, наклонясь друг к другу. Рыжая женщина задумчиво рассматривала ладонь руки Ухтищева, держа ее в своих руках, а веселая девушка стала грустной, наклонила низко голову и слушала песню, не шевелясь, как очарованная. От костра шел мужик. Он ступал по доскам осторожно, становясь на носки сапог, руки его были заложены за спину, а широкое бородатое лицо всё преобразилось в улыбку удивления и наивной радости.

Эх, — ты восчувствуй, добрый молодец!

— тоскливо взывала Васса, покачивая головой. Сестра, еще выше вскинув голову, закончила песню:

Какова тоска любо-овная-а-а!

Кончив петь, она гордо посмотрела вокруг и, опустившись рядом с Фомой, обняла его за шею сильной рукой.

— Что, хороша песня?..

— Славная! — сказал Фома, улыбаясь ей.

— Bravo-o! Bravo, Александра Савельевна! — кричал Ухтищев, а все остальные били в ладони. Но она не обращала на них внимания, и, властно обнимая Фому, говорила:

— Вот ты мне и подари что-нибудь за песню...

— Ладно, я подарю... — согласился Фома.

— Что?

— Ты скажи...

— Скажу в городе... И если подаришь, что я хочу, — о, как я тебя любить буду!

— За подарок-то? — спросил Фома, недоверчиво усмехаясь. — А ты бы просто...

Она спокойно взглянула на него и, секунду подумав, решительно сказала:

— Просто — рано... Я лгать не буду, прямо говорю — люблю за деньги, за подарки... Можно и так любить... да. Ты подожди, — я присмотрюсь к тебе и, может, полюблю бесплатно... А пока — не обессудь... мне, по моей жизни, много денег надо...

Фома слушал ее, улыбался и вздрагивал от близости ее тела. В уши ему лез какой-то надтреснутый и скучный голос Званцева:

— Я не могу понять красот этой прославленной русской песни... Что в ней? Волчий вой, голодное что-то, дикое... Э... это собачьи немощи... Нет веселья, нет шика... Вы послушайте, что и как поет француз! Или — итальянец...

— Позвольте, Иван Николаевич... — возмущенно кричал Ухтищев.

— Я должен с этим согласиться — русская песня однообразна и тускла... — прихлебывая вино, говорил человек с бакенбардами.

Заходило солнце. Опускаясь где-то далеко, в луговой стороне, оно бросало на темную, холодную воду розоватые и золотые пятна. Фома смотрел на игру солнечных лучей, следил, как трепетно они переливались по гладкой равнине вод, и, ловя ухом отрывки разговора, представлял себе слова роем темных мотыльков, суетливо носившихся в воздухе. Саша, положив голову на плечо ему, тихо говорила прямо в ухо ему слова, от которых он краснел и смущался, они возбуждали в нем желание обнять эту женщину и целовать ее без счета и устали. Кроме нее — никто не интересовал его из людей, собравшихся тут. Званцев же и барин были противны ему...

— Ты чего глазеешь, а? — услышал он строгий возглас Ухтищева.

Ухтищев кричал на мужика. Тот сдернул с головы картуз, хлопнул им себя по колену и, улыбаясь, отвечал:

— Я — барыню послушать подошел...

— Хорошо поет?

— Что и говорить! — с восхищением оглядывая Сашу, сказал мужик. — Бо-ольшая сила голосу в грудях у них!

Его слова вызвали смех дам и двусмысленные речи мужчин.

Саша спросила мужика:

— Ты — поешь?

— Как мы поем! — махнул он рукой.

— Какие песни знаешь?..

— Да всякие... я петь люблю... — И он виновато усмехнулся.

— Давай споем со мной.

— Куда нам! Разве вы мне — пара?

— Ну, запевай!

— Как это весело! — воскликнул Званцев, сморщив лицо.

— Если вам скучно — утопитесь!.. — сказала Саша, сердито сверкнув на него глазами.

— Нет, холодна вода... — ответил Званцев, ежась под ее взглядом.

— А уж пора вам! И воды много теперь, не всю бы вы испортили ее гнилым вашим телом...



— Фи, как остроумно! — воскликнул юноша и с презрением добавил: — В России даже кокотки грубы...

Он обращался к своему соседу, тот ответил ему пьяной улыбкой. Ухтищев тоже был пьян. Посоловевшими глазами глядя в лицо своей дамы, он что-то бормотал. Дама с птичьим лицом клевала конфекты, держа коробку под носом у себя. Павленька ушла на край плота и, стоя там, кидала в воду корки апельсина.

— Никогда я не участвовал в такой нелепой прогулке, — жалобно говорил Званцев соседу.

Фома с усмешкой следил за ним и был доволен, что этот изломанный человек скучает, и тем, что Саша обидела его. Он ласково поглядывал на свою подругу, — нравилось ему, что она говорит со всеми резко и держится гордо, как настоящая барыня.

Мужик, стоя около нее, говорил:

— Барыня! Ты бы поднесла мне для ради храбрости?!

— Фома, поднеси ему стакан!

И, когда мужик, выпив, вкусно крякнул, Саша скомандовала:

— Начинай...

Скосив рот на сторону, мужик высоким тенором затянул:

Мне не пье-отся и-ех-ни-глотатся-а-а...

Женщина трепетно подхватила:

Ви-ина душа-а не прима-ат...

Мужик сладко улыбнулся, заболтал головой и, закрыв глаза, пролил в воздух дрожащую струю высоких нот:

О-э-мне-пришла-а-а пора-а-а проща-ться-а-а...

А женщина застонала и заплакала:

Ой со-о-ро-одныи-ими надо расставаться-а...

Понизив голос, мужик с изумительной силой скорби пропел-сказал:

Эх и в чужу сто-орону надоть мне вти...

Когда два голоса, рыдая и тоскуя, влились в тишину

и свежесть вечера,— вокруг стало как будто теплее и лучше; всё как бы улыбнулось улыбкой сострадания горю человека, которого темная сила рвет из родного гнезда в чужую сторону, на тяжкий труд и унижения. Точно не звуки, не песня, а те горячие слезы человеческого сердца, на которых выкипела эта жалоба,— сами слезы увлажили воздух. Тоска души, измученной в борьбе, страдания от ран, нанесенных человеку железной рукой нужды,— всё было вложено в простые, грубые слова и передавалось невыразимо тоскливыми звуками далекому, пустому небу, в котором никому и ничему нет эха.

Отшатнувшись от певцов, Фома смотрел на них с чувством, близким испугу, песня кипящей волной вливалась ему в грудь, и бешеная сила тоски, вложенная в нее, до боли сжимала ему сердце. Он чувствовал, что сейчас у него хлынут слезы, в горле у него щипало, и лицо вздрагивало. Он смутно видел черные глаза Саши,— неподвижные, они казались ему огромными и становились всё больше. И ему казалось, что поют не двое людей — всё вокруг поет, рыдает и трепещет в муках скорби, всё живое обнялось крепким объятием отчаяния.

Когда кончили петь, он, вздрагивая от возбуждения, с мокрым от слез лицом, смотрел на них и улыбался.

— Что — тронуло? — спросила Саша. Бледная от усталости, она дышала тяжело и быстро. Фома взглянул на мужика, — он вытирал потный лоб и оглядывался вокруг себя такими растерянными глазами, как будто не понимал — что случилось?

Было тихо. Все сидели неподвижно, молча.

— Ах, господи! — вздохнул Фома, поднимаясь на ноги. — Эх, Саша! Мужик! Кто ты такой? — почти крикнул он.

— Степан... — виновато улыбаясь, ответил мужик.

— Как ты поешь, а? — с изумлением восклицал Фома, тревожно переминаясь на одном месте.

— Э-эх, ваше степенство! — вздохнул мужик. — Горе заставит — бык соловьем запоет... А вот барыня с чего поет, так... это уж богу одному известно... а поет она — ложись и помирай! Н-ну,— барыня!

— Спет-то очень хорошо! — сказал Ухтищев пьяным голосом.

— Чёрт знает что! — раздраженно и почти со слезами закричал вдруг Званцев, вскакивая из-за стола. — Я приехал гулять, — я хочу веселиться, а меня отпевают!.. Что за безобразие! Я не хочу больше, — я уезжаю!

— Жан! Я тоже уезжаю... — заявил господин с бакенбардами.

— Васса! — кричал Званцев. — Одевайся!..

— Да, пора ехать, — спокойно сказала Ухтищеву его рыжая дама. — Холодно... И скоро будет темно...

— Степан! Собирай всё, — командовала Васса.

Все засуетились, заговорили о чем-то; Фома смотрел недоумевающими глазами и всё вздрагивал. Люди, покачиваясь, ходили по плотам, бледные, утомленные, и говорили друг другу что-то нелепое, бессвязное. Саша бесцеремонно толкала их, собирая свои вещи.

— Степан! Крикни лошадей...

— А я — выпью еще коньяку, — кто хочет коньяку со мной? — тянул блаженным голосом господин с бакенбардами, держа в руках бутылку.

Васса укутывала шею Званцева шарфом. Он стоял перед нею, капризно выпятив губы, сморщенный, икры его вздрагивали. Фоме стало противно смотреть на них, он отошел на другой плот. Его удивляло, что все эти люди ведут себя так, точно они не слышали песни. В его груди она жила, вызывая у него беспокойное желание что-то сделать, сказать.

Уже солнце зашло, даль окуталась синим туманом. Фома посмотрел туда и отвернулся в сторону. Ему не хотелось ехать в город с этими людьми. А они всё расхаживали по плоту неровными шагами, качаясь из стороны в сторону и бормоча бессвязные слова. Женщины были трезвее мужчин, только рыжая долго не могла подняться со скамьи и, наконец поднявшись, объявила:

— Ну, я пьяна...

Фома сел на обрубок дерева и, подняв топор, которым мужик колот дрова для костра, стал играть им, подбрасывая его в воздух и ловя.

— Ах, как это пошло! — раздался капризный возглас Званцева.

Фома почувствовал, что ненавидит его, — его и всех, кроме Саши, возбуждавшей в нем смутное чувство удивления пред нею и боязни, что она может сделать что-то неожиданное и страшное.

— С-скотина! — визгливо крикнул Званцев; Фома увидел, что он толкнул мужика, а мужик, сняв шапку, виновато пошел в сторону...

— Ду-урак! — шагая за ним и взмахивая рукой, кричал Званцев.

Фома вскочил на ноги и громко, угрожающе сказал:

— Ты! Не тронь его!

— Что-о? — обернулся Званцев к нему.

Фома приподнял плечи, шагнул к нему... И вдруг в голове его вспыхнула одна мысль. Он злорадно усмехнулся и тихо спросил Степана:

— В трех местах звено счалено?

— В трех, как же!

— Руби связи...

— А они?..

— Молчи! Руби...

— Да ведь...

— Руби! Тише, — чтобы не заметили!

Мужик взял в руки топор, не торопясь подошел к месту, где звено плотно было связано с другим звеном, и, несколько раз стукнув топором, воротился к Фоме.

— Я, ваше степенство, не в ответе, — сказал он.

— Не бойся...

— Поехали!.. — прошептал мужик со страхом и торопливо перекрестился. А Фома, тихонько посмеиваясь, испытывал жуткое чувство, остро и жгуче щекотавшее ему сердце какой-то странной, приятной и сладкой боязнью.

Люди на плоту всё еще расхаживали, двигаясь медленно, сталкиваясь друг с другом, помогая одеваться дамам, смеясь и разговаривая, а плот тихонько, нерешительно повертывался на воде.

— Ежели их на караван снесет, — шептал мужик, — на пыжи ткнутся — разобьет вдрызг...

— Молчи... Лодку подашь, догонишь...

— Вот!.. Все-таки люди.

Довольный, усмехаясь, мужик прыжками бросился по плотам к берегу. Фома стоял над водой, и ему страстно хотелось крикнуть что-нибудь, но он удерживался, желая, чтобы плот отплыл подальше и эти пьяные люди не могли перепрыгнуть с него на причаленные звенья. Он ощущал приятное, ласкавшее его чувство, видя, как плот тихо колеблется на воде и уходит от него с каждой секундой всё дальше. Вместе с людьми на плоту из груди его как бы уплывало всё тяжелое и темное, чем он наполнил ее за это время. Он вдыхал свежий воздух и вместе с ним что-то здоровое, отрезвляющее его голову. На самом краю уплывавшего плота стояла спиной к Фоме Саша; он смотрел на ее красивую фигуру и невольно вспоминал о Медынской. Та была меньше ростом... Воспоминание о ней укололо его, и он громким насмешливым голосом крикнул:

— Эй вы! Прощайте...

Темные фигуры людей вдруг и все сразу двинулись к нему и сбились в кучу на середине плота. Но уже между ними и Фомой холодно блестела полоса воды шириною почти в сажень. Несколько секунд длилось молчание...

И вдруг на Фому полетел целый ураган звуков, визгливых, полных животного страха, противно жалобных, а выше всех и всех противней резал ухо тонкий, дребезжащий крик Званцева:

— Спа-сите...

Кто-то — должно быть солидный господин с бакенбардами — ревел басом:

— Топят... топят людей...

— Разве вы люди?! — зло крикнул Фома, раздраженный криками, которые точно кусали его.

Люди в безумии страха металась по плоту; он колебался под их ногами и от этого плыл быстрее. Было слышно, как вода плещет на него и хлопает под ним. Крики рвали воздух, люди прыгали, взмахивали руками, и лишь стройная фигура Саши неподвижно и безмолвно стояла на краю плота.

— Кланяйтесь ракам! — кричал Фома. Ему всё легче и веселее становилось по мере того, как плот уходил дальше.

— Фома Игнатьевич! — нетвердым, но трезвым голосом заговорил Ухтищев, — смотрите, это опасная шутка!.. Я буду жаловаться!..

— Когда утонешь? Жалуйся! — весело ответил Фома.

— Ты — убийца!.. — рыдая, вскричал Званцев. Но в это время раздался звучный плеск воды, точно она ахнула от испуга или удивления. Фома вздрогнул и замер. Потом взмыл опьяняющий, дикий вой женщин, полные ужаса возгласы мужчин, и все фигуры на плоту замерли, кто как стоял. Фома, глядя на воду, окаменел, — по воде к нему плыло что-то черное, окружая себя брызгами...

Инстинктивно Фома бросился грудью на бревна плота и протянул руки вперед, свесив над водой голову. Прошло несколько невероятно долгих секунд... Холодные, мокрые пальцы схватили его за руки, темные глаза блеснули перед ним...

Тупой страх, овладевший им, исчез, сменясь мятежной радостью. Он схватил женщину, вырвав ее из воды, прижал к груди и с удивлением, не зная, что сказать ей, смотрел в ее глаза. Они ласково улыбнулись ему...

— Холодно! — сказала Саша, вздрогнув.

Фома счастливо засмеялся при звуке ее голоса, вскинул ее на руки и быстро, почти бегом, бросился по плотам к берегу. Она была мокрая и холодная, как рыба, но ее дыхание было горячо, оно жгло щеку Фомы и наполняло грудь его буйной радостью.

— Утопить меня хотел? — говорила она, крепко прижимаясь к нему.

— Как это ты хорошо сделала, — бормотал Фома на бегу.

— Ну, и ты не худо выдумал... хоть с виду смирный...

— А те — всё орут!

— Чёрт с ними! Утонут — мы с тобой в Сибирь пойдем... — сказала женщина. Она начала дрожать, и дрожь ее тела, ощущаемая Фомой, заставила его ускорить свой бег.

С реки вслед им неслись вопли и крики о помощи.

Там, по спокойной воде, удаляясь от берега к струе главного течения реки, плыл в сумраке маленький остров, на нем метались темные человеческие фигуры.

Ночь надвигалась на них.

## IX

Однажды в полдень воскресенья Яков Маякин пил чай у себя в саду. Расстегнув ворот рубахи и обмотав шею полотенцем, он сидел на скамье под навесом зелени вишен, размахивал руками в воздухе, отирая пот с лица, и немолчно рассыпал в воздухе быструю речь.

— Дурак и подлец тот человек, который позволяет брюху иметь власть над собой!

Глаза старика блестели раздраженно и злобно, губы презрительно кривились, и морщины темного лица вздрагивали.

— Был бы Фомка сын мой родной — я б его вышколил!

Играя веткой акации, Любовь молча слушала речь отца, внимательно и пытливо поглядывая на его возмущенное, дрожащее лицо. Становясь старше, она незаметно для себя изменяла недоверчивое и холодное отношение к старику. Всегда кипевший в делах, бойкий и умный, он одиноко шел по своему пути, а она видела его одиночество, знала, как тяжело оно, и ее отношения к отцу становились теплее. Уже порой она вступала в споры со стариком; он всегда относился к ее возражениям пренебрежительно и насмешливо, но с каждым разом внимательней и мягче.

— Если б покойник Игнат прочитал в газете о безобразной жизни своего сына — убил бы он Фомку! — говорил Маякин, ударяя кулаком по столу. — Ведь как расписали? Срам!

— За дело! — сказала Любовь.

— Я не говорю — зря! Облаяли, как и следовало... И кто это разошелся?

— Не всё ли вам равно? — спросила девушка.

— Любопытно... Бойко, жулик, изобразил Фомкино поведение... Видимо — сам с ним гулял и всему его безобразию свидетелем был...

— Н-ну, он не станет с Фомой гулять! — убежденно

сказала Любовь и густо покраснела под пытливым взглядом отца.

— Ишь ты! Ха-арошие знакомства у тебя, Любка! — юмористически ядовито сказал Маякин. — Ну, кто это писал?

Ей не хотелось говорить, но отец настаивал, и голос его становился всё суше и сердитей. Тогда она беспойно спросила его:

— А вы ему ничего не сделаете?

— Я? Я ему — голову откушу! Ду-реха! Что я могу сделать? Они, эти писаки, неглупый народ... Сила, черти! А я не губернатор... да и тот ни руку вывихнуть, ни языка связать не может... Они, как мыши, — грызут помаленьку... н-да! Ну, так кто же это?

— А помните, когда я училась, гимназист ходил к нам, Ежов? Черненький такой...

— Видал, как же! Так это он? Мышонок!.. И в ту пору видно уже было, что выйдет из него — непутевое... Надо бы мне тогда заняться им... может, человеком стал бы...

Любовь усмехнулась, взглянув на отца, и с задором спросила:

— А разве тот, кто в газетах пишет, не человек?

Старик долго не отвечал дочери, задумчиво барабанил пальцами по столу и рассматривая свое лицо, отраженное в ярко начищенной меди самовара. Потом, подняв голову, он прищурил глаза и внушительно, с азартом сказал:

— Это не люди, а — нарывы! Кровь в людях русских испортилась, и от дурной крови явились в ней все эти книжники-газетчики, лютые фарисеи... Нарвало их везде и всё больше нарывает... Порча крови — отчего? От медленности движения... Комары откуда? От болота... В стоячей воде всякая нечисть заводится... И в неустроенной жизни то же самое...

— Вы не то говорите, папаша! — мягко сказала Любовь.

— Это как же — не то?

— Писатели — люди самые бескорыстные... это — светлые личности! Им ведь ничего не надо — им только справедливости, — только правды! Они не комары...



Любовь волновалась, расхваливая возлюбленных ею людей; ее лицо вспыхнуло румянцем, и глаза смотрели на отца с таким чувством, точно она просила верить ей, будучи не в состоянии убедить.

— Э-эх ты! — со вздохом сказал старик, перебивая ее. — Начиталась! Ты мне скажи — кто они? Неизвестно! Ежов вот — что он такое? Нашему богу — бя! Только правды им надо, — скажете?! Ишь, скромники какие?! А если она, правда-то, самое дорогое и есть?.. Ежели ее, может быть, каждый молча ищет? Ты мне поверь — бескорыстным человек не может быть... за чужое он не станет биться... а ежели бьется — дурак ему имя, и толку от него никому не будет! Нужно, чтоб человек за себя встать умел... за свое кровное... тогда он — добьется! Правда! Я почти сорок лет одну и ту же газету читаю и хорошо вижу... вот пред тобой моя рожка, а предо мной — на самоваре вон — тоже моя, но другая... Вот газеты эти самоварную рожку всему и придадут, а настоящей не видят... А ты им веришь... Я знаю — в самоваре моя рожка испорчена.

— Папаша! — тоскливо воскликнула Любовь. — Но ведь в книгах и газетах защищают общие интересы, всех людей.

— А в какой газете написано про то, что тебе жить скучно и давно уж замуж пора? Вот те и не защищают твоего интересу! Да и моего не защищают... Кто знает, чего я хочу? Кто, кроме меня, интересы мои понимает?

— Нет, папаша, это всё — не то, не то! Я не умею возразить вам, но я чувствую — это не так! — говорила Любовь почти с отчаянием.

— То самое! — твердо сказал старик. — Смуглилась Россия, и нет в ней ничего стойкого: всё пошатнулось! Все набекрень живут, на один бок ходят, никакой стройности в жизни нет... Орут только все на разные голоса. А кому чего надо — никто не понимает! Туман на всем... туманом все дышат, оттого и кровь протухла у людей... оттого и нарывы... Дана людям большая свобода умствовать, а делать ничего не позволено, — от этого человек не живет, а гнет и воняет...

— Что же надо делать? — спросила Любовь, облачиваясь на стол и наклоняясь к отцу.

— Всё! — азартно крикнул старик. — Всё делай!.. Валяй, кто во что горазд! А для того — надо дать волю людям, свободу! Уж коли настало такое время, что всякий шибздик полагает про себя, будто он — всё может и сотворен для полного распоряжения жизнью, — дать ему, стервецу, свободу! На, сукин сын, живи! Ну-ка, живи! А-а! Тогда воспоследует такая комедия: почувяв, что узда с него снята, — зарвется человек выше своих ушей и пером полетит — и туда и сюда... Чудотворцем себя возомнит, и начнет он тогда дух свой испущать...

Старик сделал паузу и с ехидной улыбкой, понизив голос, продолжал:

— А духа этого самого строительного со-овсем в нем малая толика! Попыжится он день-другой, потопорщится во все стороны и — вскорости ослабнет, бедненький! Сердцевина-то гнилая в нем... Ту-ут его, голубчика, и поймают настоящие, достойные люди, те настоящие люди, которые могут... действительными штатскими хозяевами жизни быть... которые будут жизнью править не палкой, не пером, а пальцем да умом. Что, скажут, устали, господа? Что, скажут, не терпит селезенка настоящего-то жару? — И, повысив голос, властным тоном старик закончил свою речь: — Ну, так теперь вы, такие-сякие, — молчать и не пищать! А то, как червей с дерева, стряхнем вас с земли! Цыц, голубчики! Вот оно как произойдет, Любавка! Хе-хе-хе!

Старику было весело. Его морщины играли, и, упинаясь своей речью, он весь вздрагивал, закрывал глаза и чмокал губами, как бы смакуя что-то...

— Ну и тогда-то вот те, которые верх в сумятице возьмут, — жизнь на свой лад, по-умному и устроят... Не шаля-валя пойдет дело, а — как по нотам! Не доживешь до этого, жаль!..

На Любовь слова отца падали одно за другим, как петли крепкой сети, — падали, опутывая ее, и девушка, не умея освободиться из них, молчала, оглушенная речами отца. Глядя в лицо его напряженным взглядом, она искала опоры для себя в словах его и слышала в них что-то общее с тем, о чем она читала в книгах и что казалось ей настоящей правдой. Но злорадный,

торжествующий смех отца царапал ей сердце, и эти морщины, что ползали по лицу его, как маленькие, темные змейки, внушали ей боязнь за себя пред ним. Она чувствовала, что он поворачивает ее куда-то в сторону от того, что в мечтах казалось ей таким простым и светлым.

— Папаша! — вдруг спросила она старика, повинаясь внезапно вспыхнувшей мысли и желанию. — Папаша! А кто, по-вашему, Тарас?

Маякин вздрогнул. Брови у него сердито зашевелились, он пристально уставился острыми глазками в лицо дочери и сухо спросил ее:

— Это что за разговор?

— Разве нельзя говорить про него? — тихо и смущенно сказала Любовь.

— Не хочу я о нем говорить... И тебе не советую! — Старик погрозил дочери пальцем и, сурово нахмурившись, опустил голову.

Но, сказав, что не хочет говорить о сыне, он, должно быть, неверно понял себя, ибо через минуту молчания заговорил хмуро и сердито:

— Тараска — тоже нарыв... Дышит жизнь на вас, молокососов, а вы настоящих ее запахов разобрать не можете, глотаете всякую дрянь, и оттого у вас — муть в башках... Тараска... Лет за тридцать ему теперь... пропал он для меня!.. Тупорылый поросенок...

— Что он сделал? — спросила Любовь, жадно вслушиваясь в речь старика...

— А кто это знает? Он сам, поди, теперь понять себя не может... ежели умен стал... А должно — стал-таки умником... не глупого отца сын... и потерпел немало... Балуют их, нигилистов!.. Мне бы их — я бы им указал дело... В пустыни! В пустынные места — шагом марш!.. Ну-ка вы, умники, устройте-ка здесь жизнь по своему характеру! Ну-ка! А в начальники над ними поставил бы крепких мужичков... Ну-те-ка, честные господа, вас поили, кормили, учили — чему вы научились? Пожалуйте должок... Я бы ломаного гроша на них не истратил, а весь сок из них выжал бы — отдай! Человеком пренебрегать нельзя, — в тюрьму его посадить — мало! Ты переступил закон да и барин? Нет,

ты мне поработай... От зерна одного колос целый родится, а чтобы человек без пользы пропадал — нельзя этого допускать!.. Расчетливый столяр каждой щепочке место в деле найдет — так человек должен быть израсходован с пользой для дела, весь, до последней своей жилки. Всякая дрянь в жизни место имеет, а человек — никогда не дрянь... Эх! плохо, когда сила живет без ума, да нехорошо, когда и ум без силы... Вот теперь Фомка... Кто это там лезет, взгляни-ка!

Обернувшись, Любовь увидала, что по дорожке сада, почтительно сняв картуз и кланяясь ей, идет Ефим, капитан «Ермака». Лицо у него было безнадежно виноватое, и весь он какой-то пришибленный. Яков Тарасович узнал его и, сразу обеспокоившись, крикнул:

— Что случилось?

— Так что — я к вам! — сказал Ефим, с низким поклоном остановившись у стола.

— Ну, вижу, ко мне... В чем дело? Где пароход?

— Пароход — там! — Ефим сунул рукой куда-то в воздух и тяжело переступил с ноги на ногу.

— Где, чёрт? Говори — что случилось? — гневно закричал старик.

Ефим вобрал в грудь много воздуха и медленно проговорил:

— Баржу № 9-й разбили. Человеку спину перешибли, — а одного совсем нет, так что, пожалуй, утоп...

— Та-ак! — зловеще измеряя глазами капитана, протянул Маякин. — Н-ну, Ефимушка, сдери же я с тебя шкуру...

— Это не я! — быстро сказал Ефим.

— Не ты? — крикнул старик и весь затрясся. — Кто?

— Сами хозяин...

— Фомка?! А ты, — ты что?

— Я — в люке лежал...

— А-а! Ты ле-жал...

— Связанный...

— Что-о? — взвизгнул старик тонким голосом.

— Позвольте по порядку... Так что они были выпимши и кричат: «Ступай прочь! я сам буду командо-

вать!» Я говорю: «Не могу! Как я — капитан...» — «Связать, говорят, его!» И, связавши, спустили меня в люк, к матросам... А как сами были выпимши, то и захотели пошутить... Встречу нам шел воз... шесть порожних барж под «Черногорцем». Фома Игнатъич и загородили им путь... Свистали те... не раз... надо говорить правду — свистали!

— Ну-ну?

— Ну, и не справились... две передние навалило на нас... как они вдарили в борт нашей, мы и вдребезги... И они обе разбились... А нам куда горше пришлось...

Маякин встал со стула и засмеялся дребезжающим злым смехом. А Ефим вздыхал, разводил руками и говорил:

— Характер у них очень уж крупный... Тверезые они больше всё молчат и в задумчивости ходят, а вот подмочат вином свои пружины — и взовьются... Так что — в ту пору они и себе и делу не хозяин, а лютый враг — извините! Я хочу уйти, Яков Тарасович! Мне без хозяина — не свычно, не могу я без хозяина жить...

— Молчать! — сурово сказал Маякин. — Где Фома?

— Там, на месте... Они тотчас опосля этого случая пришли в себя и тут же послали за рабочими... Поднимать будут баржу... чай, уж и начали...

— Один он там? — спросил Маякин, опуская голову.

— Не... совсем... — тихо ответил Ефим, искоса посмотрев на Любовь. — Барыня при них... черная такая... Вроде как не в своем уме женщина... — вздыхая, сказал Ефим. — Всё поет... очень хорошо поет... соблазн большой!

— Я тебя про нсе не спрашиваю! — злобно закричал Маякин. Морщины лица его болезненно сморщились, и Любви показалось, что отец заплачет сейчас...

— Успокойтесь, папаша! — ласково попросила она. — Может быть, убыток невелик...

— Невелик? — звонко крикнул Яков Тарасович. — Что ты, дура, понимаешь! Разве баржа разбилась?! Эх ты! Человек разбился! Вот оно что! А ведь он — нужен мне! Нужен он мне, черти вы тушье!

Старик гневно затряс головой и быстрыми шагами пошел по дорожке сада к дому...

...Фома в это время был верст за четыреста в деревенской избе, на берегу Волги. Он только что проснулся и, лежа среди избы, на ворохе свежего сена, смотрел угрюмо в окно, на небо, покрытое серыми, лохматыми тучами.

Не двигая тяжелой с похмелья головой, Фома чувствовал, что в груди у него тоже как будто безмолвные тучи ходят, — ходят, веют на сердце сырым холодом и теснят его. В движении туч по небу было что-то бессильное и боязливое... и в себе он чувствовал такое же... Не думая, он вспоминал пережитое за последние месяцы.

Ему казалось, что он упал в мутный, горячий поток, его охватили темные волны, похожие на эти тучи в небе, — охватили и несут куда-то. Во тьме и в шуме, окружающем его, он смутно видел, что вместе с ним несутся еще какие-то люди, каждый день — новые, но все одинаково жалкие, противные. Пьяные, шумные, жадные, они вертелись вокруг него, кутили на его деньги, ругали его, дрались между собой, кричали, даже плакали не раз. Он бил их. Помнит, что кого-то ударил по лицу, с кого-то сорвал сюртук и бросил его в воду и кто-то целовал ему руки мокрыми, холодными губами, гадкими, как лягушки... Целовал и с плачем просил не убивать... Какие-то лица мелькали в его памяти, звуки и слова звучали в ней... Женщина в желтой шелковой кофте, расстегнутой на груди, громким, рыдающим голосом пела:

Так будем же жить, пока можно...

А там — хоть трава-а не расти!

...Все эти люди, как и он, охвачены тою же темной волной и несутся с нею, словно мусор. Всем им — боязно, должно быть, заглянуть вперед, чтобы видеть, куда же несет их эта бешено сильная волна. И, заливая вином свой страх, они барахтаются, орут, делают что-то нелепое, дурачатся, шумят, шумят, и никогда им не бывает весело. Он тоже всё это делал. Теперь ему казалось, что делал он всё это для того, чтобы скорее миновать темную полосу жизни.

Среди сутолоки кутежей, в толпе людей, смятенных буйными страстями, полубезумных в стремлении забыть себя, — одна Саша всегда была спокойна и ровна. Она не напивалась, она всегда говорила с людьми твердым, властным голосом, и все ее движения были одинаково уверенны, точно этот поток не овладевал ею, а она сама управляла его бурным течением. Она казалась Фоме самой умной из всех, кто окружал его, самой жадной на шум и кутеж; она всеми командовала, постоянно выдумывала что-нибудь новое и со всеми людьми говорила одинаково: с извозчиком, лакеем и матросом тем же тоном и такими же словами, как и с подругами своими и с ним, Фомой. Она была красивее и моложе Палагеи, но ласки ее были молчаливы, холодны... Фоме думалось, что она глубоко в сердце своем прячет от всех что-то страшное, что никогда никого она не полюбит, не откроет всю себя. Это тайное, скрытое в женщине, привлекало его к ней чувством боязливого любопытства, напряженного интереса к спокойной и холодной душе ее, темной, как ее глаза.

Как-то раз Фома сказал ей:

— Однако сколько мы с тобой денег-то посеяли.

Она взглянула на него и спросила:

— А куда их беречь?

«Куда, в самом деле?» — подумал Фома, удивленный тем, что она так просто рассуждает.

— Ты кто такая? — спросил он ее в другой раз.

— Разве забыл, как меня зовут?

— Ну, вот еще!

— Так чего ж тебе надо?

— Я насчет происхождения спрашиваю...

— А! Ну, ярославская я, — из Углича, мещанка... Арфистка... Что же, — слаще я для тебя буду, когда ты узнал, кто я?

— Разве я узнал? — усмехаясь, спросил Фома.

— Мало тебе! А больше — я ничего не скажу... На что? Все из одного места родом — и люди и скоты... Пустяки все эти разговоры... Ты вот давай подумаем, как нам жить сегодня?

В этот день они катались на пароходе с оркестром музыки, пили шампанское и все страшно напились.

Саша пела какую-то особенную, удивительно грустную песню, и Фома плакал, как ребенок, растроганный пением. Потом он плясал с ней «русскую», устал, бросился за борт и едва не утонул.

Теперь, вспоминая это, — и многое другое, — он чувствовал стыд за себя и недовольство Сашей. Он смотрел на ее стройную фигуру, слушал ровное дыхание ее и чувствовал, что не любит эту женщину, не нужна ему она. В его похмельной голове медленно зарождались какие-то серые, тягучие мысли. Как будто всё, что он пережил за это время, скрутилось в нем в клубок тяжелый и сырой, и вот теперь клубок этот катается в груди его, потихоньку разматываясь, и его вяжут тонкие серые нити.

«Что это со мной происходит? — думал он. — Кто я такой?»

Его поразил этот вопрос, и он остановился над ним, пытаясь додуматься — почему он не может жить спокойно и уверенно, как другие живут? Ему стало еще более совестно от этой мысли, он завозился на сене и с раздражением толкнул локтем Сашу.

— Тише!.. — сквозь сон сказала она.

— Ну, ладно, не велика барыня! — пробормотал Фома.

— Что?

— Ничего...

Она повернулась спиной к нему и, сладко зевнув, заговорила лениво:

— Видела во сне, будто опять арфисткой стала. Пою соло, а против меня стоит большущая грязная собака, оскалила зубы и ждет, когда я кончу... А мне — страшно ее... и знаю я, что она сожрет меня, как только я перестану петь... и вот я всё пою, пою... и вдруг будто не хватает у меня голосу... Страшно! А она — щелкает зубами... К чему это?..

— погоди болтать! — угрюмо остановил ее Фома. — Ты вот что скажи: что ты про меня знаешь?

— А вот знаю, что проснулся ты, — не поворачиваясь к нему, ответила она.

— Это верно — проснулся я, — задумчиво молвил Фома и, закинув руки за голову, продолжал. — Оттого тебя и спрашиваю — какой я, по-твоему, человек?



— Похмельный,— зевнув, ответила Саша.

— Александра! — просительно воскликнул Фома. — Не балуй! Ты скажи по совести, что ты обо мне думаешь?

— Ничего не думаю! — сухо ответила она.

Он тяжело вздохнул и замолчал. Полежав с минуту тоже молча, Саша заговорила обычным своим, равнодушным голосом:

— Скажи ему! С какой это стати стану я думать о всяком? Мне о себе подумать и то — некогда... А может, не хочется...

Фома сухо засмеялся и сказал:

— Мне бы не хотеть ничего!..

Женщина подняла голову с подушки, заглянула в лицо Фомы и снова легла, говоря:

— Мудришь ты... Смотри — добра от этого тебе не будет... Ничего я не могу сказать про тебя... Ну, вот скажу я тебе — других ты лучше... Что же из этого будет?

— А почему лучше? — задумчиво спросил Фома.

— Да — так! Песню хорошую поют — плачешь ты... подлость человек делает — бьешь его... С женщинами — прост, не охальничаешь над ними... Ну, и удалым можешь быть...

Всё это не удовлетворяло Фому.

— Не то ты говоришь! — тихо сказал он.

— Ну, я не знаю, чего тебе надо... Баржу поднимут — что будем делать?

— Что нам делать? — спросил Фома.

— В Нижний поедem или в Казань?

— Зачем?

— Кутнем...

— Не хочу я больше кутить...

Оба они долго молчали, не глядя друг на друга.

— Тяжелый у тебя характер,— заговорила Саша. — Скучный.

— Пьянствовать я больше не буду! — твердо сказал Фома.

— Врешь! — возразила Саша спокойно.

— Вот увидишь! Ты что думаешь — хорошо так жить?

- Увижу.
- Нет, ты скажи — хорошо?
- А — что лучше?

Фома посмотрел на нее сбоку и с раздражением сказал:

— Экие у тебя слова — противные!..

— И тут не угодила! — усмехнувшись, молвила Саша.

— Нар-род! — говорил Фома, болезненно сморщив лицо. — Живут тоже... а как? Лезут куда-то... Таракан ползет — и то знает, куда и зачем ему надо, а ты — что? Ты — куда?..

— погоди! — спокойно остановила его Саша. — Тебе до меня какое дело? Ты от меня берешь, чего хочешь, а в душу мне не лезь!

— В ду-ушу! — презрительно протянул Фома. — В какую душу?

Она стала ходить по комнате, собирая разбросанную одежду. Фома наблюдал за ней и был недоволен тем, что она не рассердилась на него за слова о душе. Лицо у нее было равнодушно, как всегда, а ему хотелось видеть ее злой или обиженной, хотелось чего-то человеческого.

— Душа! — воскликнул он, добиваясь своего. — Разве человеку с душой можно жить так, как ты живешь? В душе — огонь горит... стыд в пей...

Она в это время, сидя на лавке, надевала чулки, но при его словах подняла голову и уставилась в лицо ему строгими глазами.

— Что смотришь? — спросил Фома.

— Ты это зачем говоришь? — ответила она ему, не спуская с него глаз.

В ее вопросе было что-то угрожающее. Фома почувствовал робость пред ней и уже без задора в голосе сказал:

— Как же не говорить?

— Э-эх ты! — вздохнула Саша и снова принялась одеваться.

— А что я?

— Да так... Ровно ты от двух отцов родился... Знаешь ты, что я заметила за людьми?

— Ну?

— Который человек сам за себя отвечать не может, значит — боится он себя, значит — грош ему цена!

— Это ты про меня? — спросил Фома, помолчав.

Она накинула на плечи широкий розовый капот и, стоя среди комнаты, сказала низким, глухим голосом человеку, лежавшему у ног ее:

— О душе моей ты не смеешь говорить... Нет тебе до нее дела! Я — могу говорить! Я бы, захотевши, сказала всем вам — эх как! Есть у меня слова про вас... как молотки! Так бы по башкам застукала я... с ума бы вы посходили... Но — словами вас не вылечишь... Вас на огне жечь надо, вот как сковороды в чистый понедельник выжигают...

Вскинув руки к голове, она порывисто распустила волосы, и когда они тяжелыми черными прядями рассыпались по плечам ее, — женщина гордо тряхнула головой и с презрением сказала:

— Не смотри, что я гулящая! И в грязи человек бывает чище того, кто в шелках гуляет... Знал бы ты, что я про вас, кобелей, думаю, какую злобу я имею против вас! От злобы и молчу... потому — боюсь, что, если скажу ее, — пусто в душе будет... жить нечем будет!..

Теперь она снова правила ему. В словах ее было что-то родственное его настроению. Он, усмехнувшись, с удовольствием в голосе и на лице сказал ей:

— И я тоже чувствую — растет у меня в душе что-то... Эх, заговорю и я своими словами, придет время.

— Против кого это? — небрежно спросила Саша.

— Против всех! — воскликнул Фома, вскакивая на ноги. — Против фальши!.. Я спрошу...

— Спроси-ка: самовар готов? — равнодушно приказала ему Саша.

Фома взглянул на нее и с сердцем крикнул:

— Пошла к чёрту! Спрашивай сама...

— Чего ты лаешь?

И она ушла из избы...

...Ветер резкими порывами летал над рекой, и покрытая бурными волнами река судорожно рвалась навстречу ветру с шумным плеском, вся в пене гнева.

Кусты прибрежного ивняка низко склонялись к земле, дрожащие, гонимые ударами ветра. В воздухе носился свист, вой и густой, охающий звук, вырывавшийся из десятков людских грудей:

— Идет — идет — идет!

У горного берега стояли на якорях две порожние баржи, высокие мачты их, поднявшись в небо, тревожно покачивались из стороны в сторону, выписывая в воздухе невидимый узор. Палубы барж загромождены лесами из толстых бревен; повсюду висели блоки; цепи и канаты качались в воздухе; звенья цепей слабо брякали... Толпа мужиков в синих и красных рубахах волокла по палубе большое бревно и, тяжело топая ногами, охала во всю грудь:

— Идет — идет — идет!

К лесам тоже прилепились синие и красные комья; ветер, раздувая рубахи и порты, придавал людям странные формы, делая их то горбатыми, то круглыми и надутыми, как пузыри. Люди на лесах и палубах что-то вязали, рубили, пилили, вбивали гвозди, везде мелькали большие руки с засученными по локти рукавами рубах. Ветер разносил над рекой бодрый шум: пила грызла дерево, захлебываясь от злой радости; сухо кряхтели бревна, раненные топорами; болезненно трещали доски, раскалываясь под ударами, ехидно взвизгивал рубанок. Железный ляг цепей и стонущий скрип блоков сливались с шумом волн, ветер гулко выл и гнал по небу тучи.

— Ре-ебя-а-тушки, бе-ерем, давай!

— Разуда-алый ещо-о разок!.. — просительно выводил кто-то высоким голосом...

Фома, красивый и стройный, в коротком драповом пиджаке и в высоких сапогах, стоял, прислонясь спиной к мачте, и, дрожащей рукой пощипывая бородку, любовался работой. Шум вокруг него вызывал и в нем желание кричать, возиться вместе с мужиками, рубить дерево, таскать тяжести, командовать — заставить всех обратить на себя внимание и показать всем свою силу, ловкость, живую душу в себе. Но он сдерживался и стоял молча, неподвижно: ему было стыдно. Он хозяин тут над всеми, и если примется работать сам — никто

не поверит, что он работает просто из охоты, а не для того, чтоб подогнать их, показать им пример.

Русый и кудрявый парень с расстегнутым воротом рубахи то и дело пробегал мимо него то с доской на плече, то с топором в руке; он подпрыгивал, как разыгравшийся козел, рассыпал вокруг себя веселый, звонкий смех, шутки, крепкую ругань и работал без устали, помогая то одному, то другому, быстро и ловко бегая по палубе, заваленной щепами и деревом. Фома упорно следил за ним и чувствовал зависть к этому парню.

«Счастливей, должно быть...» — думал Фома. Эта мысль вызвала в нем острое желание оборвать парня, сконфузить его. Все вокруг охвачены пылом спешной работы, дружно и споро укрепляли леса, устраивали блоки, готовясь поднять со дна реки затонувшую баржу; все были бодро веселы и — жили. Он же стоял в стороне от них, не зная, что делать, ничего не умея, чувствуя себя ненужным в этом большом груде. Обидно было ему чувствовать себя лишним среди людей, и чем больше он присматривался к ним, тем более крепла эта обида. Его колола мысль, что ведь вот — для него всё это делается, а однако он тут ни при чем...

«Где же мое место? — угрюмо думалось ему. — Где мое дело?..»

Подрядчик, маленький мужичок с острой седенькой бородкой и узенькими глазками на сером сморщенном лице, подошел к нему и сказал негромко, с какой-то особенной ясностью в словах:

— Всё изготовили, Фома Игнатьич, всё теперь как следоват... Благословясь — начать бы!..

— Начинай... — кротко сказал Фома, отвертываясь в сторону от пронизательного взгляда узких глаз мужика.

— Вот и слава тебе, господи! — сказал подрядчик, неторопливо застегивая поддевку и приосаниваясь. Потом он, медленно повсрачивая голову, оглядел леса на баржах и звонко крикнул:

— По-о местам, ребятушки!

Мужики живо столпились в отдельные плотные группы у воротов, по бортам, и говор их умолк. Неко-

торые ловко взобрались на леса и смотрели оттуда, держась за веревки.

— Смотри, ребята! — раздавался звонкий и спокойный голос подрядчика. — Всё ли как быть надо? Придет пора бабе родить — рубах неколи шить... Ну — молись богу!

Бросив картуз на палубу, подрядчик поднял лицо к небу и стал истово креститься. И все мужики, подняв головы к тучам, тоже начали широко размахивать руками, осеняя груди знаменем креста. Иные молились вслух; глухой, подавленный ропот примешался к шуму волн:

— Господи, благослови!.. Пресвятая богородица... Никола Угодник...

Фома слушал эти возгласы, и они ложились на душу ему, как тяжесть. У всех головы были обнажены, а он забыл снять картуз, и подрядчик, кончив молиться, внушительно посоветовал ему:

— Попросить бы и вам господа-то...

— Ты знай свое дело, — меня не учи! — сердито взглянув на него, ответил Фома. Чем дальше шло дело — тем тяжелей и обидней было ему видеть себя лишним среди спокойно уверенных в своей силе людей, готовых поднять для него несколько десятков тысяч пудов со дна реки. Ему хотелось, чтоб их постигла неудача, чтобы все они сконфузились пред ним, в голове его мелькала злая мысль:

«Может, еще цепи порвутся...»

— Слушай! — кричал подрядчик. И вдруг, всплеснув руками в воздухе, он пронзительно закричал: — По-о-оше-о-ол!

Рабочие подхватили его крик, и все в голос, возбужденно и с напряжением закричали:

— По-оше-ол! Иде-от...

Блоки визжали и скрипели, гремели цепи, напрягаясь под тяжестью, вдруг повисшей на них, рабочие, упершись грудями в ручки ворота, рычали, тяжело топали по палубе. Между барж с шумом плескались волны, как бы не желая уступать людям свою добычу. Всюду вокруг Фомы натягивались и дрожали напряженно цепи и канаты, они куда-то ползли по палубе

мимо его ног, как огромные серые черви, поднимались вверх, звено за звеном, с лязгом падали оттуда, а оглушительный рев рабочих покрывал собой все звуки.

— Ве-есь по-ошел, весь пошел — поше-ол... — пели они стройно и торжествующе. А в густую волну их голосов, как нож в хлеб, вонзался и резал ее звонкий голос подрядчика:

— Ребятю-ушки-и! Разо-ом... разо-ом...

Фомой овладело странное волнение: ему страстно захотелось влиться в этот возбужденный рев рабочих, широкий и могучий, как река, в раздражающий скрип, визг, лязг железа и буйный плеск волн. У него от силы желания выступил пот на лице, и вдруг, оторвавшись от мачты, он большими прыжками бросился к вороту, бледный от возбуждения.

— Разо-ом! Разо-ом!.. — кричал он диким голосом. Добежав до ручки ворота, он с размаха ткнулся об нее грудью и, не чувствуя боли, с ревом начал ходить вокруг ворота, мощно упираясь ногами в палубу. Что-то горячее лилось в грудь ему, заступая место тех усилий, которые он тратил, ворочая рычаг. Невыразимая радость бушевала в нем и рвалась наружу возбужденным криком. Ему казалось, что он один, только своей силой ворочает рычаг, поднимая тяжесть, и что сила его всё растет. Согнувшись и опустив голову, он, как бык, шел навстречу силе тяжести, откидывавшей его назад, но уступавшей ему все-таки. Каждый шаг вперед всё больше возбуждал его, потраченное усилие тотчас же заменялось в нем наплывом жгучей гордости. Голова у него кружилась, глаза налились кровью, он ничего не видел и лишь чувствовал, что ему уступают, что он одолеет, что вот сейчас он опрокинет силой своей что-то огромное, заступающее ему путь,— опрокинет, победит и тогда вздохнет легко и свободно, полный гордой радости. Первый раз в жизни он испытывал такое одухотворяющее чувство и всей силой голодной души своей глотал его, пьянел от него и изливал свою радость в громких, ликующих криках в лад с рабочими:

— Ве-есь по-ошел, весь пошел, поше-ол...

— Сто-ой! Крепи! Стой, ребята!..

Фому толкнуло в грудь и откинуло назад...

— С благополучным окончанием, Фома Игнатьич! — поздравлял его подрядчик, и морщины дрожали на лице его радостными лучами. — Слава тебе, господи! Устали?

Холодный ветер дул в лицо Фомы. Довольный, хвастливый шум носился вокруг него; ласково переругиваясь, веселые, с улыбками на потных лицах, мужики подходили к нему и тесно окружали его. Он растерянно улыбался: возбуждение еще не остыло в нем и не позволяло ему понять, что случилось и отчего все вокруг так радостны и довольны.

— Сто семьдесят тысяч пуд ровно редьку из грядки выдернули!

Фома, стоя на груде капата, смотрел через головы рабочих и видел: среди барж, борт о борт с ними, явилась третья, черная, скользкая, опутанная цепями. Всю ее покорило, она точно вспухла от какой-то страшной болезни и, немощная, неуклюжая, повисла над водой между своих подруг, опираясь на них. Сломанная мачта печально торчала посреди нее; по палубе текли красноватые струи воды, похожей на кровь. Всюду на палубе лежали груды железа, мокрые обломки дерева.

— Подняли? — спросил Фома, не зная, что ему сказать при виде этой безобразной тяжелой массы, и снова чувствуя обиду при мысли, что лишь ради того, чтобы поднять из воды эту грязную, разбитую уродину, он так вскипел душой, так обрадовался...

— Что она... — неопределенно сказал Фома подрядчику.

— Ничего! Разгрузить скорее да человечков двадцать артельку плотников на нее спустить — они ее живо в образ приведут! — утешающим голосом говорил подрядчик.

А русский парень, широко и весело улыбаясь в лицо Фомы, спрашивал:

— Водчонка-то будет?

— Успеешь! — сурово сказал ему подрядчик. — Видишь — устал человек...

Тогда мужики заговорили:

— Как не устать!

— Легкое ли дело!



— С непривычки, известно, устанешь...

— С непривычки и кашу есть трудно...

— Не устал я... — хмуро сказал Фома, и снова раздались почтительные возгласы мужиков, всё плотнее обступавших его:

— Работа, ежели в охоту кому, — дело приятное.

— Та же игра...

— Вроде как с бабой побаловаться...

Только русский парень твердо стоял на своем:

— Ваше степенство! На ведерочко бы, а? — говорил он, улыбаясь и вздыхая.

Фома смотрел на бородатые лица пред собой и чувствовал в себе желание сказать им что-нибудь обидное. Но в голове его всё как-то спуталось, он не находил в ней никаких мыслей и наконец, не отдавая себе отчета в словах, сказал с сердцем:

— Вам бы всё пьянствовать только! Вам всё равно, что ни делать! А вы бы подумали — зачем? К чему?.. Эх вы! Понимать надо...

На лицах людей, окружавших его, выразилось недоумение; синие и красные бородатые фигуры начали вздыхать, почесываться, переминаться с ноги на ногу. Иные, безнадежно посмотрев на Фому, отворотились в сторону.

— Н-да! — вздохнув, сказал подрядчик. — Это... не мешает! То есть — чтобы подумать! Это слова... от ума!

— Разве наше дело понимать? — сказал русский парень, тряхнув головой. Ему уже скучно стало говорить с Фомой; он заподозрил его в нежелании дать на водку и сердился немножко.

— Вот то-то! — поучительно сказал Фома, довольный тем, что парень уступил ему, и не замечая косых, насмешливых взглядов. — А кто понимает... тот чувствует, что нужно — вечную работу делать!

— Для бога, значит! — пояснил подрядчик, оглядывая мужиков, и, благочестиво вздохнув, добавил: — Это верно, — ох, верно это!

А Фома воодушевлялся желанием говорить что-то правильное и веское, после чего бы все эти люди отнесли к нему как-нибудь иначе, — ему не нравилось, что все они, кроме русого, молчат и смотрят на него недру-

желебно, исподлобья, такими скучными, угрюмыми глазами.

— Нужно такую работу делать, — говорил он, двигая бровями, — чтобы и тысячу лет спустя люди скажали: вот это богородские мужики сделали... да!..

Русый парень с удивлением взглянул на Фому и спросил:

— Волгу, что ли, нам выпить? — А потом фыркнул, покачал головой и заявил: — Не сможем мы этого, — полопаемся все!..

Фома сконфузился от его слов и посмотрел вокруг себя: мужики улыбались хмуро, пренебрежительно. Эти улыбки кололи его, как иглы.

Какой-то серьезный мужик с большой сивой бородой, до этой поры не открывавший рта, вдруг открыл его, подвинулся к Фоме и медленно выговорил:

— А ежели нам и Волгу досуха выпить да еще вот этой горой закусить — и это забудется, ваше степенство. Всё забудется, — жизнь-то длинна... Таких делов, чтобы высоко торчали, — не нам делать...

Сказал и, сплунув под ноги себе, равнодушно отошел от Фомы, войдя в толпу, как клин в дерево. Его речь окончательно пришибла Фому: он чувствовал, что мужики считают его глупым и смешным. И, чтобы спасти свое хозяйское значение в их глазах, чтобы снова привлечь к себе уже утомленное внимание мужиков, он напыжился, смешно надул щеки и внушительным голосом бухнул:

— Жертвую, — на три ведра!

Краткие речи всегда более содержательны и способны вызвать сильное впечатление. Мужики почтительно расступились перед Фомой, низко кланяясь ему и с веселыми, благодарными улыбками благодаря его за щедрость дружным, одобрительным гулом.

— Перемахните-ка меня на берег, — сказал Фома, чувствуя, что вновь возникающее возбуждение недолго продержится в нем. Какой-то червь сосал его сердце.

— Тошно мне! — сказал он, придя в избу, где Саша, в нарядном красном платье, хлопотала около стола, расставляя на нем вина и закуски. — Александра! Хоть бы ты что-нибудь сделала со мной, что ли... а?

Она внимательно посмотрела на него и, севши на лавку плечом к плечу с ним, сказала:

— Коли тошно — значит, хочется чего-нибудь... Чего тебе надо?

— Не знаю я! — грустно качнув головой, ответил Фома.

— А ты подумай...

— Не умею я думать...

— Эх ты, дитяtko! — тихо и пренебрежительно сказала Саша, отодвигаясь от него. — Лишняя тебе голова-то...

Фома не уловил ее тона, не заметил движения. Упираясь руками в лавку, он наклонился вперед, смотрел в пол и говорил, качаясь всем корпусом:

— Иной раз думаешь, думаешь... всю тебе душу мысли, как смолой, облепят... И вдруг всё исчезнет из тебя, точно провалится насквозь куда-то... В душе тогда — как в погребе темно. Даже страшно... как будто ты не человек, а овраг бездонный...

Саша искоса взглянула на него и вполголоса задумчиво запела:

Эх, и дунет ветер — туман со моря пойдет...

— Кутить я не хочу... Всё одно и то же: и люди, и забавы, и вино... Злой я становлюсь — так бы всех и бил... Не нравятся мне люди... Никак не поймешь — зачем живут?

Ой, и тошно без тебя мне, милый, жить...

— пела Саша, глядя в стену пред собой.

А Фома всё качался и говорил:

— Однако — все живут, шумят, а я только глазами хлопаю... Мать, что ли, меня бесчувственностью наградила? Крестный говорит — она как лед была... И всё ее тянуло куда-то... Пошел бы к людям и сказал: «Братцы, помогите! Жить не могу!» Оглянешься — некому сказать... Все — сволочи!

Фома крепко, неприлично выругался и умолк. Саша, оборвав песню, отодвинулась еще дальше от него. Бушевал ветер, бросая пыль в стекла окон. На печи тараканы шуршали, ползая в лучине. На дворе жалобно мычал теленок.

Саша с усмешкой взглянула на Фому и сказала:  
— Вон еще один несчастенький мычит... Шел бы ты к нему; может, споетесь...— И, положив руку на его кудрявую голову, она шутливо толкнула ее.— Чего ты скрипишь? Гулять тошно — делом займись...

— Господи,— качнул головой Фома,— трудно говорить так, чтобы понимали тебя... трудно! — И с раздражением он почти закричал: — Какое дело? Что оно, дело? Только звание одно — дело, а так, ежели вглубь, в корень посмотреть,— бестолочь! Какой прок в делах? Деньги? Много их у меня!.. Задушить могу ими до смерти, засыпать тебя с головой... Обман один — дела эти все... Вижу я дельцов — ну что же? Нарочно это они кружатся в делах, для того, чтобы самих себя не видать было... Прячутся, дьяволы... Ну-ка освободи их от суеты этой,— что будет? Как слепые, начнут соваться туда и сюда... с ума посходят! Ты думаешь, есть дело — так будет от него человеку счастье? Нет, врешь! Тут — не всё еще!.. Река течет, чтобы по ней ездили, дерево растет для пользы, собака — дом стережет... всему на свете можно найти оправдание! А люди — как тараканы — совсем лишние на земле... Всё для них, а они для чего? В чем их оправдание?

Фома торжествовал. Ему показалось, что он нашел что-то хорошее для себя и сильное против людей. Он громко смеялся.

— Голова у тебя не болит? — заботливо спросила Саша, испытующим взглядом глядя в лицо ему.

— Душа у меня болит! — азартно воскликнул Фома.— И оттого болит, что — не мирится! Давай ей ответ, как жить? Для чего? Вот — крестный,— он с умом! Он говорит — жизнь делай! А все говорят — заела нас жизнь!

— Слушай! — серьезно сказала Саша.— По-моему, надо тебе жениться — вот и всё!

— Зачем? — передернув плечами, спросил Фома.

— Хомут тебе надо...

— Ладно! Живу с тобой... Чай, ведь все вы одинаковы? Одна другой не слаще... До тебя была у меня одна,— из таких же. Нет, та по своей охоте... понравился я ей, она и... Хорошая была... А впрочем,— всё

одно, то же самое, совсем как у тебя, хоша ты ее краше... Но — барыня одна приглянулась мне... настоящая барыня, дворянка! Говорили, гуляет... До нее не достиг... Н-да-а... Умная, образованная, в красоте жила... Я, бывало, думал — вот где отведу настоящего-то!.. Не достиг... Может, если бы удалось, — другой бы оборот всё приняло... Тянуло меня к ней... А теперь вот — залил ее вином — забываю... И это нехоропо... Эх ты, человек! Подлец ты, если по совести сказать...

Фома замолчал, задумался. А Саша встала со скамьи и прошлась по избе, покусывая губы. Потом остановилась против него и, закинув руки на голову, сказала:

— Знаешь что? Уйду я от тебя...

— Куда? — спросил Фома, не поднимая головы.

— Не знаю... всё равно! Лишнее ты говоришь... Скучно с тобой...

Фома поднял голову, взглянул на нее и уныло засмеялся:

— Ну-у? Неужто?

— Я тоже из таких... тоже — придет мое время, — задумаюсь... И тогда пропаду... Но теперь мне еще рано... Нет, я еще поживу... а потом уж — будь что будет!

— А я — тоже пропаду? — равнодушно спросил Фома, уже утомленный своими речами.

— А как же! — спокойно и уверенно ответила Саша. — Такие люди пропадают...

Они с минуту молчали, глядя в глаза друг другу.

— Что же будем делать? — спросил Фома.

— Обедать надо.

— Нет, вообще? Потом?

— Н-не знаю...

— Так уходишь ты?

— Уйду... Давай еще покутим на прощанье! Поедем в Казань да там — с дымом, с полымем — и кутнем. Отпою я тебя...

— Это можно! — согласился Фома. — На прощанье — следует!.. Эх ты... дьявол! Житье! Слушай, Сашка, про вас, гулящих, говорят, что вы до денег жадные и даже ровки...

— Пускай говорят...— спокойно сказала Саша.

— Разве тебе не обидно это? — с любопытством спросил Фома.— Вот ты — не жадная,— выгодно тебе со мной, богатый я, а ты — уходишь... Значит — не жадная...

— Я-то?— Саша подумала и сказала, махнув рукой: — Может, и не жадная — что в том? Я ведь еще не совсем... низкая, не такая, что по улицам ходят... А обижаться — на кого? Пускай говорят, что хотят... Люди же скажут, а мне людская святость хорошо известна! Выбрали бы меня в судьи — только мертвого оправдала бы!..— И, засмеявшись нехорошим смехом, Саша сказала:— Ну, будет пустяки говорить... садись за стол!..

... На другой день утром Фома и Саша стояли рядом на трапе парохода, подходившего к пристани на Устье. Огромная черная шляпа Саши привлекала общее внимание публики ухарски изогнутыми полями и белыми перьями; Фоме было неловко стоять рядом с ней и чувствовать, как по его смущенному лицу ползают любопытные взгляды. Пароход шипел и вздрагивал, подваливая бортом к конторке, усеянной ярко одетой толпой народа, и Фоме казалось, что он видит среди разнообразных лиц и фигур кого-то знакомого, кто как будто всё прячется за спины других, но не сводит с него глаз.

— Пойдем в каюту! — беспокойно сказал он своей подруге.

— А ты не учишь грехи от людей прятать,— усмехаясь, ответила Саша.— Знакомого, что ли, увидал?

— Кто-то караулит меня...

Всмотревшись в толпу на пристани, он изменился в лице и тихо добавил:

— Это крестный...

У борта пристани, втиснувшись между двух грузных женщин, стоял Яков Маякин и с ехидной вежливостью помахивал в воздухе картузом, поднимая кверху иконописное лицо. Бородка у него вздрагивала, лысина блестела, и глазки сверлили Фому, как буравчики.

— Н-ну, ястреб! — пробормотал Фома, тоже сняв картуз и кивая головой крестному.

Его поклон доставил Маякину, должно быть, большое удовольствие,— старик как-то весь извился, затопал ногами, и лицо его осветилось ядовитой улыбкой.

— Видно, будет мальчику на орешки! — подзадоривала Саша.

Ее слова вместе с улыбкой крестного точно угли в груди Фомы разожгли.

— Поглядим, что будет...— сквозь зубы сказал он и вдруг оцепенел в злом спокойствии. Пароход пристал, люди хлынули волной на пристань. Затертый толпою Маякин на минуту скрылся из глаз и снова вынырнул, улыбаясь торжествующей улыбкой. Фома, сдвинув брови, в упор смотрел на него и подвигался навстречу ему, медленно шагая по мосткам. Его толкали в спину, навалились на него, теснили — всё это еще более возбуждало. Вот он столкнулся со стариком, и тот встретил его вежливеньким поклоном и вопросом:

— Куда изволите путешествовать, Фома Игнатьич?

— По своим делам,— твердо ответил Фома, не здорываясь с крестным.

— Похвально, сударь мой! — весь просияв, сказал Яков Тарасович.— Барынька-то с перьями как вам приходится?

— Любовница,— громко сказал Фома, не опуская глаз под острым взглядом крестного.

Саша стояла сзади него и из-за плеча спокойно разглядывала маленького старичка, голова которого была ниже подбородка Фомы. Публика, привлеченная громким словом Фомы, посматривала на них, чуя скандал. Маякин, тотчас же почуяв возможность скандала, сразу и верно определил боевое настроение крестника. Он поиграл морщинами, пожевал губами и мирно сказал Фоме:

— Надо мне с тобой побеседовать... В гостиницу пойдём?

— Могу... ненадолго...

— Некогда, значит? Видно, еще баржу разбить торопишься? — не стерпев, сказал старик.

— А что ж их не бить, если бьются? — задорно, но твердо возразил Фома.

— А конечно!.. Не ты наживал — тебе ли жалеть? Ну, пойдём... Да нельзя ли барыньку-то... хоть утопить на время? — тихо сказал Маякин.

— Поезжай, Саша, в город, возьми номер в Сибирском подворье, — я скоро приеду! — сказал Фома и, обратясь к Маякину, с удалством объявил: — Готов!..

До гостиницы оба шли молча. Фома, видя, что крестный, чтоб не отстать от него, подпрыгивает на ходу, нарочно шагал шире, и то, что старик не может идти в ногу с ним, поддерживало и усиливало в нём буйное чувство протеста, которое он и теперь уже едва сдерживал в себе.

— Человечек! — ласково сказал Маякин, придя в зал гостиницы и направляясь в отдаленный угол. — Подай-ка ты мне клюквенного квасу бутылочку...

— А мне — коньяку, — приказал Фома.

— Во-от... При плохих картах всегда с козыря ходи! — насмешливо посоветовал ему Маякин.

— Вы моей игры не знаете! — сказал Фома, усаживаясь за стол.

— Полно-ка! Многие так играют.

— Я так играю, что — или бапка вдребезги, или стена пополам! — горячо сказал Фома и пристукнул кулаком по столу...

— Не опохмелялся еще нынче? — спросил Маякин с улыбочкой.

Фома сел на стуле плотнее и с искаженным лицом заговорил:

— Папаша крестный!.. Вы умный человек... я уважаю вас за ум...

— Спасибо, сынок! — поклонился Маякин, встав и опершись руками о стол.

— Я хочу сказать, что мне уже не двадцать лет... Я не маленький.

— Еще бы те! — согласился Маякин. — Не мал век ты прожил, что и говорить! Кабы комар столько время жил — с курицу бы вырос...

— Погодите шутки шутить!.. — предупредил Фома и сделал это так спокойно, что Маякина даже повело всего и морщины на его лице тревожно задрожали.



— Вы зачем сюда приехали? — спросил Фома.

— А... набезобразил ты тут... так я хочу посмотреть — много ли? Я, видишь ли, родственником тебе довожусь... и один я у тебя...

— Напрасно вы беспокоитесь... Вот что, папаша... Или вы дайте мне полную волю, или всё мое дело берите в свои руки,— всё берите! Всё, до рубля!

Это вырвалось у Фомы совершенно неожиданно для него; раньше он никогда не думал ничего подобного. Но теперь, сказав крестному эти слова, он вдруг понял, что если б крестный взял у него имущество,— он стал бы совершенно свободным человеком, мог бы идти куда хочется, делать что угодно... До этой минуты он был опутан чем-то, но не знал своих пут, не умел сорвать их с себя, а теперь они сами спадают с него так легко и просто. В груди его вспыхнула тревожная и радостная надежда, он бессвязно бормотал:

— Это всего лучше! Возьмите всё и — шабаш! А я — на все четыре стороны!.. Я этак жить не могу... Точно гири на меня навешаны... Я хочу жить свободно... чтобы самому всё знать... я буду искать жизнь себе... А то — что я? Арестант... Вы возьмите всё это... к чёрту всё! Какой я купец? Не люблю я ничего... А так — ушел бы я от людей... работу какую-нибудь работал бы... А то вот — пью я... с бабой связался...

Маякин смотрел на него, внимательно слушал, и лицо его было сурово, неподвижно, точно окаменело. Над ними носился трактирный глухой шум, проходили мимо них какие-то люди, Маякину кланялись, но он ничего не видал, упорно разглядывая взволнованное лицо крестника, улыбавшееся растерянно, радостно и в то же время жалобно...

— Э-эх, ежевика ты моя, кисла ягода! — вздохнув, сказал он, перебивая речь Фомы.— Заплутался ты. Плетешь — несуразное... Надо понять — с коньяку ты это или с глупости?

— Папаша! — воскликнул Фома.— Ведь было так... бросали всё имение люди!

— Не при мне было... Не близкие мне люди! — сказал Маякин строго.— А то бы я им — показал!

— Многие угодниками стали, как ушли...

— Мм... У меня не ушли бы!.. И зачем я с тобой серьезно говорю? Тьфу!..

— Папаша! Почему вы не хотите? — с сердцем воскликнул Фома.

— Ты слушай! Если ты трубочист — лезь, сукин сын, на крышу!.. Пожарный — стой на каланче! И всякий род человека должен иметь свой порядок жизни... Телятам же — по-медвежьи не реветь! Живешь ты своей жизнью и — живи! И не лопочи, не лезь куда не надо! Делай жизнь свою — в своем роде!

Из темных уст старика забила трепетной, блестящей струей знакомая Фоме уверенная, бойкая речь. Он не слушал, охваченный думой о свободе, которая казалась ему так просто возможной. Эта дума впиалась ему в мозг, и в груди его всё крепло желание порвать связь свою с мутной и скучной жизнью, с крестным, пароходами, кутежами, — со всем, среди чего ему было душно жить.

Речь старика долетала до него как бы издали: она сливалась со звоном посуды, с шарканьем ног лакеев по полу, с чьим-то пьяным криком.

— И вся эта чепуха в башке у тебя завелась — от молодой твоей ярости! — говорил Маякин, постукивая рукой по столу. — Удаливость твоё — глупость; все речи твои — ерунда... Не в монастырь ли пойти тебе?

Фома слушал и молчал. Шум, кипевший вокруг него, как будто уходил куда-то всё дальше. Он представлял себя в середине огромной суетливой толпы людей, которые неизвестно для чего мнутя, лезут друг на друга, глаза у них жадно вытаращены, люди орут, падают, давят друг друга, все толкуются на одном месте. Ему оттого плохо среди них, что он не понимает, чего они хотят, не верит в их слова. И если вырваться из середины их на свободу, на край жизни, да оттуда посмотреть на них, — тогда всё поймешь и увидишь, где среди них твоё место.

— Я ведь понимаю, — уже мягче говорил Маякин, видя Фому задумавшимся, — хочешь ты счастья себе... Ну, оно скоро не дается... Его, как гриб в лесу, поискать надо, надо над ним спину поломать... да и найдя, — гляди — не поганка ли?

— Так освободите вы меня? — вдруг подняв голову, спросил Фома, и Маякин отвел глаза в сторону от его горящего взгляда. — Дайте вздохнуть... дайте мне в сторону отойти от всего! Я присмотрюсь, как всё происходит... и тогда уж... А так — сопьюсь я...

— Не говори пустяков! Что юродствуешь? — сердито крикнул Маякин.

— Ну, — хорошо! — спокойно ответил Фома. — Не хотите вы этого? Так — ничего не будет! Всё спущу! И больше нам говорить не о чем, — прощайте! Примусь я теперь за дело! Дым пойдет!..

Фома был спокоен, говорил уверенно; ему казалось, что, коли он так решил, — не сможет крестный помешать ему. Но Маякин выпрямился на стуле и сказал — тоже просто и спокойно:

— А знаешь ты, как я могу с тобой поступить?

— Как хотите! — махнув рукой, сказал Фома.

— Вот. Теперь я так хочу — приеду в город и буду хлопотать, чтобы признали тебя умалишенным и посадили в сумасшедший дом...

— Разве это можно? — недоверчиво, но уже с испугом в голосе спросил Фома.

— У нас, друг милый, всё можно!

Фома опустил голову и, исподлобья посмотрев в лицо крестного, вздрогнул, думая:

«Посадит... не пожалеет...»

— Если ты серьезно дуришь — я тоже должен серьезно поступать с тобой... Я отцу твоему дал слово — поставить тебя на ноги... И я тебя поставлю! Не будешь стоять — в железо закую... Тогда устоишь... Я знаю — всё это у тебя с перепоею... Но ежели ты отцом нажитое озорства ради губить будешь — я тебя с головой накрою... Колокол солью над тобой... Шутить со мной очень неудобно!

Морщины на щеках Маякина поднялись кверху, глазки улыбались из темных мешков насмешливо, холодно. И на лбу у него морщины изобразили какой-то странный узор, поднимаясь до лысины. Непреклонно и безжалостно было его лицо.

— Стало быть — нет мне ходу? — угрюмо спросил Фома. — Запираете вы мне пути?

— Ход есть — иди! А я тебя направлю... Как раз на свое место придешь...

Эта самоуверенность, эта непоколебимая хвастливость взорвали Фома. Засунув руки в карманы, чтобы не ударить старика, он выпрямился на стуле и в упор заговорил, стиснув зубы:

— Что вы всё хвалитесь? Чем тебе хвалиться? Сыно твой где? Дочь-то твоя — что такое? Эх ты... устроитель жизни! Ну, — умен ты, — всё знаешь: скажи — зачем живешь? Не умрешь, что ли? Что ты сделал за жизнь? Чем тебя помянут?..

Морщины Маякина дрогнули и опустились книзу, отчего лицо его приняло болезненное, плачущее выражение. Он открыл рот, но ничего не сказал, глядя на крестника с удивлением, чуть ли не с боязнью.

— Молчать, щенок! — тихо сказал он.

Фома встал со стула, кинул картуз на голову себе и с ненавистью оглянул старика.

— Кутить буду! Всё прокучу!..

— Ладно, — увидим!..

— Прощай! Герой!.. — усмехнулся Фома.

— До скорого свиданья! — сказал Маякин тихо и как будто задыхаясь.

Яков Маякин остался в трактире один. Он сидел за столом и, наклонясь над ним, рисовал на подносе узоры, макая дрожащий палец в пролитый квас. Острая голова его опускалась всё ниже над столом, как будто он не мог понять того, что чертил на подносе его сухой палец.

На лысине у него блестели капли пота, и, по обыкновению, морщины на щеках вздрагивали частой, тревожной дрожью...

Поманив кивком головы полового, Яков Тарасович спросил его особенно внушительно:

— Что с меня следует?

## Х

До ссоры с Маякиным Фома кутил от скуки, полуравнодушно, — теперь он загулял с озлоблением, почти с отчаянием, полный мстительного чувства и какой-то

дерзости в отношении к людям,— дерзости, порою удивлявшей и его самого. Он видел, что люди, окружавшие его, трезвые — несчастны и глупы, пьяные — противны и еще более глупы. Никто из них не возбуждал в нем интереса; он даже не спрашивал их имен, забывая, когда и где знакомился с ними, и всегда чувствовал желание сказать и сделать что-нибудь обидное для них. В дорогих, шикарных ресторанах его окружали какие-то проходимцы, куплетисты, фокусники, актеры, разорившиеся на кутежах помещики. Эти люди сначала относились к нему покровительственно, хвастаясь пред ним тонкими вкусами, знанием вин и кушаний, потом подлизывались к нему, занимали деньги, которые он уже занимал под векселя. В дешевых трактирах около него вились ястребами парикмахеры, маркеры, какие-то чиновники, певчие; среди этих людей он чувствовал себя лучше, свободнее,— они были менее развратны, проще понимались им, порою они проявляли здоровые, сильные чувства, и всегда в них было больше чего-то человеческого. Но, как и «чистая публика»,— эти тоже были жадны до денег и нахально обирали его, а он видел это и грубо издевался над ними.

Разумеется — были женщины. Физически здоровый, Фома покупал их, дорогих и дешевых, красивых и дурных, дарил им большие деньги, менял их чуть не каждую неделю и в общем — относился к ним лучше, чем к мужчинам. Он смеялся над ними, говорил им зазорные и обидные слова, но никогда, даже полупьяный, не мог избавиться от какого-то стеснения пред ними. Все они — самые нахальные и бесстыдные — казались ему беззащитными, как малые дети. Всегда готовый избить любого мужчину, он никогда не трогал женщин, хотя порой безобразно ругал их, раздраженный чем-либо. Он чувствовал себя неизмеримо сильнее женщины, женщина казалась ему неизмеримо несчастнее его. Те, которые развратничали с удальством, хвастаясь своей распушенностью, вызывали у Фомы стыдливое чувство, от которого он становился робким и неловким. Однажды одна из таких женщин, пьяная и озорная, во время ужина, сидя рядом с ним, ударила его по щеке коркой дыни. Фома был полупьян. Он побледнел от оскорбле-

ния, встал со стула и, сунув руки в карманы, свирепым, дрожащим от обиды голосом сказал:

— Ты, стерва! Пошла прочь! Другой бы тебе за это голову расколочил... А ты знаешь, что я смирен с вами и не поднимается рука у меня на вашу сестру... Выгоните ее к чёрту!

Саша через несколько дней по приезде в Казань поступила на содержание к сыну какого-то водочного заводчика, кутившему вместе с Фомой. Уезжая с новым хозяином куда-то на Каму, она сказала Фоме:

— Прощай, милый человек! Может, встретимся еще, — одна у нас дорога! А сердцу воли, советую, не давай... Гуляй себе без оглядки, а там — кашку слопал — чашку о пол... Прощай!

Она крепко поцеловала его в губы, причем глаза ее стали еще темнее.

Фома был рад, что она уезжает от него: надоела она ему, и пугало его ее холодное равнодушие. Но тут в нем что-то дрогнуло, он отвернулся в сторону от нее и тихо молвил:

— Может, — не уживешься... тогда опять ко мне приезжай.

— Спасибо, — ответила она ему и почему-то засмеялась необычным для нее, хрипящим смехом...

Так жил Фома день за днем, лелея смутную надежду отойти куда-то на край жизни, вон из этой сутолоки. Ночами, оставаясь один на один с собой, он, крепко закрыв глаза, представлял себе темную толпу людей, страшную огромностью своей. Столпившись где-то в котловине, полной пыльного тумана, эта толпа в шумном смятении кружилась на одном месте и была похожа на зерно в ковше мельницы. Как будто невидимый жёрнов, скрытый под ногами ее, молот ее и люди волнообразно двигались под ним, не то стремясь вниз, чтоб скорее быть смолотыми и исчезнуть, не то вырываясь вверх, в стремлении избежать безжалостного жёрнова.

Фома видел среди толпы знакомые ему лица: вот отец ломит куда-то, могуче расталкивая и опрокидывая всех на пути своем, прет на всё грудью и громогласно хохочет... и исчезает, проваливаясь под ноги людей. Вот, извиваясь ужом, то прыгая на плечи, то

проскальзывая между ног людей, работает всем своим сухим, но гибким и жилистым телом крестный... Любовь кричит и бьется, следуя за отцом, то отставая от него, то снова приближаясь. Палагея быстро и прямо идет куда-то... Вот Софья Павловна стоит, бессильно опустив руки, как стояла она тогда, последний раз — у себя в гостиной... Глаза у нее большие, и страх светится в них. Саша, равнодушная, не обращая внимания на толчки, идет прямо в самую гущу, спокойно глядя на всё темными глазами. Шум, вой, смех, пьяные крики, азартный спор слышит Фома; песни и плач носятся над огромной светливой кучей живых человеческих тел, стесненных в яме; они ползают, давят друг друга, вспрыгивают на плечи один другому, суются, как слепые, всюду наталкиваются на подобных себе, борются и, падая, исчезают из глаз. Шелестят деньги, носясь, как летучие мыши, над головами людей, и люди жадно простирают к ним руки, брякает золото и серебро, звенят бутылки, хлопают пробки, кто-то рыдает, и тоскливый женский голос поет:

Так будем любить, пока можно-о,  
А там — хоть тра-ава не расти!

Эта картина укрепилась в голове Фомы и каждый раз всё более яркая, огромная, живая возникала перед ним, возбуждая в груди его неопределимое чувство, в которое, как ручьи в реку, вливались и страх, и возмущение, и жалость, и злоба, и еще многое. Всё это вскипало в груди до напряженного желания, — от силы которого он задышался, на глазах его являлись слезы, и ему хотелось кричать, выть зверем, испугать всех людей — остановить их бессмысленную возню, влить в шум и суету жизни что-то свое, сказать какие-то громкие, твердые слова, направить их всех в одну сторону, а не друг против друга. Ему хотелось хватать их руками за головы, отрывать друг от друга, избить одних, других же приласкать, укорять всех, осветить их каким-то огнем...

Ничего в нем не было — ни нужных слов, ни огня, было в нем только желание, понятное ему, но невыпол-

нимое... Он представлял себя вне котловины, в которой кипят люди; он видел себя твердо стоящим на ногах и — немым. Он мог бы крикнуть людям:

«Как живете? Не стыдно ли?»

Но если они, услышав его голос, спросят:

«А — как надо жить?»

Он прекрасно понимал, что после такого вопроса ему пришлось бы слететь с высоты кувырком, туда, под ноги людям, к жёрнову. И смехом проводили бы его гибель.

Порой ему казалось, что он сходит с ума от пьянства, — вот почему лезет ему в голову это страшное. Усилием воли он гасил эту картину, но, лишь только оставался один и был не очень пьян, — снова наполнялся бредом, вновь изнемогал под тяжестью его. Желание свободы всё росло и крепло в нем. Но вырваться из пут своего богатства он не мог.

Маякин, имевший от него полную доверенность на управление делом, действовал так, что Фоме чуть не каждый день приходилось ощущать тяжесть лежащих на нем обязанностей. К нему то и дело обращались за платежами, предлагали ему сделки по перевозке грузов, служащие обращались с такими мелочами, которые раньше не касались его, выполняемые ими на свой страх. Его отыскивали в трактирах, расспрашивали его о том, как и что нужно делать; он говорил им, порой совсем не понимая, так это нужно делать или иначе, замечал их скрытое пренебрежение к нему и почти всегда видел, что они делают дело не так, как он приказал, а иначе и лучше. В этом он чувствовал ловкую руку крестного и понимал, что старик теснит его затем, чтоб поворотить на свой путь. И в то же время замечал, что он — не господин в своем деле, а лишь составная часть его, часть неважная. Это раздражало и еще дальше отталкивало от старика, еще сильнее возбуждало его стремление вырваться из дела, хотя бы ценой его гибели. Он с яростью разбрасывал деньги по трактирам и притонам, но это продолжалось недолго — Яков Тарасович закрыл в банках текущие счета, выбрав все вклады. Вскоре Фома почувствовал, что и под векселя дают ему уже не так охотно, как сначала давали. Это



задело его самолюбие и совсем возмутило, испугало его, когда он узнал, что крестный пустил в торговый мир слух о том, что он, Фома, — не в своем уме и что над ним, может быть, придется учредить опеку. Фома не знал пределов власти крестного и не решался посоветоваться с кем-нибудь по этому поводу: он был уверен, что в торговом мире старик — сила и может сделать всё, что захочет. Сначала ему было жутко чувствовать над собой руку Маякина, но потом он помирился с этим и продолжал свою бесшабашную, пьяную жизнь, в которой только одно утешало его — люди. С каждым днем он всё больше убеждался, что они — бессмысленнее и всячески хуже его, что они — не господа жизни, а лакеи ее и что она вертит ими как хочет, гнет и ломает их как ей угодно.

Так он и жил — как будто шел по болоту, с опасностью на каждом шагу увязнуть в грязи и тине, а его крестный — вьюном вился на сухоньком и твердом местечке, зорко следя издали за жизнью крестника.

После ссоры с Фомой Маякин вернулся к себе угрюмо задумчивым. Глазки его блестели сухо, и весь он выпрямился, как туго натянутая струна. Морщины болезненно съежились, лицо как будто стало еще меньше и темней, и когда Любовь увидала его таким — ей показалось, что он серьезно болен. Молчаливый старик нервно метался по комнате, бросая дочери в ответ на ее вопросы сухие, краткие слова, и наконец прямо крикнул ей:

— Отстань! Не до тебя...

Ей стало жалко его, когда она увидала, как тоскливо и уныло смотрят острые, зеленые глаза; и, когда он сел за обеденный стол, порывисто подошла к нему, положила руки на плечи ему и, заглядывая в лицо, ласково и тревожно спросила:

— Папаша! Вам нездоровится — скажите!

Ее ласки были крайне редки; они всегда смягчали одинокого старика, и хотя он не отвечал на них почему-то, но — всё ж таки ценил их. И теперь, передернув плечами и сбросив с них ее руки, он сказал ей:

— Иди, иди на свое место. Ишь разбирает тебя Евпизуд...

Возвращаясь  
Домашняя Заря

Крупный шрифт  
Н. Косов  
(Правка)

- Милашки! - сказала охотница Дина, когда пришла  
домой к Зарю. Сегодня вечером приехала  
женка Зарю. Зарю сама пришла  
всё вспомнила. Вспомнила старую историю  
вспомнила и то, как была в том  
море. Там же была. Там же в том  
бросила там была. Там же была.  
Там же была. Там же была.

Любовь, сама у нас была. Сама  
была и готова ей была. Сама  
была.

- Зарю, сама у нас была. Сама  
была и готова ей была. Сама  
была.

- А сама у нас была. Сама  
была и готова ей была. Сама  
была.

Любовь сама у нас была. Сама  
была и готова ей была. Сама  
была.

Любовь сама у нас была. Сама  
была и готова ей была. Сама  
была.

Любовь сама у нас была. Сама  
была и готова ей была. Сама  
была.

Любовь сама у нас была. Сама  
была и готова ей была. Сама  
была.

Любовь сама у нас была. Сама  
была и готова ей была. Сама  
была.

Любовь сама у нас была. Сама  
была и готова ей была. Сама  
была.

Любовь сама у нас была. Сама  
была и готова ей была. Сама  
была.

Любовь сама у нас была. Сама  
была и готова ей была. Сама  
была.

Любовь сама у нас была. Сама  
была и готова ей была. Сама  
была.

«ФОМА ГОРДЕЕВ». НАЧАЛО ГЛАВЫ X XI

Автограф с правкой М. Горького.

Но Любовь не ушла; настойчиво заглядывая в глаза его, она с обидой в голосе спросила:

— Почему вы, папаша, всегда так говорите со мной,— точно я маленькая или очень глупая?

— Потому что ты большая, а не очень умная... Н-да! Вот те и весь сказ! Иди садись и ешь...

Она отошла и молча села против отца, обиженно поджав губы. Маякин ел против обыкновения медленно, подолгу шевыряя ложкой в тарелке щей и упорно рассматривая их.

— Кабы засоренный ум твой мог понять отцовы мысли! — вдруг сказал он, вздыхая с каким-то свистом.

Любовь отбросила в сторону свою ложку и чуть не со слезами в голосе заговорила:

— Зачем обижать меня, папаша? Ведь видите вы — одна я! всегда одна! Ведь понятно вам, как тяжело мне жить — а никогда вы слова ласкового не скажете мне... И вы ведь одиноки, и вам тяжело...

— Вот и Валаамова ослица заговорила! — усмехнувшись, сказал старик. — Н-ну? Что же дальше будет?

— Горды вы очень, папаша, вашим умом...

— А еще что?

— Это нехорошо!.. Зачем вы меня отталкиваете? Ведь у меня никого нет, кроме вас...

У нее на глазах появились слезы; отец заметил их, и лицо его вздрогнуло.

— Кабы ты не девка была! — воскликнул он. — Кабы у тебя ум был, как... у Марфы Посадницы, примерно, — эх, Любовь! Наплевал бы я на всех... на Фомку... Ну, не реви!

Она вытерла глаза и спросила:

— Что же Фома?

— Бунтует... Ха-ха! Говорит: «Возьмите у меня всё имущество, отпустите меня на волю...» Спасаться хочет... в кабаках!.. Вот он что задумал, наш Фома...

— Что же это?.. — нерешительно спросила Любовь.

— Что это? — горячась и вздрагивая, заговорил Маякин. — А это у него или с перепою, или — не дай бог! — материно... староверческое... И если это кулугурская закваска в нем, — много будет мне с ним бою! Он — грудью пошел против меня... дерзость большую

обнаружил... Молод,— хитрости нет в нем... Говорит: «Всё пропью!» Я те пропью!

Маякин поднял руку над головой и, сжав кулак, яростно погрозил им.

— Как смеешь? Кто нажил дело, кто его оборудовал? Ты? Отец твой... Сорок лет труда положено, а ты его разрушить хочешь? Мы все должны где дружно стеной, где осторожно, гуськом, один за другим, идти к своему месту... Мы, купцы, торговые люди, веками Россию на своих плечах несли и теперь несем... Петр Великий был царь божеского ума — он нам цену знал! Как он нас поддерживал? Книжки печатал нарочно для нашего обучения делу... Вон у меня его повелением напечатанная книга Полидора Виргилия Урбинского об изобретателях вещей... в семьсот двадцатом году печатана... да! Это надо понять!.. Он дал нам ход... А теперь — мы на своих ногах стоим... Ходу нам дайте! Мы фундамент жизни закладывали — сами в землю вместо кирпичей ложились,— теперь нам этажи надо строить... позвольте нам свободы действий! Вот куда наш брат должен курс держать... Вот где задача! Фомка этого не понимает... Должен понять и — продолжать... У него отцовы средства... Я издохну — мои присоединятся: работай, щенок! А он колобродит. Нет, ты погоди! Я тебя вознесу до надлежащей точки!

Старик задыхался от возбуждения и сверкающими глазами смотрел на дочь так яростно, точно на ее месте Фома сидел. Любовь пугало его возбуждение.

— Проложен путь отцами — и ты должен идти по нем. Пятьдесят лет я работал — для чего?.. Дети мои! Где у меня дети?

Старик уныло опустил голову, голос его оборвался, и так глухо, точно он говорил куда-то внутрь себя, он сказал:

— Один — пропал... другой — пьяница!.. Дочь... Кому же я труд свой перед смертью сдам?.. Зять был бы... Я думал — перебродит Фомка, наточится,— отдам тебя ему и с тобой всё — на! Фомка негоден... А другого на место его — не вижу... Какие люди пошли!.. Раньше железный был народ, а теперь — никакой прочности не имеют... Что это? Отчего?

Маякин с тревогой смотрел на дочь, она молчала.

— Скажи,— спросил он ее,— чего тебе надо? Как, по-твоему, жить надо? Чего ты хочешь? Ты училась, читала — что тебе нужно?

Вопросы сыпались на голову Любови неожиданно для нее, она смутилась. Она и довольна была тем, что отец спрашивает ее об этом, и боялась отвечать ему, чтоб не уронить себя в его глазах. И вот, вся как-то подбравшись, точно собираясь прыгнуть через стол, она неуверенно и с дрожью в голосе сказала:

— Чтобы все были счастливы... и довольны... все люди — равны... свобода нужна всем... так же, как воздух... и во всем — равенство!

Отец со спокойным презрением сказал ей:

— Так я и знал: дура ты позлащенная!

Она поникла головой, но тотчас же вскинула ее и с тоской воскликнула:

— Вы же сами говорите: свобода...

— Молчи уж! — грубо крикнул на нее старик. — Даже того не видишь, что из каждого человека явно наружу прет... Как могут быть все счастливы и равны, если каждый хочет выше другого быть? Даже нищий свою гордость имеет и пред другими чем-нибудь всегда хвастается... Мал ребенок — и тот хочет первым в товарищах быть... И никогда человек человеку не уступит — дураки только это думают... У каждого — душа своя... только тех, кто души своей не любит, можно обтесать под одну мерку... Эх ты!.. Начиталась, нажралась дряни...

Горький укор, ядовитое презрение выразились на лице старика. С шумом оттолкнув от стола свое кресло, он вскочил с него и, заложив руки за спину, мелкими шагами стал бегать по комнате, потряхивая головой и что-то говоря про себя злым, свистящим шёпотом... Любовь, бледная от волнения и обиды, чувствуя себя глупой и беспомощной пред ним, вслушивалась в его шёпот, и сердце ее трепетно билось.

— Один остался... Как Иов... О, господи!.. Что сделаю? Я ли — не умен? Я ли — не хитер?

Девушке стало до боли жалко старика; ее охватило

страшное желание помочь ему; ей хотелось быть нужной для него.

Горячими глазами следя за ним, она вдруг сказала ему тихонько:

— Папаша... милый! Не тоскуйте... ведь еще Тарас жив... может быть, он...

Маякин вдруг остановился, как вкопанный, и медленно поднял голову.

— Молодым дерево покривилось, не выдержало, — в старости и подавно изломится... Ну, все-таки... и Тарас теперь мне соломина... Хотя едва ли цена его выше Фомы... Есть у Гордеева характерец... есть в нем отцово дерзновение... Много он может поднять на себе... А Тараска... это ты вовремя вспомнила...

И старик, за минуту пред тем упавший духом до жалоб, в тоске метавшийся по комнате, как мышь в мышеловке, теперь с озабоченным лицом, спокойно и твердо снова подошел к столу, тщательно уставил около него свое кресло и сел, говоря:

— Надо будет пощупать Тараску... в Усолье он живет, на заводе каком-то... Слышал я от купцов — соду, что ли, работают там... Узнаю подробно...

— Позвольте, я напишу ему, папаша? — вздрагивая от радости и вся красная, тихо попросила Любовь...

— Ты? — спросил Маякин, мельком взглянув на нее, потом помолчал, подумал и сказал: — Можно! Это даже — лучше! Напиши... Спроси — не женат ли? Как, мол, живешь? Что думаешь?.. Да я тебе скажу, что написать, когда придет время...

— Вы скорее, папаша!.. — сказала девушка.

— Скорее-то надо вот замуж тебя выдавать... Я тут присматриваюсь к одному, рыженькому, — парень как будто не дурак... Заграничной выделки, между прочим...

— Это Смолин, папаша? — с тревогой и любопытством спросила Любовь.

— А хоть бы и он — что же? — деловито осведомился Яков Тарасович.

— Ничего... Я его не знаю... — неопределенно ответила Любовь.

— Познакомим... Пора, Любовь, пора! На Фому надежда плоха... хоть я и не отступлюсь от него...

— Я на Фому не рассчитывала...

— Это ты напрасно... Кабы умнее была — может, он бы не свихнулся!.. Я, бывало, видя вас вдвоем, думал: «Прикормит девка моя парня к себе!» Ан — прогадал...

Она задумалась, слушая его внушительную речь. За последнее время ей, здоровой и сильной, всё чаще приходила в голову мысль о замужестве, — иного выхода из своего одиночества она не видела. Желание бросить отца и уехать куда-нибудь, чтобы чему-нибудь учиться, что-либо работать, — она давно уже пережила, как пережила одиноко в себе много других желаний, столь же неглубоких. От разнообразных книг, прочитанных ею, в ней остался мутный осадок, и хотя это было нечто живое, но живое, как протоплазма. Из этого осадка в девушке развилось чувство неудовлетворенности своей жизнью, стремление к личной независимости, желание освободиться от тяжелой опеки отца, — но не было ни сил осуществить эти желания, ни представления о том, как осуществляются они. А природа внушала свое, и девушка при виде молодых матерей с детьми на руках чувствовала тоскливое и обидное томление. Порою, останавливаясь перед зеркалом, она с грустью рассматривала полное, свежее лицо с темными кругами около глаз, и ей становилось жаль себя: жизнь обходит, забывает ее в стороне где-то. Теперь, слушая речь отца, она представляла себе — каким может быть этот Смолин? Она встречала его еще гимназистом, он тогда был весь в веснушках, курносый, чистенький, степенный и скучный. Танцевал он тяжело и неуклюже, говорил неинтересно... С той поры прошло много времени: он был за границей, учился там чему-то, — каков он теперь? От Смолина мысль ее перескочила к брату, и она с замиранием сердца подумала: что-то он ответит ей на письмо? Каков он? Образ брата, каким она представляла его себе, заслонил пред ней и отца и Смолина, и она уже говорила себе, что до встречи с Тарасом ни за что не согласится выйти замуж, как вдруг отец крикнул ей:

— Эй, Любавка! Что задумалась? Над чем больше?

— Так, — быстро всё идет... — улыбнувшись, ответила Люба.

— Что — быстро?

— Да всё... неделю тому назад говорить с вами о Тарасе нельзя было, а теперь вот...

— Нужда, девка! Нужда — сила, стальной прут в пружину гнет, а сталь — упориста! Тарас? Поглядим! Человек ценен по сопротивлению своему силе жизни, — ежели не она его, а он ее на свой лад крутит, — мое ему почтение! Э-эх, стар я! А жизнь-то теперь куда как бойка стала! Интересу в ней — с каждым годом всё прибавляется, — всё больше смаку в ней! Так бы и жил всё, так бы всё и действовал!..

Старик вкусно почмокивал губами, потирал руки, и глазки его жадно поблескивали.

— А вы вот — жидкой крови людшки! Еще не выросли, а уж себя переросли и дряблые живете, как старая редька... И то, что жизнь всё краше становится, — недоступно вам... Я шестьдесят семь лет на сей земле живу и уже вот у гроба своего стою, но вижу: в старину, когда я молод был, и цветов на земле меньше было и не столь красивые цветы были... Всё украшается! Здания какие пошли! Орудие разное, торговое... Пароходщи! Ума во всё бездна вложено! Смотришь — думаешь: «Ай да люди, молодцы!» Всё хорошо, всё приятно, — только вы, наследники наши, — всякого живого чувства лишены! Какой-нибудь шарлатанишка из мещан и то бойчее вас... Вон этот... Ежов-то — что он такое? А изображает собою судью даже надо всей жизнью — одарен смелостью! А вы — тьфу! Нищими живете... Содрать бы с вас шкуры да посыпать по живому мясу солью — запрыгали бы!

Яков Тарасович, маленький, сморщенный и костлявый, с черными обломками зубов во рту, лысый и темный, как будто опаленный жаром жизни, прокоптевший в нем, весь трепетал в пылком возбуждении, осыпая дребезжащими, презрительными словами свою дочь — молодую, рослую и полную. Она смотрела на него виноватыми глазами, смущенно улыбалась, и в сердце ее росло уважение к живому и стойкому в своих желаниях старику...



А Фома всё кутил и колобродил. В одном из дорогих ресторанов города он попал в приятельски радостные объятия сына водочного заводчика, который взял на содержание Сашу.

— Вот это встреча! А я здесь третий день проедаюсь в тяжком одиночестве... Во всем городе нет ни одного порядочного человека, так что я даже с газетчиками вчера познакомился... Ничего, народ веселый... сначала играли аристократов и всё фыркали на меня, но потом все вдребезги напились... Я вас познакомлю с ними... Тут один есть фельетонист — этот, который вас тогда возвеличил... как его? Увеселительный малый, чёрт его дер!

— А что Александра? — спросил Фома, немного оглушенный громкой речью этого высокого развязного парня в пестром костюме.

— Ну, знаете, — поморщился тот, — эта ваша Александра — дрянь женщина! Какая-то — темная... скучно с ней, чёрт ее возьми! Холодная, как лягушка, брр! Нет, я ей дам отставку...

— Холодная — это верно, — сказал Фома и задумался.

— Каждый человек должен делать свое дело самым лучшим образом! — поучительно сказал сын водочного заводчика. — И если ты поступаешь на содержание, так тоже должна исполнять свою обязанность как нельзя лучше, — коли ты порядочная женщина... Ну-с, водки выпьем?

Выпили. И, разумеется, напились.

К вечеру в гостинице собралась большая и шумная компания, и Фома, пьяный, но грустный и тихий, говорил заплетающимся языком:

— Я так понимаю: одни люди — черви, другие — воробьи... Воробьи — это купцы... Они клюют червей... Так уж им положено... Они — нужны... А я и все вы — ни к чему... Мы живем без оправдания... Совсем не нужно нас... Но и те... и все — для чего? Это надо понять... Братцы!.. На что меня нужно? Не нужно меня!.. Убейте меня... чтобы я умер... Хочу, чтобы я умер...

Он плакал обильными, пьяными слезами. К нему подсел какой-то маленький черный человечек, о чем-то

напоминал ему, лез целоваться с ним и кричал, стуча ножом по столу:

— Молчать! Слово сырью! Дайте слово слонам и мамонтам неустройства жизни! Говорит святые речи сырая русская совесть! Рычи, Гордеев! Рычи на всё!..

И он снова цеплялся за плечи Фомы и лез на грудь к нему, поднимая к его лицу свою круглую, черную, гладко остриженную голову, неустанно вертевшуюся на его плечах во все стороны, так что Фома не мог рассмотреть его лица, сердился на него за это и всё отталкивал его от себя, раздраженно вскрикивая:

— Не лезь! Где у тебя рожа?

Вокруг них стоял оглушающий, пьяный хохот, и, задыхаясь от него, сын водочного заводчика хрипло ревел кому-то:

— Иди ко мне! Сто рублей в месяц, стол и квартиру! Честное слово! Иди! Честное слово! Плюнь на газету — я дороже дам!

И всё качалось из стороны в сторону плавными, волнообразными движениями. Люди то отдалялись от Фомы, то приближались к нему, потолок опускался, а пол двигался вверх, и Фоме казалось, что вот его сейчас расплющит, раздавит. Затем он почувствовал, что плывет куда-то по необъятно широкой и бурной реке, и, шатаясь на ногах, в испуге начал кричать:

— Куда плывем? Где капитан?

Ему отвечал громкий бессмысленный смех пьяных людей и резкий, противный крик черного человечка:

— Верно-о! Где капитан?

Фома очнулся от этого кошмара в маленькой комнате с двумя окнами, и первое, на чем остановились его глаза, было сухое дерево. Оно стояло под окном; толстый ствол его с облезлой корой преграждал свету доступ в комнату, изогнутые и черные ветви без листьев бессильно распростерлись в воздухе и, покачиваясь, жалобно скрипели. Шел дождь, по стеклам лились потоки воды, было слышно, как она течет с крыши на землю и всхлипывает. К этому плачущему звуку приме-

шивался другой, тонкий, то и дело прерывавшийся, торопливый скрип пера по бумаге и какое-то отрывистое ворчание.

С трудом поворотив на подушке тяжелую голову, Фома увидал маленького черного человечка, он, сидя за столом, быстро царапал пером по бумаге, одобрительно встряхивал круглой головой, вертел ею во все стороны, передергивал плечами и весь — всем своим маленьким телом, одетым лишь в подштанники и ночную рубаху, — неустанно двигался на стуле, точно ему было горячо сидеть, а встать он не мог почему-то. Левая его рука, худая и тонкая, то крепко потирала лоб, то делала в воздухе какие-то непонятные знаки; босые ноги шаркали по полу, на шее трепетала какая-то жила, и даже уши его двигались. Когда его лицо обращалось к Фоме — Фома видел тонкие губы, что-то шептавшие, острый нос, редкие усики; эти усики прыгали вверх каждый раз, когда человек улыбался... Лицо у него было желтое, морщинистое, и черные, живые, блестящие глазки казались чужими на нем.

Устав смотреть на него, Фома стал медленно водить глазами по комнате. На большие гвозди, вбитые в ее стены, были воткнуты пучки газет, отчего казалось, что стены покрыты опухолями. Потолок был оклеен когда-то белой бумагой; она вздулась пузырями, полупалась, отстала и висела грязными клочьями; на полу валялось платье, сапоги, книги, рваная бумага... Вся комната производила такое впечатление, точно ее ошпарили кипятком.

Человечек бросил перо, наклонился над столом, бойко забарабанил по краю его пальцами рук и тихонько слабеньким голоском запел:

Бе-ери барабан — и не бойся!  
Це-луй маркитантку звучней!  
Вот смысл глубочайший науки,  
Вот смысл философии все-ей!

Фома тяжело вздохнул и сказал:

— Зельтерской бы выпить...

— Ага! — воскликнул человечек и, спрыгнув со стула, очутился у дивана, на котором лежал Фома. —

Здорово, товарищ! Зельтерской? С коньяком или просто?

— Лучше с коньяком...— сказал Фома, пожимая протянутую ему сухую и горячую руку и пристально всматриваясь в лицо человека...

— Егоровна! — крикнул тот к двери и, обратясь к Фоме, спросил: — Не узнаешь, Фома Игнатьевич?

— Помню... что-то... будто встречались...

— Четыре года продолжалась эта встреча... но это давно было! Ежов...

— Господи! — воскликнул Фома с изумлением, встав на диване. — Да разве это ты?

— Я, брат, сам порой не верю в это, но факт — есть нечто такое, от чего сомнение отскакивает, как резиновый мяч от железа...

Лицо Ежова смешно исказилось, и руки для чего-то начали ощупывать грудь.

— Н-ну-у! — протянул Фома. — Вот так постарел ты! Сколько ж тебе лет-то?

— Тридцать...

— А — как пятьдесят... сухой, желтый!.. Видно, не сладко жил?

Фоме было жалко видеть веселого и бойкого школьного товарища таким изношенным, живущим в этой конуре. Он смотрел на него, грустно мигал глазами и видел, как лицо Ежова подергивается, а глазки пылают раздражением. Ежов откупоривал бутылку с водой и, занятый этим, молчал, сжав бутылку коленями и тщательно напрягаясь, чтобы вытащить из нее пробку. И это его бессилие тоже трогало Фому.

— Н-да, обсосала тебя жизнь-то... А учился...— задумчиво говорил он.

— Пей! — сказал Ежов, даже побледневший от усталости, подавая ему стакан. Затем он потер лоб, сел на диван к Фоме и заговорил:

— Науку — оставь! Наука есть божественный напиток... но пока он еще негоден к употреблению, как водка, не очищенная от сивушного масла. Для счастья человека наука еще не готова, друг мой... и у людей, потребляющих ее, только головы болят... вот как у нас с тобой теперь... Ты что это как неосторожно пьешь?

— А что мне делать? — спросил Фома, усмехаясь. Ежов пытливо, прищуренными глазами посмотрел на Фому и сказал:

— Сопоставляя твой вопрос со всем тем, что ты вчера молол, чую душой, что ты, друг, тоже не от веселой жизни веселишься...

— Эх! — тяжело вздохнул Фома, вставая с дивана. — Какая жизнь? Так что-то... несуразное... Живу один... ничего не понимаю... плюнуть на всё хочется и провалиться бы куда-нибудь! Бежать бы от всего... Тоска!

— Это любопытно! — сказал Ежов, потирая руки и весь вертясь. — Это любопытно, если это верно, ибо доказывает, что святой дух недовольства жизнью проник уже и в купеческие спальни... в мертвецкие души, утопленных в жирных щах, в озерах чая и прочих жидкостях... Ты мне изложи всё по порядку... Я, брат, тогда роман напишу...

— Мне говорили, что ты и то уж написал про меня что-то? — с любопытством спросил Фома и еще раз внимательно осмотрел старого товарища, не понимая, что может написать он, такой жалкий.

— Написал! А ты читал?

— Нет, не довелось...

— А что же тебе говорили?

— Здорово, будто, изругал ты меня.

— Гм... А тебе не интересно самому прочитать? — допрашивал Ежов, в упор рассматривая Гордеева.

— Я прочитаю! — обнадежил его Фома, чувствуя, что неловко ему перед Ежовым и что Ежова как будто обижает такое отношение к его писаниям. — В самом деле, — ведь интересно, ежели про меня написано... — добавил он, добродушно улыбаясь товарищу.

Эта встреча родила в нем тихое, доброе чувство, вызвав воспоминания о детстве, и они мелькали теперь в памяти его, — мелькали, как маленькие скромные огоньки, пугливо светя ему из дали прошлого.

Ежов подошел к столу, на котором уже стоял кипящий самовар, молча налил два стакана густого, как деготь, чая и сказал Фоме:

— Иди, пей чай... Рассказывай!

— Мне нечего рассказывать. Пустая у меня жизнь!

Лучше ты мне про себя расскажи... ты все-таки, поди, больше моего знаешь...

Ежов задумался, не переставая вертеться и крутить головой. В задумчивости — только лицо его становилось неподвижным, — все морщинки на нем собирались около глаз и окружали их как бы лучами, а глаза от этого уходили глубже под лоб...

— Н-да, я, брат, кое-что видел... — заговорил он, встряхивая головой. — И знаю я, пожалуй, больше, чем мне следует знать, а знать больше, чем нужно, так же вредно для человека, как и не знать того, что необходимо. Рассказать тебе, как я жил? Попробую. Никогда никому не рассказывал о себе... потому что ни в ком не возбуждал интереса... Преобидно жить на свете, не возбуждая в людях интереса к себе!..

— Уж я по лицу да и по всему вижу, что нехорошо тебе жилось! — сказал Фома, чувствуя удовольствие от того, что и товарищу жизнь не сладка.

Ежов залпом выпил свой чай, швырнул стакан на блюдце, поставил ноги на край стула и, обняв колени руками, положил на них подбородок. В этой позе, маленький и гибкий, как резина, он заговорил:

— Студент Сачков, бывший мой учитель, а ныне доктор медицины, винтёр и холоп, говорил мне, бывало, когда я хорошо выучу урок: «Молодец, Коля! Ты способный мальчик. Мы, разночинцы, бедные люди, с заднего двора жизни, должны учиться и учиться, чтобы стать впереди всех... Россия нуждается в умных и честных людях, старайся быть таким, и ты будешь хозяином своей судьбы, полезным членом общества. На нас, разночинцах, покоятся теперь лучшие надежды страны, мы призваны внести в нее свет, правду...» И так далее. Я ему, скотине, верил... И вот с той поры прошло около двадцати лет — мы, разночинцы, выросли, но ума не вынесли и света в жизнь не внесли. Россия по-прежнему страдает своей хронической болезнью — избытком мерзавцев, и мы, разночинцы, с удовольствием пополняем собой их толпы. Мой учитель, повторяю, — лакей, безличное и безмолвное существо, которому городской голова приказывает, а я — паяц на службе обществу. Меня, брат, здесь в городе преследует слава... Иду по

улице и слышу — извозчик говорит своему товарищу: «Вон Ежов идет! Здорово лается, едят его мухи!» Н-да! Этого тоже достичь надо...

Лицо Ежова сморщилось в едкую гримасу, он беззвучно, одними губами, засмеялся. Фоме была непонятна его речь, и он, чтоб сказать что-нибудь, сказал наобум:

— Не туда, значит, попал, куда метил...

— Да, я думал, что вырасту покрупнее... И вырос бы!

Фельетонист вскочил со стула и забегал по комнате, с визгом восклицая:

— Но чтоб сохранить себя цельным для жизни — нужны огромные силы! Они были... Была у меня гибкость, ловкость... я всё это прожил для того, чтоб научиться чему-то... что теперь совсем не нужно мне. Я и многие со мной — ограбили сами себя ради того, чтобы скопить что-то для жизни... Подумай, — желая сделать из себя человека ценного, я всячески обесценивал свою личность... Чтобы учиться и не издохнуть с голода, я шесть лет кряду обучал грамоте каких-то болванов и перенес массу мерзостей со стороны разных папаш и мамаш, без всякого стеснения унижавших меня... Зарабатывая на хлеб и чай, я не имел времени заработать на сапоги и обращался в благотворительные общества с покорнейшими просьбами о ссудах... Если б только благотворители могли подсчитать, сколько духа в человеке убивают они, поддерживая жизнь тела! Если б они знали, что в каждом рубле, который они дают на хлеб, — содержится на девяносто девять копеек яда для души! Если б их разорвало от избытка их доброты и гордости, почерпаемой ими из своей священной деятельности! Нет на земле человека гаже и противнее подающего милостыню, нет человека несчастнее принимающего ее!

Ежов бегал по комнате, как охваченный безумием, бумага под ногами его шуршала, рвалась, летела клочьями. Он скрипел зубами, вертел головой, его руки болтались в воздухе, точно надломленные крылья птицы. Фома смотрел на него со странным, двойственным чувством: он и жалел Ежова, и приятно было ему видеть, как он мучается.

А в горле Ежова что-то взвизгивало, как несмазанная петля.

— Отравленный добротой людей, я погиб от роковой способности каждого бедняка, выбивающегося в люди, — от способности мириться с малым в ожидании большего... О! ты знаешь? — от недостатка самооценки гибнет больше людей, чем от чахотки, и вот почему вожди масс, быть может, служат в околоточных надзирателях!

— Чёрт с ними, с околоточными! — сказал Фома, махнув рукой. — Ты про себя валяй...

— Про себя! Я — весь тут! — воскликнул Ежов, остановившись среди комнаты и ударяя себя в грудь руками. — Всё, что мог, — я уже совершил... достиг степени увеселителя публики и — больше ничего не могу!

— Ты погоди-ка! — оживился Фома. — Ты скажи-ка — а что нужно делать, чтобы спокойно жить... то есть чтобы собой быть довольным.

— Для этого нужно жить беспокойно и избегать, как дурной болезни, даже возможности быть довольным собой!

Для Фомы эти слова прозвучали пусто, не шелохнув в сердце его никакого чувства, не зародив в голове ни одной мысли.

— Нужно жить всегда влюбленным во что-нибудь не доступное тебе... Человек становится выше ростом оттого, что тянется кверху...

Теперь, бросив говорить о себе, Ежов заговорил иным тоном, спокойнее. Голос его звучал твердо и уверенно, лицо стало важно и строго. Он стоял среди комнаты, подняв руку с вытянутым пальцем, и говорил, точно читал:

— Самодовольный человек — затвердевшая опухоль на груди общества... Он набивает себя грошовыми истинами, обгрызанными кусочками затхлой мудрости, и существует, как чулан, в котором скупая хозяйка хранит всякий хлам, совершенно не нужный ей, ни на что не годный... Дотронешься до такого человека, отворишь дверь в него, и на тебя пахнёт вонью разложения, и в воздух, которым ты дышишь, вольется струя какой-то затхлой дряни... Эти несчастные люди именуются людьми твердыми духом, людьми принципов и убеждений... и никто не хочет заметить, что убеждения для них —



только штаны, которыми они прикрывают нищенскую наготу своих душ. На узких лбах таких людей всегда сияет всем известная надпись: «спокойствие и умеренность», — фальшивая надпись! Потри лбы их твердой рукой, и ты увидишь истинную вывеску, — на ней изображено: «ограниченность и туподушие»!..

— Сколько видел я таких людей! — с гневом и ужасом вскричал Ежов. — Сколько развелось этих мелочных лавочек! В них найдешь и коленкор для саванов и деготь, леденцы и буру для истребления тараканов, — но не отыщешь ничего свежего, горячего, ничего здорового! К ним приходишь с больной душой, истомленный одиночеством, — приходишь с жаждой услышать что-нибудь живое... Они предлагают тебе какую-то теплую жвачку, пережеванные ими книжные мысли, прокисшие от старости... И всегда эти сухие и жесткие мысли настолько мизерны, что для выражения их потребно огромное количество звонких и пустых слов. Когда такой человек говорит, мне кажется: вот сытая, но опоенная кляча, увешанная бубенчиками, — везет воз мусора за город и — несчастная! — довольна своей судьбой...

— Тоже, значит, лишние люди... — сказал Фома.

Ежов остановился против него и с едкой улыбкой на губах сказал:

— Нет, они не лишние, о нет! Они существуют для образца — для указания, чем я не должен быть. Собственно говоря — место им в анатомических музеях, там, где хранятся всевозможные уроды, различные болезненные уклонения от гармоничного... В жизни, брат, ничего нет лишнего... в ней даже я нужен! Только те люди, у которых в груди на месте умершего сердца — огромный нарыв мерзейшего самообожания, — только они — лишние... но и они нужны, хотя бы для того, чтобы я мог излить на них мою ненависть...

Весь день, вплоть до вечера, кипятился Ежов, изрыгая хулу на людей, ненавистных ему, и его речи заражали Фому своим злым пылом, — заражали, вызывая у парня боевое чувство. Но порой в нем вспыхивало недоверие к Ежову, и однажды он прямо спросил его:

— Ну... а в глаза людям можешь ты так говорить?

— При всяком удобном случае... И каждое воскресенье — в газете... Хочешь — почитаю?

Не дожидаясь ответа Фомы, он сорвал со стены несколько листов газеты и, продолжая бегать по комнате, стал читать ему. Он рычал, взвизгивал, смеялся, оскалывал зубы и был похож на злоую собаку, которая рвется с цепи в бессильной ярости. Не улавливая мысли в творениях товарища, Фома чувствовал их дерзкую смелость, ядовитую насмешку, горячую злобу, и ему было так приятно, точно его в жаркой бане вениками парили.

— Ловко! — восклицал он, улавливая какую-нибудь отдельную фразу. — Здорово пущено!

То и дело пред ним мелькали знакомые фамилии купцов и именитых горожан, которых Ежов язвил то смело и резко, то почтительно, тонким, как игла, жалом.

Одобрения Фомы и его горящие удовольствием глаза вдохновляли Ежова еще более, он всё громче выл и рычал, то в изнеможении падая на диван, то снова вскакивая и подбегая к Фоме.

— Ну-ка, про меня прочитай! — вскричал Фома.

Ежов порывлся в груды газет, вырвал из нее лист и, взяв его в обе руки, встал перед Фомой, широко расставив ноги, а Фома развалился в кресле с продавленным сиденьем и слушал, улыбаясь.

Заметка о Фоме начиналась описанием кутежа на плотях, и Фома при чтении ее стал чувствовать, что некоторые отдельные слова покусывают его, как комары. Лицо у него стало серьезнее, он наклонил голову и угрюмо молчал. А комаров становилось всё больше...

— Уж очень ты разошелся! — сказал он, наконец, смущенно и недовольно. — Ведь одним тем, что опозорить человека умеешь, перед богом не послужишься...

— Молчи! Подожди! — кратко бросил ему Ежов и продолжал чтение.

Установив в своей статье, что купец в деле творчества безобразий и скандалов несомненно возвышается над представителями других сословий, Ежов спрашивал: отчего это? — и отвечал:

«Мне кажется, что эта склонность к диким выходкам вытекает из недостатка культуры постольку же, поскольку обусловлена избытком энергии и бездельем. Не

может быть сомненья в том, что наше купечество — за малыми исключениями — сословие наиболее богатое здоровьем и в то же время наименее трудящееся...»

— Вот это верно-о! — воскликнул Фома, ударив кулаком по столу. — Это так! У меня силы — на быка, а работы — на воробья...

«Куда же девать купцу свою энергию? На бирже ее много не истратишь, и вот он расточает избыток мускульного капитала в кабаках на кутежи, не имея представления об иных, более продуктивных и ценных для жизни пунктах приложения силы. Он — еще зверь, а жизнь для него уже стала клеткой, и ему тесно в ней при его добром здоровье и склонности к широкому размаху. Стесненный культурой, он нет-нет да и надебоширит. Купеческий дебош — всегда бунт пленного зверя. Разумеется — это дурно... Но — ах! — будет еще хуже, когда этот зверь к своей силе прикопит немножко ума и дисциплинирует ее! Поверьте — он и тогда не перестанет производить скандалы, но — это уже будут исторические события. Избави нас, боже, от таких событий! Ибо они проистекут из стремления купца ко власти, их целью будет всемогущество одного сословия и — не постеснится купец в средствах ради этой цели...»

— Ну, что скажешь, — верно? — спросил Ежов, дочитав газету и бросая ее в сторону.

— Конца я не понимаю... — ответил Фома. — А вот о силе — верно!

Он торопливо и горячо выбросил пред Ежовым привычные свои мысли о жизни, о людях, о своей душевной спутанности и замолчал, опрокинувшись на диван.

— Н-да-а! — протянул Ежов. — Вот ты до чего долез!.. Это, брат, дело доброе! Ты — как насчет книжек? Читаешь какие-нибудь?

— Нет, не люблю! Не читывал...

— Оттого и не любишь, что не читал...

— Я даже боюсь читать... Видел я — тут одна... хуже запой у нее это! И какой толк в книге? Один человек придумает что-нибудь, а другие читают... Коли любопытно, так ладно... Но чтобы учиться из книги, как жить, — это уж что-то несуразное! Ведь человек

написал, не бог, а какие законы и примеры человек установить может сам для себя?

— А Евангелие? Его написали люди же.

— То — апостолы... Теперь их нет...

— Ничего, — возразил дельно! Верно, брат, апостолов нет... Остались только Иуды, да и то дрянненькие.

Фома чувствовал себя хорошо, видя, что Ежов слушает его слова внимательно и точно взвешивает каждое слово, сказанное им. Первый раз в жизни встречаясь с таким отношением к себе, Фома смело и свободно изливал перед товарищем свои думы, не заботясь о словах и чувствуя, что его поймут, потому что хотят понять.

— А любопытный ты парень! — сказал ему Ежов дня через два после встречи. — И хоть тяжело ты говоришь, но чувствуется в тебе большая дерзость сердца! Кабы тебе немножко знания порядков жизни! Заговорил бы ты тогда... довольно громко, я думаю... да!

— Словами себя не освободишь!.. — вздохнув, заметил Фома. — Ты вот как-то говорил про людей, которые притворяются, что всё знают и могут... Я тоже знаю таких... Крестный мой, примерно... Вот против них бы двинуть... их бы уличить!.. Довольно вредный народ!..

— Не представляю я, Фома, как ты будешь жить, если сохранишь в себе то, что теперь носишь... — задумчиво сказал Ежов.

Он тоже пил, этот маленький, ошпаренный жизнью человек. Его день начинался так: утром за чаем он просматривал местные газеты, почерпая в них материал для фельетона, который писал тут же, на углу стола. Затем бежал в редакцию и там резал иногородние газеты, составляя из вырезок «Провинциальные картинки». В пятницу он должен был писать воскресный фельетон. За всё это ему платили сто рублей в месяц; работал он быстро и всё свободное время посвящал «обозрению и изучению богоугодных учреждений». Вместе с Фомой он шлялся до глубокой ночи по клубам, гостиницам, трактирам, всюду черпая материал для своих писаний, которые он называл «щетками для чистки общественной совести». Цензора он именовал «заведующим распро-

странением в жизни истины и справедливости», газету называл «сводней, занимающейся ознакомлением читателя с вредоносными идеями», а свою в ней работу — «продажей души в розницу» и «поползновением к дерзновению против божественных учреждений».

Фома плохо понимал, когда Ежов шутит и когда он говорит серьезно. Обо всем он говорил горячо и страстно, всё резко осуждал — это нравилось Фоме. Но часто, начав речь со страстью, он так же страстно возражал сам себе и опровергал себя или заканчивал ее какой-нибудь смешной выходкой. Тогда Фоме казалось, что у этого человека нет ничего, что бы он любил, что крепко сидело бы в нем и управляло им. Только о себе самом он говорил каким-то особым голосом, и чем горячее говорил о себе, тем беспощаднее ругал всех и всё. К Фоме отношение его было двойственным — то он ободрял его, говоря ему с жаром и трепетом:

— Опровергай и опрокидывай всё, что можешь! Дороже человека ничего нет, так и знай! Кричи во всю силу: свободы! свободы!..

А когда Фома, загораюсь от жгучих искр его речи, начинал мечтать о том, как он начнет опровергать и опрокидывать людей, которые ради своей выгоды не хотят расширить жизнь,— Ежов часто обрывал его:

— Брось! Ничего ты не можешь! Таких, как ты,— не надо... Ваша пора,— пора сильных, но неумных, прошла, брат! Опоздал ты... Нет тебе места в жизни...

— Нет?.. Врешь! — кричал Фома, возбужденный противоречием.

— Ну, что ты можешь сделать?

— А вот — убью тебя! — злобно говорил Фома, сжимая кулак.

— Э, чучело! — пожимая плечами, убедительно и с сожалением произносил Ежов. — Разве это дело? Я и так изувечен до полусмерти...

И вдруг, воспламененный тоскливой злостью, он весь подергивался и говорил:

— Обидела меня судьба моя! Зачем я работал, как машина, двенадцать лет кряду? Чтобы учиться... Зачем я двенадцать лет без отдыха глотал в гимназии и университете сухую и скучную, ни на что не нужную мне

противоречивую ерунду? Чтоб стать фельетонистом, чтоб изо дня в день балаганить, увеселяя публику и убеждая себя в том, что это ей нужно, полезно... Расстрелял я весь заряд души по три копейки за выстрел... Какую веру приобрел я себе? Только веру в то, что всё в сей жизни ни к чёрту не годится, всё должно быть изломано, разрушено... Что я люблю? Себя... и чувствую предмет любви моей недостойным любви моей...

Он почти плакал и всё как-то царапал тонкими, слабыми руками грудь и шею себе.

Но иногда им овладевал прилив бодрости, и он говорил в ином духе:

— Ну, нет, еще моя песня не спета! Впитала кое-что грудь моя, и — я свистну, как бич! Погоди, брошу газету, примусь за серьезное дело и напишу одну маленькую книгу... Я назову ее — «Отходная»: есть такая молитва — ее читают над умирающими. И это общество, проклятое проклятием внутреннего бессилия, перед тем, как издохнуть ему, примет мою книгу как мускус.

Следя за ним и сравнивая его речи, Фома видел, что и Ежов такой же слабый и заплутавшийся человек, как он сам. Но речи Ежова обогащали язык Фомы, и порой он с радостью замечал за собой, как ловко и сильно высказана им та или другая мысль.

Не раз он встречал у Ежова каких-то особенных людей, которые, казалось ему, всё знали, всё понимали и всему противоречили, во всем видели обман и фальшь. Он молча присматривался к ним, прислушивался к их словам; их дерзость нравилась ему, но его стесняло и отталкивало от них что-то гордое в их отношении к нему. И затем ему резко бросалось в глаза то, что в комнате Ежова все были умнее и лучше, чем на улице и в гостиницах. У них были особые комнатные разговоры, комнатные слова, жесты, и всё это — вне комнаты заменялось самым обыкновенным, человеческим. Иногда в комнате они все разгорались, как большой костер, и Ежов был среди них самой яркой головней, но блеск этого костра слабо освещал тьму души Фомы Гордеева.

Как-то раз Ежов сказал ему:

— Сегодня — кутим! Наши наборщики устроили артель и берут у издателя всю работу сдельно... По

этому поводу будут спрыски и я приглашен, — это я им посоветовал... Идем? Угостишь их хорошенько...

— Могу... — сказал Фома. Ему было безразлично, с кем проводить время, тяготившее его.

Вечером этого дня Фома и Ежов сидели в компании людей с серыми лицами, за городом, у опушки рощи. Наборщиков было человек двенадцать; прилично одетые, они держались с Ежовым просто, по-товарищески, и это несколько удивляло и смущало Фому, в глазах которого Ежов все-таки был чем-то вроде хозяина или начальника для них, а они — только слуги его. Они как будто не замечали Гордеева, хотя, когда Ежов знакомил Фому с ними, все пожимали ему руку и говорили, что рады видеть его... Он лег в сторонке, под кустом орешника, и следил за всеми, чувствуя себя чужим в компании, замечая, что и Ежов как будто нарочно отошел от него подальше и тоже мало обращает внимания на него. Он замечал также, что маленький фельетонист как будто подыгрывался под тон наборщиков, — суетился вместе с ними около костра, откупоривал бутылки с пивом, поругивался, громко хохотал, всячески старался быть похожим на них. И одет был проще, чем всегда одевался.

— Эх, братцы! — восклицал он с удалством. — Хорошо с вами! Ведь я тоже невеличка-птичка... всего только сын судейского сторожа, унтер-офицера Матвея Ежова!

«На что это он говорит? — думал Фома. — Мало ли кто чей сын... Не по отцу почет, а по уму...»

Заходило солнце, в небе тоже пылал огромный огненный костер, окрашивая облака в цвет крови. Из леса пахло сыростью, веяло тишиной, у опушки его шумно возились темные фигуры людей. Один из них, невысокий и худой, в широкой соломенной шляпе, наигрывал на гармонике, другой, с черными усами и в картузе на затылке, вполголоса подпевал ему. Еще двое тянулись на палке, пробуя силу. Несколько фигур возилось у корзины с пивом и провизией; высокий человек с полуседею бородой подбрасывал в костер сучья, окутанный тяжелым, беловатым дымом. Сырые ветви, попадая в огонь, жалобно пищали и потрескивали, а гар-

моника задорно выводила веселую мелодию, и фальцет певца подкреплял и дополнял ее бойкую игру.

В стороне ото всех, у обрыва небольшой промоины, улеглись трое молодых парней, а пред ними стоял Ежов и звонко говорил:

— Вы несете священное знамя труда... и я, как вы, рядовой той же армии, мы все служим ее величеству прессе и должны жить в крепкой, прочной дружбе...

Фома перестал вслушиваться в речь товарища, отвлеченный другим разговором. Говорили двое: один высокий, чахоточный, плохо одетый и смотревший сердито, другой молоденький, с русыми волосами и бородкой.

— По-моему, — угрюмо и покашливая говорил высокий, — глупо это! Как можно жениться нашему брату? Пойдут дети — разве хватит на них? Жену надо одевать... да еще какая попадется...

— Девушка она славная... — тихо сказал русский.

— Ну, это теперь хороша... Одно дело невеста, другое — жена... Да не в этом суть... А только — средств не хватает... и сам надорвешься в работе, и ее заездишь... Совсем невозможное дело женитьба для нас... Разве мы можем семью поднять на таком заработке? Вот видишь, — я женат... всего четыре года... а уж скоро мне конец!

Он закашлялся, кашлял долго, с воем, и когда перестал, то сказал товарищу, задыхаясь:

— Брось... ничего не выйдет...

Тот грустно опустил голову, а Фома подумал:

«Дельно говорит...»

Невнимание к нему немножко обижало его и в то же время возбуждало в нем чувство уважения к этим людям с темными, пропитанными свинцовой пылью лицами. Почти все они вели деловой, серьезный разговор, в речах их сверкали какие-то особенные слова. Никто из них не заискивал пред ним, не лез к нему с назойливостью, обычной для его трактирных знакомых, товарищей по кутежам. Это нравилось ему...

«Ишь какие... — думал он, внутренне усмехаясь, — имеют свою гордость...»



— А вы, Николай Матвееч,— раздался чей-то как будто укоряющий голос,—вы не по книжке судите, а по живой правде...

— По-озвольте, друзья мои! Чему вас учит опыт ваших собратий?..

Фома повернул голову туда, где громко ораторствовал Ежов, сняв шляпу и размахивая ею над головой. Но в это время ему сказали:

— Подвигайтесь поближе к нам, господин Гордеев!

Пред ним стоял низенький и толстый парень, в блузе и высоких сапогах, и, добродушно улыбаясь, смотрел в лицо ему. Фоме понравилась его широкая, круглая рожа с толстым носом, и он тоже с улыбочкой ответил:

— Можно и поближе... А что — к коньяку не пора нам приблизиться? Я тут захватил бутылок с десять... на всякий случай...

— Ого! Видать — вы сурьезный купец... Сейчас я сообщу компании вашу дипломатическую ноту!..

И сам первый расхохотался над своими словами веселым и громким смехом. И Фома захохотал, чувствуя, как на него от костра или от парня пахнуло весельем и теплом.

Вечерняя заря тихо гасла. Казалось, там, на западе, опускается в землю огромный пурпурный занавес, открывая бездонную глубину неба и веселый блеск звезд, играющих в нем. Вдали, в темной массе города, невидимая рука сеяла огни, а здесь в молчаливом покое стоял лес, черной стеной вздымаясь до неба... Луна еще не взошла, над полем лежал теплый сумрак...

Вся компания уселась в большой кружок неподалеку от костра; Фома сидел рядом с Ежовым спиной к огню и видел перед собою ряд ярко освещенных лиц, веселых и простых. Все были уже возбуждены выпивкой, но еще не пьяны, смеялись, шутили, пробовали петь и пили, закусывая огурцами, белым хлебом, колбасой. Всё это для Фомы имело какой-то особый, приятный вкус, он становился смелее, охваченный общим славным настроением, и чувствовал в себе желание сказать что-нибудь хорошее этим людям, чем-нибудь понравиться всем им. Ежов, сидя рядом с ним, возился на земле, толкал его

плечом и, потряхивая головой, невнятно бормотал что-то под нос себе...

— Братцы! — крикнул толстый парень. — Давайте грянем студенческую... ну, раз, два!..

Быстры, ка-ак во-олны...

Кто-то загудел басом:

Д-дип-и нашей...

— Товарищи! — сказал Ежов, поднимаясь на ноги со стаканом в руке. Он пошатывался и опирался другой рукой о голову Фомы. Начатая песня оборвалась, и все повернули к нему головы...

— Труженики! Позвольте мне сказать вам несколько слов... от сердца... Я счастлив с вами! Мне хорошо среди вас... Это потому, что вы — люди труда, люди, чье право на счастье не подлежит сомнению, хотя и не признается... В здоровой, облагораживающей душу среде вашей, честные люди, так хорошо, свободно дышится одинокому, отравленному жизнью человеку...

Голос Ежова дрогнул, зазвенел, и голова затряслась. Фома почувствовал, как что-то теплое капнуло ему на руку, и взглянул в сморщенное лицо Ежова, который продолжал речь, вздрагивая всем телом:

— Я — не один... нас много таких, загнанных судьбой, разбитых и больных людей... Мы — несчастнее вас, потому что слабее и телом и духом, но мы сильнее вас, ибо вооружены знанием... которое нам некуда приложить... Мы все с радостью готовы придти к вам и отдать вам себя, помочь вам жить... больше нам нечего делать! Без вас мы — без почвы, вы без нас — без света! Товарищи! Мы судьбой самую созданы для того, чтоб дополнять друг друга!

«Чего это он у них просит?» — думал Фома, с недоумением слушая речь Ежова. И, оглядывая лица наборщиков, он видел, что они смотрят на оратора тоже вопросительно, недоумевающе, скучно.

— Будущее — ваше, друзья мои! — говорил Ежов нетвердо и грустно покачивал головой, точно сожалел о будущем и против своего желания уступая власть над ним этим людям. — Будущее принадлежит людям чест-

ного труда... Великая работа предстоит вам! Это вы должны создать новую культуру... Я — ваш по плоти и духу, сын солдата — предлагаю: выпьем за ваше будущее! Ур-ра-а!

Ежов, выпив из своего стакана, тяжело опустился на землю. Наборщики дружно подхватили его падорванный возглас, и в воздухе прокатился гремющий, сильный крик, сотрясая листву на деревьях.

— Теперь песню! — снова предложил толстый парень.

— Давай! — поддержали его два-три голоса. Завязался шумный спор о том, что петь. Ежов слушал шум и, повертывая головой из стороны в сторону, осматривал всех.

— Братцы! — вдруг снова крикнул он. — Ответьте мне... ответьте парой слов на мой привет вам...

Снова — хотя и не сразу — все замолчали, глядя на него — иные с любопытством, иные скрывая усмешку, некоторые с ясно выраженным неудовольствием на лицах. А он вновь поднялся с земли и возбужденно говорил:

— Здесь двое нас... отверженных от жизни, — я и вот этот... Мы оба хотим... одного и того же... внимания к человеку... счастья чувствовать себя нужными людям... Товарищи! И этот большой и глупый человек...

— А вы, Николай Матвейч, не обижайте гостя! — раздался чей-то густой и недовольный голос.

— Да, это лишнее! — подтвердил толстый парень, пригласивший Фому к костру. — Зачем обидные слова?

Третий голос громко и отчетливо сказал:

— Мы собрались повеселиться... отдохнуть...

— Глупцы! — слабо засмеялся Ежов. — Добрые глупцы!.. Вам жалко его? Но — знаете ли вы, кто он? Это один из тех, которые сосут у вас кровь...

— Будет, Николай Матвейч! — крикнули Ежову. И все загудели, не обращая больше внимания на него. Фоме так стало жалко товарища, что он даже не обиделся на него. Он видел, что эти люди, защищавшие его от нападков Ежова, теперь нарочно не обращают внимания на фельетониста, и понимал, что, если Ежов заметит это, — больно будет ему. И, чтоб отвлечь товарища в сто-

рону от возможной неприятности, он толкнул его в бок и сказал, добродушно усмехаясь:

— Ну, ты, ругатель, — выпьем, что ли? А то, может, домой пора?

— Домой? Где дом у человека, которому нет места среди людей? — спросил Ежов и снова закричал: — Товарищи!

Его крик утонул в общем говоре без ответа. Тогда он поник головой и сказал Фоме:

— Уйдем отсюда!..

— Ну, идем... Хотя я бы еще посидел... Любопытно... Благородно они, черти, ведут себя... ей-богу!

— Я не могу больше: мне холодно...

Фома поднялся на ноги, снял картуз и, поклонившись наборщикам, громко и весело сказал:

— Спасибо, господа, за угощение! Прощайте!

Его сразу окружили, и раздались убедительные голоса:

— Подождите! Куда вы? Вот спели бы вместе, а?

— Нет, надо идти... вот и товарищу одному неловко... провожу... Весело вам пировать!

— Эх, подождали бы вы!.. — воскликнул толстый парень и тихо шепнул: — Его можно одного проводить...

Чахоточный тоже сказал тихонько:

— Вы оставайтесь... А мы его до города проводим, там на извозчика и — готово!

Фоме хотелось остаться и в то же время было боязно чего-то. А Ежов поднялся на ноги и, вцепившись в рукава его пальто, пробормотал:

— Иде-ем... чёрт с ними!

— До свидания, господа! Пойду! — сказал Фома и пошел прочь от них, сопровождаемый возгласами вежливого сожаления.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся Ежов, отойдя от костра шагов на двадцать. — Провожают с прискорбием, а сами рады, что я ушел... Я им мешал превратиться в скотов...

— Это верно, что мешал... — сказал Фома. — На что ты речи разводишь? Люди собрались повеселиться, а ты клянчишь у них... Им от этого скука...

— Молчи! Ты ничего не понимаешь! — резко крикнул Ежов. — Ты думаешь — я пьян? Это тело мое пьяно, а душа — трезва... она всегда трезва и всё чувствует... О, сколько гнусного на свете, тупого, жалкого! И люди эти, глупые, несчастные люди...

Ежов остановился и, схватившись за голову руками, постоял с минуту, пошатываясь на ногах.

— Н-да-а! — протянул Фома. — Очень они не похожи на других... Вежливы... Господа вроде... И рассуждают правильно... С понятием... А ведь просто — рабочие!..

Во тьме сзади их громко запели хоровую песню. Нестройная сначала, она всё росла и вот полилась широкой, бодрой волной в ночном, свежем воздухе над пустынным полем.

— О боже мой! — вздохнув, сказал Ежов грустно и тихо. — К чему прилепиться душой? Кто утолит ее жажду дружбы, братства, любви, работы чистой и святой?..

— Эти простые люди, — медленно и задумчиво говорил Фома, не вслушиваясь в речь товарища, поглощенный своими думами, — они, ежели присмотреться к ним, — ничего! Даже очень... Любопытно... Мужики... рабочие... ежели их так просто брать — всё равно как лошади... Везут себе, пыхтят...

— Всю нашу жизнь они везут на своих горбах! — с раздражением воскликнул Ежов. — Везут, как лошади... покорно, тупо... И эта их покорность — наше несчастье, наше проклятие...

Он, пошатываясь, долгое время шел молча и вдруг каким-то глухим, захлебывающимся голосом, который точно из живота у него выходил, стал читать, размахивая в воздухе рукой:

Я жизнью жестоко обманут,  
И столько я бед перенес...

— Это, брат, мои стихи, — сказал он, остановившись и грустно покачивая головой. — Как там дальше? Забыл... Э-эх!

В груди никогда не воспрянут  
Рои погребенных в ней грез...

— Брат! Ты счастливее меня, потому что — глуп...

— Не скули! — с раздражением сказал Фома. — Вот слушай, как они поют...

— Не хочу слушать чужих песен... — отрицательно качнув головой, сказал Ежов. — У меня есть своя...

И он завыл диким голосом:

В душ-ше никогда не воспря-анут  
Р-рои погр-ребенных в ней грез...  
Их мно-ого та-ам!

Ежов заплакал, всхлипывая, как женщина. Фоме было жалко его и тяжело с ним. Нетерпеливо дернув его за плечо, он сказал:

— Перестань! Пойдем... Экий ты, брат, слабый...

Схватившись руками за голову, Ежов выпрямил согнутое тело, напрягся и снова тоскливо и дико запел:

Их мно-ого та-ам!  
Склеп им так те-есен!  
Я в савапы рифм их оде-ел...  
И мпого пад ними я песен  
Печальных и грустных про-опе-ел!

— О господи! — с отчаянием вздохнул Фома.

Издали к ним плыла сквозь тьму и тишину громкая хоровая песня. Кто-то присвистывал в такт припева, и этот острый, режущий ухо свист обгонял волну сильных голосов. Фома смотрел туда и видел высокую и черную стену леса, яркое, играющее на ней огненное пятно костра и туманные фигуры вокруг него. Стена леса была — как грудь, а костер — словно кровавая рана в ней. Охваченные густою тьмой со всех сторон, люди на фоне леса казались маленькими, как дети, они как бы тоже горели, облитые пламенем костра, взмахивали руками и пели свою песню громко, сильно.

А Ежов, стоя рядом с Фомой, вновь закричал рыдающим голосом:

Про-опел — и теперь не нарушу  
Я больше их мертвого сна...  
Господь! упокой мо-ою ду-ушу!  
Она-а безнаде-ожно-о больва-а!..  
Господь... упокой мо-ою душу...

Фома вздрогнул при звуках мрачного воя, а маленький фельетонист истерически взвизгнул, прямо грудью бросился на землю и зарыдал так жалобно и тихо, как плачут больные дети...

— Николай! — говорил Фома, поднимая его за плечи. — Перестань, — что такое? Будет... как не стыдно!

Но тому было не стыдно: он бился на земле, как рыба, выхваченная из воды, а когда Фома поднял его на ноги — крепко прижался к его груди, охватив его бока тонкими руками, и всё плакал...

— Ну, ладно! — говорил Фома сквозь крепко сжатые зубы. — Будет, милый...

И возмущенный страданием измученного теснотою жизни человека, полный обиды за него, он, в порыве злой тоски, густым и громким голосом зарычал, обратив лицо туда, где во тьме сверкали огни города:

— О, черти... анафемы!

## ХІ

— Любавка! — сказал однажды Маякин, придя домой с биржи, — сегодня вечером приготовься — жениха привезу! Закусочку нам устрой посолоднее. Серебра старого побольше выставь на стол, вазы для фруктов тоже вынь... Чтоб в нос ему бросился наш стол! Пускай видит, — у нас что ни вещь — редкость!

Любовь, сидя у окна, штопала носки отца, и голова ее была низко опущена к работе.

— Зачем всё это, папаша? — с неудовольствием и обидой спросила она.

— А — для соуса, для вкуса!.. И для порядка... Потому — девка не лошадь, без сбруи с рук не сбудешь...

Любовь нервно вскинула голову и, бросив прочь от себя работу, красная от обиды, взглянула на отца... и, снова взяв в руки носки, еще ниже опустила над ними голову. Старик расхаживал по комнате, озабоченно подергивая рукой бородку; глаза его смотрели куда-то далеко, и было видно, что весь он погрузился в большую, сложную думу. Девушка поняла, что он не будет слушать ее и не захочет понять того, как унинительны для нее его слова. Ее романтические мечты о муже-друге,

образованном человеке, который читал бы вместе с нею умные книжки и помог бы ей разобраться в смутных желаниях ее, — были задушены в ней непреклонным решением отца выдать ее за Смолина, осели в душе ее горьким осадком. Она привыкла смотреть на себя как на что-то лучшее и высшее обыкновенной девушки купеческого сословия, которая думает только о нарядах и выходит замуж почти всегда по расчетам родителей, редко по свободному влечению сердца. И вот теперь она сама выходит лишь потому, что — пора, и потому еще, что отцу ее нужно зятя, преемника в делах. А отец, видимо, думает, что сама по себе она едва ли способна привлечь внимание мужчины, и украшает ее серебром. Возмущенная, она колола себе пальцы, ломала иголки, но молчала, хорошо зная, что всё, что может сказать она, — сердце отца ее не услышит.

А старик расхаживал по комнате и то вполголоса напевал псалмы, то внушительно поучал дочь, как нужно ей держаться с женихом. И тут же он что-то высчитывал на пальцах, хмурился и улыбался...

— Тэк-с!.. «Суди меня, боже, и рассуди прю мою... от человека неправедна и лъстива избави мя...» Н-да-а... Материны изумруды надень, Любовь...

— Будет, папаша! — воскликнула девушка с тоской. — Оставьте, пожалуйста...

— А ты не брыкайся! Слушай, чему учат...

И он снова погружался в свои расчеты, прищуривая зеленые глаза и играя пальцами у себя пред лицом.

— Тридцать пять процентов выходит... жулик-парень!.. «Посли свет тво-ой и истину твою...»

— Папаша! — уныло и с боязнью воскликнула Любовь.

— Ась?

— Вы... вам он нравится?

— Кто?

— Смолин...

— Смолин? Н-да... он — ше-ельма... дельный парень... Ну — я ушел... Так ты тово, — вооружись!..

Оставшись одна, Любовь бросила работу и прислонилась к спинке стула, плотно закрыв глаза. Крепко сжатые руки ее лежали на коленях, и пальцы их хру-



стели. Полная горечью оскорбленного самолюбия, она чувствовала жуткий страх пред будущим и безмолвно молилась:

«О, боже мой! О, господи!.. Если б он был порядочный человек!.. Сделай, чтоб он был порядочный... сердечный... О, боже! Приходит какой-то мужчина, смотрит тебя... и на долгие годы берет себе... Как это позорно и страшно... Боже мой, боже!.. Посоветоваться бы с кем-нибудь... Одна... Тарас хоть бы...»

При воспоминании о брате ей стало еще обиднее, еще более жаль себя. Она написала Тарасу длинное ликующее письмо, в котором говорила о своей любви к нему, о своих надеждах на него, умоляя брата скорее приехать поехать с отцом, она рисовала ему планы совместной жизни, уверяла Тараса, что отец — умница и может всё понять, рассказывала об его одиночестве, восхищалась его жизнеспособностью и жаловалась на его отношение к ней.

Две недели она с трепетом ждала ответа и когда, получив, прочитала его, — то разревелась до истерики от радости и разочарования. Ответ был сух и краток; в нем Тарас извещал, что через месяц будет по делам на Волге и не преминет зайти к отцу, если старик против этого действительно ничего не имеет. Письмо было холодно; она со слезами несколько раз перечитывала его, и мяла и комкала, но оно не стало теплее от этого, а только взмокло. С листочка жесткой почтовой бумаги, исписанного крупным, твердым почерком, на нее как бы смотрело сморщенное, недоверчиво нахмуренное лицо, худое и угловатое, как лицо отца.

На отца письмо сына произвело иное впечатление. Узнав, что Тарас написал, старик весь встрепенулся и оживленно, с какой-то особенной улыбочкой торопливо обратился к дочери:

— Ну-ка, дай-ко сюда! Покажи-ко! Хе! Почитаем, как умники пишут... Где очки-то? «Дорогая сестра!» Н-да...

Старик замолчал, прочитал про себя послание сына, положил его на стол и, высоко подняв брови, с удивленным лицом молча прошелся по комнате. Потом снова прочитал письмо, задумчиво постукал пальцами по столу и изрек:

— Ничего, — писание основательное... без лишних слов... Что ж? Может, и в самом деле окреп человек на холоде-то... Холода там сердитые... Пускай придет... Поглядим... Любопытно... Н-да... В псалме Давидове сказано: «Внегда возвратится врагу моему вспять...» забыл, как дальше-то... «Врагу оскудеша оружия в конец... и погибе память его с шумом...» Ну, мы с ним без шума потолкуем...

Старик старался говорить спокойно, с пренебрежительной усмешкой, но усмешка не выходила на лице у него, морщины возбужденно вздрагивали, и глазки сверкали как-то особенно.

— Ты ему еще напиши, Любавка... валяй, мол, смело приезжай!

Любовь написала Тарасу еще, но уже более краткое и спокойное письмо, и теперь со дня на день ждала ответа, пытаясь представить себе, каким должен быть он, этот таинственный брат? Раньше она думала о нем с тем благоговейным уважением, с каким верующие думают о подвижниках, людях праведной жизни, — теперь ей стало боязно его, ибо он ценою тяжелых страданий, ценою молодости своей, загубленной в ссылке, приобрел право суда над жизнью и людьми... Вот придет он и спросит ее:

«Что же, ты свободно, по любви выходишь замуж?»

Одна за другой в голове девушки рождались унылые думы, смущали и мучили ее. Охваченная нервным настроением, близкая к отчаянию и едва сдерживая слезы, она все-таки, хотя и полусознательно, но точно исполнила все указания отца: убрала стол старинным серебром, одела шелковое платье цвета стали и, сидя перед зеркалом, стала вдевать в уши огромные изумруды — фамильную драгоценность князей Грузинских, оставшуюся у Маякина в закладе вместе со множеством других редких вещей.

Глядя в зеркало на свое взволнованное лицо, на котором крупные и сочные губы казались еще краснее от бледности щек, осматривая свой пышный бюст, плотно обтянутый шелком, она почувствовала себя красивой и достойной внимания любого мужчины, кто бы он ни был. Зеленые камни, сверкавшие в ее ушах, оскорбляли ее,

как лишнее, и к тому же ей показалось, что их игра ложится ей на щеки тонкой желтоватой тенью. Она вынула из ушей изумруды, заменив их маленькими рубинами, думая о Смолине — что это за человек?

Потом ей не понравились темные круги под глазами, и она стала тщательно осыпать их пудрой, не переставая думать о несчастии быть женщиной и упрекая себя за безволие. Когда пятна около глаз скрылись под слоем белил и пудры, Любви показалось, что от этого глаза ее лишились блеска, и она стерла пудру... Последний взгляд в зеркало убедил ее, что она внушительно красива, — красива добротной и прочной красотой смолистой сосны. Это приятное сознание несколько успокоило ее тревогу и нервозность; она вышла в столовую солидной походкой богатой невесты, знающей себе цену.

Отец и Смолин уже пришли.

Любовь на секунду остановилась в дверях, красиво прищурилась глазами и гордо сжав губы. Смолин встал со стула, шагнул навстречу ей и почтительно поклонился. Ей понравился поклон, понравился и сюртук, красиво сидевший на гибком теле Смолина... Он мало изменился — такой же рыжий, гладко остриженный, весь в веснушках; только усы выросли у него длинные и пышные да глаза стали как будто больше.

— Каков стал, э? — крикнул Маякин дочери, указывая на жениха.

А Смолин жал ей руку и, улыбаясь, говорил звучным баритоном:

— Смею надеяться — вы не забыли старого товарища?

— Вы после поговорите, — сказал старик, ощупывая дочь глазами. — Ты, Любава, пока распорядись тут, а мы с ним докончим один разговорец. Ну-ка, Африкан Митрич, изъясняй...

— Вы извините меня, Любовь Яковлевна? — ласково спросил Смолин.

— Пожалуйста, не стесняйтесь, — сказала Любовь.

«Вежлив!» — отметила она и, расхаживая по комнате от стола к буфету, стала внимательно вслушиваться в речь Смолина. Говорил он мягко, уверенно.

— Так вот,— я около четырех лет тщательно изучал положение русской кожи на зарубежных рынках. Лет тридцать тому назад наша кожа считалась там образцовой, а теперь спрос на нее всё падает, разумеется, вместе с ценой. И это вполне естественно — ведь при отсутствии капитала и знаний все эти мелкие производители-кожевники не имеют возможности поднять производство на должную высоту и в то же время — удешевить его... Товар их возмутительно плох и дорог... Они повинны пред Россией в том, что испортили ее репутацию производителя лучшей кожи. Вообще — мелкий производитель, лишенный технических знаний и капитала, — стало быть, поставленный в невозможность улучшать свое производство сообразно развитию техники, — такой производитель — несчастье страны, паразит ее торговли...

Любовь почувствовала в простоте речи Смолина снисходительное отношение к ее отцу, это ее задело.

— Мм... — промычал старик, одним глазом глядя на гостя, а другим наблюдая за дочерью. — Так, значит, твое теперь намерение — взбодрить такую громадную фабрику, чтобы всем другим — гроб и крышка?

— О, нет! — воскликнул Смолин, плавным жестом отмахиваясь от слов старика. — Моя цель — поднять значение и цену русской кожи за границей, и вот, вооруженный знанием производства, я строю образцовую фабрику и выпускаю на рынки образцовый товар... Торговая честь страны...

— Много ли, говоришь, капитала-то требуется? — задумчиво спросил Маякин.

— Около трехсот тысяч...

«Столько отец не даст за мной», — подумала Любовь.

— Моя фабрика будет выпускать и кожу в деле, в виде чемоданов, обуви, сбруи, ремней...

— А о каком ты проценте мечтаешь? — спросил старик.

— Я — не мечтаю, я — высчитываю со всей точностью, возможной в наших русских условиях, — внушительно сказал Смолин. — Производитель должен быть строго трезв, как механик, создающий машину... Нужно принимать в расчет трение каждого самонаименьшего винтика, если ты хочешь делать серьезное дело

серьезно. Я могу дать вам для прочтения составленную мною записочку, основанную мной на личном изучении скотоводства и потребления мяса в России...

— Ишь ты! — усмехнулся Маякин. — Принеси записочку, — любопытно! Видать — ты в Европах не даром время проводил... А теперь — поедим чего-нибудь, по русскому обычаю...

— Как поживаете, Любовь Яковлевна? — спросил Смолин, вооружаясь ножом и вилкой.

— Она у меня скучно живет... — ответил за дочь Маякин. — Домоправительница, всё хозяйство на ней лежит, ну и некогда ей веселиться-то...

— И негде, нужно добавить, — сказала Люба. — Купеческих балов и вечеринок я не люблю...

— А театр? — спросил Смолин.

— Тоже редко бываю... не с кем...

— Театр! — воскликнул старик. — Скажите на милость — зачем это там взяли такую моду, чтобы купца диким дураком представлять? Очень это смешно, но — непонятно, потому — неправда! Какой я дурак, ежели в думе я — хозяин, в торговле — хозяин, да и театришко-то мой?.. Смотришь на театре купца и видишь — несообразно с жизнью! Конечно, ежели историческое представляют — примерно: «Жизнь за царя» с пением и пляской, али «Гамлета» там, «Чародейку», «Василису» — тут правды не требуется, потому — дело прошлое и нас не касается... Верно или неверно — было бы здорово... Но ежели современность представляешь, — так уж ты не ври! И показывай человека как следует...

Смолин слушал речь старика с вежливой улыбкой на губах и бросал Любове такие взгляды, точно приглашал ее возразить отцу. Немного смущенная, она сказала:

— А все-таки, папаша, в большинстве купеческое сословие необразованно и дико...

— Н-да, — утвердительно кивнув головой, молвил Смолин. — К сожалению, — это печальная истина... А в обществах вы ни в каких не участвуете? Ведь у вас тут много разных обществ...

— Да, — вздохнув, сказала Любовь. — Но я как-то в стороне от всего живу...

— Хозяйство! — вставил отец. — Вон сколько разной дребедени у нас... требуется содержать всё на счету, в чистоте и порядке...

Он самодовольно кивнул головой на стол, уставленный серебром, и на горку, полки которой ломились под тяжестью вещей и напоминали о выставке в окне магазина. Смолин осмотрел всё это, и на губах его мелькнула ироническая улыбка. Потом он взглянул в лицо Любви; она в его взгляде уловила что-то дружеское, сочувственное ей. Легкий румянец покрыл ее щеки, и она внутренне с робкой радостью сказала про себя: «Слава богу!..»

Огонь тяжелой бронзовой лампы как будто ярче засверкал в гранях хрустальных ваз, в комнате стало светлей.

— А мне нравится наш старый, славный город! — говорил Смолин, с ласковой улыбкой глядя на девушку, — такой он красивый, бойкий... есть в нем что-то бодрое, располагающее к труду... сама его картинность возбуждает как-то... В нем хочется жить широкой жизнью... хочется работать много и серьезно... И притом — интеллигентный город... Смотрите — какая дельная газета издается здесь... Кстати — мы хотим ее купить...

— Кто это — вы? — спросил Маякин.

— Да вот я... Урванцов, Щукин.

— Это — похвально! — ударив рукой по столу, сказал старик. — Пора им глотку заткнуть — давно пора! Особенно Ежов там есть... пила такая зубастая... Вот его вы и приструньте! Да хорошенько!..

Смолин снова бросил Любви улыбающийся взгляд, и вновь ее сердце радостно дрогнуло. С ярким румянцем на лице она сказала отцу, внутренне адресуясь к жениху:

— Насколько я понимаю Африкана Дмитриевича, он покупает газету совсем не для того, чтобы зажать ей рот, как вы говорите...

— А куда ее? — спросил старик, пожав плечами. — Одно пустозвонство и смута от нее... Конечно, ежели деловой народ, сам купец возьмется в ней писать...

— Издание газеты, — поучительно заговорил Смолин, перебивая речь старика, — рассматриваемое даже только с коммерческой точки зрения, может быть очень

прибыльным делом. Но помимо этого, у газеты есть другая, более важная цель — это защита прав личности и интересов промышленности и торговли...

— Вот я и говорю, — ежели сам купец будет руководствовать ей, газетой, тогда — она нужна...

— Позвольте, папаша, — сказала Любовь.

Она чувствовала потребность высказаться перед Смолиным; ей хотелось убедить его, что она понимает значение его слов, она — не простая купеческая дочь, тряпичница и плясунья. Смолин нравился ей. Первый раз она видела купца, который долго жил за границей, рассуждает так внушительно, прилично держится, ловко одет и говорит с ее отцом — первым умником в городе — снисходительным тоном взрослого с малолетним.

«После свадьбы уговорю его свозить меня за границу...» — вдруг подумала она и, смутившись от этой думы, забыла то, что хотела сказать отцу. Густо покраснев, она несколько секунд молчала, вся охваченная страхом, что это молчание Смолин может истолковать нелестно для нее.

— Вы, за разговором, совсем забыли предложить гостю вина... — наплась она после нескольких неприятных секунд молчания.

— Это твое дело: ты хозяйка... — возразил отец.

— О, пожалуйста, не беспокойтесь! — живо воскликнул Смолин. — Я ведь почти не пью...

— Ой ли? — спросил Маякин.

— Уверяю вас! Иногда рюмку, две, в случае утомления, нездоровья... А вино для удовольствия — непонятно мне. Есть другие удовольствия, более достойные культурного человека...

— Барыни, что ли? — подмигнув, спросил старик.

Смолин взглянул на Любовь и сухо сказал ее отцу:

— Театр, книги, музыка...

Любовь так вся и расцвела при его словах.

А старик исподлобья посмотрел на достойного молодого человека, усмехнулся остренько и вдруг выпалил:

— Эх, движется жизнь-то! Раньше песик корку жрал, — нынче моське сливки жидки... Простите, любезные господа, на кислом слове... слово-то больно уж к месту! Оно — не про вас, а вообще...

Любовь побледнела и с испугом взглянула на Смолина. Он сидел спокойно, рассматривая старинную солонку-ковчежец, украшенную эмалью, крутил усы и как будто не слышал слов старика... Но его глаза потемнели, и губы были сложены как-то очень плотно, отчего бритый подбородок упрямо выдался вперед.

— Так, значит, господин будущий фабрикант,— как ни в чем не бывало заговорил Маякин,— триста тысяч целковых, и — дело твое заиграет пожаром?

— Через полтора года я выпущу первую партию товара, который у меня оторвут с руками,— с непоколебимой уверенностью сказал Смолин и уставился в глаза старика твердым, холодным взглядом.

— Стало быть: торговый дом Смолин и Маякин и — больше никаких? Тэк-с... Поздно мне будто бы новое дело затевать, а? Надо полагать, что уж давно для меня гробик сделан,— ты как думаешь про это?

Вместо ответа Смолин несколько секунд смеялся сочным, но равнодушным и холодным смехом, а потом сказал:

— Э, полноте...

Старик вздрогнул при смехе его и пугливо отшатнулся чуть заметным движением корпуса. После слов Смолина все трое с минуту молчали.

— Н-да-а...— сказал Маякин, не поднимая низко опущенной головы.— Надо подумать об этом... надобно мне подумать...— Потом, подняв голову, он пристально осмотрел дочь и жениха и, встав со стула, сказал угрюмо и грубо: — На минуточку я отойду от вас в кабинетишко к себе...

И ушел, тяжело шаркая ногами, согнув спину, опустив голову...

Молодые люди, оставшись один на один, перекинулись несколькими пустыми фразами и, должно быть, почувствовав, что это только отдаляет их друг от друга, оба замолчали тяжелым и неловким, выжидающим молчанием. Любовь, взяв апельсин, с преувеличенным вниманием начала чистить его, а Смолин осмотрел свои усы, опустив глаза вниз, потом тщательно разгладил их левой рукой, поиграл ножом и вдруг пониженным голосом спросил у девушки:



— А... — извините меня за нескромность! — должно быть, в самом деле тяжело вам, Любовь Яковлевна, жить с папашей... ветхозаветен он у вас и — простите — черствоват!

Любовь вздрогнула и взглянула на рыжего человека благодарными глазами, говоря ему:

— Нелегко, но я привыкла... У него есть свои достоинства...

— О, это несомненно! Но вам, молодой, красивой, образованной, вам с вашими взглядами...

Он ласково и сочувственно улыбался, голос у него был такой мягкий... В комнате повеяло теплом, согревающим душу. В сердце девушки всё ярче разгоралась робкая надежда на счастье.

## XII

Фома сидел у Ежова и слушал городские новости из уст своего товарища. Ежов, сидя на столе, заваленном газетами, и болтая ногами, рассказывал:

— Началась выборная кампания, купечество выдвигает в головы твоего крестного, — старого дьявола! Он бессмертен... ему, должно быть, полтора ста лет уже минуло? Дочь свою он выдает за Смолина — помнишь, рыжего! Про него говорят, что это порядочный человек... но нынешним временам порядочными людьми именуют и умных мерзавцев, потому что — людей нет! Африкашка корчит из себя просвещенного человека, уже успел влезть в интеллигентное общество и — сразу стал на виду. По роже судя — жулик первой степени, но, видимо, будет играть роль, ибо обладает чувством меры. Н-да, брат, Африкашка — либерал... Либеральный купец — это помесь волка и свиньи.

— Пес с ними, со всеми! — сказал Фома, равнодушно махнув рукой. — Что мне до них? Ты как — пьешь всё?

— Почему же мне не пить?

Полуодетый и растрепанный Ежов был похож на оципанную птицу, которая только что подралась и еще не успела пережить возбуждения боя.

— Пью, потому что надо мне от времени до времени

гасить пламя сердца... А ты, сырой пень, тлеешь поне-  
множку?

— Надо мне идти к старику!.. — сморщив лицо, ска-  
зал Фома.

— Дерзай!

— Не хочется...

— Так не ходи!..

— Нужно...

— А тогда — иди!..

— Что ты всё балагуришь? — недовольно сказал  
Фома. — Будто и в самом деле весело ему...

— Мне, ей-богу, весело! — воскликнул Ежов, спрыг-  
нув со стола. — Ка-ак я вчер-ра одного сударя распатро-  
нил в газете! И потом — я слышал один мудрый анекдот:  
сидит компания на берегу моря и пространно философст-  
вует о жизни. А еврей говорит: «Гашпада! И за-ачем  
штольки много разного шлов? И я вам шкажу всё и сразу:  
жизнь наша не стоит ни копейки, как это бушующее  
море!..»

— Э, ну тебя, — сказал Фома. — Прощай!..

— Иди! Я сегодня высоко настроен и стонать я с то-  
бой не могу... тем более, что ты и не стонешь, а — хрю-  
каешь...

Фома ушел, оставив Ежова распеваящим во всё  
горло:

Греми в бар-рабан и — не бойся...

«Сам ты барабан...» — с раздражением подумал  
Фома.

У Маякина его встретила Люба. Чем-то взволнован-  
ная и оживленная, она вдруг явилась пред ним, быстро  
говоря:

— Ты? Боже мой! Ка-акой ты бледный... как поху-  
дел... Хорошую, видно, жизнь ведешь!

Потом лицо ее исказилось тревогой, и она почти  
шёпотом воскликнула:

— Ах, Фома! Ты не знаешь — ведь... вот! Слышишь?  
Звонят! Может быть — он...

И девушка бросилась из комнаты, оставив за собой  
в воздухе шелест шелкового платья и изумленного Фо-  
му, — он не успел даже спросить ее — где отец? Яков

Тарасович был дома. Он, парадно одетый, в длинном сюртуке, с медалями на груди, стоял в дверях, раскинув руки и держась ими за косяки. Его зеленые глазки щупали Фому; почувствовав их взгляд, он поднял голову и встретился с ними.

— Здравствуйте, господин хороший! — заговорил старик, укоризненно качая головой. — Откуда изволили прибыть? Кто это жирок-то обсосал с вас? Али — свинья ищет, где лужа, а Фома — где хуже?

— Нет у вас других слов для меня? — угрюмо спросил Фома, в упор глядя на старика.

Вдруг он увидал, что крестный вздрогнул, ноги его затряслись, глаза учащенно замигали и руки вцепились в косяки. Фома двинулся к нему, полагая, что старику дурно, но Яков Тарасович глухим и сердитым голосом сказал:

— Посторонись... отойди!..

Фома отступил назад и очутился рядом с невысоким, круглым человеком, он, кланяясь Маякину, хриплым голосом говорил:

— Здравствуйте, папаша!

— Здра-авствуй, Тарас Яковлевич, здравствуй... — не отнимая рук от косяков, говорил и кланялся старик, криво улыбаясь, — ноги его дрожали.

Фома отошел в сторону и сел, окаменев от любопытства.

Маякин, стоя в дверях, раскачивал свое хилое тело, всё упираясь руками в косяки, и, склонив голову набок, молча смотрел на сына. Сын стоял против него, высоко подняв голову, нахмурив брови над большими темными глазами. Черная клинообразная бородка и маленькие усы вздрагивали на его сухом лице, с хрящеватым, как у отца, носом. Из-за его плеча Фома видел бледное, испуганное и радостное лицо Любы — она смотрела на отца умоляюще, и казалось — сейчас она закричит. Несколько секунд все молчали, не двигаясь, подавленные тем, что ощущали. Молчание разрушил тихий, странно глухой голос Якова Маякина:

— Старенек ты, Тарас...

Сын молча усмехнулся в лицо отцу и быстрым взглядом окинул его с головы до ног.

Отец, оторвав руки от косяков, шагнул навстречу сыну и — остановился, вдруг нахмурившись. Тогда Тарас Маякин одним большим шагом встал против отца и протянул ему руку.

— Ну... — поцелуемся!.. — тихо предложил отец.

Они судорожно обвили друг друга руками, крепко поцеловались и отступили друг от друга. Морщины старшего вздрагивали, сухое лицо младшего было неподвижно, почти сурово. Любовь радостно всхлипнула. Фома неуклюже завозился на кресле, чувствуя, что у него спирает дыхание.

— Эх — дети! Язвы сердца, — а не радость его вы!.. — звенящим голосом пожаловался Яков Тарасович, и, должно быть, он много вложил в эти слова, потому что тотчас же после них просиял, приободрился и бойко заговорил, обращаясь к дочери:

— Ну ты, раскисла от сладости? Айда-ка собери нам чего-нибудь... Угостим, что ли, блудного сына! Ты, чай, старичишка, забыл, каков есть отец-то у тебя?

Тарас Маякин рассматривал родителя вдумчивым взглядом и улыбался, молчаливый, одетый в черное, отчего седые волосы на голове и в бороде его выступали резко...

— Ну, садись! Говори — как жил, что делал?.. Куда смотришь? Это — крестник мой, Игната Гордеева сын, Фома, — Игната помнишь?

— Я всё помню, — сказал Тарас.

— О? Это хорошо... коли не хвастаешь!.. Ну, — жонат?

— Вдов...

— Дети есть?

— Померли... двое было...

— Жа-аль... Внуки у меня были бы...

— Я закурю? — спросил Тарас у отца.

— Вали!.. Ишь ты, — сигары куришь...

— А вы не любите их?

— Я? Всё равно мне... Я к тому, что барственно как-то, когда сигара... Я просто так сказал, — смешно мне... Этаким солидный старичина, борода по-иностранному, сигара в зубах... Кто такой? Мой сынишка — хе-хе-хе! — Старик толкнул Тараса в плечо и отскочил от

него, как бы испугавшись, — не рано ли он радуется, так ли, как надо, относится к этому полуседому человеку? И он пытливо и подозрительно заглянул в большие, окруженные желтоватыми припухлостями, глаза сына.

Тарас улыбнулся в лицо отца приветливой и теплой улыбкой и задумчиво сказал ему:

— Таким вот я и помню вас, веселым, живым... Как будто вы за эти годы ничуть не изменились!..

Старик гордо выпрямился и, ударив себя кулаком в грудь, сказал:

— Я — никогда не изменюсь!.. Потому — над человеком, который себе цену знает, жизнь не властна!

— Ого! какой вы гордый...

— В сына пошел, должно быть! — с хитрой гримасой молвил старик. — У меня, брат, сын семнадцать лет молчал из гордости...

— Это потому, что отец не хотел его слушать... — напомнил Тарас.

— Ладно уж! Богу только известно, кто пред кем виноват... Он, справедливый, скажет это тебе, погоди! Не время нам с тобой об этом теперь разговаривать... Ты вот что скажи — чем ты занимался в эти годы? Как это ты на содовый завод попал? В люди-то как выбился?

— История длинная! — вздохнув, сказал Тарас и, выпустив изо рта клуб дыма, начал, не торопясь: — Когда я получил возможность жить на воле, то поступил в контору управляющего золотыми приисками Ремезовых.

— Знаю!.. Три брата, — всех знаю! Один — урод, другой — дурак, а третий — скряга...

— Два года прослужил у него, — а потом женился на его дочери... — хрипящим голосом рассказывал Маякин.

— Так. Неглупо...

Тарас задумался и помолчал. Старик взглянул на его грустное лицо.

— С женой, значит, хорошо жил... — сказал он. — Ну что ж? Мертвому — рай, живой — дальше играй!.. Не так уж ты стар... Давно овдовел?

— Третий год...

— А на соду как попал?

— Это завод тестя...

— Ага-а! Сколько получаешь?

— Около пяти тысяч...

— Кусок не черствый! Н-да-а! Вот те и каторжник!

Тарас взглянул на отца твердым взглядом и сухо спросил его:

— Кстати — с чего это вы взяли, что я в каторге был?

Старик взглянул на сына с изумлением, которое быстро сменилось в нем радостью:

— А — как же? Не был? О, чтоб вам! Стало быть — как же? Да ты не обижайся! Разве разберешь? Сказано — в Сибирь! Ну, а там — каторга!..

— Чтобы раз навсегда покончить с этим, — серьезно и внушительно сказал Тарас, похлопывая рукой по колену, — я скажу вам теперь же, как всё это было. Я был сослан в Сибирь на поселение на шесть лет и всё время ссылки жил в Ленском горном округе... В Москве сидел в тюрьме около девяти месяцев — вот и всё!

— Та-ак! Однако — что же это? — смущенно и радостно бормотал Яков Тарасович.

— А тут распустили этот нелепый слух...

— Уж подлинно — нелепый! — сокрушился старик.

— И очень насолили мне однажды...

— Но-о? Неужто?

— Да... Я начал свое дело...

Внимательно слушая беседу Маякиных, упорно разглядывая приезжего, Фома сидел в своем углу и недоумевающе моргал глазами. Вспоминая отношение Любви к брату, до известной степени настроенный ее рассказами о Тарасе, он ожидал увидеть в лице его что-то необычное, непохожее на обыкновенных людей. Он думал, что Тарас и говорит как-нибудь особенно и одевается по-своему, вообще — не похож на людей. А пред ним сидел солидный человек, строго одетый, очень похожий лицом на отца и отличавшийся от него только сигарой. Говорит он кратко, дельно, о простых таких вещах, — где же особенное в нем? Вот он начал рассказывать отцу о выгодности производства соды... В каторге он не был, — наврала Любовь!

Она то и дело появлялась в комнате. Ее лицо сияло счастьем, и глаза с восторгом осматривали черную фигуру Тараса, одетого в такой особенный, толстый скотч с карманами на боках и с большими пуговицами. Она ходила на цыпочках и как-то всё вытягивала шею по направлению к брату. Фома вопросительно поглядывал на нее, но она его не замечала, пробегая мимо двери с тарелками и бутылками в руках.

Случилось так, что она заглянула в комнату как раз в то время, когда ее брат говорил отцу о каторге. Она замерла на месте, держа поднос в протянутых руках, и выслушала всё, что сказал брат о наказании, понесенном им. Выслушала и — медленно пошла прочь, не уловив недоумевающе-насмешливого взгляда Фомы. Погруженный в свои соображения о Тарасе, немного обиженный тем, что никто не обращает на него внимания и еще ни разу не взглянул на него, — Фома перестал на минуту следить за разговором Маякиных и вдруг почувствовал, что его схватили за плечо. Он вздрогнул и вскочил на ноги, чуть не уронив крестного.

— Вот — гляди! Вот Маякин! Его кипятят в семи котлах, а он — жив! И — богат! Понял? Без всякой помощи, один — пробился к своему месту! Это значит — Маякин! Маякин — человек, который держит судьбу в своих руках... Понял? Учись! В сотне нет такого, ищи в тысяче... Так и знай: Маякина из человека ни в чёрта, ни в ангела не перекуешь...

Ошеломленный буйным натиском, Фома растерялся, не зная, что сказать старику в ответ на его шумную похвалю. Он видел, что Тарас, спокойно покуривая свою сигару, смотрит на отца и углы его губ вздрагивают от улыбки. Липо у него снисходительно довольное, и вся фигура барски гордая. Он как бы забавлялся радостью старика...

А Яков Тарасович тыкал Фому пальцем в грудь и говорил:

— Я его, сына родного, не знаю, — он души своей не открывал предо мной... Может, между нами такая разница выросла, что ее не токмо орел не перелетит — чёрт не перелезет!.. Может, его кровь так перекипела, что и запаха отцова нет в ней... а — Маякин он! И я это

чую сразу... Чую и говорю: «Ныне отпускаеши раба твоего, владыко!..»

Старик дрожал в лихорадке ликования, точно приплясывал, стоя пред Фомой.

— Ну, успокойтесь, батюшка! — сказал Тарас, неторопливо встав со стула и подходя к отцу. — Сядем...

Он небрежно усмехнулся Фоме и, взяв отца под руки, повел к столу...

— Я в кровь верю! — говорил Яков Тарасович. — В ней вся сила! Отец мой говорил мне: «Яшка! ты подлинная моя кровь!» У Маякиных кровь густая, никакая баба никогда не разбавит ее... А мы выпьем шампанского! Выпьем? Говори мне... говори про себя... как там, в Сибири?

И снова, точно испуганный и отрезвленный какой-то мыслью, старик уставился в лицо сына испытующими глазами. А через несколько минут обстоятельные, но краткие ответы Тараса опять возбудили в нем шумную радость. Фома всё слушал и присматривался, смиренно посиживая в своем углу.

— Золотопромышленность, разумеется, дело солидное, — говорил Тарас спокойно и важно, — но все-таки рискованное и требующее крупного капитала... Очень выгодно иметь дело с инородцами... Торговля с ними, даже поставленная кое-как, дает огромный процент. Это совершенно безошибочное предприятие... Но — скучное. Оно не требует большого ума, в нем негде развернуться человеку, — человеку крупного почина...

Вошла Любовь и пригласила всех в столовую. Когда Маякины пошли туда, Фома незаметно дернул Любовь за рукав, и она осталась вдвоем с ним, торопливо спрашивая его:

— Ты что?

— Ничего!.. — улыбаясь, сказал Фома. — Хочу спросить тебя — рада?

— Еще бы! — воскликнула Любовь.

— А чему?

— Странный ты! — удивленно взглянув на него, сказала Любовь. — Разве не видишь?

— Э-эх ты! — с презрительным сожалением протянул Фома. — Разве от твоего отца, — разве в нашем ку-



пецком быту родится что-нибудь хорошее? А ты врала мне: Тарас — такой, Тарас — сякой! Купец как купец... И брюхо купеческое... — Он был доволен, видя, что девушка, возмущенная его словами, кусает губы, то краснея, то бледнея.

— Ты... ты, Фома!.. — задыхаясь, начала она и вдруг, топнув ногой, крикнула ему: — Не смей говорить со мной!

На пороге комнаты она обернула к нему гневное лицо и вполголоса кинула:

— У, ненавистник!..

Фома засмеялся. Ему не хотелось идти туда за стол, где сидят трое счастливых людей. Он слышал их веселые голоса, довольный смех, звон посуды и понимал, что ему, с тяжестью на сердце, не место рядом с ними. И нигде ему нет места. Постояв одиноко среди комнаты, Фома решил уйти из дома, где люди радовались. Выйдя на улицу, он почувствовал обиду на Маякиных: все-таки это были единственные на свете люди, близкие ему. Пред ним встало лицо крестного, дрожащие от возбуждения морщины, освещаемые радостным блеском его зеленых глаз.

«В темноте и гнилушка светит», — злостно думал он. Потом ему вспомнилось спокойное, серьезное лицо Тараса и рядом с ним напряженно стремящаяся к нему фигура Любы. Это возбудило в нем зависть и — грусть.

«Кто на меня так посмотрит?..»

Он очнулся от своих дум на набережной, у пристаней, разбуженный шумом труда. Всюду несли и везли разные вещи и товары; люди двигались спешно, озабоченно, понукали лошадей, раздражаясь, кричали друг на друга, наполняли улицу бестолковой суетой и оглушающим шумом торопливой работы. Они возились на узкой полосе земли, вымощенной камнем, с одной стороны застроенной высокими домами, а с другой — обрезанной крутым обрывом к реке; кипучая возня производила на Фому такое впечатление, как будто все они собрались бежать куда-то от этой работы в грязи, тесноте и шуме, — собрались бежать и спешат как-нибудь скорее окончить недоделанное и не отпускающее их от себя. Их уже ждали огромные пароходы, стоя у бере-

гов, выпуская из труб клубы дыма. Мутная вода реки, тесно заставленной судами, жалобно и тихо плескалась о берег, точно просила дать и ей минутку покоя и отдыха...

С одной из пристаней давно уже разносилась по воздуху веселая «дубинушка». Крючники работали какую-то работу, требовавшую быстрых движений, и подготавливали к ним запевку и припев.

В кабаках купцы большие  
Пью-ют наливочки густые,

— бойким речитативом рассказывал запевала. Артель дружно подхватывала:

Ой, да дубинушка, ухнем!

И потом басы кидали в воздух твердые звуки:

Идет, идет...

А тенора вторили им:

Идет, идет...

Фома вслушался в песню и пошел к ней на пристань. Там он увидел, что крючники, вытянувшись в две линии, выкатывают на веревках из трюма парохода огромные бочки. Грязные, в красных рубахах с расстегнутыми воротами, в рукавицах на руках, обнаженных по локоть, они стояли над трюмом и шутя, весело, дружно, в такт песне, дергали веревки. А из трюма выносился высокий, смеющийся голос невидимого запевалы:

А мужицкой нашей глотке  
Не-е хватает вдоволь водки...

И артель громко и дружно, как одна большая грудь, вздыхала:

Э-эх, ду-убинушка, ухнем!

Фоме было приятно смотреть на эту стройную, как музыка, работу. Чумазные лица крючников светились улыбками, работа была легкая, шла успешно, а запевала находился в ударе. Фоме думалось, что хорошо бы вот так дружно работать с добрыми товарищами под веселую песню, устать от работы, выпить стакан водки и поесть

жирных щей, изготовленных дородной и разбитной артельной маткой...

— Проворне, ребята, проворне! — раздался рядом с ним неприятный, хриплый голос. Фома обернулся. Толстый человек с большим животом, стучая в палубу пристани палкой, смотрел на крючников маленькими глазками. Лицо и шея у него были облиты потом; он минутно вытирал его левой рукой и дышал так тяжело, точно шел в гору.

Фома неприязненно посмотрел на этого человека и подумал:

«Люди работают, а он потеет... А я — еще его хуже...»

Из каждого впечатления у Фомы сейчас же выделялась колкая мысль об его неспособности к жизни. Всё, на чем останавливалось его внимание, имело что-то обидное для него, и это обидное кирпичом ложилось на грудь ему.

Вечером он снова зашел к Маякиным. Старика не было дома, и в столовой за чаем сидела Любовь с братом. Подходя к двери, Фома слышал сильный голос Тараса:

— Что же заставляет отца возиться с ним?

При виде Фомы он замолчал, уставившись в лицо его серьезным, испытующим взглядом. На лице Любви ясно выразилось смущение, и она, как бы извиняясь, сказала Фоме:

— А! Это ты...

«Про меня шла речь!» — сообразил Фома, подсаживаясь к столу.

Тарас отвел от него глаза и уселся в кресло поглубже. С минуту продолжалось неловкое молчание, и оно было приятно Фоме.

— Ты на обед пойдешь? — спросила наконец Любовь.

— На какой?..

— Разве не знаешь? Кононов новый пароход освящает... Молебен будет, а потом поедут вверх по Волге...

— Меня не звали, — сказал Фома.

— Никого не звали... Просто он на бирже пригласил — кому угодно почтить меня, — пожалуйста!

— Мне не угодно...

— Да? Смотри — вышивка будет там грандиозная, — искоса взглянув на него, сказала Любовь.

— Я и на свои напьюсь, коли захочу...

— Знаю! — выразительно кивнув головой, сказала Любовь.

Тарас играл чайной ложкой, вертя ее между пальцами, и исподлобья поглядывал на них.

— А где крестный? — спросил Фома.

— В банк поехал... Сегодня заседание правления... Выборы будут...

— Опять его выберут?..

— Разумеется...

И снова разговор оборвался. Тарас медленно, большими глотками выпил чай и, молча подвинув к сестре стакан, улыбнулся ей. Она тоже улыбнулась радостно и счастливо, схватила стакан и начала усердно мыть его. Потом ее лицо приняло выражение напряженное, она вся как-то насторожилась и вполголоса, почти благоговейно спросила брата:

— Можно возвратиться к началу разговора?

— Пожалуйста! — кратко разрешил Тарас.

— Ты сказал — я не поняла — как это? Я спросила: «Если всё это утопии, по-твоему, если это невозможно... мечты... то что же делать человеку, которого не удовлетворяет жизнь?»

Ее глаза с напряженным ожиданием остановились на спокойном лице брата. Он взглянул на нее, повозился на кресле и, опустив голову, спокойно и внушительно заговорил:

— Надо подумать, из какого источника является неудовлетворенность жизнью?.. Может быть, это от неумения трудиться... от недостатка уважения к труду? Или — от неверного представления о своих силах... Несчастье большинства людей в том, что они считают себя способными на большее, чем могут... А между тем от человека требуется — немного: он должен избрать себе дело по силам и делать его как можно лучше... Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд — даже самый грубый — возвышается до творчества... Стул, сделанный с любовью, всегда будет хороший, красивый и прочный стул... И так — во всем... Ты почитай Смайльса — не чи-

тала? Очень дельная книга... Здоровая книга... Леббока «Радости жизни» почитай... Вообще помни, что англичане самая трудоспособная нация, чем и объясняется их изумительный успех в области промышленной и торговой... У них труд — почти культ... Высота культуры всегда стоит в прямой зависимости от любви к труду... А чем выше культура, — тем глубже удовлетворены потребности людей, тем менее препятствий к дальнейшему развитию потребностей человека... Счастье — возможно полное удовлетворение потребностей... Вот... И, как видишь, счастье человека обусловлено его отношением к своему труду...

Тарас Маякин говорил так медленно и тягуче, точно ему самому было неприятно и скучно говорить. А Любовь, нахмутив брови и вытянувшись по направлению к нему, слушала речь его с жадным вниманием в глазах, готовая всё принять и впитать в душу свою.

— Ну, а ежели человеку всё противно?.. — заговорил Фома.

— Что именно противно? — спросил Маякин спокойно и не взглянув на Фому.

Тот наклонил голову, уперся руками в стол и так, быком, продолжал изъясняться:

— Всё — не по душе... Дела... труды... люди... Ежели, скажем, я вижу, что всё — обман... Не дело, а так себе — затычка... Пустоту души затыкаем... Одни работают, другие только командуют и потеют... А получают за это больше... Это зачем же так? а?

— Не могу уловить вашу мысль!.. — заявил Тарас, когда Фома остановился, чувствуя на себе пренебрежительный и сердитый взгляд Любви.

— Не понимаете? — с усмешкой посмотрев на Тараса, спросил Фома. — Ну... скажем так: едет человек в лодке по реке... Лодка, может быть, хорошая, а под ней все-таки глубина... Лодка — крепкая... но ежели человек глубину эту темную под собой почувствует... никакая лодка его не спасет...

Тарас смотрел на Фому равнодушно и спокойно. Смотрел, молчал и тихо постукивал пальцами по краю стола. Любовь беспокойно вертелась на стуле. Маятник часов глухим, вздыхающим звуком отбивал секунды. И сердце

Фомы билось медленно и тяжело, чувствуя, что здесь никто не откликнется теплым словом на его тяжелое недоумение.

— Работа — еще не всё для человека... — говорил он скорее себе самому, чем этим людям. — Это неверно, что в трудах — оправдание... Которые люди не работают совсем ничего всю жизнь, а живут они лучше трудящихся... это как? А трудящие — они просто несчастные лошади! На них едут, они терпят... больше ничего!.. Но они имеют пред богом свое оправдание... Их спросят: «Вы для чего жили, а?» Они скажут: «Нам некогда было думать насчет этого... мы всю жизнь работали!» А я какое оправдание имею? И все люди, которые командуют, чем они оправдаются? Для чего жили? А я так полагаю, что непременно всем надо твердо знать — для чего живешь.

Он помолчал и, вскинув голову, воскликнул глухим голосом:

— Неужто затем человек рождается, чтобы поработать, денег зашибить, дом выстроить, детей народить и — умереть? Нет, жизнь что-нибудь означает собой... Человек родился, пожил и помер — зачем? Нужно сообразить — зачем живем? Толку нет в жизни нашей... Потом — не ровно всё — это сразу видно! Одни богаты — на тысячу человек денег у себя имеют... и живут без дела... другие — всю жизнь гнут спину на работе, а нет у них ни гроша... А между тем разница в людях — малая... Иной — без штанов живет, а рассуждает так, ровно в шелки одет...

Охваченный своими мыслями, Фома долго бы излагал их, но Тарас отодвинул свое кресло от стола, встал и со вздохом негромко произнес:

— Нет, спасибо!.. Больше не хочу...

Фома круто оборвал свою речь и повел плечами, с усмешкой взглянув на Любовь.

— Откуда это ты набрался такой философии? — спросила она недоверчиво и сухо.

— Это не философия... Это... наказание! — вполголоса сказал Фома. — Открой глаза и смотри на всё — тогда это само в голову ползет...

— Вот кстати, Люба, обрати внимание, — заговорил Тарас, стоя спиной к столу и рассматривая часы, — пес-

симизм совершенно чужд англосаксонской расе... То, что называют пессимизмом Свифта и Байрона, — только жгучий, едкий протест против несовершенства жизни и человека... А холодного, рассудочного и пассивного пессимизма у них не встретишь...

Затем, как бы вдруг вспомнив о Фоме, он обернулся к нему, заложил руки за спину и, дрыгая ляжкой, сказал:

— Вы поднимаете очень важные вопросы. Некоторые считают их детскими... Если они серьезно занимают вас — вам надо почитать книг... В них вы найдете немало ценных суждений о смысле жизни... Вы — читаете книги?

— Нет! — кратко ответил Фома. — Не люблю.

— Но однако они могли бы кое в чем помочь вам... — сказал Тарас, и по губам его скользнула улыбка...

— Если люди помочь мне в мыслях моих не могут — книги и подавно!.. — угрюмо проговорил Фома.

Ему стало скучно с этим равнодушным человеком. Он хотел бы уйти, но в то же время ему хотелось сказать Любови что-нибудь обидное об ее брате, и он ждал, не выйдет ли Тарас из комнаты. Любовь мыла посуду; лицо у нее было сосредоточенно и задумчиво, руки двигались вяло. Тарас, расхаживая по комнате, останавливался перед горками с серебром, посвистывал, щелкал пальцами по стеклу и рассматривал вещи, прищуривая глаза. Фома, заметив, что Любовь несколько раз вопросительно, с неприязнью и ожиданием взглянула на него, понял, что он стесняет ее.

— Я у вас ночую... — сказал он, улыбаясь ей. — Надо мне поговорить с крестным. Да и скучно дома одному.

— Так ты поди, скажи Марфуше, чтоб она приготовила тебе постель в угловой... — торопливо посоветовала Любовь.

— Могу...

Он встал и вышел из столовой. И тотчас же услышал, что Тарас негромко спросил сестру о чем-то.

«Про меня, — подумал он. Вдруг в голове его мелькнула злая мысль: — Послушать, что скажут умные люди...»

Он бесшумно прошел в другую комнату, тоже смежную со столовой. Огня тут не было, лишь узкая лента света из столовой, проходя сквозь непритворенную дверь, лежала на темном полу. Фома тихо, с замиранием в сердце, подошел вплоть к двери и остановился...

— Тяжелый парень... — сказал Тарас.

Пониженно, торопливо заговорила Любовь:

— Он тут всё кутил... Безобразничал — ужасно! Вдруг как-то началось у него... Сначала избил в клубе зятя вице-губернатора. Папаша возился, возился, чтоб загасить скандал. Хорошо еще, что избитый оказался человеком дурной репутации... Однако с лишком две тысячи стоило это отцу... А пока отец хлопотал по поводу одного скандала, Фома чуть не утопил целую компанию на Волге.

— Вот чудовище! И занимается исследованиями о смысле жизни...

— Другой раз ехал на пароходе с компанией таких же, как сам, кутил и вдруг говорит им: «Молитесь богу! Всех вас сейчас пошвыряю в воду!» Он страшно сильный... Те — кричать... А он: «Хочу послужить отечеству, хочу очистить землю от дрянных людей...»

— Это остроумно!

— Ужасный человек! Сколько он натворил за эти годы диких выходов... Сколько прожил денег!

— Скажи — отец управляет его делом на каких условиях, — не знаешь?

— Не знаю! У него полная доверенность есть... А что?

— Так... Солидное дело! Разумеется, поставлено оно по-русски — отвратительно... И тем не менее — прекрасное дело! Если им заняться как следует...

— Фома совершенно ничего не делает... Всё в руках отца...

— Да?

— Знаешь, порой мне кажется, что у Фомы это... вдумчивое настроение, речи эти — искренни и что он может быть очень... порядочным!.. Но я не могу помирить его скандальной жизни с его речами и суждениями...

— Да и не стоит об этом заботиться... Недоросль и лентяй — ищет оправдания своей лени...

— Нет, видишь ли, иногда он бывает — как ребенок...



— Я и сказал: недоросль. Стоит ли говорить о невежде и дикаре, который сам хочет быть дикарем и невеждой? Ты видишь: он рассуждает так же, как медведь в басне оглобли гнул...

— Очень ты строг...

— Да, я строг! Люди этого требуют... Мы все, русские, отчаянные распустихи... К счастью, жизнь слагается так, что волей-неволей мы понемножку подтягиваемся... Мечты — юношам и девам, а серьезным людям — серьезное дело...

— Иногда мне очень жалко Фому... Что с ним будет?

— Ничего не будет особенного — ни хорошего, ни дурного... Проживет деньги, разорится... Э, ну его! Такие, как он, теперь уж редки... Теперь купец понимает силу образования... А он, этот твой молочный брат, он погибнет...

— Верно, барин! — сказал Фома, появляясь на пороге. Бледный, нахмутив брови, скривив губы, он в упор смотрел на Тараса и глухо говорил: — Верно! Пропадут я и — аминь! Скорее бы только!

Любовь со страхом на лице вскочила со стула и подбежала к Тарасу, спокойно стоявшему среди комнаты, засунув руки в карманы.

— Фома! О! Стыдно! Ты подслушивал, — ах, Фома! — растерянно говорила она.

— Молчи! Овца!

— Н-да, подслушивать у дверей нехорошо-о! — медленно выговорил Тарас, не спуская с Фомы пренебрежительного взгляда.

— Пускай нехорошо! — махнув рукой, сказал Фома. — Али я виноват в том, что правду только подслушать можно?

— Уйди, Фома! Пожалуйста! — просила Любовь, прижимаясь к брату.

— Вы, может быть, имеете что-нибудь сказать мне? — спокойно спросил Тарас.

— Я? — воскликнул Фома. — Что я могу сказать? Ничего не могу!.. Это вы вот — вы всё можете...

— Значит, вам со мной не о чем разговаривать? — снова спросил Тарас.

— Нет!

— Это мне приятно...

Он повернулся боком к Фоме и спросил у Любви:

— Как ты думаешь — скоро вернется отец?

Фома посмотрел на него и, чувствуя что-то похожее на уважение к этому человеку, осторожно пошел вон из дома. Ему не хотелось идти к себе, в огромный пустой дом, где каждый шаг его будил звучное эхо, и он пошел по улице, окутанной тоскливо-серыми сумерками поздней осени. Ему думалось о Тарасе Маякине.

«Твердый... В отца, только не так суетлив... Чай, тоже — выжига... А Любка — чуть ли не святым его считала — дуреха! Как он меня отчитывал! Судья... Она — добрая ко мне!..»

Но все эти мысли не возбуждали в нем ни обиды против Тараса, ни симпатии к Любви.

Вот мимо него промчался рысак крестного. Фома видел маленькую фигурку Якова Маякина, но и она не возбудила в нем ничего. Фонарщик пробежал, обогнал его, подставил лестницу к фонарю и полез по ней. А она вдруг поехала под его тяжестью, и он, обняв фонарный столб, сердито и громко обругался. Какая-то девушка толкнула Фому узлом в бок и сказала:

— Ах, извините...

Он взглянул на нее и ничего не ответил. Потом с неба посыпалась изморозь, — маленькие, едва видные капельки сырости заволакивали огни фонарей и окна магазинов сероватой пылью. От этой пыли стало тяжело дышать...

«К Ежову, что ли, пойти ночевать? Выпить с ним...» — подумал Фома и пошел к Ежову, не имея желаний ни видеть фельетониста, ни пить...

У Ежова на диване сидел лохматый человек в блузе, в серых штанах. Лицо у него было темное, точно копченое, глаза неподвижные и сердитые, над толстыми губами торчали щетинистые солдатские усы. Сидел он на диване с ногами, обняв их большущими ручищами и положив на колени подбородок. Ежов уселся боком в кресле, перекинув ноги через его ручку. Среди книг и бумаг на столе стояла бутылка водки, в комнате пахло соленой рыбой.

— Ты что бродишь? — спросил Ежов Фому и, кивнув на него головой, сказал человеку, сидевшему на диване: — Гордеев!

Тот взглянул на вошедшего и резким, скрипящим голосом сказал:

— Краснощеков...

Фома сел в угол дивана, объявив Ежову:

— Я ночевать пришел...

— Ну, так что? Говори дальше, Василий...

Тот искоса взглянул на Фому и заскрипел:

— По-моему, вы напрасно наваливаете так на глупых-то людей — Мазаньелло дурак был, но то, что надо, исполнил в лучшем виде. И какой-нибудь Винкельрид — тоже дурак, наверно... однако кабы он не воткнул в себя имперских пик, — швейцарцев-то вздули бы. Мало ли таких дураков! Однако — они герои... А умники-то — трусы... Где бы ему ударить изо всей силы по препятствию, он соображает: «А что отсюда выйдет? а как бы даром не пропасть?» И стоит перед делом, как кол... пока не околеет. Дурак — он храбрый! Прямо лбом в стену — хрясь! Разобьет башку — ну что ж? Телячьи головы недороги... А коли он трещину в стене сделает, — умники ее в ворота расковыряют, пройдут и — честь себе припишут!.. Нет, Николай Матвееч, храбрость дело хорошее и без ума...

— Василий, ты говоришь глупости! — сказал Ежов, протягивая к нему руку.

— А, конечно! — согласился Василий. — Где мне лаптем щи хлебать... А все-таки я не слепой... И вот вижу: ума много, а толку нет.

— Подожди! — сказал Ежов.

— Не могу! У меня сегодня дежурство... Я и то, чай, опоздал... Я завтра зайду, — можно?

— Валяй! Я тебя распатроню!

— Такое ваше дело...

Василий медленно расправился, встал с дивана, взял большой, черной лапой желтую, сухонькую ручку Ежова и тиснул ее.

— Прощайте!

Затем кивнул головой Фоме и боком полез в дверь.

— Видал? — спросил Ежов у Фомы, указывая ру-

кой на дверь, за которой еще раздавались тяжелые шаги.

— Что за человек?

— Помощник машиниста, Васька Краснощеков... Вот возьми с него пример: пятнадцати лет начал грамоте учиться, а в двадцать восемь прочитал чёрт его знает сколько хороших книг да два языка изучил в совершенстве... За границу едет...

— Зачем? — спросил Фома.

— Учиться, посмотреть, как там люди живут... А ты вот — киснешь...

— Насчет дураков дельно он говорил! — задумчиво сказал Фома.

— Не знаю, ибо я — не дурак...

— Дельно! Тупому человеку надо сразу действовать... Навалился, опрокинул...

— Пошла писать губерния! — воскликнул Ежов. — Ты мне лучше вот что скажи: правда, что к Маякину сын воротился?

— Правда... А что?

— Ничего!

— По роже твоей видать, есть что-то...

— Знаем мы этого сына — слышали о нем... На отца похож?

— Круглее... серьезности больше... такой холодный!

— Ну, ты, брат, смотри теперь в оба! А то они тебя огложут... Этот Тарас тестя своего в Екатеринбурге так ловко обтяпал...

— Пусть и меня обтяпает, коли хочет. Я ему за это, кроме спасибо, ни слова не скажу...

— Это ты всё о старом? Чтобы освободиться? Брось! На что тебе свобода? Что ты будешь с ней делать? Ведь ты ни к чему не способен, безграмотен.. Вот если б мне освободиться от необходимости пить водку и есть хлеб!

Ежов вскочил на ноги и, встав против Фомы, стал говорить высоким голосом и точно декламируя:

— Я собрал бы остатки моей истерзанной души и вместе с кровью сердца плюнул бы в рожи нашей интеллигенции, чёр-рт ее поberi! Я бы им сказал: «Букашки! вы, лучший сок моей страны! Факт вашего бытия оплачен кровью и слезами десятков поколений русских людей! О!

гниды! Как вы дорого стоите своей стране! Что же вы делаете для нее? Превратили ли вы слезы прошлого в перлы? Что дали вы жизни? Что сделали? Позволили победить себя? Что делаете? Позволяете издеваться над собой...»

Он в ярости затопал ногами и, сцепив зубы, смотрел на Фому горящим, злым взглядом, похожий на освирепевшее хищное животное.

— Я сказал бы им: «Вы! Вы слишком много рассуждаете, но вы мало умны и совершенно бессильны и — трусы все вы! Ваше сердце набито моралью и добрыми намерениями, но оно мягко и тепло, как перина, дух творчества спокойно и крепко спит в нем, и оно не бьется у вас, а медленно покачивается, как люлька». Окунув перст в кровь сердца моего, я бы намазал на их лбах клéйма моих упреков, и они, нищие духом, несчастные в своем самодовольстве, страдали бы... О, уж тогда они страдали бы! Бич мой тонок, и тверда рука! И я слишком люблю, чтоб жалеть! А теперь они — не страдают, ибо слишком много, слишком часто и громко говорят о своих страданиях! Лгут! Истинное страдание молчаливо, истинная страсть не знает преград себе!.. Страсти, страсти! Когда они возродятся в сердцах людей? Все мы несчастны от бесстрастия...

Задохнувшись, он закашлялся и кашлял долго, бегая по комнате и размахивая руками, как безумный. И снова встал пред Фомой с бледным лицом и налившимися кровью глазами. Дышал он тяжело, губы у него вздрагивали, обнажая мелкие и острые зубы. Растрепанный, с короткими волосами на голове, он походил на ерша, выброшенного из воды. Фома не первый раз видел его таким и, как всегда, заражался его возбуждением. Он слушал кипучую речь маленького человека молча, не стараясь понять ее смысла, не желая знать, против кого она направлена, — глотая лишь одну ее силу. Слова Ежова брызгали на него, как кипяток, и грели его душу.

— Я знаю меру сил моих, я знаю — мне закричат: «Молчать!» Скажут: «Цыц!» Скажут умно, скажут спокойно, издеваясь надо мной, с высоты величия своего скажут... Я знаю — я маленькая птичка, о, я не соловей! Я неуч по сравнению с ними, я только фельетонист, че-

ловек для потехи публики... Пускай кричат и оборвут меня, пускай! Пощечина упадет на щеку, а сердце все-таки будет биться! И я скажу им: «Да, я неуч! И первое мое преимущество пред вами есть то, что я не знаю ни одной книжной истины, коя для меня была бы дороже человека! Человек есть вселенная, и да здравствует во веки он, носящий в себе весь мир! А вы, вы ради слова, в котором, может быть, не всегда есть содержание, понятное вам, — вы зачастую ради слова наносите друг другу язвы и раны, ради слова брызжете друг на друга желчью, насилуете душу... За это жизнь сурово взыщет с вас, поверьте: разразится буря, и она сметет и смоев вас с земли, как дождь и ветер пыль с дерева! На языке людском есть только одно слово, содержание коего всем ясно и дорого, и, когда это слово произносят, оно звучит так: свобода!»

— Круши! — взревел Фома, вскочив с дивана и хватая Ежова за плечи. Сверкающими глазами он заглядывал в лицо Ежова, наклонясь к нему, и с тоской, с горестью почти застонал: — Э-эх! Николка... Милый, жаль мне тебя до смерти! Так жаль — сказать не могу!

— Что такое? Что ты? — отталкивая его, крикнул Ежов, удивленный и сбитый неожиданным порывом и странными словами Фомы.

— Эх, брат! — говорил Фома, понижая голос, отчего он становился убедительнее и гуще. — Живая ты душа, — за что пропадаешь?

— Кто? Я? Пропадаю? Врешь!

— Милый! Ничего ты не скажешь никому! Некому! Кто тебя услышит? Только я вот...

— Пошел ты к чёрту! — злобно крикнул Ежов, отскакивая от него, как обожженный.

А Фома говорил убедительно и с великой грустью:

— Ты говори! Говори мне! Я вынесу твои слова куда надо... Я их понимаю... И ах, как я ожгу людей! Погоди только!.. Придет мне случай!..

— Уйди! — истерически закричал Ежов, прижавшись спиной к стене. Он стоял растерянный, подавленный, обозленный и отмахивался от простертых к нему рук Фомы. А в это время дверь в комнату отворилась, и на пороге стала какая-то вся черная женщина. Лицо у

нее было злое, возмущенное, щека завязана платком. Она закинула голову, протянула к Ежову руку и заговорила с шипением и свистом:

— Николай Матвеевич! Извините — это невозможно! Зверский вой, рев!.. Каждый день гости... Полиция ходит... Нет, я больше терпеть не могу! У меня нервы... Извольте завтра очистить квартиру... Вы не в пустыне живете — вокруг вас — люди!.. Всем людям нужен покой... У меня — зубы... Завтра же, прошу вас...

Она говорила быстро, большая часть ее слов исчезала в свисте и шипении; выделялись лишь те слова, которые она выкрикивала визгливым, раздраженным голосом. Концы платка торчали на голове у нее, как маленькие рожки, и тряслись от движения ее челюсти. Фома при виде ее взволнованной и смешной фигуры опустился на диван. Ежов стоял и, потирая лоб, с напряжением вслушивался в ее речь...

— Так и знайте! — крикнула она, а за дверью еще раз сказала: — Завтра же! Безобразие...

— Ч-чёрт! — прошептал Ежов, тупо глядя на дверь.

— Н-да-а! Строго! — удивленно поглядывая на него, сказал Фома.

Ежов, подняв плечи, подошел к столу, налил половину чайного стакана водки, проглотил ее и сел у стола, низко опустив голову. С минуту молчали. Потом Фома робко и негромко сказал:

— Как всё это произошло... глазом не успели моргнуть, и — вдруг такая разделка... а?

— Ты! — вскинув голову, заговорил Ежов вполголоса, озлобленно и дико глядя на Фому. — Ты молчи! Ты — чёрт тебя возьми... Ложись и спи!.. Чудовище... Кошмар... у!

Он погрозил Фоме кулаком. Потом налил еще водки и снова выпил...

Через несколько минут Фома, раздетый, лежал на диване и сквозь полузакрытые глаза следил за Ежовым, неподвижно в изломанной позе сидевшим за столом. Он смотрел в пол, и губы его тихо шевелились... Фома был удивлен — он не понимал, за что рассердился на него Ежов? Не за то же, что ему отказали от квартиры? Ведь он сам кричал...

— О, дьявол!.. — прошептал Ежов и заскрипел зубами.

Фома осторожно поднял голову с подушки. Ежов, глубоко и шумно вздыхая, снова протянул руку к бутылке... Тогда Фома тихонько сказал ему:

— Пойдем лучше куда-нибудь в гостиницу... Еще не поздно...

Ежов посмотрел на него и странно засмеялся, потирая голову руками. Потом встал со стула и кратко сказал Фоме:

— Одевайся!..

И, видя, как медленно и неуклюже Фома заворочался на диване, он нетерпеливо и со злобой закричал:

— Ну, скорее возись!.. Оглобля символическая!

— А ты не ругайся! — миролюбиво улыбаясь, сказал Фома. — Стоит ли сердиться из-за того, что баба расквакалась?

Ежов взглянул на него, плюнул и резко захохотал...

### XIII

— Все ли здесь? — спросил Илья Ефимович Кононов, стоя на носу своего нового парохода и сияющими глазами оглядывая толпу гостей. — Кажись, все!

И, подняв кверху свое толстое и красное счастливое лицо, он крикнул капитану, уже стоявшему на мостике у рупора:

— Отваливай, Петруха!

— Есть!..

Капитан обнажил лысую голову, истово перекрестился, взглянув на небо, провел рукой по широкой черной бороде, крикнул искомандовал:

— Назад! Тихий!

Гости, следуя примеру капитана, тоже стали креститься, их картузы и цилиндры мелькнули в воздухе, как стая черных птиц.

— Благослови-ко, господи! — умиленно воскликнул Кононов.

— Отдай кормовую! Вперед! — командовал капитан.

Огромный «Илья Муромец» могучим вздохом вышу-



стил в борт пристани густой клуб белого пара и плавно, лебедем, двинулся против течения.

— Эк пошел! — с восхищением сказал коммерции советник Луп Резников, человек высокий, худой и благообразный. — Не дрогнул! Как барыня в пляс!..

— Левиафан! — благочестиво вздыхая, молвил рябой и сутулый Трофим Зубов, соборный староста, первый в городе ростовщик.

День был серый; сплошь покрытое осенними тучами небо отразилось в воде реки, придав ей холодный свинцовый отблеск. Блистая свежестью окраски, пароход плыл по одноцветному фону реки огромным, ярким пятном, и черный дым его дыхания тяжелой тучей стоял в воздухе. Белый, с розоватыми кожухами, ярко-красными колесами, он легко резал носом холодную воду и разгонял ее к берегам, а стекла в круглых окнах бортов и в окнах рубки ярко блестели, точно улыбаясь самодовольной, торжествующей улыбкой.

— Господа почтенная компания! — сняв шляпу с головы, возгласил Кононов, низко кланяясь гостям. — Как теперь мы, так сказать, воздали богу — богови, то позвольте, дабы музыканты воздали кесарю — кесарево!

И, не ожидая ответа гостей, он, приставив кулак ко рту, крикнул:

— Музыка! «Слався» играй!

Военный оркестр, стоявший за машиной, грянул марш.

А Макар Бобров, директор купеческого банка, стал подпевать приятным баском, отбивая такт пальцами на своем огромном животе:

— Слався, сла-авься, наш русский царь — тра-рата! Бум!

— Прошу, господа, за стол! Пожалуйста! Чем бог послал... Покорнейше прошу... — приглашал Кононов, толкаясь в тесной группе гостей.

Их было человек тридцать, все солидные люди, цвет местного купечества. Те, которые были постарше, — лысые и седые, — оделись в старомодные сюртуки, картузы и сапоги бутылками. Но таких было немного: преобладали цилиндры, штiblеты и модные визитки. Все они толпились на носу парохода и постепенно, уступая прось-

бам Кононова, шли на корму, покрытую парусиной, где стояли столы с закуской. Луп Резников шел под руку с Яковом Маякиным и, наклоняясь к его уху, что-то нашептывал ему, а тот слушал и тонко улыбался. Фома, которого крестный привел на торжество после долгих увещаний, — не нашел себе товарища среди этих неприятных ему людей и одиноко держался в стороне от них, угрюмый и бледный. Последние два дня он в компании с Ежовым сильно пил, и теперь у него трещала голова с похмелья. Ему было неловко в солидной компании; гул голосов, гром музыки и шум парохода — всё это раздражало его.

Он чувствовал настоятельную потребность опохмелиться, и ему не давала покоя мысль о том, почему это крестный был сегодня так ласков с ним и зачем привел его сюда, в компанию этих первых в городе купцов? Зачем он так убедительно уговаривал, даже упрасивал его идти к Кононову на молебен и обед?

Приехав на пароход во время молебна, Фома стал к сторонке и всю службу наблюдал за купцами.

Они стояли в благоговейном молчании; лица их были благочестиво сосредоточены; молились они истово и усердно, глубоко вздыхая, низко кланяясь, умиленно возводя глаза к небу. А Фома смотрел то на того, то на другого и вспоминал то, что ему было известно о них.

Вот Луп Резников, — он начал карьеру содержателем публичного дома и разбогател как-то сразу. Говорят, он удушил одного из своих гостей, богатого сибиряка... Зубов в молодости занимался скупкой крестьянской пряжи. Дважды банкротился... Кононов, лет двадцать назад, судился за поджог, а теперь тоже состоит под следствием за растление малолетней. Вместе с ним — второй уже раз, по такому же обвинению — привлечен к делу и Захар Кириллов Робустов — толстый, низенький купец с круглым лицом и веселыми голубыми глазами... Среди этих людей нет почти ни одного, о котором Фоме не было бы известно чего-нибудь преступного.

Он знал, что все они завидуют успеху Кононова, который из года в год увеличивает количество своих пароходов. Многие из них в споре друг с другом, все не дают пощады один другому в боевом торговом деле, все

знают друг за другом нехорошие, нечестные поступки... Но теперь, собравшись вокруг Кононова, торжествующего и счастливого, они слились в плотную, темную массу и стояли и дышали, как один человек, сосредоточенно молчаливые и окруженные чем-то хотя и невидимым, но твердым, — чем-то таким, что отталкивало Фому от них и возбуждало в нем робость пред ними.

«Обманщики...» — думал он, ободряя себя.

А они тихонько покашливали, вздыхали, крестились, кланялись и, окружив духовенство плотной стеной, стояли непоколебимо и твердо, как большие черные камни.

«Притворяются!» — восклицал про себя Фома. А стоявший обок с ним горбатый и кривой Павлин Гуцин, не так давно пустивший по миру детей своего полоумного брата, проникновенно шептал, глядя единственным глазом в тоскливое небо:

— «Го-осподи! Да не яростию твоею обличиши мене, ниже гневом твоим накажешу мене...»

И Фома чувствовал, что человек этот взывает к богу с непоколебимой, глубочайшей верой в милость его.

— «Господи боже отец наших, заповедавый Ною, рабу твоему, устроить кивот ко спасению мира...» — густым басовым голосом говорил священник, возводя глаза к небу и простирая вверх руки: — «И сей корабль соблюди и даждь ему ангела блага, мирна... хотящие плиты на нем сохрани...»

Купечество единодушно, широкими взмахами рук осеяло груди свои знамением креста, и на всех лицах выражалось одно чувство — веры в силу молитвы...

Всё это врезалось в память Фомы, возбуждая в нем недоумение пред людьми, которые, умея твердо верить в милость бога, были так жестки к человеку.

Его злила их солидная стойкость, эта единодушная уверенность в себе, торжествующие лица, громкие голоса, смех. Они уже уселись за столы, уставленные закусками, и плотоядно любовались огромным осетром, красиво осыпанным зеленью и крупными раками. Трофим Зубов, подвязывая салфетку, счастливыми, сладко прищуренными глазами смотрел на чудовищную рыбу и говорил соседу, мукомолу Ионе Юшкову:

— Иона Никифорыч! Гляди — кит! Вполне для твоей особы футляром может быть... а? Как нога в сапог, влезешь, а? Хе-хе!

Маленький и кругленький Иона осторожно протягивал коротенькую руку к серебряному ушату со свежей икрой, жадно чмокал губами и косил глазами на бутылки пред собой, боясь опрокинуть их.

Против Кононова на козлах стоял бочонок старой водки, выписанной им из Польши; в огромной раковине, окованной серебром, лежали устрицы, и выше всех яств возвышался какой-то разноцветный паптет, сделанный в виде башни.

— Господа! Прошу! Кто чего желает! — кричал Кононов. — У меня всё сразу пущено, — что кому по душе... Русское наше, родное — и чужое, иностранное... всё сразу! Этак-то лучше... Кто чего желает? Кто хочет улиток, ракушек этих — а? Из Индии, говорит...

А Зубов говорил своему соседу, Маякину:

— Молитва «Во еже устроить корабль» к буксирному и речному пароходу неподходяща, то есть не то — неподходяща, — а одной ее мало!.. Речной пароход, место постоянного жительства команды, должен быть приравнен к дому... Стало быть, потребно, окромя молитвы «Во еже устроить корабль», — читать еще молитву на основание дома... Ты чего выпьешь однако?

— Я человек не винный, налей мне водочки тминной!.. — ответил Яков Тарасович.

Фома, усевшись на конце стола, среди каких-то робких и скромных людей, то и дело чувствовал на себе острые взгляды старика.

«Бойтся, что наскандалю...» — думал Фома.

— Братцы! — хрипел безобразно толстый пароходчик Ящуров. — Я без селедки не могу! Я обязательно от селедки начинаю... у меня такая природа!..

— Музыка! Вали «Персидский марш»...

— Стой! Лучше — «Коль славен»...

— Дуй «Коль славен»...

Вздохи машины и шум пароходных колес, слившись со звуками музыки, образовали в воздухе нечто похожее на дикую песню зимней вьюги. Свист флейты, резкое пение кларнетов, угрюмое рычание басов, дробь

маленького барабана и гул ударов в большой — всё это падало на монотонный и глухой звук колес, разбивающих воду, мятежно носилось в воздухе, поглощало шум людских голосов и несло за пароходом, как ураган, заставляя людей кричать во весь голос. Иногда в машине раздавалось злое шипение пара, и в этом звуке, неожиданно врывавшемся в хаос гула, воя и криков, было что-то раздраженное и презрительное...

— А что ты вексель отказался мне учесть — этого я по гроб не забуду! — кричал кто-то неистовым голосом.

— Бу-удет! разве здесь счетам место? — раздавался бас Боброва.

— Братцы! Надо речи говорить!

— Музыка — цыц!

— Ты приходи ко мне в банк, я тебе и объясню, почему не учел...

— Речь! Тихе...

— Му-зыка, переста-ать!

— «Во лужах»!..

— «Мадам Ангу»!..

— Не надо! Яков Тарасыч — просим!

— Это называется — страсбургский пирог...

— Просим! Просим!

— Пирог? Н-не похоже... ну, все-таки я поем!..

— Тарасыч! Действуй...

— Братцы мои! Весело! Ей-богу...

— А в «Прекрасной Елене» она, голубчик, выходила совсем почти голенькая... — вдруг прорвался сквозь шум тонкий и умиленный голос Робустова.

— погоди! Иаков Исава — надул? Ага!

— Тарасыч! Не ломайся!

— Тихе! Господа! Яков Тарасович скажет слово!

И как раз в то время, когда шум замолк, раздался чей-то громкий, негодующий шёпот:

— Ка-ак он-на меня, шельма, ущипнет...

А Бобров спросил громким басом:

— З-за к...какое место?

Грянул хохот, но скоро умолк, ибо Яков Тарасович Маякин, вставши на ноги, откашливался и, поглажи-

вая лысину, осматривал купечество ожидающим вниманием, серьезным взглядом.

— Ну, братцы, разевай уши! — с удовольствием крикнул Кононов.

— Господа купечество! — заговорил Маякин, усмехаясь. — Есть в речах образованных и ученых людей одно иностранное слово, «культура» называемое. Так вот насчет этого слова я и побеседую по простоте души...

— Смирно!..

— Милостивые государи! — повысив голос, говорил Маякин. — В газетах про нас, купечество, то и дело пишут, что мы-де с этой культурой не знакомы, мы-де ее не желаем и не понимаем. И называют нас дикими людьми... Что же это такое — культура? Обидно мне, старику, слушать этакие речи, и занялся я однажды рассмотрением слова — что оно в себе заключает?

Маякин замолчал, обвел глазами публику и, торжественно усмехнувшись, раздельно продолжал:

— Оказалось, по розыску моему, что слово это значит обожание, любовь, высокую любовь к делу и порядку жизни. «Так! — подумал я, — так! Значит — культурный человек тот будет, который любит дело и порядок... который вообще — жизнь любит устраивать, жить любит, цену себе и жизни знает... Хорошо!» — Яков Тарасович вздрогнул; морщины разошлись по лицу его лучами от улыбающихся глаз к губам, и вся его лысая голова стала похожа на какую-то темную звезду.

Купечество молча и внимательно смотрело ему в рот, и все лица были напряжены вниманием. Люди так и замерли в тех позах, в которых их застала речь Маякина.

— Но коли так, — а именно так надо толковать это слово, — коли так, то люди, называющие нас некультурными и дикими, изрыгают на нас хулу! Ибо они только слово это любят, но не смысл его, а мы любим самый корень слова, любим сущую его начинку, мы — дело любим! Мы-то и имеем в себе настоящий культ к жизни, то есть обожание жизни, а не они! Они суждение возлюбили, — мы же действие... И вот, господа купечество, пример нашей культуры, — любви к делу, —

Волга! Вот она, родная наша матушка! Она может каждой каплей воды своей утвердить нашу честь и опровергнуть хулу на нас... Сто лет только прошло, государи мои, с той поры, как император Петр Великий на реку эту расшивы пустил, а теперь по реке тысячи паровых судов ходят... Кто их строил? Русский мужик, совершенно неученый человек! Все эти огромные пароходищи, баржи — чьи они? Наши! Кем удуманы? Нами! Тут всё — наше, тут всё — плод нашего ума, нашей русской сметки и великой любви к делу! Никто ни в чем не помогал нам! Мы сами разбой на Волге выводили, сами на свои рубли дружины нанимали — вывели разбой и завели на Волге, на всех тысячах верст длины ее, тысячи пароходов и разных судов. Какой лучший город на Волге? В котором купца больше... Чьи лучшие дома в городе? Купеческие! Кто больше всех о бедном печется? Купец! По грошику-копеечке собирает, сотни тысяч жертвует. Кто храмы воздвиг? Мы! Кто государству больше всех денег дает? Купцы!.. Господа! Только нам дело дорого ради самого дела, ради любви нашей к устройству жизни, только мы и любим порядок и жизнь! А кто про нас говорит — тот говорит... — он смачно выговорил похабное слово, — и больше ничего! Пускай! Дует ветер — шумит ветла, перестал — молчит ветла... И не выйдет из ветлы ни оглобли, ни метлы — бесполезное дерево! От бесполезности и шум... Что они, судьи наши, сделали, чем жизнь украсили? Нам это неизвестно... А наше дело налицо! Господа купечество! Видя в вас первых людей жизни, самых трудящихся и любящих труды свои, видя в вас людей, которые всё сделали и всё могут сделать, — вот я всем сердцем моим, с уважением и любовью к вам поднимаю этот свой полный бокал — за славное, крепкое духом, рабочее русское купечество... Многая вам лета! Здравствуйте во славу матери России! Ура-а!

Резкий, дребезжащий крик Маякина вызвал оглушительный, восторженный рев купечества. Все эти крупные мясистые тела, возбужденные вином и речью старика, задвигались и выпустили из грудей такой дружный, массивный крик, что, казалось, всё вокруг дрогнуло и затряслось.

— Яков! Труба ты божия! — кричал Zubov, протягивая свой бокал Маякину.

Опрокидывая стулья, толкая стол, причем посуда и бутылки звенели и падали, купцы лезли на Маякина с бокалами в руках, возбужденные, радостные, иные со слезами на глазах.

— А? Что это сказано? — спрашивал Кононов, схватив за плечо Робустова и потрясая его. — Ты — пойми! Великая сказана речь!

— Яков! Дай — облобызаю!

— Качать Маякина!

— Музыка, играй...

— Туш! Марш... Персидский!..

— Не надо музыку! К чёрту!

— Тут вот она, музыка! Эх, Маякин!

— Мал бех во братии моей... но ума имама...

— Врешь, Трофим!

— Яков! Умрешь ты скоро — жаль! Так жаль... нельзя сказать!

— Ну, какие же это будут похороны!

— Господа! Оснуем капитал имени Маякина! Кладу тыщу!

— Молчать! Погодите!

— Господа! — весь вздрагивая, снова начал говорить Яков Тарасович. — И еще потому мы есть первые люди жизни и настоящие хозяева в своем отечестве, что мы — мужики!

— Веррно!

— Так! Ммать честная! Ну, старик!

— Дай сказать...

— Мы — коренные русские люди, и всё, что от нас, — коренное русское! Значит, оно-то и есть самое настоящее — самое полезное и обязательное...

— Как дважды два!

— Просто!

— Мудр, яко змий!

— И кроток, яко...

— Ястреб! Ха-ха!

Купцы окружили своего оратора тесным кольцом, масляными глазами смотрели на него и уже не могли от возбуждения спокойно слушать его речи. Вокруг него



стоял гул голосов и, сливаясь с шумом машины, с ударами колес по воде, образовал вихрь звуков, заглушая голос старика. И кто-то в восторге визжал:

— Кам-маринского! Русскую!..

— Это мы всё сделали! — кричал Яков Тарасович, указывая на реку. — Наше всё! Мы жизнь строили!

Вдруг раздался громкий возглас, покрывший все звуки:

— А! Это вы? Ах вы...

И вслед за тем в воздухе отчетливо раздалось площадное ругательство. Все сразу услышали его и на секунду замолчали, отыскивая глазами того, кто обругал их. В эту секунду были слышны только тяжелые вздохи машины да скрип рулевых цепей...

— Это кто лается? — спросил Кононов, нахмурил брови...

— Эх! Не можем не безобразить! — сокрушенно вздыхая, произнес Резников.

Лица купцов отражали тревогу, любопытство, удивление, укоризну, и все люди как-то бестолково замялись. Только один Яков Тарасович был спокоен и даже как будто доволен происшедшим. Поднявшись на носки, он смотрел, вытянув шею, куда-то на конец стола, и глазки его странно блестели, точно там он видел что-то приятное для себя.

— Гордеев!.. — тихо сказал Иона Юшков.

И все головы поворотились, куда смотрел Яков Маякин.

Там, упираясь руками в стол, стоял Фома. Оскалив зубы, он молча оглядывал купечество горящими, широко раскрытыми глазами. Нижняя челюсть у него тряслась, плечи вздрагивали, и пальцы рук, крепко вцепившись в край стола, судорожно царапали скатерть. При виде его по-волчьи злого лица и этой гневной позы купечество вновь замолчало на секунду.

— Что вытаращили зенки? — спросил Фома и вновь сопроводил вопрос свой крепким ругательством.

— Упился! — качнув головой, сказал Бобров.

— И зачем его пригласили? — тихо шептал Резников.

— Фома Игнатьевич! — степенно заговорил Кононов.— Безобразить не надо... Ежели... тово... голова кружится — поди, брат, тихо, мирно в каюту и — ляг! Ляг, милый, и...

— Цыц, ты! — зарычал Фома, поводя на него глазами.— Не смей со мной говорить! Я не пьян — я всех трезвее здесь! Понял?

— Да ты погоди-ка, душа,— тебя кто звал сюда? — покраснев от обиды, спросил Кононов.

— Это я его привел! — раздался голос Маякина.

— А! Ну, тогда — конечно!.. Извините, Фома Игнатьевич... Но как ты его, Яков, привел... тебе его и укротить надо... А то — нехорошо...

Фома молчал и улыбался. И купцы молчали, глядя на него.

— Эх, Фомка! — заговорил Маякин.— Опять ты позоришь старость мою...

— Папаша крестный! — оскаливая зубы, сказал Фома.— Я еще ничего не сделал, значит, рано мне рацеи читать... Я не пьян,— я не пил, а всё слушал... Господа купцы! Позвольте мне речь держать? Вот уважаемый вами мой крестный говорил... а теперь крестника послушайте...

— Какие речи? — сказал Резников.— Зачем разговоры? Сошлись повеселиться...

— Нет уж, ты оставь, Фома Игнатьевич...

— Лучше выпей чего-нибудь...

— Выпьем-ко! Ах, Фома... славного ты отца сын!

Фома оттолкнулся от стола, выпрямился и, всё улыбаясь, слушал ласковые, увещевающие речи. Среди этих солидных людей он был самый молодой и красивый. Стройная фигура его, обтянутая сюртуком, выгодно выделялась из кучи жирных тел с толстыми животами. Смуглое лицо с большими глазами было правильнее и свежее обрюзглых, красных рож. Он выпятил грудь вперед, стиснул зубы и, распахнув полы сюртука, сунул руки в карманы.

— Лестью да лаской вы мне теперь рта не замажете! — сказал он твердо и с угрозой.— Будете слушать или нет, а я говорить буду... Выгнать здесь меня некуда...

Он качнул головой и, приподняв плечи, объявил спокойно:

— Но ежели кто пальцем тронет — убью! Клянусь господом богом — сколько смогу — убью!

Толпа людей, стоявших против него, колыхнулась, как кусты под ветром. Раздался тревожный шёпот. Лицо Фомы потемнело, глаза стали круглыми...

— Ну, говорилось тут, что вы это жизнь делали... что вы сделали самое настоящее и верное...

Фома глубоко вздохнул и с невыразимой ненавистью осмотрел лица слушателей, вдруг как-то странно надувшиеся, точно они вспухли... Купечество молчало, всё плотнее прижимаясь друг к другу. В задних рядах кто-то бормотал:

— Насчет чего он? А? П-по писанию, али от ума?

— О, с-сволочи! — воскликнул Гордеев, качая головой. — Что вы сделали? Не жизнь вы сделали — тюрьму... Не порядок вы устроили — цепи на человека выковали... Душно, тесно, повернуться негде живой душе... Погибает человек!.. Душегубы вы... Понимаете ли, что только терпением человеческим вы живы?

— Это что же такое? — воскликнул Резников, в негодовании и гнев всплескивая руками. — Я таких речей слышать не могу...

— Гордеев! — закричал Бобров. — Смотри — ты говоришь неладно...

— За такие речи ой-ой-ой! — внушительно сказал Зубов.

— Цыц! — взревел Фома, и глаза у него налились кровью. — Захрюкали...

— Господа! — зазвучал, как скрип подпилка по железу, спокойно-зловещий голос Маякина. — Покорнейше прошу — не препятствуйте! Пусть полагает, — пусть его потешится!.. От его слов вы не изломитесь...

— Ну, нет, покорно благодарю! — крикнул Юшков.

А рядом с Фомой стоял Смолин и шептал ему в ухо:

— Перестань, голубчик! Что ты, с ума сошел?

— Пошел прочь! — твердо сказал Фома, блеснув на него гневными глазами. — Иди вон к Маякину, лижи его, авось кусок перепадет!

Смолин свистнул сквозь зубы и отошел в сторону.

И купечество один за другим стало расходиться по пароходу. Это еще более раздражило Фому: он хотел бы приковать их к месту своими словами и — не находил в себе таких сильных слов.

-- Вы сделали жизнь? — крикнул он. — Кто вы? Мошенники, грабители...

Несколько человек обернулось к Фоме, точно он их позвал.

— Кононов! Скоро тебя за девочку судить будут? В каторгу осудят, — прощай, Илья! Напрасно пароходы строишь... В Сибирь на казенном повезут...

Кононов опустил на стул; лицо его налилось кровью, и он молча погрозил кулаком. <Потом> хрипло сказал:

— Ладно... хорошо... я этого не-е забуду...

Фома увидел его искаженное лицо с трясущимися губами и понял, каким оружием и сильнее всего он ударит этих людей.

— Строители жизни! Гуцин — подаешь ли милостыню племяшам-то? Подавай хоть по копейке в день... немало украл ты у них... Бобров! Зачем на любовницу наврал, что обокрала она тебя, и в тюрьму ее засадил? Коли надоела — сыну бы отдал... всё равно, он теперь с другой твоей пашни завел... А ты не знал? Эх, свинья толстая... А ты, Луп, — открой опять веселый дом да и лупи там гостей, как липки... Потом тебя черти облупят, ха-ха!.. С такой благочестивой рожей хорошо мошенником быть!.. Кого ты убил тогда, Луп?

Фома говорил, прерывая речь свою хохотом, и видел, что слова его хорошо действуют на этих людей. Прежде, когда он держал речь ко всем им, они отвертывались от него, отходили в сторону, собирались в группы и издали смотрели на своего обличителя презрительными и злыми глазами. Он видел улыбки на их лицах, он чувствовал в каждом их движении что-то пренебрежительное и понимал, что слова его хотя и злят их, но не задевают так глубоко, как бы ему хотелось. Всё это охлаждало его гнев, и уже в нем зарождалось горькое сознание неудачи своего нападения на них... Но как только он заговорил о каждом отдельно, — отношение слушателей к нему быстро и резко изменилось.

Когда Кононов грузно сел на стул, точно не выдержав тяжести суровых слов Фомы,— Фома заметил, что на лицах некоторых из купцов мелькнули едкие и злые улыбки. Он услышал чей-то одобрительный и удивленный шёпот:

— Вот — здо-орово!

Этот шёпот придал силы Фоме, и он с уверенностью начал швырять насмешки и ругательства в тех, кто попался ему на глаза. Он радостно рычал, видя, как действуют его слова. Его слушали молча, внимательно; несколько человек подвинулись поближе к нему.

Раздавались протестующие восклицания, но негромкие, краткие, и каждый раз, когда Фома выкрикивал чье-либо имя,— все молчали и слушали и злорадно, искоса поглядывали в сторону обличаемого товарища.

Бобров смущенно смеялся, но его маленькие глазки сверлили Фому, как буравчики. А Луп Резников, взмахивая руками, неуклюже подпрыгивал и, задыхаясь, говорил:

— Будьте свидетелями... Я этого не прощу! Я — к мировому... Что такое? — и вдруг тонким голосом завизжал, протянув к Фоме руки: — Связать его!.. Фома хохотал.

— Правду не свяжешь, врешь!

— Хо-орошо! — тянул Кононов глухим, надорванным голосом.

— Вот, господа купечество! — звенел Маякин.— Прощу полюбоваться! Вот он каков!

Купцы один за другим подвигались к Фоме, и на лицах их он видел гнев, любопытство, злорадное чувство удовольствия, боязнь... Кто-то из тех скромных людей, среди которых он сидел, шептал Фоме:

— Так их!.. Валяйте их! Это зачтется...

— Робустов! — кричал Фома.— Что смеешься? Чему рад? Быть и тебе на каторге...

— Ссадить его на берег! — вдруг заорал Робустов, векакаявая на ноги.

А Кононов кричал капитану:

— Назад! В город! К губернатору...

И кто-то внушительно, дрожащим от волнения голосом говорил:

— Это подстроено... Это нарочно... Научили его... напоили для храбрости...

— Нет, это бунт!

— Вяжи его! Просто — вяжи его!

Фома схватил бутылку из-под шампанского и взмахнул ею в воздухе.

— Суньтесь-ка! Нет, уж, видно, придется вам послушать меня...

Он снова с веселой яростью, обезумевший от радости при виде того, как корчились и метались эти люди под ударами его речей, начал выкрикивать имена и площадные ругательства, и снова негодующий шум стал тише. Люди, которых не знал Фома, смотрели на него с жадным любопытством, одобрительно, некоторые даже с радостным удивлением. Один из них, маленький седой старичок с розовыми щеками и мышинными глазками, вдруг обратился к обиженным Фомой купцам и сладким голосом пропел:

— Это — от совести слова! Это — ничего! Надо претерпеть... Пророческое обличение... Ведь грешны! Ведь правду надо говорить, о-очень мы...

На него зашипели, а Зубов даже толкнул его в плечо. Он поклонился и — исчез в толпе...

— Зубов! — кричал Фома. — Сколько ты людей по миру пустил? Снится ли тебе Иван Петров Мякинников, что удавился из-за тебя? Правда ли, что каждую обедню ты из церковной кружки десять целковых крадешь?

Зубов не ожидал нападения и замер на месте с поднятой кверху рукой. Но потом он завизжал тонким голосом, странно подскочив на месте:

— А! Ты и меня? И — и меня?

И вдруг, надувши щеки, он с яростью начал грозить кулаком Фоме, визгливым голосом возглашая:

— Р-рече без-зумец в сердце своем — несть бог!.. К архиерею поеду! Фармазон! Каторга тебе!

Суматоха на пароходе росла, и Фома при виде этих озлобленных, растерявшихся, обиженных им людей чувствовал себя сказочным богатырем, избивающим чудовищ. Они суетились, размахивали руками, говорили что-то друг другу — одни красные от гнева, дру-

гие бледные, все одинаково бессильные остановить поток его издевательств над ними.

— Матросов! — кричал Резников, дергая Кононова за плечо. — Что ты, Илья? Пригласил нас на посмеяние?

— Против одного щенка... — визжал Зубов.

Около Якова Тарасовича Маякина собралась толпа и слушала его тихую речь, со злобой и утвердительно кивая головами.

— Действуй, Яков! — громко говорил Робустов. — Мы все свидетели — валяй!

И над общим гулом голосов раздавался громкий голос Фомы:

— Вы не жизнь строили — вы помойную яму сделали! Грязищу и духоту развели вы делами своими. Есть у вас совесть? Помните вы бога? Пятак — ваш бог! А совесть вы прогнали... Куда вы ее прогнали? Кровоопийцы! Чужой силой живете... чужими руками работаете! Сколько народу кровью плакало от великих дел ваших? И в аду вам, сволочам, места нет по заслугам вашим... Не в огне, а в грязи кипящей варить вас будут. Веками не избудете мучений...

Фома залился громким хохотом и, схватившись за бока, закачался на ногах, высоко вскинув голову.

В этот момент несколько человек быстро перемигнулись, сразу бросились на Фому и сдавили его своими телами. Началась возня...

— По-опал! — произнес кто-то задыхающимся голосом.

— А-а? Вы — так? — хрипло крикнул Фома.

С полминуты целая куча черных тел возилась на одном месте, тяжело токая ногами, и из нее раздавались глухие возгласы:

— Вали его наземь!..

— Руку держите... руку! О-ой...

— За-а бороду?

— Не бей! Не смей бить...

— Готов!..

— Здоровый!..

Фому волоком оттащили к борту и, положив его к стенке капитанской каюты, отошли от него, оправляя костюмы, вытирая потные лица. Он, утомленный борь-

бой, обессиленный позором поражения, лежал молча, оборванный, выпачканный в чем-то, крепко связанный по рукам и ногам полотенцами.

Теперь настала очередь издеваться над ним. Начал Зубов. Он подошел к нему, потолкал его ногою в бок и сладким голосом, весь вздрагивая от наслаждения мстить, спросил:

— Что, пророк громopodobный, ась? Ну-ка, почувствуй сладость плена вавилонского, хе-хе-хе!

— Погоди...— хрипящим голосом сказал Фома, не глядя на него.— Погоди... отдохну... Языка вы мне не связали...— Но Фома уже понимал, что больше он ничего не может ни сделать, ни сказать. И не потому не может, что связали его, а потому, что сгорело в нем что-то и — темно, пусто стало в душе...

К Зубову подошел Резников. Потом один за другим стали приближаться другие... Бобров, Кононов и еще несколько человек с Яковом Маякиным впереди ушли в рубку, негромко разговаривая о чем-то.

Пароход на всех парах шел к городу. От сотрясения его корпуса на столах дрожали и звенели бутылки, и этот дребезжащий жалобный звук был слышен Фоме яснее всего. Над ним стояла толпа людей и говорила ему злые и обидные вещи.

Но лица этих людей Фома видел, как сквозь туман, и слова их не задевали его сердца. В нем, из глубины его души, росло какое-то большое горькое чувство; он следил за его ростом и хотя еще не понимал его, но уже ощущал что-то тоскливое, что-то унижительное...

— Ты подумай,— шарлатан ты! — что ты наделал с собой? — говорил Резников.— Какая теперь жизнь тебе возможна? Ведь теперь никто из нас плюнуть на тебя не захочет!

«Что я сделал?»— старался понять Фома. Купечество стояло вокруг него сплошной темной массой...

— Н-ну,— сказал Ящуров,— теперь, Фомка, твое дело кончено...

— М-мы тебя...— тихо промычал Зубов.

— Развяжите! — сказал Фома.

— Ну, нет! Покорнейше благодарим!

— Позовите крестного...



Но Яков Маякин сам пришел в это время. Подошел, остановился над Фомой, пристально, суровыми глазами оглядел его вытянутую фигуру и — тяжело вздохнул.

— Ну, Фома...

— Велите развязать меня! — убитым голосом попросил Фома.

— Опять буянить будешь? Нет уж, полежи так... — ответил ему крестный.

— Я больше слова не скажу... клянусь богом! Развяжите — стыдно мне! Ведь я не пьяный...

— Божишься, что не будешь буянить? — спросил Маякин.

— О, господи! Не буду... — простонал Фома.

Ему развязали ноги, но руки оставили связанными. Когда он поднялся, то посмотрел на всех и с жалкой улыбкой сказал тихонько:

— Ваша взяла...

— Всегда возьмет! — ответил ему крестный, сурово усмехаясь.

Фома, согнувшись, с руками, связанными за спиной, молча пошел к столу, не поднимая глаз ни на кого. Он стал ниже ростом и похудел. Растрепанные волосы падали ему на лоб и виски; разорванная и смятая грудь рубахи высунулась из-под жилета, и воротник закрывал ему губы. Он вертел головой, чтоб сдвинуть воротник под подбородок, и — не мог сделать этого. Тогда седенький старичок подошел к нему, поправил что нужно, с улыбкой взглянул ему в глаза и сказал:

— Надо претерпеть...

Теперь, при Маякине, люди, издевавшиеся над Фомой, — молчали, вопросительно и с любопытством поглядывая на старика и ожидая от него чего-то. Он был спокоен, но глаза у него поблескивали как-то несообразно событию, — светло...

— Дайте водки мне!.. — попросил Фома, усевшись за стол и опершись о край его грудью. Его согнутая фигура была жалка и беспомощна. Вокруг него говорили вполголоса, ходили с какой-то осторожностью. И все поглядывали то на него, то на Маякина, усевшегося против него. Старик не сразу дал водки крестнику. Сначала он пристально осмотрел его, потом, не торопясь, на-

лил рюмку и наконец молча поднес ее к губам Фомы. Фома высосал водку и попросил:

— Еще!

— Будет!.. — ответил Маякин.

И вслед за тем наступила тяжелая для всех минута полного молчания. К столу подходили бесшумно, на цыпочках и, подойдя, вытягивали шеи, чтоб увидеть Фому.

— Ну, Фомка, понимаешь ты теперь, что наделал? — спросил Маякин. Говорил он тихо, но все слышали его вопрос.

Фома качнул головой и промолчал.

— Прощенья тебе — нет! — продолжал Маякин твердо и повышая голос. — Хотя все мы — христиане, но прощенья тебе не будет от нас... Так и знай...

Фома поднял голову и задумчиво сказал:

— А про вас, папаша, я забыл... Ничего вы не услышали от меня...

— Вот-с! — с горечью вскричал Маякин, указывая рукой на крестника. — Видите?

Раздался глухой протестующий ропот.

— Ну, да всё равно! — со вздохом продолжал Фома. — Всё равно! Ничего... никакого толку не вышло!..

И он снова согнулся над столом.

— Чего ты хотел? — спросил крестный сурово.

— Чего? — Фома поднял голову, посмотрел на купцов и усмехнулся. — Хотел уж...

— Пьяница! Мерзец!

— Я — не пьян! — угрюмо возразил Фома. — Я всего выпил две рюмки... Я совсем трезвый был...

— Стало быть, — сказал Бобров, — твоя правда, Яков Тарасович: не в уме он...

— Я? — воскликнул Фома.

Но на него не обратили внимания. Резников, Зубов и Бобров наклонились к Маякину и тихо начали о чем-то говорить.

«Опека...» — уловил Фома одно слово...

— Я в уме! — сказал он, откидываясь на спинку стула и глядя на купцов мутными глазами. — Я понимаю, чего хотел. Хотел сказать правду... Хотел обличить вас...

Его вновь охватило волнение, и он вдруг дернул руки, пытаясь освободить их.

— Э-э! Погоди! — воскликнул Бобров, хватая его за плечи.— Придержите-ка его.

— Ну, держите! — с тоской и горечью сказал Фома.— Держите...

— Сиди смирно! — сурово крикнул крестный.

Фома замолчал. Всё, что он сделал,— ни к чему не повело, его речи не пошатнули купцов. Вот они окружают его плотной толпой, и ему не видно ничего из-за них. Они спокойны, тверды, относятся к нему как к буйну и что-то замышляют против него. Он чувствовал себя раздавленным этой темной массой крепких духом, умных людей... Сам себе он казался теперь чужим и не понимающим того, что он сделал этим людям и зачем сделал. Он даже чувствовал обидное что-то, похожее на стыд за себя пред собой. У него першило в горле, и в груди точно какая-то пыль осыпала сердце его, и оно билось тяжело, неровно. Он медленно и раздумчиво повторял, не глядя ни на кого:

— Хотел сказать правду...

— Дурак! — презрительно сказал Маякин.— Какую ты можешь сказать правду? Что ты понимаешь?

— У меня сердце изболело... Нет, я правду чувствовал!

Кто-то сказал:

— По речам его очень видно, что помутился он разумом...

— Правду говорить — не всякому дано! — сурово и поучительно заговорил Яков Тарасович, подняв руку кверху.— Ежели ты чувствовал — это пустяки! И корова чувствует, когда ей хвост ломают. А ты — пойми! Всё пойми! И врага пойми... Ты догадайся, о чем он во сне думает, тогда и валяй!

По обыкновению Маякин увлекся было изложением своей философии, но, вовремя поняв, что побежденно бою не учат, остановился. Фома тупо посмотрел на него и странно закачал головой...

— Отстань от меня! — жалобно попросил Фома.— Всё ваше! Ну — чего еще вам?

Все внимательно прислушивались к его речам, и в этом внимании было что-то предубежденное, злое...

— Жил я,— говорил Фома глухим голосом.— Смотрел... Нарвало у меня в сердце. И вот — прорвался нарыв... Теперь я обессилел совсем! Точно вся кровь вытекла...

Он говорил однотонно, бесцветно, и речь его походила на бред...

Яков Тарасович засмеялся.

— Что же, ты думал языком гору слизать? Накопил злобы на клопа, а пошел на медведя? Так, что ли? Юродивый!.. Отец бы твой видел тебя теперь — эх!

— А все-таки,— вдруг уверенно и громко сказал Фома, и вновь глаза его вспыхнули,— все-таки — ваша во всем вина! Вы испортили жизнь! Вы всё стеснили... от вас удушье... от вас! И хоть слаба моя правда против вас, а все-таки — правда! Вы — окаянные! Будь вы прокляты все...

Он забился на стуле, пытаясь освободить руки, и закричал, свирепо сверкая глазами:

— Развяжите руки!

Его окружили теснее; лица купцов стали строже, и Резников внушительно сказал ему:

— Не шуми, не буянь! Скоро в городе будем... Не срамись да и нас не срами... Не прямо же с пристани — в сумасшедший дом тебя?

— Да-а?! — воскликнул Фома.— Так вы меня в сумасшедший до-ом?

Ему не ответили. Он посмотрел на их лица и поник головой.

— Веди себя смиренно, — развяжем!.. — сказал кто-то.

— Не надо! — тихо заговорил Фома.— Всё равно...

И речь его снова приняла характер бреда.

— Я пропал... знаю! Только — не от вашей силы... а от своей слабости... да! Вы тоже черви перед богом... И — погодите! Задохнетесь... Я пропал — от слепоты... Я увидал много и ослеп... Как сова... Мальчишкой, помню... гонял я сову в овраге... она полетит и треснется обо что-нибудь... Солнце ослепило ее... Избилась вся и — пропала... А отец тогда сказал мне:

«Вот так и человек: иной мечется, мечется, изобьется, измучится и бросится куда попало... лишь бы отдохнуть!..» Эй! развяжите мне руки...

Лицо его побледнело, глаза закрылись, плечи задрожали. Оборванный и измятый, он закачался на стуле, ударяясь грудью о край стола, и стал что-то шептать.

Купечество многозначительно переглядывалось. Иные, толкая друг друга под бока, молча кивали головами на Фому. Лицо Якова Маякина было неподвижно и темно, точно высеченное из камня.

— Может, развязать? — прошептал Бобров.

— Нет, не надо... — вполголоса сказал Маякин. — Оставим его здесь... а кто-нибудь пусть пошлет за каретой... Прямо в больницу...

Он пошел к рубке, тихо сказав:

— Постерегите... как бы, чего доброго, в воду не прыгнул...

— А — жалко парня!.. — сказал Бобров, посмотрев вслед ему.

— Никто в дурости его не повинен!.. — хмуро ответил Резников.

— Яков-то... — кивнув головой вслед Маякину, шёпотом сказал Зубов.

— Что Яков? Он тут не проиграл...

— Н-да-а... он теперь... опечет!..

Их тихий смех и шёпот сливались со вздохами машины и, должно быть, не достигали до слуха Фомы. Он неподвижно смотрел пред собой тусклым взглядом, и только губы у него чуть вздрагивали...

— Сын к нему явился... — шептал Бобров.

— Я его знаю, сына-то, — сказал Ящуров. — Встречал в Перми...

— Что за человек?

— Деловой... Большим орудует делом в Усолье...

— Стало быть — этот Якову не нужен... Н-да... вон оно что!

— Смотрите — плачет!

— О?

Фома сидел, откинувшись на спинку стула и склонив голову на плечо. Глаза его были закрыты, и из-под

ресниц одна за другой выкатывались слезы. Они текли по щекам на усы.. Губы Фомы судорожно вздрагивали, слезы падали с усов на грудь. Он молчал и не двигался, только грудь его вздымалась тяжело и неровно. Купцы посмотрели на бледное, страдальчески осунувшееся, мокрое от слез лицо его с опущенными книзу углами губ и тихо, молча стали отходить прочь от него...

И вот Фома остался один со связанными за спиной руками пред столом, покрытым грязной посудой и разными остатками пира. Порой он медленно открывал тяжелые опухшие ресницы, и глаза его сквозь слезы тускло и уныло смотрели на стол, где всё было опрокинуто, разрушено...

Прошло года три.

С год тому назад Яков Тарасович Маякин умер. Умирая в полном сознании, он остался верен себе и за несколько часов до смерти говорил сыну, дочери и зятю:

— Ну, ребята,— живите богато! Поел Яков всяких злаков, значит, Якову пора долой со двора... Видите — умираю, а не унываю... И это мне господь зачтет... Я его, всеблагого, только шутками беспокоил, а стоном и жалобами — никогда! Господи! Рад я, что умеючи пожил — по милости твоей! Прощайте, детушки... Живите дружно... не мудрствуйте очень-то. Знайте — не тот свят, кто от греха прячется да спокойненько лежит... Трусостью от греха не оборонишься — про это и говорит притча о талантах... А кто хочет от жизни толку добиться — тот греха не боится... Ошибку господь ему простит... Господь назначил человека на устройство жизни... а ума ему не так уж много дал — значит, строго искать недоимок не станет!.. Ибо свят он и многомилостив...

Умер он после краткой, но очень мучительной агонии...

Ежова за что-то выслали из города вскоре после происшествия на пароходе.

В городе возник новый крупный торговый дом под фирмой «Тарас Маякин и Африкан Смолин»...

За все три года о Фоме не слышно было ничего. Говорили, что после выхода из больницы Маякин отправил его куда-то на Урал к родственникам матери.

Недавно Фома явился на улицах города. Он какой-то истертый, измятый и полоумный. Почти всегда выпивши, он появляется — то мрачный, с нахмуренными бровями и с опущенной на грудь головой, то улыбающийся жалкой и грустной улыбкой блажененького. Иногда он буянит, но это редко случается. Живет он у сестры на дворе, во флигельке...

Знающие его купцы и горожане часто смеются над ним. Идет Фома по улице, и вдруг кто-нибудь кричит ему:

— Эй ты, пророк! Подь сюда!

Фома очень редко подходит к зовущему его, — он избегает людей и не любит говорить с ними. Но если он подойдет, — ему говорят:

— Ну-ка, насчет светопреставления скажи слово, а? Хе-хе-хе! Про-орок!

.....

## II







## ХОРОШИЙ ВАНЬКИН ДЕНЬ

ЭСКИЗ

...Проснувшись, Ванька запустил обе руки в свои волнистые русые вихры, прилежно почесался, и круглая рожа его расплылась в широкую сияющую улыбку. Его щеки, приподнятые улыбкой кверху, округлились, как два румяные яблока, около голубых глаз собрались лучистые складки, и умильно прищуренные глаза, сверкая из двух узких щелочек, осветили всю его молодую жилистую фигуру светом гордости и счастья...

Вышел в люди!

Третьего дня Ванька, придя из деревни, порядился в подмастерья к маляру Филимонову, у которого раньше прожил четыре лета в учениках, — порядился за целые тридцать рублей в лето! Вчера он получил треть денег в задаток, шесть рублей отослал домой, купил за рубль восемь гривен гармонию, — потому что как же можно мастеровому человеку без гармонии жить? — купил жилетку за три четвертака, а остальные деньги обрек на «прогул». Сегодня — праздник, и Ванька намерен должным образом отпраздновать свое повышение.

Он вскочил с нар и стал обувать сапоги. Вчера вечером он их смачно намазал дегтем, и теперь от них идет этакий задорный запах, от которого даже в носу щиплет; они стали мягкие, легкие и чуть ли не сами собой вскочили Ваньке на ноги. Обувшись, он взглянул на нары, где в разнообразных позах раскинулось шесть тел, а в самом углу, свернувшись в калачик, спал ученик Гришка, отбывавший второй год ученья. Ванька сделал строгое лицо и, подойдя к нему, дернул его за ногу.

— Ты, дьяволенок! Дрыхни!

— А? — сонно спросил Гришка.

— Иди воды налей в рукомойник... Заспался...

— Счас... — пообещал Гришка и, поджав ногу, заснул.

Новый подмастерье еще строже сдвинул брови и опять протянул руку к ноге ученика... Но вдруг смешливо фыркнул, махнул рукой и пошел в угол мастерской. Там над грязной лоханью висел глиняный умывальник, похожий на человеческую голову, повешенную за уши. Воды в нем было много, и Ванька, с удовольствием фыркая и отдуваясь, полными пригоршнями стал плескать ее себе на лицо. Потом он отпер свой сундучишко, стоявший под нарами, достал оттуда рушник, новую ситцевую рубаху, жилет и гармонию, вытер лицо и руки, причесался, надел рубаху, жилет и захотел узнать — каково он теперь выглядит? Но зеркала у него не было. Это обстоятельство заставило Ваньку несколько секунд задумчиво простоять среди мастерской, после чего он нашелся — вышел в сени и там, открыв кадку с водой, наслаждался отражением своей круглой довольной рожи. Оказалось, что нужно еще раз причесаться. Он исполнил это и снова задумался — что же теперь делать? Идти в трактир? Но еще рано, и трактиры по случаю праздника должны быть заперты... Он сел на лавку под окном и посмотрел на двор.

Двор был грязный, сплошь заваленный всяким хламом, но всё это было облагорожено ярким блеском весеннего солнца, и оно настоятельно поманило Ваньку вон из низкой комнаты с серыми от сырости стенами, вон — на воздух и на свет. Он взял под мышку гармонию, надел картуз и вышел из мастерской, решив дожждаться у ворот, когда проснутся товарищи, и вместе с ними идти пить чай...

Степенно усевшись на лавке у ворот, Ванька положил гармонию себе на колени, а она при этом как-то просительно пискнула, точно говорила:

— Поиграй!

У Ваньки не нашлось резона отказать гармонике в ее желании, — в нем широкой волной переливалось

доброе и живое чувство радости, охота заиграть и запеть на всю улицу; он взял гармонику в руки и бойко извлек из нее переливчатый аккорд.

Хорошо!

Он улыбнулся задорным звукам и, перебирая пальцами по клавишам, вполголоса стал подпевать:

Д' и оженила молодца  
Да чужа дальняя сторона-а  
И чу-ужа дальняя сторонка...

— Фармазон! — раздался резкий возглас. — Обедня еще идет, а ты уже дьявола тешишь... Экий бусурман некрещеный!

Это ругалась стряпка Тимофеевна, высунув красное толстое лицо из окна над головой Ваньки.

В другое время он сцепился бы с Тимофеевной зуб за зуб, но сегодня у него не было такого желания, хотя эта баба много горьких обид нанесла ему в ту пору, когда он был еще учеником.

— Али еще не отошла? — изумился он, поднимая кверху улыбавшееся и немного сконфуженное лицо.

— Не отошла! Ишь выпялился, ни свет ни заря... Где бы в церковь сходить...

Окно закрылось...

Ванька с сожалением взглянул на гармонию и живо сообразил, что если он пройдет в конец улицы и там сядет на Фроловском пустыре, то может играть сколько душе угодно — никто ему не мешает. Поправив картуз на голове и сунув гармонию под мышку, он двинулся вдоль по улице неторопливой походкой гуляющего человека, гордо неся свою голову, степенно поглядывая по сторонам, а внутри его всё играло и вздрагивало в страстном желании вырваться наружу в песне, в смехе, в пляске — как-нибудь и в чем бы то ни было — лишь бы вырваться.

Вот идет навстречу ему старуха-нищая, стуча костылем по тротуару, изогнутая в дугу, обвешанная лохмотьями. Ванька, поравнявшись с ней, спрашивает ее, сунув руку в карман своих штанов:

— Копеечка есть у тебя, бабушка?

— Есть, родимый, есть,— торопливо отвечает старуха.

— Ну-ка давай ее... а это тебе, для праздника, семишник...

И он дает ей две кошейки, дает и с чувством довольства и радости слушает добрые пожелания, которыми старуха устилает ему путь.

На крыльце одного дома лежит большая серая длиннордая собака — Ванька чувствует неодолимую охоту приласкать ее... Он складывает губы трубой, протягивает к собаке руку и, щелкая пальцами, пошвыстывает ей:

— Фью, фью! Цы! Подь сюда... Барбос! Дружок! Славный пес... ну — фью, фью!

Но собака не расположена любезничать с Ванькой; она косит на него глаза, скалит зубы и урчит.

— Дура! — говорит ей Ванька, проходя мимо собаки, но он нимало не обижен ее поведением.

Телега ломового извозчика, нагруженная какими-то бочками, вывернулась из переулка и задела колесом за тумбу. Извозчик, восседая на бочках, бьет лошадь вожжами и безнадежно ругается. Ему лень слезть на землю, хотя положение дела и требует его присутствия на ней. Но Ванька сегодня готов помогать всем людям на свете: ему приятно жить в этот ясный день, и он, не думая, желает быть для всех приятным...

— Вороти левее, дядя! — советует он извозчику, кладет гармонию на тумбу и хватается за телегу, изо всей силы пихая ее в сторону.

— Спасибо! — говорит извозчик, оскалив зубы.— Молодчага ты, парень!

— Вали, поезжай! — отдуваясь от напряжения, говорит Ванька.

Вот он приходит на пустырь. Там толпа ребятишек играет в бабки. Ванька рад их видеть и в то же время чувствует, что неловко так прямо сесть да и заиграть, при мальчишках. Надо хоть поговорить с ними, что ли... И, присмотревшись к ходу игры, он уже командует мальчишкам:

— А ты, картуз, с навеса-то не бей, это не порядок! Бей в разрез, чтобы, значит,— битка в кон,—

бабки в бег... Вот... Ну-ка, рыжий, пометься хорошенько... р-раз! Ловко! Двух цен вышиб... ай да рыжий! Ну-ка ты теперь... а ты не нашагивай, шагай в меру, на что прискакиваешь? Вот те и мимо дал!

Ребятишкам нравится Ванькино участие в их игре, они видят в нем знатока дела и внимательно прислушиваются к его замечаниям, один из них даже решается отдать под его опеку свои действия, начинает спрашивать его.

— Куда мне катить? Остаться у кона?

Ванька серьезно рассматривает его битку, находит ее легкой, выбирает другую. Потом советует, как надо целить в кон.

— Ты левый глаз прищурь, руку вытяни по правому глазу, потом размахнись ей и, когда она в одну точку с глазом встанет,— пускай битку! Понял?

Других ребятишек тоже интересуют его уроки, и, окружая его, они наперебой спрашивают у него советов. Он никому не отказывает и, чувствуя себя хозяином положения, становится внушительно серьезным. Но вспомнив, что уже в мастерской, наверное, встали и пора идти в трактир пить чай, он оставляет мальчишек и вновь идет по улице, углубленный в мечты о том, как он будет сидеть в трактире и слушать «машину». Она играет одну очень хорошую, но трудную музыку, которую куда как хорошо бы перенять и изобразить на гармонике!..

После полуден Ванька снова на улице. Заломив картуз на затылок, с лицом, красным от оживления и нескольких рюмок водки, выпитых давеча в трактире, Ванька шествует с гармонией в руках и с могучей радостью в сердце,— с радостью, которую он должен сдерживать, ибо у нее нет выхода, не во что отлиться,— шествует и смутно ждет чего-то очень хорошего и от себя и от людей. Он не пьян, но считает нужным показывать, что немножко «клюкнул»,— это придает человеку больше шика и удалства. Он пошатывается на ногах, щурит глаза и часто, размашистым движением руки, поправляет картуз на голове, сбивая его всё

более на затылок. Ему хочется пить, и он затягивает высоким фальцетом:

И уж ты, с-сад ли, м-мой сад!  
Да сад зеле-ененький...

Но суровый полицейский солдат, стоящий среди улицы, против такого развлечения.

— Эй ты!..— говорит он Ваньке и внушительно грозит ему пальцем.

Ванька обрывает песню и двигается на полицейского с добродушной рожей, вопрошая его:

— Нельзя рази?

Полицейского подкупает эта праздничная фигура своим юным довольством, и он отечески внушает:

— На улицах пение не дозволяется...

— Не дозволяется? — переспрашивает Ванька.

— Никак нельзя... Ступай домой... а то иди за город и там — можешь...

— За городом?

— Вот... Вон иди за кладбище и — вали там...

— Там, стало быть, можно?

— Сколько хошь...

— Ну... благодарю! Спасибо... угостить папироской? Желаете?

— Нам нельзя... на посту мы...

— А то — извольте...

— Не надо... иди себе тихо... иди.

— Могу... я понимаю — строгость! — говорит Ванька, хмурия брови, и мирно отходит от полицейского.

Но как же и чем ему выразить обуревающее его чувство жизни? Отойдя несколько сажен, он снова вполголоса начинает напевать:

На том ли поле серебристом  
Стояла дева пред лу-уной  
И увер-ряла небо — чистым  
Хр-рапи до гроба свой покой...

Вспомнив о полицейском, он оглядывается назад и видит, что страж укоризненно кивает ему головой. Тогда Ванька кричит ему, приставив ко рту кулак:

— Не буду больше... не буду!

И, махнув рукой, некоторое время идет молча, чувствуя стеснение и чего-то желая.

Вот маленькая бакалейная лавочка. Ванька фертот входит в нее и вежливо говорит:

— Дозвольте папирос...

— Каких вам?..

— Каких? В... пять копеек десяток!

— Вот извольте — «Ласточка»!!

— «Ласточка»? Хорошие?

— Самые лучшие...

— Беру... А теперь дозвольте... полфунта орехов.

— Каких — кедровых, волоцких, простых?

— Какие лучшие... которые вкуснее...

— Это волоцкие, — решает лавочник.

— Дозвольте полфунта волоцких...

У него есть папиросы, да и орехов он совсем не хочет, но нужно же что-нибудь делать!

А тут, покупая, по крайней мере хоть с человеком говоришь...

Из такого же мотива Ванька заходит в портерную и выпивает там бутылку пива. Но в портерной пусто, скучно и душно. Несколько ошалевший от пива, он снова шагает по улице и чувствует, что теперь уже ему можно и не притворяться пьяным — и так хорошо его пошатывает. В голове у него туман, и на сердце уже менее ясно... А все-таки хочется пить.

Он присновравливает гармонику и играет на ней знакомые мотивы, то и дело сбиваясь с одного на другой. Но и это не удовлетворяет его... Тогда он начинает подыгрывать на губах:

Ти-рли-рлю-та, ту-та-ту-та...

Это ему нравится, и он победоносно смотрит вокруг себя. Но он находится на какой-то глухой улице, на ней всего двое или трое прохожих... Даже и домов нет — одни заборы... а вон железная решетка, за ней — газон, за газоном и группой деревьев — большое белое здание с массой окон... Ванька мельком вспоминает, что это здание — институт и что два года тому назад он красил в нем полы...



Он идет дальше... и в душу ему змеей вползает скука, губительница людей... Он чувствует это и делает усилие изгнать ее. Гармоника растягивается в его руках во всю длину мехов и пронзительно, крикливо поет забористые аккорды, а Ванька уже с яростью подпевает:

Ти-рли-рлю-та, ту-та-ту-та —  
И шел я и мимо института!..

Слова эти являются у него совершенно неожиданно, и он сначала даже изумлен ими... но после краткой паузы Ванька вдохновенно и во всё горло орет:

Ти-рли-рлю-та, ту-та-ту-т —  
Стоит крепко д'институт!

Это кажется Ваньке ужасно смешным, он открывает рот и, прижав гармонию к животу,— хохочет во всю емкость своих легких, хохочет над своим творчеством, и долго он хохочет, прижавшись спиной к забору и покачиваясь на ногах...

Заходит солнце, бросая на белую штукатурку домов розовый отблеск; бесшумно стелются по улице тени...

Идут парами гуляющие, постукивая о тротуары тростями, в сыром весеннем воздухе звучит смех и говор... И рыдающий голос Ваньки громко возглашает:

— Я сам м-мастер... а ты дерешься... Можешь ты это... а?

Ванька является в улицу из какого-то узкого переулка, является растрепанный, развинченный и, очевидно, глубоко оскорбленный. Издали кажется, что он на каждом шагу своего пути преодолевает некоторые, ему одному видимые, препятствия,— так высоко он поднимает ноги и так часто сворачивает в сторону с прямой линии... Из уст его медленно исходят горькие упреки по чьему-то адресу, а слова его так же путаются, как и ноги...

М-мороз трещит, и вью-га воеет,  
И тройка к-коней у ворот —  
Луна сия-ит...

— Ты чего орешь? — строго спрашивает Ваньку какой-то барин, высокий и в фуражке с красным околышем.

Ванька таращит на него глаза и объясняет:

— Я пою, ваша степенс... по случаю праздника... и как теперь я — ма-астер... фью! будет уж! шабаш! я теперь — сам мастер!

Ванька с гордостью колотит себя кулаком в грудь и вдруг со слезами в голосе кричит:

— Но он меня — за волосы...

— А вот я тебя — в полицию отправлю! — сурово восклицает барин.

— Не надо! — отрицательно качает головой Ванька.— Я больше не буду... я понимаю — порядок! И... я уйду. Что такое? Разве я — что-нибудь могу?..

## «ВСТРЯСКА»

### СТРАНИЧКА ИЗ МИШКИНОЙ ЖИЗНИ

...Однажды в праздничный вечер он стоял на галерее цирка, плотно прижавшись грудью к дереву перил, и, бледный от напряженного внимания, смотрел очарованными глазами на арену, где кувыркался ярко одетый клоун, любимец цирковой публики.

Окутанное пышными складками розового и желтого атласа тело клоуна, гибкое, как у змеи, мелькая на темном фоне арены, принимало различные позы: то легкие и грациозные, то уродливые и смешные; оно, как мяч, подпрыгивало в воздухе, ловко кувыркалось там, падало на песок арены и быстро каталось по ней. Потом клоун вскакивал на ноги и, смелый, довольный собой, весело смотрел на публику, ожидая от нее рукоплесканий. Она не скупилась и дружно поощряла его искусство громким смехом, криками, улыбками одобрения. Тогда он вновь извивался, кувыркался, прыгал, жонглировал своим колпаком; при каждом движении его золотые блески, нашитые на атласе, сверкали, как искры, а мальчик с галереи жадно следил за этой игрой гибкого тела и, прищуривая от удовольствия свои черные глазки, улыбался тихой улыбкой неизъяснимого удовольствия.

— Фот так! — ломаным языком и тонким голосом говорил клоун, перепрыгивая через стул.

— И фот так... — Он вспрыгнул на спинку стула, несколько секунд балансировал на ней, но вдруг неестественно изогнулся, упал и, съжившись в ком, вместе со стулом замелькал по арене, так что казалось, будто стул ожил и гонится за ним. Мальчик следил за всем, что делал клоун, и, увлеченный его ловкостью, невольно отражал и повторял на своей рожице все гримасы

уморительно подвижного набеленного лица. Он повторял бы и жесты, но был стиснут со всех сторон до того, что не мог двинуть рукой. Сзади на него навалился какой-то бородач в кучерском костюме, с боков тоже давили его. На галерее было душно; грудь, прижатая к дереву перил, болела, ноги ныли от усталости и полученных толчков, но — как ловок и красив этот клоун и как люб он всем! Увлечение мальчика ловкостью артиста возвышалось до благоговейного чувства, он молчал, когда публика громко выражала свои одобрения клоуну, молчал и порой вздрагивал от желания самому быть там, на арене, кувыркаться по ней в сияющем костюме, смешить людей, слышать их похвалы и видеть сотни веселых лиц и внимательных глаз, устремленных на него. Сильное, но смутное чувство, властно охватившее мальчика, было, в общем, темным чувством — оно не оживляло, а подавляло своей силой, в нем было много грусти и зависти, еще более обострившихся каждый раз, когда у мальчика вспыхивала мысль о том, что всё это, красивое и приятное, как сон, должно скоро кончиться и опять ему придется идти домой, в темную и грязную мастерскую...

А клоун встал на четвереньки, одну ногу вытянул и, прыгая по арене на другой и на руках, с визгом и хрюканьем скрылся, возбудив в публике дружный хохот. Следующим номером программы была борьба двух атлетов, потом выехала на лошади барыня в длинном черном платье и в шляпе, похожей на маленькое ведерко, за ней вышли трое акробатов... было и еще много разных «номеров», но из них внимание маленького зрителя заняли только двое артистов, еще более маленьких, чем он сам. Исполнив трудное упражнение на турнике, они ушли, но и они не затушевали того впечатления, которое оставил клоун.

Когда представление кончилось и публика с шумом стала расходиться, — мальчик с галереи всё еще медлил уходить и смотрел на арену, где уже гасили огни. Вот там явился какой-то низенький господин с тростью в руке и с сигарой в зубах.

— Это и есть самый он... клоун-то, — сказал бородастый человек и, широко улыбаясь, добавил: — Очень я

его хорошо знаю... хоша он и обрядился в настоящее...

Мальчик слышал эти слова и пристально смотрел на человека с сигарой, который стоял среди арены, что-то приказывая людям в красных мундирах, суетившимся по ней. Это — блестящий, ловкий клоун? И мальчик разочарованно тряхнул головой — не понравилось ему, что такой удивительный человек одевается, как самый обыкновенный модный барин. Вот если б он, Мишка, был клоуном, он так бы и ходил по улицам в ярком, широком атласном костюме с золотом и в высоком белом колпаке. И Мишка вышел из цирка, решительно недовольный этим неприятным превращением артиста в обыкновенного человека.

Длинная улица лежала пред мальчиком; по обеим сторонам ее, как две нити крупных огненных бус, протягивались вдаль фонари, оживленно и безмолвно состязаясь с тьмой ночи, полной говора людей и дребезга пролетов. Вспоминая выходки клоуна, мальчик улыбался, а иногда, перепрыгивая через впадину на панели или вскакивая на ступеньку крыльца, вполголоса восклицал:

— Фот тьяк! И фот тьяк!..

И, воспроизводя на лице гримасы и ужимки, потешавшие публику, мальчик порой останавливался пред окнами магазинов и серьезно подолгу рассматривал свое отражение на стекле.

Удовлетворенный видом своей исковерканной гримасами скуластой рожицы с маленькими, живыми, черными глазами, он весело подпрыгивал и свистал. Но уже в нем являлось нечто, портившее ему настроение, — память, оживленная боязнью наказания, чувством, которое постоянно жило в худой груди Мишки, — память упорно восстанавливала пред ним завтрашний день — тяжелый, суетливый день!

Завтра утром он проснется, разбуженный сердитым окриком кухарки, и пойдет ставить самовар для мастеров. Потом приготовит посуду для чая на длинном столе среди мастерской и станет будить мастеров, а они будут ругать его и лягаться ногами... Пока они пьют чай — он должен прибрать их постели, вынести мастерскую,

потом, выпив стакан холодного и спитого чая, он достанет из угла мастерской большую каменную плиту, положит ее на табурет и с пирамидальным камнем в руках усядется растирать краски. От возни тяжелым камнем по плите у него заболят, зануют и руки, и плечи, и спина. После обеда около часа отдыха, он уберет со стола и, свернувшись где-нибудь в углу, заснет, как котенок... а разбудят его пинком. Может быть, его заставят чистить пемзой доски, зашпаклеванные под иконы, и он, кашляя и чихая, долго будет дышать тонкой меловой пылью. И так весь день, до ужина...

Единственное приятное, что испытывал Мишка и чего он всегда с нетерпением ждал, — это приказание бежать куда-нибудь — к столяру за досками для икон, в москательную лавку, в кабак за водкой... А самым неприятным и даже страшным для него было копотливое и требовавшее большой осторожности поручение приготовить яичных желтков для красок \*. Нужно было осторожно разбить яйцо, слить желток в одну чашку, белок в другую, а он то портил яйцо, раздавливая в нем желток, то сливал белок в чашку с желтком и портил уже все желтки, которые успел отделить. За это — били.

Скучную и нелегкую жизнь изживал он...

...Дойдя до ворот хмурого двухэтажного дома, окрашенного в какую-то рыжую краску, Мишка торкнулся в калитку и, убедившись, что она заперта, тотчас же решил перелезть через забор, что и исполнил быстро и бесшумно, как кошка. Проникая во двор таким необычным путем, он избегал подзатыльника, которым непременно отплатил бы ему дворник за беспокойство отворить калитку, — ведь всегда приятно получать одним подзатыльником меньше против того, сколько вам их назначено — от судьбы. А кроме этого, Мишке было и невыгодно, чтоб дворник видел, где он ляжет спать. Хитрый мальчик для сна всегда выбирал самые укромные уголки двора — этим он выигрывал у хозяина несколько лишних минут сна, ибо поутру, для того чтоб

---

\* Краски, которыми пишут большинство икон, разводятся на желтке яиц.

разбудить Мишку,— сначала нужно было найти его. И теперь он тихо пробрался в угол двора, там в узкой дыре между поленицей дров и стеной погреба зарылся в солому и рогожи, с наслаждением вытянулся на спине и несколько секунд смотрел в небо. В небе сверкали звезды... Они напомнили Мишке золотые блески на атласном костюме клоуна, он зажмурил глаза, улыбнулся сквозь дрему и, беззвучно, одними губами, повторил: «Фот тьяк...»,— уснул крепким детским сном.

...Проснуться его заставило странное ощущение: ему показалось, что левая нога его быстро бежит куда-то и тащит за собой всё тело. Он с испугом открыл глаза.

— Чертенок! — укоризненно говорила кухарка, дергая его за ногу: — Опять ты спрятался? Вот я уже — погоди! — скажу хозяйке...

— Это я, тетинька Палагея, не прятался,— вот, ей-богу, не прятался! — И Мишка, вскочив на ноги, убежденно перекрестился.

— Черти тебя спрятали?

— А я пришел и было везде заперто... дядя Николай стал бы ругаться,— ну я — махать через ворота...— скороговоркой объяснил Мишка, зорко следя за руками тетеньки Палагеи.

— Иди, иди, шишига, ставь самовар-от, ведь уж скоро шесть часо-ов...

— Это я чичас! — с полной готовностью воскликнул Мишка и, довольный тем, что так дешево отделался, сломя голову побежал в кухню.

Там, бодро возясь около самовара, позеленевшего от старости, пузатого ветерана с исковерканными боками, Мишка вступил в беседу с кухаркой.

— Ну уж в цирке вчера — ах тетинька! здорово представляли! — щуря глаза от удовольствия, сказал он.

— Я тоже было хотела пойти,— угрюмо отозвалась кухарка и со злым вздохом добавила: — Да разве у нас вывешься!

— Вам нельзя,— серьезно сказал Мишка, и так как он был великий дипломат, то, ответив кухарке сочувственным вздохом, пояснил свои слова: — Потому вы вроде как на каторге...

— То-то что...

— А уж был там паяц один... ах и шельма!

— Смешной? — заинтересовалась кухарка оживлением Мишки.

— Тоись просто уморушка! Согнет он какой-нибудь крендель — так все за животики и возьмутся! — живо описал Мишка, держа в руках пучок зажженной лучины.

— Ишь ты... люблю я этих паяцев... клади лучину-то в самовар — руки сожжешь.

— Фюить! Готово!.. Рожа у него — как на пружинах... уж он ее и так кривит и эдак... — Мишка показал, как именно паяц кривит рожу.

Кухарка взглянула на него и расхохоталась.

— Ах ты... таракан ты... ведь уж перенял! Ступай убирай мастерскую-то, ангилютка.

— И фот тяк! — пискливо крикнул Мишка, исчезая из кухни, сопровождаемый добродушным смехом Палагеи. Прежде чем попасть в мастерскую, он подбежал в сенях к кадке с водой и, глядя в нее, проделал несколько гримас. Выходило настолько хорошо, что он даже сам рассмеялся.

...Этот день стал для него роковым днем и днем триумфа. С утра он рассказывал в мастерской о клоуне, воспроизводил его гримасы, изгибы его тела, пискливую речь и всё, что врезалось в его память. Мастеров томила скука, они рады были и той незатейливой забаве, которую предлагал им увлеченный Мишка, они поощряли его выходки и к вечеру уже звали его — паяц.

— Паяц! На-ко вымой кисти!

— Паяц! Принеси лазури!

И Мишка, чувствуя себя героем дня, белкой прыгал по мастерской, всё более входя в роль потешника, гримасничая и ломаясь. Эта роль, привлекая к нему общее и доброе внимание мастеров, льстила его маленькому самолюбию и весь день охраняла его от щелчков, пинков и иных поощрений, обычных в его жизни. Но — чем выше встанешь, тем хуже падать, это ведь известно...

Вечером, пред концом работы, один из мастеров, писавший поясной образ св. великомученика Пантелеймона, подозвал к себе Мишку и сказал ему, чтобы он



поставил икону, еще сырую, на окно; Мишка, кривляясь, схватил образ и... смазал пальцем краску с ящичка в руке св. целителя... Бледный от испуга, он молча и вопросительно взглянул на мастера.

— Что? Дорвался? — ехидно спросил тот.

— Я нечаянно-о... — тихо протянул Мишка.

— Дай сюда...

Мишка покорно отдал ему икону и потупился.

— Давай башку!

— Господи! — умоляюще взвыл Мишка.

— Ну?!

— Дядинька! я...

Но мастер схватил его за плечи и притянул к себе. Потом он, не торопясь, запустил ему пальцы своей левой руки в волосы на затылке снизу вверх и начал медленно поднимать мальчика на воздух. Мишка подобрал под себя ноги и поджал руки, точно он думал, что от этого тело его станет легче, и с искаженным от боли лицом повис в воздухе, открыв рот и прерывисто дыша. А мастер, подняв его левой рукой на пол-аршина от пола, взмахнул в воздухе правой и с силой ударил мальчика по ягодицам сверху вниз. Это называется «встряска», она выдирает волосы с корнями и от нее на затылке является опухоль, которая долго заставляет помнить о себе.

Стоная, схватившись за голову руками, Мишка упал на пол к ногам мастера и слышал, как в мастерской смеялись над ним.

— Ловко кувыркнулся, паяц!

— Это, братцы, воздушный полет.

— Ха-ха-ха! Мишка, а ну-ка еще посартгоморталь!

Этот смех резал Мишке душу и был намного острее боли от «встряски». Ему приказали подняться с пола и накрывать на стол для ужина. В кухне его ждало еще огорчение. Там была хозяйка — она поймала его и начала трясти за ухо, приговаривая:

— А ты, чертенок, спи, где велят, а не пря-чься, не пря-чься, не пря-чься.

Мишка болтал головой, стараясь попасть в такт движениям хозяйкиной руки, и чувствовал едва одолжимое желание укусить эту руку.

...Через час он лежал на своей постели, под столом в мастерской, сжавшись в плотный маленький комочек так, точно он хотел задавить в себе боль и горечь. В окна смотрела луна, освещая голубоватым сиянием большие иконостасные фигуры святых, стоявшие в ряд у стены. Их темные лики смотрели сурово и внушительно в торжественной безмятежности своей славы, лунный свет придавал им вид призраков, смягчая резкие краски и оживляя складки тяжелых риз на их раменах.

Без дум, весь поглощенный чувством обиды, мальчик покорно ожидал, когда это чувство затихнет... а блестящие краски икон постепенно вызвали воспоминания о вчерашнем вечере, о красивых костюмах ловких, гибких людей, которые так свободно прыгают, так веселы и красивы...

...И вот он видит арену цирка и себя на ней, с необычайной легкостью он совершал самые трудные упражнения, и не усталостью, а сладкой и приятной негой они отзывались в его теле... Гром рукоплесканий поощрял его... полный восхищения пред своей ловкостью, веселый и гордый, он прыгнул высоко в воздух и, сопровождаемый гулом одобрения, плавно полетел куда-то, полетел со сладким замиранием сердца... чтоб завтра снова проснуться на земле от пинка.

## ФАРФОРОВАЯ СВИНЬЯ

...Она стояла на каминной доске, рядом со старинными часами, была очень хорошо сделана и считала себя лучше всех в кабинете.

Ее ближайшим соседом был бронзовый Меркурий; он помещался на мраморном утесе, в который был вделан циферблат часов. Тут же находился маленький чёртик из папье-маше, гипсовый бюст Гейне и две вазы с высушенными цветами. Все они давно уже стояли на каминной доске, прекрасно знали друг друга и, когда в кабинете никого не было, — вступали в беседу друг с другом. В эту ночь у них не было никакого основания отступить от усвоенной ими привычки...

Как только горничная погасила лампу и ушла, свинья недовольно сказала:

— Фи-и, как я не люблю света!..

— Каждый раз вы с этого начинаете, — заметил ей чёртик из папье-маше.

— Ну так что же? А все-таки я повторяюсь не так часто, как часы, — возразила свинья.

— Ба! Часы! — воскликнул бюст Гейне. — Вы знаете, господа, ведь они скоро отметят людям наступление нового и последнего в столетии года!..

— Как это важно! — пренебрежительно отозвалась свинья. — Точно они не делают этого каждый год...

— И каждый год есть последний в столетии, — сказал чёртик.

— Так, так! — сказали часы.

— А смешная это привычка у людей — ежегодно в конце декабря воображать, что, пока они существуют на земле, возможно что-нибудь новое, — проговорил бюст Гейне.

— Это вы о чем? — спросила свинья, — она была не из догадливых.

— Да об этом, новом годе...

— Да, да! — воскликнула свинья.

— А это, знаете, просто объясняется, — сказал чёртик. — Люди несчастны и ленивы, сделать что-нибудь новое сами они не могут, а жить — скучно! И вот они представляют себе, что новое может явиться на земле помимо их усилий...

— Люди ленивы — это так! — докторально подтвердила свинья. — Они потому и несчастны, что ленивы... и потом — ведь они еще и глупы... А в сущности — так просто быть счастливым! Что такое счастье? Довольство собой... и ничто иное...

— О! — воскликнул бюст Гейне. — А знаете, сударыня: тот, кого я изображаю, пожалуй, не согласился бы с вами...

— Ну, уж я не знаю, кого вы там изображаете... полагаю, однако, что всякий должен быть самим собой и — только. И уверена, что, если б соловьи захотели быть свиньями, они стали бы смешными, но не лучше.

— Гм! — сказал бюст Гейне, — однако если б я был только самим собою, то, наверное, не имел бы такой красивой формы... ведь я — просто гипс...

— Это хорошо, что вы скромны и сознаете свои недостатки, — благосклонно одобрила свинья бюст Гейне. — Но что же мешает вам сделаться свиньей... если вы недовольны тем, что вы есть?

— Я, право, не думаю, что... это лучше...

— Фу, какой вы... глупый! Уже походить на простую свинью очень приятно, а если кто сравнится со мною, — тот достиг возможного на земле совершенства. Мы, йоркширские свиньи — я ведь йоркширской породы, — вы это знаете?

— О, да! Вы частенько говорите нам о вашей генеалогии...

— Так, так! — сказали часы.

— Мы, йоркширские свиньи, давно уже выработали себе... э... так сказать, проспект жизни... Это очень просто, хотя чрезвычайно умно...

— Вот о чем вы еще никогда не говорили... — заметил чёртик, усмехаясь.

— Мы, йоркширские свиньи, всегда были такими, какой вы видите меня, — важно говорила фарфоровая свинья. — Это потому, что мы, прежде всего, убеждены в пользе и необходимости хорошего питания. Обмен соков важнее обмена мыслей — и что такое живая, хорошая мысль? Анализируйте ее... хотя бы у человека, совершенного в моем смысле, и я уверена, — вы всегда найдете в ней немножко хорошего ростбифа, две-три капли красного вина, спаржу, трюфели, свежую дичь, наконец — шампанское, которое дает ей блеск и игру... Следующее за питанием место нужно отдать идеям... мы живем в такое время, когда явиться в общество без какой-нибудь идеи так же неприлично, как без галстука... И вот что особенно важно и требует много вкуса и ума — это уметь выбирать хорошие, удобные идеи... Дело, видите ли, в том, что многие из них ядовиты и отравляют самочувствие. Вообще же, — и это самое лучшее, — нужно стараться иметь идеи *при* себе, но отнюдь не *в* себе, — к сожалению, это не всем доступно... да. Для употребления в обществе следует выбирать идеи простые, здоровые... например: дважды два — четыре, голодный — должен есть, наука — всесильна, личность — должна быть свободна, но в разумных пределах, бить блох — жестоко, но не безнравственно... и так далее в этом духе. В сущности, это даже и не идеи, а.. так себе, но во всяком случае это нечто необходимое для порядочного человека, и без таких формул его никто не признает за образованного и развитого... Говорить же о всем этом нужно с... твердостью и так, будто, кроме вас, никто не знает того, о чем вы говорите, хотя бы говорили о недосыгаемости небес... Впрочем, о небесах самое лучшее совсем не говорить... дело в том, что никто из нас, йоркширских свиней, не видал их, и, право, я не уверена в том, что они существуют... Однажды, впрочем, кто-то из наших видел в луже отражение чего-то... пустого... знаете — совершенно пустого — может быть, это и есть небеса?.. Если так, то — какая в них польза? И что можно сказать о них?.. Намеченные мною темы для разговоров в обществе, при уменье рас-

поряжаться ими, — самые удобные темы... и решительно никогда никого и ни к чему не обязывают... Если важно кушать и иметь при себе порядочные идеи — это сразу приведет вас к равновесию духа и тела. Корень же счастья именно в этом равновесии... Я, конечно, говорю всё это применительно к людям, потому что мы, йоркширские свиньи, совершенно не нуждаемся в идеях... с нас довольно убеждения в том, что именно мы — соль земли и опора... э... и вообще — опора, устой, так сказать, или — иначе — столпы... Само собою разумеется, что при таком самочувствии мы не можем позволить себе заниматься такими пустяками, как ожидание чего-нибудь нового... нового года, например...

— А ведь вы, сударыня, имеете взгляд и нечто, как говорится, — заметил чёртик, усмехаясь. — И право, если б вы не были фарфоровой, вам следовало бы заняться сочинением книг...

Свинья подозрительно хрюкнула и сказала:

— Не знаю, что это такое... книги? Никогда не пробовала! Это что-нибудь вроде квашеной капусты?

— Не всегда, — кратко заметил чёртик.

— Смотрите-ка! — воскликнул бюст Гейне. — Смотрите, какие сегодня черные тени падают от часовых стрелок на циферблат! Что бы это значило?

— Ох! Это постоянно бывает пред новым годом, — тихо ответила минутная стрелка. — Это не тени... то есть это не простые тени, а отражение того, что не сделано людьми в течение года... Вот оно сгустилось и следует за нами, замедляя наше движение...

— Ничего не понимаю! — воскликнула свинья.

— Я говорю, что за нами следует отражение того, что необходимо было совершить людям и что не совершено ими...

— Так, так, — подтвердили часы.

— Терпеть не могу философии, иносказаний и прочей чепухи, — объявила свинья.

— Давно уже, — говорила часовая стрелка, — давно уже на земле нет часов, верных движению жизни. Все часы отстают, ибо тяжело и трудно им идти вровень с течением времени, слишком много часы людей содержат в себе и влачат за собою несделанного, нерешенного...

— Так, так, — равнодушно подтвердили часы.

— Жизнь идет к своей цели и требует деяний от людей, а люди, в плену своей лени, задерживают темп ее... Необходимые деяния уже созрели, но не свершены, ибо нет рук для работы дружной и святой, — для работы над расширением жизни... и отстают люди от жизни...

— Нет, как они глупы! — сказала свинья.

— Это кто же, сударыня? — спросил чёртик.

— Ну, разумеется, люди! Кто же еще может быть глуп? Люди... Вот видите — часы отстают. Но тем не менее люди встретят Новый год ровно в двенадцать часов! А? Каково?

— Но, может быть, они отстают на несколько минут? — сказал бюст Гейне.

— Мы, например, отстают с лишком на столетие, — спокойно сказала минутная стрелка.

— Вот видите? — с радостью воскликнула свинья. — И, отстав на столетие, люди встретят Новый год в убеждении, что это... какой они ждут год?

— Девяносто девятый... — сказал чёрт.

— Однако! Я не думала, что люди так давно живут на земле! Быть может, они потому и глупы, что так стары, а? Ну жизнь у них! Какая скучная жизнь! Какая... несчастная жизнь!

— О Эллада! — воскликнул Меркурий. Он хотя и был бронзовый, но знал, что изображает бога, и в беседах этой компании принимал участие лишь тогда, когда она злила его. — О Эллада! Как низко пала жизнь! Как упрощенно ничтожна жизнь на земле! Даже свиньи судят о ней, и в их суждениях — увы! — я слышу голос правды...

— Позвольте однако! — гордо сказала свинья. — Что такое — «даже свиньи»? Как это вы, забракованный бог, смеете говорить — «даже свиньи»?! Могу вас уверить, заштатная вы фигура, что мы, йоркширские...

В этот момент дверь кабинета отворилась, и в него вошел человек со свечой в руках. При людях и свете фигурки на каминной доске не разговаривают, считая это неудобным, и ссора Меркурия со свиньей оборвалась в начале.

А человек, вошедший в кабинет, был такой толстенький, румяный, и он, очевидно, только что покушал и музыкально рыгал. Стоя перед столом, он обрезывал сигару и говорил:

— И — не лю...блю п'си-мистов!.. Что т-такое? Р-раз...ве ж-жизнь? п'лха? Пу-устыяки-и! Мы встр'чаем последний год столетия... та-ак сказать... с нау-укой в руках... со... со... свет-чем науки... Л-лучи Рен...тгена... жид...кий воздух, синематогр-рафф... какие картинки! Особенно к-когда она, ш-шельма, садится в ванну... мм... хе, хе, хе! И говорят — жизнь идет м-мерзко? Кто говорит? Кто-о это говоритт?.. А! я знаю!.. это говорит Филипп Федорович!.. А отчего Филипп Фед...рвич говорит — жизнь п'лха? Оттого, что он имеет плохой желу-удок и не... и не... получил к рождеству награды... ясно-о! — Эй! Д-дуня! Ду-уня! Дайте м-мне сельтер-рской... воды...



## ХРИСТОСЛАВЫ

...Из храма, полного золотого блеска и сияния, как из огненной печи, на улицу в предрассветный сумрак черной волной лилась густая толпа людей, а вслед им летела радостная песнь о рождении Христа. Унося с собою запах ладана и навеянное богослужением кроткое настроение, люди, поздравляя друг друга с праздником и разговаривая тихо, точно боясь спугнуть что-то, рассыпались по улице и тонули в сумраке утра так же незаметно, как звуки колоколов в небе, где еще горели звезды... Мелкие снежинки поселились в воздухе и, пролетая в свет фонарей, вспыхивали в нем, как бриллианты...

Двое мальчиков спешно по тротуару бежали, опережая прохожих, толкая их и смело толкаясь в двери и ворота домов. Один из них, высокий и тонкий, с острым носом и живыми маленькими глазками на худом лице, — был одет в женскую кофту, подпоясанную узким ремнем, и в валяные сапоги; длинные рукава его одежды болтались в воздухе, когда он взмахивал руками, чтоб поправить большую серую шапку, то и дело падавшую ему на нос.

Другой был меньше его ростом, плотнее сложен и чище одет, в рыжеватое пальтишко и в кожаные сапоги с резиновыми галошами, а на голове имел блинообразный картуз, козырек которого бросал большую и черную тень на его круглое лицо.

— Заперлись... ишь жадные! — бормотал первый, толкаясь в двери.

Его товарищ сопел, шмыгал носом, молча останавливался у одной двери и молча стремился к другой...

— Вот оно! Отперто... айда скорее, Яшка!

И, как мыши в щель пола, — они юркнули в калитку большого дома, а очутившись на дворе, быстро усмотрели в стене дома черную пасть двери и ринулись к ней.

— Лестница... — шептал в темноте высокий мальчик. — Смотри ты, увалень, не грохнись...

— Прогонят, — робко прошептал Яшка.

— Ну так что?

— Рвачку не дали бы...

— Дверь нашел... ты смотри, — пой да не ври...

Дверь отворилась пред ними сама собой, чуть не сбив их с ног, и на пороге ее появился мужик в новом полушубке...

— Это кто? — грозно спросил он.

— Дядинька! позвольте Христа прославить...

— Ах, чтоб вам... утрафили-таки! Я было только шел ворота запереть — ан они уж — вот они! Ну идите...

Он посторонился и пропустил их в кухню, где было несколько женщин. Свет большой лампы резал глаза мальчикам, и, щурясь, они искали по углам образа.

— Вон где! — ткнула одна из женщин рукой в угол и ласково добавила: — Слепыши!

Остроносый толкнул товарища ногой и запел, учащенно крестясь: «Христос рождается, славите». Яшка пел силным альтом, а его товарищ — дискантом... Публика слушала, глядела им в раскрытые рты, вздыхала и крестилась. В кухне пахло окороком и еще чем-то теплым и вкусным. Остроносый мальчик пел, глаза его бегали по стенам и лицам слушателей, стараясь угадать — сколько они дадут?

— «Ангелы с пастырями славосло-о...»

Не выдержав щекочущего ноздри запаха, Яшка оборвался, сморщил нос и громко чихнул. На лицах публики мелькнули улыбки.

— «Волсви же со звездую путешествуют...» — пел остроносый и толкал товарища кулаком в бок. Но тот молчал, сконфуженный тем, что чихнул; молчал, наклонив голову, и ему казалось, что вот-вот мужик даст ему подзатыльника...

— Читай рацею... — тихонько поощрял его товарищ.

— А? — шепнул Яшка, не поднимая глаз, но чувствуя, что все чего-то ждут.

— Рацею... дурак!

Яшка вспомнил, что от него требовалось, и, рукавом утерев нос, скороговоркой зачастил:

В днесь пресветлая девица,  
Небу и земле царица,  
Царя Христа рождает,  
В Ердани его купает...  
А... а...

— Дальше я забыл! — откровенно сказал он публике, помолчав немного.

Женщины смеялись, глядя на него улыбающимися глазами, а его товарищ нахмурился и искоса, сердито смотрел на него...

— Ну, нате вот вам! — сказала одна из женщин, сунув в руку Яшке серебряную монетку.

— Вот это... покорно благодарю! — одобрил ее Яшка, глядя ей в лицо ясными глазами. — А ему? — кивнул он головой на товарища. — И он тоже славил!

— А ты с ним поделись, — посоветовал мужик при общем хохоте публики.

Яшка посмотрел на монету и недовольно завыл:

— Гривенник всего дали, да поделись... Тоже!

— Вот так чертенюк! — воскликнул мужик. — Ну, на вот еще пятак...

Публике понравился откровенный Яшка — ему дали еще гривенник, потом еще три копейки и два новенькие трешника.

— Ну, вот... теперь я поделюсь... прощайте! — довольно сказал Яшка и повернулся к двери, сопровождаемый смехом.

— Пойти запереть за ними ворота-то, а то они как град посыплются, — сказал мужик, тяжело шагая вслед за мальчиками.

Когда они очутились за воротами, остроносый сказал:

— Вот как ловко ты их!.. сколько выклянчил!? Н-ну! — И он подпрыгнул от радости.

Одобрение товарища заставило Яшку почувствовать себя героем; он надул щеки и гордо сказал:

— А что на них смотреть? Я — храбрый... Я еще не так могу... Я один раз славил тоже...

— А ты ведь говорил, что в первый раз идешь славить?

Яшка осекся и недовольно посмотрел на товарища: у него в воображении создалась такая яркая иллюстрация его храбрости!.. А этот мешает ему рассказать о ней...

— Нет, я не говорил, что первый...

— Говорил, не ври...

— Не говорил...

Они поссорились бы, но тут перед ними со скрипом открылась дверь какого-то крыльца, из нее вышел барин, а остроносый мигом уцепился за нее и, не позволяя ей закрыться, крикнул в щель:

— Позвольте Христа прославить!..

— Я те прославлю! — послышалось из-за двери, и остроносый отступил от нее. Но Яшка неуклюже встал на его место и, сунув голову в щель между косяком и дверью, повторил возглас.

— Пшли прочь! — ответили ему.

Мальчики посмотрели на дверь, вздохнули и пошли дальше. Товарищ Яшки ругался, а Яшка шмыгал носом и молча толкал ногой в калитки и двери домов. Везде было заперто. Светало, и мороз щипал уши и щеки мальчиков, им немножко хотелось спать и было скучно одним в пустынной улице среди тяжелых, молчаливых и холодных зданий.

— Гляди! — сказал Яшка, указывая вдаль, где через дорогу перебежали тоже две маленькие фигурки.

— Мальчишки... вздуем, что ли?

— Ну их!

— А что?

— Да... рано еще драться...

— Ничего не рано, — резонно ответил остроносый.

— Тебе бы всё только драться! — ворчливо сказал Яшка.

— А ты — трусишка!

— Ладно...

— Думаешь, не трусишка?

Яшка остановился, выставил ногу вперед и, сжав кулаки, сдержанно предложил товарищу:

— Давай подеремся со мной?

Остроносый тоже встал было в должную позицию, но сейчас же сказал:

— Нет, не буду... айда славить... после подеремся...

— То-то вот! — солидно сказал Яшка.

— Ты думаешь — я тебя боюсь? — презрительно возразил ему товарищ.

Переругиваясь, они вновь дошли до незапертых ворот, тотчас же свернули на двор и, на минуту остановившись, молча избрали своей целью одну из дверей.

Им снова пришлось подниматься вверх по узкой и темной лестнице, цепляясь руками за стены и перила, сдерживая дыхание, они осторожно лезли вверх, и вдруг Яшка тихо и сдавленно заныл:

— Ой-ой-ой...

— Чего ты? — шепотом спросил его остроносый.

— Обжегся... у-у-у...

— Обо что?..

— О... об... кисель, что ли-то... Ставят, черти, кисель на дороге... фу... фу...

— Да где?

Остроносый протянул руку вперед и в темноте нащупал что-то вроде подоконника, и на нем горячую плошку...

— Это не кисель, а студень... Слышишь, как пахнет? Выставили, чтобы застыла... Ты рукой в нее втюрился?

— Рукой... и облился весь...

— Ну, иди...

— Да! Как же!.. увидят на мне эту студень-то, чай трепку дадут...

— Ну так айда назад...

— Давай выльем ее на лестницу? — вдруг предложил Яшка.

Его товарищу понравилась эта оригинальная мысль. И, задыхаясь от сдавленного смеха, он тащил большую тяжелую плошку, тащил и шептал:

— Скользко будет... кто пойдет — грох!

Яшка тоже захихикал.

Но — увы! — плошка как-то вырвалась из рук Яшкина товарища и с грохотом полетела вниз по лестнице. Под ноги славильщикам полилась скользкая, клейкая масса, они стремглав кинулись вниз и, — оба поскользнувшись на пути, уготованном ими для ближних, — кувырком полетели по лестнице. Сзади их наверху раздавались крики, но они, ошеломленные падением, подгоняемые страхом, уже бежали со двора, бежали и с радостью слышали, как по лестнице кто-то летел вниз с той же быстротой и тем же порядком, как и они.

— Ба-а-тюшки! — раздавался в тишине испуганный крик, — уби-илась... ба-а...

Мальчики мчались по улице, точно ими выстрелили. Но, забежав за угол, они сразу остановились и, взглянув друг на друга, принялись хохотать. Хохотали, не говоря ни слова до той поры, пока Яшка не взглянул глазами, полными слез от смеха, на полу своего пальто. Тут лицо его вытянулось и смех оборвался. Вся левая сторона его пальтишка была густо полита серой массой с какими-то кусочками в ней, и мороз уже плотно прикрепил их к пальто. Яшка попробовал помять полу в руках, — но студень не отставала. Тогда он выпустил ее из рук и, сосредоточенно качнув головой, сказал:

— За-дадут!

— А ты спрячь его...

Но Яшка молча, движением руки, отверг этот совет.

— Говорил... смотри, говорит, воском не закапай пальто-то... В середу всего только на балчуге купи-ли... — хмуро объяснил Яшка.

— Это ведь не воск, — утешил его остроносый друг.

— Воск-то, чай лучше... его можно утюгом... а то — об самовар.

— Пороть будут?

— У-у! Здорово...

— А ты скажи им... чай, мол, праздник... уж не порите!

— Ка-ак же!

Товарищи помолчали, пристально глядя на пальто. Потом остроносый сказал:

— Айда уж...

— Куда?

- А славить-то!
- Не пойду! — кратко ответил Яшка.
- Ну?!
- Не пойду. Домой пойду...
- Прямо на порку-то...
- Сразу... лучше, ежели сразу-то...
- Ну... идем!
- И ты?
- И я домой... что я один-то?

Они молча и неторопливо пошли по улице, на которой уже начиналось движение. Солнце светило, и лица у всех прохожих были такие розовые, сияющие, веселые. И иней на деревьях смотрел так же пышно и по-праздничному весело.

— Господи! Какой я несчастный!.. — вдруг тихо воскликнул Яшка, и на глазах его показались слезы. Много искреннего, глубокого горя и страдания прозвучало в его возгласе.

Остроносый искоса взглянул ему в лицо и утешительно сказал:

— Не плачь... может, и не выпорют.

Но Яшка, очевидно, твердо верил в неизбежность порки и в ответ на слова товарища только головой тряхнул...

## СВИДАНИЕ

НАБРОСОК

...Под ивами на берегу реки сидела девушка и смотрела на свое отражение в воде. Песок вокруг нее был усыпан желтыми листьями; они беззвучно осыпались с ветвей над головой девушки и падали ей на плечи и платье. Много их лежало в коленях у нее; один лист был в руке, она медленно крутила его между пальцами, а в другой руке у нее был длинный и гибкий прут. Высокая и полная, она была одета по-деревенски нарядно, но ее круглое лицо было грустно и глаза смотрели в воду задумчиво, почти сурово.

По берегу, подбирая листья, бродили овцы, недавно остриженные; все они были уродливы и жалки. За рекой стояли деревья, окрашенные в цвета осени; преобладал оранжевый цвет; красные гроздья рябины выступали на нем, как кровавые раны. День был тихий, солнечный и теплый и был полон печалью увядания.

За спиной девушки раздался шорох ветвей и появился парень, высокий, с белокурой бородкой на загорелом лице, босый и оборванный.

Девушка полуобернулась к нему и тихо сказала:  
— А я тут ждала, ждала...

Он опустился на песок рядом с ней, быстро оглядел ее праздничный наряд — пестрое ситцевое платье, розовый платок на голове, козловые башмаки — и усмехнулся, заметив ей:

— Ишь ты павой какой сегодня...

Но тут живые светлые его глаза встретились с унылым взглядом ее глаз, больших и синих, — и он пугливо встряхнул головой, воскликнув:

— Ты что? Али говорила?

— Говорила...

— Н-пу? Что? Ругается?



— Прибил...

— Ах ты, старый чёрт... Стало быть... что же он говорит-то?

— Беден-де ты...— вздохнула девушка, снова глядя в воду.

Парень опустил голову и сказал:

— Та-ак-с... Это — верно...

Одна овца подошла к ним и уставилась на них глупыми рабскими глазами, меланхолично пережевывая свою жвачку. В реке плеснулась рыба, и на месте всплеска серебром заиграли лучи солнца. Где-то далеко звучала гармоника, ревел вол, лаяла собака и раздавались гулкие удары — бум! бум!

— Беден я... это он верно говорит... И с чего мне богату быть? Кроме здоровья, нет у меня ничего... А однако мы бы с тобой прожили век... Палашка?

Он тронул ее за плечо, вопросительно заглядывая в лицо ей.

— Он говорит про тебя: «Знаю я его, говорит. К богатому-то мужику в зятя и не такой пойдет! — начала рассказывать девушка, вдруг оживляясь.— Он, говорит, нищий... ему, говорит, в батраки ко мне проситься надо, а не в зятя...»

— А ты что? — хмуро спросил парень.

— Известно что... Плачу я...

— Мм... а что сказала-то ему?

— Что! Сказала, что вот я тебя люблю и за другого какого не хочу идти...

— Ну, а он?

— А он — по затылку меня да за косу... «Язык, говорит, оторву, и не заикайся про него...» Про тебя-то.

— Ишь ты! — угрюмо сказал парень и плюнул в воду реки.

— А потом матушка еще начала пилить... «Мы, говорит, богатые... Зазорно нам брать такого зятя, али мы лучше-то не найдем уж?»

Она говорила так, как будто и сама была согласна со смыслом этих слов. Лицо у нее было строго нахмурено, и в своем стремлении правдиво передать ему всё то, что сказали ей мать и отец, она старалась говорить так же, как говорили они: то с гневом, то с убеждением.

Парень молча слушал ее рассказ и сильными толчками своих босых ног рыл яму в песке.

Стая птиц с веселым щебетаньем пронеслась над рекой; он посмотрел вслед им и, когда они скрылись из глаз в ветвях леса на том берегу реки, сказал, не волнуясь и с оттенком насмешки:

— Видно, моя доля — как ветер в поле... не поймать ее...

Девушка вздохнула, ласково и жалобно взглянув на него. Он смотрел куда-то далеко.

— Уж коли отец-то твой сказал, так... значит, так оно и будет. Его в другую сторону не согнешь, — мужик прямой... Его, старого дьявола, хоть колом по башке бей, — он всё на своем стоять будет... Верно я говорю? Не уступит он тебе?

— Не уступит! — качнула головой девушка, — хоть бы я вся слезами изошла, — не сдаст он...

— Стало быть, тут и точка! Не выгорело наше дело, Палагея!.. Значит, не судьба!

— Так что же будет теперь? — тревожно и тихо спросила она.

— А чему быть? Пойду я на завод и буду там работать... Надоест, — подамся дальше куда-нибудь!.. Да... Вот те и прощай!

Она большими глазами взглянула на него и молча ткнулась лицом своим в его грудь.

Он обнял ее одной рукой, взглянул, как ее плечи вздрагивают, и задумчиво стал смотреть на спокойную воду реки, отражавшую их, как в зеркале.

— А... бывало, в мыслях-то, сколько раз я изображал себе всё это!.. Вот мы с тобой, стало быть, женаты и работаем вместе...

Он остановился, — может быть, потому, что еще раз «изображал» себя женатым на этой девушке, прижавшей к его груди, и работающим вместе с ней; а может быть, потому, что больше уже ничего не мог изобразить.

— Да... я, например, кошу, а ты гребешь... Или я молочу, а ты веешь... Эхма! чёрт те возьми! Были бы у нас дети... и всё как следует... Корова, а то две... Тоже вот овцы... Помыслишь вот этак-то, — даже весело станет...

Девушка громко взвыла, как воют деревенские бабы над умершими, близкими им.

— А ты не плачь,— спокойно сказал парень, прижимая ее к себе,— что плакать? Это ни к чему...

— Степа ты мой... хороший ты мой! — шептала она сквозь рыдания.

А над ними печально кружились желтые листья ив, и вся река покрылась мелкой рябью от ветра, скользящего по ней.

— Ничего! — ободряюще говорил парень.— Это вот сначала только жалко тебе меня... ну а потом привыкнешь. Вы, бабы, скоро привыкаете... Забудешь — и больше ничего! Ровно бы и не было меня...

— Степа! Не говори ты мне этих слов... Никогда я... никогда-то я не забуду тебя! Что я теперь без тебя? Как без сердца буду я жить!

— Замуж выйдешь всё же...— сказал парень, угрюмо усмехаясь.

— Господи! Не выйду... ни за кого не пойду! — воскликнула девушка с тоской.

— Велят — выйдешь. За меня не велели — послушала; за другого велят — тоже послушаешь. Это уж всегда так бывает... Долго жалость в себе не продержишь...

— Почто ты, Степа, уходишь-то? Хоть бы тут ты остался,— посмотрела бы я хоть издали на тебя, душу-то отвела на минуточку... Какая теперь жизнь моя будет?!

Он, слушая ее ноющие слова, с усмешкой посмотрел в лицо ей и глубоко вздохнул.

— При чем я тут останусь? Не дело ты говоришь, Палагея. Ежели я ковырялся тут, так это потому, что молод был, а потом ты вот... Думал я, что отец-то ничего, мол, поломается да и согласится... А теперь вижу, что толку не будет... Дядя Иван не раз говорил с ним про меня, а он и слушать не хочет... Богаты вы больно... ну и горды оттого. И выходит, что должен я отсюда куда-нибудь скрываться... Потому мне не тово... несладко тоже будет замужем видеть тебя!.. Да и что я тут?

— А может, тоже женишься,— тихо сказала девушка.

— Ну... это мне ни к чему... Вот ежели бы на тебе, — это другое дело. Потому — ты девка здоровая... хорошая и работающая... Мы бы с тобой во как зажили!..

И снова, тяжело вздохнув, он замолчал.

— Царица небесная! — умоляюще сказала девушка.

— Н-да-а... ни я тебе женатый, ни ты мне замужняя — не нужны мы... Ведь вот ты не хотела до венца со мной... а многие так делают. Забеременеет, — ну ее скорее и выдают за того, от кого понесла... А ты этого не хочешь... Стало быть, невелика она, любовь-то твоя...

— Степа! — жалобно сказала девушка, поднимая глаза на его лицо, — ведь грех это, без венца... и опять же избыют меня, изувечат, ежели что... изуродуют, а все-таки не отдадут за тебя...

— Ну, — равнодушно сказал парень, — это твое дело, тебе о нем и рассуждать. Но ежели бы была любовь, — что при ней побои? Так-то!

Она опять заплакала, только теперь уже отодвинулась от него. Он же взглянул из-под руки на солнце, склонявшееся к западу, и медленно заговорил:

— Теперь часа четыре будет... Надо ждать — скоро ударят к вечерне. А завтра я встану с солнышком и пойду. Вот и всё...

— И не жалко... меня? — сквозь слезы сказала девушка.

— Жалко или не жалко — всё мое!.. — угрюмо сказал парень.

Глядя в воду, он видел лицо девушки, закрытое руками, видел, как голова ее часто закачалась и плечи задрожали. Потом раздалось хныканье, тихое и жалобное, точно это плакал шестилетний ребенок. Парень сжал зубы и крепко выругался, повернув свою голову в сторону от девушки. Долго он сидел неподвижно, а она всё плакала слезами горя и обиды.

— Будет уж тебе... — сказал он наконец, не глядя на нее.

Она не слышала его или не хотела слышать. Тогда он порывисто обернулся к ней, схватил ее сильными руками и, почти бросив к себе на колени, глухо заговорил, наклонив над нею возбужденное лицо:

— Будет... Не тревожь мне сердца!.. Ну что уж? Не судьба... и больше ничего... Ну... Палагея? А то я уйду... Ей-богу!

Она, вырываясь из его объятий, всё плакала.

— Эх, вы! — воскликнул парень с тоской и злобой, — как это любите вы, чтобы всё было хуже!.. Ведь и так уж тяжело, а ты еще прибавляешь!.. Перестань, мол, реветь-то?!

Он оттолкнул ее от себя и встал на ноги; она осталась на песке, уткнувшись головой в колени. Парень долго смотрел на нее сверху вниз, и глаза его были суровы, а брови нахмурены. Потом он сказал ей:

— Ну... прощай!

— Прощай! — ответила она, подняв голову к нему.

— Поцелуемся напоследок-то... — предложил он.

Она встала и прижалась к его груди, бросив свои руки на плечи ему. Он истово поцеловал ее в губы, в щеки и сказал, снимая ее руки с плеч своих:

— Завтра уйду... прощай! Дай бог счастья тебе... За Сашку Никонова, надо быть, выдадут тебя... Он смирный парень... только дурковат, да слаб... немощной какой-то... Прощай!

И он пошел прочь от нее. Она обратила вслед ему свое лицо, красное и распухшее от слез, и еще раз крикнула, как будто с надеждой на что-то:

— Степа!

— Ну? — обернулся он к ней.

— Прощай!

— Прощай!.. — громко ответил он и скрылся среди ив.

А она снова села на песок и беззвучно заплакала.

По-прежнему сыпались желтые листья с деревьев, и спокойная река отражала в себе ясное небо, деревья, берег и эту девушку.

Овцы подошли близко к ней и уставились на нее своими круглыми, всегда покорными глазами, точно недоумевая, как может эта девушка, такая сильная, так больно бившая их прутом, — как она может плакать?

## НА БАЗАРЕ

### I

#### КОММЕРСАНТ

— Сударыня? Позвольте облегчить ваше положение?..

Сударыня оборачивается и видит перед собой одного из тех людей, которых именуют золоторотцами. Он худ, желт и так оборван, точно судьба долгое время грызла его зубами и только что выпустила из своих челюстей. Просительно и любезно он изогнулся перед ней и говорит:

— Прикажете понести вашу корзиночку?

Овладев корзиной, он обращается с ней бережно и почтительно и шагает по базару, сзади ее хозяйки, с таким видом, точно получил министерский портфель, но, считая себя вполне достойным такой чести, скромно и не особенно гордится ею. Он сразу определяет степень хозяйственной опытности и «сударыни» и, если видит, что эта степень не особенно высока, осторожно начинает руководить «сударыней».

— Вы извольте мясо купить вот у этого торговца... очень добросовестный человек и имеет прекрасный товар...

У него есть причины рекомендовать именно этого торговца, ибо именно этот заключил с ним условие, по силе которого с каждого рубля, взятого торговцем с доставленного ему покупателя, обкусанный жизнью человек получает в свою пользу три или пять копеек.

— Василий Степанович! Вот госпожа желают купить самого лучшего мяса...

Затем он поведет госпожу к возу с картофелем.

Фирма, торгующая сим знаком, дает ему премию по копейке с проданной меры...

— Как же я возьму картофель? — осведомляется покупательница.

— А он даст вам мешок... я донесу вам в мешке и возвращу его назад...

— Да я было хотела извозчика нанять...

— Сударыня! я с вас дешевле извозчика возьму...

— Только тово...— говорит торговец картофелем.— Ты, Володька, мешок-то в самом деле принеси...

— Ну вот еще!

— Да... а не как прошлый раз — унес мешок и штаны себе сшил из него...

— Стоит вспоминать...

Госпожа слушает разговор и улыбается. Этот Володька, принужденный шить себе штаны из чужих мешков, возбуждает в ней и опасение за целостность покупок, и сострадание к нему.

И в глубине души она уже решает дать ему целый пятак, когда он отнесет ее покупки с Новой площади в Ковалиху...

— Сударыня! А потрохов парочку вы не желаете купить? — говорит Володька, болтая в воздухе потрохами, неизвестно откуда появившимися в его руках. По тому, как зорко он смотрит по сторонам и как держит потроха, сударыня догадывается о тайне появления потрохов. Ей это неприятно, и сострадание к человеку погибает в ней пред силой опасения, внушаемого им.

— Нет, не надо,— сухо говорит она.

— А я бы за пятнадцать копеек...

— Гривенник! — объявляет барыня. В принципе она против покупки краденого, но если так дешево?

— А двенадцать копеек, сударыня, не дадите?

— Гривенник!

Она торгуется только потому, что не хочет поощрять дурных наклонностей этого человека; ей кажется, что, продав потроха так дешево, он не будет красть в другой раз.

— Извольте! — говорит он.— Вот я их тут в корзиночку помещу... А свеклу вы не купите у меня?

Свекла у него за пазухой. Барыня начинает подозревать, что там сложено еще много кое-каких пищевых продуктов. Ей становится положительно противно смотреть на этого человека, вследствие чего она дает ему за свеклу с прибавлением четырех деревянных ложек — только семишник.

Затем, купив всё, что ей было нужно, она обвешивает коммерсанта с ног до головы кульками и узлами и, пропустив его вперед себя, идет домой. А Володька, согнувшись в три погибели, быстро шагает по тротуару, верный своему намерению доставить барыне покупки дешевле извозчика, и по дороге мечтает о премиях, причитающихся к получению с знакомых ему фирм... и о прочем, более выгодном и для него и для его личных покупателей...

## II

### ГЕРОЙ

В толпе покупателей ходил старик с лицом бульдога. Брови у него нахмурены сурово, но глаза смотрят просительно и скорбно. Темная кожа отвислых щек покрыта серебристой щетиной. Он одет в солдатскую шинель, на груди его георгиевский крест и несколько медалей. Левая нога заменена тяжелой и неуклюжей деревяшкой, которая, глубоко вонзаясь в снег, оставляет в нем круглые ямки...

Постоянные торговцы на базаре при виде этой серой качающейся фигуры отвертываются в стороны от нее, и лица их выражают опасение, недовольство, скуку. Старик идет мимо них, туда, где стоят воза приезжих крестьян, и там, остановясь у воза, тоном важного покупателя спрашивает:

— Хорошие гуси?

— Первый сорт! Извольте взглянуть... один жир!

Старый солдат взвешивает на руке птицу, внимательно рассматривает, щупает, нюхает... и вдруг говорит продавцу:

— А вот в Болгарии гуси — эт-то животные! Как свиньи...

— Где, говорите?



— В Болгарии... за Балканскими горами... Русско-турецкая война там была... Его превосходительство генерал Скобелев вел...

— Та-ак... слышали...— говорит продавец.— Ну, и это тоже птица ха-арошая...

— Крест видишь? — тычет солдат рукой в свою грудь.— Сам повесил мне.

Лицо солдата вздрагивает, глаза блестят, и он молодецки сдвигает свою истрепанную фуражку набекрень.

— «Ундер-цер Мигунов, урра!» И своей рукой...

— Позволь-ка гуська-то, служивый...— равнодушным голосом говорит продавец. Он понял, что пред ним не покупатель, и ищет в толпе глазами то, что ему нужно, не обращая внимания на солдата, воодушевление которого всё растет.

— Ротный Шванвич — тоже... «Мигунов, говорит, орел ты...» И поцеловал...

— Не стой тут, служивый... отойди к сторонке... покупателю мешаешь,— предлагает торговец гусями, отстраняя рукой солдата от своего воза.

Старика не обижает это, лишь глаза его гаснут, и, взглянув с укором на мужика, он молча идет прочь от воза, надвинув на брови шапку. Вокруг него толпятся люди с озабоченными лицами, в воздухе колеблется гул голосов. Жизнь кипит и напоминает солдату о привалах после похода, о лагерях... Медленно ковыляя в толпе, он ищет в ней человека, который послушал бы его рассказ о войне, о том, как, теснимый турками, он, во главе своей роты, отступал из Ени-Загры. Ему хочется говорить о лучшем дне своей жизни. Когда генерал-герой назвал его героем... Но слушателя нет, никто не хочет обратить внимания на старика, никому не интересно знать, где и как он потерял свою ногу и за что ему дали крест... Он чувствует себя одиноким, обиженным невниманием к нему и не любит всех этих продающих и покупающих людей... Он много раз видел смерть пред собой и не боялся умереть, а они, при виде ее, испугаются... Его немножко утешает то, что они хуже его. У них нет и никогда не будет георгиевского креста на груди, они не могут быть героями...

Но все-таки он хочет, чтоб кто-нибудь послушал его, узнал бы, как храбр Мигунов. С утра до вечера, полуголодный и иззябший, он ходит по базару и всё хочет рассказать о себе. Несколько раз начинает рассказ и не может его кончить. Нет на базаре людей, желающих слушать рассказ о подвигах. И старик Мигунов, чувствуя себя лишним, никому не нужным, забытым, — сердится на людей. Он толкает идущих рядом с ним, — толкает их как будто ненамеренно, но все-таки толкает, и это несколько облегчает его обиду.

Иногда он заходит в трактир. Там буфетчик и половые встречают солдата неприязнью и насмешками. Он надоел им. Если они не гонят его вон, — солдат обходит столы один за другим и всё ищет слушателя. И если находит — о! тогда старик преображается: речь его течет плавно, глаза горят, он надувает щеки, изображая гул пушечных выстрелов, кричит слова команды... Над ним смеются — он не слышит, находясь далеко от всех этих людей, там, за Балканами, где земля пила его кровь и где жизнь его однажды вспыхнула ярким огнем и он увидал в ней смысл... И затем, чтоб погреться около этого огня, он раздувает его всё ярче...

— Солдат! Иди вон... надоел!

Это половой гонит его... Он встает и, громко стуча деревяшкой по полу, уходит, а сердце его еще дрожит от воспоминаний, разбуженных в нем.

Он живет в углу за печкой, у человека, занимающегося ловлей птиц. Придя домой, он лезет в этот тесный и душный, но теплый угол, и — если в этот день ему не удалось рассказать о себе — он ворчит:

— Черти... послужили бы... небойсь бы... у, черти!..

### III

#### РЕБЕНОК

— Дядинька-а! Дайти копеичку!..

Небольшой ком грязного тряпья вертится в ногах людей на базаре, из тряпья протянута маленькая красная ручонка, в нем сверкают плутовские и жадные глаза. Трудно догадаться — мальчик это или девочка, он

не дает рассмотреть себя, подвижный, как маленькая собачонка. Ему суют милостину или гонят его прочь. Монеты, попадающие в его руку, он отправляет в рот, и всякий раз, когда получит, — боязливо и подозрительно смотрит в одну сторону — к весам, где стоит высокая угрюмая фигура женщины, жирной и одетой довольно прилично.

Когда во рту мальчика скопится столько монет, что они уже мешают ему ноющим голосом просить копейку, — он бежит туда, к этой женщине, и между ними происходит следующее: она протягивает к нему толстую, широкую лапу, он же выплевывает деньги изо рта в свою руку и потом высыпает их на ладонь женщины. Быстрыми глазами окинув количество монет, она говорит сердито и угрожающе:

— Семь раз подавали — где еще одна?

— Ей-богу, все!

— Врешь!

— Ей-богу!

— Видела я... подай сюда!

— Да все, мол, тут!

— Ладно! Я дома поговорю с тобой...

— Ежели все...

— Ступай! Да смотри — я ведь вижу!.. всё вижу, мошенник!

Он откатывается от нее, снова вьется в ногах толпы и снова ноет:

— Тетинька-а... си-ироте...

Вот другой такой же комок... И оба они, скрывшись за чем-нибудь, ведут между собой негромкий и быстрый разговор:

— Утаил?

— Семишник...

— А я три копейки...

— У тебя сколько уж стало?

— Одиннадцать...

— Ух! А у меня только семь...

— До вечера еще долго...

— Она говорит — я те дам!

— Ну! Она и мне...

— Чёрт с ней...

- Собака...
- Теперь у нас уж восемнадцать...
- Здóрово! По стакану водки — шесть, да...
- Сердца мы давно уж не ели...
- Наплевать на сердце! Лучше папирос...
- Папирос я уж слямзил...
- В порсигаре?
- В коробочке...
- Эх!.. В порсигаре бы!
- Да! Больно ты ловок... Небось, сам не выудишь

в порсигаре-то.

- Зато я — платок.
- Платок и я...
- Ну, айда!
- Айда!

И оба снова теряются в толпе...

Среди шума и гула то там, то тут раздаются печальные, хватающие за душу детские возгласы:

- Дядинька-а... сироте подай...

## ФИНОГЕН ИЛЬИЧ

Поле, по грязной осенней дороге, шел высокий бородатый мужик, согнувшись под тяжестью большого мешка на спине. Сосредоточенно глядя себе под ноги, он крупно шагал по грязи и, прислушиваясь к топоту лошадиных ног сзади его, думал: «Кто это там едет?»

А в полуверсте за ним, с каждой минутой всё настигая его, ехал на маленькой тележке человек в теплой короткой куртке и в старой измятой шляпе котелком, рыжеусый, бритый, с маленькими серыми глазками. Помахивая кнутом над крупом своей сытой пегой лошадки, он зорко смотрел на мужика впереди себя и дальше на темные избы, рассыпанные по песчаному холму, и на хвойный лес за избами. И сзади этих двух живых точек на пустынном поле стояла высокая стена чернолесья, упираясь вершиной в серое небо; а слева и справа от них, между двух лесов, тянулась холмистая бурая равнина, кое-где украшенная зелеными коврами озимей.

Когда морда пегой лошадки поравнялась с плечами мужика, человек, правивший сю, приподнял над головой свою шляпу и ласково крикнул мужику:

— Мир дорóгой!

Мужик, не останавливаясь, повернул голову и, посмотрев на проезжего, ответил:

— Бог спасет.

— Здравствуйте... Финоген Ильич!

Теперь мужик остановился, еще раз внимательно осмотрел проезжего большими угрюмыми глазами и сказал:

— Здравствуйте... не признаю что-то...

— А я вот признал вас.

— Та-ак,— протянул мужик и, наморщив лоб, пошел сзади тележки, опустив голову.

— Картошку рыть ходили? — спросил проезжий.

— Ее... картошку.

— Далекопьюко!

— Что поделаешь?

— Вы положьте мешок-то ко мне... да и сами садитесь, — подвезу вас... Тпру!

Лошадь остановилась, мужик свалил с плеч мешок в тележку, а потом сам взобрался на нее, — взобрался, сел рядом с рыжеусым человеком и тогда уж сказал ему:

— Вот спасибо!.. А то здорово я наломал хребет-то...

— Ну, а как — не признаете всё меня?

— Да мельтешится что-то в голове... будто видал где... обличье-то ваше знакомо.

— Как не знакомо! Лет пятнадцать шабрами были, Финоген Ильич... — И проезжий усмехнулся в лицо мужика некрасивой и кривой усмешкой.

— О? — воскликнул мужик. — Неужто — Лохов-бобыль?

— Он самый... хе-хе!

— Та-ак! Вот оно что... Стало быть... н-да...

— Самый я Мотья-бобыль и есть.

— Вот-вот! Мотья... как же! помню...

Угрюмые глаза мужика усмехались, осматривая сидевшего рядом с ним человека.

— А теперь уж я — Матвей Петров Лохов, — внушительно и с важностью в голосе сообщил бывший Мотья и покрутил свои редкие, как у кота, усы.

— Вышел, значит, в люди? — спросил его Финоген.

— Вполне. Службу кончил... звание имею — ферверкер... Я давно кончил... вот уж с лишком четыре года в людях служил...

— В работниках?

— Зачем? Я грамотный, — на что мне в работники идти?

— Это... конечно!

— Я служил коридорным в гостинице... официантом на пароходах... был даже приказчиком за буфетом...

— Служба легкая... — неопределенно произнес Финоген.

— Ну, тоже! Иной рейс пассажиров на пароходе — как семян в огурце... Целый день волчком вертисься.

— Это конечно... всякому своя сопля солона, говорится...

Лохов искоса взглянул на него и снова pokrутил ус.

Лошадь бежала частым, скорым шагом, а Финоген смотрел на ее круп и думал:

«Ишь ты, какая круглая! По хозяину и скот...»

До деревни оставалось уже немного дороги. Намокшие от дождя избы отчетливо выступали на желтом песке, а над ними, на вершине холма, ясно обозначались прямые, как свечи, рыжие стволы сосен.

— Лесок-то цел еще...— сказал Лохов.

— Куда ж ему деваться? — спросил Финоген.

— Сводят теперь леса... здорово их сводят!

— Это где можно, там сводят... Но ежели кто без ума, так и этот лес, пожалуй, вырубит... Ну, только тогда всю лощину, даже до реки, песком занесет...

— Это верно, занесет...— согласился Лохов.

— Куда ж ты теперь, Матвей Петрович? — помолчал, спросил Финоген.

— Да вот... к вам.

— Мм... побывать, значит?

— Да... как бог укажет.

— Стало быть, может, и останешься на прожитье?

— А может быть... и так может быть...

Мужик замолчал и, зачем-то закрыв глаза, взял правой рукой свою большую русую бороду и задумчиво подергал ее.

Дорога, раньше лежавшая по липкому суглинку, теперь потянулась по песку, и лошадь Лохова пошла тихим шагом.

— Поди, деньжонок скопил на службе-то? — спросил Финоген.

— Н-ну! Деньги, знаешь, скользки... удержать их при себе трудно.

— Землей заниматься будешь?

— Вот что, Финоген Ильич...— заговорил Лохов серьезно и хозяйственно: — ты уж, пока что, прими меня к себе... у тебя я остановлюсь... Тогда и потолку-

ем как следует, по душе. Шабрами тоже были... да вот — судил бог — с тобой же первым и встретился я.

Финоген услышал в его голосе что-то новое, как бы властное. Он посмотрел в лицо Лохову и, не торопясь, ответил:

— Ко мне, так ко мне... милости прошу.

— Надоело мне жить в городах! — говорил Лохов, вглядываясь своими серыми глазами в стены и крыши изб так, точно он надеялся рассмотреть и всё то, что есть под крышами и за стенами. — Жизнь шумная, путаная... и пользы мало человеку от нее.

— В деревне проще... — подтвердил Финоген.

— Вот... я и надумал: поеду-ка, мол, в деревню. — авось, к чему пристроюсь...

— Тут как раз присосеешься к делу... — снова обнадежил Лохова Финоген, не глядя на него.

Они въехали в улицу. Тихо было в деревне; лишь откуда-то издалека долетали крики ребятишек да охающие звуки цепов.

— Молотят... — сказал Лохов.

— Такое время, чтобы молотить...

— Сыровато...

— На гумнах — ничего...

— Никак твоя изба?

— Она...

Лохов щелкнул языком и, дернув вожжами влево, поворотил лошадь к воротам большой избы, такой же прочной и угрюмой, как и ее хозяин.

— Погоди, я ворота отворю... — сказал Финоген, тяжело слезая с тележки на землю.

— Вот я и приехал! — воскликнул Лохов, часто мигая глазами.

Через час в просторной избе Финогена сам он, его жена и Лохов сидели за столом и пили чай.

— Советовал мне один человек, — говорил Лохов, барабая по столу пальцами, — заняться варкой мятного масла. Указал он мне все способы... Просто это делается и, если верить тому человеку, дело выгодное...

— Та-ак... — сказал Финоген, усердно и внимательно дуя на блюдечко.



— Но хоша оно и так... однако дело новое, неиспытанное... потянешься к нему да и оборвешься.

— Бывает...

— И хочу я, по этой причине, взяться за торговлю.

— Кабаком промышлять будете? — спросила жена Финогена, низенькая, жилистая, с красивыми черными глазами, которые казались слишком молодыми для ее желтого лица, уже покрытого сетью тонких морщин.

— Нет, кабаком не стану.— И Лохов отрицательно мотнул головой.— Кабака я не люблю, ежели говорить правду. Сам я не пью и всем бы запретил винище это употреблять... Кабак дело нехорошее...

— Недолговечное дело,— спокойно сказал Финоген.— С будущего года, слышь, казенную водку заведут у нас... слышал, чай?

— Н-да, вот видите! — сказал Лохов.

— Слышал, мол, про это? — вновь спросил Финоген.

— Да... мельком слышал. А что?

— Ничего.

Лохов посмотрел на Финогена и передернул плечами.

— Я не потому избегаю кабака, что слышал про монополию,— вразумительно заговорил он,— а просто — не хочу. Ежели говорить правду, виноторговля навynos и расшивочно — дело прибыльное и простое, особой сноровки не требует, а копейку тянет к себе, как магнитом. Но хотя я и жил в городах, был в солдатах... огни и воды и медные трубы прошел,— однако бога помню. Господу я слуга верный... А около вина греха много. Так много на земле греха от вина, что даже, может, больше всей прибыли.

— Это вот верно,— одобрительно сказала Финогенова баба.

Муж взглянул на нее и сказал, подвинув к ней свой стакан:

— Налей-ка мне еще, Варвара!

— Хозяйка-то есть у вас? — спросила Варвара.

— Еще нет,— ответил Лохов.— Всё некогда было обзавестись. Служба у меня в езде... сегодня — здесь, завтра — там. Какой интерес иметь хозяйку при такой службе? Я, примерно скажем, на пароходе езжу, а ее

с собой ведь не возьмешь. Оставь ее, значит, на берегу, одну... содержать надо... и потом вдруг окажется — шалить она начнет? Беспокойно это... Я так решил в уме: когда уж, мол, сяду прочно на одном месте, тогда и женюсь.

— Эдак-то чего лучше! — заметила Варвара.

— И опять же жениться в городе надо оч-чень острожно! — Тут Лохов поднял кверху палец и, подержав его вытянутым, помолчал.— Городские женщины, они ведь ой-ой-ой! За ними глаз нужен... И в одежде она разбирает, и в пище... и во всем прочем. Деревенские куда проще... деревенские много лучше...

— С ними спокойнее, — сказала Варвара.

— Глупее они, — усмехаясь, заметил Финоген, поглаживая свою бороду огромной ладонью.

— Женщине для ее дела не много ума нужно, — вразумительно сказал Лохов. — Позвольте мне еще чашечку!

Темнело. Серые, низко опустившиеся над землей осенние тучи смотрели в маленькие окна избы, и в углах ее уже собрался сумрак.

— Ну, а вы тут как поживаете, Финоген Ильич?

— Живем по малости, — ответил Финоген, подумав.

— Богатеете всё?

— Заплатами-то? Богатеем... каждый день почти новые заплатки нашивают бабы на одежду-то нам.

Лохов любезно засмеялся.

— Нет, видимо, поправилась деревня-то... Избы построены такие всё коренастые... и народ сыто глядит.

— От завода есть нам помощь, — сказала Варвара. — Завод тут выстроили бумажный, да еще масляный... из дерева гонят масла разные. Ну вот мужики и возят товары на станцию да со станции; туда семь копеек с пуда, оттуда семь копеек...

— Во-он что? Да, да, да... А я не знал про заводы-то! — воскликнул Лохов, улыбаясь и мигая глазами.

— Заводы нам очень помогают.

— Далеко заводы-то?

— Один в шести верстах, а другой вот тут, за лесом... версты четыре места...

— Что же, трактирные заведения при них?

— Запрещено! — кратко сказал Финоген.

- Кем же?
- Начальством... Не позволяется...
- Та-ак. С-скажите! Ну, а ежели в деревне от-крыть?
- Общество не разрешит.
- Да ведь ему польза от того... большая польза мо-жет быть!..
- Это ежели оно пропнется? — спросил Финоген, строго глядя на Лохова. — Не ему от того польза бу-дет...
- Да ведь аренду же возьмет оно! — воскликнул Лохов и даже покраснел весь, а усы у него стали торч-ком, как щетина.
- Тут уж наезжали разные, — заговорила Варва-ра, — и один даже три тыщи давал в год; но мужики — Финоген вот, да еще Лощенковы братья, Ефим шабер, Горюнов старик, — помните Горюнова-то?
- Да... стар уж, чай... Что же они?
- Сбили сход... Не желаем, дескать...
- Мм... — неодобрительно покачал головой Лохов.
- Да, не желаем мы, чтобы у нас пьянство было и всё такое, — твердо сказал Финоген, глядя на Лохова прищуренными глазами. — Не хотим мы этого... нам и без кабаков желтенько живется. Кабак мы к себе не пустим. Семь лет тому время, как составили мы приго-вор, чтобы жить без кабака, и живем себе.
- Казенный откроют, — сказал Лохов.
- А мы будем просить: не надо.
- Что ж? Можно и без... трактирного заведения жить, — подумав, сказал Лохов.
- Н-да! Придется уж без него, — подтвердил Фи-ноген, точно угрожая кому-то.
- Поглядим, — промолвил Лохов, значительно и плотно сжав губы.
- Затем он встал из-за стола и, перекрестившись в угол на образа, поклонился хозяевам, говоря:
- Покорно благодарю на чае...
- На здоровье, — ответила Варвара, а Финоген лишь молча качнул головой.
- Пойти посмотреть на Пегашку, — проговорил Лохов и вышел из избы.

Финоген, нахмурив брови, смотрел вслед ему, а Варвара внимательно разглядывала лицо мужа.

— Ишь какой выровнялся! — сказала она наконец.

— Жох! — угрюмо ответил ей муж. — Ты его не очень привечай, смотри у меня! Ласки-то ему не много оказывай... таких надо не лаской, а колом по башке.

— Ну уж! больно строг! — усмехнулась Варвара. — Еще ничего не видя...

— Я его насквозь вижу! Сказано — жох! Ты вот погляди: понюхает он тут, понюхает, да и вопьется в нас, как клещ... Видала, какие у него губы толстые? — Финоген усмехнулся и закончил: — Эдакими-то губами он всю кровь из нас может высосать.

— Ну, господь не выдаст, свинья не съест, — усмехнулась Варвара, перемывая чашки.

Финоген поднялся с лавки во весь свой рост и, расчесывая бороду толстыми корявыми пальцами, сказал:

— Не люблю я таких... Ишь ты, приехал! Ровно клады рыть собрался. Я не глупее его и сам бы насчет кабака-то смекнул. Теперь вот узнает, что землю мы через банк хотим покупать, — станет проситься: дескать, и меня примите в товарищи. Н-да... попросится, — уж это так и жди!

— А вы не принимайте, — сказала жена.

— В этом не одна моя воля...

— А ты подговори Лощенковых с Ефимом.

— Учи! — строго сказал Финоген.

Вошел Лохов, прищурил свои острые глазки, зорко осмотрел мужа и жену и, одобрительно покачивая головой, сказал:

— Ха-арошее у вас, Финоген Ильич, обзаведение!..

Маленький, лысый, костлявый старик Горюнов, считавшийся в Песчанке самым разумным мужиком, говорил о Финогене так:

— Финка Ремезов — крестьянин добрый, что говорить! Хозяин редкий по нынешнему времени: всё у него в порядке, всё в призоре... и работник он крепкий, и голова у него есть своя... всё это так! На всех за последние годы господь ополчается за грехи, все, куда ни посмотришь, ломаются под господней карой... Финка

ничего, покряхтывает, а твердо стоит. Точно у него и молитва к богу своя есть. Но только не мирской он человек, и выйдет из него для деревни же-елезный кулак... уж помяните мое слово! Придет ему время, и так он нас всех тиспет... даже ох не скажем!..

Время шло, но пророчество Горюнова не оправдывалось. Финоген приобретал в деревне славу грамотея и законника; к нему относились с уважением, со страхом и не без зависти к его удачам. Когда Горюнов начал убеждать мужиков в необходимости закрыть кабак, Финоген первый откликнулся на его речи.

— Ты что больно уж яришься? — спросил его однажды старик, подозрительно заглядывая в глаза ему.

— Стало быть, понимаю пользу твоей речи, — ответил Финоген.

— Мм... — недоверчиво промычал старик. — А не то чтобы... насчет себя смекаешь?

— То есть это как?

— Может, тоже в сидельцы хочешь?

— Нет, ты, дедушка Мосей, не беспокой себя такой думой: я кабака не открою... — откровенно объявил Финоген.

Старик посмотрел на него и крикнул.

— Плохо я понимаю тебя, Финоген: невдомек мне, чего ты хочешь.

— Человек для себя худого не захочет... — сказал Финоген.

— А мир-от как?

— А мир человеком держится.

— Мудрено что-то... Ну да увидим.

На сходе, когда обсуждался вопрос о закрытии кабака, всех сильнее и толковее поддерживал Горюнова Финоген.

Вскоре после этого поблизости от деревни открылся завод для сухой перегонки дерева, и на первых же порах работы завода вода в речке оказалась чем-то отравленной. В Песчанке начали хворать от этого. Мужики обратились к хозяевам завода с просьбой не портить воду в реке; им обещали сделать, что можно, и, разумеется, ничего не сделали.

Тогда Финоген вызвался пред обществом устроить это дело, поехал в город и действительно устроил. На завод явился санитарный врач, фабричный инспектор, становой, и через некоторое время управление завода принуждено было вырыть пруды для того, чтобы вода в них отстаивалась и можно было очищать ее известкой. С той поры, хотя она и потеряла прежний вкус, но стала здоровой, как и раньше была.

Старики с усмешкой говорили о Финогене: «Грамотей!..» Но на сходах и в беседах слушали внимательно его речь, всегда угрюмую и несколько насмешливую. Люди одних с ним лет — ему во время приезда Лохова было под сорок — называли его «дядя Финоген». Не скрывая своего превосходства над другими, Финоген часто жестоко высмеивал своих собеседников, и в его речи всегда звучали эдакие начальнические ноты. Он брал по зимам с завода книжки и внушительно, густым голосом читал их вечерами своей семье: жене и двум мальчикам десяти и восьми лет. Часто приходили соседи «послушать книжку». Когда он читал, то садился в передний угол, низко наклонялся над столом, на лбу его являлись глубокие морщины и глаза наливались кровью. Потом обильный пот выступал на его лице и шее, а уши у него начинали странно вздрагивать. Хотя он читал бойко, но очень часто останавливался и подолгу молчал, глядя на страницы книги мрачными глазами.

— Ну, читай! — поощряли его слушатели.

Он тяжело вздыхал, и снова в избе гудел его тяжелый голос.

Однажды ему в руки попала книжка о вреде пьянства. Он усердно прочитал всю ее вслух и, закрыв, сильно хлопнул по ней рукой.

— Вот она, премудрость-то! — воскликнул он, усмехаясь. — Наворотили ее тут, может, на сто рублей, а всей книжке цена три копейки!.. Дешева!..

И, грубо, громко захохотав, он добавил:

— Того бы, кто ее сочинил, взять бы его... — Финоген крепко ругнулся, — взять бы его да в мужицкую-то шкуру, в мужицкий-то хомут и втиснуть года на два эдак. Тогда бы он... уразумел, для чего мужики вино пьют...

Однажды он принес человеку, у которого брал читать книжки, «Ссору» Гоголя, и на вопрос, как ему нравится этот рассказ, ответил:

— Чего тут понравится? Пустяки одни всё... Одно во всей книжке слово верное нашел...

— Это какое?

— А что скучно жить... Это верно... тут уж не поспоришь: нет никакой радости в жизни... очень тяжело жить человеку. В обрез всего... и хлеба, и земли, и хороших людей... всего хорошего в обрез дано, а дурным хоть всё небо измажь, и то еще про всех останется...

В церковь он ходил только в большие праздники, пьян напивался «на храм», в пасху и рождество и в тех редких случаях, когда вся деревня пила. Свою желтую и жилистую жену он никогда не бил, но говорил с ней не иначе, как строгим тоном начальника. Однажды, выпивши, он ей сказал, рассердившись на нее за ее упрёки:

— Я те, дура, поговорю! Я вот бякну тебя по башке — ты и откусишь язык-то свой... Тогда ты уразумеешь, может, что я здесь не только для тебя — для всех хозяин. Кто в деревне всех умнее? Финоген Ильич Ремезов! Он тут по уму первый, как губернатор в городе... и ты это понимай!

Лохов, человек, выдавший виды на своем веку, сразу сообразил, что Финоген не даст ему свободы, что этот угрюмый мужик тоже птица хищная и умная и что нужно или крепко подружиться с ним, или ловко обойти его. Недель пять круглая и сытая фигурка Лохова, спешно семена коротенькими ножками, каталась из избы в избу и, мигая глазами, зорко присматривалась ко всему и подробно выспрашивала у всех о том, что ему нужно было знать. В это время Лохов успел убедиться, что Финоген в деревне — сила, а Финоген следил за ним и, усмехаясь в бороду, говорил шабру своему Ефиму:

— Ишь, кружится... гнездо вить хочет!

Ефим, коренастый, голубоглазый и добродушный мужик с курчавыми волосами, кратко сказал:

— Намайлся...

— По облику этого не видно.

- Н-да, наружность у него сытая...
- Был он у тебя?
- Как же... Пришел третьеводни на гумно...
- Ну?
- Я, стало быть, молочу... Бог, говорит, на помочь... Спасибо, мол...
- Да ты говори дело. Мне ведь известно, что коли человек с человеком встретятся — так здороваются они.
- Да ведь какое дело у меня с ним?
- Что он говорил-то?
- Разное... Землю, говорит, товариществом покупаете? Да, собираемся, мол. Так, говорит. Меня, говорит, в компанию не возьмете?
- Ага! — сказал Финоген, двинув бровями.
- Да... меня, говорит, в компанию...
- Ну, а ты что ему на это?
- А я, значит, на тебя сослался... Финоген, мол, у нас этому делу голова, так ты уж к нему иди...

Финоген задумался, поглаживая бороду.

Разговор происходил в огороде, под развесистой ветлой. Шабры стояли друг против друга, разделенные плетнем: Ефим — облокотясь на него, а Финоген — прислонившись к стволу ветлы. Уже вечер наступал, и дул холодный осенний ветер, играя голыми ветвями дерева.

— Ты как думаешь насчет этого? — спросил Ефим.

— Я? я... так думаю: нацелились, к примеру, собаки на кость, нацелились и стоят, — не дается им кость-то. Вдруг к ним волк — примите, говорит, и меня в компанию...

Ефим засмеялся.

— Ловко это ты приравнял.

— Ну вот, видишь... Принимать волка в товарищи — нет резону, зверь жадный. Отогнать его... трудненько! Вот оно какое дело-то...

— В случае, ежели... добудет он земли себе — хозяйствовать, поди, ведь не станет? — спросил Ефим.

— Захотел! Трактир он откроет...

Шабры задумались и долго молчали. Ефим смотрел на гряды пред его глазами, а Финоген всё гладил бороду и на нее глядел.



— Вот если бы с волка шкуру ободрать...— вдруг сказал он негромко, но твердо.

Ефим вопросительно взглянул на него.

— Как это?

— Н-не знаю... Как-нибудь, чай, можно...

— Мм...— недоверчиво промычал Ефим.

— Думал я уж насчет этого.

— Ну?

— Ничего... Дело такое, что большого требует ума... и дружбы тоже... Принять в компанию его можно. Деньгам у него надо быть... А нам бы деньги очень в пору...

— Эх как! — вздохнул Ефим.

— И ежели его принять, так тогда задаток-то банку и был бы у нас полностью.

— Примем ин? — сказал Ефим вопросительно.

— Принять, говоришь? Тогда он сейчас тут корни и пустит... И трактир и лавочка явятся.

— Пущай его! — махнул рукой Ефим.

— Та-ак! Добрый ты...

— Да что? По крайности, земля у нас своя будет.

— И у него будет. А надо так, чтобы у нас было, а у него не было. Вот этак бы!..

— Ишь чего захотел!

— Трактир с лавочкой и мы с тобой открыть можем... Зачем же чужому человеку такое дело уступать? Ведь ты понимаешь, что, ежели трактир, стало быть, с заводов парни ходить будут, пьянство и порча девок начнется... Кто всё это заведет? Чужой человек... Ведь вот мы с тобой всю эту историю можем устроить, а однако не завели. По какой причине?

— Кто ж ее знает? — сказал Ефим, тряхнув головой и улыбаясь. — По жалости нашей, надо полагать...— объяснил он, подумав.

— То есть как по жалости? — допытывался Финоген.

— Значит, жалеючи людей... Сам ты говорил, что поэтому... по совести, стало быть...

Финоген посмотрел в лицо шабра суровым взглядом учителя на бестолкового ученика и объяснил ему:

— Не по жалости и не по совести, а говори — по ра-

зуму. Нам, которые есть способные, следует друг за друга держаться крепкими руками, и будем мы тогда как каменная стена... Всяк об нас лоб разобьет, ежели по сок-кровь к нам явится... Стало быть — не зорить мы друг друга должны, а помогать один другому. Не все помощи достойны... но которые способные... работающие, с умом в голове,— тех поддерживай! Ничего, кроме выгоды, тебе от этого не будет... Понял?

— Н-да... это конечно...— раздумчиво сказал Ефим.— Только строго очень уж...

— Как это — строго?

— Да... так! Не то, чтобы строго... а вот опять я тебе скажу, к примеру, Лёска... Разве он глупый мужик? Только что — пьет.

— Ну, так что — Лёска?

— Как его, говорю, не поддержишь иной раз! Хоша он и неспособный к работе, а разве без ума?

— Ну, ты его и поддерживай... он твой двоюродный.

— Да не в том сила, что двоюродный...

— Ты мне вот что скажи: ты ему помогал?

— Мало ли!

— Ну, а помог?

Ефим вздохнул и, усмехаясь, почесал грудь.

— Поможешь ему, чёрту...

— А будешь помогать? — допрашивал Финоген.

— Больше не буду! Ну его...— И Ефим безнадежно махнул рукой.

— Это ты врешь,— будешь и еще! И хлеба ты ему дашь, и овцу, и прочее...

— Да ведь как не дашь!..— почти с отчаянием сказал Ефим, сплевывая в сторону.

— Ну, то-то вот! А какая ему от того польза? И тебе тоже — какая? Выходит, брат, у нас от этого одна бесптолочь. Сволочь всякую мы нянчим, а хорошего, нужного человека не умеем беречь. Говорил я вам тогда насчет хромого Пашки, Савёлычева сына: «Эй, мужики! выделите ему клочок земли, сгношите избенку... отблагодарит он!» А вы заартачились: то да се... Ну, и вот — он теперь, в Анкудиновой живучи, и слесарит, и кузнечит, и ребят учит грамоте... да вон еще корзины плести

выучил... Пользу от него имеют анкудиновцы али нет?

— Н-да, тут мы проштрафились, Финоген Ильич... Это ты тогда верно говорил. Насчет ребят-то вот плохо... ну-ка иди на завод, ломай четыре версты... Совсем даром мерзнут... С Пашкой мы обмишулились... жа-аль!

И Ефим даже чмокнул губами как-то особенно...

— Мужик, Ефимушка, прежде всего надо ум иметь при себе... Без ума мужику никак невозможно жить на земле! — сказал Финоген, тяжело вздыхая.

Постояв еще с минуту друг против друга, шабры разошлись. Ефим отправился в угол своего огорода и стал там крепить плетень; а Финоген вдумчиво посмотрел вслед ему, качнул головой и пошел к избе широкими, твердыми шагами.

А в избе Лёски Киликина происходил другой разговор. Худенький остробородый Лёска сидел за столом против Лохова; на столе красовалась бутылка водки, чашка квашеной капусты и большой обломанный кусок ржаного хлеба. В избе было темно, но мягкие покровы тьмы не скрывали ни истоптанного пола с широкими щелями между половиц, ни закопченных кривых стен. Потолок над головами собеседников провис и был подперт двумя жердями; пол прогнулся под тяжелой грудой избитой, полуразвалившейся печи.

Три маленьких квадратных окна смотрели внутрь избы, как три глаза,— холодные и мутные, они были тупо печальны.

Тяжелый запах гнили наполнял эту нору, и хриплый голос Лёски скрипел в ней каким-то деревянным звуком.

— Для мужика первое дело — смелость во всем. Который мужик трусоват, тому ходу нет. Я вот не имею этой самой смелости и живу так, как положено мне... Ни о чем я не могу постараться, потому знаю — толку не будет, что я ни делай... Духу нет у меня... А человек, который без духу,— разве человек?

Лёска налил водки в чайную чашку и медленно высосал ее.

— Ну, так как же Финоген-то? Значит, слушают его? — спросил Лохов, задумчиво барабаня пальцами по столу.

— Финоген, первое дело,— смелый мужик. Он, коли не так, так эдак... он всегда находит себе выручку... Он раз как-то по весне приехал из города... была у него десятина под яровое вспахана... и вдруг он горчицу сеет. Ведь ежели подумать — зачем горчица? Куда ее? А он уж ее заранее пристроил к месту... и ба-альшие деньги взял! Горчица — она пицца барская,— ему, может, тыщу рублей за нее отсыпали!

— Ну, а так, вообще-то... выжига он? — спросил Лохов, подумав.

— У-у! — скорчив страшную рожу, завыл Лёска. — Оя, брат, не смотри, что такой облом: он всякому без мыла в душу влезет... так-таки и вопрется в самую твою суть, как гнет в кадушку с капустой. Позапрошлый раз приезжал земский, так и тот... в первую голову — Финогена позвать сюда! Дураки, говорит, вы все. Явился Финоген... и, как он явился,— земский сейчас же всё понимать начал...

Лёска еще налил себе водки и снова высосал из чашки, как голодный ребенок молоко из соски. Лохов посмотрел на него, на пустую бутылку и, поднявшись с лавки, сказал:

— До свиданья!

— Прощевай! Ну, а как же трактир, слышь, строим? — спросил Лёска, глупо оскалив зубы.

— Об этом еще надо подумать... — солидно сказал Лохов и вышел из избы.

На улице было сыро и холодно. Уже надвигалась темная ночь осени. Кое-где в избах мелькали огни, бросая на дорогу светлые полосы. Тоскливо выла собака; ветви деревьев уныло шелестели... Со всех сторон окруженные тяжелой тьмой, избы беспомощно жались друг к другу, искривленные, пошатнувшиеся; солону на их крышах взъерошил ветер, и они казались обьятыми непобедимым страхом.

И на душе у Лохова было темно, тоскливо и тяжело. Он чувствовал себя одиноким во тьме среди этих жалких жилищ и чего-то боялся.

«Труда положишь тут много... а толку выйдет мало...» — думалось ему. И, глядя на избы, он соображал: «Не очень разживешься около их... Заводы только...

И-да... заводы статья важная... Ради заводов можно и поломаться: они выручат... Финка... вот он — камень на дороге! А не пойти ли мне напрямки в этом разе?»

С такой мыслью он вошел в избу Финогена. Угрюмый грамотей был один в избе и, сидя за столом, читал книжку, но при виде Лохова остановился и стал испытующе смотреть, как он раздевается.

— Читаете, Финоген Ильич? — спросил Лохов.

— Читаем... Где погулял?

— Да всё по деревне... был у разных народов... — сказал Лохов, подходя к столу и усаживаясь против Финогена. — Про что написана книжка-то?

— Про японцев...

— Слышал. Есть такие люди, точно...

— И-да, разные люди имеются на земле.

— Запомню я, где они живут, японцы-то?

— А там... За Сибирью... — объяснил Финоген, махнув рукой на дверь.

Он любил разговаривать о книжках и показывать себя знающим человеком.

— В холодах, значит... — задумчиво сказал Лохов, исподлобья рассматривая лицо Финогена.

— Зачем в холодах? Там есть и теплые места... холода — это выше... к самому краю, а японцы — они осели ниже.

— Это к какому же краю?

— А на земной карте... Холода вверху карты, а внизу... нет, в середине, — тут теплые места...

— Вон ведь как! Интересно, значит?

— Ничего... хорошо жить умеют...

— С-скажите! А ведь не русские!

Финоген помолчал, погладил бороду и сказал, сурово усмехаясь:

— Я так полагаю, что только одни нерусские и умеют хорошо жить. Нам чего-то не задается... не хватает у нас... разума, что ли то...

Лохов вздохнул и не сказал ни слова.

— А где Варвара Тимофеевна? — через минуту спросил он, оглянув избу.

— На завод пошла с ребятишками... к сестре.

— На почевую, что ли?

— Да... а что? Ужинать охота?

— Н-нет, я так... из любопытства спросил...

И, взглянув друг на друга, они снова оба замолчали. Финоген наклонил голову над книгой, но глаза его незаметно следили за Лоховым, и его могучая фигура, согнутая над столом, казалась напряженной, готовой к хищному прыжку. А глаза Лохова беспокойно бегали по избе и тоже поминутно и как бы невольно скользили по большой голове ее хозяина и по его широким плечам. На столе пред ним горела, потрескивая, жестяная лампа. С полатей свесилась какая-то одежда, и от нее на дверь упала огромная уродливая черная тень. Ветер глухо шумел в трубе, где-то тихо-тихо шелестела солома, доносился вой собаки... напряженная тишина в избе становилась такой же мрачной, как эта черная тень на двери. А двое людей всё молчали, неподвижно сидя друг против друга и незаметно выпытывая глазами мысли один у другого.

Лохов первый не выдержал и, шумно вздохнув, сказал, беспокойно завертевшись на скамье:

— Финоген Ильич!..

— Ась? — откликнулся Финоген и, неторопливо подняв голову, пристально уставился глазами в лицо гостя.

Тот повернул голову в сторону от его взгляда и поправил ворот своего глухого жилета, потом тоже прямо взглянул в глаза Финогена своими мигающими глазами и веско выговорил:

— Хочу я с тобой поговорить по откровенности... как, стало быть, с... с умным мужиком.

— Валяй! — кратко сказал Финоген и взялся за бороду.

Лохов откашлялся, потер руками грудь и, плотнее усевшись на лавке, заговорил тихим и вразумительным голосом:

— Познакомившись со здешними народами, вижу я, Финоген Ильич, что... попросту сказать, ты здесь — как пырин промежду кур...

Финоген молча взглянул на собеседника и солидно погладил свою бороду.

— Ну... вот я и думаю: неужто тебе такая бедная судьба по душе?

— Ты вот что... — спокойно сказал Финоген, — ты шагай прямо... До судьбы моей какое тебе дело?

— Нет, ты по-озволь... — сказал Лохов, склонив голову набок и сделав в воздухе рукой жест, которым он как бы отстранял от себя слова Финогена.

— Чего мне позволять? Я разговору не люблю... И коли есть у тебя ко мне дело, ты и должен говорить о деле.

Лохов замигал глазами и задумался.

— Всегда обо всем надо прямо говорить, — предложил Финоген и, подняв рукой бороду кверху, закрыл ею усмешку на своих губах.

— Мое дело такое: приехал я сюда и вижу — от деревни я отвык...

— Н-да...

— Хожу, вроде как в лесу... одиноко мне, приятельства у меня здесь нет никакого...

— Н-да...

— А хочется мне... приладиться к какой-нибудь эдакой операции... Ежели говорить по душе — деньги у меня есть... сот семь...

— А тысяч сколько?

— Хе-хе-хе! Ты-исяч!.. Да кабы у меня тысячи были, я бы разве сюда полез?..

— Стало быть, здесь их найти думаешь? — спросил Финоген.

Лохов сконфузился, его серые глазки замигали робко и беспомощно, и он поводил плечами, точно от холода. А Финоген смотрел на него, сдвинув брови, и в его суровом взгляде было что-то решительное.

— На что мне тысячи? — заговорил Лохов, торопясь и раздражительно потирая рукой свою бритую щеку. — Мне бы устроить себя... покой мне нужен... лета того требуют. Тоже ведь у меня кость-то ломаная... Я бы вот начал какое-нибудь дельце, да и женился бы... и жил бы себе смирно! А ты мне... ты...

— Эх, Матвей, Матвей! — вздохнул суровый мужик. — Мелко ты плаваешь...

— То есть как? — встрепенулся Лохов.

— Да так. Видать тебя... понятно уж очень всякому, к чему ты направляешь себя...

— Я человек открытый...— смиренно заявил Лохов.

— То-то что открытый...

— Так и следует...

— Мм... не для всякого дела тоже...— сказал Финоген, качнув головой.

Лохов снова завертелся на скамье, точно ощущая зуд во всех членах.

— Желаете, Матвей, чтобы я с тобой по правде говорил? — сказал Финоген Ильич.

— Я? то есть... вот бы хорошо! Сразу уж бы... А то что у нас за разговор? Ходим это мы вокруг да около...

И Лохов безнадежно махнул рукой.

— Спать только хочется мне... Ну, да это я могу подождать... сначала попытаюсь разрешить тебя.

Финоген беззвучно смеялся, и лицо у него было довольное, почти ласковое.

— Н-ну? — торопил его Лохов.

— Ты уезжай отсюда...— спокойно начал Финоген.

— Зачем? — вполголоса и с боязнью спросил Лохов.

— Я тебя вразумлю зачем... Первое дело — человек ты по здешнему месту мелкий... неспособный, бесполезный для себя человек. Хоша и есть у тебя деньги, а деньги для иного человека всё равно, что ум: есть деньги да смелость — и ума ему не надо, без ума хорошо проживет. Но только здесь есть люди больше тебя способные и умные... без таких денег, как у тебя... но большой дерзости люди...

— Ты, что ли? — спросил Лохов, искривив губы.

— Слушай да не перебивай... Смелости у тебя тоже нет. Суди сам: коли бы было у тебя в голове свое, то ты и один бы с твоей задачей справился... а не ходил бы к другим по указку. Понял?

— Это действительно...— вздохнул Лохов.

— Вот... Я тебе говорю: здесь есть свои медведи... Ты пришел, — они тебе облюбованного куска не уступят. На что? Каждый сам свою долю добывай! Теперь будем говорить, к примеру, как ты думал. Думал ты так: войдешь ты к нам в компанию, купишь с нами землю.



Земля как раз тебе впору — промежду деревней и за-  
водом... Мы тебя, пожалуй, приняли бы... Что же? У нас  
воп не хватает задатку для банка, — вот бы твоими  
деньгами и пополнили... н-да-а... И было бы это для нас  
хорошо... Да видишь ты, для тебя-то это больно уж хо-  
рошо, и потому нам невыгодно.

— Мудрено говоришь... — сказал Лохов, враждеб-  
но поглядывая на Финогена.

— Нам это невыгодно... — продолжал Финоген спо-  
койно. — Откроешь ты трактир и начнешь кулачить и  
так и сяк. Пойдет от того большой грех... озлобятся  
против тебя все... Да, пожалуй, сожгут еще... а то и  
хуже бывает.

Лохов отодвинулся от стола и привстал с лавки,  
взявшись рукой за левый бок. Глаза у него стали круг-  
лые, а губы плотно сжались.

— Народ у нас злой, дерзкий на руку. Вон Кошеле-  
ва ухлопали за его жадность... и кто? Неизвестно! Тре-  
тий год делу, но никого не нашли.

Лохов грузно опустился на свое место и, прислонясь  
к стене, потрогал себя за усы.

— Нас вот теперь двое... — медленно и глухо гово-  
рил Финоген, хмурым взглядом рассматривая серое  
лицо Лохова. — Двое нас... Ночь... Никто нас не слы-  
шит... никто не видит...

— Вся деревня знает, что я у... у тебя... — тихо ска-  
зал Лохов, не глядя на Финогена и всё держась рукой  
за левый бок.

— Известно, знает... — повысил голос мужик. — А  
ты это к чему?

— Так... я просто...

— То-то, мол...

Финоген внушительно передернул плечами и помол-  
чал.

— Так вот я говорю: нас теперь двое, мол, ночь, ни-  
кто нас не видит, не слышит... Стало быть, я могу... —  
тут Финоген остановился и опять помолчал, вниматель-  
но разглядывая Лохова, — ...говорить с тобой без  
опаски... — закончил он свою речь.

— Говори, говори... — торопливо сказал Лохов.

— И скажу я тебе прямо — плох ты. На большое

дело, на способных людей ты не годишься... Здесь ты не охотник, а лиса. И следует тебе такое место найти для себя, где бы ты сам был охотником,— понял?

Лохов кивнул головой.

— Понял, что тебе здесь не место?

— Понял! — твердо сказал Лохов.

— Ну, стало быть, и не лезь на рожон...

— Да... надо подумать...

— Подумай... А теперь давай-ка спать... пора! Скоро, чай, петухи запоют...

Финоген поднялся из-за стола, поставил ногу на лавку и стал разувать ее, медленно раскутывая оборы лаптей. Лохов следил за ним и молчал, дергая рукой себя за усы. Потом Финоген смачно и громко зевнул, перекрестил рот, взглянул на образ и стал, широко размахивая рукой, крестить грудь. Лохов начал раздеваться уже тогда, когда Финоген залез на полати и сказал ему оттуда:

— Будешь ложиться, лампу-то потуши.

Скоро и Лохов забрался на печь; но ему не спалось. В избе было темно. В окна ее с улицы смотрело что-то жуткое, холодное. На полатах громко и ровно дышал Финоген, и порой он всхрапывал, сердито так... Карульщик где-то далеко бил в доску, и в тишине ночной разносились гулкие, пугающие звуки. Дрема смыкала глаза Лохова, но он вдруг вспоминал что-то и спугивал ее. Тогда, приподняв голову, он осторожно заглядывал на полати и, убедившись, что Финоген крепко спит снова дремал... И снова вздрагивал от боязни...

«А ведь он верно говорил,— думалось ему в тишине.— Слаб я еще... О господи! Как трудно жить-то! Н-да... Слаб я... боюсь вот... Чего боюсь? Страшает... сам, значит, наметил это место. О... господи!.. Его мне... не одолеть...»

Поболтался Лохов в деревне еще дней десять после этого разговора и однажды, придя откуда-то с улицы в избу Финогена, объявил ему:

— Завтра еду...

— Куда? — равнодушно спросил Финоген.

— В город... прочь, стало быть...

— Та-ак...

— Не понравилось у нас? — осведомилась Варвара.

— Отвык... все-таки, знаете, деревня...

— Известно уж... В городе вам способнее...

— Сказано: большому кораблю — большое и плавание... — невозмутимо равнодушно заметил Финоген. Лохов взглянул на него и поджал губы.

Рано утром на другой день он запряг свою пегую лошадку в тележку и начал прощаться с Финогеном и его шабром Ефимом, который, с вечера осведомленный об отъезде Лохова, тоже пришел проводить его и, позевывая, сонный и нечесаный, сидел на лавке, упершись в нее руками.

— Ну, стало быть, мы с вами, Финоген Ильич, за прокорм, квартиру в расчете?

— Ровно бы так... — сказал Финоген.

— Значит, спасибо за хлеб-соль, за ласку...

— Не на чем.

— Какая уж наша хлеб-соль? — со вздохом сказала Варвара.

Ефим зевнул и объявил:

— Деревенский хлеб — он самый святой на земле...

— Свят-то он свят, да не так, чтобы скусен... — вставил Финоген, почесывая спину.

Лохов подпоясывал тулуп кушаком и молчал. Подпоясавшись, он взял в руку шапку, перекрестился и, поклонившись всем, молвил:

— Прощайте!

— С богом! — в один голос ответили Варвара и Ефим, а Финоген молча поклонился.

И все четверо пошли вон из избы. Финоген отворил ворота. Лохов ввалился в тележку, повозился в ней и, взяв вожжи в руку, снова сказал, сняв шапку и трянув головой:

— Прощайте! Н-но!

Пегая лошадка пошла...

Провожатые вышли за ворота и стали смотреть вслед тележке, прыгавшей по замерзшим кочкам грязи, кое-где покрытым снегом. Предраассветный сумрак окутал деревню каким-то призрачным туманом, и тележка Лохова быстро скрывалась в нем.

— Дорога, избави бог, плоха! — сказал Ефим, качая головой.

— Да, попрыгает он двадцать семь верст... — заметила Варвара и ушла в избу.

Финоген взглянул на нее, говоря Ефиму:

— Идем ко мне, — чаем напою...

— Идем...

В избе Варвара, возившаяся у печи с самоваром и освещенная огнем, пылавшим в печи, встретила их вопросом:

— Уехал?

Точно она этого не знала.

— Укатил! — сказал Ефим.

— Н-да-а! отвалился... — задумчиво протянул Финоген. — Плох он... очень он плох! Другой бы... э-э-э! Так бы это он оборудовал свои дела... что нам бы одно осталось — кричи караул!

— Напрасно ты, по-моему, его застращал... — сказал Ефим. — Что пугать человека? То невыгодно, другое неодоходно... Пусть бы он сам попробовал... А нам он человек полезный... в банк-от бы и тово...

— Ну, что вышло, то и вышло. А у нас ему учиться жить — не место. Мы не для него... Плох потому что.

— погоди! Доживешь, может, и до хорошего какого... — пригрозила Варвара. — Подползет да и прицепится... как вон Фомичев в Кузнечихе.

— Это еще улита-то едет, — когда-то она будет!.. — задумчиво сказал Финоген.

— А никого он здесь не расположил к себе!.. — заметил Ефим.

— Кроме Лёски твоего...

Ефим засмеялся.

— Лёске он был друг...

— Вот такой ворон, как Мотька этот, и начал бы со стервятины вроде Лёски... А на ней отъевшись, и нас, грешных, стал бы долбить помаленьку да не торопясь.

— Оно, пожалуй, так.

— То-то...

— Финоген Ильич, пригляди за самоваром-то, а я пойду творогу принесу да сочней спеку... — попросила Варвара мужа.

— Али у тебя хлебы ныве? — спросил Ефим.

— Хлебы...— ответила женщина, уходя из избы.

— Н-да... семь, говорит, сот у меня...— задумчиво говорил Финоген, сидя на лавке против печи и пристально глядя на огонь.— Врет надо быть, больше имеет... Мне бы хоть эти самые семь сот... Ну и повернулся бы я с ними! Эхе-хе! Зимой бы у меня мак зацвел... А он что? Дурак!..

— Видно, бог дураков-то больше любит...— сказал Ефим.

— Э-эхма!

Освещенное огнем угрюмое лицо Финогена дрогнуло, и в голубых глазах его блеснула на миг темная грусть...

# III

---

**ПРОИЗВЕДЕНИЯ,  
НЕ ПУБЛИКОВАВШИЕСЯ АВТОРОМ.  
НЕЗАКОНЧЕННОЕ. НАБРОСКИ**



## 〈НА СТАНЦИИ〉

Над станцией «Высокая» неподвижно висели тяжелые, серые тучи, мелкий дождь настойчиво сыпался на железо крыши, печально всхлипывала вода, стекая на мокрую землю, в сыром воздухе тихо звучал однообразный, скучный шорох, и поля вокруг станции были скрыты от глаз дрожащей мутной завесой дождя.

Ожидали вечернего поезда, — сторож Ковшов ударил в колокол — короткий медный звук вспыхнул в унылом шуме ненастья, как искра во тьме, вспыхнул и быстро погас.

Услыхав резкий крик меди, жена начальника станции Лидия Ивановна, приготавлившая у себя в комнате вечерний чай, вздрогнула, быстро подошла к окну и торопливо раскрыла его.

Холодный воздух широкой влажной волной обнял ее высокую худую фигуру, несколько острых капель дождя упали на лицо, — она тряхнула головой, плотно прижалась плечом к косяку и смотрела на платформу станции, прищурив серые глаза.

Из двери станции вышел жандарм Зиновьев, провел ладонью по измятому, сонному лицу и, скосив глаза, стал расправлять усы, за ним угловато выдвинулся горбатый телеграфист Юдин, в клеенчатом плаще и с папирсой в зубах, он громко потопал короткими кривыми ногами и, подражая звуку падения воды из трубы, загудел:

— Дожди периодические... дожди, жди — жди — жди...

Потом, лениво раскачивая круглым животом, вышел муж, он остановился, широко расставив ноги, надул щеки и, тряхнув головой, зачем-то сдвинул свою



красную фуражку на затылок. Лидия Ивановна сотни раз видела всё это, — лица, жесты, речи людей, населявших маленькую станцию, давно были ей знакомы, и она не ждала от них ничего нового, но дважды в день, когда к станции приближался пассажирский поезд, ее глаза тревожно расширялись, в сердце билась смутная надежда, и, напряженно слушая глухой гул паровоза, сотрясавший землю, она без слов думала в такт биению своего сердца:

— А может быть... а может быть...

Устало двигая поршнями, мимо ее проехал паровоз, за ним, вздрагивая и покачиваясь, потянулись вагоны, в окнах мелькали незнакомые лица, — вот проплыло суровое усатое лицо, в другом окне появилась круглая рожица мальчика — он показал кому-то язык и исчез, — вот какой-то высокий человек в серой шляпе соскочил с площадки вагона третьего класса и, держа в руках небольшой чемодан, скрылся в дверях станции.

Трижды прозвучал колокол, и раньше, чем замер последний удар, — раздался резкий свисток обера, ему сердито ответил паровоз, загрели цепи и, поочередно вздрагивая, вагоны медленно покатались в серую, холодную даль.

— Юдин! — крикнул муж Лидии Ивановны из окна станции. — Идем ко мне чай пить!

— Можно. Чай пить — не дрова рубить... — ответил телеграфист.

Лидия Ивановна вздохнула, закрыла окно и отошла к столу.

## <«УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!..»>

Уважаемые покупатели!  
Мои книги — это сердце мое.  
И вот я продаю вам его  
По целковому за порцию.

Превосходные ценители искусства,  
Совершите ваш строгий суд:  
Все ли запятые на месте у меня?  
Хороша ли музыка слов?

Предлагая вам эту забаву,  
Я не имею скрытых мыслей  
И не думаю о суде осла  
Над соловьем, вечным пленником песни.

Но, когда изнемогаешь от любви  
В болоте, где любить некого,  
Готов спросить и ядовитую змею:  
Хорошо ли я умею петь, родная?

## «ПОВЕРКА КОНЧИЛАСЬ»

...Поверка кончилась.

Заключенный стоял среди камеры и, склонив голову набок, к двери, слушал, как на тюремном дворе постепенно угасает шум.

Протяжно завизжал блок, потом воздух вздрогнул от громкого звука, похожего на выстрел; раздался тяжелый лязг железа, отчетливо прозвучали мерные и твердые шаги... И вот, все звуки умерли — точно вдруг тюрьму окутали чем-то мягким и непроницаемым не только для звука, но и для воздуха.

Заключенный, не двигаясь с места, послушал еще минуты две — глухое и подавляющее молчание ничем не нарушалось. Тогда он коротко вздохнул, подозрительно прищурился, посмотрел в углы камеры, где было темно, и медленно, стараясь не стучать ногами о пол, подошел к окну.

Это был еще юноша, с бледным, болезненным лицом и большими глазами. Они были широко раскрыты, в них застыло выражение боязливого ожидания, и во всей его фигуре с поднятыми кверху плечами — так, точно он хотел спрятать голову, — было что-то пугливое и недоумевающее. Он сидел уже около двух месяцев, но его еще не допрашивали, и он не знал, за что его посадили в эту скверную комнату с желтыми стенами и железной решеткой в окне. Всё время он напряженно ждал, чтобы ему сказали, в чем он виновен; сначала возмущался и требовал, с тоской и болью думал о своих стариках — отце и матери, — представлял себе, как они беспокоятся о нем, и плакал, и приходил в бешенство... Но дни шли, и молчаливые стены тюрьмы высосали из него все живые чувства, обессилили его и вселили в душу ему

постоянный трепет пред чем-то, боязливое ожидание чего-то страшного.

...Стоя у окна, он прислонил лицо к железу решетки и упорно, не мигая, смотрел во тьму ночи. А ночь была так густо темна, что, казалось, если за решетку высу-нуть руку, рука покроется сырым, черным, как сажа, налетом... Где-то далеко дрожал маленький робкий огонек, и во мраке, окружавшем его, он тоже был как в тюрьме.

Человек за железной решеткой смотрел на него каж-дую ночь, любил его кроткое сияние и привык видеть в нем что-то общее с собой. И, как всегда после проверки, в тишине и тьме ночи человек чувствовал, что страх рас-тет и усиливается в нем. Ему хотелось обернуться назад и осмотреть камеру, но он боялся сделать это. Он знал, что камеру освещает лампа, висящая над дверью, и только в углах собрались тени; он знал, что, кроме те-ней, койки, стола и стула, в камере ничего нет и ничего не может быть... Он был убежден в этом, но не верил, что это так, и, ясно представляя себе свое одиночество, все-таки чувствовал, что он — не один. Давно запомнив все пятна и трещины на стенах своей камеры, он, глядя во тьму, представлял себе их, чтоб успокоить себя и побороть свой страх.

Над койкой на стене были начертаны цифры — ог-ромные столбцы цифр, которые кто-то слагал, делил и множил, заполняя этим пустоту дней, проведенных тут, и борясь с тоской одиночества. А стена против койки была покрыта темно-зелеными пятнами сырости, и на одном из них кто-то начертил крупными буквами:

Мы из Вязьмы два громилы  
Вместе по миру ходили,  
С за угла копейку срубим,  
На нес краюшку купим  
И хряпаем...

Он долго думал над последним словом, желая по-нять, что значит «хряпаем»?

И решил, что это значит жадно жевать. Непременно жадно... Эти «два громилы» представлялись ему парнями

отчаянно веселыми, оборванными и совершенно неспособными чувствовать страх. Но он не мог представить себе человека, который написал около двери:

«Сдесь сидель Якофъ Игнативъ Усофъ по убийству жены и Сашки Грызлова за подлость иху. Винваре это было. 1897. Выпустиль им кишки...»

Ниже следовало непечатное ругательство, а потом рисунок, изображавший маленький домик в три окна и над крышей его что-то похожее на пучок спутанных ниток — должно быть деревья или дым из трубы.

В переднем углу камеры около окна отбит большой кусок штукатурки, точно со стены содрана кожа. Дверь из толстых досок и окована железом, в ней прорезано небольшое квадратное отверстие, снаружи загражденное крестом из железа. Теперь, ночью, это отверстие освещено из коридора и похоже на уродливый глаз, равнодушно светлый и подстерегающий... Всё до самых ничтожных трещин на стенах было известно заключенному.

И все-таки, помимо известного, в ней чувствовалось присутствие чего-то невидимого, но почти осязаемого. Оно являлось каждую ночь, дышало на человека ужасом и с каждой ночью становилось всё дерзостней. Оно всегда было сзади, и, если заключенный даже плотно прижимался спиной к стене, оно все-таки было сзади и, молчаливое, торжествующее, всё веяло на него холодом.

Казалось, оно сладострастно следит за человеком и вдруг явится пред ним во всей силе своего мрачного безобразия, схватит холодными и скользкими лапами сердце и будет душить, сжимать его... Оно огромное, тяжелое, темно-зеленое, как болотный ил, и всё покрыто удушливо-пахучей слизью...

Заключенный представлял себе это чудовище, вздрагивал и всё смотрел сквозь решетку.

У него глаза болели от напряжения, точно тьма ночи касалась их, и ноги у него дрожали от усталости, но он боялся повернуться, боялся увидеть сзади себя *это*.

А за окном тишина и мрак слились в одно целое, и казалось, что всё живое на земле задохлось в этом темном молчании, всё умерло... остался только один че-

ловец, запертый в маленькой комнате, и он осужден на ожидание — самую страшную из всех мук.

Он будет ждать всегда, годы и века, и эта ночь продлится бесконечно долго, дня уже не будет больше, и солнце не взойдет больше никогда! И всё это время, стоя за спиной человека, ужас будет молча сторожить его...

Тяжелые шаги раздались за окном. Заключение радостно вздрогнул и стал слушать, отшатнувшись от окна.

— Смирно-о! — раздается глухой и ленивый голос.

Звякнуло ружье, составленное к ноге. Вот часовой торопливо и негромко считает:

— Двенадцать окон... две будки...

— Ты, чуваш! Если увидишь — башка из окна высунулась — смотри! Не стреляй...

— Слушаю...

— Разводящий, объясни ему подробно...

В тишине каждое слово слышится так отчетливо, точно искра сверкает во тьме.

— Если увидишь в окно смотрят — не стреляй! Понял?

— Тах точино...

Эти два слова сказаны боязливо и грустно каким-то ломаным языком. И вслед за ними раздается внушительный, хриплый бас:

— А если кто полезет из окна, а то побежит тут вот или там — видишь?

— Тах точино...

— Сейчас ты кричи: кто идет? И раз кричи, и два... а в третий стрели кверху... для тревоги... И тогда бегущего этого тоже стреляй, али бей прикладом, али штыком, как тебе лучше, понял?

— Тах точино.

— Ну, ходи вот отсюда — досюда и гляди в окна... Да смотри дрыхнуть не вздумай!

— Никак нету...

— То-то... А ну-ка, объясни, когда ты должен стрелить?

— Кохда полезит на mine...

— А ежели он прямо через стенку?

Пауза. Слышно, как кто-то тяжело дышит и чьи-то ноги нетерпеливо, но несильно топают о землю. Раздается строгий возглас:

— Ну? Чёрт...

— Тохда — бить...

— А ежели голова в окне — тогда что?

Снова пауза. Брякает ружье. Плюют.

— Но, дубовая башка! Шевели мозгами-то...

— Тохда — ничего...

— Врешь! Тогда должен сказать — голову прочь убери!.. Понял? У, анафема... Марш!

Несколько пар ног дружно стучают о землю.

Заключенный вновь прильнул к окну, желая видеть часового, который говорит так грустно.

Но узкая канава между стеной тюрьмы и высокой каменной оградой была полна тьмы.

Небольшая черная фигурка медленно и почти бесшумно двигалась в ней, тонкая полоска штыка тускло блестела во мраке и была похожа на рыбу в воде...

— Вубери башка... — раздался боязливый возглас.

Заклученный отступил на шаг от окна, вдруг круто повернулся лицом к двери и окинул быстрым взглядом всю камеру. Потом подошел к своей койке, сел, уперся в нее руками и, наклонясь вперед, стал напряженно смотреть в стену против себя. Вот из-за плинтуса выпрыгнул мышонок и бесшумно, как клубок шерсти, покатился по полу. Ловкий, темненький, он бегал, поднимал мордочку кверху и нюхал воздух. Ушки у него трепетали...

Заклученный смотрел на него и слышал торопливое и тревожное биение своего сердца.

— Если теперь уже десять часов, то до рассвета осталось еще шесть... или семь...

И при этой мысли заключенный почувствовал, как в груди у него заняла тоска.

Это было такое острое ощущение, что, казалось, болят все кости неугомонной болью, похожей на ревматизм, болят мускулы, а кожа сжимается, точно сохнет.

Он еще ниже опустил голову, крепко стиснул зубы и так сидел — долго...

— А-а-а... о-и-о-й... ой!

Заключенный испуганно вздрогнул и выпрямился. Ему показалось, что это он сам застонал, что из его сердца, помимо воли, излился этот заунывный, полный скорби тихий стон.

Но он ошибся, это за окном стонали, и чуть слышный звук тонкой струйкой лился в камеру сквозь железную решетку.

— О-и-ой — о-ой... — тихонько вздыхал и плакал голос во тьме.

Это часовой поет... Губы заключенного слабо дрогнули, и он стал слушать...

Мелодия была чужда его уху и звучала как эхо какой-то нерусской песни, спетой давно уже и где-то далеко от этой тюрьмы и ночи... Она была некрасива, и голос, певший ее, тоже был некрасив — он напоминал о скрипе надломленного дерева. На обрыве, над мутными волнами быстрой реки, стоит дерево, корни его обмыты водой и бессильно повисли, вода толкает и рвет их; ветви дерева обломаны льдом и зимними вьюгами; оно стоит над рекой, качается и жалобно скрипит... и скоро упадет в реку.

— О чем может петь такая песня? — спросил себя заключенный... И задумался.

А песня всё звучала, тихая и робкая. Должно быть, певец не смел запеть громко, боялся чего-то. Заключенный всё вслушивался, и вот ему стало казаться, что это в нем, в его груди поет его тоска, его боль, его страх одиночества, страх пред будущим. Он бессильно повалился на койку лицом вниз, охваченный песнью.

Так петь можно только о матери, о муках сердца матери, у которой отняли сына, о муках сына, потерявшего мать...

Юноша, охваченный сухими судорожными рыданиями без слез и стонов, дрожал, лежа на койке, и молча вливал слова своих мук в мелодию чужой песни.

— Мама моя! Я не виноват... ни в чем не виноват я!.. Они схватили меня и бросили сюда... Мама! помоги мне! Я боюсь... Мама моя... мама... мама...

Пред ним вставала она, полная любви к нему, он видел ее глаза, опухшие от слез о нем, и ясно видел тоску в ее глазах и на лице ее... А рядом с ней отец, уби-



тый и полубольной, он хотел бы утешить ее и не может, ибо нет сил в его сердце, сдавленном тоской о сыне и страхом за него...

Во тьме глаза отца и матери горят так ярко... ищут, блуждают, теряются в ней, гаснут... И эта песня — отзвук их стонов о сыне...

Вскочив с койки, он бросился к двери, стал бить по ней крепко сжатыми кулаками и закричал с болью и мольбой:

— Пустите! Отворите! Я не могу... пощадите! Отворите... Ради бога... скорее...

За решеткой явилось чье-то лицо с большими усами; они шевелились, и суровый увещевающий голос говорил:

— Опять вы шуметь начали... ай... ай! А образованный человек... Нельзя шуметь...

— Слушайте! Ради бога... Мать! Вы понимаете? У меня есть мать... скажите там... Пустите меня!.. Я приду назад...

— Не-ельзя же шуметь по ночам, господи боже мой! Как это не понять? Люди спят... и все спят, а вы поднимаете шум и стук... Эх!

— Но... послушайте! Умоляю вас...

— И посадят в карцер потом...

— О, ради бога! Скажите там...

— Ничего не будет... Первый раз, что ли? Сказано — оставить без внимания... Пож-жалуйста, не шумите... Нельзя здесь шуметь.

И усы исчезли.

— Послушайте! — тихо и умоляюще сказал заключенный, прислонив лицо к решетке и пытаясь заглянуть в коридор по направлению звука шагов, удалявшихся от двери.

Ему ответили только глухие удары сапог по полу...

— О! послушайте! — прошептал заключенный. — Воротитесь... пожалуйста, постойте у двери... чтобы я видел вас...

Всё молчало. И за окном уже не слышно было заунывной песни.

Припав на одно колено, заключенный прижался головой к двери и замер, схватившись рукой за толстую

скобу. Холодное железо касалось его головы и, разливаясь по всему телу, вызывало в нем дрожь.

Теперь, после пережитого возбуждения, он чувствовал себя так, точно в сердце у него прорвался большой нарыв и по жилам течет что-то густое, ядовитое и обесиливающее его.

Было тихо... Лишь сердце билось в груди так, точно рвалось из нее.

Но вот еще звук... Новый звук... Он раздается за стеной слева. В соседней камере кто-то ходит быстро, неровно, точно зверь мечется в клетке, шаркая когтями по полу... И звук его шагов похож на отрывистое рыканье раздраженного зверя.

Заклученный встал на ноги и, шатаясь, с лицом, бледным до синевы, с горящими тоской глазами, подошел к столу у койки.

На столе стояла глиняная кружка с водой и пузырек с эфирно-валериановыми каплями. Эти капли дал доктор вчера; их было много.

Юноша дрожащей рукой взял пузырек... и, снова поставив его, грузно сел на койку.

Он чувствовал себя опустошенным, и пережитый им взрыв тоски теперь уже казался ему чем-то далеким, хотя еще только минуты прошли с той поры, как он разбивал свои руки о дверь. Снова душа и тело его ныли от тоски, и ему казалось, что человек в нем тает... испаряется.

Лампа, горевшая над дверью, освещала койку, стол и всё пространство от двери до окна. А против койки — у стены и в углах — было сумрачно, и этот сумрак оживлял пятна сырости на стене. Казалось, они двигаются. Днем они похожи только на географическую карту, а ночью, если пристально всмотреться в них, напоминают чьи-то темные лица — может быть, лица тех людей, что сидели в этой комнате. Это может быть... Человек сидит в четырех стенах долгие дни, и стены впитывают в себя его запах, почему они не могут впитать в себя и его дум? Почему не отразить им душу человека?

Душа человека есть нечто такое, что испаряется. У человека свободного — душа рассеивается в жизни... а душу заключенного в тюрьме впитывают в себя стены

тюрмы... да! И эти темные пятна на штукатурке — почему они не могут быть отпечатками душ двух громил из Вязьмы и всех других людей, что жили тут?

В них нет ничего страшного — в этих пятнах, хотя они живы и живут безмолвной жизнью. Вот они движутся, изменяют свои формы... Если бы они могли говорить, они говорили бы едва слышным шепотом какие-нибудь человеческие слова... Но как страшен этот сумрак около <н>их! Он коварно прозрачен и тоже жив...

В нем скрыта власть над душой человека, жестокая власть; его вдыхаешь вместе с воздухом, он въедается в душу, как ржавчина, и тихо, но беспощадно разрушает ее... Он растворяет в себе мысли, и весь человек поглощается им и тает в нем; и хотя он не имеет определенной и видимой формы, но каждый миг может воплотиться в ужасное... в нечто такое, чего никто никогда не видал и чего невозможно предугадать...

Заключенный, не отрывая широко раскрытых глаз от стены, протянул руку к столу, осторожно нащупал на нем кружку с водой и быстрым движением выплеснул воду на стену.

И когда вода ударилась о стену, то раздался такой пугливый звук, точно кто-то злобно зашипел.

Заключенный откинулся назад и простер перед собой руку, как бы защищаясь от нападения. По стене текла вода, пятна исчезли под ее темными ручьями, и она с тихим звуком лилась на пол...

— Боже мой,— тихо прошептал юноша, схватив голову ладонями.— Боже мой... кажется... кажется я...

Он не мог выговорить страшного слова. Беспомощно и бессильно руки его упали на колени, а в голове бурно закипели бессвязные, изорванные страхом мысли. Он, сидя на койке, стал раскачиваться из стороны в сторону, но глаза его были точно прикованы к сумраку и тонули в нем. И он чувствовал, что весь он тонет, погружается в какую-то темную пропасть без дна, падает в нее медленно, и не за что ему ухватиться.

— Боже мой!..— беззвучно шептали его губы.

И вдруг сознание вновь вспыхнуло в нем. Стыд, острый и режущий сердце, овладел им, и казалось, кто-то изнутри говорит ему:

— Позорно так погибать... позорно, позорно! Смерть не страшнее, не хуже мучений страха...

Он вскочил на ноги, оглянул стол, дрожащими руками схватил склянку с лекарством... Она выскользнула из пальцев и упала в кружку с дребезгом, похожим на холодный смех. Запах эфира наполнил камеру...

Юноша наклонился над кружкой и трясущейся рукой вынул из нее осколки стекла. Вынул и, положив на ладонь, смотрел на них. Ему теснило дыхание, голова его кружилась и глаза как будто кто-то насильно закрывал. Эти ощущения усилили его страх, казалось, его обнимают невидимые мягкие, но сильные объятия... Он вздрогнул всем телом и начал отступать от стола к двери...

Что-то холодное настигало его и веяло в лицо ему.

— Нет...— шептал он, безумными глазами глядя пред собой.

И вдруг, сунув стекла в рот, стал грызть их зубами... Они хрустели и резали его десна, губы, язык... Но вскоре лицо его исказилось от боли, во рту стало тепло и солоно; он наклонил голову и выплюнул изо рта стекла и кровь. Она лилась в несколько ручьев, а он смотрел, как она образует на полу темные узоры, и чувствовал, что на глазах его явились слезы,— слезы обидного сознания бессилия.

— Не могу... не могу...— билось в его голове.— Не могу умереть... Боже мой... помоги!

И вкус тепловато-соленой крови во рту смешивался с ощущением едкой горечи, разъедавшей ему сердце.

Но вдруг вспомнилось ему нечто... Девушка! Эта героиня девушка! Она очистила позор свой огнем!.. Он даже вздрогнул от радости и с торжеством в глазах посмотрел на сумрак. Он сразу воодушевился и приобрел какую-то особенную уверенность и твердость движений и поступков.

С ясной улыбкой, не торопясь и всё выплевывая изо рта кровь и стекла, он подошел к столу, взял кружку с лекарством и табурет, отнес его к двери, встал на него и, подняв кружку над головой, вылил на себя капли. Затем осторожно снял лампу со стены, сбросил с нее стекло на койку, бесшумно прыгнул с табурета и встал

среди камеры лицом туда, к пятнам на стене, к сумраку.

— Простите, — прошептал он, подняв лампу над головой, и тотчас же громче и увереннее сказал:

— Простят!

...Огонь как бы с неба упал ему на голову и вмиг охватил всё его тело горячими объятиями. Юноша зашатался в них и, высоко взмахнув руками, торжествуя и громко крикнул. Синие языки пламени ласково обвивали его со всех сторон, ползали по нем как змеи, в камере было светло, как в ясный день, и пятна на стене дрожали весело и радостно...

...За дверью громыхало железо...

Но когда в камеру вошли — на полу среди <н>ее уже лежало что-то черное... мало похожее на человека. Оно двигалось и стонало... тихо так.

Кудрявые струйки дыма поднимались от него кверху, а под потолком дым, густой и удушливый, собрался в тяжелые серые клубы и могуче тек в раскрытое окно — вон из тюрьмы, не желая скрывать собой от лучей рассвета преступление и жертву...

< «ПЕРВЫЙ РАЗ Я УВИДЕЛ ЭТУ ЖЕНЩИНУ...» >

Первый раз я увидел эту женщину, когда она шла за гробом кого-то, очевидно, близкого ей, — черное облако крепа ниспадало с ее головы на стройную, высокую фигуру, красиво изогнутые губы были крепко сжаты, на ее лице — точно мраморном — сухо горели темные глаза, и вся она показалась мне олицетворением гордого страдания.

Потом я стал встречать ее на берегу моря, в пустынном и угрюмом месте: там лежали один на другом огромные серые камни — остатки осыпавшейся горы, — изрезанные глубокими морщинами, покрытые налетом соли и клочьями мертвых водорослей.

Неподвижно, как изваяние, она сидела среди камней, — здесь безмолвная глубина ее горя выступала предо мною еще ярче, — ветер тихо играл кисеей траура, а к ногам ее, из пустыни моря, одна за другой шли веселые волны и разбивались о камни у ног ее. Иногда я видел на ее лице тяжелые, крупные слезы.

Мне хотелось заговорить с нею, но я не решался, и вот однажды, ярким майским днем, — море помогло мне.

Накануне была сильная зыбь, а в этот день мягкие, гибкие волны шли на берег весело и плавно, украшая угрюмые, серые камни белой пеной, разноцветными брызгами и снова с ласковым шорохом уходя в море.

Волна лениво подошла к берегу, подняла свой курчавый гребень еще выше, на мгновение как бы остановилась в шаловливой неподвижности и вдруг, склонясь, гулко разбилась о камни...

Женщина тихо вскрикнула, быстро поднялась на ноги и, улыбаясь, стала встряхивать с платья брызги воды.

Когда она крикнула,— я бросился к ней, но тотчас же остановился, видя, что она не нуждается в помощи.

Она заметила мое движение,— ясная улыбка осветила ее лицо, красиво дрогнули ресницы гордых глаз, и глубоким, грудным голосом она спросила:

— Я испугала вас?

Потом, указывая глазами на новую волну, тихо кравшуюся к берегу, она добавила:

— Она так неожиданно высоко плеснула... Извините меня! Я помешала вам...

— Не беспокойтесь,— ответил я,— вы мне не помешали...

— Да нет же... я видела. Это — нехорошо. Не надо мешать человеку, когда он молчит...

— Вы... странно говорите...— промолвил я.

— Я знаю цену этих слов,— ответила она спокойно.

И села выше на камень. Снова лицо ее стало неподвижно, а глаза остановились на чем-то в дали моря, ярко облитой солнцем и пустынной. Там всё рождалось, одна за другой, веселые, смелые волны и плавно катились на берег, чтоб со смехом и пеньем разбиться о серые камни.

— Сударыня! — тихо сказал я,— ничто не обогащает душу человека так, как ее обогащает одиночество, но иногда нет сил пережить свое горе одному... И тогда одиночество истощает сердце, как засуха землю...

Она обернулась ко мне и внимательно, но молча посмотрела мне в лицо печально-темными глазами.

— Я видел вас, когда вы шли за гробом,— смущенно продолжал я,— а здесь — вы плакали...

— О, это был не первый гроб! — сказала она тихо и наклонила голову.— И не так больно хоронить людей на кладбище, как это больно, когда хоронишь их живыми в своем сердце. А ведь случается... вы знаете?

Я знал. Мы оба замолчали.

У наших ног, играя, умирали волны и воскресали вновь, назойливо и жадно кричали чайки, нас обнимал здоровый, крепкий запах моря, оно сверкало под лучами солнца зелеными и синими огнями, великолепное, могучее...

— Делился ли с вами кто-нибудь счастьем? — вдруг заговорила женщина. — Я думаю — нет. А горем? Вероятно — часто, не так ли? Вот видите...

И снова взгляд ее задумчиво ушел в пустыню моря, где среди белых гребней волн хлопотливо мелькали чайки.

— Мы слишком много говорим о своем горе, мы слишком много жалуемся. Всё вокруг нас насыщено нашими стонами... и, умирая, мы на всем оставляем только отпечатки наших личных страданий. Приходят другие люди, они молоды, сильны и смелы, но прежде чем узнать жизнь непосредственно, они отравляются нашим наследством. Мы раскрасили жизнь тусклыми, темными красками и только язвы свои рисуем красиво; мы везде, где могли, — а особенно в поэзии, — выдвинули вперед наши личные неудачи... Те, что идут за нами, видят и слышат всё это... и утомляются чужим горем раньше, чем придет свое. А когда оно приходит, — у них уже нет силы сопротивляться ему... и они тоже громко стонут...

Она замолчала и посмотрела в небо, где хлопотливо мелькали чайки...

— Кто уважает человека, тот должен молчать о себе. Кто дал нам злое право отравлять людей тяжелым видом наших личных язв? В древности раненный насмерть гордо молчал, чтобы и стоном своим не дать врагу злой радости... а мы готовы оглушить весь мир жалобным криком, даже когда у нас болят зубы. Нам чуждо великодушие молчания... Моя печаль, быть может, — моя смертельная болезнь... но часто люди болеют и умирают от жадности и от излишеств... мне их не жалко.

Помолчав, она сказала тихо, но внятно:

— Так хотелось бы видеть людей более гордыми... Если б я была волшебницей — каждого новорожденного я наделяла бы великодушием молчания!

Она встала — высокая, стройная, вся в легком черном облаке кисеи. У ног ее покорно и весело разбивались волны, ее лицо было спокойно и глубокие глаза гордо смотрели вдаль.

— Прощайте! — сказала она, кивая головой, и вновь длинные ресницы ее ласково дрогнули.



Я поклонился ей молча.

И она медленно пошла среди серых камней, то появляясь между ними, то исчезая вновь, гибкая, сильная, полная великодушного молчания о своем горе.

Резво и весело одна за другой волны разбивались о камни берега, и воздух, насыщенный бодрым запахом моря, тихо и сонно дрожал от их шумного плеска. Радостно, и щедро, и безмолвно солнце обливало море и землю жгучим плодотворным светом.

## ПРИМЕЧАНИЯ

---



## УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

### ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

- Александровский* — Г. В. Александровский. М. Горький и его сочинения. Изд. 2. Киев, 1901.
- Архив Г<sub>1-Х1</sub>* — Архив А. М. Горького, т. I. История русской литературы. М., Гослитиздат, 1939; т. II. Пьесы и сценарии. М., Гослитиздат, 1941; т. III. Повести, воспоминания, публицистика. Статьи о литературе, 1951; т. IV. Письма к К. П. Пятницкому, 1954; т. V. Письма к Е. П. Пешковой, 1955; т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке, 1957; т. VII. Письма к писателям и И. П. Ладыжникову, 1959; т. VIII. Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами. М., Изд-во АН СССР, 1960; т. IX. Письма к Е. П. Пешковой. М., Гослитиздат, 1966; т. X. М. Горький и советская печать. М., Изд-во АН СССР, кн. 1, 1964; кн. 2, 1965; т. XI. Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым. М., «Наука», 1966.
- БЖ* — издание Библиотека «Жизни».
- Боцяновский* — В. Ф. Боцяновский. Максим Горький. Критико-биографический этюд. СПб., 1903.
- Воровский* — В. В. Воровский. Литературно-критические статьи. М., ГИХЛ, 1956.
- Гальковский* — Н. М. Гальковский. Максим Горький. Литературная характеристика. Воронеж, 1905.
- Г, Материалы* — М. Горький. Материалы и исследования, тт. I и III. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1934 и 1941.
- Гр<sub>1-2</sub>* — М. Горький. Собрание сочинений. Ред. и комм. И. А. Груздева, тт. I—XXIII. М.—Л., ГИЗ, 1928—1930; тт. I—XXIII, 1930—1931; тт. I—XXVI, изд. 2, дополненное.
- Грж* — М. Горький. Избранные рассказы. 1893—1915. Петербург, Берлин, Москва, изд. 3. И. Гржебина, 1921.
- Г-30* — М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах. М., Гослитиздат, 1949—1953.
- Г Чтения*, 1940—1966 — Горьковские чтения, 1937—1938. М., Изд-во АН СССР, 1940. Горьковские чтения, 1964—1965. М., Изд-во АН СССР, 1966.

- ДБЗ* — Дешевая библиотека товарищества «Знание». СПб., 1906, №№ 1—35.
- ДЧ<sub>1-2</sub>* — М. Горький. Очерки и рассказы. СПб., изд. С. Дороватовского и А. Чарушикова, тт. I—II, 1898, т. III, 1899; тт. I—II, изд. 2. СПб., 1899.
- ЖЗ* — Сочинения М. Горького. СПб., «Жизнь и знание», тт. X—XII, 1914; тт. XIII, XVII—XX, 1915; тт. XIV, XVI, XVII, 1916; т. XV, 1917.
- Зн<sub>1-10</sub>* — М. Горький. Рассказы. СПб., изд. товарищества «Знание», тт. I—IV, 1900, т. V, 1901; тт. I—IV, изд. 2, 1901, т. VI («Пьесы»), 1902; т. V, изд. 2, 1903; тт. I—IV, изд. 3, 1901; тт. I—V, изд. 4, 1903; тт. I—VI, изд. 5, 1903; тт. I—V, изд. 6, 1903; тт. I—V, изд. 7, 1903; тт. I—IV, изд. 8, 1903; тт. I—VI, изд. 9, 1903; т. VII («Пьесы»), изд. 1, 1906; т. VIII («Пьесы»), изд. 1, 1908; т. I, изд. 10, 1908; т. II, изд. 10, 1911; т. IX, изд. 1, 1910; т. III, изд. 10, 1912; т. IV, изд. 10, 1910.
- К* — М. Горький. Собрание сочинений, тт. 1—21. Berlin, Verlag «Книга», 1923—1928.
- Кедров* — Вас. Кедров. В чем истинное значение творчества Максима Горького? Опыт критического анализа произведений М. Горького. СПб., 1904.
- ЛЖТ<sub>I-IV</sub>* — Летопись жизни и творчества А. М. Горького, вып. I—IV. М., Изд-во АН СССР, 1958—1960.
- Лит Насл* — Горький и советские писатели. «Литературное наследство», т. 70. М., Изд-во АН СССР, 1963.
- Луначарский* — А. В. Луначарский. Собрание сочинений в 8 томах. М., ГИХЛ, 1963—1967.
- Поссе* — В. А. Поссе. Мой жизненный путь. М., 1929.
- Пр Зн<sub>10</sub>* — текст Зн<sub>10</sub> с авторской правкой для издания *К*, хранящийся в Архиве А. М. Горького.
- ПТ* — первопечатный текст.
- Чехов* — А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем в 20 томах. М., 1944—1951.

В четвертый том настоящего издания вошли произведения, написанные Горьким в период с конца 1897 до лета 1899 г. «Скуки ради», «Проходимец», «Каин и Артем», «Читатель», «Дружки», «О чёрте», «Еще о чёрте», «Кирилка», начиная с ДЧ<sub>1</sub>, а «Васька Красный», начиная со З<sub>н1</sub>, включались во все авторизованные собрания сочинений. Кроме «О чёрте» и «Еще о чёрте», каждое из них вышло также отдельным изданием в ДБЗ. Первое отдельное издание «Фомы Гордеева» вышло в БЖ, № 3, 1900, январь.

Остальные произведения настоящего тома в собрания сочинений Горьким не включались. Из них семь были опубликованы при жизни автора, а четыре после его смерти. Рассказ «Христо-славы» и три вещи из раздела III: <«На станции»>, <«Уважаемые покупатели!»> и <«Поверка кончилась»> — в собрание сочинений включаются впервые.

Принципы распределения произведений по томам изложены в предисловии к изданию (т. I). В разделе «Примечания» приведены условные обозначения источников текстов как рукописных, так и печатных. Полные библиографические сведения о цитируемых источниках, отсутствующих в перечне, указываются при первом их упоминании. Отсутствие специальной оговорки о рукописях и машинописях означает, что либо они не сохранились, либо редакция ими не располагала.

Тексты четвертого тома подготовили и примечания к ним составили: *И. И. Вайнберг* (<«На станции»>, <«Уважаемые покупатели!»>, <«Первый раз я увидел эту женщину...»>), *Э. Л. Ефременко* («Скуки ради», «Проходимец», «Дружки», «Каин и Артем», «Кирилка», «Васька Красный», «О чёрте», «Еще о чёрте», «Хороший

Ванькин дель», «Фарфоровая свинья», «Встряска», «Христославы», «Свиданье», «На базаре»), *А. М. Крюкова* («Чптатель»), *Л. Н. Смирнова* («Фома Гордеев»), *А. А. Тарасова* («Финоген Ильич», «Поверка кончилась»)).

Тексты рассмотрены и утверждены Текстологической комиссией под председательством *В. С. Нечаевой*.

В научном редактировании тома принимал участие *Н. Н. Жегалов*.

В технической и организационной работе, связанной с подготовкой тома к печати, участвовала *И. И. Соколова*.

## СКУКИ РАДИ

(Стр. 7)

Впервые, с подзаголовком «Очерк», напечатано в «Самарской газете», 1897, № 275, 25 декабря.

В Архиве А. М. Горького хранится текст  $Z_{H10}$  с авторской правкой для  $K$  (ХПГ-44-12-1).

Печатается по тексту  $K$  со следующими исправлениями по ПТ, ДЧ<sub>1-3</sub>,  $Z_{H1-10}$ , ГР<sub>1-2</sub>, Пр  $Z_{H10}$ :

Стр. 12, строка 9: «сшить ему рубах» вместо «спить рубахи».

Стр. 14, строка 13: «передавая» вместо «передвигая».

Стр. 18, строка 25: «окружала» вместо «окружила».

Стр. 20, строка 3: «Дверь отворилась» вместо «Двери отворились».

Рассказ «Скуки ради» написан в селе Каменном, Тверской губернии. Отвечая на вопрос И. А. Груздева, где и когда написан рассказ, Горький сообщил 2 марта 1928 г.: «„Скуки ради“ — на фабрике Кувшиновых в 97 г. За этот рассказ меня сильно ругал Н. З. Васильев, мой друг, у которого я и жил в зиму 97—8» (*Архив ГХ*, стр. 171).

В рассказе отразились впечатления, оставшиеся в памяти писателя со времени его службы на железнодорожных станциях Волжская, Добринка, Борисоглебск и Крутая Грязе-Царицынской железной дороги (осень 1888 г.— весна 1889 г.).

Позднее в автобиографическом рассказе «Сторож» Горький писал: «Юность и малограмотность не мешали мне тревожно чувствовать скрытые в „святой, честной прозе“ возможности тяжелых и пошлых драм».

Мечтая о каких-то великих подвигах, о ярких радостях жизни, я охранял мешки, брезенты, щиты, шпалы и дрова<...>, а по ночам, бывало, вдруг вспомнив о действительности, тихонько гниющей вокруг, часами сидел или лежал, ничего не понимая, точно оглушенный ударом палки по голове» (*Г-30*, т. 15, стр. 78).

Готова «Скуки ради» для ДЧ<sub>1</sub>, Горький сократил рассказ, сильно изменив его конец. При последующих переизданиях в текст вносились лишь стилистические исправления, наиболее существенные из которых были сделаны при подготовке рассказа для  $K$  (см. варианты).

Рассказ был высоко оценен критикой. Современники отмечали, что Горький продолжает лучшие традиции русской реалистической литературы XIX века.



«По художественности изображения скуки пошлой жизни Горький в этом рассказе положительно не уступает Антону Чехову» (*Боцяновский*, стр. 57).

«В этом рассказе Горький, по силе разоблачаемого им ничтожества и пошлости человеческой природы, возвышается до гоголевского реализма. Чтение рассказа „Скуки ради“ заставило нас пережить те же сильные впечатления, которые, думаю, всякий переживал в свое время, читая „Шинель“ Гоголя» (*Кедров*, стр. 30).

«Очерк написан без всяких подчеркиваний, — писал В. А. Поссе в статье „Певец протестующей тоски“, — но, тем не менее, прочитав его, трудно удержаться, чтоб не воскликнуть: „Страшно жить на этом свете, господа!“ Сравнивая «Скуки ради» с «Зазабурной», критик отмечал: «В сознании Горького „мир отверженных“ отражается более человечным, менее равнодушно-жестоким, чем среда полунинтеллигентных железнодорожных чиновников» (*Образование*, 1898, № 11, отд. II, стр. 49).

«Значительным по замыслу и истинно превосходным по исполнению» считал рассказ Н. К. Михайловский. В статье «Литература и жизнь» он писал: «Самое чуткое ухо не услышит здесь ни одной фальшивой ноты, самая строгая рука не вычеркнет и не прибавит ни одного слова. И хотя тут нет ни одного босяка и никто не жалуется на „яму“, но читатель и без авторского подсызания сам скажет: Какая яма! Какая ужасная яма эта жизнь, в которой „скуки ради“ продельвается возмутительнейшее издевательство над людьми! Продельвается не злобно, а именно только скуки ради, как суррогат настоящей жизни. И сами эти жестокие забавники, творящие издевательство, но не ведающие что творят, вызывают, несмотря на свою отупелость, едва ли даже не больше сожаления, чем их жертвы; ибо и они, эти жестокие забавники, — жертвы „ям“...» (*Русское богатство*, 1898, № 10, отд. II, стр. 93).

Несмотря на различие тематики, некоторые критики справедливо отмечали общность этого произведения с циклом «босяцких» рассказов. Л. Е. Оболенский писал: «...когда человек талантливый и мыслящий, как Максим Горький, — сам проник в этот „ад“, пережил моменты его духовного страдания и почувствовал в собственном сердце, как эти безысходные страдания приводят роковым психическим процессом к „органическому“ протесту против всего мира, всего общества, всех его устоев, всех его форм, — тогда у такого человека, после того как он выбрался из этого ада, является желание — непреодолимое, страстное, беспредельное — крикнуть всему миру: „Да посмотрите себе под ноги! Кого вы топчете!? Ведь это живые люди, живые души! <...> Посмотрите, вы мучите, вы поедаете друг друга просто „скуки ради!“ И г. Горький дает потрясающую иллюстрацию такого бескровного людоедства в очерке того же имени! Он как будто хочет сказать этим: „Разница между вами и босяками та, что вы людоеды от скуки, а они — от внутренней муки, устроенной им вами. И вы людоедствуете в таких общепринятых формах, что даже пользуетесь за это почетом, а они третируются

вам хуже всяких гадов!“» (Л. Е. Оболенский. Талант Максима Горького.— Сб. «Критические статьи о произведениях Максима Горького». СПб., 1901, стр. 250).

Марксистская критика особо отметила в ранних рассказах и, в частности, в данном, с одной стороны, глубоко гуманистическую направленность, с другой — обличительную, порой сатирическую устремленность: «...мы получили бы неправильное представление о психологическом облике автора,— писал В. В. Воровский,— если бы подумали, что только те черты, которые выражают силу, гордость, смелость, презрение и ненависть к мещанскому благополучию, одним словом, черты мощных хищников, дороги ему и только их умеет он находить в среде своих героев-босьяков. Напротив, эти черты вскрывает он, так сказать, по побуждениям объективного, общественного характера, его же субъективные, интимные симпатии тянут его к другим психологическим чертам: именно к проявлениям доброты, альтруизма, мягкости, гуманности. Ибо М. Горький до мозга костей гуманист <...> Вдумайтесь в отношение автора к „Зазубрине“ и к тупой компании из рассказа „Скуки ради“» (Воровский, стр. 259).

Стр. 14. *Карточная игра, по выражению Шопенгауэра, есть банкротство всякой мысли.*— У Шопенгауэра: «...карточная игра во всех странах сделалась главным занятием всякого общества: она масштаб его ценности и признанное банкротство всякой мысли» (А р т у р Ш о п е н г а у э р. Афоризмы и максимы. Т. 1. СПб., 1892, стр. 33).

Стр. 15. *«Да, экономна мудрость бытия: всё новое в ней шьется из старья».*— У К. М. Фофанова в стихотворении «Дума в Царском селе» вместо «Да, экономна...» — «Ах, экономна...» (К. М. Ф о ф а н о в. Стихотворения и поэмы. М.—Л., 1962, стр. 269).

Стр. 20. *За миг свиданья/Терплю страданья!* — Слова из романа «За миг свидания» — текст и музыка М. Штейнберга (Песенник. СПб., 1908, стр. 31).

Стр. 21. *Смеяться, право, не грешно/Над тем, что кажется смешно!* — В стихотворении Н. М. Карамзина «Послание к Александру Алексеевичу Плещееву» (1794) вместо «Над тем...» — «Над всем...» (Н. М. К а р а м з и н. Избранные сочинения, т. 2. М.—Л., 1964, стр. 44).

Стр. 22. *Но «не в шитье была тут сила»* ∞ *«Нарядная и убогая»...* — В стихотворении Н. А. Некрасова «Убогая и нарядная»: «И не в шитье была там сила» (Н. А. Н е к р а с о в. Полн. собр. соч., т. 2. М., 1948, стр. 47, 48).

## ПРОХОДИМЕЦ

(Стр. 25)

Начало рассказа под заглавием: «Проходимец. (Из воспоминаний). 1. Встреча с ним» (до слов: «Когда мы вошли в улицу села») (стр. 33 наст. изд.) — впервые напечатано в газете «Нижегород-

ский листок», 1898, № 31, 1 февраля. Полностью рассказ напечатан в журнале «Жизнь», 1898, т. 15, май, стр. 277—294; т. 16, июнь, стр. 51—68, с подзаголовком: «Из воспоминаний», и разделением на три главы: «I. Встреча с ним», «II. Его образ действий», «III. История его жизни».

В Архиве А. М. Горького хранится текст *Зн<sub>10</sub>* с авторской правкой для *К* (ХПГ-44-12-1).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

*Стр. 26, строка 9:* «полз» вместо «полез» (по всем другим источникам).

*Стр. 27, строка 8:* «догорела» вместо «догорала» (по *ПТ*, *Ж*, *ДЧ<sub>2</sub>*, *Зн<sub>1-9</sub>*).

*Стр. 27, строка 12:* «папиросу» вместо «папироску» (по *Пр Зн<sub>10</sub>*).

*Стр. 32, строка 39:* «ничто» вместо «ничего» (по *ПТ*, *Ж*, *ДЧ<sub>2</sub>*, *Зн<sub>1-9</sub>*).

*Стр. 41, строка 8:* «едва сдерживая» вместо «и едва сдерживал» (по *Пр Зн<sub>10</sub>*).

*Стр. 42, строка 6:* «с ним» вместо «с ними» (по *ПТ*, *Ж*, *ДЧ<sub>2</sub>*).

*Стр. 53, строка 9:* «когда натура твоя» вместо «когда твоя» (по всем другим источникам).

В письме к И. Е. Репину от 23 ноября 1899 г. Горький указал, что рассказ «написан в 97 году» (*Г-30*, т. 28, стр. 101). Но, вероятнее всего, в с. Каменном (Каменке) в конце 1897 г. было написано лишь начало рассказа, составившее впоследствии его первую главу и опубликованное в «Нижегородском листке». Над продолжением рассказа Горький, видимо, работал в 1898 г., в Нижнем Новгороде. Рассказ был закончен и отправлен в редакцию «Жизни» не позже 6 мая 1898 г., так как в ночь с 6 на 7 мая Горький был арестован: «...явились жандармы с обыском, перерыли всё, забрали письма и увели Алексея», — писала Е. П. Пешкова В. А. Поссе (ЛЖТ<sub>1</sub>, стр. 209).

В рассказе «Проходимец» нашла отражение одна из реальных встреч Горького периода «хождения по Руси». Отвечая на вопрос Репина, заинтересовавшегося рассказами «Читатель», «Мой спутник», «Дружки», «Проходимец», «Однажды осенью», Горький в цитированном выше письме сообщал: «„Проходимец“ — живое лицо, ваш, петербургский, житель. Это одно из моих бесчисленных приключений» (*Г-30*, т. 28, стр. 101).

Напечатав рассказ в журнале, Горький, однако, не был им удовлетворен. Составляя третий том *ДЧ<sub>2</sub>*, он долго колебался, включать ли в него «Проходимца». 29 августа 1898 г. он писал С. П. Дороватовскому: «После издания книжек (I—II томов *ДЧ<sub>1</sub>* — *Ред.*) напечатана „Олесева“ <...> и еще совершенно неприличный рассказ в „Жизни“ — „Проходимец“. Исправив „Олесову“, — пришлю, пришлю, если хотите, и „Проходимца“, но у меня нет оттисков этой штуки. Не возьмете ли Вы сами в „Жизни“?» (там же, стр. 30). В начале мая 1899 г. Горький сообщил Дороватовскому: «„Проходимец“ — тоже сомнительная вещь. Его можно поместить только так: *начало*, *середину* — приход в деревню и

разговор с хохлами — выкинуть, — и потом конец — рассказ проходимца. И озаглавить это „Рассказ проходимца“. Это будет оригинально — читатель и не разберет, кто тут проходимец — автор ли сам или герой его?» (там же, стр. 80). В конце мая он повторяет свою просьбу: «А „Проходимца“ будете помещать — поместите его рядом со „Спутником“ и только начало да конец, без середины. Хотел бы я иметь его корректуру. Возможно — припшите. Я не задержу» (там же, стр. 81). Прочитав в корректуре некоторые рассказы третьего тома ДЧ<sub>2</sub>, Горький писал Дороватовскому во второй половине июня 1899 г.: «Посылаю, добрейший, „Кирилку“ и „Проходимца“. К сожалению, сего последнего исправить невозможно так, как мне того хотелось бы. Печатайте его — каков есть, или замените „Васькой“» (там же, стр. 87).

Работая над корректурой рассказа для третьего тома ДЧ<sub>2</sub>, Горький внес в текст около десяти стилистических поправок и сделал несколько вычерков. Два значительных сокращения, связанных с характеристикой Промтова, были сделаны при подготовке рассказа для Зн<sub>4</sub>. После слов: «Нет законов иных, разве во мне!» (стр. 42) было: «Сие мое убеждение и Иоанн Златоуст подтверждает, провозглашая: „истинный шекинах — есть человек“».

— Однако, чем Вы хвастаетесь...

— Дурным, конечно, с Вашей точки зрения... Но я, видите ли, не охотник до благоприличных точек зрения... и полагаю, что коли меня батогом, — так я должен не челом, а тоже палкой...». После слов: «...от избытков своих» (стр. 57) во всех изданиях до Зн<sub>4</sub> следовал довольно обширный рассказ об одной из прудок Промтова (см. варианты).

В текст для Грж автор внес несколько исправлений исключительно стилистического характера.

При подготовке рассказа для К Горький вычеркнул еще два значительных отрывка, в одном из которых дается характеристика Промтова, в другом — пейзажная зарисовка. После слов: «призрачное благосостояние...» (стр. 38) было: «Когда мужику заплатят чем-нибудь хорошим за всё дурное, которым так щедро награждают его? Вот рядом со мной идет продукт городской жизни, циничный и умный проходимец, живущий на счет соков этого мужика, волк, уверенный в своей волчьей силе...».

Кроме того, на этой последней стадии текст подвергся окончательной стилистической шлифовке (см. варианты).

Сам Горький позднее так раскрыл свое отношение к некоторым персонажам его произведений, в частности к Промтову: «Я, как мне думается, достаточно определенно показал прелесть животного эгоизма в очерке „Мой спутник“. В соединении с жульнической философией „Проходимца“, Луки и Маркушки в „Кожемякше“ этот эгоизм и дает то, что нас, русских, губит, — снедающую нас болезнь, которую можно назвать пассивным анархизмом» (письмо И. И. Лебедипову, 1913. — Архив А. М. Горького, ПГ-рл-23-15). В «Беседах о ремесле» Горький еще точнее определил «философию» Промтова и ему подобных, назвав ее «анархиз-

мом побежденных»: «...я много видел „бывших людей“ в ночлежных домах, монастырях, на больших дорогах. Всё это были побежденные в непосильной борьбе с „хозяевами“, или собственной слабостью к мещанским „радостям жизни“, или непомерным самолюбием своим.

Критика упрекала меня за то, что я будто бы „романтизировал босяков“, возлагал на люмпен-пролетариат какие-то несостоятельные и несбыточные надежды и даже приписал им „ницшеанские настроения“.

„Романтизировал“? Это едва ли так. Надежд не возлагал никаких, а что снабдил их, так же как и Маякина, кое-чем от философии Ницше — этого я не стану отрицать <...> однако думаю, что приписывал бывшим людям анархизм „ницшеанства“, „анархизм побежденных“, имея на это законнейшее право. Почему?

А потому, что „бывшие люди“, которых жизнь вышвырнула из „нормальных“ границ в ночлежки, в „шалманы“, и некоторые группы „побежденных“ интеллигентов обладали совершенно ясными признаками психического сродства <...> Между „бывшими людьми“ ночлежек и политиканствующими эмигрантами Варшавы, Праги, Берлина, Парижа я не вижу ничего различия, кроме формально словесного. „Проходимец“ Промтов и философствующий шулер Сатни всё еще живы, но иначе одеты и сотрудничают в эмигрантской прессе, проповедуя „мораль господ“ и всячески оправдывая их бытие» (Г-30, т. 25, стр. 322).

В критике рассказ «Проходимец» вызвал противоречивые отзывы. В большинстве из них отсутствовал глубокий анализ «философии» Промтова; а в некоторых содержались даже попытки оправдать и героя и его «учение». «Промтов не может прилепиться к жизни, — писала Л. В. Щеглова, — но это не приводит его ни к тоске, ни к отчаянию. Он просто, подчиняясь требованию своей природы, уходит от жизни и спокойно предается созерцанию прошлого и настоящего. Это, если можно так сказать, объективизм, который в одно и то же время является и разъединяющим и соединяющим моментом. Объективизм этот признает необходимость следовать требованиям своей природы, и постольку он является разъединительным и индивидуальным. Но та же оценка применяется Промтовым и вообще к жизни всех людей. Он объединяет их неизбежностью смерти, и таким образом объективизм на этот раз становится моментом соединяющим». Сославшись далее на слова Промтова, что ложь нельзя считать вредной, критик утверждал: «Это „вранье“ или иллюзия не должна быть относима за счет нравственности Проходимца, а должна быть неизбежно оценена, как продукт взаимоотношения между им самим и внешней жизнью <...> в Промтове мы видим полное отграничение внутренней и внешней жизни. В нем есть та цельность, которая дает основание для созерцательного настроения или для объективизма <...> Вся его жизнь, как и жизнь других людей, носит сама в себе оправдание и объединяется смертью, поэтому нет ни упреков жизни, ни обвинений, и вместо грустного раздумья и горького

чувства мы видим полную объективность и созерцательное настроение» (Л. В. Щеглова. Настроение современной личности. — «Вестник знания», 1904, № 10, стр. 96—97).

Критик Н. Боголюбов считал Промтова ярким выразителем идей ницшеанства: «Он не работает („до этого не охотник“), не желает ни и унизиться, ни просить милостыню. Он желает властвовать, приказывать <...> Он мутит среду, лжет и наслаждается своей ложью <...> Смотри на других, — все они драные, рваные; все они — сластолюбцы, хищники, любодесы, — смотри на всё это — и умиляйся в сознании своего величия. Главное — сохраняй в себе жизненное равновесие, а там, на что бы ты ни опирался, всё равно <...> Всё должно быть употребляемо тобой, как средство для сохранения „своей сверхчеловеческой шкуры“» (Н. Боголюбов. Герон М. Горького и их мировоззрение. Харьков, 1906, стр. 36, 39—40).

Н. К. Михайловский склонен был рассматривать Промтова как тип босняка, мало отличающийся от героев других рассказов «босяцкого цикла», несмотря на сугубо индивидуальные черты, и упрекал Горького в идеализации подобных типов. По мнению Михайловского, Промтов «тоже окружен некоторым ореолом красоты, так что Варенька Олесова могла бы любоваться им не меньше, чем злодеями французских романов. Благодаря этой чувствительности к красоте силы, в чем бы она ни проявлялась, г. Горький и сам стоит, и читателей своих держит на некотором распутье. Есть у него силы тоскующие, мятущиеся, ищущие приложения силы <...> Есть силы самодовольные, утешающиеся собою, своею властью над людьми. Таков, например, „проходимец“ Промтов, которому знакомо „высокое наслаждение чувствовать себя приподнятым над людьми“, издеваться над ними, повелевать <...> Орлов, Коновалов и проч. имеют только отрицательное значение и, как справедливо говорит один из „бывших людей“, могут лишь „создать нарушение общественной тишины и спокойствия“; а силы, жаждущие первенства для первенства, власти для власти и с высоты ее издевающиеся и надругающиеся над людьми, тяготеют лишь к некоторым перемещениям в рамках „будничной“ жизни, а не к борьбе с нею по существу. Г-н Горький, конечно, знает всё это, но все-таки ставит все эти разнородные типы сильных людей за общую скобку красоты и часто заставляет их по частям выражать одни и те же мысли, одними и теми же красивыми словами. Оттого-то и трудно разбираться в его „философии“» («Русское богатство», 1902, № 2, отд. II, стр. 174—175).

С подобными взглядами не соглашался В. Кедров: «Живой ум, находчивость, смелость, остроумие, развившиеся под влиянием таких обстоятельств жизни, которые заставляют изощряться в изыскании способов самосохранения, — вот характерные черты личности Промтова, — писал Кедров. — Но вместе с тем это человек без всяких внутренних убеждений, без всяких моральных основ, без всякого объективного мирозерцания. Дешевая философия, слагающаяся из ряда парадоксальных положений, не имеющих никакого твердого основания, является у него плодом

чисто утилитарных соображений, вытекающих в свою очередь из грубого эгоизма его испорченной натуры, признающей свое „я“ центром вселенной <...> Не имея никаких нравственных устоев, отвергая всякие принципы права и морали, Промтов прикрывается кодексом парадоксальных скептических афоризмов, подчас остроумных и метких, но на самом деле не выдерживающих серьезной критики». Возражая далее против распространенного мнения, будто Горький идеализирует босяков, критик заметил: «Намеренной, искусственной идеализации у него нигде не проявляется, она должна была бы звучать фальшиво и тем самым резко бросалась бы в глаза. Между тем Горький с равной объективностью рисует нам как дурные, так и хорошие черты босяков» (*Кедров*, стр. 20—21, 24).

Н. М. Гальковский, рассматривая различные точки зрения на образ Промтова, трактовал рассказ как яркое опровержение Горьким обвинений в нищенстве: «...кроме симпатичных и, так сказать, героических босяков, у Горького есть типы иного сорта <...> Любопытно, что, говоря о босяках Горького, обыкновенно забывают о проходимце, так называемом дворянине Промтове. Это обстоятельство, впрочем, понятно: „Проходимец“ представляет резкую противоположность прочим босякам Горького и никак не укладывается в рамки, заранее намечаемые критиками. Но мы тем более ценим этот рассказ, так как он, кроме огромной талантливости автора, убедительнейшим образом доказывает, что непосредственная жизнь, правда во всей ее наготе, Горькому дороже всех теорий <...> Этот великолепный тип весьма важен для понимания нравственных взглядов нашего автора на изображаемые им явления жизни. Читатель повести Горького „Проходимец“ ни на мгновение не сомневается, как смотрит автор на лже-дворянина Промтова: нравственная безразличность автора сквозит везде. А между тем Павел Игнатьевич Промтов — краса и цвет босячества, последнее слово нищенской морали на практике <...> Самым красноречивым опровержением таких взглядов <критиков, отождествлявших воззрения Горького с идеями Ницше.—*Ред.*> служат проходимец Промтов с князем Шахро...» (*Гальковский*, стр. 22, 26, 28).

А. А. Дивильковский писал о Промтове, как «о типе вырождения» с наслаждением чинящем «всякое зло всем встречным людям в отместку за собственную „отверженность“» (А. Д и в и л ь к о в с к и й. Максим Горький.— «Правда», 1905, апрель, стр. 108).

Стр. 28. *Наш брат Исакий...*— Выражение восходит к «Печерскому патерику». В слове «О преподобнѣм Исакии Печерницѣ» рассказывается о том, как Исакий, будучи искушаем бесами, принял бесовские наваждения за предназначение Христова: «И изшедъ ис кѣліи, поклонися аки Христу, бесовскому дѣйству. Бѣси же кликнуша и рѣша: „наш еси, Исакие!“ заставили его играть на гусях и плясать («Патерик Киевского Печерского монастыря»). Изд. Археографической комиссии. СПб., 1911, стр. 128—131).

Стр. 28... *парижане, находясь в осажденном положении, с удовольствием ели всякую дрянь...*— Имеется в виду осада Парижа во время Франко-прусской войны 1870—71 гг., нашедшая широкое отражение в художественных произведениях Золя, Мопассана и других французских писателей.

Стр. 39. ... *от моря до моря, до Киева города!*..— слова из детской песни:

Туру-туру пастушок,  
Калиновый батожок!  
Куда стадо гонишь?  
От моря до моря,  
До Киева города,  
Там моя родина... —

«Сборник песен Самарского края», составленный В. Г. Варенцовым. СПб., 1862, стр. 16. См. также комментарий к стр. 463.

Стр. 43. ...*первый псалом царя Давида...*— «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей...» (Библия. «Псалтирь», псалом 1).

Стр. 45. *Пробую в «Блуждающих огнях» играть Макса...*— герой драмы Л. Н. Антропова «Блуждающие огни» (1874 г.), педшей в столичных и периферийных театрах в течение многих лет.

Стр. 48. *«От юности моя мнози борют мя страсти».*— Из песнопений воскресной церковной службы («Ирмологий». М., 1702).

Стр. 50. *«Есть наслаждение в бою...»*— В трагедии А. С. Пушкина «Пир во время чумы»: «Есть упоение в бою...»

Стр. 50. *«Это глупо, как факт».*— У Бальзака: «Хоть глупо, но факт» (Шагреновая кожа, ч. III).

Стр. 54. *Знать я не хочу Гекубу!* — Перифраз слов из монолога Гамлета (д. II, сц. 2), ставших крылатым выражением. У Шекспира:

И всё из-за чего?  
Из-за Гекубы! Что ему Гекуба,  
Что он Гекубе, чтоб о ней рыдать.

(Перевод М. Лозинского).

Стр. 59. «всё, что мог, я уже совершил».— В стихотворении Н. А. Некрасова «Размышление у парадного подъезда»: «Всё, что мог, ты уже совершил».

## ДРУЖКИ

(Стр. 62)

Впервые напечатано в «Журнале для всех», 1898, № 10, столб. 2045—2058.

В Архиве А. М. Горького хранится текст *Зн<sub>10</sub>* с авторской правкой для *К* (ХПГ-44-12-1).



Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:  
*Стр. 65, строка 7:* «плевать!» вместо «наплевать!..»  
(по *Пр Зн<sub>10</sub>*).

*Стр. 72, строка 10:* «призрачное сияние» вместо «прозрачное сияние» (*ПТ, ДЧ<sub>2</sub>, Зн<sub>1</sub>*).

*Стр. 72, строка 10:* «наполнило» вместо «шаполнило» (по *ПТ* и *ДЧ<sub>2</sub>*).

Над рассказом Горький работал весной 1898 г. в Нижнем Новгороде. В письме к В. С. Миролубову 1898 г. (до 15 апреля) он сообщал: «Посылаю маленький набросок в Ваше распоряжение. Заплатите за него — хорошо, не можете — не падс» (*Г-30*, т. 28, стр. 24). Можно предположить, что речь шла о рассказе «Дружки», так как в следующем письме тому же адресату (после 15 апреля) Горький говорил уже о конкретном персонаже рассказа: «Я потому не убил Уповающего, что он еще жив, но я, пожалуй, убью его, потому что всё равно он скоро умрет. Вина за подстрекательство к убийству ложится на Вас, так Вы и знайте <...> Конец рассказа моего вышло дня через тр<п> — четыре» (там же, стр. 22). Рассказ тогда, видимо, назывался иначе, потому что В. А. Поссе, уведомляя Горького в конце августа 1898 г. о предстоящей публикации, писал: «Ваши „Два вора“ пойдут в октябрь. Присылайте еще» (Архив А. М. Горького, КГ-п-59-1-24).

У Горького есть рассказ «Друзья», написанный в 1895 г. (см. т. II настоящего издания), в котором два главных героя носят те же прозвища, что и персонажи данного произведения. Однако, несмотря на элементы сюжетного сходства, рассказы различны по содержанию, и рассматривать «Дружков» как новый вариант «Друзей» нет оснований.

Летом 1899 г. Горький дал согласие «Посреднику» на дешевое издание рассказа. Он писал И. И. Горбунову-Посадову: «Всегда готов служить Вашему важному делу как и чем могу. Против издания „Дружков“ для народа, разумеется, ничего не имею» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-11-7-1). Об этом же Горький сообщил С. П. Дороватовскому: «„Посредник“ спрашивает, можно ли издать „Дружков“ за копейку для народа? Я ответил — можно. Прав?» И в следующем письме: «Я думаю — ничего, что рассказ появится и тут и там. Ужасно неловко отказывать, ей-богу! А „Посреднику“ тем более» (*Г-30*, т. 28, стр. 90—91).

Первое дешевое издание «Дружков» появилось в 1900 г.

Сведения о распространении рассказа среди народа содержатся в дневнике А. С. Суворина: «Ездил на Сухаревку. Рассказ Горького „Дружки“ в эти дни на улицах не давал покоя. Всюду: „Интересный рассказ Горького“, или „Максим Горький“. Мужики, мальчики, девочки с этой брошюрой. Я купил его. История двух воров. Один чохоточный, который умирает в овраге. Хорошо рассказано...» («Дневник А. С. Суворина». М.— Пг., 1923, стр. 283. Запись 10 февраля 1902 г.).

Переиздавая «Дружков», Горький почти не исправлял текст. Значительной, но в основном стилистической правке рассказ подвергся при подготовке текста для *К*.

Современники высоко оценили рассказ «Дружки».

И. Е. Репин, прочтя третий том *ДЧ*<sub>2</sub>, писал Горькому, упомяная «Читателя», «Дружков», «Проходимца» и «Однажды осенью»: «Во всех этих вещах есть нотка глубокой души, стучащей в сердце человека. Может быть, служение этим началам жизни порождает охлаждение к искусству, сведение его на средства к достижению общего блага? — Не мне судить» (И. С. З и л ь б е р ш т е й н. Репин и Горький. М.—Л., 1944, стр. 23). Горький ответил на это письмо Репина: «То, что должно бы звучать во всех этих вещах, есть только чувство возмущения и обиды за человека. Я не знаю ничего лучше, сложнее, интереснее человека. Он — всё» (*Г-30*, т. 28, стр. 101).

По поводу чтения рассказов из третьего тома в кругу ялтинских знакомых Горького писал автору его приятель, врач Л. В. Средин: «Из книжки очень одобрили „Спутника“ и „Дружков“...» (*Г Чтения*, 1968, стр. 35).

Вскоре по выходе третьего тома *ДЧ*<sub>2</sub>, «Вестник Европы» в хронике поместил заметку А. Виночкиной: «...он знакомит нас со всеми этими „падшими людьми“, изображая их со всюю жизненной правдой, и описывает их жестокий внешний и внутренний быт <...> Г-н М. Горький, как художник, с прирожденным ему эстетическим чутьем во всем и везде умеет найти и описать красоту...» («Вестник Европы», 1900, № 5, стр. 381 — 383).

«„Бывшие люди“ во многих отношениях годились бы и для будущих людей — настолько в них ощущается энергии, здравого смысла, опыта и даже жизненной правды,— писал А. П. Плетнев, анализируя некоторые сцены из „Дружков“ и „Кирилки“.— Единственно, чего в них нет,— это понимания того социального строя, каким он является в наше время; но в этом непонимании или непризнании его и заключается весь интерес их нравственного облика» (А. П л е т н е в. Максим Горький. СПб., 1902, стр. 10). Уделено внимание рассказу и в брошюре Г. В. Александровского, считавшего, что «Дружки», как и «Дед Архип и Ленька», обнаруживают в авторе «недюжинную способность воссоздавать сокровенные, едва уловимые мысли и настроения, вообще способность к художественному психологическому анализу» (*Александровский*, стр. 48).

Рецензию на дешевое издание «Дружков» «Посредником» поместил «Мир божий»: «Центральным пунктом рассказа является эпизод с кражей лошади, в котором очень тонко проведена разница в психологии обоих дружков: одного бывшего самостоятельного крестьянина-хозяина, и другого — озлобленного городского пролетария. Рассказ заканчивается превосходно написанной сценой смерти одного из друзей. Было бы очень желательно, чтобы редакция „Посредник“ не ограничилась одним этим рассказом М. Горького, а падала в таком же доступном виде и многие другие из его произведений» («Мир божий», 1900, № 12, отд. II, стр. 113).

Сам Горький спустя много лет выразил отрицательное отношение к этому рассказу. Отвечая в октябре 1928 г. художнику В. И. Соколову, приславшему в Сорренто свои рисунки к неко-

торым произведениям Горького, писатель заметил: «Иллюстрации к „Дружкам“ нахожу менее удачными, но, может быть, это потому, что я не люблю рассказ» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-40-19-2).

## КАИН И АРТЕМ

(Стр. 78)

Впервые напечатано в журнале «Мир божий», 1899, № 1, стр. 118—146.

В Архиве А. М. Горького хранится текст  $Z_{n_{10}}$  с авторской правкой для  $K$  (ХПГ-35-1-1).

Печатается по тексту  $K$  со следующими исправлениями:  
Стр. 79, строка 14: «ночлсжки» вместо «ночлсжники» (по смыслу).

Стр. 79, строки 35—36: «хаос звуков вихрем носился» вместо «хаос звуков носился» (по  $ПТ$ ,  $ДЧ_2$ ,  $Z_{n_{1-10}}$ ,  $ГР_{1-2}$ ).

Стр. 83, строка 12: «в луга бы с ней» вместо «в луга с ней» (по  $ПТ$ ,  $ДЧ_2$ ,  $Z_{n_{1-10}}$ ).

Стр. 91, строка 34: «Сампсон» вместо «Самсон» (по  $ПТ$ ,  $ДЧ_2$ ,  $Z_{n_{1-10}}$ ,  $ГР_{1-2}$ ).

Стр. 95, строка 29: «под песчаным» вместо «над песчаным» (по смыслу).

Стр. 96, строка 12: восстановлена фраза: «А! Но я могу быть свидетелем» (по  $ПТ$ ,  $ДЧ_2$ ,  $Z_{n_{1-10}}$ ,  $ГР_{1-2}$ ).

Стр. 100, строка 6: «Потому» вместо «Потом» (по тем же источникам).

Стр. 101, строка 23: «пе убавили» вместо «не убивали» (по  $ПТ$  и  $ГР_{1-2}$ ).

Стр. 103, строка 34: «что Каин» вместо «что то Каин» (по тем же источникам).

Рассказ написан осенью 1898 г. в Нижнем Новгороде. Обсуждая в письме к С. П. Дороватовскому 1898 г. (после 10 октября) содержание третьего тома  $ДЧ_2$ , Горький заметил: «Потом рассказ из „М<ира> б<о>жьего“ недурен» ( $Г-30$ , т. 28, стр. 33—34).

Текст рассказа Горький правил дважды: для  $Z_{n_4}$  и при подготовке его к изданию в  $K$ . В основном это была стилистическая, но довольно существенная правка. Работая над текстом для  $K$ , автор сделал вместе с тем много сокращений и уточнил характеристики персонажей (см. варианты).

Критика встретила рассказ противоречивыми толками.

Многие увидели в нем лишь повторение и видоизменение ранее затронутых тем и мотивов. А. М. Скабичевский писал: «Опять всё те же босяки, те же байроновские герои в рубище, раздражающиеся грозными проклятиями против всего человечества. Рассказ, что и говорить, рассказан талантливо, эффектно, но все-таки не слишком ли уж много босяков?» («Сын отечества», 1899, № 20, 22 января). Примерно в таком же плане высказался

критик «Русских ведомостей» И-т (И. Н. Игнатов): «Среда, изображаемая в рассказе, описывалась автором во многих предыдущих его рассказах: это — мир босяков, оборванцев, золоторотцев <...> Несмотря на деланность некоторых сцен (например, последнего объяснения Каина с Артемом, так же как оживления избитого силача евреем), рассказ местами производит впечатление» («Русские ведомости», 1899, № 13, 13 января). Им вторил А. А. Измайлов: «...последние вещи, выходящие из-под пера молодого рассказчика, представляют очень часто возвращение к прежним типам, повторение или видоизменение затронутых мотивов, и в них всё яснее и яснее выступает некоторая идеализация, допускаемая автором в отношении к своим героям, в огромном большинстве отверженцам общества, — но, во всяком случае, печать незаурядного и своеобразного дарования лежит и на произведениях самого последнего времени <...> Нельзя сказать, чтобы отмеченная тенденция г. Горького была совершенно незаметна в названном рассказе <...> Артем — главный герой нового рассказа, чисто эпическая фигура. Это богатырь, на стороне которого всецело лежат симпатии автора...» («Биржевые ведомости», 1899, № 21, 22 января).

Резко отрицательную оценку дал рассказу Вас. Кедров: «„Каин и Артем“ <...> поражает искусственностью и претенциозностью своего построения. В нем ясно проглядывают потуги автора создать нечто сильное, тронуть глубину содержания, но, несмотря на все усилия, рассказ остается ходульным и бледным, в нем отсутствует искренний тон и неподдельное вдохновение, от него веет манерностью» (Кедров, стр. 28).

Охранительная печать пыталась истолковать произведение на свой лад. А. Басаргин (А. И. Введенский) писал: «Герой М. Горького Артем, о своеобразной кротости которого у нас будет речь ниже, есть именно воплощение силы. Это какой-то Илья Муромец, пересаженный из былинного века в мир современных босяков <...> Каин, так сказать, чтит в Артеме свой идеал — идеал человека сильного, — и хотел, склонив эту силу на свою сторону, сделать из Артема себе защитника от толпы <...> Замечательна противоположность мотивов, которые устанавливают близость между столь противоположными людьми, как Артем и Каин. Каин сближается, так сказать, по мотивам утилитарным. Напротив, Артем, при всей заскорузлости своего ума и тупости чувства, — по мотивам чисто этическим <...> В нем, очевидно, проснулся его идеал: „давно уже томил его какое-то неопределенное желание <...> и вот теперь он понял его“». Сравнивая дальше рассказ «Каин и Артем» со «Смиренным» В. Г. Короленко, Басаргин утверждал, что силач Артем по-своему кроткий человек, хотя эта сторона его натуры оттенена Горьким недостаточно отчетливо. С этой точки зрения критик считает рассказ Короленко своеобразной «поправкой» к «Каину и Артему»: в «Смиренных», по мнению Басаргина, Короленко четко формулирует мысль о том, что «русский народ кроток и смирен сердцем, потому он сознает, что живет во грехах и должен за них расплачиваться» («Московские ведомости», 1899, № 51, 20 февраля).

Своеобразную трактовку «Каина и Артема» дал А. А. Дивильковский. Он рассмотрел рассказ с точки зрения развития и воплощения в нем общей, свойственной всем произведениям Горького, героической идеи: «Этот рассказ может считаться *chef d'oeuvre*'ом М. Горького (из числа собственно *рассказов*, т. е. маленьких новелл) как в отношении к идее, так и к художественной форме <...> М. Горький перешел от изолированных изображений „сильного“ и „слабого“ типа к их реальной взаимной связи <...> И Каин и Артем сами по себе представляют достойных братьев Шакро, „студента“ и „проходимца“. Если первые два — прямые рабы жизни, хитрые, лукавые, низкие, то уж Каин — жалчайший из рабов <...> Каин весь составлен из мысли о копейке и страха о завтрашнем дне и, даже спасая Артема от смерти, мечтает лишь уготовить защитника *для себя*. Артем же, хотя и не так принципиально злобен, как „проходимец“, но не менее последнего благодушествует, устроившись очень привольно на счет покорного его страшной силой и неотразимой красотой Шихана: и здесь и там природная героическая сила выродилась в хищную силу <...> приемом крайнего объективного беспристрастия автору удается в „Каине и Артеме“ показать, что сама серая, даже черная действительность в ее грубейшем проявлении прямо управляется силой героической идеи <...> каковы бы ни были мотивы преклонения обитателей Шихана перед Артемом, но, во-первых, само это тяготение массы людской к одному центру доказывает уже, что жизнь всегда и везде ищет *героя* <...> Но жизнь эта есть жизнь массы, массы „слабых“: она может *только* искать, *только* ожидать своего героя, создать его себе она не может; поэтому, раз ее жажде героизма не дается соответственного объекта в лице Геркулесов и Самсонов, она довольствуется Артемами, и нет ничего мудреного, что при этом заодно вызываются к жизни у людей не высшие, а низшие чувства. Во-вторых, вокруг Артема сплелись, правда, низменные вождения и низкий страх обитателей Шихана, *но именно этими низкого разбора чувствами*, именно *через них* <...> Шихан поклоняется качествам подлинного героя в Артеме: он, слепой Шихан, темно чувствует в гордой, грозной силе Артема и в его мощной красоте отдаленную возможность, предсказание высокого подвига <...> Только в этом освещении фигуры Артема <...> становится вполне понятной его история с самым презренным для всего Шихана существом — евреем Каином. <...> из рассказа выступает и другая сторона нравственной связи сильных с слабыми <...> Каин в самую скверную минуту жизни Артема приютил и обласкал его — так, что даже толстокожий шиханский герой вдруг почувствовал за собой долг благодарности. Автор как бы говорит нам этим эпизодом: самый сильный человек пропадает в одиночку и силен всё же только на людях...» («Правда», 1905, апрель, стр. 107—110).

Обратившись к рассказу «Каин и Артем» в советские годы, А. В. Луначарский рассмотрел его в свете развития Горьким темы босняка и пришел к выводу, что образом Артема писатель развенчивал героя своего раннего творчества.

«Со всем вниманием Горький всматривался в своего босяка, со всей честностью проверял то, что он действительно об этом босяке знал. И вот, наконец, он вынужден был отречься от него <...> и говорить о более глубоком и чистом художественном отречении, сказавшемся в произведениях, целиком отданных описанию босяков и принадлежащих к числу лучших у Горького <...> кого же можно противопоставить Коновалову среди босяков? — Вот такого красавца Артема, тигра большого рынка? Но, изображая это пмпозантное чудовище, Горький приходит прямо к выводу, что перед нами моральный идиот, вряд ли заслуживающий имени человека.

Босяк под влиянием реалистического электролиза Горького распался на две составные части: на человека-зверя и на мягкого мечтателя. Это и было крушением босяческого ницшеанства Горького» (*Луначарский*, т. 2, стр. 148—149).

Стр. 81. *Херем* — вид церковного наказания: им грозили за богоотступничество и непослушание.

Стр. 81. *Некошерное мясо* — не дозволенное по еврейскому закону.

Стр. 91. *Этот человек — как Самсон, кто из вас может одолеть его?* — См. пояснение к стр. 92.

Стр. 92. *...вы можете разорвать пасть льва и избить филистимлян...* — Согласно библейской легенде, героем-богатырем, прославившимся своей феноменальной силой в борьбе с филистимлянами, был Самсон (Библия. «Книга судей», гл. 13—16). Один из подвигов Самсона — схватка со львом, которого он «растерзал как козленка, а в руке у него ничего не было». Филистимляне (от древнееврейского «пелиштим») — одно из древних племен, давшее имя Палестине.

Стр. 93. *...просил я господа моего С в защитники Мардохею царя, победившего все народы...* — По библейскому сказанию, при персидском царе Артаксерксе главным вельможей был честолюбивый Аман, ненавидевший иудеев и добившийся у царя разрешения на их поголовное уничтожение. Накануне истребления иудеев царь случайно узнал о том, что незадолго до этого иудей Мардохей спас ему жизнь, открыв придворный заговор. Артаксеркс позвал Амана и спросил: «Что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью?» Аман, уверенный, что почести готовятся ему, посоветовал возложить на такого человека царскую одежду, посадить на коня и «чтобы главнейший из вельмож провел его по всем улицам». Тогда царь сказал Аману: «Тотчас же возьми одеяние и коня и сделай это Мардохею иудеянину». Униженный Аман после этого вознегодовал еще более и стал готовить Мардохею и его народу новые испытания. Жена Артаксеркса Эсфирь, которая была воспитанницей Мардохея, открыла царю коварные замыслы Амана. Убедившись в правде ее слов, царь велел повесить Амана на той виселице, которую он приготовил для Мардохея, а Мардохей занял при царе место главного вельможи (Библия. «Книга Есфирь», гл. 2—10).

Стр. 95. *«Благословен ты, предвечный боже наш, царь вселенной, за то, что не сотворил меня женщиной...»* — В молитвеннике: «Благословен ты, господи, боже наш, царь вселенной, что не сотворил меня женщиною». В кн. «Молитвы евреев на весь год. С переводом на русский язык». Составил А. Л. Воль. Изд. 3. Вильна, 1886, стр. 6.

Стр. 102. *Как в притче о самарянине милосердном... ..Во гною и струнях был Каин-то...* — В притче о самарянине милосердном говорится: «...некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидав его, сжалился. И, подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем» («Евангелие от Луки», гл. 10, стихи 30—34). По библейской легенде, «во гною и струнях был Иов многострадальный» (Библия. «Книга Иова», гл. 7, стих 5).

Стр. 103. *...вы — как Иуда Маккавей!* — По библейскому сказанию, Иуде Маккавею предназначено было спасти Израиль. Но он пал в одной из битв. (Библия. «Первая книга Маккавейская», гл. 2—9).

Стр. 109. *«Кто восстанет за меня против злобствующих? Кто постойт за меня против лиходеев?»* — тихо спросил еврей словами псалма. — В псалме: «Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие?» («Псалтирь», псалом 93, стих 16).

Стр. 109. *«О, мстящий боже! Предвечный бог возмездий, возсияй, вознесись, судия земли...»* — молился Каин... — В псалме: «Боже отмщений, господи боже отмщений, яви себя! Восстань, судия земли, воздай возмездие гордым» («Псалтирь», псалом 93, стихи 1—2).

## ЧИТАТЕЛЬ

(Стр. 112)

Впервые, с подзаголовком «Беседа», напечатано в журнале «Космополис. Международный журнал», 1898, т. XII, № 11, стр. 77—92.

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

*Стр. 114, строка 14:* «Ну и пускай будет странно» вместо «Но и пускай будет странно» (по гранкам *ПТ*, *ПТ*, *ДЧ*<sub>2</sub>, *Зн*<sub>1-9</sub>, *Гр*<sub>2</sub>).

*Стр. 114, строки 24—25:* «И с какой стати я позволяю себе» вместо «И с какой стати я позволю себе» (по гранкам *ПТ*, *ПТ*, *ДЧ*<sub>2</sub>).

*Стр. 117, строка 4:* «и мне казалось, эти покрытые льдом» вместо «и мне казалось, что эти покрытые льдом» (по гранкам *ПТ*, *ПТ*, *ДЧ*<sub>2</sub>, *Зн*<sub>1-10</sub>).

Стр. 124, строка 23: «великую любовь к нему за его страдания» вместо «великую любовь к небу за его страдания» (по смыслу).

Сведения о начале работы Горького над рассказом «Читатель», в том числе высказывания самого автора, довольно противоречивы. Все прижизненные публикации (кроме первой) имели в подзаголовке дату «1898». 23 ноября 1899 г., в ответ на вопрос И. Е. Репина относительно «хронологического порядка» появления некоторых произведений, Горький сообщал: «„Читателя“ я написал года четыре тому назад» (*Г-30*, т. 28, стр. 100), т. е. примерно в 1895 г.

Эта дата подтверждается и другими источниками. 25 февраля 1896 г. Горький сообщал Е. П. Волжиной о том, что пошлет в «Русское богатство» свой «Первый рассказ» («Читатель») (*Архив ГВ*, стр. 13). И в следующем письме — более определенно: «Молись, чтобы напечатали мой рассказ, который я посылаю завтра...» (там же, стр. 14).

Таким образом, можно предположить, что к февралю 1896 г. рассказ «Читатель» был написан. Однако в журнале «Русское богатство» он опубликован не был. Не появился он и в других изданиях.

В течение следующих двух лет Горький нигде не упоминает об этом рассказе. Он говорит о нем только 19—20 апреля 1898 г. в письме к С. П. Дороватовскому: «Зиму я обеспечу себе — с Вашей доброй помощью и с помощью „Cosmopolis'a“, к(о)торый предлагает мне по 200 р. за лист. Сейчас я пишу для этого журнала» (*Г-30*, т. 28, стр. 24). Речь шла о рассказе «Читатель». 11—12 августа 1898 г. Горький писал редактору русского отдела журнала «Космополис» Ф. Д. Батюшкову: «В конце сентября я предложу Вам рассказ в 1½—2 листа...» (там же, стр. 30).

18 августа 1898 г., т. е. спустя шесть дней после отправки Батюшкову первого письма, Горький подтверждает обещание, данное ранее: «Разумеется, я не подведу вас, уважаемый Федор Дмитриевич!» (*Г*, *Материалы*, т. II, стр. 264), а 20 сентября того же года вновь подтверждает: «Ожидания вашего не обману» (там же, стр. 266). 26—27 сентября 1898 г. Горький выслал рассказ «Космополису»: «Вот, многоуважаемый Федор Дмитриевич, написал я и посылаю Вам „Воздаяние“» (*Г-30*, т. 28, стр. 31).

Таким образом, начало работы над рассказом «Читатель» можно отнести к 1895 г., а время завершения — к апрелю — сентябрю 1898 г.

Первым сохранившимся вариантом рассказа является текст в гранках журнала «Космополис», правленный автором (Архив А. М. Горького, ХПГ-48-3-1). Здесь рассказ назван «Разговор с читателем (Фантазия)». Это заглавие вычеркнуто рукой Горького и заменено другим: «Читатель». В рукописи, посланной в журнал, рассказ назывался «Воздаяние». «〈...〉 заголовок не нравится мне, — писал Горький в сопроводительном письме редактору, — м. б., Вы, прочитав, найдете более удобный?» (*Г-30*, т. 28, стр. 31). Спустя несколько дней он возвращается к



этому вопросу (письмо Батюшкову от 8—9 октября 1898 г.): «Я хотел назвать ее <фантазию> „Первый рассказ“, можно назвать — „Читатель“, „Некто“, последнее, быть может, самое лучшее... Назовите Вы, пожалуйста, — в конце концов, это уж не так важно и не стоит многих слов» (там же, стр. 32).

«Заключительные строки» рассказа казалась Горькому «бледны» (так написал он на гранках журнала), поэтому он просил редактора поставить в конце строку отточий: «...быть может, читающий найдет за ними что-нибудь» (Архив А. М. Горького, ХПГ-48-3-4). Строка отточий заключала рассказ во всех публикациях и только при подготовке его для *K* была исключена автором.

Горький возлагал большие надежды на этот рассказ. Уже в первом известном нам письме, содержащем упоминание о нем (Е. П. Вожиной от 25 февраля 1896 г.), автор замечал, что рассказ должен «возбудить толки, ибо тема этой вещи очень важна. Я писал ее, не щадя себя, и вложил в нее много *моей правды*». «У меня, Катя, есть своя правда, — писал он, — совершенно отличная от той, которая принята в жизни, и мне много придется страдать за мою правду, потому что ее не скоро поймут и долго будут издеваться надо мной за нее» (*Архив Г V*, стр. 13). «Я написал некую штуку, и в ноябрьской книге „Cosmopolis“ — она появится, — пишет Горький в первой половине октября 1898 г. Миролубову. — Думаю, что мне за нее всыпят в шею по самое покорно благодарю; очень рад этому» (*Г-30*, т. 28, стр. 34). В письме Дороватовскому: «Гвоздем в книжке <имеется в виду том III «Очерков и рассказов». — *Ред.*> будет рассказ, к<от>рый явится в ноябрьской книге „Космополиса“» (там же, стр. 33).

Рассказ был задуман как своеобразная исповедь и эстетическое credo автора. Выраженная в нем позитивная программа почти дословно совпадала с собственными идейно-творческими утверждениями писателя того периода: «...моя задача — пробуждать в человеке гордость самим собой, говорить ему о том, что он в жизни — самое лучшее, самое значительное, самое дорогое, святое и что кроме его — нет ничего достойного внимания», — писал Горький Пятницкому 25—26 июля 1900 г. (там же, стр. 125). Отвечая на вопрос Репина о замысле рассказа, Горький также отмечал «личный» его характер: «„Читатель“ — это я, человек, в беседе с самим собою, литератором. Я, человек, недоволен собою, писателем, ибо я слишком много читал и книги ограбили мою душу. От чтения я утратил огромное количество оригинального, своего, того, что от природы свойственно мне» (там же, стр. 100).

Так был воспринят рассказ и его первым читателем (критиком, редактором) Батюшковым, писавшим автору 4 октября 1898 г., то есть вскоре после получения рукописи: «...я страшно рад познакомиться с Вашими думами и мыслями в откровенной форме, почти исповеди» (*Г, Материалы*, т. II, стр. 267). Но именно это обстоятельство и насторожило Батюшкова, заставив его просить молодого писателя подождать с опубликованием рассказа: «...излагая Ваши мысли в откровенной форме рассу-

дения, не думаете ли Вы, что это несколько преждевременно? Вы многое уже высказали в Вашем прелестном рассказе о „Чиге и Дятле“, но иносказательная форма выручает <...> Теперь в Ваших словах будут искать определенных намеков; суд „Совести“ применит отчасти к Вам самим, отчасти к другим писателям, которые ополчатся. Ваш очерк примут за программу Вашей будущей литературной деятельности...». И далее: «...я читал Ваш очерк в кругу сочувствующих Вам лиц — мнения разделились. Молодым — Вы очень нравитесь и паходят у Вас отклик собственному настроению. Люди пожилые опасаются, что Вы со временем перестанете сказанное и пожалеете, что напечатали как бы свою исповедь тогда, когда Вы еще не привели к одному знаменателю мысли и чувства, которые у Вас в состоянии брожения...» (там же, стр. 269).

Согласившись с отдельными конкретными замечаниями Батюшкова, Горький, однако, не принял основной направленности его письма и совета подождать с опубликованием рассказа.

«А мою фантазию, — писал он ему, — печатайте. Если меня за нее обругают — пускай их! <...> В сущности, ведь дело не в том, как ко мне отнесутся, а лишь в том — попал ли я туда, куда метил, и если попал, — насколько силен удар. Удар — слабоват, это я знаю. Я знаю и то, что иным будет приятно бить меня по голове и душе моей же палкой. Это ничего.

Я не пожалею, что напечатал эту вещь, ибо мысли и чувства мои никогда не уравновесятся, никогда не придут к одному знаменателю — нет места богу в душе моей <...> Я знаю — писатель должен быть пророком и даже Исаией во пророках, — я мал для такой роли <...>

Хотел бы я услышать Ваше мнение о моем языке. Мне он кажется здесь — грубым, там — бледным, и всегда недостаточно простым, даже вычурным. В частности — что бы Вы сказали о языке „фантазии“?..» (Г-30, т. 28, стр. 38).

В следующем письме — конец октября 1898 г. — Горький повторил ту же мысль: «...нападок я не боюсь, боюсь лишь одного — показаться неискренним, наивным, боюсь, что этот рассказ не вызовет столько внимания, сколько нужно его для жизни» (там же, стр. 39).

Таким образом, одновременно с большими надеждами, которые возлагал автор на свой рассказ, его мучили некоторые сомнения. Он связывал их с недостаточной художественной цельностью произведения («Удар — слабоват...»). Вместе с тем в приведенных высказываниях содержится признание, что писатель должен быть пророком и что он, автор «Читателя», мал для такой роли.

А в 1902 г., т. е. четыре года спустя после первой публикации рассказа, когда писатель уже ушел в своем идейном развитии далеко вперед, рассказ вызвал у него еще более резкую оценку. Горький писал Пятницкому: «Ну, знаете, какая же противная вещь этот мой „Читатель“! Ей-богу, это не я писал, это любезный сердцу моему Иван Иванович Иванов насочинял. И вообще — премного во мне сидит Иван Ивановича,

чёрт его возьми! Обидно усмотреть в самом себе мещанина, ту язву, которая так возмущает тебя в других» (там же, стр. 248).

Таким образом, и сам рассказ и его творческая история отразили искания раннего Горького, направление их.

В русле этих исканий и протекала дальнейшая работа автора над рассказом. Существенный характер правка имела дважды — в 1898 г., в гранках журнала «Космополис», когда выявлялся замысел произведения, и в 1902 г., при подготовке его для *Зн<sub>4</sub>*, когда этот замысел несколько изменился.

Работая над гранками, Горький, по совету Батюшкова, исключил отдельные фразы и целые абзацы, слишком обнаженно выражавшие мысль автора. Был, например, исключен следующий абзац: «Кто есть ваш бог? — спрашиваю я других людей и знаю: мало найдется среди них ясных душ, в которых было бы место богу... Где она, та сила, которая могла бы поддержать нас противу напора житейской скверны, которая создавала бы из нас людей, украшающих жизнь, воспламеняя в сердцах наших огонь высоких желаний, облегчая нам задачу быть верными себе, искренно честными в мысли, слове и деле?»

Батюшков возражал против слов: «Буду молчать» (в ответ на вопрос читателя: «Что же ты будешь говорить?»): «Вы ищите новых путей, подводите итоги разным мнениям и направлениям в литературе, — писал он Горькому в цитированном выше письме, — но почему такой грустный итог (вывод) — „буду молчать“? <...> Вы не должны, не можете молчать, и в крайнем случае <...> не лучше ли просто промолчать, не принимая на себя обязательства молчать?» (*Г, Материалы*, т. II, стр. 267). Писатель исправил эту фразу в соответствии с пожеланиями Батюшкова: слова „Буду молчать“, — сказал я» он заменил словами: «Я промолчал».

Готовя рассказ для тома III *ДЧ<sub>2</sub>*, Горький снял подзаголовок, исправил несколько фраз.

Правя рассказ для *Зн<sub>4</sub>*, писатель работал над дальнейшим углублением его идейного содержания, совершенствовал язык и стиль произведения, продолжив работу в этом направлении и при подготовке текста для *К* (см. варианты).

Рассказ «Читатель» встретил в общем доброжелательное отношение критиков самых разных направлений. Первым откликнулся Н. К. Михайловский в статье «Кое-что о современной беллетристике». Главное достоинство рассказа критик увидел в том, что Горький верно оценил состояние «современной беллетристики», сумел выразить «дух» времени. Рисуя картину современной литературы, Михайловский отмечал «бессилие, неурожай талантов или, по крайней мере, талантов, способных охватывать широкие горизонты...», и ссылаясь при этом на рассказ «молодого беллетриста» М. Горького «Читатель» («Русское богатство», 1899, № 1, отд. II, стр. 84, 77).

С общей оценкой состояния современной литературы связывал «Читателя» и В. М. Шулятиков, начисто отрицавший «про-

роческую» миссию современных писателей: «Именно с тем же вопросом, как и М. Горький, обращается русское общество к беллетристам; именно образ „апостола“, обманувшего возглававшихся на него надежды, мелькает перед глазами читателя, когда он говорит о современном беллетристе...» (В. Ш у л я т и к о в. Критические этюды. Несколько слов о литературном «оскудении». — «Курьер», 1902, № 76, 18 марта).

Современники нашли в произведении Горького отражение собственных раздумий. Реппин писал 17 ноября 1899 г. Горькому по поводу третьего тома его «Очерков и рассказов»: «Во всех этих вещах <рассказ «Читатель» входил в число названных им произведений> есть нотка глубокой души, стучащей в сердце человека» (цит. по кн.: И. З и л ь б е р ш т е й н. Реппин и Горький, стр. 23). Л. Андреев спешил обсудить с писателем «наболевшие вопросы»: «...разговора с вами я жду с отчаянным нетерпением. И накипело и наболело. Всё те же вопросы, которые вы затронули в „Читателе“. А сверх того — и еще кое-что от лукавого» (письмо от 18 декабря <1900 года>. — *Лит. Насл.*, т. 72, стр. 78).

Восприняв рассказ Горького как его собственную исповедь, эстетическую программу, критики вместе с тем почти единодушно упрекали автора в неясности этой программы: «...общее мировоззрение Горького, в некоторых своих частях, поражает какой-то туманностью и неопределенностью» (*Александровский*, стр. 8); «Не оттого ли идеалы Горького так смутны, что в его сознании нет представления о положительном типе человека?» (А. Л. Л и п о в с к и й. Представители современной русской повести и оценка их литературной критикой. — «Литературный вестник», 1901, т. 1, кн. 1, стр. 32); «Счастлив тот, кто разберется в философии Горького; автор сам на это не способен, как он откровенно сознается в одном из рассказов: „Читатель“» (М е л ь х и о р д е В о г ю э. Максим Горький. Произведения и личность писателя. Перев. А. Б. Ф. СПб., 1902, стр. 37).

Почти каждый критик давал собственное толкование эстетической программы, выраженной в рассказе. Рассматривая взгляды «читателя» применительно к «религии» самого Горького, Михайловский видел существо их в «удовлетворении воли, выраженном в действии, направленном против будничного строя жизни» («Русское богатство», 1902, № 2, отд. II, стр. 173). «Куль воли» и «культ красоты» — вот в чем, по мнению критика, заключается идеал писателя, отстаиваемый им не только в рассказе «Читатель», но во всем творчестве. Для Мельхиора де Вогюэ «таинственный и язвительный незнакомец», выступающий в рассказе, — это «олицетворение совести» (М е л ь х и о р д е В о г ю э. Максим Горький, стр. 37). В общем рассказ, по мнению критика, свидетельствует о неопределенности философии автора, о том, что он, «как Фома <...>, ищет ощупью смысл жизни» (там же, стр. 38).

В связи с таким пониманием идеи рассказа в критике выражалось опасение за судьбу его автора: «Страшно делается за талантливого писателя, если этот докучливый собеседник <из

рассказа «Читатель» всё чаще и чаще будет посещать его <...> в угоду внутреннему голосу, не проверив хорошенько его справедливости, автор „Бывших людей“ может направиться по совершенно новой, для него непосильной дороге и, заблудившись на ней, не будет в состоянии вернуться на старый, столь много обещавший впереди путь» (Александровский, стр. 76—77). Более оптимистично настроенный Липовский писал: «Пробужденная совесть не остановится на одних диссонансах, она будет упорно стремиться к ясному сознанию, жизненной гармонии и нравственной правде» («Литературный вестник», 1901, т. 1, кн. 1, стр. 35).

Рассказ «Читатель» встретил понимание и одобрение со стороны марксистских критиков. Критик журнала «Правда» А. А. Дивильковский в опубликованной в 1905 г. статье о Горьком, рассматривая творчество писателя с точки зрения социального «героизма» («новой, оригинальной идеи, принадлежащей в русской изысканной литературе одному Горькому», — идеи революционного преобразования общества), весьма положительно в связи с этим оценивает и рассказ «Читатель». Относя этот рассказ к «роду поэтических „раздумий“ автора о своем призвании как писателя», Дивильковский видит в нем «и недовольство автора прежней деятельностью новеллиста, как слишком мелкой, и клятвы самому вперед постараться „глаголом жечь сердца людей“». Тем с большим сочувствием констатирует критик перелом в творчестве молодого писателя («чтобы уясненная идея сама стала мощным фактором действительности»): «Корабль автора, видимо, готовится бросить робкий каботаж у берегов и пуститься в широкое, открытое море» (А. Д и в и л ь к о в с к и й. Максим Горький... «Правда», 1905, февраль, стр. 122; апрель, стр. 118).

## КИРИЛКА

(Стр. 128)

Впервые, с подзаголовком «(Из записной книжки)», напечатано в журнале «Жизнь», 1899, т. 1, стр. 1—12.

В Архиве А. М. Горького хранится текст *Зн*<sub>10</sub> с авторской правкой для *К* (ХПГ-35-6-1).

Печатается по тексту *К*.

Рассказ написан в конце 1898 г. в Нижнем Новгороде. Осенью 1898 г. С. П. Дороватовский начал переговоры с Горьким о подготовке к изданию третьего тома «Очерков и рассказов». В письме к Дороватовскому от 10 октября 1898 г. Горький, перечисляя произведения, которые хотел бы включить в том, «Кирилку» не называл. Очевидно, к этому времени рассказа еще не было. В начале ноября 1898 г., высказывая сомнение по поводу уместности опубликования в первой книге обновленной «Жизни»

за январь 1899 г. памфлета «О чёрте», Горький обещает Дороватовскому написать «что-нибудь иное, тоже малосъёмное, но серьёзное» (Г-30, т. 28, стр. 44). А в письме В. А. Поссе Горькому от 12 декабря 1898 г. уже отмечается: «„Кирилка“ Ваш превосходен, идет в первую голову. Цензура не тронула ни его, ни чёрта» (Архив А. М. Горького, КГ-п-59-1-30).

Из дальнейшей переписки Горького с Дороватовским (апрель—июнь 1899 г.) видно, что Горького крайне интересовали не только состав и расположение материала третьего тома (куда входил и данный рассказ), но и тексты некоторых произведений, в частности «Кирилки». В нескольких письмах содержится настоятельная просьба прислать корректуру «Кирилки» (Г-30, т. 28, стр. 73, 80, 81).

Правка текста для ДЧ<sub>2</sub>, в основном стилистическая, была незначительной.

Более существенным оказалось редактирование рассказа при подготовке его для К (см. варианты).

Первым критическим откликом на это произведение был отзыв А. П. Чехова. Прочтя рассказ в «Жизни», он писал Горькому: «В Вашем „Кирилке“ всё портит фигура земского начальника, общий тон выдержан хорошо. Не изображайте никогда земских начальников. Нет ничего легче, как изображать несимпатичное начальство, читатель любит это, по это самый неприятный, самый бездарный читатель <...> я живу в деревне, я знаком со всеми земскими начальниками своего и соседних уездов, знаком давно и нахожу, что их фигуры и их деятельность совсем нетипичны, вовсе неинтересны...» В этом же письме Чехов высказал несколько замечаний о характере пейзажных зарисовок: «Вы настоящий пейзажист. Только частое уподобление человеку (антропоморфизм), когда море дышит, небо глядит, степь нежится, природа шепчет, говорит, грустит и т. п. — такие уподобления делают описания несколько однотонными, иногда слащавыми, иногда неясными...» (Чехов, т. XVIII, стр. 11—12).

В ответном письме Горький заметил: «Неутешительно, но верно то, что Вы говорите о „Жизни“, Чирикове и „Кирилке“ <...> о „Кирилке“ можно сказать, что он совсем не заслуживает никакого разговора» (Г-30, т. 28, стр. 55). Вместе с тем Горький относился к этому своему произведению положительно. Он предполагал включить его в затевавшийся Н. Д. Телешовым в конце 1901 г. дешёвый сборник рассказов для народа (издание не состоялось). 2 декабря 1901 г., давая свое согласие на публикацию в сборнике рассказа «Преступники», Горький писал Телешову: «Хорошо бы в этот сборник „Кирилку“ запустить, — как ты полагаешь? Только — боязно, не пропустит цензура для *такого* сборника» (там же, стр. 203). Об этом Горький упоминает и в письме к Е. Г. Чирикову: «Я даю „Преступление“ и „Кирилку“» (Архив Г<sub>VII</sub>, стр. 34). В декабре 1903 г., сообщая К. П. Пятницкому о том, что книгоиздательство «Донская речь» снова просит разрешения на издание некоторых рассказов, Горький писал: «Я думаю дать им „Кирилку“ и „Озорника“ — как советуете? Давать?» (Архив Г<sub>IV</sub>, стр. 147).

Рассказ привлек внимание пароднической критики, которая одобрительно встретила «Кирилку». А. М. Скабичевский видел в этом произведении «прелестную бытовую сценку», в которой отражается «как в микрокосме» одно из характерных явлений «современной русской жизни, взятой в ее целом». «...на каждом шагу в интеллигентных сферах мы можем слышать, как беспощадно честят мужиков — и спившимися до полного помрачения пьяницами, и лентяями, и лежебоками, отвыкшими от труда и старающимися жить лишь подачками и воровством. Упускают только все эти хулители совсем из вида одно очень маленькое обстоятельство: именно, что они и едят и пьют, и детей воспитывают, и за границу катаются, и искусствами наслаждаются, — всё это на мужицкие деньги» («Сын отечества», 1899, № 121, 7 мая).

С мнением Скабичевского почти дословно совпадает отзыв Н. М. Гальковского (см. *Гальковский*, стр. 34—35). «„Кирилка“, — отмечал А. И. Богданович, — прекрасный рассказ, написанный с тонким юмором, выдержанный и вполне законченный по форме (<...> В „Кирилке“ г. Горький проявил новую черту таланта, сближающую его отчасти с Гл. Успенским, который так тонко и метко умеет осветить отношение к народу других классов, живущих за счет этого последнего». Богданович подчеркивал типичность героев рассказа: «Все эти лица живут, каждый с своим языком и характерными особенностями, и среди них философски-спокойный Кирилка, которому всё равно не переслушать пустых речей, раздающихся вокруг него и не имеющих ни малейшего отношения к его жизни» («Мир божий», 1899, № 4, отд. II, стр. 15—16).

Стр. 131. *Вся штука в большой чке...* — Чка — плывучая лядина.

## ВАСЬКА КРАСНЫЙ

(Стр. 141)

Впервые напечатано в кн.: М. Г о р ь к и й. Рассказы, т. III. СПб., 1900, с датой «1899».

В Архиве А. М. Горького хранится текст  $Z_{10}$  с авторской правкой для *K* (ХПГ-5-3). Здесь же хранится цензурный экземпляр рассказа с печатью С.-Петербургского цензурного комитета и подписью цензора Федорова. На обложке надпись рукой К. П. Пятницкого: № 5056, 17 августа 1907 г. М. Горький «Васька Красный».

Печатается по тексту *K* с исправлением по  $Z_{1-10}$ , «Краул кричать буду!» (стр. 142, строка 28) вместо «Караул кричать буду!»

Рассказ, по-видимому, написан в конце 1898 г. в Нижнем Новгороде. С января 1898 г. Горький начал сотрудничать в «Журнале для всех». Это был иллюстрированный журнал, рассчитанный на широкого демократического читателя. С редак-

тором журнала В. С. Миролюбовым отношения у Горького сложились самые дружественные. В апреле 1898 г. Горький дал в журнал рассказ «Дружки». В середине октября он отправил Миролюбову рассказ «О чётре», который, однако, опубликован в журнале не был. В середине ноября писатель сообщил Миролюбову: «...через неделю пришлю Вам рассказик — не особенно хороший, может быть, даже плохой. В последнем случае прошу с ним не стесняться» (Г-30, т. 28, стр. 45). В следующем письме Миролюбову (копец ноября, начало декабря) он подтвердил свое обещание: «Рассказ Вам я скоро напишу, и вообще относительно моего участия в журнале не беспокойтесь, я знаю его цену, понимаю его смысл и значение» (там же, стр. 49). В середине декабря: «Посылаю рассказ. Хотите ли до весны — на февраль-март — пметь еще один? Скажите раньше» (там же, стр. 50). Рассказ Миролюбову не понравился, и вопрос о его публикации в журнале, видимо, сразу же отпал. 22 декабря Горький писал Миролюбову: «Извиняюсь перед Вами за неудачный рассказ и очень огорчен тем, что расстроил им Вас. Я написал его сразу и отдал переписать жене, не читая; теперь, прочитав его, вижу, что действительно он груб, но не силен. Не знаю, успею ли я написать другой к январской книжке, но мне очень хочется этого, и я сегодня же примусь за него. Будьте уверены, что если не успею к январю, то все-таки пришлю рассказ на праздниках <...> прошу располагать моими силами по Вашему усмотрению. А рассказ пришлите мне, если хотите» (там же, стр. 51).

Следующим рассказом (вместо отвергнутого Миролюбовым), который Горький обещал написать в январе 1899 г., был «Финоген Ильич», опубликованный в февральской и мартовской книжках «Журнала для всех» (там же, стр. 59).

Есть основания полагать, что неназванным рассказом, о котором идет речь в приведенных выдержках из писем Горького, и был «Васька Красный», так как ни о каких других рассказах в письмах Горького и его корреспондентов этого времени не упоминается.

Рукопись не принятого Миролюбовым рассказа осталась, как явствует из переписки, в редакции «Журнала для всех».

31 марта 1899 г. В. А. Поссе писал Горькому: «Получил наконец из „Журнала для всех“ твоего „Ваську Красного“. Пушу его в июне. Вещь ужасно сильная. Она как раз подходила для „Журнала для всех“». Читал ее вслух. Были Вересаев, Евг. Соловьев, Д. Д. Протопопов, А. А. Никонов и «пайщики». Всем очень понравилось. Возражал против помещения один Никонов, но возражал чрезвычайно глупо. Соловьев „Ваську“ находит значительнонее Гордеева. С этим совершенно не согласен. Фома мне очень нравится» (Архив А. М. Горького, КГ-п-59-1-44).

Поссе хотел напечатать рассказ в июньской книжке журнала «Жизнь». Из письма Горького к Е. П. Пешковой (между 18 и 23 июня 1899 г.) известно, что в журнале «Ваську цензура не пропускает» (Архив Г<sub>V</sub>, стр. 64).

Горький предполагал включить «Ваську Красного» и в готовившийся в 1899 г. том III ДЧ<sub>2</sub>. В начале мая 1899 г. он писал



С. П. Дороватовскому: «На место „Финогена“ можно водворить „Ваську“ — возьмите у Владимира» (Поссе. — *Ред.*) (*Г-30*, т. 28, стр. 80). И ему же в конце июня 1899 г.: «Я, разумеется, ничего не могу иметь против включения „Васьки“ в сборник, буде это возможно» (там же, стр. 87). Но и в *ДЧ*<sub>2</sub>, очевидно, также из-за цензуры, рассказ опубликован не был.

В начале 1900 г. Горький, как это видно из его письма редактору газеты «Северный курьер» В. Я. Богучарскому, пытался опубликовать рассказ в этой газете (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-6-6-3).

В феврале 1900 г., предполагая включить «Ваську Красного» в том IV «Рассказов», издававшихся товариществом «Знание», Горький писал Д. Д. Протопопову: «„Хана“, „26“, „Вывод“, „Ваську“, я думаю, можно в один том с „Фомой“ <...> „Ваську“ спросите у Поссе» (*Архив ГVII*, стр. 12—13). 9 марта того же года Протопопов писал Богучарскому: «Был у Вас сегодня в редакции <...> из-за „Васьки Красного“, рассказа Горького. Говорят, что рукопись (или гранки) переданы в редакцию „С. Курьера“. Между тем, текст нам нужен для включения в печатаемое нами собрание его сочинений» (Архив А. М. Горького, ПТЛ-13-16-1).

В этом издании «Васька Красный» впервые и был опубликован, но не в IV, а в III томе.

При дальнейших изданиях Горький над текстом рассказа почти не работал. Несколько стилистических поправок он сделал при подготовке рассказа для *К*.

Горький был недоволен этим произведением. 15—16 мая 1902 г. он писал Пятницкому: «...никуда не годятся „Товарищи“ и „Васька Красный“. С величайшим наслаждением я выдрал бы эти гнилые зубы из моих челюстей» (*Г-30*, т. 28, стр. 248).

Критика встретила рассказ сдержанно. Французский критик Мельхиор де Вогиэ в книге о Горьком писал: «На эту тему наши специалисты написали бы ряд непристойных сцен, а Горький пишет грустный этюд, невозмутимый, как полицейский отчет <...> то же тело, которое у нас живет, манит и возбуждает читателя, там выставляется похолодевшим в анатомическом театре; на нравственных трупах изучают страдания и гибель душ» (М е л ь х и о р д е В о г ю э. Максим Горький... СПб., 1902, стр. 28—29).

Для критиков реакционного лагеря показателен отзыв Н. Я. Стечкина, который писал:

«Говоря о наиболее выдающихся в художественном отношении рассказах Максима Горького, нельзя пройти молчанием очерк „Васька Красный“ <...> Везде у него масса неровностей в письме. Нигде, быть может, неровности эти не выражены так очевидно, как в „Ваське Красном“, но неровности эти в данном случае скорее нужно отнести к намеренной неправде основного замысла, нежели к его выполнению и развитию.

Замечание это, — спешим оговориться, — мы относим только к заглавному лицу очерка, так как его героиня, Аксюша, вполне жизненна и ни в какой мере не утрирована.

Васька же Красный изображен чересчур сгущенными красками, он такой злодей, каких на самом деле никогда не бывает. Злодей, весь поглощенный своим злодейством, без всякого просвета иных чувств и побуждений. Подобных явлений в жизни не бывает и, по счастью для человечества, быть не может. Чем более жесток Васька, тем явственнее пробуждение в нем добрых чувств, наступившее после происшедшей катастрофы. Для эффекта искусственного и лубочного оно весьма полезно, но правдивость описания от того не выигрывает.

Но если мы допустим, что такой именно Васька возможен в действительной жизни, то придется признать всю повесть художественной» (Н. Я. Стечкин. Максим Горький. Его творчество и его значение в истории русской словесности и в жизни русского общества. СПб., 1904, стр. 117—118).

## О ЧЁРТЕ

(Стр. 158)

Впервые напечатано в журнале «Жизнь», 1899, т. 1, стр. 93—99.

В Архиве А. М. Горького хранится текст *Зн<sub>10</sub>* с авторской правкой для *К* (ХПГ-41-12-1).

Печатается по тексту *К*.

Рассказ написан осенью 1898 г. в Нижнем Новгороде. В письме к С. Я. Елпатьевскому 1898 г. (не ранее 17 октября) Горький сообщил, что послал в редакцию «Журнала для всех» рассказ о чёрте (*Г-30*, т. 28, стр. 37). В письме от 27—28 октября Горький спрашивал С. П. Дороватовского: «Какое поживает В. А. (Поссе.— *Ред.*) и что он думает делать с моим чёртом?» (там же, стр. 40). Поссе ответил: «„О чёрте“ отдал в „Жизнь“. Хорошо!» (Архив А. М. Горького, КГ-п-59-1-29). Получив в начале ноября 1898 г. предложение печатать все свои новые произведения только в обновленном журнале «Жизнь», Горький писал Дороватовскому: «„Чёрта“ Вы хотите взять себе? Дело доброе, но я, право, не думаю, что такая штука будет на своем месте в первой книжке нового журнала. Не будет ли она для журнала слишком плохой рекомендацией? Впрочем, дело Ваше, полагаю — Вы хорошо знаете, что делаете» (*Г-30*, т. 28, стр. 44).

Вероятно, отослав «О чёрте», Горький тотчас же приступил к работе над другим памфлетом — «Еще о чёрте».

5 января 1899 г. Поссе сообщал писателю: «Чёрт был сверстап злым, но в это время получилось Ваше письмо, что „добрый чёрт“ у вас не выходит, и я решил вычеркнуть *злой* <...> После простого чёрта можно пустить доброго чёрта. Это почему не вредит» (Архив А. М. Горького, КГ-п-59-1-14).

Оба памфлета, существующие как самостоятельные произведения, объединены общностью идейно-философского содержания, острой сатирической направленностью против мещанской психологии и либерального приспособленчества. По первоначальному

авторскому замыслу, эта связь, видимо, должна была быть более тесной, что могло найти отражение и в заглавиях рассказов <«О злом чёрте»>, <«О добром чёрте»>.

После первой публикации Горький вносил в текст незначительные стилистические поправки дважды: при включении его в ДЧ<sub>2</sub> и при подготовке для К.

Об отношении современной Горькому критики к рассказам «О чёрте» и «Еще о чёрте» см. примечания ко второму из них.

С т р. 159. *Как от ветки родной...*— Литературным источником этих строк является, видимо, стихотворение французского драматурга и поэта Ангуана Арно «Листок» (1815), получившее широкую популярность в России благодаря переводам Жуковского, В. Л. Пушкина, Д. Давыдова и других поэтов. Пушкин процитировал четверостишие из названного стихотворения в статье «Французская Академия» (см.: А. С. П у ш к и н. Полн. собр. соч., т. VII, 1958, стр. 372).

## ЕЩЕ О ЧЁРТЕ

(Стр. 166)

Впервые напечатано в журнале «Жизнь», 1899, т. 2, стр. 212—222, с цензурным изъятием начала: «Был у меня товарищ с выдуманна мною» (стр. 166—167), восстановленного в ДЧ<sub>2</sub>.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Беловой автограф (БА) без двух первых страниц (ХПГ-12-4-1). 2. Текст Зн<sub>10</sub> с авторской правкой для К (ХПГ-12-4-2).

Печатается по тексту К со следующими исправлениями: Стр. 166, строка 12: «проехал туда» вместо «поехал туда» (по ПТ, ДЧ<sub>2</sub>, Зн<sub>1-2</sub>).

Стр. 169, строка 2: «не увидим» вместо «не видим» (по БА, ПТ, ДЧ<sub>2</sub>, Зн<sub>1-3</sub>, Гр<sub>1-2</sub>).

Стр. 169, строки 27—28: «мерзкого» вместо «дерзкого» (по тем же источникам).

Стр. 172, строка 29: «в картинку» вместо «в картину» (по тем же источникам).

Стр. 172, строки 30—31: «картинка» вместо «картина» (по БА, ПТ, ДЧ<sub>2</sub>, Гр<sub>1-2</sub>).

Стр. 177, строка 40: «в кресле» вместо «на кресле» (по БА, ПТ, ДЧ<sub>2</sub>, Зн<sub>1-3</sub>).

Написано в январе 1899 г. в Нижнем Новгороде. В начале января 1899 г. Горький запрашивал С. П. Дороватовского: «Нужен чёрт для февральской? У меня уже есть недурной чёрт» (Г-30, т. 28, стр. 55). В письме от 8 января 1899 г. В. А. Поссе торопит писателя: «Присылайте скорее „Фому Гордеева“ и „Доброго чёрта“» (Архив А. М. Горького, КГ-п-59-1-34). А 13 января того же года Поссе уже сообщил Горькому: «Ваш второй „Чёрт“ получен и отправлен в типографию» (там же, КГ-п-59-1-35).

4 февраля 1899 г. он же писал: «Сегодня направил офф. редактора с формальной жалобой на цензора. Из Игната выкинули несколько слов, из „Чёрта“ же всё начало (о сынке и матери). Отстаивали, ничего не вышло» (там же, КГ-п-59-1-38).

Изъятая цензурой история о молодом друге автора, погибшем «у полярного круга», и его старушке-матери могла быть истолкована как отклик писателя на студенческие волнения, прокатившиеся в январе-феврале 1899 г. по всей России.

В пачале февраля 1899 г. Дороватовский писал Горькому об усилившихся в связи со студенческими волнениями притеснениях цензуры: «Что она с нами делает, что приходится переживать — это ужасно! Иногда раздражение доходит до того, что хочется идти к цензору и избить его...» (там же, КГ-п-26-9-18).

В конце февраля — марте 1899 г. царское правительство закрыло Петербургский университет и применило массовые репрессии против студенчества. Это вызвало могучую волну протестов. Pamфлет «Ванькина литература» и «Открытое письмо к А. С. Суворину» свидетельствуют о том, что Горький остро реагировал на происходящие события.

Обсуждая в апреле-мае 1899 г. с Дороватовским состав третьего тома «Очерков и рассказов», Горький настоятельно просил его «восстановить начало у второго чёрта, оторванное цензурой» (Г-30, т. 28, стр. 72, 80). При этом он настаивал, чтобы «Еще о чёрте» было помещено рядом с памфлетом «О чёрте». «„Черт“ 2 рядом» — подчеркивал писатель (там же, т. 28, стр. 81), желая теснее сомкнуть произведения, связанные друг с другом общей идейной направленностью.

В автографе «Еще о чёрте», сохранившемся без двух первых страниц, есть послесловие — обращение к редактору, которое по замыслу автора должно было входить в текст произведения, так как авторская подпись стоит именно после обращения:

«М. г.

г. редактор!

Если этот очерк, списанный мною с натуры, почему-либо возбудит у Вас сомнение в моей правдивости — подите к чёрту! и он повторит Вам всё рассказанное мною от слова до слова.

С совершенным почтением

М. Горький».

Но в первой публикации, а затем и в последующих переизданиях послесловие воспроизведено не было.

Друзья писателя отнеслись к памфлетам «О чёрте» и «Еще о чёрте» сдержанно, считая их по художественному уровню ниже возможностей автора. Получив «Еще о чёрте», Поссе писал Горькому: «И здесь, как всюду, искры таланта. Но, умоляю Вас, не разменивайтесь на эти пустяки, на эти фельетоны. Вы призваны к более высокому и крупному творчеству. Так думают все, кто Вас любит и кто ждет от Вас еще многого. Бросьте всё остальное. Пишите „Гордеева“ и „Ученические годы“. Для фельетонов нужен талант помельче. „Кирилка“ в десять раз лучше всех Ваших

чертей, по и „Кирилки“ мало. Нужен эпос, нужно большое, смелое, крупное» (Архив А. М. Горького, Кг-п-59-1-35). А. П. Чехов, вероятно, имея в виду именно рассказы «О чёрте» и «Еще о чёрте», писал в марте 1899 г. Л. А. Авилковой: «Горький мне нравился, но в последнее время он стал писать чепуху, чепуху возмутительную, так что я скоро брошу его читать» (Чехов, т. XVIII, стр. 107). Друг Горького, врач и общественный деятель Л. В. Средин писал ему: «„О чёрте“ слабовато, а второго совсем не надо было печатать, фельетонно-пошловатый пошиб» (*Г Чтения*, 1968, стр. 35).

Критика охранительного толка пыталась использовать «О чёрте» и «Еще о чёрте» для укрепления легенды о ницшеанстве Горького. «Ницшеанская идея рассказа о чёрте,— писал А. Басаргин,— выступает перед нами еще яснее из самого его содержания: чёрт хочет сделать некоего Ивана Ивановича Иванова — человека слабого и безвольного — совершенным, с его собственного согласия и даже отчасти по его просьбе. Но когда он вырезал из его груди всё гадкое и слабое <...> то оказалось, что от бедного Ивана Ивановича ничего не осталось. У людей слабых нет, стало быть, так сказать, никакого собственного нутра, даже при всем возможном их совершенстве. Они — простая оболочка <...> Само совершенство без силы — ничто. А с силой и оригинальностью еще кое-что можно поделывать и без совершенства. Во всяком случае это — необходимое условие совершенства» (*Московские ведомости*, 1900, № 117, 29 апреля).

С совершенно иной позиции трактовала произведения демократическая критика. В. Ф. Боцяновский справедливо усмотрел в рассказе полемику Горького с проповедью нравственного самосовершенствования, которую вели «толстовцы»: «Стеснять себя, подавлять свои страсти, по убеждениям героев Горького — не следует. Сильные страсти — необходимые принадлежности человека. По словам чёрта (рассказ „Еще о чёрте“), люди стали „до тошноты не интересны и мелки, особенно теперь, когда среди них с новой силой расцветает проповедь личного самосовершенствования и борьбы со страстями“. Иван Иванович Иванов, которому этот же чёрт извлекает из сердца разного рода страсти (честолюбие, жалость, злобу, гнев и др.), по окончании этой операции становится „совершенно совершенным“ и на лице его появляется „то пензьясымное словами блаженство, которое всего более свойственно прирожденным идиотам“» (*Боцяновский*, стр. 81—82).

Анализируя памфлет «Еще о чёрте», об этом же писал и Андреевич (Е. А. Соловьев): «Горький <...> не повторяет Толстого или толстовцев, а сохраняет свою точку зрения <...> В очерке „Еще о чёрте“ мы знакомимся с неким Иваном Ивановичем, человеком интеллигентным, чьей профессией было стремление к достижению духовного совершенства <...> свой „процесс самосовершенствования“ Иван Иванович производит в комфортабельнейшей обстановке своего кабинета и в сущности только чешет у себя пятки» (А н д р е е в и ч. Книга о Максиме Горьком и А. П. Чехове. СПб., 1900, стр. 149—152). «...выживают еще в этом

„хаосе мерзостей“ различные „интеллигентные“ люди, — писал о рассказе Г. В. Александровский, — ставящие себе задачей достижение духовного совершенства <...> и это потому, что вся их гаденькая душонка состоит из одних мелких страстишек; в ней вечно царит полнейший хаос, нет ни одного определенного чувства, чуждого от посторонних примесей. Когда чёрт вздумал было создать из такого „самоусовершенствователя“ идеального человека и вырвал из его души такие чувства, как честолюбие, злобу, трусость и мелочное раздражение, являющиеся плодом болезненной нервозности, в ней не осталось никакого содержания» (Александровский, стр. 12).

Отвечая на критическое письмо Срединна, Горький возражал ему: «Вам не нравится мой второй чёрт? А мне — нравится — ибо он многих обидел. Мне страшно хотелось бы уметь обижать людей <...> Хорошо бы иметь читателей-врагов, как Вы думаете? <...> нужно чаще наступать ногой на всякую гадость жизни, на пошлость, чтобы она пищала и чтоб из нее сок брызгал» (Г-30, т. 28, стр. 110—111). «О чёрте» и «Еще о чёрте», таким образом, непосредственно связаны с произведениями, в которых Горький стремился выразить основные принципы своего эстетического credo (см. выше примечания к рассказу «Читатель»).

Писатель охотно возвращался к кругу вопросов, поставленных в памфлетах «О чёрте» и «Еще о чёрте». В частности, в разгар первой русской революции он выступил с произведением «И еще о чёрте», создав таким образом своеобразную маленькую трилогию.

Стр. 167. ...с бóльшим красноречием и жаром, чем Лютер свои тезисы. — Видный деятель Реформации, основатель протестантизма — Мартин Лютер выступил в 1517 г. в Виттенберге против догматов католической церкви. Выставив свои 95 тезисов, осуждавших торговлю индульгенциями и другие злоупотребления папства, он повесил их на дверях собора и, стоя рядом, яростно защищал каждый пункт своей программы.

Стр. 171. ...существование доброго чёрта подтверждается Лесажем и китайской легендой о Цин-киу-тонге. — Имеется в виду роман французского писателя А. Лесажа «Хромой бес» и книга Рафаэля Зотова: «Цин-Киу-Тонг, или Три добрые дела духа тьмы». Фантастический роман в 4-х частях. Изд. 2. М., 1858 г. (книги хранятся в личной библиотеке М. Горького).

Стр. 171. ...нимфа Эгерия! — в римской мифологии богиня, помогавшая женщинам при родах.

## ФОМА ГОРДЕЕВ

(Стр. 179)

Впервые, с подзаголовком «Повесть», напечатано в журнале «Жизнь», 1899, тт. IV (февраль), III—IX (март — сентябрь).

В Архиве А. М. Горького сохранились: небольшой отрывок белой рукописи гл. X (по уточненной нумерации — XI) с авторскими поправками (ХПГ-47-8-1) и печатный текст  $З_{10}$ , правленный автором для К' (ХПГ-47-8-2).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:  
*Стр. 201, строка 7:* «и по лицу его» вместо «а по лицу его»  
(по *ПТ, БЖ, Зн<sub>1</sub>*).

*Стр. 213, строка 27:* «оторвать ∞ глаз от воды» вместо «оторвать ∞ глаза от воды» (по *ПТ*).

*Стр. 214, строка 12:* «до отцової постели» вместо «до отцовской постели» (по *ПТ* и *БЖ*).

*Стр. 220, строка 38:* «в дело его употребить» вместо «в дело их употребить» (по *ПТ, БЖ, Зн<sub>1-3</sub>*).

*Стр. 222, строка 8:* «милуша моя» вместо «милушка моя»  
(по *ПТ, БЖ, Зн<sub>1-9</sub>*).

*Стр. 223, строки 11—12:* «к своим крестным отцу и матери»  
вместо «к своему крестному отцу и матери» (по тем же источникам).

*Стр. 225, строка 1:* «Зачем ты всё ругаешься» вместо «Зачем ты ругаешься» (по тем же источникам).

*Стр. 230, строка 6:* «так от нее перья и сыплются» вместо «так с нее перья и сыплются» (по *ПТ, БЖ, Зн<sub>1-10</sub>*; в *Пр Зн<sub>10</sub>* Горький зачеркнул «от», оставив правку неоконченной).

*Стр. 242, строки 1—2:* «от того твоего слова» вместо «от твоего слова» (по *ПТ* и *БЖ*).

*Стр. 257, строка 33:* «едва под утро усну» вместо «едва под утро засну» (по *ПТ, БЖ, Зн<sub>1</sub>*).

*Стр. 267, строка 40:* «уже зарождался вопрос» вместо «зарождался уже вопрос» (по *ПТ, БЖ, Зн<sub>1-9</sub>*).

*Стр. 274, строка 22:* «не понимал назначения ее слов» вместо «не понимал значения ее слов» (по *ПТ* и *БЖ*).

*Стр. 283, строка 19:* «Пожалуйте, господа, помогите» вместо «Пожалуйста, господа, помогите» (по *ПТ* и *БЖ*).

*Стр. 283, строка 25:* «кто есть его верные слуги» вместо «кто есть ему верные слуги» (по *ПТ, БЖ, Зн<sub>1-9</sub>*).

*Стр. 307, строка 11:* «серебряные волосы бороды» вместо «серебристые волосы бороды» (по *ПТ* и *БЖ*).

*Стр. 317, строка 1:* «Фома помолчал, посмотрел» вместо «Фома молчал, посмотрел» (по *ПТ* и *БЖ*).

*Стр. 317, строка 41:* «предложил Фома» вместо «продолжал Фома» (по смыслу).

*Стр. 329, строка 24:* «Он вспоминал ее ласки и думал» вместо «Он вспомнил ее ласки и думал» (по *ПТ, БЖ, Зн<sub>1</sub>*).

*Стр. 355, строка 12:* «Сто семьдесят тысяч пуд» вместо «Сто семьдесят тысяч пудов» (по *ПТ* и *БЖ*).

*Стр. 363, строка 16:* «Поддай-ка ты мне» вместо «Поддай-ка мне» (по *ПТ, БЖ, Зн<sub>1-9</sub>*).

*Стр. 363, строка 39:* «Погодите шутки шутить» вместо «Погоди шутки шутить» (по *ПТ*).

*Стр. 367, строка 18:* «с ненавистью оглянул старика» вместо «с ненавистью оглядел старика» (по *ПТ, БЖ, Зн<sub>1-9</sub>*).

*Стр. 387, строка 33:* «обгрызанными кусочками ∞ мудрости» вместо «обрызганными кусочками ∞ мудрости» (по *ПТ, БЖ, Зн<sub>1</sub>*).

*Стр. 401, строка 16:* «Склеп им так тесен» вместо «Склеп им там тесен» (по *ПТ*).

Стр. 412, строки 17—18: «Ежов, сидя на столе, заваленном газетами» вместо «Ежов, сидя на столе, заваленный газетами» (по ПТ, БЖ, Зн<sub>1-10</sub>).

Стр. 433, строка 35: «как я ожгу» вместо «как ожгу» (по ПТ, БЖ, Зн<sub>1-9</sub>).

Стр. 446, строка 8: «что вы это жизнь делали» вместо «что это вы жизнь делали» (по тем же источникам).

Стр. 447, строки 13—14: «〈Потом〉 хрипло сказал» вместо «Фома хрипло сказал» (по смыслу. За этой ремаркой следуют слова Кононова, а не Фомы).

Стр. 456, строка 12: «прошептал Бобров» вместо «шептал Бобров» (по ПТ и БЖ).

Возможно, что мысль написать большое произведение о русском купечестве возникла у Горького во время Всероссийской промышленной выставки и Всероссийского торгово-промышленного съезда 1896 г., на которых он присутствовал как специальный корреспондент «Нижегородского листка» и «Одесских новостей». В горьковских заметках и корреспонденциях со Всероссийской выставки встречается немало размышлений о прошлом русского купечества, о путях и способах завоевания им «места под солнцем», о его роли в историческом развитии России. Все эти темы и мотивы находятся в центре повести. Позднее именно в связи с «Фомой Гордеевым» Горький писал: «Больше всего знаний о хозяевах дал мне 96 год. В этом году в Нижнем Новгороде была Всероссийская выставка и заседал „Торгово-промышленный“ съезд <...> я посещал заседания съезда, там обсуждались вопросы внешней торговли, таможенной и финансовой политики. Я видел там представителей крупной промышленности всей России...» (Г-30, т. 25, стр. 317).

Первое упоминание о замысле повести и начале работы над ней встречается в письме Горького к А. Л. Волынскому в сентябре 1897 г., где он говорит о намерении «заняться вещью более широкого значения» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-9-7-5).

7 октября сообщает Е. П. Пешковой: «Медленно пишу роман» (там же, № 81038). 12 октября пишет ей же: «...в эту зиму у меня будут хорошие вещи. „Роман“ мне пока нравится» (Г-30, т. 28, стр. 19). Но в это время Горький не мог систематически работать над осуществлением своего замысла. Необходимо писать для заработка, обязательство перед газетами и журналами, взятые ранее, неожиданный арест,— всё это отрывало от повести. Горький по-прежнему бился в жестких тисках нужды. Он надеялся, что гонорар из «Северного вестника» за «Вареньку Олесову» освободит его на некоторое время от материальных забот, позволит спокойно работать над большим произведением. Но журнал был некредитоспособен. В апреле 1898 г. Горький жалуется С. П. Дороватовскому: «„Сев<ерный> вест<ник>“ зарезал меня. Я думал, что, получив с него за „Вареньку“ некую сумму, летом я буду понемногу проживать ее и, не торопясь, писать одну длинную историю. Увы — писатель предполагает, а издатель располагает...» (там же, стр. 23).



Успех таких произведений, как «Коновалов», «Бывшие люди», «Супруги Орловы» и особенно двух томов «Очерков и рассказов», изданных С. Дороватовским и А. Чарушниковым, укрепил веру Горького в то, что он сможет создать действительно крупное и значительное произведение. 19 или 20 апреля 1898 г. он писал Дороватовскому: «Отношение публики к моим писаниям укрепляет во мне уверенность в том, что я, пожалуй, и в самом деле сумею написать порядочную вещь. Вещь эта, на которую я возлагаю большие надежды, — ибо намерен возбудить ею стыд в людях, — мною уже начата, и зимой я буду ее продолжать» (там же, стр. 23—24).

Интенсивная работа над повестью началась осенью 1898 г. Во второй половине октября 1898 г., отвечая на приглашение С. Я. Елпатьевского приехать в Ялту, Горький так мотивировал свой отказ: «...начал я писать одну штуку, и прерывать работу не хочется, да и вредно будет это для нее, для штуки-то» (там же, стр. 36). А в августе 1899 г. Горький сообщил А. П. Чехову: «„Фому“ дописал и очень рад» (там же, стр. 93).

Произведение начало печататься в 1899 г. с февральской книжки «Жизни», хотя к январю этого года была написана лишь незначительная часть повести. 5 или 6 января Горький сообщил Дороватовскому: «Я едва ли успею прислать начало — детство героя — к февральской» (там же, стр. 55). В дальнейшем работа осуществлялась по частям и по частям же написанное отправлялось в журнал.

Судя по письму В. А. Поссе к Горькому от 23 января 1899 г., первоначально повесть называлась «Игнат Гордеев». Сообщая Горькому свое мнение о начале повести, Поссе писал: «Зачем ему <роману> звать Игнатом? Ведь суть в конце концов будет в Фоме? А превосходно. Это не „Чёрт“, а чертовски хорошо» (Архив А. М. Горького, КГ-п-59-1-36). Видимо, писатель не возражал, и в печати повесть появилась под названием «Фома Гордеев».

Только в процессе работы у Горького окончательно открылся замысел и определилась идейная направленность первого эпического творения. 12 февраля 1899 г. он писал Дороватовскому: «Эта повесть — доставляет мне немало хороших минут и очень много страха и сомнений, — она должна быть широкой, содержательной картиной современности, и в то же время на фоне ее должен бешено биться энергичный, здоровый человек, ищущий дела по силам, ищущий простора своей энергии. Ему тесно, жизнь давит его, он видит, что героям в ней нет места, их сваливают с ног мелочи, как Геркулеса, побеждавшего гидр, свалила бы с ног туча комаров. Выйдет ли у меня это достаточно ярко и понятно?» (Г-30, т. 28, стр. 61—62). «Страхи и сомнения» начались сразу же, как только Горький приступил к работе. Стало ясно, что материал не укладывается в ранее намеченный объем. В начале января 1899 г. Горький жаловался Дороватовскому: «К великому моему сожалению, повесть для „Жизни“, над которой я теперь сижу, извивается у меня, как змея. Нужно мне было написать ее на 5 листах, но я не сумею сделать этого без ущерба для темы. Это мне обидно. Но уже теперь я могу побо-

житься, что в этой повести будут педурные картинки» (там же, стр. 55).

Вслед за тем возникло сомнение в правильности образно-композиционного строения повести. «Фома, — пишет Горький Дороватовскому, — не типичен как купец, как представитель класса, он только здоровый человек, который хочет свободной жизни, которому тесно в рамках современности. Необходимо рядом с ним поставить другую фигуру, чтоб не нарушать правды жизни» (там же, стр. 62). Горький приходит к выводу, что такой фигурой должен быть «типический купец», «мелкий, умный, энергичный жулик», который «из посудников на пароходе достигает до поста городского головы». Параллельно с работой над «Фомой Гордеевым» писатель составляет план повести «Карьера Мишки Вягина» (там же).

Горького очень волнует, как отнесется к «Фоме Гордееву» публика, сотрудники редакции. В цитированном выше письме Дороватовскому, изложив идею своего произведения, он с тревогой спрашивает: «Скажите мне, как Вам нравится начало, не растянуто ли оно, не скучно ли, что о нем говорит публика, не жалуются ли на обилие монологов у Игната?» (там же).

Редактор «Жизни» Поссе восторженно отзывался о первых главах повести. Его письма за январь — март 1899 г. полны такого рода высказываний: «Хорошо, друг Горький, пишешь. Так хорошо, что, прочитав твоего Гордея, я забыл все горести...»; «„Фома“ мне ужасно нравится...»; «Ах Горький, Горький, какой могучий талант у тебя!»; «Фома — вещь мощная, удивительная» (Архив А. М. Горького, КГ-п-59-1-36, 38, 39 и 42).

Подобные отклики ободряли Горького, побуждая к еще более интенсивной работе. В конце апреля 1899 г. он писал А. М. Калмыковой, что «поглощен до концов волос „Фомой Гордеевым“» (там же, ПГ-рл-18-5-4). О том же сообщал он в конце мая 1899 г. и Дороватовскому (Г-30, т. 28, стр. 80).

Но в июне 1899 г. в отношении писателя к его повести произошел перелом. 3 июня он пишет Чехову: «Настроение у меня пакостное <...> „Фома“ мой становится для меня крокодилом каким-то. Я даже во сне его видел прошлый раз: лежит в грязи, щелкает зубами и свирено говорит: „Что ты со мной, дьявол, делаешь?“ А что я делаю? Испорчу ему вид» (там же, стр. 82). Это пока еще шутливая жалоба. Однако с этих пор и вплоть до окончания работы над повестью в письмах Горького разным адресатам всё сильнее звучит неудовлетворенность своим трудом, убеждение, что повесть не удалась. «Порчу „Фому“. Очень зол», — замечает он в письме к В. С. Миролубову. Более откровенно и определенно пишет он Дороватовскому: «А с „Фомой“ я — сорвался с пути истинного. О-хо-хо! Придется всю эту махицу перестроить с начала до конца, и это мне будет дорого стоять! Поторопился я и — растянул. Горе! Очень злит меня сия вещь». И в другом письме ему же: «„Фома“? Я его испортил. В июньской книге он отвратителен. Женщины — не удаются. Много совершенно лишнего, и я не знаю, куда девать нужное, необходимое. Я его буду зимой переписывать с начала до конца и, думаю,

исправлю, поскольку это возможно». Итог своей работы подводит Горький в письмах к Чехову: «Я не доволен собой, потому что знаю — мог бы писать лучше. Фома все-таки ерунда. Это мне обидно». «Говоря по совести — сорвался с Фомой. Но вышло так, как я хотел в одном: Фомой я загородил Маякина, и цензура не тронула его. А сам Фома — тускл. И много лишнего в этой повести. Видно, ничего не напишу я так стройно и красиво, как „Старуху Изергиль“ написал» (там же, стр. 82, 86—88, 92).

На всю жизнь сохранил Горький несправедливое убеждение, что первое большое полотно не удалось ему. Более тридцати лет спустя в статье «Беседы о ремесле» он утверждал, что материал, легший в основу повести «Фома Гордеев», разработан плохо. «Будь я критиком, я упрекнул бы автора в том, что он свел весьма богатый материал к рассказу о том, как одного юношу „свели с ума“» (Г-30, т. 25, стр. 307).

Из-за отсутствия рукописей «Фомы Гордеева» невозможно в полной мере представить цензурную историю повести. Судить о ней можно лишь по неполным, а иногда и противоречивым упоминаниям в письмах Горького и сотрудников редакции «Жизнь». Получив первую часть повести для печати, Поссе в письме от 23 января 1899 г. предупреждал Горького о страшном произволе цензора по отношению к журналу «Жизнь». 4 февраля 1899 г., снова жалуясь на то, что «к „Жизни“ цензура относится ужасно <...>, цензор не только черкает, но и не возвращает вовремя. Держит корректуры по 12 дней...», Поссе замечал, однако, что из «Фомы Гордеева» цензор выкинул всего несколько слов (Архив А. М. Горького, КГ-п-59-1-38). Об одном из цензурских искажений Поссе писал автору 11 февраля 1899 г.: «На стр. 44 цензор вычеркнул царей, я затем вычеркнул дураков, но типография дураков всё же оставила» (там же, КГ-п-59-1-39).

Далее ситуация изменилась в пользу журнала. 4 марта 1899 г. Поссе просит Горького непременно прислать материал для апрельской книжки и сообщает о назначении нового цензора: «Цензор (новый) в восторге от твоего „Фомы“, обещает ни словечка не трогать. Он цензур<ует> „Ниву“ и говорит, что „Фома“ выше „Воскресения“» (там же, КГ-п-59-1-42). Цензор как будто бы сдержал свое обещание. Во всяком случае, 29 марта 1899 г., т. е. когда апрельская книжка проходила через цензуру, Поссе сообщил Горькому: «Цензор решил беллетристику не трогать. В посланных гранках типографией (о чтоб чёрт ее побрал!) выпущен целый кусок, но он, конечно, попадет в апреле на свое место» (там же, КГ-п-59-1-43). Но именно в связи с этой частью повести Горький писал Е. П. Пешковой: «„Фому“ моего (на апрель) цензура изувечила страшно. Я получил корректуру и взбесился до белого каления. Но чёрт с ними! Чем сильнее будут бить по камню, тем больше искр он даст. Я не из слабеньких, и булавочными уколами меня не убьют» (Г-30, т. 28, стр. 71). Высказывания Поссе и Горького не согласуются между собой. Упоминание в одном случае грапок, в другом — корректур наводит на мысль, что речь идет об одном и том же материале. Видимо, в данном случае

механический типографский дефект Горький принял за цензорскую купюру. Однако и в дальнейшем автор жаловался на производленную цензуру. 18—23 июня 1899 г. он писал Е. П. Пешковой: «Фому за июнь перечеркали, исправить нельзя» (*Архив ГV*, стр. 64).

По поводу цензорского вмешательства в текст существует также свидетельство Е. П. Пешковой, относящееся к более позднему времени. Среди ее записей есть такая:

«Была во ВТО на просмотре оперы Касьянова Ал-ра Вас.— „Фома Гордеев“. Слушала, смотрела и недоумевала. Ряд любовных сцен из жизни Фомы Гордеева и совсем не тот конец.

Ясно вспомнилось, как было — Фома и Люба Маякина идут в революцию — [Люба] Фома погибает во время демонстрации, идя рядом с рабочим знаменосцем. Люба уезжает в Швейцарию, в Женеvu.

Вернувшись домой, достала книжку с Фомой Гордеевым, перечла — конец не тот, который врезался в память.

Потом вспомнила, что из-за цензуры, кот<орая> задержала книжку „Жизни“, Ал. М. дал совсем другой вариант и приблизительно был другой конец.

Потом, позднее собирался переделать, но за выплывшими новыми темами не вернулся к Фоме» (*Архив А. М. Горького*, фонд Е. П. Пешковой).

Приведенная запись вызывает, однако, сомнение. Основная линия в развитии образов Фомы и Любы Маякиной не дает материала для финала, о котором говорила Е. П. Пешкова. В период работы над «Фомой Гордеевым» сама тема пролетариата только еще зарождалась на страницах произведений Горького. Концовка же, о которой говорится в записи, ассоциируется скорее с романом «Мать», нежели с «Фомой Гордеевым».

Работа над «Фомой Гордеевым» осуществлялась в период интенсивного духовного развития писателя. По позднему признанию Горького, в то время он уже был уверен в неизбежности революционных преобразований в России, шел к марксизму. В «Беседах о ремесле» он писал об этом времени: «...я был несколько знаком с учением Маркса. „Мораль господ“ была мне так же враждебна, как и „мораль рабов“, у меня слагалась третья мораль: „Восстающего поддержи“» (*Г-30*, т. 25, стр. 321).

О жизненном материале, послужившем основой сюжета, о реальных прототипах многих персонажей повести детально рассказано самим Горьким в статьях «О том, как я учился писать» и «Беседы о ремесле». Прототипом главного своего героя писатель называет волжского паромщика, «короля фрахта» Гордея Чернова. Этот энергичный, умный, удачливый купец метался по Волге в поисках наживы и... смысла жизни. Неожиданно он бросил дело и ушел на Афон, стал монахом.

Конечно, Горький не был связан прототипами и брал у реальных людей лишь черты, необходимые для раскрытия концепции образа. Персонажи его собирательные, типичные. «...для того, чтобы написать „Фому Гордеева“, — говорит он, — я должен был

видеть не один десяток купеческих сыпоев, не удовлетворенных жизнью и работой своих отцов; они смутно чувствовали, что в этой однотонной, „томительно бедной жизни“ — мало смысла» (Г-30, т. 24, стр. 495).

В «Беседах о ремесле» Горький подробно рассказал о жизни, быте и нравах «железных» купцов. Многие из того, что он знал и наблюдал лично, вошло в обличительную речь, с которой Фома обрушивается на купеческих заправил города в финале повести. Вспоминая о преступлениях одного патриархального нижегородского купца, Горький писал: «Во всю правду повести о нем я не поверил и, вводя его в книгу „Фома Гордеев“ под именем Анания Щурова, несколько сократил количество уголовных подвигов его» (Г-30, т. 25, стр. 300).

В той же статье («Беседы о ремесле») Горький рассказал, как создавался образ Якова Маякина — персонажа, охарактеризованного самим автором так: «<...> человек „железный“ и при этом „мозговой“, он уже способен думать шире, чем требуют узко личные его интересы, он политически точен и чувствует значение своего класса.

В действительности я не встречал человека, оформленного психологически так, как изображен мною Маякин <...> Из какого материала была построена фигура Якова Маякина? Прежде всего: я достаточно хорошо знал „хозяев“, основное их стремление жить чужим трудом и крепкая убежденность в этом своем хозяйском праве — были испытаны мной непосредственно и разнообразно <...>

Я очень внимательно присматривался к ним, к их „нормальному“ быту, прислушивался к их разговорам о жизни, — мне нужно было понять: какое право имеют они относиться к тем, кто работает на них, и, в частности, ко мне, как к людям более диким, более глупым, чем они сами? На чем, кроме силы, основано это право? Писатель констатировал, что ему удалось «из массы мелких наблюдений над „хозяевами“ слепить более или менее цельную и „живую“ фигуру хозяина средней величины».

«Прием был прост: я приписал Якову Маякину кое-что от социальной философии Фридриха Ницше <...> Я имел вполне законное основание приписать кое-какие черты древней философии хозяев русскому хозяину <...> я воспользовался правом литератора „домыслить“ материал, и мне кажется, что жизнь вполне оправдала этот „присмремесла“. „Хозяин“ Яков Маякин после первой революции 1905—6 годов стал „октябристом“ и после Октября 17 года показал себя цинически обнаженным и беспощадным врагом трудового народа» (там же, т. 25, стр. 307—308, 311—312, 319, 320, 322).

Присутствуя в качестве корреспондента на Всероссийской промышленной выставке, на заседаниях торгово-промышленного съезда, бакетах, обедах, Горький часто встречался с купцами, «устроителями жизни» типа Якова Маякина. В одном из очерков с Выставки он привел речь такого «устроителя»: «Мы, — говорил недавно один купеческий оратор на частном обеде, — мы в настоящие дни представляем главенствующее сословие в стране, самое

богатое и умное. Капитал, главная движущая жизнью сила, в наших руках и, значит, вся жизнь в нашем распоряжении...» (Г-30, т. 23, стр. 247). Подобные мысли уже открыто высказывались в русской прессе — в изданиях, ориентирующихся на торгово-промышленный класс. В своих корреспонденциях с Выставки Горький отвечал на статьи подобного рода, в частности, на статью редактора «Волгаря» С. И. Жукова, который «задался целью раскрыть значение буржуазии как класса. Сделал он это прямолинейно, с апломбом и высокомерием. Именно им было сказано: „Мы всё можем!“» (А. И. О в ч а р е н к о. Публицистика М. Горького. Изд. 2. М., 1965, стр. 97).

В статье, о которой идет речь, Жуков, в частности, писал: «...купечество ныне имеет в рядах своих массу европеизированных людей, а дети купеческих семейств несут одинаковую службу в государстве наряду с другими привилегированными сословиями. В войсках они занимают многие важные административные места, в высших правительственных учреждениях они имеют многих своих представителей <...> В то же самое время, становясь в ближайшее общение с народом, составляя его наиболее крепкую часть, купечество наиболее всех других сословий сохранило в себе самобытный русский дух, и национальные чувства нигде не проявляются с такою силою, уверенностью и широтою, как в этом сословии. Оно единственно сильное в наше время и своей зажиточностью. Оно всё может. <...> Купечество, достаточно окрепнувшее в своих социальных условиях, является именно тем оплотом, на который вправе рассчитывать государство...» («Волгарь», 1896, № 184, 6 июля).

Горький рассматривал эту статью как «знамение времени» и «апофеоз купечества» (см. его корреспонденцию «С Всероссийской выставки» от 8 июля — «Одесские новости», 1896, № 3688, 13 июля).

Статья «Волгаря», выступление купеческого оратора на частном обеде — всё это созвучно речи Якова Маякина во славу русского купечества, произнесенной им в финальной сцене повести.

Маякин, не имевший конкретного прототипа, получился у писателя таким достоверным, жизненным лицом, что реальные купцы всерьез считали его «списанным» с кого-то. Один из них в начале века рассказывал Горькому, как относится шжегородское купечество к книге: «Читают ее согласно, верно, говорят, списал, народ мы — такой! Яков Башкиров хвастает: „Маякин — это я! С меня списано, вот глядите, каков я есть умный!“» (Г-30, т. 15, стр. 209). Крупный торговец хлебом, миллионер Н. А. Бугров, который, прочитав «Фому Гордеева», искал знакомства с Горьким, так отозвался о Маякине: «...Маякин — примечательное лицо! Изволили знать такого? Я вокруг себя подобного не видал, а — чувствую: таков человек должен быть! Насквозь русский и душой и разумом. Политического ума...» (там же, стр. 215).

Повесть «Фома Гордеев» органически включает в художественную ткань автобиографический материал. На это

обратили внимание исследователи творчества Горького. Б. В. Михайловский заметил, что некоторые «умонастроения Фомы близки тем, которые были пережиты и преодолены подростком и юношей Пешковым» (*Г Чтения*, 1961, стр. 174). Опыт работы газетчика Горького помог ему при создании образа фельетониста Ежова: «Ежов выполняет в газете ту самую работу, что и молодой Горький в „Самарской газете“, а его статьи перекликаются кое в чем с фельетонами Иегудиила Хламиды» (там же, стр. 148). Некоторые высказывания Ежова о Человеке и его назначении («Человек есть вселенная, и да здравствует вовеки он, носящий в себе весь мир») также близки горьковским мыслям.

В облике умной и ласковой тетки Анфисы, от которой Фома впервые услышал народные сказки и предания, в ее речах и поведении нельзя не увидеть черты, роднящие ее с бабушкой Алеши Пешкова.

Известно, что в декабре 1898 г. Горький запросил у Дороватовского, готовившего к печати третий том его «Очерков и рассказов», автобиографический рассказ «Однажды осенью», намереваясь использовать его в «Фоме Гордееве». Текстовых совпадений между рассказом и повестью нет. Но образ героини рассказа напоминает характер Саши (холодная ненависть к людям, обманчивое, по внешности флегматическое отношение к окружающему). Отношения, возникшие между героями рассказа «Однажды осенью», сама ситуация — проститутка утешает юношу, ищущего смысл жизни, задумавшегося над ее переустройством, — ассоциируются с отношениями Фомы и Палагеи.

Почти целиком, с текстуальными совпадениями, вошел в повесть набросок «Гость», опубликованный до того в «Самарской газете», 1895, № 203, 22 сентября (см. т. II наст. изд., стр. 338).

Таким образом, повесть вобрала в себя многие мотивы и темы, многие идеи и размышления Горького, уже нашедшие художественное решение в ранних рассказах.

Грядущая смена в России одного господствующего класса другим, ощущение силы денег купцом-богатеем, который «всё может», но еще робеет перед вчерашним хозяином жизни — дворянином, сословная ненависть и взаимное презрение дворянина и купца — тема рассказа «Тронуло».

Тоскует и мечется, не находя применения силе, мельник Тихон Павлович из рассказа «Тоска», ищет ответа у образованного интеллигента-учителя, ищет забвения в кутежах.

В купце из «Наваждения» сконцентрированы черты, развитые потом во многих персонажах «Фомы Гордеева»: патриархальное миропонимание, обусловленное патриархальным укладом жизни, поиски смысла накопительства, сознание силы денег, проблема взаимоотношения двух поколений, мучительное стремление найти выход из заколдованного круга.

Основной пафос повести — неудовлетворенность жизнью, острое ощущение социальной несправедливости, поиски Человека, дух бунтарства — свойствен многим ранним рассказам Горького.

Одним из первых читателей повести был В. И. Ленин. В письме к А. Н. Потресову от 27 апреля 1899 г. он заметил по поводу журнала «Жизнь»: «...недурной журнал! Беллетристика прямо хороша и даже лучше всех!» (В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 46, стр. 25). К этому времени Ленин прочитал февральскую и мартовскую книжки «Жизни», где были напечатаны три главы повести (в письме Ленина упоминается статья о книге Э. Бернштейна, напечатанная в «Жизни», 1899, март).

Характерно, что многие русские общественные деятели и писатели почувствовали в повести новые, марксистские веяния. Горький вспоминал, что В. Г. Короленко говорил ему:

«Такие вещи, как „Варенька Олесова“, удаются вам лучше, чем „Фома Гордеев“. Этот роман — трудно читать, материала в нем много, порядка, стройности — нет.

Он выпрямил спину так, что хрустнули позвонки, и спросил: — Что же вы — стали марксистом? Горький ответил, что «близок к этому» (Г-30, т. 15, стр. 47).

П. Ф. Якубович-Мельшин, признававший себя «злым противником русского марксизма», писал Горькому 15 января 1900 г.: «...в некоторых речах Маякина, который вышел оч(ень) живым лицом лишь благодаря таланту автора, мне так и слышится диктовка Тугана-Барановского». К этой фразе сделано подстрочное примечание автора письма: «Разумеется не в букв(альном) смысле понять это надо» (Архив А. М. Горького, КГ-п-91-7-1). «Легальный марксист» Туган-Барановский в глазах многих общественных деятелей был тогда представителем истинного марксизма.

Представители купечества, естественно, понимали, что «Фома Гордеев» отнюдь не апофеоз их сословию. Миллионер Бугров, признавая жизненность образа Маякина, чувствовал революционный пафос этого произведения. Горький приводит высказывание Бугрова.

«Мне сообщили, что будто, прочитав мою книжку „Фома Гордеев“, Бугров оценил меня так:

— Это — вредный сочинитель, книжка против нашего сословия написана. Таких — в Сибирь ссылать, подальше, на самый край...» (Г-30, т. 15, стр. 212).

Писатели-современники, оценивая повесть, не делали никаких скидок на молодость автора, на то, что это был первый его опыт создания широкого полотна. Здесь, разумеется, сказались также их идейно-эстетические разногласия с Горьким.

Отзыв Л. Н. Толстого о «Фоме Гордееве» приводит в своих воспоминаниях Поссе:

«Весной 1900 года я присутствовал при первой встрече Толстого с Горьким в Москве, в Хамовниках <...> Заговорили о произведениях Горького.

— Читали вы, Лев Николаевич, моего „Фому Гордеева“? — спросил Горький.

— Начал читать, — ответил Толстой, — но кончить не мог. Не одолел. Больно скучно у вас выдуманно. А всё выдуманно. Ничего такого не было и быть не может.



— Вот детство Фомы у меня, кажись, не выдуманно.

— Нет, всё выдуманно. Простите меня, но не нравится...» (Г. И. Лебедев и В. А. Поссе. Жизнь Л. Н. Толстого. СПб., 1913, стр. 118—120).

А. П. Чехов 29 февраля 1900 г. писал Поссе: «„Фома Гордеев“ написан однотоно, как диссертация. Все действующие лица говорят одинаково; и способ мыслить у них одинаковый. Все говорят не просто, а парочно; у всех какая-то задняя мысль; что-то не договаривают, как будто что-то знают; на самом же деле они ничего не знают, а это у них такой façon de parler — говорить и договаривать».

Места в „Фоме“ есть чудесные. Из Горького выйдет большущий писателище, если только он не утомится, не охладет, не обленится» (Чехов, т. XVIII, стр. 343). А три года спустя, 26 февраля 1903 г., в письме к А. И. Сумбатову-Южину Чехов заметил: «„Фому Гордеева“ и „Трое“ читать нельзя, это плохие вещи...» (там же, т. XX, стр. 58).

Чехов как старший и опытный литератор давал чисто профессиональные советы молодому писателю, делился с ним тайнами ремесла. Читая повесть «урывками» еще в журнале, он писал автору 3 сентября 1899 г.: «...вычеркивайте, где можно, определения существительных и глаголов. У Вас так много определений, что вниманью читателя трудно разобратся и он утомляется <...> За сим еще одно: Вы по натуре лирик, тембр у Вашей души мягкий <...> Грубить, шуметь, язвить, неистово обличать — это несвойственно Вашему таланту. Отсюда Вы поймете, если я посоветую Вам не пощадить в корректуре сукиных сынов, кобелей и шибздиков, мелькающих там и сям на страницах „Жизни“» (там же, т. XVIII, стр. 221). Позднее Горький вспомнил еще об одном замечании: «А. П. Чехов сказал мне о Медынской в „Фоме Гордеева“: „У нее, батенька, три уха, одно — на подбородке, смотрит!“ Это было верно, — так неудачно я посадил женщину к свету» (Г-30, т. 24, стр. 490).

Вместе с тем Чехов радовался успеху молодого Горького и, в частности, успеху его повести. Получив от Поссе отдельное, подарочное, издание повести, специально для него переплетенное, Чехов писал редактору «Жизни» 15 февраля 1900 г.: «...это ценный, трогательный подарок; благодарю Вас от всей души. Тысячу раз благодарю! <...> Кстати сказать, „Фома“ имеет успех, но только у умных, начитанных людей, у молодых также. Я раз подслушал в саду беседу одной дамы (петербургской) с дочерью: мать бранила, дочь хвалила» (Чехов, т. XVIII, стр. 337).

Общественный резонанс, вызванный «Фомой Гордеевым», был очень велик, так как эта повесть отразила острейшие проблемы современности. В. В. Вересаев, например, заинтересовал вопрос, который он мучительно решал в своей жизни, в своем творчестве — взаимоотношения интеллигенции и народа. 22 декабря 1899 г. он писал Горькому: «Возьмите в „Фоме“ в августовской книжке сцену с Ежовым у костра; сама по себе эта сцена, по-моему, шаржирована, но существование тех взаимных отношений, которые в ней изображены, — несомненная дей-

ствительность; форма отношений может меняться, но суть их пока остается тою же, будь то Ежов, Петров, Иванов, я или кто другой. Суть эта — *нисходительное презрение* или, в лучшем случае, *равнодушное чуждание по отношению к нам*. Лично об себе Вы, я помню, это отрицали, но бессознательно такое отношение пропитывает всё, Вами написанное. Это отношение вызывает во мне реакцию, а выхода ей я найти не могу. Игрою истории я поставлен в такое положение, что корни моей духовной жизни лежат там, и если я от той почвы отрываюсь, то я погибаю; жизнь там, а я там чужой» (Архив А. М. Горького, КГ-п-15-6-2. Курсивом набраны слова, подчеркнутые Горьким при чтении письма).

Идею повести, сущность ее центрального образа верно определил и Леонид Андреев. В статье о подписке на памятник И. С. Никитину он вскользь бросил мысль о том, что Фома раздавлен ложью жизни, загнан в футляр страхом жизни («Курьер», 1900, № 35, 4 февраля). В письме же к Горькому от 30 декабря 1901 г. он удачно сопоставил образ Ильи Лулева с Фомой Гордеевым: «Находят сходство между ним и Фомой. Не знаю. На мой взгляд, он антитеза Фомы. Тот неминуемо должен был закончить тем, чем он у тебя закончил, а Илья — анархией. Фома родился большим и вся его жизнь — роковое умаление, а Илья родился маленьким, и вся жизнь его — рост, синтез, воля, разными протоками сливающаяся в одно русло» (*Лит Насл.*, т. 72, стр. 126).

Л. В. Средин — не профессионал, но умный и чуткий читатель, друг Горького, 23 декабря 1899 г. писал автору: «...„Фому“ покупать не буду, так как обещаете прислать. Надеюсь, не забудете. Его прочитал в журнале. И хорошо и плохо, очень много о нем писать надо, лучше поговорим. Только глубоко протестую против конца! Зачем он с ума сошел, ведь этим все его прежние протесты в корне подрываются, получая психопатическую подкладку, которой Вы, наверное, в виду не имели, иначе из-за чего было огород городить? Словом, поговорим и поспорим. Купечество, многие второстепенные лица, картины природы, работы — прекрасны, — местами сила и яркость удивительны. Если бы не спешная работа, да еще работа по кускам, отрывочная, было бы совсем хорошо, поэтому, может, напрасно выпускаете отдельным изданием сейчас же. Можно бы поработать и переделать» (*Г Чтения*, 1968, стр. 35—36).

В конце августа 1899 г. Горький предлагает пайщикам «Жизни» издать «Фому Гордеева» отдельной книгой, на условиях, наиболее выгодных для журнала (см. его письмо пайщикам «Жизни» 27 августа 1899 г. Архив А. М. Горького, ПГ-риз-65-30-6). Едва отослав конец повести для сентябрьской книжки, писатель пересматривает всё произведение, готовя его к отдельному изданию в *БЖ*. 26 или 28 августа он пишет Чехову: «Антон Павлович! Разрешите мне посвятить Вам „Фому“ в отдельном издании? Если это будет Вам приятно — разрешите, пожалуйста. Не будет — так и скажите — не надо» (*Г-30*, т. 28, стр. 92). Чехов ответил, что посвящение доставит ему удовольствие и честь.

Первое отдельное издание вышло с посвящением на титульном листе: «Антону Павловичу Чехову.— М. Горький».

Поправки, внесенные автором в первопечатный текст, были немногочисленны, но очень существенны. Отдельные вставки уточняют образы, дорисовывают портреты персонажей, поясняют ситуации. В этом же издании писатель расширил текст песни крючничков (стр. 421). В журнале была лишь одна строчка: «Пьют наливочки густые» и первая строка припева «Ой, да дубинушка, ухнем!», по которым трудно было судить о характере этой озорной, остро социальной песни. Очень много внес автор в текст стилистических поправок (см. варианты).

4 февраля 1900 г. Горький заключил договор с товариществом «Знание» на издание своих художественных произведений. В этом издании, в составе IV-го тома собрания сочинений, «Фома Гордеев» до 1910 г. включительно вышел десять раз.

В критической литературе о Горьком традиционно утверждалось, что при подготовке своих произведений для  $З_{н1}$  писатель заново пересмотрел и текст «Фомы Гордеева». Мнение это неверно. Горький предполагал переделать повесть, но, занятый работой над новым произведением («Мужик»), не смел на это времени. В 20-х числах февраля 1900 г., в период подготовки издания, он писал Д. Д. Протопопову, ведавшему изданием художественных произведений Горького: «„Фому“ можно издавать — мне некогда переделывать его» (*Архив Г<sub>VII</sub>*, стр. 13).

Четвертый том «Рассказов»  $З_{н1}$ , где помещался «Фома Гордеев», вышел из печати в конце апреля 1900 г. Не считая многочисленных явных опечаток, текст его содержит до 50-ти мелких разночтений корректорского или редакторского происхождения по сравнению с текстом *БЖ*.

В 1901 г. «Фома Гордеев» вышел вторым изданием в товариществе «Знание». Повесть в  $З_{н2}$  была перепечаткой текста  $З_{н1}$ , хотя это новое издание содержит около 20-ти новых не авторских разночтений. Но здесь впервые появилось вместо двенадцати — тринадцать глав: материал, обозначенный в *ПТ* цифрами VI—VII, в *БЖ* был разбит на три главы — VI, VII и VIII, но в *БЖ* и  $З_{н1}$  главы X и XI ошибочно нумеровались цифрой X. Автор получал «чистые листы» второго издания. И хотя, судя по письмам, Горький не читал текста, он мог уточнить нумерацию глав собственноручно в чистых листах (см. письмо Пятницкого Горькому от 11 ноября 1900 г. — *Архив А. М. Горького*, КГ-п-62-1-11 и ответ Горького от 14—15 ноября 1900 г. — *Архив Г<sub>IV</sub>*, стр. 15).

Третье издание «Фомы Гордеева» в «Знании», вышедшее в том же 1901 г., адекватно второму.

В конце 1901 — начале 1902 г. Горький полностью пересматривает томы «Рассказов», подготавливая тексты для издания в *ДБЗ*. 31 января — 1 февраля 1902 г. он пишет Пятницкому: «Дешевое издание должно выйти в исправленном виде» — и здесь же сообщает, что том IV, т. е. «Фома Гордеев», потребует «очень много чистки» (*Архив Г<sub>IV</sub>*, стр. 76). Работа эта была окончена к середине мая 1902 г. (см. там же, стр. 81). Однако «Фома Гордеев»

не был издан в серии ДБЗ, а текст повести, заново отредактированный автором, вышел в З<sub>н4</sub>.

Работа автора над текстом для З<sub>н4</sub> шла в основном по линии сокращения. Так, Горький исключил большую сцену Игната с расстригой-дьяконом. В ПТ, БЖ, З<sub>н1-3</sub> после слов: «...но нигде и ни в чем не находил успокоения» (стр. 185 наст. издания) было:

«Случилось как-то раз — к компании, кутившей вместе с Игнатом, пристал, как пристаёт ком грязи к сапогу, расстрига-дьякон, низенький и толстый человек в дырявом подряснике и с лысой головой. Существо безличное, уродливое и гадкое — он играл роль шута: ему мазали лысину горчицей, заставляли ходить на четвереньках, пить смесь разных водок, плясать циничные танцы; он делал всё это молча, с идиотской улыбкой на обрюзглом лице и, сделав, что было приказано, неизменно говорил, простирая руку ладонью кверху:

— Пожалуйте рублик...

Над ним хохотали и иногда давали ему двугривенный, иногда ничего не давали, но случалось, бросали по десять рублей и больше.

— Ты, мр-разы! — крикнул ему однажды Игнат. — Говори, кто ты есть таков?

Дьякон испугался окрика и, низко кланяясь Игнату, молчал.

— Кто? Говори! — ревел Игнат.

— Аз емь человек... для поругання... — ответил дьякон, и компания расхохоталась над его словами.

— Мерзавец ты? — грозно спрашивал Игнат.

— Мерзавец... по нужде и слабости духа моего.

— Иди сюда! — позвал его Игнат. — Иди и садись рядом со мной...

Робкими шагами, вздрагивая от страха, дьякон подошел к пьяному кушцу и стал против него.

— Садись рядом! — говорил Игнат, взяв его за руку и усаживая испуганного рядом с собой. — Ты мне близкий человек... Я — тоже мерзавец! Ты — по нужде, я — по озорству... я — от тоски мерзавец! Понял?

— Понял... — тихо сказал дьякон.

А компания хохотала...

— Знаешь теперь, кто я?

— Знаю...

— Ну, скажи: «Ты, Игнат, мерзавец!»

Дьякон не мог этого. Он с ужасом посмотрел на огромную фигуру Игната и отрицательно потряс головой. Компания же хохотала — точно гром гремел. Не мог Игнат приказать дьякону обругать его. Тогда он спросил его:

— Дать тебе денег?

— Дайте! — встрепенулся дьякон.

— А па что они тебе?..

Дьякон не хотел отвечать. Тогда Игнат взял его за шиворот и вытряс из грязных уст его такую речь, сказанную со страхом и тихо, почти шёпотом:

— Имею дочь... дочку... шестнадцать лет... в духовном училище. Для нее... коплю... ибо, когда изыдет... даже наготу прикрыть будет нечем...

— А... — сказал Игнат и отпустил ворот дьякона. Потом он долго сидел задумчивый и мрачный и всё присматривался к дьякону. Потом его глаза засмеялись и он сказал:

— Врешь, ведь, пьяница?

Дьякон молча перекрестился и опустил голову на грудь.

— Правда, есть! — подтвердил слова дьякона кто-то из компании.

— Есть? Ладно! — крикнул Игнат и, ударив кулаком по столу, обратился к дьякону:

— Эй, ты! Продай дочь! Сколько возьмешь?

Дьякон потрянул головой и весь съезжился.

— Тыщу!

Компания хохотала, видя, как дьякон сжится, точно на него льют холодную воду.

— Две! — орал Игнат, сверкая глазами.

— Что вы?.. Как это? — лепетал дьякон, простирая обе руки к Игнату.

— Три!

— Игнат Матвсич! — тонким, звенящим голосом крикнул дьякон, — господа бога ради... ради Христа! Будет... продам ведь! Для нее — продам!

В его криках, болезненно резких, звучала угроза кому-то, и глаза у него, раньше шиком не замеченные, сверкали, как угли. Но компания пьяных людей безумно хохотала над ним.

— Дыц! — грозно крикнул Игнат, выпрямляясь во весь рост и поводя бровями. — Не понимаете, дьяволы, в чем дело? От этого заплакать можно, а вы хохочете...

Он подошел к дьякону, стал пред ним на колени и твердо сказал ему:

— Дьякон! Теперь ты видел, каков я есть мерзавец. Ну, плюнь мне в рожу!

Произошло что-то безобразное и смешное. Дьякон тоже бросился в ноги Игнату и, как огромная черепаха, ползал около них и целовал колени и что-то бормотал, всхлипывая. Игнат же, склонившись над ним, поднимал его с пола и кричал ему, приказывая и прося:

— Плюй! Норови прямо в бесстыжие глаза мои!

Ошеломленная на минуту грозным криком Игната компания слова хохотала так, что стекла дрожали в окнах трактира.

— Сто целковых даю — плюнь.

А дьякон ползал по полу и рыдал от страха или от счастья слышать, как этот человек просит его об унижении своем.

Наконец Игнат встал с пола, толкнул ногой дьякона и, бросив в него пачкой денег, сказал угрюмо и усмехаясь:

— Сволочь... Разве можно человеку каяться пред такими?

Одни покаяния боятся слышать, другие смеются над грешником... Я было расхотелся во всю... сердце дрогнуло... Дай, думаю... И ничего я не думал... так это! Пошел вон! И чтобы я тебя никогда не видал — слышишь?

— Ах, чуд-дак! — умилилась компания.

В *ПТ*, *БЖ*, *Зн<sub>1-3</sub>* после слов «...она вертит ими, как хочет, гнет и ломает их, как ей угодно» (стр. 372) было: «а они бесчувственно и безропотно поддаются ей, и никто из них не хочет свободы для себя. Он же хотел ее и потому кичливо возвышал себя над своими собутыльниками, не желая видеть в них ничего, кроме дурного...

Однажды в трактире какой-то полупьяный человек жаловался ему на свою жизнь. Это был маленький, сухой человечек с испуганными тусклыми глазами, не бритый, в коротком сюртучке и в ярком галстуке. Он печально моргал, уши у него пугливо вздрагивали, и тихий голосок тоже дрожал.

— Я всяк бился, чтоб в люди попасть... За всё брался, работал я, как вол. Но затолкала меня жизнь, засла, затерла... Не хватило больше терпения... Эх! И вот начал я пить... Чувствую — погпбну... Ну, туда и дорога!

— Дурак! — презрительно сказал Фома. — Зачем было в люди выходить? Держал бы вправо от них... Встал бы к сторонке, посмотрел, где тебе среди них место, и тогда — вали прямо на свой пункт!

— Не понимаю ваших слов! — покачал человечек своей гладко остриженной угловатой головой.

Фома самодовольно усмехнулся.

— Тебе ли это понять?

— Нет, знаете, я так думаю, что кому бог судил...

— Жизнь не бог, а люди строят! — выпалил Фома и даже сам удивился дерзости своих слов. И человечек, искоса взглянув на него, тоже робко поежился.

— Бог разум тебе дал? — спросил Фома, оправляясь от смущения.

— Наверно... то есть, сколько полагается маленькому человеку... — неуверенно сказал собеседник Фомы.

— Ну — и ты с него больше не смеешь просить ни зерна! Строй свою жизнь своим разумом. Бог же будет судить тебя... Все мы на службе его... и всем нам одна перед ним цена... Понял?

Очень часто случалось, что Фома вдруг говорил что-то такое, что и ему самому казалось дерзким и что, в то же время, поднимало его в своих глазах. Это были какие-то неожиданные, смелые мысли и слова, которые вдруг являлись, как искры — впечатление как бы высекало их из мозга Фомы. И он сам не раз замечал за собой, что придуманное им он хуже, тусклее высказывает, чем то, что сразу вспыхивает в сердце.

От всего этого отрывка в *Зн<sub>4</sub>* остался лишь первый абзац, но и он был снят Горьким впоследствии при подготовке *К*.

В *ПТ*, *БЖ*, *Зн<sub>1-3</sub>* после слов «Мутная вода реки  $\infty$  дать п ей мпнутку покоя и отдыха...» (стр. 421) было:

«Ваше степенство! — раздался над ухом Фомы хриплый возглас. — Пожертвуйте на постройка косушки!

Фома равнодушно взглянул на просящего: это был огромный бородатый детина, босой, в изорванной рубашке, с разбитым опухшим лицом.

— Пошел прочь! — пробормотал Фома и отвернулся от него.

— Купец! Умрешь — деньги с собой не возьмешь — дай на шкалик! Аль лень руку в карман сунуть?

Фома снова взглянул на просящего: тот стоял пред ним, прикрытый больше грязью, чем одеждой, и, вздрагивая с похмелья, настойчиво ждал, глядя в лицо Фомы налитыми кровью, опухшими глазами.

— Разве так просят? — сказал ему Фома.

— Что же — на колени пред тобой из-за гривенника стать? — смело спросил босяк.

— На! — сунул ему Фома какую-то монету.

— Мерси!.. Пятиалтынный!.. Мерси! А если еще пятиалтынный дашь — вплоть до того вон кабака на четвереньках пройду — желаешь?! — предложил босяк.

— Ну, отстань! — сказал Фома, отмахиваясь рукой от него.

— Была бы честь предложена, а от убытка бог избавил, — сказал босяк и отошел в сторону.

Фома смотрел вслед ему и думал:

„Ведь вот — погибший человек, а смелый какой... Мпlostыню просит, как долг требует... Отчего у таких смелость?..“

И, глубоко вздохнув, он ответил сам себе:

„От свободы... Ничем человек не связан... чего ему жалеть? чего бояться? А я чего боюсь? Мне-то чего жаль?“

Эти два вопроса как бы толкнули сердце Фомы и вызвали в нем тупое недоумение. Он смотрел на движение трудившихся людей и упорно думал: чего ему жаль? Чего боится он?

„Самому мне, своей силой, видно, не выйти никуда... так дураком и буду болтаться среди людей... на смеху да на обиде у всех... Вот кабы они меня оттолкнули... возненавидели бы... тогда бы... тогда бы — иди на все четыре стороны!.. Хошь, не хошь — иди!“

Некоторые сокращения, предпринятые Горьким, вносят концептуальные поправки в трактовку образа Фомы. В *ПТ*, *БЖ*, *Зн<sub>1-3</sub>* после слов «...стыдно слез, он сдерживался и все-таки тихо плакал» (стр. 232) было: «Или вдруг сердце его трепетало от желания сказать что-то благодарное богу, преклониться пред ним; слова молитв вспыхивали в его памяти, и, глядя на небо, он подолгу шептал их, одну за другой, и сердце его облегчалось, изливая в молитве избыток сил своих».

Значительно в идейном отношении изъятие некоторых мест, где Фома предстал перед читателем как психически неустойчивый человек с аномальным восприятием окружающего. Так, в *ПТ*, *БЖ*, *Зн<sub>1-3</sub>* после слов «Тень встрепенулась и пугливо поползла за ним, безмолвная и черная» (стр. 302) было: «Фоме

казалось, что на него сзади дышат холодом и что-то огромное, невидимое, но страшное наступает его. В испуге он почти побежал навстречу пролетке, с грохотом явившейся откуда-то из тьмы, а когда сел в пролетку, то не мог оглянуться назад, хотя и желал этого...» После слов «И смехом проводили бы его гибель» (стр. 372) было: «Он бредил порой, под давлением этого кошмара. Из уст его вырывались какие-то слова, без связи и значенья; он даже потел от этой тяжелой возни внутри себя».

Писатель убирает эпизоды и диалоги, в которых повторялась уже описанная ранее коллизия или разговор, сцены и описания, где действие как бы останавливалось.

Стилистико-грамматических замен, дающих новый художественный вариант, в правке для  $Z_{M_4}$  очень мало. Такого рода исправления ограничиваются, как правило, заменой или снятием одного слова, уточнением форм слов и т. п. Из 125 случаев исправлений подавляющее большинство составляют сокращения и только в двух случаях Горький сделал добавления в текст.

Новую, третью, переработку повести Горький предпринял лишь через двадцать лет, готовя текст для  $K$ . Около 3000 исправлений, внесенных автором в текст, находятся в русле тенденций, наметившихся еще при редакции для первого отдельного издания и  $Z_{M_4}$ . Прежде всего — это устранение больших сцен и эпизодов, которые хотя и не были центральными в повествовании, тем не менее, несли на себе определенную нагрузку. В  $ПТ$ ,  $БЖ$ ,  $Z_{M_1-10}$  после слов «А Фома всё [блуждал] кутил и колобродил» (стр. 380) было: «, проводя дни и ночи в трактирах и вертепах и всё глубже усваивая презрительно-ненавистное отношение к людям, окружавшим его. Порой они вызывали в нем тоскливое желание найти среди них какой-нибудь отпор своему злему чувству, встретить человека достойного и смелого, который устыдил бы его горячим, укоризненным словом. Это желание с каждым разом возникало в нем всё более ясно ему, — это было желание помощи со стороны человека, который чувствовал, что запутался он и гибнет...»

— Братцы! — крикнул он как-то, сидя за столом в трактире, полупьяный и окруженный какими-то темными и жадными людьми, которые так много ели и пили, как будто перед тем в продолжение долгих дней у них куска во рту не было. — Братцы! Тошно мне... скучно мне с вами! Избежите вы меня... прогоните меня!.. Мерзавцы вы... но друг ко другу вы ближе, чем ко мне... Почему? Ведь и я тоже пьяница и мерзавец... а — чужой вам! Я вижу — чужой... Из меня вы пьете и в меня потихоньку плюете... я чувствую это! За что?

Они не могли, разумеется, относиться иначе к нему: в глубине души, быть может, ни один из них не считал себя ниже его, но он был богат, — это мешало им отнестись к нему более по-товарищески, и он говорил всё какие-то насмешливо-сердитые, совестливые слова, — это стесняло их. Затем — он был силен и дерзок на руку, — они не смели ни слова сказать против него. А ему именно этого хотелось, он всё сильнее желал, чтобы некто из них, презираемых им, стал против него, лицом к лицу, и сказал



ему что-нибудь сильное, что, как рычагом, своротило бы его в сторону с этого покатога пути, опасность которого он чувствовал и грязь — видел, полный бессильного отвращения к ней...

И Фома нашел нужное ему.

Однажды он, раздраженный невниманием к нему, крикнул своим собутыльникам:

— Вы, клопы! Молчать все!.. Кто вас поит, кормит? Забыли? Я вас приведу в порядок! Я научу уважать меня! Арестанты! Я говорю — значит — цыц все!

Они действительно замолчали, должно быть, напуганные возможностью потерять его расположение, или, быть может, боясь, что он, здоровый и сильный зверь, побьет их. С минуту они сидели в молчании, тая в себе злобу против него, наклонившись над тарелками и стараясь скрыть от него свой испуг и смущение. Фома самодовольно осмотрел их и, удовлетворенный их рабской покорностью, хвастливо сказал:

— Ага! Пришипелись... то-то! У меня — строго! Я...

— Балбес! — раздался чей-то спокойный и громкий возглас.

— Что-о? — заревел Фома, вскакивая со стула. — Кто это говорит?

Тогда на конце стола поднялся какой-то странный, потертый человек, высокий, в длинном сюртуке, с копной полуседых волос на огромной голове. Волосы его были жестки и торчали во все стороны густыми вихрами, лицо желтое, бритое, с большим горбатым носом. Фоме он показался похожим на швабру, которой моют парходные палубы, и это развеселило полупьяного парня...

— Хо-орош! — с усмешкой сказал он. — Ты что же лаешься, а? Ты знаешь, кто я?

Человек жестом трагического актера протянул к Фоме руку, с длинными и гибкими, как у фокусника, пальцами, и густым хрипящим басом сказал:

— Ты — гнилая болезнь твоего отца, который, хотя и был грабитель, но все-таки — достойный человек в сравнении с тобой...

У Фомы от неожиданности и гнева дыхание в груди сперло, он свирепо вытаращил глаза и молчал, не находя, чем ответить на эту дерзость. А человек, стоявший против него, воодушевленно хрипел, зверски вращая большими, но выцветшими и опухшими глазами:

— Ты требуешь от нас почтения к тебе — дур-рак! — Чем ты заслужил его? Кто ты? Пьяница, пропивающий капиталы отца!.. Дикарь! ты должен гордиться тем, что я, знаменитый артист, бескорыстный и верный слуга искусства, пью из одной бутылки с тобой! В бутылке этой — сандал и патока, настоенная на похотельном табаке, а ты думаешь — это портвейн! Она — твой патент на звание дикаря и осла!

— Ах ты, ар-рестант! — взревел Фома, бросаясь к артисту. Но его схватили и удержали. Барахтаясь в объятиях вцепившихся в него людей, он принужден был безответно слушать, как

человек, похожий на швабру, громил его густой и тяжелой октавой.

— Ты кинул людям семишник из украденного рубля и мнишь себя героем? Ты дважды вор: украл рубль и теперь вруешь благодарность за семишник твой... Но я не дам тебе ее! Я, посвятивший всю жизнь свою обличению порока, стою пред тобой и говорю смело: ты — дурак и пищий, ибо слишком богат! Тут — мудрость: все богачи — нищие... Вот как знаменитый куплетист Римский-Каннибальский служит правде!

Фома уже стоял смиренно среди людей, плотно обступивших, и с жадностью слушал громовую речь куплетиста, которая теперь вызывала у него такое ощущение, как будто ему почесывали больное место и этим укрощали острый зуд боли. Публика волновалась: одни старались прекратить поток красноречия куплетиста, другие хотели увести Фому куда-то. Он молча отталкивал их и слушал, всё более поглощаемый острым наслаждением унижения, которое чувствовал он пред этими людьми. Всё горячей ласкала его душу боль, возбужденная в ней словами куплетиста, а тот гремел, упиваясь безнаказанностью своего обличения:

— Ты думаешь, что ты владыка жизни? Ты — низкий раб рубля...

Кто-то из публики громко икал и, должно быть, недовольный собой за это, каждый раз, икнув, ругался:

— О ч-чёрт...

А в каком-то небритом человеке с жирным лицом пробудилась жалость к Фоме или ему стало скучно присутствовать при этой сцене, и он, махая руками, жалобно тянул:

— Го-оспода-а! Бро-осьте! Не хо-орошо! Ведь все мы грешники! Положительно все... поверьте мне!

— Ну, говори! — бормотал Фома. — Говори всё! Я тебя не трону...

Зеркала в простенках отражали эту пьяную сумятицу, и отраженные в них люди казались еще гаже и гнусней, чем были в действительности...

— Не хочу говорить! — закричал куплетист, — не хочу бисера правды и ярости моей метать пред тобой...

Он рванулся и, великолепно подняв голову вверх, трагическими шагами пошел к двери.

— Врешь! — сказал Фома, порываясь за ним. — Пстой! Ты меня растревожил — ты и успокой!

Его схватили, окружили и что-то кричали ему, а он рвался вперед, опрокидывая всех. Когда на пути его встречались осязательные преграды — борьба с ними успокаивала его, объединяя все его смутные чувства в одном стремлении — опрокинуть то, что ему мешает. И теперь, растолкав всех и выскочив на улицу, он был уже менее возбужден. Стоя на тротуаре, он оглядывал улицу и со стыдом думал: «как он мог позволить этой швабре издеваться над ним и ругать вором отца его?»

Вокруг было темно и тихо; ярко светила луна, и дул легкий, освежающий ветер. Подставив лицо его прохладному дыханию,

Фома быстрыми шагами пошел против ветра, пугливо оглядываясь и не желая, чтобы за ним последовал кто-нибудь из компании в тракторе: он понимал, что уронил себя в глазах всех этих людей. Шел он и думал о том, что вот до чего дожил: какой-то проходимец публично ругает его позорными словами, а он, сын именитого купца, ничем не мог отплатить за издевательство...

„Так мне и надо! — злорадно и уныло думалось Фоме. — Так и надо! Не теряй себя... понимай... И опять же — сам хотел... сам всех задираю... Вот и — получи!“

Ему стало до боли жалко себя от этих дум. Охваченный ими и отрезвленный, он всё шел куда-то по улицам и всё искал в себе чего-нибудь крепкого, твердого... Но всё было смутно в нем и лишь теснило сердце, не принимая никаких определенных форм. Точно в тяжелой дреме он дошел до реки, сел на бревно на берегу ее и стал смотреть на тихую, темную воду, покрытую мелкой рябью. Спокойно и почти бесшумно текла широкая, могучая река и несла на груди своей огромные тяжести. Вся она была загромождена черными судами, сигнальные огни и звезды отражались на воде ее; маленькие, легкие волны ласково и с тихим звуком пабегали на берег прямо под ноги Фоме... С неба веяло грустью; чувство одиночества давило Фому...

„Господи Иисусе! — думал он, тоскливо глядя в небо. — Экой я неудачный... Ничего во мне нет... ничего в меня богом не вложено... Зачем я такой нужен? [Господи Иисусе!“

От воспоминания о Христе Фоме стало как-то легче, одиночество как бы смягчилось, и, вздохнув всей грудью, Фома начал безмолвно говорить богу:]

„Господи Иисусе!.. Иные люди тоже ничего не понимают, но думают они, что им всё известно, и оттого легко им жить... А мне — нет оправдания... Ночь вот... а я один и идти мне некуда... Никому я ничего не могу сказать... никого не люблю... Только крестный, а он без души... Кабы ты наказал его чем-нибудь!.. Он думает, что умнее и лучше его вовсе нет ничего на земле... а ты это терпишь... И я тоже... Хоть бы несчастье какое-нибудь дано мне было... захворать бы... А то вот здоров я... ровно железо... Пью, гуляю... живу в грязи... но тело даже не ржавеет, а только душа болит... О, господи! Зачем такая жизнь?“

Одна за другой в голове одинокого, заплутавшегося человека возникали робкие протестующие мысли, а тишина вокруг него всё сгущалась и ночь становилась темней. Недалеко от берега стояла на якоре косовая лодка; она покачивалась из стороны в сторону и что-то на ней поскрипывало, точно стонало...

„Как мне освободиться от такой жизни? — раздумывал Фома, глядя на лодку. — И какое мне дело определено? Все работают...“

И вдруг его поразила одна большая для него мысль:

„И тяжелая работа дешевле легкой! Иной за рубль всего себя уложит в работу, а тот — тысячу одним пальцем берет...“

Его приятно возбудила эта мысль: ему показалось, что вот

он нашел в жизни людей еще одну фальшь, еще обман, который они скрывают... Он вспомнил одного из своих кочегаров — старика Илью, который за гривенник вставал на вахту к топке не в очередь и работал за товарища по восьми часов в духоте и жару. Однажды он, захворав от непосильной работы, валялся на корме парохода, и когда Фома спросил его, зачем он так убивается, то Илья ответил грубо и угрюмо:

— А затем, что мне каждая копейка нужнее, чем тебе сто рублей... вот зачем!..

И, сказав это, старик тяжело поворотил свое горящее от болезни тело задом к Фоме.

Остановившись на кочегаре, мысль его вдруг и без усилия обняла собою всех этих маленьких людей, работающих тяжелую работу. Было странно — зачем они живут? Какое удовольствие для них жить на земле? Все только работают свою грязную, трудную работу, едят скверно, одеты плохо, пьянствуют... Иному лет шестьдесят, а он всё еще ломается наряду с молодыми парнями... И все они представились Фоме большой кучей червей, которые копошатся на земле только для того, чтоб поесть. В памяти возникали одно за другим его столкновения с этими людьми, их речи о жизни, — речи то насмешливые и грустные, то безнадежно-угрюмые, — их воюющие песни... И тут же вспомнилось ему, как однажды в конторе Ефим говорил служащему, нанявшему матросов:

— Там лопухипские мужики наниматься пришли, так ты им больше десяти в месяц не давай. Они летось дотла сгорели и нужда у них теперь большая — пойдут и за десять...

Сидя на бревнах, Фома покачивался всем корпусом, а из тьмы с реки пред ним безмолвно появлялись разнообразные человеческие фигуры — матросы, кочегары, приказчики, половые из трактиров, полупьяные раскрашенные женщины, трактирные завсегдатаи. Они плыли в воздухе как тени, от них пахло чем-то сырым и солоноватым, и темная, густая куча их ворочалась так медленно, бесшумно и беспутно, как осенние облака в небе. Тихий плеск волн лился в душу грустно вздыхающей музыкой. Далеко, где-то на другом берегу реки, горел костер; объятый тьмой со всех сторон, иногда он почти совсем поглощался ею — и во тьме дрожало чуть видимое глазу красноватое пятно. Но вот вновь вспыхивал огонь — тьма расступалась пред ним, и было видно, как он рвется кверху. А потом он снова гас...

„Господи, господи! — тяжело и горько думал Фома, чувствуя, как тоска всё сильнее щемит ему сердце. — Вот и я тоже... совсем один, как этот огонь... Только света нет от меня, а чад... угар. Хоть бы умного человека встретить... Поговорить бы с кем... Совсем невозможно мне жить одному... Ничего я не могу... Человека бы встретить...“

Вдали, на реке, появились два больших багровых огня и высоко над ними — третий. Что-то глухо шумело там, что-то черное двигалось к Фоме.

„Пароход идет снизу... — думалось ему. — На нем, может, не одна сотня людей... а никому из них нет до меня дела... Все знают,

куда плывут... У всех свое есть... каждый, чай, понимает, что ему надо... а мне чего? И кто мне скажет? Где такой человек?"

Огни парохода отражались в реке и дрожали в ней, освещенная вода разбегалась от пего с глухим ропотом — и пароход казался огромной черной рыбой с огненными плавниками...

Прошло еще несколько дней после этой тяжелой ночи, и Фома снова закутил. Это вышло несчастью и против его желания. Он решил было удержаться от пьянства и пошел обедать в одну из дорогих гостиц города, надеясь, что в ней не встретит никого из знакомых собутыльников, всегда избиравших для кутежей более дешевые и менее приличные места. Но расчет его оказался неверным: он сразу попал...

В ПТ, БЖ. Зн<sub>1-10</sub> глава XII (стр. 412) начиналась с эпизода — беседа Фомы с монахом-странником: «Густой ссероватый туман стоял над рекой, и пароход, глухо вскрикивая, медленно плыл в нем против течения. Сырые и холодные, одноцветно-мертвенные облака стискивали пароход со всех сторон и проглатывали все звуки, растворяя их в своей мутной сырости. Медный рев сигналов гудел подавленно, уныло и был странно краток, вырываясь из свистка: звук как бы не находил себе места в воздухе, пропитанном густой сыростью, и падал вниз мокрый, задушенный. И шум колес парохода звучал так фантастично глухо, точно он рождался не тут близко, у бортов судна, а где-то глубоко внизу, на темном дне реки. С парохода не было видно ни воды, ни берегов, ни неба: его охватила со всех сторон свищово-серая муть; лишенная оттенков, тоскливо однообразная, она была неподвижна, давила на пароход неизмеримой тяжестью, замедляла его движение и точно готовилась всосать его в себя, как всасывала звуки. Несмотря на глухие удары плещ по воде и мерную дрожь корпуса — казалось, пароход тяжело бьется на одном месте, задыхаясь в агонии, шипит, как издыхающее сказочное чудовище, воет в предсмертной тоске, воет от боли и страха смерти.

Безжизненны были огни парохода. Вокруг фопаря на мачте образовалось желтое неподвижное пятно; оно стояло в тумане над пароходом, лишенное блеска и ничего не освещая, кроме серой мглы. Красный бортовой огонь был похож на огромное око, выдавленное чьей-то жестокой рукой, ослепшее, залитое кровью. Бледные пятна света падали в туман из окон парохода и только оттеняли его холодное, лишенное радости, торжество над судном, стиснутым неподвижной массой удушливой сырости.

Дым из трубы падал вниз и вместе с клочьями тумана проникал во все щели на палубу, где пассажиры третьего класса молчаливо кутались в свои лохмотья, сбившись в кучки, как овцы. Из машины доносились тяжелые, напряженные вздохи, дребезжащие звонки, глухие звуки команды и отрывистые слова машиниста:

— Есть — тихий!.. Есть — до среднего!..

На корме, в углу, заставленном бочками с соленой рыбой, расположилась группа людей, освещенная электрической лампочкой. Это были какие-то степенные, тепло и чисто одетые мужики; один из них лежал на скамье, спиной кверху, другой сидел в ногах у него, еще один стоял, прислонясь спиной к бочке, а двое уселись прямо на палубе. Лица всех их, задумчивые и внимательные, были обращены на сутулого человека в порыжевшем подрыснике и изорванной меховой шапке. Человек этот, согнув спину, сидел на каком-то ящике и, глядя под ноги себе, говорил тихим, уверенным голосом:

— Придет же конец долготерпению господу, и разразится над человеками гнев его... Все есть мы — яко черви пред ним и како нам отразити гнев его тогда, киими воплями воззвать нам к милосердию его?

Гонимый тоскою своей, Фома спустился из своей каюты на палубу и давно уже, стоя в тени у какого-то товара, покрытого брезентом, слушал увещающий и кроткий голос проповедника. Расхаживая по палубе, он паткнулся на эту группу и остановился около нее, привлеченный фигурой странника. Было что-то знакомое ему в этом большом крепком теле, с суровым темным лицом и большими спокойными глазами. Кудрявые полуседые волосы, выбивавшиеся из-под скуфьи, борода нечесаная, густая, разбившаяся на толстые пряди, этот длинный горбатый нос, острые уши, толстые губы — всё это Фома уже видел когда-то, но не мог вспомнить, когда и где.

— Н-да... много лежит на нас недоимки перед господом! — сказал, тяжело вздохнув, один из мужиков.

— Молиться надо... — чуть слышно прошептал мужик, лежавший на скамье...

— Али молитвенным-то словом соскребешь с души окаянство греховное? — громко и почти с отчаянием в голосе воскликнул кто-то со стороны.

Никто из составлявших группу вокруг странника не обернулся на этот голос, только головы всех опустились ниже, и долгое время люди эти сидели неподвижно и молча.

Странник обвел всех слушателей серьезным и вдумчивым взглядом голубых глаз и тихо заговорил:

— У Ефрема Сирина сказано: „Содей душу твою средоточием мысли твоя и укрепись хотением твоим на свободе от греха...“

И вновь он опустил голову, медленно перебирая пальцами четки...

— Думать, значит, надо... — сказал один из мужиков. — А когда человеку думать, на миру живучи?

— Кругом — склока...

— В пустыню бежать... — проговорил лежавший мужик.

— Не всякому это возможно...

Отозвались мужики и — снова замолчали. Завыл свисток, в машине задрожал колокольчик. Откуда-то раздался громкий возглас:

— Ван! К наметке...

— О, господи, царица небесная! — раздался тяжелый вздох. А глухой, полузадушенный голос возглашал:

— Де-вя-ять... де-вя-ять...

Ключья тумана ворвались откуда-то на палубу и поплыли по ней холодным серым дымом...

— Вот, люди добрые, послушайте слова царя Давида... — сказал странник и, покачивая головой, начал внятно читать:

— „Господи, настави мя правдою твоею; враг моих ради исправи пред тобою путь мой! Яко несть во устах их истины, сердце их суетно, гроб отверст — гортань их, языки своими льщаху... Суди им, боже, да отпадут от мыслей своих...“

— Во-осемь... Се-емь... — доносилось издали тяжелыми вздохами.

Пароход гневно зашипел и пошел тише. Рокочущее шипение пара заглушало слова странника, и Фома видел только движение его губ.

— Пошел долой! — раздался злой и громкий крик. — Мое место!

— Тво-ое?

— Вот-те и тво-ое!..

— Я-те лягну в морду... ты и найдешь свое место... Ишь какой барин!

— По-ошел!

Началась возня. Мужики, слушавшие странника, повертели головы в ту сторону, где возились, и странник, вздохнув, замолчал. Около машины вспыхнул живой и громкий говор, точно загорелись сухие ветви, брошенные в угасавший костер.

— Я вас, черти! Брысь оба...

— Отвести их к капитану...

— Ха-ха-ха! Вот это разборка!

— Здорово он ему съездил по ше-то!

— Матросы — они ловкие...

— Во-осемь... Де-вя-ять... — выкрикивал наметчик.

— Есть — прибавить! — раздался громкий возглас машиниста.

Покачиваясь на ногах от движения парохода, Фома стоял, прижавшись к брезенту, и чутко прислушивался ко всему, что звучало вокруг пего, и всё сливалось для него в одну картину, знакомую ему.

В тумане и неизвестности, окруженная со всех сторон непроницаемой для глаз мутью, медленно и тяжело двигается куда-то жизнь людей. А люди сокрушаются о грехах, вздыхают тяжело, и тут же дерутся за теплое место и, побив друг друга за обладание им, — принимают еще побой от тех, кто хочет добиться порядка в жизни. Робко ищут они свободный путь к цели своей.

— Де-вять... Восе-смь...

Тихо разносится по судну ноющий крик... и святая молитва странника гложет в шуме жизни. И нет свободы от тоски, нет радости тому, кто задумается над судьбой своей...

Фоме хотелось поговорить с этим странником, в тихих словах которого звучал искренний страх пред господом и всякая боязнь за людей пред лицом его. Кроткий, увещевающий голос странника обладал своеобразной силой, заставляя Фому вслушиваться в глубокий, грудной звук его.

„Вот бы спросить, как живет он... — думал Фома, пристально оглядывая большую согнутую фигуру. — И где это я его видел? Или он похож на знакомого?“

Вдруг Фоме почему-то с особенной ясностью представилось, что этот кроткий проповедник не кто иной, как сын старого Анания Щурова. Пораженный этой догадкой, он подошел к страннику и, садясь рядом с ним, развязно спросил:

— С Иргиза, что ли, отец?

Тот поднял голову, медленно и тяжело повернул лицо к Фоме, всмотрелся в него и кротко, спокойным голосом сказал:

— Был и на Иргизе...

— Тамошний, сам-то?

— Нет...

— А теперь — откуда?

— От преподобного Стефана...

Разговор оборвался, — у Фомы не хватало смелости спросить странника, не Щуров ли он?

— Запоздаем мы с туманом-то, — сказал кто-то...

— Как не запоздать!..

Все молчали, глядя на Фому. Молодой, красивый, чисто и богато одетый, он возбуждал любопытство у окружающих его внезапно появившемся среди них, чувствовал это любопытство, понимал, что все ждут его слов, хотят понять, зачем он пришел к ним, — и всё это смущало и сердило его.

— Будто видал я тебя, отец, где-то... — сказал он наконец.

Странник, не глядя на него, ответил:

— А может...

— Поговорить бы мне с тобой надо... — несмело и негромко заявил Фома.

— Что же? Говори...

— Пойдем со мной...

— Куда?

— В каюту ко мне...

Странник взглянул на лицо Фомы и, помолчав, согласился:

— Идем...

Уходя, Фома чувствовал на спине своей взгляды мужиков, и теперь ему было приятно знать, что они заинтересованы им.

В каюте он ласково спросил:

— Может, поешь чего? Скажи — спрошу...

— Спаси Христос... Что надо-то тебе?

Этот человек, — в порыве от старости, покрытом заплатами подряснике, грязный и оборванный, — брезгливо осмотрел каюту и, когда сел на диван, обитый плюшем, то подвернул под себя полу подрясника так, точно боялся запачкать его о плюш.

— Как звать-то тебя, отец? — спросил Фома, заметивший выражение брезгливости на лице его.



— Мирон...

— А не Михаилом?

— Отчего — Михаилом? — спросил странник.

— А... был у нас в городе... сын у купца одного, у Щурова...  
тоже на Иргиз он ушел... так его Михайлой звали...

Фома говорил и пристально смотрел на отца Мирона; но тот был покоен, как глухонемой.

— Не встречал такого... не помню, не встречал... — задумчиво сказал он. — Так ты про него хотел спросить?

— Д-да...

— Не встречал Михаила Щурова... Ну, прости меня, Христа ради! — и, поднявшись с дивана, странник поклонился Фоме и пошел к двери...

— Да ты погоди... посиди... поговорим! — воскликнул Фома, беспокойно метнувшись к нему. Тот пытливо взглянул на него и опустил на диван.

Откуда-то издали донесся тусклый звук, похожий на тяжелый стон, и вслед за ним над головами Фомы и его гостя завыл испуганно и протяжно паровой свисток. Издали снова ответили ему уже более ясно, и снова он заревел прерывистыми, пугливыми криками. Фома открыл окно: в тумане, неподалеку от их парохода двигалось что-то с тяжелым шумом, проплыли пятна призрачного света, туман всколыхнулся и снова замер в мертвой неподвижности...

— Экая страсть! — воскликнул Фома, закрывая окно.

— Чего бояться? — спросил странник.

— Да — вот! Ни день, ни ночь... ни тёмь, ни свет! Ничего не видно... плывем куда-то, плуаем по реке...

— Имей в себе огонь внутренний, имей свет в душе — и всё увидишь... — сказал странник поучительно и строго.

Фома почувствовал недовольство от этих холодных слов и искоса взглянул на странника. Тот сидел, наклонив голову, неподвижный, как бы застывший в думах и молитве. Тихо шуршали четки в его руках...

Его поза породила какую-то развязную смелость в груди Фомы, и он заговорил:

— Скажи, отец Мирон, хорошо так жить... на полной своей воле... без дела... без родных... странничать вот, как ты?

Отец Мирон поднял голову и тихо засмеялся каким-то ласковым детским смехом. Всё лицо его, коричневое от ветра и загара, просветилось светом внутренней радости. Это был другой человек — не молитвенник и проповедник праведной жизни и страха божия, а добрый и простой мужик, мягкий смех которого вызвал у Фомы добродушную улыбку. Но, посмеявшись и посмотрев на Фому, Мирон только вздохнул глубоко и кратко сказал:

— Плохо ли!..

— Доволен ты, значит, твоей жизнью?

— Не отягощаю ухо господа моего пенями... ничего, живу! Нищее житие — истинно божие... единое — свободное от пут мирских...

— А я вот... — заговорил было Фома, но оборвался и умолк. В ушах его всё звучал этот завидно радостный смех...

— Отчего ты ушел из мира-то? — спросил он, помолчав.

— Чужд бех братии моей... — спокойно отвечал Мирон и, обведя каюту внимательным, изучающим взглядом, сказал с презрительным сожалением:

— Эко настроили! Украшают, украшают себя снаружи-то, а внутри всё хлам...

— Да-а... — протянул Фома, глядя в окно. — Так хорошо тебе странствовать? Свободно одному-то жить?

— Эх, брат мой! — тихо воскликнул странник, подвигаясь к Фоме и заглядывая в лицо ему ласково и грустно. — Чую я — смутился ты душой... Так ли?

Фома молча кивнул головой и с ожиданием взглянул на собеседника. У Мирона лицо сияло тихой радостью, он дотронулся рукой до колена Фомы и заговорил задушевым голосом:

— Отжени от себя мирское, ибо неть сладости в нем. Правое слово говорю, — отойди ото зла. Помнишь, сказапо: „Блажеп муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста“? Удались-ка, освежи душу свою одиночеством и наполнись думою о господе... Ибо только мыслью о нем и может человек спасти себя от осквернения...

— Не го! — сказал Фома. — Мне не спасться надо... али много я согрешил? Другие-то вон... Мне бы уразуметь...

— И уразумеешь, если отложишься от мира... Выдь-ка ты на дорогу вольную, на поля, на степи, на равнины, горы... Выдь да посмотри на мир с воли, издали...

— Вот! — вскричал Фома. — Вот это самое и я думаю... Со стороны виднее!

А Мирон, не обращая внимания на его слова, говорил так тихо, точно речь шла о великой тайне, ведомой лишь ему, страннику.

— Зашумят вокруг тебя леса дремучие сладкими голосами о мудрости господа; запоют тебе птички божи о святой славе его, а степные травы курят ладаном Пресвятой Деве Богородице...

Голос странника то возвышался и дрожал от полноты чувства, то спускался до тайного шёпота. Он точно помолодел: глаза его сияли так уверенно и ясно, и всё лицо сверкало от счастливой улыбки человека, который нашел исход чувству радости своей и ликует, изливая его.

— В каждой травке бьется сердце господа; всякое насекомое, воздушное и земное, дышит святым духом его: всюду жив бог — господь Иисус Христос! — Красота какая на земле, в полях да в лесах! Бывал ли ты на Керженце? Тишина там, ничему не подобная, дерева, травы — райские...

Фома слушал, и его воображение, плененное тихим чарующим рассказом, рисовало ему эти широкие поля и глухие леса, полные красоты и тишины, умиротворяющей душу...

— Смотришь в небо, лежа где-нибудь под кустиком, а оно всё к тебе опускается, как обнять тебя хочет. На душе тепло и тихо-радостно, ничего-то тебе не хочется, ничему не завидно... Так вот и кажется, что на всей земле — только ты да бог...

Странник говорил, а Фоме его голос и певучая речь напоминали чудные сказки старой тетки Анфисы. Он чувствовал себя так, как будто после долгого пути в жаркий день пил чистую и студеную влагу лесного ручья,— влагу, пропитанную запахом трав и цветов, омываемых ею... Пред ним всё шире развертывались яркие картины: вот тропинка в дремучем лесу; сквозь ветви деревьев проникли тонкие лучи солнца и дрожат в воздухе и под ногами путника... Вкусно пахнет грибами и прелой листвой; медвяный аромат цветов, густой запах сосны невидимо курятся в воздухе и проникают в грудь теплой, сытной струей... Тишина вокруг: только птицы поют, и тишина эта так чудесна, что кажется — и птицы поют в груди твоей... Идешь ты, не торопясь, и жизнь твоя идет, как сон...

А здесь — всё охвачено серым, мертвым туманом и беспутно мы бьемся в нем, тоскуя о свободе и свете. Вон — запели внизу, едва слышными голосами, не то песню, не то молитву. Опяет кто-то кричит, ругается. И все ищут путь:

— Семь с половиной... Се-емь!..

— И ни о чем нет заботы тебе, — говорил странник, — и голос его журчал, как ручей, — кусок хлеба везде дадут; а чего еще тебе, вольному-то, надобно? В миру заботы цепями ложатся на душу...

— Хорошо ты говоришь! — вздохнув, сказал Фома.

— Братик мой милый! — тихо воскликнул странник, еще ближе подвигаясь к нему. — Коли проснулась душа, коли просится на волю — не усыплай ее насильственно, слушай ее голоса... Нет на миру, в его прелестях, никакой красоты и святости — чего ради подчиниться закону его? В Иоанне Златоусте сказано: истинный шекинах есть человек! Шекинах же еврейское слово и значит оно — святая святых... Стало быть...

Протяжный вой свистка заглушил его голос. Он прислушался, быстро встал с дивана и сказал:

— К пристани свистят это... слезать мне тут! Ну, прощай, братик! Дай тебе господи крепости и силы содейть по хотению души твоея! Прощай, родимой!

Он низко поклонился Фоме. Было что-то женственно-ласковое и мягкое в его прощальных словах и поклоне. И Фома тоже низко поклонился ему, поклонился и замер, стоя с опущенной головой, опершись рукой о стол.

— Будешь в городе, зайди ко мне... — попросил он странника, торопливо вертевшего ручку у двери каюты.

— Зайду! Я приду... Прощай! Спаси тебя Христос...

Когда пароход ткнулся бортом о пристань, Фома вышел на галерею и стал смотреть вниз, в туман. По мостикам с парохода шел народ, но среди этих темных фигур, окутанных густою мглой, он не узнал странника. Все, уходившие с парохода, были одинаково неясны и все быстро исчезали из глаз, точно таяли в серой сырости... Не видно было ни берега, ничего твердого, пристань покачивалась от волнения, разведенного пароходом, над нею колебалось желтое пятно фонаря, шум шагов и суеты людской был глух...

Пароход отвалил и медленно вдвинулся в облака. Странник, пристань, шум людских голосов — всё вдруг исчезло, как сон, и снова осталась только одна густая муть и пароход, тяжело ворочавшийся в ней. Фома смотрел перед собой в мертвое море тумана и думал о голубом, безоблачном и ласково-теплом небе — где оно?

На другой день около полудня — он сидел в комнате Ежова...»

Можно выявить определенную систему в редакции Горького. Первоначально для Фомы, запутавшегося в вопросах о смысле жизни, о назначении человека, было три выхода: разрыв со своим классом и уход в босяки, отказ от имущества и уход в монахи-странники (и то и другое чрезвычайно импонировало Фоме) и третье — более тесное общение с рабочими-печатниками, опять-таки разрыв со своим кругом и уход, в конечном итоге, «в бунтари». Отказываясь от эпизодов с босяком и монахом-странником, Горький таким образом не оставляет для героя ни того, ни другого пути. Что касается третьего — тщетность и невероятность его определяется уже с самого начала. Фома только гость в среде рабочих. Снимает Горький также и все сцены покаяния героя перед людьми и богом, т. е. то, что могло принести ему видимость облегчения, иллюзию искупления греха богатства. Таким образом, Горький делает безвыходным положение Фомы и закономерными его падение и гибель как личности.

Продолжая работу над образом главного героя, начатую при подготовке *БЖ* и *Зн<sub>4</sub>*, Горький снова внимательно проходит по всем сценам, связанным с Фомой, изымая места, могущие навести на мысль о невменяемости героя. В этом отношении показательна работа автора над финальной сценой бунта Фомы. Вычеркнута реплика о том, что Фома кусался, когда его пытались связать. Значительно сокращено количество монологов Фомы, варьирующих одну и ту же тему о бессмысленности и тяжести жизни, о несправедливости, с которыми он обращался к каждому встречному. Вместе с тем Горький снимает некоторые психологически усложненные рассуждения Фомы, которые идут не столько от героя, сколько от самого автора.

Несколько небольших, но принципиальных исправлений касаются образов Маякина и Щурова. Из речи Щурова вычеркнуты рассуждения о вреде свободы и технического прогресса. Исключен рассказ рабочего о сути разногласий между кооперацией печатников и хозяином-издателем. В *ПТ*, *БЖ*, *Зн<sub>1-10</sub>* после слов «...и должны жить в крепкой, прочной дружбе...» (стр. 395) было: «— Это верно, Николай Матвееч! — перебил его речь чей-то густой голос. — И вот мы хотим просить вас — подействуйте на издателя-то! Повлияйте! Болезнь и пьянство нельзя трактовать за одно и то же... А по его системе выходит так: запыет товарищ, мы его штрафуем на дневной заработок, заболит — то же самое... Мы бы, в случае болезни, свидетельство от доктора представляли... для верности, а он — для справедливости пускай бы хоть половину заработка заместителю большого платил... А то нам тяжело... вдруг сразу трое захворают?» В этой

же спсше после слов: «...вы не по книжке судите, а по живой правде...» снята фраза другого рабочего: «Ведь за кусок-то хлеба не по книжке бьются, а по необходимости и как бог на душу положит, а не как в правилах ваших написано...» (стр. 396).

Кроме того, устранены многие «проходные» сцены и эпизоды, повтора в диалогах, и осуществлена большая стилистическая правка (см. варианты).

Появление в 1899 г. «Фомы Гордеева», первой большой повести молодого писателя, уже завоевавшего популярность тремя томами своих рассказов, вызвало поток статей и рецензий. Не было ни одного столичного издания, не откликнувшегося на это литературное событие. Солидные литературно-общественные журналы, ежедневные газеты, отраслевые издания, развлекательные еженедельники, даже церковная пресса старались высказать свое мнение, часто не дожидаясь окончания публикации повести в «Жизни». Университетские профессора, общественные деятели, критики-профессионалы, преподаватели духовной академии, писатели, газетные фельетонисты вступали в полемику, анализировали, оценивали, хвалили, порицали... Критиками, рецензентами Горького были люди самых разных общественных взглядов и ориентаций — В. В. Воровский, А. А. Дивильковский, Н. К. Михайловский, А. М. Скабичевский, Д. Н. Овсянко-Куликовский, В. А. Поссе, В. Ф. Боцяновский, Н. Я. Стецкий, Е. А. Ляцкий, Н. И. Коробка, Л. Е. Оболенский, А. В. Амфитеатов, Андреевич (Е. А. Соловьев), А. И. Богданович, А. Вольтский (А. Л. Флексер), иеромонах Виктор, Д. В. Философов, Д. С. Мережковский, З. Н. Гишпиус и многие другие.

Наряду с серьезными статьями, анализирующими общественное значение повести, генезис выведенных в ней типов, художественные достоинства и язык произведения, в критике было много субъективных и порой необоснованных оценок.

Один из первых откликов на «Фому Гордеева» появился в журнале «Образование». На основании пяти опубликованных к тому времени глав рецензент Н. К. писал, что талант Горького поднялся на новую ступень. Критика ждала от Горького произведения незаурядного, новаторского, проникнутого новым взглядом на современность, и это особо подчеркнул рецензент «Образования». Для него Горький — «писатель, в произведениях которого мы привыкли уже искать и новое изображение и новое разъяснение действительности». Анализируя основные типы, рецензент особо выделяет мотив «протеста третьего поколения»: «Нужно отстаивать то, что любишь», «нужно бороться», «надо с кем-то соединиться и что-то дать людям» — эти требования усмотрел критик в образе и поведении Любы Маякиной. «Откуда почерпнуло третье поколение эти идеи? Как проникли они в поволжский городок?..» Этими вопросами заканчивается разбор повести («Образование», 1899, № 5-6, отд. II, стр. 70—75).

Социальный анализ произведения дал рецензент «Русских ведомостей» И. Н. Игнатов на основании знакомства с восьмью

главами. Фома, по мнению критика, унаследовал неосознанные стремления матери и огромную энергию отца. На эту почву падают поучения, которые он слышит от отца, тетки, Ежова, Маякина, проститутки: его поучают все, и всё афоризмами. Рецензент особо отмечал жизненность и яркость образов Маякина и Щурова. «Одной этой фигуры, — писал он о Щурове, — было бы достаточно, чтобы обнаружить в авторе яркий, сильный и оригинальный талант» («Русские ведомости», 1899, № 195, 17 июля).

Не отрицая талантливости автора, сурово оценил повесть В. А. Гольцев в рецензии, печатавшейся в нескольких номерах «Курьера» за июль, август, октябрь 1899 г. Еще не дочитав повесть до конца, он так отозвался о «Фоме Гордееве»: «Несуразное это произведение, в котором чередуются талантливые штрихи с тусклыми, придуманными». А позже, по выходе повести, писал: «Герой, по моему мнению, не удался г. Горькому. Говорит он всё одно и то же, всё к свободе стремится, всё пьянствует». Критик утверждал, что в повести нет психологического развития Фомы, а одни и те же приемы надоедают. «Зато великолепно написан Яков Тарасович Маякин», хороши Маякин-младший, западник Смолин, озлобленный и помятый жизнью Ежов. Фигура машиниста Василия Краснощекова случайна. «Но в общем, — заключал Гольцев, — повесть г. Горького как-то спешно и спутанно написана» («Курьер», 1899, №№ 218, 9 августа, и 281, 11 октября).

Несколько рецензий на повесть были помещены в «Сыне отечества». В первой из них Скабичевский отмечал положительные качества Горького-романиста, в частности — его умение показать героев «всесторонне, принимая во внимание все и хорошие и дурные их качества» («Сын отечества», 1899, № 121, 7 мая). Здесь же он утверждал, что Горький не совсем равнодушен к учению Ницше и «ищет дерзновенных человеко-богов в среде волжского купечества». Самым удачным в повести Скабичевский считал образ Игната Гордеева. Но по прочтении всего произведения Скабичевский объявил: «...недостатки повести необъятны. Они обнаруживают, что автор или совсем незнаком с техникой беллетристических произведений, или пренебрегает ею» (там же, № 314, 19 ноября). Автор статьи упрекал писателя за крайнюю растянутость, длинные речи философствующих героев, за то, что он слишком много возится с безобразными кутежами своего героя; в повести масса вводных лиц, которые появляются на минуту и исчезают без следа. Вместе с тем Скабичевский не мог не признать, что Горький хорошо знает быт волжского купечества, его «переходное» состояние. Именно это и позволило показать три категории купечества — дореформенное, молодежь, ориентирующуюся на Западную Европу, и тип «кающегося дворянина в купечестве» (там же).

Аналогичное мнение высказал и другой критик из «Сына отечества», добавив к обвинениям, выдвинутому Скабичевским, обвинение в резко отрицательном отношении автора к интеллигенции: «Ежов карикатура, и карикатура в высшей степени неу-

дачная». Разночинец, «потерпевший историческую аварию, представляет — по свидетельству г. Горького — в наше время нечто совсем уже жалкое». К буржуазии и интеллигенции Горький относится одинаково недружелюбно. Читатель благодарен автору за правдивое изображение купечества, но изображение интеллигенции не соответствует фактам жизни и истории» (П. О. Ст-ий. К публицистическим итогам прошлогодней беллетристики. — «Сын отечества», 1900, № 88, 30 марта).

Критик журнала «Мир божий» А. И. Богданович начал свой отзыв с тезиса о неудачной концовке повести: «...вряд ли кого из читателей удовлетворит конец, к которому привел своего героя автор» («Мир божий», 1899, № 11, отд. II, стр. 1). Конец ничего не разрешает и не вяжется с характером героя. Протест и бунтарство Фомы — явление в высшей степени положительное. Он ищет «сути жизни», «общих решений» и восстает против порядка, устроенного Маякиными. То, что для Маякина «представляется высшим порядком, для него — высший беспорядок, потому что никто не знает, зачем ему, Гордееву, миллионы, когда тысячи людей, потом и кровью их создающие, ведут жалкое существование» (там же). Конец же Фомы — нечто от Любима Горцова. «Автор бессознательно повторяет Островского, и в этом большая ошибка», ибо сменились условия, изменилось купечество (там же, стр. 2).

Маякин, по мнению Богдановича, «удивительно яркий представитель целого сословия» (там же, стр. 4). Ежов же, единственный интеллигент, с которым сталкивается герой, выведен лишь затем, чтобы дать Фоме почувствовать «ничтожество интеллигенции вообще». Для г. Горького это очень характерная черточка — его нескрываемое пренебрежение именно к интеллигенции» (там же, стр. 3).

Фома не удался, как вообще не удаются художникам положительные типы. «...Русская жизнь до сих пор не дала материала для положительных типов», — заключал Богданович (там же, стр. 4).

Андреевич так определил основной пафос повести: «...перед нами основная дума наших дней — оправдать свою собственную жизнь в своих собственных глазах, найти ее смысл во тьме лжи и условностей, опять тот же ужас человека перед горами зла и неправды...» («Жизнь», 1899, т. XII, стр. 354). Более подробно о повести критик высказался в «Книге о Максиме Горьком и А. П. Чехове» (СПб., 1900).

Критик Н. К. из журнала «Образование» в 1900 г. выступил со второй статьей о повести «Фома Гордеев» — «Преступное бездействие сверхсреднего человека». Фома — это сверхсредний человек в том смысле, что, будучи заурядной средней личностью, он обстоятельствами, богатством поставлен над средними людьми. «По началу нам казалось, что автор сулит ему иной конец, — трагический, но величественный, а не жалкий, как оказалось на самом деле» («Образование», 1900, № 1, стр. 110). Всё поведение героя жестоко и нелепо. Выходом для Фомы могла бы стать встреча с Ежовым. Но оба они оказались «просто безобразники», —

пьянствуют и дебоширят. Еще одна возможность — встреча с группой тружеников. Но и ее автор не использовал для возрождения своего героя. Писатель заставляет Фому погибнуть самым жалким образом. Фома «производит самое глупое бесчинство в обличительном духе». Поведение его напоминает шалости и разгул Степана Разина. Горький, «ярко описывающий нам этот тип чисто русского безобразника, достаточно наделенного всем от природы и судьбой, не вскрывает, однако, причин, каким образом способные люди не находят, что предпринять пред лицом вопиющей действительности, оставляя на произвол судьбы многочисленного среднего человека» (там же, стр. 112—113).

Через год с небольшим в том же «Образовании» появилась серия статей Коробки «М. Горький и его общественное значение», в которых повесть оценивалась совсем иначе. Коробка восстал против установившегося мнения, что Горький — поэт босяков. Орлов, Коновалов, Гвоздев и купец Гордеев — это «воплощение стихийного протеста против ямы» («Образование», 1901, № 4, отд. II, стр. 31). Творчество Горького, — писал Коробка в следующей книжке журнала, — «исходит из реального наблюдения». Так созданы его наборщики. Ежов представлен изломанным и измученным не потому, что Горький тенденциозно относится к интеллигенции, но потому, что он (Ежов) не находит себе настоящего применения и проявления в современной действительности. Образ Фомы ценен тем, что Горький показал, как «в цельную душу» этого полудикаря «запало искание правды» (там же, № 5-6, стр. 17). Горький показал также возрастающее значение купцов в жизни, их стремление играть политическую роль. Они представляют всё большую общественную силу, перед которой ступшевывается интеллигенция. Очень важно поэтому, что протестует против этой силы человек из купеческой среды. Фома почувствовал нутром мерзость жизни, но не мог найти никакого пути к выходу из ямы (там же).

Строгий суд над повестью учинил в «Вестнике Европы» Ляцкий. В статье «Максим Горький и его рассказы» он утверждает, что в «Фоме Гордееве» чувствуется совместная работа трех Горьких: художника, босяка и публициста. «Все они трудились усердно и много и создали большую, неуклюжую постройку, в которой перепутались все стили и планы, но сохранились отдельные частности, отмеченные удивительной тонкостью работы» («Вестник Европы», 1901, № 11, стр. 302). Ляцкий находит, что между Фомой и купечеством «не было принципиального разлада, вытекавшего из определенного мировоззрения, а сказывалось его отношение к своему сословию лишь в явном желании уклониться от какой бы то ни было заботы, умственного напряжения, а более всего — покровительства и опеки» (там же, стр. 304). Впрочем, бессмысленность и тупость Фомы критик оправдывал влиянием среды и всеми обстоятельствами его жизни. А «хорошие слова» Фомы, — пишет Ляцкий, — все принадлежат Горькому. И в ответе за них «тот, кому они принадлежат, кто ими думал и кто нарушил правдивость и цельность образа Фомы, заставив пустой здоровенный бочонок звучать тонами нежной итальянской скрипки» (там же,



стр. 307). Для обличения у Фомы нет нравственного права, он сам живет на награбленные деньги. В финальной сцене Якову Маякину отвечает не Фома, а Горький, в котором «беллетрист уступил место негодующему публицисту». «Горький бросил купечеству в лицо горячую отповедь на его беззастенчивые речи, но спасовал как художник и не сумел придать своему рассказу социального интереса» (там же, стр. 310, 311).

Очень скептически отозвался о повести Михайловский в журнале «Русское богатство». В статье «О повестях и рассказах гг. Горького и Чехова» (1902) он упрекает Горького в том, что тот недостаточно выявил философию босячества в своих рассказах. Не прояснилась эта философия и в больших повестях — в «Фоме Гордееве» и «Трое». Михайловский находит в них «отдельные прекрасные страницы и даже целые эпизоды, но в целом они ужасно растянуты, переполнены длинейшими рассуждениями действующих лиц». Многие рассуждения при этом повторяют мотивы рассказов. Действительно сильной фигурой является только Маякин. Рядом с ним «прямо жалкое впечатление производит Фома Гордеев, хотя он и рвется из своей „ямы“, и мечется, дерзит направо и налево, дерется, буйствует, рычит грозные и злые слова. Всё это не мешает ему быть тряпкой, которую треплет ветром в разные стороны...» («Русское богатство», 1902, № 2, отд. II, стр. 176).

Никто даже из самых яростных хулителей повести не отрицал самобытной талантливости автора и значения «Фомы Гордеева» как явления общественной мысли. Показателен в этом отношении отзыв З. Гиппиус. Объяснив, что Горьким «уже никто особенно не интересуется», что он «как писатель, как художник <...> давно отцвел и забыт», З. Гиппиус, однако, вынуждена была тут же признать, что наряду с Толстым, Чеховым и Достоевским Горький с его «Фомой Гордеевым» «не перестает быть Максимом Горьким, чрезвычайно интересным знаменем своего времени», что он «писатель, конечно, с большими способностями, даже с талантом» («Новый путь», 1904, № 1, стр. 255 и 256).

Повесть привлекла внимание марксистской критики. Об этом произведении писали Воровский, Дивильковский и близкий к марксистским кругам М. М. Филиппов, редактор «Научного обозрения».

В «Письмах о современной литературе» Филиппов прежде всего отмечал тот факт, что в «Фоме Гордееве» Горький «впервые пытается перейти от чисто индивидуальных мотивов к более широким общественным темам» («Научное обозрение», 1901, № 2, стр. 120). В результате детального анализа системы образов повести критик приходил к выводу о закономерности ее концовки. Не на стороне Фомы физическая и умственная сила, не на его стороне победа. И хотя сам герой храбр «как солдат, который слепо лезет на пули, сам не зная ради чего» (там же, стр. 125), он гибнет, «жизнь просто устраняет его, как лишнего человека, доводит до настоящего слабоумия». Филиппов опровергал мнение критики, увидевшей в произведениях Горького резко отрицательное отношение к интеллигенции. «Говорят, что Горький

будто бы относится скептически к интеллигенции, но он высоко ставит ум, он скептик только по отношению к уму, взятому напрокат, к мыслям, вычитанным в книгах, как это было у Любы Маякиной» (там же, стр. 126). По мысли Филиппова, это подтверждает образ фельетониста Ежова, который «вполне симпатичен» Горькому.

Воровский впервые вскользь упомянул о «Фоме Гордееве» в полемической статье, направленной против Лядского (конец 1901— начало 1902 г.): «С нравственными качествами, которые г. Горький встретил в среде отверженных, он, как с мерилом, подходит к разным слоям общества. Но (...) в торгово-промышленном классе — если и проявляются некоторые из этих качеств, то лишь как выгодное орудие в борьбе за барыш и власть („Фома Гордеев“) (...)» (Воровский, стр. 66—67). Критик отметил также «отрицательное отношение г. Горького к интеллигенции». В более поздней статье «Из истории новейшего романа» Воровский, сопоставляя творчество Горького, Куприна и Андреева, отметил публицистичность как основную черту повести «Фома Гордеев», считая, что «художественная сторона здесь явно приносится в жертву публицистике» (там же, стр. 272).

В серии статей под общим названием «Максим Горький» Дивильковский, сопоставив идейное содержание повести и пьес Горького с его ранними рассказами, пришел к выводу, что в «Фоме» писатель «остаётся всё тем же проповедником героического культа, только сообразно более широкому, свободному масштабу романа и драмы, идея его достигает огромного захвата жизненных явлений и высокого, орлиного полета. „Фома Гордеев“ представляет собою энергичнейшую атаку героической идеи на всю современность, взятую в совокупности» («Правда», 1905, апрель, стр. 119). Именно в соотношении с этой идеей, центральной для всего творчества Горького, рассматривал Дивильковский образ главного героя. «Фома Гордеев — несомненный герой, т. е. безграничная страсть и способность к действию, безграничная преданность такому строю жизни, когда люди на полном просторе отдаются своим человеческим, следовательно, тем самым, прекрасным склонностям и побуждениям» (там же, стр. 120). У Фомы есть «образ» настоящей жизни, который он, однако, не может выразить словами. «Но тем не менее, — пишет Дивильковский, — он отчетливо судит, на его основании, о явлениях, фактах, людях, не подходящих под понятие „настоящего“, и решительно исключает всё подобное из круга своих симпатий. Возникает трагический конфликт с действительностью, ибо в конце концов не оказывается ничего среди ее главного течения, что бы вызывало симпатию Фомы. Конфликт обостряется умственной темнотою героя, который ни самому себе, ни другим не может указать, чего же он требует положительным образом». К тому же Фома родился «невольником капитала», из пут которого он не может освободиться. «Над одинокой головой Фомы разражается проклятие, тяготеющее над всей эпохой» (там же, стр. 120—121).

После выхода в свет «Фомы Гордеева», кроме статей, обзоров, фельетонов, появляются первые книги о Горьком: А н д р е е -

в и ч <Е. Соловьев>. Книга о Максиме Горьком и А. П. Чехове. СПб., 1900; В. Ф. Б о ц я н о в с к и й. Максим Горький (Критико-биографический этюд). СПб., 1901; Г. А л е к с а н д р о в с к и й. Максим Горький и его сочинения. Публичные лекции. Киев, 1900; А. П л е т н е в. Максим Горький. Критический очерк. СПб., 1902; Н. Г о р и н. Основные идеи произведений Максима Горького. СПб., 1902; Л. Е. О б о л е н с к и й. Максим Горький и причины его успеха (Опыт параллели с А. Чеховым и Глебом Успенским). СПб., 1903, и многие другие. В этих книгах историки литературы значительное место уделяют первой большой повести писателя.

Авторы этих монографий не только сопоставляли повесть с ранними рассказами молодого писателя, но и привлекали при анализе его творчества совершенно еще неизвестный читателям биографический материал. Писательская манера Горького-романиста сравнивалась с манерой Тургенева, Гаршина, Гл. Успенского, Чехова, его идейные искания — с поисками Достоевского и Толстого.

Переводы «Фомы Гордеева» на основные европейские, на многие славянские и скандинавские языки вызвали уже в 1900—1901 гг. большую критическую литературу за границей.

В ноябре 1901 г. в периодическом издании «Импрешенс» была опубликована статья Джека Лондона «Фома Гордеев», в которой Горький ставится в один ряд с выдающимися мастерами мировой литературы: «„Фома Гордеев“ — большая книга; в ней не только простор России, но и широта жизни <...> Это жизненная правда и мастерство Горького — мастерство реалиста. Но его реализм более действителен, чем реализм Толстого или Тургенева. Его реализм живет и дышит в таком страстном порыве, какого они редко достигают. Мантия с их плеч упала на его молодые плечи, и он обещает носить ее с истинным величием» (Д ж е к Л о н д о н. Сочинения, т. 5. М., 1955, стр. 633, 637).

Стр. 187. *Старообрядцы* — приверженцы церковной старины, исполнения старых обрядов службы, не принявшие церковных реформ Никона (вторая половина XVII в.).

Стр. 188. *Молокане, или «духовные христиане»* — христианская секта, возникшая во второй половине XVIII в. Молокане отрицают православную церковь, ее обряды, почитание святых, мощей, икон и т. п. Источником вероучения молокане считают только Библию. Единственными духовными наставниками у молокан признаются «старцы», которые не считаются, однако, ни священниками, ни учителями.

Стр. 188. *Кулугурка* — монашенка, отшельница. Вероятно, от греческого калдгерос (*καλδγερος*) — монах, в русской простонародной огласовке.

Стр. 191. *Господи боже наш ѿ прости рабе твоей...* — Отрывки из заключительной части молитвы, читаемой в первый день рождения ребенка («Требник». М., <1842>, л. 1, об.).

Стр. 194. *«Владыко господи вседержителю ѿ от духов лука»*

*вых, дневных же и noctных...* — Из молитвы, читаемой в первый день рождения ребенка («Требник», л. 1).

Ст р. 197. *Книга Иова*. — Одна из ветхозаветных книг, входящих в состав Библии. Сатана с ведома бога испытывает богатого и богобоязненного Иова, чтобы посмотреть, как крепка его вера. Иов лишается имущества, жилища, семьи. Наконец, когда его поразила проказа, Иов возроптал на бога. После долгих мытарств и страданий Иова бог явился перед ним, доказывая свое могущество. Раскаявшийся Иов был вознагражден богатством, цовой семьей и пр. Пафос книги — призыв к безропотному повиновению богу и смиренному приятию всех несчастий и лишений.

Ст р. 197. *«Был человек в земле Уц...»* — «Книга Иова», гл. 1, стих 1.

Ст р. 197. *Нерукотворный Спас* (точнее: Нерукотворенный) — икона с изображением лика Христа Спасителя на полотенце. Согласно легенде, Иисусу Христу, несшему свой крест на Голгофу, встретились женщины. Одна из них, видя измученного Христа, протянула ему полотенец. Иисус приложил его к своему лицу и на полотенце остались черты его. В «священном писании» этой легенды нет, но христианская церковь признает ее.

Ст р. 197. *«На что дан свет человеку...»* — «Книга Иова», гл. 3, стих 23.

Ст р. 197. *«...тело его покрыто червями и пыльными струпьями, кожа его гноится»*. — Ср. слова Иова: «Тело мое одето червями и пыльными струпами; кожа моя лопается и гноится» («Книга Иова», гл. 7, стих 5).

Ст р. 198. *«Вот он говорит: «Что такое человек, чтоб быть ему чистым и чтоб рожденному женщиной быть праведным?»* — «Книга Иова», гл. 15, стих 14. Слова эти произносит один из собеседников Иова — Елифаз Феманитянин.

Ст р. 201. *...читает первый псалом первой кафизмы Псалтиря: «Блажен муж... иже не иде на... совет нече-сти-вых...»* — *Кафизмы* — греческое название глав (частей) Псалтири. *Псалтирь* — одна из ветхозаветных книг, входящих в состав Библии; содержит 150 псалмов Давида.

Ст р. 205. — *Город-от Китеж в воде стоит...*

— *То — другое дело! То — Китеж... В нем — одни праведники жили.* — Китеж — легендарный город, о котором повествуется в русском народном сказании, возникшем, как можно предполагать, во времена монгольского ига (XIII—XV вв.). Согласно легенде, Китеж находился на берегу озера Светлояр (в нынешней Горьковской области). Когда Батый подошел к Китежу, город сокрылся от взоров человеческих. Существуют три версии исчезновения Китежа. «По одной из них, он остался на месте, но стал невидимым для людей. По другой — „господь укрыл Китеж землей“ И там, под землей, продолжают жить люди, а под тремя холмами на берегу Светлояра скрыты три церкви Китежа. И, наконец, по третьей версии, град Китеж опустился на дно Светлояра. Очень редко, в особенно ясные дни, видят люди на дне озера дома, церкви, стены и башни города» (А. М. Сахаров. Загадка невидимого града... — «Литературная газета»,

1968, № 32, 7 августа). Первое известное нам литературное оформление легенды о Китеже содержится в «Книге, глаголемой летописец» — памятнике, возникшем в 80—90-е гг. XVIII в. в старообрядческой секте «бегунов-безденежников». В интерпретации хранителей «чистой веры» легенда окрасилась в религиозно-мистические тона; град Китеж стал потаенным уголком, где живут праведники, укрывшиеся от преследований «антихриста». Именно эти представления отразились в ответе, который дал Игнат Гордеев юному Фоме. Горький проявлял большой интерес к легенде о невидимом граде. В повести «В людях» он вспоминает «певучий, грустный рассказ» своей бабушки о Китеже (Г-30, т. 13, стр. 266). Как свидетельствуют черновые рукописи «Жизни Клима Самгина», Горький первоначально намеревался снабдить роман своеобразным эпиграфом в виде нот, представляющих собою отрывок из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже».

Стр. 221. *Карча* — то же, что коряга; пень, обломок суковатого дерева в песке под водой.

Стр. 222. *«Да воскреснет бог»* — название и первые слова молитвы, исполняемой перед концом вечерней службы.

Стр. 222—223. *«...в некотором царстве с долголи еще мучиться нам?»* — В повести «Детство» Горький вспоминал, что легенду о божьем крестнике он слышал от бабушки Акулины Ивановны Кашириной (Г-30, т. 13, стр. 54).

Стр. 260. *...у Николы с у Праскевы Пятницы...* — Названия церквей по именам православных святых. Николай Угодник, он же Святитель или Чудотворец — один из самых почитаемых святых в христианской церкви. Ему приписываются многие чудеса. Считался покровителем купечества.

Параскева Пятница — христианская великомученица (перв. полов. XI в.). Была казнена за отказ отречься от христианства. Причислена к лику святых.

Стр. 261. *«Егда душа от тела имат нуждею...»* — Стихиры (песнопения священных стихов, написанных одним размером), исполняемые при погребении перед концом службы в церкви («Требник», л. 105, об.).

Стр. 262. *«Блажен путь, в онь же идеши днесь, душе...»* — Отрывок прокимна, т. е. стиха, который читается дьяконом или чтецом и повторяется хором. Прокимен исполняется перед чтением отрывка из священного писания. «Блажен путь, в онь же идеши днесь...» читается над усопшим («Требник», л. 104).

Стр. 262. *«...в сорочины как раз закладку устраивает?»* — В сороковой день по смерти Игната Гордеева. В православной церкви установлены определенные дни поминания усопших (третий, девятый, двадцатый, сороковой, полугодовой и годовой).

Стр. 262. *«Приидите, последнее целование дадим...»* — Этими словами начинаются стихиры, исполняемые при погребении перед концом службы в церкви («Требник», л. 104, об.).

Стр. 263. «Целу-уйте бывшего в мале с на-ами...» — Стихиры («Требник», л. 105).

Стр. 263. «Зряца мя безгласна и бездыханна...» — Заключительные стихиры погребальной службы в церкви («Требник», л. 106).

Стр. 266. «Екклезиаст» — «Книга Екклесиаста, или Проповедника». — Одна из ветхозаветных книг, входящих в состав Библии. Для «Книги Екклесиаста» характерно признание суетности и тщетности всего земного, повторяемости человеческих дней.

Стр. 266. ...даже псу живому лучше, чем мертвому льву... — Ср.: «Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву» («Книга Екклесиаста...», гл. 9, стих 4).

Стр. 272. «...Его же ни ветер, ни вода, не ино что повредити возможет от всякого навета сопротивного свободи...» — Из молитвы на основание дома («Требник», л. 156, об.).

Стр. 272. «...Народное, говорит, образование в Швеции от первой сорт!» — Швеция — одна из первых стран в Европе, где было введено обязательное всеобщее обучение. К концу XIX в. всеобщая грамотность была достоянием уже нескольких поколений. Заботы о народных школах лежали на общинах. Кроме общеобразовательных предметов, в программы народных школ входило огородничество, ручной труд и домоводство.

Стр. 273. Тантал (миф.) — сын Зевса и нимфы. Тантал пользовался милостью богов и участвовал в их пирах. Однако своей гордыней и преступлениями он навлек на себя гнев богов и был низвержен в царство Аида (загробный мир), где был обречен испытывать неутолимую жажду, неутолимый голод и вечный страх.

Стр. 286. «Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». — «Книга Иова», гл. 5, стих 7.

Стр. 291. ...блудница вавилонская!.. — библейский аллегорический образ греха и зла («Откровение святого Иоанна Богослова», гл. 17).

Стр. 303. Пятерик — старинное название чего-либо, состоящего из пяти предметов. Пятерик дров — сажень дров из пяти поленьев определенной величины.

Стр. 304. ...ушел спастись в скиты, на Иргиз. — Скит — жилище, поселение старообрядцев, сектантов, спасавшихся от преследования официальной церковью и властями. Устраивались обычно в глухих и труднодоступных местах. Иргиз — левый приток Волги, протекающий по территории нынешних Куйбышевской и Саратовской областей.

Стр. 305. фармазон — искаженное «франк-масон». После запрещения в России масонских лож (1822) в просторечии слово фармазон приобрело порицательный смысл. Фармазонами называли людей свободомыслящих, отходящих от общепринятых обычаев, законов, привычек.

Стр. 306. ...в конторе у себя говорит человек, и за пять верст его слышно... — Американский изобретатель Александр Грейам

Белл в 1876 г. взял патент на телефон. Новое изобретение быстро внедрилось в быт делового мира.

Стр. 311. *«Ми-ило-осердия двери отверзи нам... благословенная богородице...»* — Слова очень популярной и распространенной молитвы, исполняемой во многих службах.

Стр. 315. *...всё существующее на земле разумно...* — Имеется в виду известное положение Гегеля: «Всё действительное разумно, всё разумное — действительно» («Феноменология духа. Система наук»).

Стр. 323. *Немезида* — в греческой мифологии богиня, карающая надменность, заносчивость, незаслуженное счастье. Со временем стала осмысливаться как мстительница за поправленные права.

Стр. 325. *И красива,— Фрина...* — Фрипа — знаменитая греческая гетера, натурщица античных художников Праксителя и Апеллеса. С нее сделана статуя Книдской Афродиты — одно из замечательных произведений IV в. до н. э. Существует легенда, что во время суда за безбожие Фрина была оправдана лишь за свою красоту.

Стр. 328. *Вдоль по Волге ре-ке*

*Легка лодка плы-э-ве-от...* —

народная переработка песни поэта-самоучки М. И. Ожегова (1860—1931). См. сб.: «Песни и романсы русских поэтов». М.—Л., 1965, стр. 845.

Стр. 328. *Хорошо-о тому на свете жить...* — В письме к Горькому 25 апреля 1929 г. преподавательница сольного пения А. Н. Орлова сообщила, что написала музыку на эти слова. Она писала, в частности: «...я могу надеяться исполнить вещь мою, написанную на Ваши удивительные слова,— перед Вами в следующий Ваш приезд...» (Архив А. М. Горького, КГ-ди-7-17-1). Горький красным карандашом подчеркнул в тексте письма: «на Ваши... слова» и приписал между строк: «Не мои слова!». Вариант песни, близкий к горьковскому тексту, опубликован в сборнике «Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым». СПб., ч. 1, 1841, стр. 214. В. Г. Белинский приводит полностью его (в «Статьях о народной поэзии») как доказательство своей мысли о том, что «в нашей народной поэзии бездна трагических элементов, свидетельствующих о глубине и страшной силе русского духа, который, попавшись в противоречие, мстил и себе самому и всему окружающему» (В. Г. Б е л и н с к и й. Полн. собр. соч., т. V, стр. 446—447). Ср. также вариант в сборнике: Ф. М. И с т о м и н, Г. Д ю т ш. Песни русского народа. СПб., 1894, стр. 169.

Стр. 339. *Фарисеи* (от евр. «порущ», обособленный, отделившийся) — религиозная секта в Иудее (возникла во II веке до н. э.), выросшая в политическую партию, объединявшую богатых торговцев, рабовладельцев, зажиточные слои городского населения. В период римского господства фарисеи проповедовали покорность и приспособление к новой власти. Вожди фарисеев были непримиримы к раннехристианским общинам, считая истинным лишь свое учение, изложенное в Талмуде. В переносном смысле слово «фарисеи» употребляется в значении — ханжи, лицемеры.

Стр. 374. ...*Валаамова ослица заговорила!* — Валаам — библейская личность, предсказатель будущего и заклинатель судеб, ехал на своей ослице к моавитянам, чтобы благословить их на битву с евреями. Ослица увидела ангела с мечом, преграждавшего ей путь, и не хотела идти дальше. Валаам трижды прибил ее. Тогда ослица заговорила. Валаам понял, что это знамение, и сам увидел ангела, который научил его, как поступать далее (Книга «Чисел», гл. 22, стихи 21—35).

Стр. 374. *Марфа Посадница* — представительница древнего и богатого новгородского рода Борецких. После смерти мужа, повгородского посадника, Марфа Борецкая возглавила «литовскую» партию в Новгороде, стремившуюся отстоять политическую независимость от Москвы. Славилась умом, независимым характером, энергией и свободолюбием. После окончательного присоединения в 1478 г. Иваном III Новгорода к Московскому государству Марфа Борецкая была лишена имущества и насильственно пострижена в монахини.

Стр. 375. *Петр Великий* «знал цену знала!» «Книжки печатал нарочно для нашего обучения делу...» — В государственных образованиях Петра I важное место отводилось развитию промышленности и усилению купечества. Среди книг, печатавшихся в Петровскую эпоху, было много научных и технических руководств, пособий, инструкций и т. п. О необходимости усиления промышленников и торговцев как класса, на котором «все царства держатся», писал известный экономист и публицист петровского времени И. Т. Посошков. В «Книге о скудости и богатстве» (1724) Посошков дал целую программу развития мануфактур, торговли, упорядочения денежной системы, требовал широких и неограниченных прав для купечества.

Стр. 375. ...*книга Полидора Виргилия Урбинского об изобретателях вещей...* — Книга итальянского историка Полидора Виргилия Урбинского (1470—1555) была переведена и издана в 1720 г. по настойчивому желанию Петра I. Это своеобразная энциклопедия по истории культуры. Якову Маякину должна была особенно импонировать глава «Которые первые купечество изобрели...». В ней, между прочим, сказано: «Купечество поистине не малая человеком помощь есть...» («Полидора Виргилия Урбинского осемь книг о изобретателях вещей. Переведены с латинского на славено-российский язык в Москве...», стр. 172).

Стр. 382. *Бе-ери барабан — и не бойся!* — Строфа из стихотворения Генриха Гейне «Теория» (1842), известного в переводе А. Н. Плещеева («Возьми барабан и не бойся...»). Строки эти очень нравились Горькому, и он часто цитировал их. Горький воспроизвел их в дарственной надписи Л. Андрееву на первом издании пьесы «Мещане» (см.: *Лит. Насл.*, т. 72, стр. 481). В 1907—1908 г. в письме к А. Н. Тихонову с Капри Горький, приводя это четверостишие, писал: «...должность честного, смелого барабанщика, возвещающего приближение новых людей, — рождение нового психологического типа, — идущего создать новую жизнь, — славная должность!» (*Г-30*, т. 29, стр. 86).

Стр. 397. *Быстры ка-ак во-олны...* — Песня, возникшая в



результате народной обработки стихотворения «Вино» А. П. Сребрянского (1810—1838). См. сб.: «Песни и романсы русских поэтов». М.—Л., 1965, стр. 532.

Стр. 400. *Я жизнью жестоко обманут...* — Стихотворение Горького. Впервые использовано в рассказе «Грустная история» («Самарская газета», 1895, №№ 193, 8 сентября, и 194, 10 сентября).

Стр. 403. *Суди меня, боже, и рассуди прю мою...* — Слова из псалма царя Давида. Русский текст: «Суди меня боже, боже и вступишь в тяжбу мою с народом недобрый. От человека лукавого и несправедливого избавь меня» («Псалтирь», псалом 42, стих 1).

Стр. 403. *Пошли свет твою и истину твою...* — Слова из псалма царя Давида. Русский текст: «Пошли свет твой и истину твою, да ведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои» («Псалтирь», псалом 42, стих 3).

Стр. 405. *В псалме Давидове сказано: «Внегда возвратитися врагу моему вспять... Врагу оскудеши оружия в конец... и погибе память его с шумом...»* — Русский текст: «Когда враги мои обращены назад, то преткнутся и погибнут пред лицом твоим <...> У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил; погибла память их с ними» («Псалтирь», псалом 9, стихи 4 и 7).

Стр. 408. *...если историческое представляют — примерно: «Жизнь за царя» с пением и пляской, али «Гамлета» там, «Чародейку», «Василису»...* — «Жизнь за царя» — дореволюционное название оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин»; «Гамлет» — трагедия В. Шекспира; «Чародейка» — опера П. И. Чайковского; «Василиса Мелентьева» — историческая драма А. Н. Островского.

Стр. 419. *Ныне отпускаеши раба твоего, владыко!* — Слова «праведного и благочестивого старца Симеона», которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Иисуса Христа. Симеон, увидев младенца Иисуса в храме, понял, что ему дано отпущение, и обратился к богу со словами: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыко, по слову твоему с миром» («Евангелие от Луки», гл. 2, стихи 25—32).

Стр. 421. *В кабаках купцы большие с Э-эх, ду-убинушка, узнем!* — Вариант «Дубинушки», близкий к приводимому Горьким, см.: «Сборник песен, собранных О. Х. Агреновой-Славянской». М., 1896, стр. 97—98.

Стр. 423—424. *...почитай Смайльса с дельная книга...* — Самуил Смайльс (1816—1904) — английский писатель-моралист, автор правоучительных книг, в которых проповедовал классовый мир, «взаимную симпатию между хозяевами и рабочими», осуждал рабочих за «мотовство и другие пороки» и прославлял людей, умеющих «сберечь себе хоть очень скромный капитал» (С а м у и л С м а й л ь с. Бережливость. СПб., 1876, стр. 188, 29, 15). В 70—80-е годы в России вышли переводы книг Смайльса: «Биографии промышленных деятелей», «Герои труда. История четырех английских работников», «Вечный труженик», «Самодетельность», «Бережливость» и др. В письме к литератору К. Т. Орлову 9 сентября 1927 г. Горький заметил: «Смайльс —

типичный английский мещанин, очень лицемерный, — как и надлежит быть мещанину, — и очень бездарный. Основная идея его книг такова: „Если тебе плохо живется, ты в этом сам виноват“ <...> В России книги Смайльса были популярны в 80-х, в начале 90-х годов, т. е. в годы тяжелой реакции, когда наши „смайльсы“, вроде нововременца Меньшикова, учили молодежь. „Наше время — не время великих задач“ <...> Смайльс проповедует <...> необходимость подчинения законам, которые устанавливаются людьми, живущими за счет чужого труда» (Г-30, т. 30, стр. 34—35).

Стр. 424. *Леббока «Радости жизни» почитай...* — Джон Лёббок (1834—1913) — английский зоолог, археолог, исследователь первобытной культуры, государственный и финансовый деятель и философ-моралист. В области зоологии известен как талантливый пропагандист дарвинизма. Как моралист Лёббок выступает в трактате «Радости жизни» (I т. — 1887 г., II т. — 1889 г.). Книга эта, преисполненная оптимизма и веры в прогресс, в духовные возможности человека, восхваляющая красоту мира и триумфы науки — в первую очередь открытия Дарвина, пользовалась популярностью среди русской интеллигенции конца XIX — начала XX в. Демократического читателя привлекала забота ученого о просвещении народных масс. Таким же, как Тарас Маякин, должны были импонировать те черты Лёббока-моралиста, которые сближали его с Самуилом Смайльсом: буржуазно-либеральная установка на мирную эволюцию общества и на сотрудничество труда и капитала, прославление торговли, которая вполне «совместима с достоинством и благородством» и «будет процветать, если вести ее с благородными целями и честными намерениями» (Д ж о н Л ё б б о к. Радости жизни. Ч. I. СПб., 1890, стр. 27).

Стр. 430. *Мазаньелло* Томазо Аньелло (1623—1647), рыбак, возглавивший в 1647 г. восстание в Неаполе и Южной Италии против испанских завоевателей и итальянских феодалов. В первый период восстание развивалось довольно успешно, и Мазаньелло был провозглашен правителем Неаполя. Однако вице-король Испании герцог Аркос подослал к народному вождю наемных убийц.

Стр. 430. *Винкельрид* Арнольд — герой народно-эпической «Земпахской песни», воспеваящей борьбу швейцарского народа за освобождение от власти австрийцев. В битве при Земпахе (1386) швейцарцы не могли прорваться сквозь тесные ряды австрийцев. Тогда Винкельрид схватил руками «сколько мог» неприятельских копий и вонзил себе в грудь. Швейцарцы устремились в образовавшийся прорыв. Подвиг Винкельрида обеспечил швейцарцам победу. Историческое существование Арнольда Винкельрида, однако, не доказано.

Стр. 436. *Левиафан* — мифическое библейское животное («Книга Иова», гл. 40, стих 20).

Стр. 436. «*Слався*» — Вероятно, имеется в виду финал оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин» (либретто барона Розена).

Стр. 438. *«Го-осподи! Да не яростию твоею обличиши мене...»* — Слова из псалма царя Давида. Русский текст: «Господи! не в ярости твоей обличай меня, и не во гневе твоём наказывай меня» («Псалтирь», псалом 6, стих 2, то же — псалом 37, стих 2).

Стр. 438. *«Господи боже отец наших, заповедай Нюю, рабу твоему, устройти кивот... С И сей корабль соблюди...»* — Молитва «Во еже устройти корабль» («Требник», л. 165).

Стр. 439. *«Персидский марш»* — вероятно, имеется в виду «Персидский марш» Иоганна Штрауса-сына. Штраус использовал популярную восточную мелодию, которую неоднократно обрабатывали многие композиторы.

Стр. 439. *«Коль славен»* — гимн «Коль славен наш господь в Сионе» (муз. Д. С. Бортнянского). Исполнялся во время торжественных церковных церемоний, если в них участвовали войска.

Стр. 440. *«Во лузях»* — см: «Великорусские народные песни». Изданы проф. А. И. Соболевским, т. II. СПб., 1896, №№ 245—252.

Стр. 440. *«Мадам Ангу»* — оперетта французского композитора Шарля Лекока «Дочь мадам Анго». В России первая постановка состоялась в 1874 г. в Москве.

Стр. 440. *«Прекрасная Елена»* — оперетта французского композитора Жака Оффенбаха, написанная в 1864 г. В России, на русском языке, впервые была поставлена в 1868 г. на сцене Александринского театра в Петербурге.

Стр. 440. *Иаков Исава — надул?* — По библейской легенде, Исава и Иаков, братья-близнецы, сыновья Исаака. Господь предсказал, что от них произойдет два различных народа, один из которых делается сильнее и больший будет служить меньшему. Исава, родившийся первым, стал искусным звероловом, человеком полей. Иаков же был человеком кротким, живущим в шатрах. Однажды голодный и усталый Исава попросил еды у Иакова. Тот потребовал взамен, чтобы брат отказался от своего первородства. Исава уступил первородство Иакову за чечевичную похлебку («Бытие», гл. 25, стихи 22—34). Слепой Исаак перед смертью просил старшего сына Исава накормить его дичью и хотел дать ему благословение. Но Иаков обманом первый пришел к отцу, накормил его и принял благословение. Исаак нарек младшего Иакова господином над братьями своими, над племенами и народами (там же, гл. 27, стихи 1—29). Таким образом, Иаков дважды «вадул» Исава.

Стр. 442. *Сто лет только прошло с той поры, как император Петр Великий на реку эту расшивы пустил...* — Созданию русского флота было начато Петром I, построившим в середине 90-х годов XVII в. на Воронежских судоверфях первую русскую флотилию. С тех пор до времени действия романа «Фома Гордеев» прошло не сто, а двести лет. Регулярное речное пароходство на Волге началось с 40-х годов XIX в.

Стр. 451. *...восчувствуй сладость плена вавилонского...* — Вавилонское пленение — один из тяжелейших периодов в библейской истории иудейского народа. Вавилонский царь Наву-

ходоносор в 586 г. до н. э. захватил Иерусалим. Город был сожжен, разрушены храм и дворец, царская семья перобита. Вся знатная и богатая часть населения, а также искусные ремесленники в качестве пленников были уведены в Вавилон. Вавилонское господство длилось 70 лет и послужило причиной падения Иудейского царства (Библия, «Четвертая книга Царств», гл. 24—25).

Стр. 457. ...про это и говорит притча о талантах...— Талант — крупная денежно-весовая единица в античном мире (мера веса серебра). Притча о талантах рассказана в «Евангелии от Матфея». Отправляясь в чужую страну, некий господин оставил рабам своим: одному — пять, другому — два, третьему — один талант. Два первых умножили богатства, третий — зарыл талант в землю. Возвратясь, господин разгневался на третьего раба и выбросил его «во тьму внешнюю». Сбереженный им талант он отдал тому, кто приумножил богатство» («Евангелие от Матфея», гл. 25, стихи 14—30). Яков Маякин несколько произвольно трактует притчу о талантах. Раб закопал серебро не потому, что боялся греха наживы, а потому, что боялся потерять талант и навлечь на себя гнев господина.

## II

### ХОРОШИЙ ВАНЬКИН ДЕНЬ

(Стр. 461)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1898, № 128, 12 мая.

Печатается по тексту газеты.

Стр. 463. *Д' и оженила молодца...* — из песни «Как под яблоней такой...» — «Сборник песен Самарского края», составленный В. Г. Варенцовым. СПб., 1862, стр. 236—237 (хранится в личной библиотеке М. Горького в Музее-квартире М. Горького, г. Москва; имеет пометы писателя), куплет читается так:

«Как женила молодца  
Чужедальна сторона,  
Чужедальная сторонка,  
Макарьевска ярмонка».

Стр. 466. *На том ли поле серебристом...* — Текст песни см.: «Полный сборник либретто для граммофона», ч. II. СПб., 1904, стр. 204.

### «ВСТРЯСКА»

(Стр. 470)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1898, № 237, 30 августа.

Печатается по тексту газеты.

### ФАРФОРОВАЯ СВИНЬЯ

(Стр. 478)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1898, № 354, 25 декабря.

Печатается по тексту газеты.

### ХРИСТОСЛАВЫ

(Стр. 484)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1898, № 354, 25 декабря.

Печатается по тексту газеты.

Стр. 485. «Христос рождается, славите» — начальные слова первой песни канона на рождество Христово, написанной Иоанном Дамаскиным («Миния общая с праздничной». М., «Синодальная типография», 1701).

Стр. 485. «Ангелы с пастырями славосло-о о Волсви же со звездою путешествуют...» — Слова из кондака рождеству Христову («Миния общая с праздничной», 1701).

Стр. 486. *В день пресветлая девица о его купает...* — Народное переложение духовных стихов о Христовом рождении, ср.: Девица всем царица/Христа сына божия породила... — См.: «Сборник русских духовных стихов», составленный В. Варенцовым. СПб., 1860, стр. 47.

## СВИДАНИЕ

(Стр. 491)

Впервые напечатано в газете «Кавказ» (Тифлис), 1899, № 45, 17 февраля.

Печатается по тексту газеты.

Рассказ написан, по всей вероятности, в конце 1898 г., хотя о замысле его Горький сообщил редактору газеты «Кавказ» В. Л. Веллчко значительно раньше. 3 марта 1898 г. в рекламном объявлении № 58 «Кавказа» было указано: «Из обещанного и уже доставленного нашими столичными и местными сотрудниками разнообразного материала в настоящее время уже просмотрены и приняты редакцией для помещения в настоящем году следующие произведения: <...> Горького, М. — Этюд из крестьянского быта». 6 декабря 1898 г. (№ 322) в газете было объявлено: «Из многих столичных и местных авторов, обещавших свое сотрудничество „Кавказу“, уже прислали рукописи: <...> Горький, М. („Свидание“).

13 января 1899 г. В. А. Поссе сообщал Горькому: «Вас ругают (между прочим, „Сын отчества“) за то, что Вы пошли в „отделение“ „Московских ведомостей“ — в „Кавказ“, кот<орый> рекламирует Ваше „Свидание“ (Архив А. М. Горького, КГ-п-59-1-35).

Поссе, вероятно, имел в виду заметку А. Яблоповского, в которой говорилось: «В заключение несколько слов о кавказских газетах. В одной из них („Кавказ“) мы с удивлением прочитали анонс, что в портфеле редакции имеется рассказ М. Горького „Свидание“. „Кавказ“ — это южное отделение „Московских ведомостей“, и мы, признаться, никак не можем понять, зачем туда попало хорошее имя г. Горького» («Сын отчества», 1899, № 9, 11 января).

Об отношении Горького к газете «Кавказ» известно из воспоминаний Георгия Туманишвили — прогрессивного общественного деятеля, журналиста, познакомившегося с писателем в Петербурге: «Это было в 1899 г., когда он печатал своего „Фому Гордеева“ в журнале „Жизнь“. В редакцию последней по вторникам собирались сотрудники. На один из таких вторников я попал

по приглашению редактора. Здесь сидело человек пять-шесть сотрудников журнала. Между ними я узнал А. Пешкова (я его узнал по портрету). Он вел горячий спор с поэтом Д. Мережковским о Ницше. К концу вечера, когда все споры умолкли, А. Пешков подошел ко мне и стал расспрашивать о своих тифлисских знакомых. Я не скрыл от него того неприятного впечатления, которое произвело на всех его читателей и почитателей участие его в органе г. Величко.

— Я знаю, знаю,— перебил он меня.— Но это вышло по досадной ошибке. Меня пригласили в „Кавказ“. Я не разобрал, кто его редактор. Мне приятно было написать что-нибудь в газете, которая напечатала мой первый рассказ <«Макар Чудра»>, и вот я послал туда маленькую вещицу. Когда я узнал, какого направления держится г. Величко, я был раздосадован своей ошибкой, написал в Тифлис, чтобы очерк взяли обратно. Но оказалось поздно; моя вещица таким образом появилась в газете человека, к взглядам которого я питаю глубокую антипатию («М. Горький в Тифлисе». — «Новое обозрение», 1903, № 6053, 10 ноября).

#### НА БАЗАРЕ

(Стр. 497)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1899, № 40, 10 февраля.

Печатается по тексту газеты.

#### ФИНОГЕН ИЛЬИЧ

(Стр. 504)

Впервые напечатано в «Журнале для всех», 1899, №№ 2, 3. Печатается по тексту журнала.

Рассказ написан в конце 1898 г. Именно в это время в письмах к В. С. Миролюбову, издателю «Журнала для всех», Горький упоминает о работе над новым рассказом, который обещает дать в февральскую книжку журнала (см.: Г-30, т. 28, стр. 50, 51). «Вы получите от меня рассказ в начале января...» — сообщает он издателю (там же, стр. 53), а в январе 1899 г., отвечая на вопрос Миролюбова о присланном рассказе, пишет: «Видите, в чем дело: кто он, Финоген, я не знаю. Это портрет моего приятеля Гришки Шишлина, портрет точный, ибо именно такую неопределенную фигуру пока представляет собой Гришка. Думаю, что скоро он должен определиться так или иначе, ибо вот они тут затеяли одно дело и в деле этом Григорий объявит себя вполне. Тогда и я его дорисую» (там же, стр. 59).

Первоначально рассказ предполагалось включить в III том «Очерков и рассказов». Однако в письме С. П. Дороватовскому после 9 мая 1899 г. Горький заявляет: «Я бракую — „Финогена“. Это лишнее, выкиньте его. В нем ни вкуса, ни цвета, ни запаха» там же, стр. 79).

### III

#### 〈НА СТАНЦИИ〉

(Стр. 531)

Впервые напечатано в кн.: *Архив Г<sub>III</sub>*, стр. 50.

По почерку и бумаге можно предположить, что произведение написано не ранее 1899 г.

Хранящийся в Архиве А. М. Горького черновой автограф не имеет ни заглавия, ни подписи, ни даты. Текст написан черными чернилами на четырех страницах — без пагинации. Авторская правка — с большим количеством вычерков и вставок — сделана теми же чернилами.

Печатается по автографу (ХПГ-49-7).

#### 〈«УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!»〉

(Стр. 533)

Впервые полностью напечатано в кн.: *Архив Г<sub>VI</sub>*, стр. 173—174. Первые двенадцать строк публиковались в журнале «Новый мир», 1940, № 8, стр. 204.

Печатается по автографу (ХПГ-52-24).

В *Архиве Г<sub>VI</sub>*, а также в книге «М. Горький. Стихотворения» («Библиотека поэта», малая серия. М.—Л., 1963) стихотворение датируется — по орфографии — 1919—1929 годами. Однако содержание его мало соответствует этой дате. Возможно, в эти годы оно было заново переписано автором. С большей вероятностью можно предположить, что стихотворение написано в 1898—1900 гг. При подготовке к изданию «Очерков и рассказов» С. П. Дороватовский просил Горького написать предисловие к книге. В связи с этим Горький ответил издателю (после 27 февраля 1898 г.): «Огорчен, что не могу написать предисловия, но — не могу. Пробовал, знаете, но всё выходит так, точно я кому-то кулаки показываю и на бой вызываю. А то — как будто я согрешил и слезно каюсь. И, чувствуя, что всё это неподходяще, — бросил я это дело» (*Г-30*, т. 28, стр. 21). *ДЧ<sub>1-2</sub>*, как и несколько лет спустя книги *Зн*, вышли без предисловия. Возможно, именно в это время Горький «вместо предисловия» написал шуточное стихотворение в форме обращения к «уважаемым покупателям», предлагая им свои книги — сердце свое «по целковому за порцию» (тома *ДЧ* и *Зн* стоили по 1 рублю). Не только содержание, но и стиль стихотворения (гейневский сарказм) характерны для горьковской поэзии тех лет.



## 〈«ПОВЕРКА КОНЧИЛАСЬ»〉

(Стр. 534)

Впервые полностью напечатано в кн.: *Г, Материалы*, т. II, стр. 53.

В Архиве А. М. Горького хранится рукописная копия произведения, сделанная Е. П. Пешковой, с авторскими поправками и подписью (ХПГ-1-7). Исправления Горького носят стилистический характер.

Печатается по авторизованной рукописной копии (ХПГ-1-7).

Несколько фрагментов произведения в переработанном виде вошли в более поздний рассказ «Тюрьма» (1904 г.).

Рассказ, видимо, написан в апреле 1899 г. как отклик на взволновавшее всю общественность Нижнего Новгорода и других городов России событие — самоубийство студента Московского университета Г. Е. Ливена, арестованного по обвинению в политическом преступлении. Просидев около двух месяцев без суда и следствия в одиночной камере Бутырской тюрьмы, он покончил с собой. 8 апреля в Нижнем Новгороде, на родине Ливена, состоялись похороны, вылившиеся в революционную демонстрацию. 23 апреля Горький сообщал в письме Л. В. Средину: «Здесь хоронили студента Ливена, который живьем сжег себя в тюрьме. Похороны вышли очень внушительны <...> собралось до 8 т. народа, масса венков, гроб несли на руках студенты, Пели всё время и говорилось много хороших речей. Настроение здесь — живое. Ланин работает над жалобой царю по поводу смерти Ливена, я пишу на эту тему рассказ и еще кое-что. Рассказ напечатан в мае, другое — своевременно получите» (*Г Чтения*, 1968, стр. 28). Через несколько дней, 29 апреля, Горький писал А. П. Чехову: «Здесь публика возмущена смертью студента Ливена, к<ото>рый сжег себя в тюрьме. Я знал его, знаю его мать, старушку» (*Г-30*, т. 28, стр. 77). В 1901 г. Горький принимал участие в подготовке демонстрации в связи со второй годовщиной смерти Германа Ливена, а также в составлении петиции министру просвещения с требованием «полной амнистии всем лицам, подвергнутым карам за участие в беспорядках с 1898 по 1901 г.» (*ЛЖТ*<sub>1</sub>, стр. 312). При обыске в апреле 1901 г. у Горького изъяли, среди других бумаг, конспект, в который были внесены обстоятельства тюремного заключения и смерти Ливена. Конспект начинался словами: «Был взят и содержался в предварительном заключении с 14 февраля 1899 г.». Было изъято и прошение родителей студента к прокурору Московской судебной палаты (там же, стр. 315).

С т р. 543. ...героиня девушка!.. — Имеется в виду М. Ф. Ветрова, слушательница Высших женских курсов в Петербурге, покончившая с собой саможжением в 1897 г., после насилия, совершенного над ней жапдармским офицером.

〈ПЕРВЫЙ РАЗ Я УВИДЕЛ ЭТУ ЖЕНЩИНУ...〉

(Стр. 545)

Впервые напечатано в «Литературной газете», 1946, № 22, 25 мая.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Черновой автограф рассказа (ХПГ-49-10-1). 2. Беловой автограф первой половины рассказа (ХПГ-49-10-2), заканчивающийся словами: «И снова взгляд ее задумчиво ушел в пустыню моря, где среди белых гребней волн хлопотливо мелькали чайки» (стр. 547).

Обе рукописи написаны чернилами, не имеют ни заглавия, ни подписи, ни даты, ни пагинации. По почерку и содержанию можно предположить, что рассказ написан не ранее 1899 г.

Текст белого автографа занимает две с половиной страницы, имеет небольшие расхождения с верхним слоем черновой рукописи и содержит несколько поправок теми же чернилами, сделанных, видимо, попутно, во время переписки (см. варианты). Черновой автограф — с большой авторской правкой чернилами — написан на пяти страницах. Красным карандашом вычеркнуты два больших куса текста. Вычеркнутый текст: «Мы слишком много говорим о своем горе ∞ я наделяла бы великодушием молчания!» (стр. 547) — со значительными исправлениями переписан на отдельном листке (см. варианты).

Печатается: первая половина по беловому автографу, вторая — по верхнему слою черновой рукописи.

## СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- А. М. Горький.** Нижний Новгород, 1899—1900 гг. Кадр из семейной группы. Фото М. Дмитриева. Фронтиспис.
- Первая страница письма М. Горького к С. П. Дороватовскому от 29 августа 1898 г. . . . . 35
- М. Горький.** Очерки и рассказы. Титульный лист третьего тома в издании С. Дороватовского и А. Чарушникова . 99
- А. М. Горький, С. В. Щербаков и А. Е. Богданович.** Нижний Новгород, 1899 г. Фото М. Дмитриева . . . . . 128
- «Фома Гордеев». Начало главы X <XI> Автограф с правкой М. Горького . . . . . 373

# СОДЕРЖАНИЕ

## I

	Текст	Примечания
Скуки ради . . . . .	7	555
Проходимец . . . . .	25	557
Дружки . . . . .	62	563
Каин и Артем . . . . .	78	560
Читатель . . . . .	112	570
Кирилка . . . . .	128	576
Васька Красный . . . . .	141	578
О чёрте . . . . .	158	581
Еще о чёрте . . . . .	166	582
Фома Гордеев . . . . .	179	585

## II

Хороший Ванькин день. <i>Эскиз</i> . . . . .	461	632
«Встряска». <i>Страничка из Мишкиной жизни</i> . . . . .	470	632
Фарфоровая свинья . . . . .	478	632
Христославы . . . . .	484	632
Свидание. <i>Набросок</i> . . . . .	491	633
На базаре . . . . .	497	634
Фицоген Ильич . . . . .	504	634

## III

<На станции> . . . . .	531	635
<«Уважаемые покупатели!»> . . . . .	533	635
<«Проверка кончилась»> . . . . .	534	636
<«Первый раз я увидел эту женщину...»> . . . . .	545	637
<b>ПРИМЕЧАНИЯ</b> . . . . .	<b>549—637</b>	
Список иллюстраций . . . . .		<b>638</b>

*Печатается по решению  
Президиума Академии наук СССР  
и Комитета по печати  
при Совете Министров СССР*

\*

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

**Л. М. ЛЕОНОВ** (главный редактор),  
**Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ**, **Б. А. БЯЛИК**, **С. С. ЗИМИНА**,  
**Г. М. МАРКОВ**, **А. И. МЕТЧЕНКО**, **А. С. МЯСНИКОВ**,  
**В. С. НЕЧАЕВА**, **В. В. НОВИКОВ**,  
**А. И. ОВЧАРЕНКО** (зам. главного редактора),  
**В. М. ОЗЕРОВ**, **Б. Л. СУЧКОВ**, **Е. Б. ТАГЕР**,  
**К. А. ФЕДИН**, **М. Б. ХРАПЧЕНКО**, **В. Р. ЩЕРБИНА**

Тексты подготовили и комментарии составили:  
*И. И. Вайнберг, Э. Л. Ефременко, А. М. Крюкова,  
Л. Н. Смирнова, А. А. Тарасова*

Ответственный секретарь издания *М. А. Семашкина*

Редактор четвертого тома *А. С. Мясников*

\*

Редакторы издательства *А. И. Корчагин* и *М. Б. Покровская*  
Оформление художника *Н. А. Седелникова*  
Технический редактор *О. М. Гуськова*  
Корректоры *В. Г. Богословский* и *Т. А. Пономарева*

\*

Сдано в набор 24/II 1969 г. Подписано к печати 29/VII 1969 г.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага № 1. Усл. печ. л. 33,6.  
Уч.-изд. л. 31,7. Тираж 300 000 экз.  
Тип. вак. № 3676. Цена 1 р. 50 к.

*Издательство «Наука»  
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21  
Ордена Трудового Красного Знамени  
Первая Образцовая типография им. А. А. Жданова  
Главполиграфпрома Комитета по печати  
при Совете Министров СССР  
Москва, М-54, Валовая, 28*

